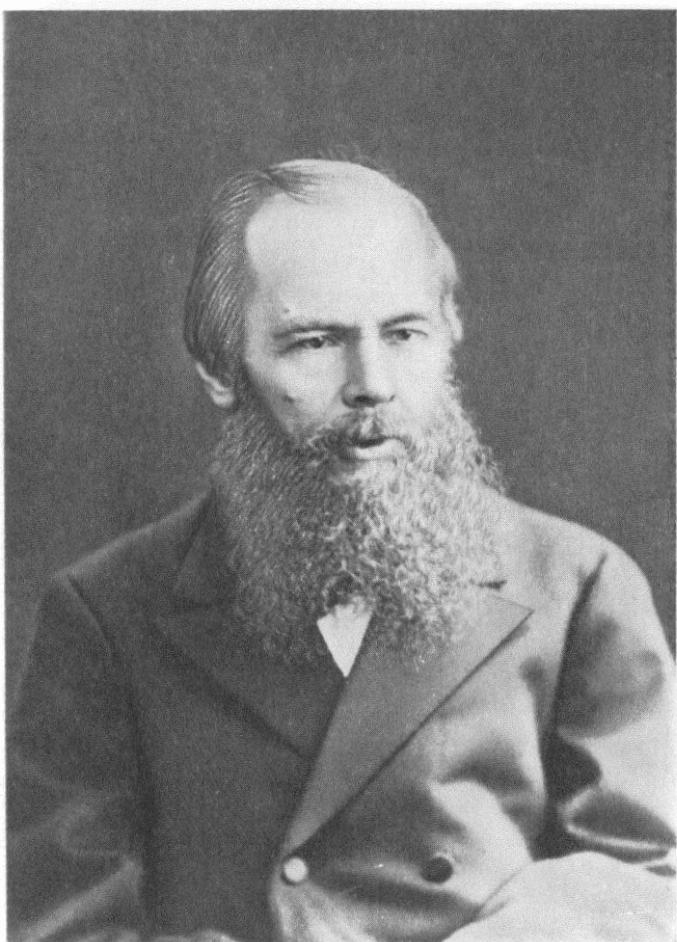


Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ



ПРИЧЕРНОМ



Ф. М. Достоевский.
Фотография К. А. Шапиро 1879 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ПУБЛИЦИСТИКА И ПИСЬМА
ТОМА XVIII—XXX

—600—

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · ЛЕНИНГРАД
1983

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ
ЗА 1877 ГОД
ЯНВАРЬ—АВГУСТ

—603—

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1983

Д **4702010100-576**
042 (02)-83 Подписано в

© Издательство «Наука», 1983 г.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Ежемесячное издание

1877

Год II-й

ЯНВАРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ТРИ ИДЕИ

Я начну мой новый год с того самого, на чем остановился в прошлом году. Последняя фраза в декабрьском «Дневнике» моем была о том, «что почти все наши русские разъединения и ¹⁰ обособления основались на одних лишь недоумениях, и даже прегрубейших, в которых нет ничего существенного и непереходимого». Повторяю опять: все споры и разъединения наши произошли лишь от ошибок и отклонений ума, а не сердца, и вот в этом-то определении и заключается всё существенное наших разъединений. Существенное это довольно еще отрадно. Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца; излечиваются же не столько от споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикою событий живой, действительной жизни, которые весьма часто, сами в себе, заключают ²⁰ необходимый и правильный вывод и указывают прямую дорогу, если и не вдруг, не в самую минуту их появления, то во всяком случае в весьма быстрые сроки, иногда даже и не дожидаясь следующих поколений. Не то с ошибками сердца. Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассилирующая их с своим зараженным духом, причем происходит даже так, ³⁰ что скорее умрет вся нация, сознательно, то есть даже поняв слепоту свою, но не желая уже излечиваться. Пусть не смеются над мной заранее, что я считаю ошибки ума слишком легкими и быстро изгладимыми. И уж смешнее всего было бы, даже кому бы то ни было, а не то что мне, принять на себя в этом случае роль изглаживателя, твердо и спокойно уверенного, что

словами проймешь и перевернешь убеждения данной минуты в обществе. Я это всё сознаю. Тем не менее стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть говорит, не боясь, что его не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются и что он не произведет никакого впечатления на ум своих современников. В этом смысле «Дневник писателя» никогда не сойдет с своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтет их несправедливыми, не будет подлаживаться, льстить и хитрить. После целого года нашего издания нам кажется уже позволительно это высказать. Ведь мы очень хорошо и вполне сознательно понимали и в прошлом году, что многим из того, о чем писали мы с жаром и убеждением, мы в сущности вредили только себе; и что гораздо более получили бы, напротив, выгоды, если бы с таким же жаром попадали в другой унисон.

Повторяю: нам кажется, что теперь надо как можно откровеннее и прямей всем высказываться, не стыдясь наивной обнаженности иной мысли. Действительно нас, то есть всю Россию, ожидают, может быть, чрезвычайные и огромные события. «Могут вдруг наступить великие факты и застать паши интеллигентные силы врасплох, и тогда не будет ли поздно?» — как говорил я, заканчивая мой декабрьский «Дневник». Говоря это, я не одни политические события разумел в этом «ближайшем будущем», хотя и они не могут не поражать теперь внимание даже самых скучных и самых «живущих» умов, которым ни до чего, кроме себя, дела нет. В самом деле, что ожидает мир не только в остальную четверть века, но даже (кто знает это?) в нынешнем, может быть, году? В Европе неспокойно, и в этом нет сомнения. Но временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации. Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно. С одной стороны, с краю Европы — идея католическая, осужденная, живущая в великих муках и недоумениях: быть ей или не быть, жить ей еще или пришел ей конец. Я не про религию католическую одну говорю, а про всю идею католическую, про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетия, проникнутых ею насквозь. В этом смысле Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение католической идеи в продолжение веков, глава этой идеи, унаследованной, конечно, еще от римлян и в их духе. Эта Франция, даже и потерявшая теперь, почти вся, всякую религию (иезуиты и атеисты тут всё равно, всё одно), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого бога, эта Франция, развившая из идей 89 года свой особенный французский социализм, то есть успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа и вне

Христа, как хотело да не сумело устроить его во Христе католичество, — эта самая Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих — всё еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: *Liberté, Égalité, Fraternité* — ou la mort,¹ то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать *liberté, égalité, fraternité* католическую — его слогом, его духом, 10 настоящим слогом и духом папы средних веков. Самый теперешний социализм французский, — по-видимому, горячий и роковой протест против идеи католической всех измученных и задущенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без католичества и без богов его, — самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше), есть не что иное, как лишь, вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками. Ибо социализм французский есть 20 не что иное, как *насильственное единение человечества* — идея, еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся. Таким образом идея освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его.

С другой стороны восстает старый протестантизм, протестующий против Рима вот уже девятнадцать веков, против Рима и идеи его, древней языческой и обновленной католической, против мировой его мысли владеть человеком на всей земле, и нравственно и материально, против цивилизации его, — протестующий еще со времен Арминия и Тевтобургских лесов. Это — германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества, а не в цивилизации католической. Во всю историю свою он только и грезил, только и жаждал объединения своего для провозглашения своей гордой идеи, — сильно формулировавшейся и объединившейся еще в Лютерову ересь; а теперь, с разгромом Франции, передовой, главнейшей и христианинейшей католической нации, пять лет тому назад, — германец уверен уже в своем 40 торжестве всецело и в том, что никто не может стать вместо него в главе мира и его возрождения. Верит он этому гордо и неуклонно; верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире и что Германия лишь одна может изречь его. Ему смешно даже предположить, что есть хоть что-нибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь

¹ Свобода, Равенство, Братство — или смерть (франц.).

такое, чего бы не могла заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия. Между тем очень не лишнее было бы заметить, хотя бы только в скобках, что во все девятнадцать веков своего существования Германия, только и делавшая, что протестовавшая, сама своего *нового слова* совсем еще не произнесла, а жила лишь все время одним отрицанием и протестом против врага своего так, что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего

10 девятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придется умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, *не будет против чего протестовать*. Пусть это покамест моя химера, но зато Лютеров протестантизм уже факт: вера эта есть протестующая и лишь *отрицательная*, и чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протестантство, наверно, потому что не против чего будет протестовать, обратится в прямой атеизм и тем кончится. Но это, положим, пока еще моя химера. Идею славянскую германец презирает так же, как и католическую, с тою только разницею, что последнюю он

20 всегда ценил как сильного и могущественного врага, а славянскую идею не только не ценил, но и не призывал ее даже вовсе до самой последней минуты. Но с падавших пор он уже начинает коситься па славян весьма подозрительно. Хоть ему и до сих пор смешно предположить, что у них могут быть тоже какие-нибудь цель и идея, какая-то там надежда тоже «сказать что-то миру», но, однако же, с самого разгрома Франции мнимые подозрения его усилились, а прошлогодние и текущие события, уж конечно, не могли облегчить его недоверчивости. Теперь положение Германии несколько хлопотливое: во всяком

30 случае и прежде всяких восточных идей ей надо кончить свое дело на Западе. Кто станет отрицать, что Франция, недобитая Франция, не беспокоит и не беспокоила германца во все эти пять лет после своего погрома именно тем, что он не добил ее. В семьдесят пятом году это беспокойство достигло в Берлине чрезвычайного даже предела, и Германия наверно ринулась бы, пока есть еще время, добивать исконного своего врага, но помешали некоторые чрезвычайно сильные обстоятельства. Теперь же, в этом году, сомнения нет, что Франция, усиливающаяся материально с каждым годом, еще страшнее пугает Германию, чем два года назад. Германия знает, что враг не умрет без борьбы, мало того, когда почувствует, что оправился совершенно, то сам задаст битву, так что через три года, через пять лет, может быть, будет уже очень поздно для Германии. И вот,

40 ввиду того, что Восток Европы так всецело проникнут своей собственной, вдруг восставшей, идеей и что у него слишком много теперь дела у себя самого — ввиду того весьма и весьма может случиться, что Германия, почувствовав свои руки на время развязанными,бросится па западного врага окончательно,

на страшный кошмар, ее мучающий, и — всё это даже может случиться в слишком и слишком недалеком будущем. Вообще же можно так сказать, что если на Востоке дела натянуты, тяжелы, то чуть ли Германия не в худшем еще положении. И чуть ли у ней еще не более опасений и всяких страхов в виду, несмотря на весь ее непомерно гордый тон, — и это по крайней мере нам можно взять в особенное внимание.

А между тем на Востоке действительно загорелась и засияла небывалым и неслыханным еще светом третья мировая идея — идея славянская, идея нарождающаяся, — может быть, третья 10 грядущая возможность разрешения судеб человеческих и Европы. Всем ясно теперь, что с разрешением Восточного вопроса вдвигнется в человечество новый элемент, новая стихия, которая лежала до сих пор пассивно и косно и которая, во всяком случае и наименее говоря, не может не повлиять на мировые судьбы чрезвычайно сильно и решительно. Что это за идея, что несет с собою единение славян? — всё это еще слишком неопределенно, но что действительно что-то должно быть внесено и сказано новое, — в этом почти уже никто не сомневается. И все эти три огромные мировые идеи сошлись, ввязавшись в развязке своей, почти в одно 20 время. Всё это, уж конечно, не капризы, не война за какое-нибудь наследство или из-за пререканий каких-нибудь двух высоких дам, как в прошлом столетии. Тут нечто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не решающее все судьбы человеческие, но, без сомнения, несущее с собою начало конца всей прежней истории европейского человечества, — начало разрешения дальнейших судеб его, которые в руках божиих и в которых человек почти ничего угадать не может, хотя и может предчувствовать.

Теперь вопрос, невольно представляющийся всякому мыслящему человеку: могут ли такие события остановиться в своем 30 течении? Могут ли идеи такого размера подчиняться мелким, живовступающим, третьестепенным соображениям? Можно ли отдалить их разрешение и полезно это или нет, наконец? Мудрость, без сомнения, должна хранить и ограждать нации и служить человеколюбию и человечеству, но иные идеи имеют свою косную, могучую и всеувлекающую силу. Оторвавшуюся и падающую вершину скалы не удержишь рукой. У нас, русских, есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, — это вседелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом. Последнее, 40 конечно, неоспоримо, но идею народную не только не понимают, но и не хотят совсем понять «ободнявшие Петры наши».

II. МИРАЖИ. ШТУНДА И РЕДСТОКИСТЫ

Но одни ли «европействующие» и «ободнявшие Петры» не хотят понять? Есть и другие, гораздо злокачественнее. «Петры» признают по крайней мере наше народное движение в этом

году в пользу славян, а те нет. Петры даже хвалят это движение, по-своему конечно, хотя многое им в нем не нравится, но те самое движение отрицают, вопреки свидетельству всей России: «Не было, дескать, ничего, да и только. Мало того, что не было, но и не могло-де быть». «Народ, дескать, нигде не кричал и не заявлял, что войны хочет». Да народ наш никогда и не кричит и не заявляет, народ наш разумен и тих, а к тому же вовсе не хочет войны, вовсе даже, а лишь сочувствует своим угнетенным братьям за веру Христову от всей души и от горячего сердца, но уж коли надо будет, коли раздастся великое слово царя, то весь пойдет, всей своей стомиллионной массой, и сделает всё, что может сделать этакая стомиллионная масса, одушевленная одним порывом и в согласии, как един человек. Так что этакую силу единения, виду таинственного будущего близких судеб всей Европы, нельзя не ценить и нельзя не созерцать перед собою в минуты некоторых невольных соображений и гаданий наших. Да и бог с ней, с войной; кто войны хочет, хотя, в скобках говоря, пролитая кровь «за великое дело любви» много значит, многое очистить и омыть может, многое может вновь оживить и многое, доселе приниженное и опакощенное в душах наших, вновь возвести.

Но это лишь «слова и мысли». Я всего только говорил, что есть исторические события, увлекающие всё за собой и от которых не избавишься ни волей, ни хитростью, точно так же, как не запретишь морскому приливу остановиться и возвратиться вспять. Но всё же обиден этот торжествующий теперь, после летних восторгов, цинизм, обидна эта радость цинизма, радость чему-то гадкому, будто бы восторжествовавшему над восторгом людей, обидны эти торжествующие речи людей, не то что уж презирающих, но чуть ли не совсем отрицающих даже весь народ наш и признающих в нем, кажется, по-прежнему, всего лишь одну косную массу и рабочие руки, точь-в-точь как признавали это два века сряду до великого дня девятнадцатого февраля. «Стану я подражать этому народу? Какая это у него идея, где вы ее отыскали?» — вот что слышишь теперь почти поминутно. Это неверие в духовную силу народа есть, конечно, неверие и во всю Россию. Без сомнения, замешалось тут чрезвычайно много всяких и разнообразных причин, руководящих отрицателями, но верите ли — в пих много и искреннего! А главное и прежде всего — совершенное незнание России. Ну можно ли представить себе, что иной из них почти рад нашей штунде, рад для народа, для выгоды и для блага его: «Всё же-де это несколько выше прежних народных понятий, всё же это может хоть несколько облагородить народ». И не думайте, чтоб это были только редкие и единичные рассуждения. Кстати, что такое эта несчастная штунда? Несколько русских рабочих у немецких колонистов поняли, что немцы живут богаче русских и что это оттого, что порядок у них другой. Случившиеся тут пасторы разъяснили, что

лучшие эти порядки от того, что вера другая. Вот и соединились кучки русских темных людей, стали слушать, как толкуют Евангелие, стали сами читать и толковать и — произошло то, что всегда происходило в таких случаях. Несут сосуд с драгоценной жидкостью, все падают ниц, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: «Слепцы! чего вы сосуд це-¹⁰луете: дорога лишь живительная влага, в нем заключающаяся, дорогое содержимое, а не содержащее, а вы целуете стекло, простое стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете всю свя-¹⁰тость, так что забываете про драгоценное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!» И вот разбивается сосуд, и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся в землю, подымается суматоха: чтобы что-нибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках, начинают кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, как и из чего его сделать. Спор начинают уже *с самого начала*; и тотчас же, с самых первых двух слов, спор уходит ²⁰ в букву. Этой букве они готовы поклониться еще больше, чем прежней, только бы поскорее добыть новый сосуд; но спор ожесточается, люди распадаются на враждебные между собою кучки, и каждая кучка уносит для себя по нескольку капель остающейся драгоценной влаги в своих особенных разнокалиберных, отовсюду набранных чашках и уже не сообщается впредь с другими кучками. Каждый своею чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной кучке начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько раз, на сколько черепков разбился сосуд. История вечная, старая-престарая, начавшаяся ³⁰ гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизменным историческим законам почти точь-в-точь та же история и в нашей штунде: известно, что они уже распадаются, спорят о буквах, толкуют Евангелие всяк на свой страх и на свою совесть, и, главное, *с самого начала*, — бедный, несчастный, темный народ! При этом столько чистосердечия, столько добрых начинаний, столько желания выдержать даже хоть муки и при всём том, однако, — столько самой беспомощной глупости, столько маленького педантского лицемерия, самолюбия, усладительной гордости в новом чине «святых», даже плутовства и крючкотворства, ⁴⁰ а главное — всё «*с самого начала*», с самого то есть сотворения мира, с того, что такое есть человек и что женщина, что хорошо и что дурно и даже: есть ли бог или нет его? И как вы думаете: именно то, что они так беспомощны и так принуждены начинать с начала, именно это-то и нравится многим и особенно некоторым: «Своим-де умом начнут жить, стало быть, непременно договорятся до чего-нибудь». Вот рассуждение! Так что добытое ве-ками драгоценное достояние, которое надо бы разъяснить этому

темному народу в его великом истинном смысле, а не бросать в землю, как ненужную старую ветошь прежних веков, в сущности пропало для него окончательно. Развитие, свет, прогресс отдаляются опять для него намного назад, ибо наступит теперь для него уединенность, обособленность и закрытость раскольничества, а вместо ожидаемых «разумных» новых идей воздвигнутся лишь старые, древнейшие, всем известные и поганейшие идолы, — и попробуйте-ка их теперь сокрушить! А, впрочем, бояться штунды совсем нечего, хотя жалеть ее очень можно. Эта

¹⁰ штунда не имеет никакого будущего, широко не раздвинется, скоро остановится и наверно сольется с которой-нибудь из темных сект народа русского, с какой-нибудь хлыстовицей — этой древнейшей сектой всего, кажется, мира, имеющей бесспорно свой смысл и хранящей его в двух древнейших атрибуатах: верчении и пророчестве. Ведь и тамплиеров судили за верчение и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуют, и пифия в древности вертелась и пророчествовала, и у Татариновой вертелись и пророчествовали, и редстокисты наши, весьма может быть, кончат тем, что будут вертеться, а пророчествуют они, уж ²⁰ кажется, и теперь. Да не обижаются редстокисты сравнением. Кстати, многие смеются совпадению появления обеих сект у нас в одно время: штунды в черном народе и редстокистов в самом изящном обществе нашем. Между тем тут много и не смешного. Что же до совпадения в появлении двух наших сект, — то уж без сомнения они вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии.

III. ФОМА ДАНИЛОВ, ЗАМУЧЕННЫЙ РУССКИЙ ГЕРОЙ

В прошлом году, весною, было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском инвалиде», о мученической ³⁰ смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утопченейших истязаний, 21 ноября 1875 года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может и, как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его батырем, ⁴⁰ то есть по-русски богатырем. Тогда это известие, хотя и сообщенное всеми газетами, прошло как-то без особенного разговора в обществе, да и газеты, сообщив его в виде обыкновенного газетного *entrefilet*,¹ не сочли нужным особенно распространять.

¹ Сообщения (*франц.*).

питься о нем. Одним словом, с Фомой Даниловым «было тихо», как говорят на бирже. Потом, как известно, наступило славянское движение, явились Черняев, сербы, Киреев, пожертвования, добровольцы, и об Фоме замученном позабыли совсем (то есть в газетах), и вот недавно только получились к прежнему известию дополнительные подробности. Сообщают опять, что самарский губернатор навел справки о семействе Данилова, происходившего из крестьян села Кирсаповки, Самарской губернии, Бугурусланского уезда, и оказалось, что у него осталась в живых жена Евфросинья 27 лет и дочь Улита шести лет, находившиеся ¹⁰ в бедственном положении. Им помогли по благородному почину самарского губернатора, обратившегося к некоторым людям с просьбою помочь вдове и дочери замученного русского героя и к самарскому губернскому земскому собранию с предложением, не пожелает ли оно поместить дочь Данилова стипендияткой в одно из учебных заведений. Затем собрали 1320 рублей и из них шестьсот отложили дочери до совершеннолетия, а остальную сумму выдали самой вдове на руки, а дочь Данилова приняли в учебное заведение. Кроме того, начальник Главного штаба ²⁰ уведомил губернатора о всемилостивейше назначенной вдове Данилова пожизненной пенсии из государственного казначейства, по сто двадцати рублей в год. Затем — затем дело, вероятно, опять будет забыто ввиду текущих тревог, политических опасений, огромных вопросов, ждущих разрешения, крахов и проч. и проч.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось к этому поразительному поступку равнодушно, как к не стоящему внимания. Факт лишь тот, что немного говорили или, лучше, почти никто не говорил об этом *особенно*. Впрочем, может быть, и говорили где-нибудь про себя, у купцов, у духовных, например, но не в обществе, не в интеллигенции нашей. ³⁰ В народе, конечно, эта великая смерть не забудется: этот герой принял муки за Христа и есть великий русский; народ это оценит и не забудет, да и никогда он таких дел не забывает. И вот я как будто уже слышу некоторые столь известные мне голоса: «Спля-то, конечно, спла, и мы признаем это, но ведь всё же — темная, проявившаяся слишком уж, так сказать, в допотопных, оказавшихся формах, а потому — что же нам *особенно*-то говорить? Не нашего это мира; другое бы дело сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другие страдальцы и другие силы, есть и идея безмерно высшее — идея общечеловечности, например...»

Несмотря на эти разумные и интеллигентные голоса, мне всё же кажется позволительным и вполне извинительным сказать нечто *особенное* и об Данилове; мало того, я даже думаю, что и самая интеллигенция наша вовсе бы себя не столь упизпла, если бы отнеслась к этому факту повнимательнее. Меня, например, прежде всего удивляет, что не обнаружилось никакого удивления; именно удивления. Я не про парод говорю: там удивления

и не надо, в нем удивления и не будет; поступок Фомы ему не может казаться необыкновенным, уже по одной великой вере народа в себя и в душу свою. Он отзовется на этот подвиг лишь великим чувством и великим умилением. Но случись подобный факт в Европе, то есть подобный факт проявления великого духа, у англичан, у французов, у немцев, и они наверно прокричали бы о нем на весь мир. Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, — эмблема России, 10 всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства. Послушайте, ведь вы всё же не эти циники, вы всего только люди интеллигентно-европействующие, то есть в сущности предобреийшие: ведь не отрицаете же и вы, что летом народ наш проявил межстами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и детей и шли умирать за веру, за угнетенных, бог знает куда и бог знает с какими средствами, точь-в-точь как первые крестоносцы девять столетий тому назад в Европе, — те самые крестоносцы, которых появление вновь Грановский, например, считал бы чуть ли не смешным и обидным «в наш век положительных задач, прогресса» и проч. и проч. Пусть это летнее движение наше, по-вашему, было слепое и даже как бы неразумное, так сказать «крестоносное», но ведь твердое же и великодушное, в этом нельзя не сознаться, если чуть-чуть пошире посмотреть. Просыпалась великая идея, вознесшая, может быть, сотни тысяч и миллионов душ разом над косностью, цинизмом, развратом и безобразием, в которых купались до того эти души. Ведь вы 20 знаете, народ наш считают до сих пор хоть и добродушным и даже очень умственно способным, но всё же темной стихийной массой, без сознания, преданной поголовно порокам и предрасудкам, и почти сплошь безобразником. Но, видите ли, я осмелиюсь высказать одну даже, так сказать, аксиому, а именно: чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. 30 Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более читый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа.

Фома Данилов с виду, может, был одним из самых обыкновенных и неприметных экземпляров народа русского, непримет-

ных, как сам народ русский. (О, он для многих еще совсем неприметен!) Может быть, в свое время не прочь был погулять, выпить, может быть, даже не очень молился, хотя, конечно, бога всегда помнил. И вот вдруг велят ему переменить веру, а не то — мученическая смерть. При этом надо вспомнить, что такое бывают эти муки, эти азиатские муки! Пред ним сам хан, который обещает ему свою милость, и Данилов отлично понимает, что отказ его непременно раздражит хана, раздражит и самолюбие кипчаков тем, «что смеет, дескать, христианская собака так презирать ислам». Но несмотря на всё, что его ожидает, этот неприметный русский человек принимает жесточайшие муки и умирает, удивив истязателей. Знаете что, господа, ведь из нас никто бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но ведь тут дело произошло в совершенной безвестности, в глухом углу; никто-то не смотрел на него; да и сам Фома не мог думать и наверно не предполагал, что его подвиг огласится по всей земле Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первых веков христианских, отчасти всё же были утешены и облегчены, принимая свои муки, тем убеждением, что смерть их послужит примером для робких и колеблющихся и еще больших привлечет к Христу. Для Фомы даже и этого великого утешения быть не могло: кто узнает, он был один среди мучителей. Был он еще молод, там где-то у него молодая жена и дочь, никогда-то он их теперь не увидит, но пусть: «Где бы я ни был, против совести моей не поступлю и мучения приму», — подлинно уж правда для правды, а не для красы! И никакой кривды, никакого софизма с совестью: «Приму-де ислам для виду, соблазна не сделаю, никто ведь не увидит, потом отмолюсь, жизнь велика, в церковь пожертвую, добрых дел наделаю». Ничего этого не было, честность изумительная, первоначальная, стихийная. Нет, господа, вряд ли мы так поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторю, подвиг Данилова, может быть, даже и не удивителен. В том-то и дело, что тут именно — как бы портрет, как бы всецелое изображение народа русского, тем-то всё это и дорого для меня, и для вас, разумеется. Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красы. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти. И всё это он сделает и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь: «Во что верую, то и исповедую». Тут даже самые ожесточенные спорщики насчет «ретроградства» идеалов народных не могут иметь никакого слова, ибо дело вовсе уже не в том: ретрограден идеал или нет? А лишь в способности проявления величайшей

воли ради подвига великодушия. (Эту смешную идейку о «ретроградстве» идеалов я ввел здесь ради полного беспристрастия.)

Знаете, господа, надо ставить дело прямо: я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить такой парод. Это софизм, разумеется, но он иногда приходит на ум. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научим его — вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания, — этому и немцы заезжие по найму научат, если мы не научим, нет, а мы-то чему? Мы ведь русские, братья 10 этому народу, а стало быть, обязаны просветить его. Нравственное-то, высшее-то что ему передадим, что разъясним и чем осветим эти «темные» души? Просвещение народа — это, господа, наше право и наша обязанность, право это в высшем христианском смысле: кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, блющающему во тьме брату своему, так по Евангелию. Ну и что же мы сообщим блющающему, чего бы он сам не знал лучше нашего? Прежде всего, конечно, что учение полезно и что надо учиться, так ли? Но народ еще прежде нашего сказал, что «ученье — свет, не 20 ученье — тьма». Уничтожению предрассудков, например, низвержению идолов? Но ведь в нас самих такая бездна предрассудков, а идолов мы столько себе наставили, что народ прямо скажет нам: «Врачу — исцелися сам». (А идолов наших он отлично умеет уже разглядывать!) Что же, самоуважению, собственному достоинству? Но народ наш, весь, в целом своем, гораздо более нашего уважает себя, гораздо глубже нашего читит и понимает свое достоинство. В самом деле, мы самолюбивы ужасно, но ведь мы совсем не уважаем себя, и собственного достоинства в нас вовсе нет никакого и даже ни в чем. Ну нам ли, например, 30 научить народ уважению к чужим убеждениям? Народ наш доказал еще с Петра Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что, кто так легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя. Ну нам ли учить народ вере в себя самого и в свои силы? У народа есть Фомы Даниловы и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну почему же, наконец, мы на 40 учить можем? Мы гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и читит народ наш и к чему рвется его сердце. Ну какие же мы народолюбцы? Возразят, что тем больше, стало быть, любим народ, коли гнушаемся его невежеством, желая ему лучшего. О нет, господа, совсем нет: если б мы вправду и на деле любили народ, а не в статейках и книжках, то мы бы поближе подошли к нему и озабочились бы изучить то, что теперь совсем наобум, по европейским шаблонам, желаем в нем истребить:

тогда, может, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можем.

Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж.¹⁰

Но что же это за пункт примирения?

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ МЕЧТА ВНЕ НАУКИ

И прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положение и с него начинаю:

«Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и²⁰ заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенней».

Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, иметь, в свои сроки, огромное мировое влияние на судьбы человечества. Так, бесспорно, было с древним Римом, так потом было с Римом в католическое время его существования. Когда католическую идею³⁰ его унаследовала Франция, то то же самое стало и с Францией, и, в продолжение почти двух веков, Франция, вплоть до самого недавнего погрома и уныния своего, всё время и бесспорно — считала себя во главе мира, по крайней мере нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущего. Но о том же мечтала всегда и Германия, выставившая против мировой католической идеи и ее авторитета знаменем своим протестантизм и бесконечную свободу совести и исследования. Повторяю, то же бывает и со всеми великими нациями, более или менее, в зените развития их.⁴⁰ Мне скажут, что всё это неверно, что это ошибка, и укажут, например, на собственное сознание этих же самых народов, на сознание их ученых и мыслителей, писавших именно о совокупном значении европейских наций, участвовавших купно в созда-

нии и завершении европейской цивилизации, и я, разумеется, отрицать такого сознания не буду. Но не говоря уже о том, что такие окончательные выводы сознания и вообще составляют как бы уже конец живой жизни народов, укажу хотя бы лишь на то, что самые-то эти мыслители и сознаватели, как бы там ни писали о мировой гармонии наций, всё же, в то же самое время, и чаще всего, непосредственным, живым и искренним чувством *продолжали веровать*, точь-в-точь как и массы народа их, что в этом хоре наций, составляющих мировую гармонию и 10 выработанную уже сообща цивилизацию, — они (то есть французы, например) и есть голова всего единения, самые передовые, те самые, которым предназначено вести, а те только следуют за ними. Что они, положим, если и позаимствуют у тех народов что-нибудь, то всё же немножко; но зато те народы, напротив, возьмут у них всё, всё главное, и только их духом и их идеей жить могут, да и не могут иначе сделать, как сопричаститься их духу в конце концов и слиться с ним рано или поздно. Вот и в теперешней Франции, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь еще одна из таких идей, пред-20ставляющая новый, но, по-нашему, совершенно естественный фазис ее же прежней мировой католической идеи и развитие ее, и чуть не половина французов верят и теперь, что в ней-то и кроется спасение, не только их, но и мира, — это именно их французский социализм. Идея эта, то есть ихний социализм, конечно, ложная и отчаянная, но не в качестве ее теперь дело, а в том, что она теперь существует, живет живой жизнью и что в исповедующих ее нет сомнения и уныния, как в остальной огромной части Франции. С другой стороны, взгляните на каждого почти англичанина, высшего или низшего типа, лорда или 30 работника, ученого или необразованного, и вы убедитесь, что каждый англичанин прежде всего старается быть англичанином, сохраняться в виде англичанина во всех фазисах своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловеческой, и даже любить человечество старается не иначе, как в виде англичанина. Мне скажут, что если б даже и так, если б и было всё это как я утверждаю, то все-таки такое самообольщение и самомнение было бы даже унизительно для тех великих народов, умалчило бы значение их эгоизмом, нелепым шовинизмом, и не то чтобы придало им жизненной силы, а, напротив, повредило бы 40 и растлило бы их жизнь в самом начале. Скажут, что подобные безумные и гордые идеи достойны не подражания, а, напротив, искоренения светом разума, уничтожающего предрассудки. Положим, что с одной стороны это очень правда; по всё же тут надо непременно посмотреть и с другой стороны, и тогда выйдет не только не унизительно, а даже совсем напротив. Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем? Поверьте, что такие, пожалуй, гордые и заносчивые мечты могут быть гораздо живительнее и полезнее этому юноше,

чем иное благоразумие того отрока, который уже в шестнадцать лет верит премудрому правилу, что «счастье лучше богатырства». Поверьте, что жизнь этого юноши даже после прожитых уже бедствий и неудач, в целом, будет все-таки краше, чем успокоенная жизнь мудрого товарища детства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Так точно и в народах: пусть есть народы благоразумные, честные и умеренные, спокойные, без всяких порывов, торговцы и кораблестроители, живущие богато и с чрезвычайною опрятностью; ну ¹⁰ и бог с ними, всё же далеко они не пойдут; это непременно выйдет средина, которая ничем не сослужит человечеству: этой энергии в них нет, великого самомнения этого в них нет, трех этих шевелящихся китов под ними нет, на которых стоят все великие народы. Вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им при- ²⁰ нести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация имеет право на высшую жизнь. Древний легендарный рыцарь верил, что пред ним падут все препятствия, все призраки и чудовища и что он победит всё и всех и всего достигнет, если только верно сохранит свой обет «справедливости, целомудрия и нищеты». Вы скажете, что всё это легенды и песни, которым может верить один Дон-Кихот, и что совсем не таковы законы действительной жизни нации. Ну, так ³⁰ я вас, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такие же Дон-Кихоты, что у вас самих есть такая же идея, которой вы верите и через которую хотите обновить человечество!

В самом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж, господа, что может быть выше ⁴⁰ и свяще этой веры вашей? И главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни у какого, например, народа в Европе, где личности наций чрезвычайно резко очерчены, где если есть эта вера, то не иначе как на степени какого-нибудь еще умозрительного только сознания, положим, пылкого и пламенного, но всё же не более как кабинетного. А у вас, господа, то есть не то что у вас, а у нас, у нас всех, русских, — эта вера есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому

верят и сознательно и просто, п в интеллигентном мире и живым
чутьем в простом народе, которому и религия его повелевает
этому самому верить. Да, господа, вы думали, что вы только
одни «общечеловеки» из всей интеллигенции русской, а осталь-
ные только славянофилы да националисты? Так вот нет же:
славянофилы-то и националисты верят точь-в-точь тому же са-
мому, как и вы, да еще крепче вашего!

Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали
они устами своих передовых деятелей, основателей и представи-
телей своего учения?¹⁰ Они прямо, в ясных и точных выводах,
заявляли, что Россия, вкупе со славянством и во главе его, ска-
жет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слы-
шал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого
единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и
нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей
цивилизации, из борьбы за существование, положительной нау-
кой определяя свободному духу нравственные границы, в то же
время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу
и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истин-
²⁰ ной широкой любви, без лжи и материализма и на основании
личного великодушного примера, который предназначено дать
себою русскому народу во главе свободного всеславянского еди-
нения Европе. Вы скажете мне, что вы вовсе не тому верите,
что всё это кабинетные умозрения. Но дело тут вовсе не в во-
просе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю
разноголосицу, всё же сходятся и сводятся к этой одной окон-
чательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт,
не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому
что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого
³⁰ чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот
и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная
национальная идея; именно *национальная*. Следовательно, если
национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемир-
ное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода
в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать по-
скорее русскими и национальными. Всё спасение наше лишь
в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта
идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из
кабинета всем вместе перейти прямо к делу.

⁴⁰ Но вот тут-то и пункт.

II. МЫ В ЕВРОПЕ ЛИШЬ СТРЮЦКИЕ

Ведь вы как переходили к делу? Вы ведь давно пачали, очень
давно, но что, однако, вы сделали для общечеловечности, то есть
для торжества вашей идеи? Вы начали с бесцельного скиталь-
чества по Европе при алчном желании переродиться в европей-

цев, хотя бы по виду только. Целое восемнадцатое столетие мы только и делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: «Вот, дескать, какой я англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу». Вы думаете, я издеваюсь? Ничуть. Я слишком понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московских еще царях и патриархах, один гогдашний молодой московский франт, из передовых, надел французский костюм и к боку прицепил европейскую шпагу. Мы именно должны были начать с презрения к своему и к своим,¹⁰ и если пробыли целые два века на этой точке, не двигаясь ни назад ни вперед, то, вероятно, таков уж был наш срок от природы. Правда, мы и двигались: презрение к своему и к своим всё более и более возрастало, особенно когда мы посеребренее начали понимать Европу. В Европе нас, впрочем, никогда не смущали резкие разъединения национальностей и резко определившиеся типы народных характеров. Мы с того и начали, что прямо «сняли все противоположности» и получили общечеловеческий тип «европейца» — то есть с самого начала подметили *общее*, всех их связующее, — это очень характерно. Затем,²⁰ с течением времени поумнев еще более, мы прямо ухватились за цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человечество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на нас, па чужих и пришельцев, этой восторженной вере нашей, тем более что сами они, увы, стали уж и тогда помаленьку терять эту веру в себя. Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера, мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созыванию «Национальных Штатов» в 89 году, и если мы и приходили потом в отчаяние, в конце³⁰ первой четверти уже нынешнего века, вместе с передовыми европейцами над их погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то веры нашей все-таки не потеряли и даже самих европейцев утешали. Даже самые «белые» из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же «красными» — чрезвычайно характерная тоже черта. Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму и приняли его, без малейших колебаний, за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас доселе мечты нашей. Таким образом, за⁴⁰ достижение цели мы приняли то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бесполковщины и безурядицы, верх клеветы па природу человеческую, верх уничтожения всякой свободы людей, по это пас не смущало никакого. Напротив, видя грустное недоумение иных глубоких европейских мыслителей, мы с совершенной развязностью немедленно обозвали их подлецами и тупицами. Мы вполне поверили, да и теперь еще верим, что положительная паука вполне способна опреде-

лить нравственные границы между личностями единиц и наций (как будто наука, — если бы могла это она сделать, — может открыть эти тайны раньше завершения опыта, то есть раньше завершения всех судеб человека на земле). Наши помещики продаивали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы, а наши Рудины умирали на баррикадах. Тем временем мы до того уже оторвались от своей земли русской, что уже утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение рознится с душой народа русского. Впрочем, русский народный характер мы не только считали ни во что, но и не признавали в народе никакого характера. Мы забыли и думать о нем и с полным деспотическим спокойствием были убеждены (не ставя и вопроса), что народ наш тотчас примет всё, что мы ему укажем, то есть в сущности прикажем. На этот счет у нас всегда ходило несколько смешнейших анекдотов о народе. Наши общечеловеки пребывали к своему народу вполне помещиками, и даже после крестьянской реформы.

И чего же мы достигли? Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: *Grattez, descker, le russe et vous verrez le tartare*,¹ и так и доселе. Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли пред ними, мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учитивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это всё у них «не так поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (*les tartares*), никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотим, чего-то им страшного и опасного; поняли, что нас много, восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем все европейские идеи, а что они наших русских идей не знают, а если и узнают, то не поймут; что мы говорим на всех языках, а что они говорят лишь на одних своих, — ну и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской ци-

¹ Поскребите русского, и вы увидите татарина (франц.).

вилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отчество, — я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам *почти* так же *всем* дорога, как Россия; в ней всё Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо 10 каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе пашем, тем сильнее и ближе отзовались бы европейской душе и, породившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы полу- 20 чим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международную общмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем, есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще 30 не слыхали. Мы убедимся тогда, что настояще социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, — единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью па деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов...

А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была 40 шутка. Но — слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...

III. СТАРИНА О «ПЕТРАШЕВЦАХ»

В настоящую минуту, как всем известно, производится суд над участниками в казанской истории 6-го декабря. О ходе процесса мои читатели, вероятно, уже знают из газет. Но в одной

газете меня поразило одно замечание о бывших когда-то петрашевцах — известном преступном обществе в конце сороковых годов, в котором и мне привелось участвовать, за что я и заплатил десятилетней ссылкой в Сибирь и четырехлетней каторгой. Замечание это сделала «Петербургская газета» в торячей передовой статье о казанской истории. Между прочим, в статье этой выписаны были из сочинения г-на Стронина «Политика как наука» несколько превосходных строк, которые я приведу здесь целиком. Это совет молодежи, идущей «в народ»:

10 «Вместо того, чтоб идти в народ, пользуйтесь случаем, он сам придет к вам. У вас есть прислуга, есть кухарка, есть горничная, кучер, лакей, дворник. Если вам хочется быть демократом, посадите их с собою за свой стол, за свой чай, введите их в семейную жизнь вашу. Вместо того, чтобы говорить им, что нет бога и что есть прокламация, как начинает получать всякий глупый либерал, скажите им лучше, что есть сложение и вычитание, что есть грамота и азбука. А между тем будьте с вашими учениками честны, внимательны, серьезны и не фамильярны, и вообще подайте пример добрых или по крайней мере лучших нравов».

Теперь собственно о петрашевцах. Вот что говорит автор 20 передовой статьи:

«Другая мысль, на которую невольно наводит „казанская история“, представляет в общественном сознании еще более утешительную сторону, а именно, что герои всех подобных печальных историй раз от раза становятся всё мизернее, незанимательнее даже для пылких умов. Когда-то, 50 лет назад, субъектами политических преступлений в России были люди, выходившие из среды высшего, интеллигентного общества (декабристы); в 40 годах тип русского политического преступника значительно стал мельче («петрашевцы»); в начале 60 годов он уже измельчал до так называемого мыслящего пролетариата («чернышевцы»); в начале 70 годов он пал до неразвитых, школьных недоучек и низкопробных нигилистов («нечаевцы»); в долгущинской истории на поприще пропагандистов фигурирует уже полуграмотный сброд; наконец, в „казанской истории“ остается не только еще полуграмотный сброд, но с большим оттенком еврейского элемента и фабричного забулдыги. Такое постепенное мельчание лучшее доказательство, что преступная политическая пропаганда после всех либеральных реформ нынешнего царствования никак уже не может рассчитывать на увлечение ею со стороны сколько-нибудь развитых элементов общества, а на народную массу она тем менее может влиять, потому что народная масса показала, как она встречает своих 40 непрошенных пророков...»

Мысль автора о ничтожности у нас революционной пропаганды без сомнения верная, хотя и выражена неясно; тут многое надо было гораздо точнее определить ради пользы дела. Но я замечу лишь о петрашевцах, что вряд ли прав автор, указывая на их примере об измельчании политического преступника сравнительно с декабристами. Прибавлю, что мысль эту об «измельчании» я уже давно слышал; она не раз уже повторялась в печати, вот почему я и останавливаюсь на ней теперь, повстречав ее кстати. По-моему, коренное изменение типа политического преступника произошло у нас лишь за последние двадцать лет;

по петрашевцы были совершенно еще одного типа с декабристами, по крайней мере по тем существенным признакам типа, на которые указывает сам автор статьи. Автор говорит, что декабристы были люди, «выходившие из среды высшего интеллигентного общества». Но чем же иным были петрашевцы? В составе декабристов действительно, может быть, было более лиц в связях с высшим и богатейшим обществом; но ведь декабристов было и несравненно более числом, чем петрашевцев, между которыми было тоже немало лиц в связях и в родстве с лучшим обществом, а вместе с тем и богатых. К тому же высшее общество нисколько ведь не сочувствовало замыслу декабристов и в нем не участвовало даже и косвенно, так что с этой стороны не могло им придать никакого особого значения. Тип декабристов был более военный, чем у петрашевцев, по военных было довольно и между петрашевцами. Одним словом, я не знаю, в чем видит различие автор. И те и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же *господскому*, *барскому*, так сказать, обществу, и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, то есть декабристов и петрашевцев, решительно не было никакого различия.²⁰ Если же между петрашевцами и было несколько разночинцев (крайне немного), то лишь в качестве людей образованных, и в этом качестве они могли явиться и у декабристов. Вообще же говоря, мещане и разночинцы не могли быть ни у декабристов, ни у петрашевцев в значительном числе, но лишь потому, что они тогда и не являлись в числе. Что же до *интеллигентности* как высшего качества декабристов над петрашевцами, то в этом автор совсем уже ошибся: общество декабристов состояло из людей, несравненно менее образованных, чем петрашевцы. Между петрашевцами были, в большинстве, люди, вышедшие из самых высших учебных заведений — из университетов, из Александровского лицея, из Училища правоведения и из самых высших специальных заведений. Было много преподающих и специально занимающихся наукой. Впоследствии, после помилования их, многие из них заявили себя весьма заметно, и если брать всех петрашевцев, то есть не одних сосланных в Сибирь, а и наказанных в России ссылкой по крепостям и па Кавказе, или удалением на службу в отдаленные города, или, наконец, просто оставшихся под надзором, то весьма и весьма многие из них заявили себя потом с большою честью в науке, как профессора,⁴⁰ как естествоиспытатели, как секретари ученых обществ, как авторы замечательных ученых сочинений, как издатели журналов, как весьма заметные беллетристы, поэты и вообще как полезные и интеллигентные деятели. Повторяю, по отношению к образованию петрашевцы представляли тип высший перед декабристами.

Разумеется, наблюдателям об «измельчании» типа многое могло представиться неверно и потому еще, что петрашевцы

были несравненно малочисленнее декабристов, существовали самый короткий срок и заключали в составе своем в большинстве людей более молодых, чем декабристы.

Чтоб заключить, скажу, что вообще тип русского революционера, во всё наше столетие, представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыто его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтоб действительно озабочиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их. Революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие. Ныне же, от многих и сложных причин, о которых мы непременно скажем слово в одном из будущих выпусков «Дневника», — ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа, что оба они друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как всё же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженнейшей уверенности, что их непременно поймет народ. Эта каша может кончиться лишь сама собою, но тогда только, когда восполнится и заключится цикл нашего европейничанья и мы все воротимся на родную почву всецело.

С реформами нынешнего царствования естественно началось изучение и познание нужд народных уже деятельно, в живой жизни, а не закрыто и отвлеченно, как прежде. Таким образом получается новый, еще неслыханный слой русской интеллигенции, уже понимающей народ и почву свою. Новый слой этот нарастает и укрепляется всё шире и тверже, и это несомненно. На этих-то новых людей и вся надежда наша...

IV. РУССКАЯ САТИРА. «НОВЬ». «ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ». СТАРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Занимался я в этот месяц и литературой, то есть беллетристикой, «изящной литературой», и кое-что прочел с увлечением. Кстати, недавно прочел я одно иностранное мнение о русской сатире, то есть о современной нашей сатире, теперешней. Оно высказано было во Франции. Замечателен тут один вывод, — забыл подлинные слова, но вот смысл: «Русская сатира как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор, пока не прищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обрадуется и закричит: „Это

Човсе не хороший поступок, радоваться совсем нечему, видите сами, тут тоже подлец сидит!“

Справедливо ли это мнение? Не верю, чтоб было справедливо. Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. Публика очень любит сатирику, и однако, мое убеждение, по крайней мере, что та же самая публика несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее. Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков.

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает ¹⁰ некоторою неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у неё у самой нет никакой подкладки, по может ли это быть? Чему она сама-то верит, во имя чего обличает — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать, что сама она считает хорошим.

И вот над вопросом этим странно задумываешься.

Прочел «Новь» Тургенева и жду второй части. Кстати: вот уже тридцать лет как я пишу, и во все эти тридцать лет мне ²⁰ постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчеты за весь истекший год), — то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, всё одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «В наше время, когда русская литература в таком за- ³⁰ стое», «В наше литературное безвремение», «Странствуя в пустынях русской словесности» и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явились так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже ⁴⁰ и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности». Впрочем, это только забавное наблюдение мое; да и вещь-то совершенно невинная и не имеющая никакого значения. А так, усмехнуться можно.

Об «Нови» я, разумеется, ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достопиство созданий Тургенева вне сомнения. Замечу лишь одно: на 92 странице

романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина.

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок». Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стопы 10 больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно 20 я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. 30 Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись» (сам он еще не читал ее); «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих „Бедных людей“!» — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто всё это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — всё это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и минительность немедленно возвращалась.

Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищев; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «Ле почтать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, от¹⁰ ворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером вернулись рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некра²⁰сова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: „Ах, чтоб его!“ Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня³⁰ тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с пол слова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитая из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное —⁴⁰ чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре, через год потом. Некра-

сов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с 16-ти лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, по рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд моя очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представляя его себе почему-то совсем другим — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как всё преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатилетнего начинающего писателя, а, так сказать, изувечения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаетель сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутью, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почтеть от принужденности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог пожалеть „их превосходительство“, не его превосходительство, а „их превосходительство“, как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтобы самому не-рассуждающему читателю стало вдруг всё понятно! Вот тайна

художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цепите же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Всё это он тогда говорил мне. Всё это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось ¹⁰ что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду „верен“! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А всё говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!»

Я это всё думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя ³⁰ у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об вас тогда написал», — сказал он мне. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вешне их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.

40

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданию поэт!..

V. ИМЕНИННИК

Помните ли вы «Детство и отрочество» графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы. Но это не простой мальчик, не как другие дети, не как брат его Володя. Ему всего каких-нибудь лет двенадцать, а в голову и в сердце его уже заходят мысли и чувства не такие, как у его сверстников. Мечтам и чувствам своим он уже отдается страшно и уже знает, что их лучше хранить ему про себя. Обнаруживать их уже мешает ему стыдливое целомудрие и высшая гордость. Он завидует брату и считает его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красоте лица, а между тем он втайне предчувствует, что брат гораздо ниже его во всех отношениях, но он гонит свою мысль и считает ее низостью. Он смотрит на себя в зеркало слишком часто и решает, что он уродливо нехорош собою. У него мелькают мечты, что его никто не любит, что его презирают... Одним словом, это мальчик довольно необыкновенный, а между тем именно принадлежащий к этому типу семейства средней-высшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой. И вот в их доме, в большом семейном московском доме, собираются гости; именинника сестра; съезжаются с большими и детьми, тоже мальчики и девочки. Начались игры, танцы. Наш герой мешковат, танцует хуже всех, хочет отличиться остроумием, но ему не удается, — а тут как раз столько хорошеных девочек и — вечная мысль его, вечное подозрение, что он хуже всех. В отчаянии он решается на всё, чтоб всех поразить. При всех девочках и при всех этих гордых, старших мальчиках, считавших его ни во что, он вдруг, вне себя, с тем чувством, с которым бросаются в раскрывшуюся под ногами бездну, выставляет гувернеру язык и ударяет его изо всех сил кулаком! «Теперь все узнали, каков он, он показал себя!» Его позорно тащат и запирают в чулан. Чувствуя себя погибшим, и уже навеки, мальчик начинает мечтать: вот он бежал из дома, вот он поступает в армию, на сражении он убивает множество турок и падает от ран. Победа! где наш спаситель, кричат все, целуют и обнимают его. Вот он уже в Москве, он идет по Тверскому бульвару с подвязанной рукой, его встречают государь... И вдруг мысль, что дверь отворится и войдет гувернер с розгами, рассеивает эти мечты, как пыль. Начинаются другие. Он вдруг выдумывает причину, почему его «все так не любят»: вероятно, он подкидыши, и от него это скрывают... Вихрь разрастается: вот он умирает, входят в чулан и находят его труп: «Бедный мальчик!», его все жалеют. «Он добрый мальчик! Это вы его погубили», — говорит отец гувернеру... и вот слезы душат мечтателя... Вся эта история кончается болезнью ребенка, лихорадкой, бредом. Чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно папсаппий.

«Дневник писателя» за 1877 г. Страница наборной рукописи второй главы январского выпуска.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Ленинград
3 Достоевский Ф. М., т. 25

Я нарочно припомнил этот этюд в такой подробности. Я получил письмо из К-ва, в котором мне описывают смерть одного ребенка, тоже двенадцатилетнего мальчика, и — и очень может быть, что тут нечто похожее. Впрочем, выпишу местами письмо, не изменения в выписываемом ни слова. *Сюжет любопытен.*

8-го ноября, после обеда, разнеслась по городу весть, что случилось самоубийство — повесился 12—13-летний отрок, воспитанник прогимназии. Обстоятельства дела таковы. Классный наставник, по предмету которого не знал в этот день урока погибший мальчик, наказал его тем, что оставил в заведении до 5 часов вечера. Походил, походил ученик, отвязал от попавшегося на глаза блока бечевку, привязал ее к гвоздю, на котором обыкновенно висит так называемая золотая или красная доска, для чего-то в этот день вынесенная, и удавился. Сторож, мышьший в соседних комнатах полы, увидел несчастного, побежал к инспектору; прибежал инспектор, сняли с петли самоубийцу, но возвратить его к жизни не могли... Где причина самоубийства? Мальчик буйства и зверонравства не проявлял, учился вообще хорошо, только у своего классного наставника в последнее время получил несколько неудовлетворительных отметок, за что и был наказываем... Говорят, и отец мальчика, человек очень строгий, и сам он был в этот день именинник. Быть может, с детским восторгом мечтал молодой именинник о том, как его встретят дома — мать, отец, братишки, сестренки... И вот, сиди один-одинешенек, голодный в пустом доме и раздумывай о страшном гневе отца, который придется встретить, об унижении, стыде, а быть может, и наказании, которое предстоит перенести. О возможности покончить самому с собою он знал (да и кто из детей на шего времени не знает этого). Страшно жаль погибшего, жаль инспектора, человека и педагога прекраснейшего, которого воспитанники обожают, страшно за школу, которая в стенах своих видит подобные явления. Что почувствовали товарищи погибшего и другие дети, обучающиеся там, между которыми в приготовительных классах есть совершенные крошки, когда они узнали о случившемся? Не слишком ли сильна такая наука? Не слишком ли много придается значения — двойкам, единицам, золотым и красным доскам, на гвоздях от которых вешаются воспитанники? Не слишком ли много формализма и сухой бессердечности вносится у нас в дело воспитания?

Конечно, страшно жаль бедного маленького именинника, но я не стану распространяться о вероятных причинах этого горестного случая, и в особенности на тему «о двойках, о баллах, об излишней строгости» и проч. Все это и прежде было и обходилось без самоубийств, и причина, очевидно, не тут. Эпизод из «Отрочества» графа Толстого я взял из сходства обоих случаев, по есть и огромная разница. Без сомнения, именинник Миша убил себя не от злости и не от страха только. Оба чувства эти — п злость, и болезненная трусивость — слишком просты и скорее всего нашли бы *исход сми в себе*. Впрочем, действительно мог повлиять и страх наказания, особенно при болезненной мнительности, но всё же чувство могло быть и при этом гораздо сложнее, и опять-таки очень может быть, что происходило нечто вроде того, что описал граф Толстой, то есть подавленные, еще не сознательные детские вопросы, сильное ощущение какой-то гнету-

щей несправедливости, мнительное раннес и страдальческое ощущение собственной ничтожности, болезненно развившийся вопрос: «Почему меня так все не любят», страстное желание заставить жалеть о себе, то есть то же, что страстное желание любви от них всех, — и множество, множество других усложнений и оттенков. Дело в том, что те или другие из этих оттенков непременно были, но — есть и черты какой-то новой действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средневысшего круга, историком которого явился у нас граф Лев Толстой, и как раз, кажется, в ту пору, когда для прежнего русского дворянского строя, утверждавшегося на прежних помещичьих основаниях, пришел какой-то новый, еще неизвестный, но радикальный перелом, по крайней мере, огромное перерождение в новые и еще грядущие, почти совсем неизвестные формы. Есть тут, в этом случае с именинником, одна особенная черта уже совершиенно нашего времени. Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как они войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь мечтать: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отзывался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы его мечту до дела, а тут — помечтал, да и сделал. Я, впрочем, замечая это, не об одной только теперешней эпидемии самоубийств говорю. Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без историка. По крайней мере, ясно, что жизнь средневысшего нашего дворянского круга столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников. У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то всё ли было отмечено?

ОТ РЕДАКЦИИ

I

Несмотря на категорическое заявление мое в прошлом декабрьском «Дневнике» моем, мне всё еще продолжают присыпать письма с вопросами: «Буду ли я или нет издавать новый журнал „Свет“», и прилагают марки для ответов. Уведомляю еще раз и навсегда всех спрашивающих, что журнал «Свет» издаю не я, а Ник. Пет. Вагнер, и в редактировании его ничем не участвую.

II

¹⁰ Очень просят г-жу О-гу А-ну Ан-ову, писавшую в редакцию о своих занятиях по экзамену, сообщить свой адрес вернее. Прежний, данный ею в Моховой улице, оказался ошибочным.

ФЕВРАЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. САМОЗВАННЫЕ ПРОРОКИ И ХРОМЫЕ БОЧАРЫ, ПРОДОЛЖАЮЩИЕ ДЕЛАТЬ ЛУНУ В ГОРОХОВОЙ. ОДИН ИЗ НЕИЗВЕСТНЕЙШИХ РУССКИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Восточный вопрос по-прежнему у всех перед глазами. Как ни старались мы забыть его и развлечь себя всем, что было под рукой, — масленицей, «Новью», крахами, червонными валетами, — как ни нагоняли мы на себя цинизм, уверяя всех и себя прежде всех, что «ничего ровно не было, что всё выдумано и подделано», ¹⁰ как ни прятали мы голову в подушку, как маленькие дети, чтоб только не видеть грозного привидения, — а привидение все-таки перед нами, никуда не ушло, стоит и грозит, как и прежде. Всякий — и злобствующий циник, и искренний гражданин, и безмятежно развлекающийся гуляка, и просто ленивец — всякий чувствует и помнит, что есть это нечто, — нечто, отнюдь еще не решенное и не поконченное, а вместе с тем неотложное и необходимое, нечто, что непременно позовет нас и потребует, рано ли, поздно ли, к развязке, и что тут непременно —

Надо что-нибудь да сделать,
Надо чем-нибудь да кончить.

20

И уж это по меньшей мере, если что-нибудь сделать или чем-нибудь кончить, а что всего бы лучше, если б кончить получше. А между тем время идет да идет, на дворе весна и — что-то даст нам весна? Иные кричат, что ушло уже время; это бог знает; для хорошего дела всегда есть время. Да, не выработается ли что-нибудь хоть к весне, не скажется ли что-нибудь окончательно, то есть хоть бы на год? Ведь в Восточном вопросе теперь в Европе дальше как на год никто и не рассчитывает, тем более что и сама Турция вряд ли год простоит. Но дело не в ней, а в том, что ³⁰

после нее останется. Эти окончательные решения на год Европе, может быть, и выгодны; ну, а другим не очень; и что-то будет с другими, особенно с теми другими, там за Дунаем? Но об них думает лишь русский народ.

Да, думает, и воля ваша, как ни отрицали мы изо всех сил всю зиму наше летнее движение, но, по-моему, оно продолжалось и во всю зиму, точно так же как и летом, по всей России, неуклонно и верно, но уже спокойно и с надеждой на решение царя. И, уж конечно, продолжаться будет до самого конца, несмотря 10 на пророков наших, умевших разглядеть (и именно в это лето) в лице России лишь сияющее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, с колossalным штофом в руках. По-моему, если и не видят эти пророки наши, чем живет Россия, так тем даже и лучше: не будут вмешиваться и не будут мешать, а и вмешаются — так не туда попадут, а мимо. Видите ли: тут дело в том, что наш европеизм и «просвещенный» европейский наш взгляд на Россию — это всё та же еще луна, которую делает всё тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и всё так же 20 прескверно делает, что и доказывает поминутно; вот он и на днях доказал: впредь же будет делать еще сквернее, — ну, и пусть его: немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание.

Да и какое дело России до таких пророков? Теперь и не по-чешемся, прежнее время прошло.

В газетах упоминалось как-то, что в Москву в эту зиму привезли из славянских земель не одну партию бедных маленьких детей из разрушенных войною семейств, совершенных сирот. Их размещают по разным рукам и заведениям. Хорошо, кабы это всё 30 не прерывалось и организовалось наконец по всей России в самом обширном размере: что же, ведь это только благодеяние; а деток этих надо беречь, ведь это всё будущие славяне. Кстати, я несколько раз спрашивал себя: чем так-таки прокормились эти несколько сот тысяч ртов из болгар, босняков, герцеговинцев и прочих, бежавших от своих мучителей, после избиения и разорения, в Сербию, Черногорию, Австрию и куда попало. Соображая, сколько нужно денег, чтоб их прокормить, и зная, что ни у сербов, ни у черногорцев нет таких денег, да и самим теперь есть почти нечего, не понимаешь, чем эти сотни тысяч могли прокормиться с маленькими своими детьми и во что в зиму одеть 40 себя и детей. Говорят, недавно в Москву привезли еще «партию деток», от трех до тринадцати лет, и которых приняла к себе Покровская община сестер милосердия. Рассказывают, что этих маленьких сербских девочек покровские сестры милосердия поместили вместе с прибывшими прежде болгарками и что за ними надзирает одна из сестер, знающая по-сербски, так что дети рады и детям весело. Детям, конечно, хорошо и тепло, но я слышал недавно от одного воротившегося из Москвы приятеля прехарактерный анекдот про этих самых малюток: сербские девочки

сидят-ле в одном углу, а болгарки в другом, и не хотят ни играть, ни говорить друг с другом, а когда спрашивают сербок, отчего они не хотят играть с болгарками, то те отвечают: «Мы им дали оружие, чтоб они шли с нами вместе на турок, а они оружие спрятали и не пошли на турок». Это очень, по-моему, любопытно. Если восьмип-девятилетние малютки говорят таким языком, то, значит, переняли от отцов, и если такие слова отцов переходят уже к детям, то, значит, между балканскими славянами несомненная и страшная рознь. Да, вечная рознь между славянами! Они запоминают ее в своих преданиях и сохраняют ¹⁰ в песнях, и без единящего огромного своего центра — России — не бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России славянам, исчезнуть славянам с лица земли вовсе, — как бы там ни мечтали люди сербской интеллигенции или там разные цивилизованные по-европейски чехи... Много у них еще мечтателей. Да почти всё еще мечтатели...

Помните ли вы у Пушкина, в «Песнях западных славян», «Песню о битве у Зеницы Великой»? Там восставшие собрались с Радивоем в поход на турок.

20

А далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
Набекрень надели свои шапки
И сказали: «Возьмите нас с собою»...

Беглербей с своими босняками
Против нас пришел из Банялук;
Но лишь только заржали их кони,
И па солнце их кривые сабли
Засверкали у Зеницы Великой, —
Разбежались изменники далматы!

30

Кстати, я спросил: «Помните ли вы в „Песнях западных славян“ и т. д., и я вперед за всех отвечаю, что никто не помнит ни «Песни о битве у Зеницы Великой», ни даже и самих «Песен западных славян» Пушкина. Ну, кроме специалистов там каких-нибудь, словесников, али старых-старых каких-нибудь стариков. Пусть я гнусно ошибаюсь, по всем же я в этом твердо уверен. А между тем знаете ли, господа, что «Песни западных славян» это — шедёвр из шедёвров Пушкина, между шедёврами его шедёвр, не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов, еще пятьдесят лет тому назад появившихся. Факт тогдашнего появления у нас этих песен важен: это предчувствие славян russkimi, это пророчество русских славянам о будущем братстве и единении. Ни в одной критике, однако же, я никогда не читал про эти «сочинения Пушкина», что они его шедёвры. Считали их так себе, а между тем они именно шедёвры и все, что есть высшего по значению. По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание еще слишком надолго. Это был

40

уже русский, настоящий русский, сам, силою своего гения, переделавшийся в русского, а мы и теперь всё еще у хромого бочара учимся. Это был один из первых русских, ощущивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьев славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет и не было еще у нас ни у кого из русских. Но я об этом распространяться пока не стану, а про «Песни» лишь скажу, что, как всем известно, они взяты у Пушкина с французского, из книжки Мериме «La Gouzla», книжки, сочиненной Мериме, по его собственному признанию, наобум, не выезжая из Парижа. Этот претапантливый французский писатель, впоследствии *sénateur*¹ и чуть не родственник Наполеона III, теперь уже умерший, в этой «Gouzla» изобразил, под видом славян, конечно лишь французов, да еще и французов-то парижан; иначе они и не умеют: для настоящего француза, кроме Парижа, ничего на свете не существует. Пушкин, прочтя книжку и послав об ней автору в Париж запрос, сочинил по ней свои песни, то есть из французов, изображенных Мериме, восстановил славян, и — уж конечно, теперь это «Песни западных славян», настоящих славян, славян, даже породившихся уже с русскими. Конечно, этих песен нет в Сербии, поются у них другие, но это всё равно: пушкинские песни — это песни всеславянские, народные, вылившиеся из славянского сердца, в духе, в образе славян, в смысле их, в обычаях и в истории их. Я бы тем высокообразованным сербам, из которых многие столь недоверчиво смотрели нынешним летом на русских, показал бы, например, песню Пушкина о «Георгии Черном» или эту «Песню о битве при Зенице Великой». Это два шедевра из этих песен, бриллианты первой величины в поэзии Пушкина (и непременно потому-то они совершенно неведомы в наших школах не только ученикам, но, и весьма вероятно, и учителям, которые с удивлением услышат теперь в первый раз, что это такие шедевры, а не «Кавказский пленник» и не «Цыгане»). А между тем хоть бы в прошлом году-то, по крайней мере, пустить эти песни в ход в наших школах. Впрочем, судя по ходу дел, вряд ли сербы скоро узнают этого неизвестнейшего из всех великих русских людей — так, я думаю, можно определить нашего великого Пушкина, про которого у нас тысячи и десятки тысяч из нашей интеллигенции до сих пор не знают, что это был таких великих размеров поэт и русский человек, и которому до сих пор не могли мы еще собрать денег на памятник, — черта эта войдет в нашу историю. А сербы, прочтя эти «Песни», конечно, увидали бы, как думаем мы об их свободе, читим мы ее или нет, радуемся ли ей или нет и хотим или нет захватить их в свою власть и лишить их этой свободы. Впрочем, довольно о поэзии. И пусть не улы-

¹ сенатор (франц.).

баются надо мной свысока: «Вот, дескать, об каких мелочах заговорил». Это не мелочь; о Пушкине еще много и долго у нас говорить надо.

**II. ДОМОРОЩЕННЫЕ ВЕЛИКАНЫ И ПРИНИЖЕННЫЙ СЫН «КУЧИ».
АНЕКДОТ О СОДРАННОЙ СО СПИНЫ КОЖЕ.
ВЫСШИЕ ИНТЕРЕСЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ, И «ДА БУДУТ ОНИ ПРОКЛЯТЫ,
ЕСЛИ ИХ НАДО ПОКУПАТЬ ТАКОЮ ЦЕНОЙ!»**

Сербская скупщина, собравшаяся в прошлом месяце в Белграде на одно мгновение (на полтора часа, как писали в газетах), чтоб только решить: «Заключить мир или нет?», — скупщина эта, как слышно, выказала вовсе не такое слишком уж поспешно миролюбивое настроение, какого от нее ждали, принимая в соображение обстоятельства. Говорят, и на мир-то согласились вследствие какой-то передержки, министерской какой-то интриги. Во всяком случае, если чуть-чуть правда, что скупщина не трусила продолжения войны, то, взяв в соображение их отчаянное положение, невольно спросишь себя: «Что ж это у нас так кричали о трусости сербов?» Я получал из Сербии письма и говорил с приезжавшими оттуда и особенно запомнил одно письмо от одного юного русского, который там и остался и который пишет о сербах с восторгом и с негодованием на то, что в России находятся-де люди, думающие про них, что они трусы и эгоисты. Восторженный русский эмигрант даже извиняет членовредительство сербских солдат у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нежный сердцем народ, до того любят свою «кучу», где каждый оставил жену, детей или мать, сестер, невесту, братьев, коня и собаку, что бросают всё, уродуют себя, отстреливают себе пальцы, чтобы не годиться к службе и поскорей воротиться в свое милое гнездо! Представьте себе, я эту нежность сердца понимаю и весь этот процесс понимаю, и, уж конечно, в таком случае это слишком нежный сердцем народ, хотя — хотя это в то же время довольно туповатые дети своей отчизны, так что сами не понимают, чего у них сердце хочет. По нежности сердца своего сербский обитатель «кучи» похож очень, по-моему, на тех детей, которых, очень может быть, и вы запомнили еще с детства: вдруг из семьи или из разрушенного и разбредшегося вдруг семейства попадают они в школу. Доселе мальчик жил только дома и ничего, кроме своего дома, не знал, и вдруг — сто человек товарищей, чужие лица, шум, гам, совсем всё другое, чем дома, — боже, какая мука! Дома ему, пожалуй, было холодно и голодно, но зато его любили, а хоть и не любили, то все-таки там было дома, он был один у себя и с собой, а здесь — ни одного-то слова ласки от начальства, строгости от учителей, такие мудреные науки, такие длинные коридоры и такие бесчеловечные сорванцы, обидчики и насмешники, безжа-

лостные его товарищи: «Точно у них сердца нет, точно у них че было ни отца ни матери!» Ему говорили до сих пор, что лгать и обижать страшно и позорно, а вот они здесь все лгут, обманывают, обижают, да еще смеются над его ужасом. Вот они за что-то невзлюбили его, за то, что он плачет о своем гнезде, «класс мараает». Вот они принимаются его колотить без пощады, всем классом, всё время, и даже так, без злобы, для развлечения. Я замечу про себя, что таких несчастных детей я довольно встречал в моем детстве в разных школах, — и какие преступления совершаются иногда в этом роде в наших воспитательных заведениях, всех разрядов и наименований, — именно преступления! Попробуй мальчик сдуру пожаловаться, и его убьют чуть не до смерти (да и до смерти убьют); школьники бьют без жалости и без осторожности. Они задразнят его фискалом на целые годы, говорить с ним не захотят, а сделают из него парию, — и что за бессердечность, какое безжалостное равнодушие при этом в начальстве! Я не помню в моем детстве ни одного педагога и не думаю, чтоб их и теперь было много: всё лишь чиновники, получающие жалованье. А между тем вот эти-то дети, которые, поступая в школу, тоскуют по семье и родимом гнезде, — вот именно из таких-то и выходят потом всего чаще люди замечательные, со способностями и с дарованиями. А те, которые, взятые из семьи, быстро уживаются в каком угодно новом порядке, в один миг ко всему привыкают, которые ни о чем никогда не тоскуют и даже сразу становятся во главе других, — эти всего чаще выходят лишь бездарностью или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще с восемилетнего возраста. Разумеется, я сужу слишком вообще, по все-таки, по-моему, тот плохой ребенок, который, поступая в школу, не тоскует про себя по своей семье, разве что семьи у него вовсе не было или была слишком плохая.

С таким страдающим, в первые дни своей школы, мальчиком я еще летом, читая о них, сравнивал невольно сербского новобранца-членовредителя, — иначе как тем же самым чувством и объяснить не мог его несчастного, нерассуждающего, животного почти желания бросить ружье и бежать скорей домой. Разница лишь в том, что при этом желании объявлялась и невероятная, феноменальная как бы тупость. Он как бы отмахивался от всякого соображения о том, что если все, как он, разбегутся, то и землю защищать будет некому, а стало быть, придут турки когда-нибудь и к пим в «кучу» и разорят эту дорогую, возлюбленную его «кучу», и зарежут и мать его, и невесту, и сестру его, и коня, и собаку их. Действительно, слишком во многих, может быть, сербских сердцах это страдание по родному гнезду своему не возвысилось до страдания по родине, что представило собою именно странный феномен. Правда, теперь, когда уж кончилась у них война и заключен мир, можно заметить и то, что и сердца высшей сербской интеллигенции далеко не всегда возвышались

до страдания по родине, но, однако, по другой причине, чем сердца низшие. Сверху это объясняется у них слишком спильным, может быть, политическим честолюбием. Так, что из-за «высших» интересов родины этим высшим сердцам было даже почти и не время заниматься интересами низшими, народными, столь обыденными. Но о нашем сербе, мне кажется, все-таки можно сделать одно довольно любопытное замечание. Нельзя же объяснить его членовредительство и побеги с поля битвы лишь одною нежностью сердца и тупостью соображения. Мне кажется, что, дезертируя домой, он в состоянии был очень понять, что делает ¹⁰ худо, и очень может быть, что не хвалил себя первый сам, но в то же время никогда и не полагал, что родина его останется без защиты и без прикрытия, если он убежит: «О, останутся герои. Киреевы, останется Черняев, русские, да и свои строгие сербские начальники, а он — что такое он? Незаметная пылинка, так, дрянь, и больше ничего; он уйдет, и никто его не хватится...» По-моему, именно это чувство и было в нем, и это очень любопытно, и рисует народ: сверху баухвали, цивилизованные европейцы, мечтающие завоевать всех славян в одну Сербию, интригующие даже против России, словом, настоящие цивилизованные европейцы, Хорватовичи и Мариновичи, то есть всё равно как бы Мольтке и Бисмарк. С другой стороны, рядом с этими великими — приниженный сын «кучи», и именно приниженный четырьмя веками рабства: от вековой этой приниженности он и считает себя ни во что, за пылинку: «Останутся, дескать, великаны, а меня и не приметят. Я такой маленький, а они такие строгие господа...» Где-то я читал, что пыли из этих строгих господ, так-таки сразу, завидев иного низшего серба, собиравшегося бежать из-под ружья, прямо отстреливали ему голову револьвером, — «вот, дескать, какими тоже могли бы мы быть же-²⁰ лезными князьями!» Они свой низший народ третируют там, кажется, несколько свысока.

Вообще эти высшие славяне, «с столь славною будущностью» — во всяком случае чрезвычайно любопытный народ в политическом, гражданском, историческом и во всевозможных отшествиях.

Теперь, когда уже Черняев оттуда выехал, а добровольцев высыпало, у них, то есть от их военных людей, послышалась одна военная мысль, о которой мы прежде, летом, не слыхивали. Именно, уверяют они, что их серб и вовсе не способен служить в регулярном войске и действовать в чистом поле, а что народная сербская война — это «малая война», то есть партизанская, война шайками, в лесах, в теснинах, за камнями, за скалами. Что же, и это очень может быть; но так как мир у них уже заключен, то вряд ли это можно теперь проверить. По крайней мере, они останутся с этим военным убеждением, ну и то утешение в несчастии. Долго ли протянется этот мир? Но чтоб сказать прощальное слово об этой сербской войне, в которой мы,

русские, чуть не все до единого, так участвовали нашим сердцем, то мне кажется, что сербы расстаются с нами и с помощью нашего еще с большею недоверчивостью, чем с какою встречали нас в начале войны. Заключить можно тоже, что недоверчивость эта к нам будет в них идти, увеличиваясь всё время, пока они будут умственно расти и развиваться сами; стало быть, очень долго, и что нам, стало быть, прежде всего надо не обращать никакого внимания на их недоверчивость и делать свое дело, как сами знаем. Нам в Восточном вопросе необходимо иметь

10 в виду неустанно одну истину: что славянская главная задача не в том только, чтоб освободиться от своих мучителей, а и в том, чтоб освобождение это совершилось, хоть и с помощью русских (нельзя же иначе, и — если б только они могли обойтись без русских!), но по крайней мере оставаясь как можно меньше обязанными русским.

Между этими привезенными в Москву славянскими детьми есть, говорят, — рассказывал мне всё тот же воротившийся из Москвы приятель, — один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которую особенно 20 ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней не-отступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде. хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти, столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики, — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяет не только пальцем, но даже мыслю, но — но «да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!» Это восклицание не мое, это воскликнули «Московские ведомости», и я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию: да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее, необходимо сдирать с людей кожу. Но, однако же, это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!

III. О СДИРАНИИ КОЖ ВООБЩЕ. РАЗНЫЕ АБЕРРАЦИИ В ЧАСТНОСТИ. 40 НЕНАВИСТЬ К АВТОРИТЕТУ ПРИ ЛАКЕЙСТВЕ МЫСЛИ

«С людей? С каких людей? С крошечной только части людей, где-то там в уголке, с турецкой райи, о которой никто бы и не услыхал ничего, если б не прокричали русские. Зато огромная остальная часть организма жива, здорова и благополучна, торчит и фабрикует!»

Этот анекдот о маленькой болгарке, падающей в обморок, мне рассказали утром, и в тот же день мне случилось проходить по Невскому проспекту. Там в четвертом часу матери и няньки водили детей, и невольная мысль вдруг веско легла мне на душу: «Цивилизация! — думал я, — кто же смеет сказать против цивилизации? Нет, цивилизация что-нибудь да значит: не увидят по крайней мере эти дети наши, мирно гуляющие здесь на Невском проспекте, как с отцов их сдирать будут кожу, а матери их — как будут вскидывать на воздух этих детей и ловить их на штык, как было в Болгарии. По крайней мере хоть это-то приобретение ¹⁰ наше да останется за цивилизацией! И пусть это только в Европе, то есть в одном уголке земного шара, и в уголке довольно малом сравнительно с поверхностью планеты (мысль страшная!), но всё же это есть, существует, хоть в уголке да существует, положим, дорогою ценой, сдиранием кож с родных наших братьев где-то там на краю, но зато у нас-то по крайней мере существует. Подумать только, что прежде, да и недавно еще нигде этого не было в твердом виде, даже и в Европе, и что если есть это теперь у нас в Европе, то ведь в первый раз с тех пор, как существует планета. Нет, всё же это уже достигнуто и, может быть, ²⁰ назад уже никогда не воротится, — соображение чрезвычайно важное, невольно в душу направляющееся, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило бы обращать внимания, тем более что мир — мир все-таки по-прежнему загадка, несмотря на цивилизацию и ее приобретения. Бог знает чем чреват еще мир и что может дальше случиться, даже и в ближайшем будущем.

И вот, только лишь я хотел воскликнуть про себя в восторге: «Да здравствует цивилизация!» — как вдруг во всем усомнился: «Да достигнуто ли даже это-то, даже для этих Невского-то проспекта детей? уж не мираж ли, полно, и здесь, и только ³⁰ глаза отводят?»

Знаете, господа, я остановился па том, что мираж или, помягче, почти что мираж, и если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, «по не зависящим от публики обстоятельствам», ну и, разумеется, потому еще, что городовые стоят. О, я спешу оговориться: я вовсе не аллегорию какую-нибудь подвожу, не на страдания какого-нибудь пролетария в наш век намекаю, не па родителя какого-нибудь, который говорит своему семилетнему сыну: «Вот тебе мой завет: украдешь пять рублей — прокляну, украдешь сто ты- ⁴⁰ сяч — благословлю». О нет, слова мои я разумею буквально. Я разумею буквальное сдирание кож, вот то самое, которое происходило летом в Болгарии и которым, оказывается, так любят заниматься победоносные турки. И вот про это-то сдирание я и утверждаю, что если его нет па Невском, то разве «случайно, по не зависящим от нас обстоятельствам» и, главное, потому, что пока еще запрещено, а что за напа, может быть, дело бы и не стало, несмотря па всю нашу цивилизацию.

По-моему, если уж всё говорить, так просто боятся какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка; но если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, п что если оно п отвратительно, то всё же «цель оправдывает средства», — если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых. О пусть, пусть это смешнейший мой па-
10 радокс! Я первый подписываюсь под этим определением обеими руками, но тем не менее уверяю вас, что это точь-в-точь так бы и было. Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть, но — явись лишь новая мода, и тотчас же множество людей изменилось бы. Конечно, не все, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы с вами, читатель, удивились бы, и даже еще неизвестно, где бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями? Мне, разумеется, закричат в глаза, что всё это дребедень, и что никогда такой моды не может быть, и что этого-то, по крайней мере, уже достигла цивилизация. Господа,
20 какое легковерие с вашей стороны! Вы смеетесь? Ну, а во Франции (чтоб не заглядывать куда поближе) в 93-м году разве не утвердились эта самая мода сдирания кожи, да еще под видом самых священнейших принципов цивилизации, и это после-то Руссо и Вольтера! Вы скажете, что всё это было вовсе не то и очень давно, но заметьте, что я прибегаю к истории единствен-
30 но, может быть, чтоб не заговорить о текущем. Поверьте, что самая полная aberrация и в умах, и в сердцах всегда у людей возможна, а у нас, и именно в, наше время, не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей. Посмотрите, много ли согласных в том, что хорошо, что дурно. И это не то что в каких-нибудь там «истинах», а в самом первом встречном вопросе. И с какой быстрой происходит у нас перемены и волтфасы? Что такое в Москве червонные валеты? Мне кажется, это всего лишь та часть той фракции русского дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помещики, но они дети помещиков. После крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуку и засвистали. Да тут и не одна крестьянская реформа была причиной, просто «новых идей» не вынесли:
40 «Если-де всё, чему нас учили, были предрассудки, то зачем же за ними следовать? Коли ничего нет, значит, можно всё делать, — вот идея!» Заметьте — идея до невероятности распространенная, девять десятых из последователей новых идей ее исповедуют, другими словами, девять десятых прогрессистов и не умеют у нас иначе понимать новых идей. У нас Дарвин, например, немедленно обращается в карманного воришку, — вот что такое и червонный валет. О, конечно, у человечества чрезвычайно много накоплено веками выживших правил гуманности, из которых иные слывут за незыблемые. Но я хочу лишь сказать только, что, не-

смотря на все эти правила, принципы, религии, цивилизации, в человечестве спасается ими всегда только самая незаметная кучка, — правда, такая, за которой и остается победа, но лишь в конце концов, а в злобе дня, в текущем ходе истории люди остаются как бы всё те же навсегда, то есть в огромном большинстве своем не имеют никакого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чувстве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчас же побежали бы все нагишом, да еще с удовольствием. Правила есть, да люди-то к правилам не подготовлены вовсе. Скажут: да и не надо готовиться, надо только 10 правила эти отыскать! Так ли, и удержатся ли долго правила, какие бы там ни были, коли так хочется побежать нагишом?

По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а падо выделяться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители: «слишком-де много уж было деспотизму, надо свободы», а свобода эта ведет огромное большинство лишь к лакайству перед чужой мыслью, ибо страх как любит человек всё то, что подается ему готовым. Мало того: мыслители провозглашают об- 20 щие законы, то есть такие правила, что все вдруг делаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться паш гражданин. С этой-то великодушной работы над собой и начинать падо, чтоб поднять потом нашу «Новь», а то незачем выйдет и подымать ее.

Да? Но что хорошо и что дурно — вот ведь чего, главное, мы 30 не знаем. Всякое чутье в этом смысле потеряли. Все прежние авторитеты разбили и наставили новых, а в новые авторитеты, чуть кто из нас поумнее, тот и не верует, а кто посмелее духом, тот из гражданина в червонного валета обращается. Мало того, ей-богу начнет сдирать со спин кожу, да еще провозгласит, что это полезно для общего дела, а стало быть, свято. Как же, в каком же смысле приступить к работе-то над собой, если не знаешь, что хорошо, что худо?

IV. МЕТТЕРШИХ И ДОН-КИХОТЫ

Но чтоб не говорить отвлеченно, обратимся к данной теме. 40 Вот мы действительно не сдираем кож, мало того, даже не любим этого (только один бог знает: любитель часто прячется, любитель мало известен, до времени стыдится, «боится предрассудка»), но если и не любим у себя и никогда не делаем, то должны ведь ненавидеть и в других. Мало того, что непавидеть, должны просто

не дать сдирать кож никому, так-таки взять и не дать. А между тем так ли на деле? Самые негодующие из нас вовсе не так негодуют, как бы следовало. Я даже не про одних славян говорю. Если мы уж так сострадаем, так и поступать должны бы в размере нашего сострадания, а не в размере десяти целковых пожертвования. Мне скажут, что ведь нельзя же отдать всё. Я с этим согласен, хотя и не знаю почему. Почему же бы и не всё? В том-то и дело, что тут решительно ничего не понимаешь даже в собственной природе. А тут вдруг, с огромным авторите-

10 том, возникает вопрос об «интересах цивилизации»!

Вопрос ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. «Интересы цивилизации» — это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу. Нужно огромное, беспрерывное и прогрессивное производство по уменьшенней цене, в видах страшного наращения пролетариев. Доставляя заработок пролетарию, доставляем ему и предметы потребления по уменьшенней цене. Чем спокойнее в Европе, тем более по уменьшенней цене. Стало быть, именно нужно в Европе спокойствие. Шум войны прогонит производство. Капитал труслив, он заботится войны и

20 спрячется. Если ограничить право турок сдирать со спин рай кожи, то надобно затеять войну, а затем войну — сейчас выступит вперед Россия, — значит, может наступить такое усложнение войны, при котором война обнимет весь свет; тогда прощай производство, и пролетарий пойдет на улицу. А пролетарий опасен на улице. В речах палатам уже упоминается прямо и откровенно, вслух на весь мир, что пролетарий опасен, что с пролетарием неспокойно, что пролетарий внимает социализму. «Нет уж лучше пусть где-то там в глухи сдирают кожу. Неприкосновенность турецких прав должна быть незыблема. Надо потушить Восточный вопрос и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоят ли две, три каких-нибудь кожицы спокойствия всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысяч кож — пе всё ли равно? Захотим, так и пе услышим вовсе, стоит уши зажать...»

Вот мнение Европы (решение, может быть); вот — интересы цивилизации, и — да будут они опять-таки прокляты! И тем более прокляты, что aberrация умов (а русских преимущественно) предстоит несомненная. Ставится прямо вопрос: что лучше — многим ли десяткам миллионов работников идти на

40 улицу или единицам миллионов рай пострадать от турок? Выставляют числа, пугают цифрами. Кроме того, выступают политики, мудрые учителя: есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости!

Это учение очень распространено и давнишнее, но — да будет и оно проклято! Главное, пусть не пугают нас цифрами. Пусть там в Европе как угодно, а у нас пусть будет другое. Лучше верить тому, что счастье нельзя купить злодейством, чем чувствовать себя счастливым, зная, что допустилось злодейство. Россия никогда не умела производить настоящих, своих собственных Меттернихов и Биконсфильдов; напротив, всё время своей европейской жизни она жила не для себя, а для чужих, именно для «общечеловеческих интересов». И действительно, бывали случаи в эти двести лет, что она, может быть, и старалась кой-когда подражать Европе и заводила и у себя Меттернихов, но как-то всегда обозначалось в конце концов, что русский Меттерних оказался вдруг Дон-Кихотом и тем ужасно дивил Европу. Над Дон-Кихотом, разумеется, смеялись; но теперь, кажется, уже восполнились сроки, и Дон-Кихот начал уже не смешить, а пугать. Дело в том, что он несомненно осмыслил свое положение в Европе и не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он остался верным рыцарем, а это-то всего для них и ужаснее. В самом деле: в Европе кричат о «русских захватах, о русском коварстве», но единственно лишь, чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь тому не верят, да и никогда не верили. Напротив, их смущает теперь и страшит, в образе России, скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, честное, гнушающееся и захватом и взяткой. Они предчувствуют, что подкупить ее невозможно и никакой политической выгодой не завлечь ее в корыстное или насильтвенное дело. Разве обманом, — но Дон-Кихот хоть и великий рыцарь, а ведь и он бывает иногда ужасно хитер, так что ведь и не даст себя обмануть. Англия, Франция, Австрия — да есть ли там хоть одна такая нация, с которой нельзя было бы соединиться при удобном случае из политической выгоды с насильтвенной корыстной целью: стоит лишь не пропустить ту минуту, в которую подкупаемая нация всего дороже может продать себя. Одну Россию ничем не прельстишь на неправый союз, никакой ценой. А так как Россия в то же время страшно сильна и организм ее очевидно растет и мужает не по дням, а по часам, что отлично хорошо понимают и видят в Европе (хотя подчас и кричат, что колосс расщатан), — то как же им не бояться?

Кстати, этот взгляд на неподкупность внешней политики России и на вечное служение ее общечеловеческим интересам даже в ущерб себе оправдывается историей, и на это слишком надо бы обратить внимание. В этом наша особенность сравнительно со всей Европой. Мало того, этот взгляд на характер России так мало распространен, что и у нас вряд ли многие ему поверят. Разумеется, ошибки русской политики при этом не должны быть поставлены в счет, потому что дело идет теперь лишь о духе и нравственном характере нашей политики, а не об удачах ее в прошлом и давнопрощем. В последнем случае действительно

бывали в старину ветряные мельницы, но, повторяю, кажется, их время совсем прошло.

Нет, серьезно: что в том благосостоянии, которое достигается ценою неправды и сдирания кож? Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дорогоизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации — и нация несомненно более выиграет, даже и материально. Заметим, что Европа бесспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живут они там всего только день за днем, одной только настоящей минутой, и сами не знают, что с ними становится завтра; мы же, Россия, мы все еще верим в нечто неизыгаемое, у нас созидающееся, а следственно, ищем выгод постоянных и существенных. А потому мы, и как политический организм, всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней. Поверьте, что Дон-Кихот свои выгоды тоже знает и рассчитать умеет: он знает, что выиграет в своем до-
стоинстве и в сознании этого достоинства, если по-прежнему останется рыцарем; кроме того, убежден, что на этом пути не утратит искренности в стремлении к добру и к правде и что такое сознание укрепит его на дальнейшем поприще. Он уверен, наконец, что такая политика есть, кроме того, и лучшая школа для нации. Надо, чтоб червонный валет не смел сказать мне в глаза: «Ведь и у вас все условно, ведь и у вас все на выгода». Надо, чтоб и юноша энтузиаст возлюбил свою нацию, а не шел бы искать правды и идеала на стороне и вне общества. И он кончит тем, что возлюбит свою нацию, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы пройдет. Правда как солнце, ее не спрячешь: назначение России станет наконец ясно самим кривым умам, и у нас, и в Европе. У нас почему теперь возможны такие aberrации умов, как нигде? Потому что полуторавековым порядком вся интеллигентия наша только и делала, что отвыкала от России, и кончила тем, что раззнакомилась с ней окончательно и сносилась с нею только через канцелярию. С реформами нынешнего царствования начался новый век. Дело пошло и остановиться не может.

А Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила, — не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим, если надо, меч во имя угнетенных и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас еще тверже вера, что в том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда ее, и что жертва собою за угнетенных и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть настоящее служение настоящим и пстипным интересам цивилизации.

Нет, надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: всё затемнится, замешается и потонет в цинизме. Иначе не сдержите нравственности и отдельных граждан, а в таком случае как же будет жить целый-то организм народа? Надобен авторитет, надобно солнце, чтоб освещало. Солнце показалось па Востоке, и для человечества с Востока начинается новый день. Когда просияет солнце совсем, тогда и поймут, что такое настоящие «интересы цивилизации». А то выставится знамя с надписью на нем: «Après nous le déluge» (После нас хоть потоп)! Неужели столь славная «цивилизация» доведет европейского человека до такого девиза, да тем с ним и покончит? К тому идет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ОДИН ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ СОВРЕМЕННЫХ ВОПРОСОВ

Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой «Дневник писателя», стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, 20 а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем в этом добровольном воздержании моем — какая неправда! Я — писатель, и пишу «Дневник писателя», — да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе: как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления? «Сам, дескать, литератор-беллетрист, а стало быть, всякое суждение твое о беллетристической литературе, кроме безусловной похвалы, почтется пристрастным; разве говорить лишь о давно прошедших явлениях» — вот соображение, меня остановившее.

И всё же я рискну на этот раз нарушить это соображение. Правда, в чисто беллетристическом и критическом смысле я и не буду говорить ни о чем, а разве лишь, в случае нужды, «по поводу». Повод вышел и теперь. Дело в том, что месяц назад я попал на одну до того серьезную и характерную в текущей литературе вещь, что прочел ее даже с удивлением, потому что давно уже ни на что подобное в таких размерах не рассчитывал в беллетристике. У писателя — художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочел три-четыре страницы настоящей «злобы дня», — всё, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку. И главное, — со всем характернейшим оттенком настоящей нашей минуты, именно так, как ставится

у нас этот вопрос в данный момент, ставится и оставляется неразрешенным... Я говорю про несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого, в январском № «Русского вестника».

Собственно обо всем этом романе скажу лишь пол слова, и то лишь в виде самого необходимого предисловия. Начал я читать его, как и все мы, очень давно. Сначала мне очень понравилось; потом, хоть и продолжали нравиться подробности, так что не мог оторваться от них, но в целом стало нравиться менее.

10 Всё казалось мне, что я это где-то уже читал, и именно в «Детстве и отрочестве» того же графа Толстого и в «Войне и мире» его же, и что там даже свежее было. Всё та же история барского русского семейства, хотя, конечно, сюжет не тот. Лица, как Вронский например (один из героев романа), которые и говорить не могут между собою иначе как об лошадях, и даже не в состоянии найти об чем говорить, кроме как об лошадях, — были, конечно, любопытны, чтоб знать их тип, но очень однообразны и сословны. Казалось, например, что любовь этого «жеребца в мундире», как назвал его один мой приятель, могла быть изложена 20 разве лишь в ироническом тоне. Но когда автор стал вводить меня в внутренний мир своего героя серьезно, а не иронически, то мне показалось это даже скучным. И вот вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) — и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда и разом всё озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — единственно силу природного закона, закона смерти 30 человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизвавшись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и 40 тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, — всё это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни

так п никогда даже. Момент этот был отыскан и пам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, пе на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходимо и воочию. Кажется, именно это-то и хотел доказать нам поэт, начиная свою поэму. Русскому читателю об этой вековечной правде слишком надо было напомнить: многие стали п у нас об ней забывать. Этим напомпанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник.

Затем опять потянулся роман, и вот, к некоторому удивлению ¹⁰ моему, я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей «злобе дня» и, главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа. Тем не менее, повторяю это, для меня это было неожиданно и несколько меня удивило: такой «злобы дня» я все-таки не ожидал. Я почему-то не думал, что автор решится довести своих героев в их развитии до таких «столпов». Правда, в столовах-то этих, в этой крайности вывода и весь смысл действительности, а без того роман имел бы вид даже неопределенный, далеко не соответствующий ни текущим, ни существенным интересам русским: был бы нарисован какой-то уголок жизни, с намеренным игнорированием самого главного и самого тревожного в этой же жизни. Впрочем, я, кажется, пускаюсь решительно в критику, а это не мое дело. Я только хотел указать на одну сцену. Больше ничего как обозначились два лица с той именно стороны, с которой они наиболее для нас теперь могут быть характерны, и, тем самым, тот тип людей, к которому принадлежат эти два лица, поставлен автором на самую любопытнейшую точку в наших глазах в их современном социальном значении.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помещики, оба взяты после крестьянской реформы. Оба были «крепостными помещиками», и теперь вопрос: что остается от этих дворян, в смысле дворянском, после крестьянской реформы? Так как тип этих двух помещиков чрезвычайно общ и распространен, то вопрос отчасти и разрешен автором. Один из них Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член Английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуириров, приятных эгоистов, никому не мешающих, остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает ⁴⁰ часто и многочисленное семейство; с женой и детьми они ласковы, но мало об них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованы они мало, но любят изящное, искусства, и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформой этот дворянин тотчас же понял в чем дело: он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться незачем и — *Après moi le déluge* (После меня хоть потоп). Об судьбе жены и детей он не заботится ду-

мать. Остатками состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета; но если б состояние его рушилось и нельзя было получать даром жалования, то, может быть, он и стал бы валетом, разумеется, употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и велико-светским. В старину, конечно, для уплаты карточного долга или любовнице ему случалось отдавать людей в солдаты; но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе. Хоть он и аристократ, но дворянство свое он всегда считал ни

10 во что, а по устраниении крепостных отношений — так даже исчезнувшим: для него из людей остались лишь *человек в случае*, затем чиновник с известного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношения и дружбу. Да и разговор начался с упрека ему Левиным, родственником его и помещиком (но уже совершенно обратного типа и живущим в своем поместье), за то, что он ездит к железнодорожникам, на их обеды и праздники, к людям двусмысленным, по убеждению Левина, вредным. Облонский опровергает его с едкостью. Да и вообще между ними, с тех пор как они породнились, установились довольно едкие отношения. Притом в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. Разговор происходит на охоте, в летнюю ночь. Охотники на ночлеге, в крестьянской риге, и ночуют на сене. Облонский доказывает, что презрение к железнодорожникам, к их интригам, к их скорой наживе, вымаливанию концессий, перепродажам — не имеет смысла, что это такие же люди, действуют трудом и умом, как и все, а в результате — дают дорогу.

— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, — не честно, — говорит Левин.

— Да кто ж определит соответствие? — продолжает Облонский. — Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

— Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, 40 как то, что я получаю больше столоначальника...

— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если бы я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я отдаю ему? Поеду с ним и совершу купчью?

— Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье.

— Нет, позовь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини меня, это парадокс...

• • • • • Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуясь несправедливыми преимуществами, *как я делаю, и пользоваться ими с удовольствием*.

— Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват*.

II. «ЗЛОБА ДНЯ»

Вот разговор. И уж согласитесь, что это «злоба дня», даже всё что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто русских черт! Во-первых, лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны Сен-Симон и Фурье — первоначальные «идеальные» толковники этих идей, а у нас — у нас знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих «вопросах» помешки на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что по крайней мере отрицательная сторона вопроса уже решена и подписьана ими бесповоротно. Правда, это помешки высшего света, говорят в Английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из других источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, — эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов. Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. «Я, дескать, с этим совершенно согласен». Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок, личность, семейство, — о, это ему ничего не стоит.

Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки и что они начали говорить об этом всего лишь вчера, и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта: этот господин прямо говорит: «Надо одно из двух: или признавать, что настояще устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием». То есть в сущности он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семьи, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: «Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. *Après moi le déluge*». Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать валетом, — самая прямая дорога. Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек — какая характернейшая чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма 10 увидали мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме *après moi le déluge* (после меня потоп).

Но всего любопытнее то, что рядом с этим, многочисленнейшим и владычествующим типом, стоит другой, — другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно противоположный тому, — всё что есть противоположного. Это Левин, но Левиных 20 в России — тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе 30 Левина Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».

И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то в противоположность Стиве, который говорит: «Хоть и негодяем, да продолжаю

жить в свое удовольствие», — он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха

И сбирать на построение
Храма божьего пошел.

И если не на построение храма пойдет сбирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такою же ревнностью. Заметьте, опять повторяю и спешу повторить, черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда*, одна правда без ¹⁰ условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут всё решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются всё больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде неколебимое и непрерывное, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю — обратится в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столько честности и *искания честности*. Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что ³⁰ их нельзя уже не видать и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст всё, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть ⁴⁰ массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных. Но самая характернейшая, самая русская черта этой «злобы дня», указанной автором, состоит в том, что его новый человек, его Левин, *не умеет* решить смущивший его вопрос. То есть он уже и решил *его почти*, в сердце своем, и не в свою пользу, *подозревая*, что он *виноват*, но что-то твердое, прямое и реальное восстает из всей его природы и удерживает его пока от последнего приговора.

Напротив, Стива, которому всё равно, виноват он или нет, — решает без малейшего колебания, это ему даже на руку: «Коли всё нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно всё делать, а с меня еще времени хватит, не сейчас ведь придет страшный суд». Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смущила Левина и поставила его в тупик, и это чисто по-русски и совершенно верно отмечено автором: всё дело в том, что все эти мысли и вопросы у нас в России — одна липкая теория, все к нам занесенные с чужого строя и с чужого порядка вещей, из Европы, где они имеют давно уже свою историческую и практическую сторону. Что ж делать: оба наши дворянина — европейцы, и от европейского авторитета освободиться им нелегко, надо и тут отдать дань Европе. И вот Левин, русское сердце, смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим «правом». Представим, для ясности, себе такую картинку:

Стоит Левин, стоит, задумавшись после ночного разговора своего на охоте с Стивой, и мучительно, как честная душа, желает разрешить смущивший и уже прежде, стало быть, смущавший его вопрос.

— Да, — думает он, полурешая, — да, если по-настоящему, то за что мы, как сказал давеча Весловский, «едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а бедный вечно, вечно в труде»? Да, Стива прав, я должен разделить мое имение бедным и пойти работать на них.

Стоит подле Левина «бедный» и говорит:

— Да, ты действительно должен и обязан отдать свое имение нам, бедным, и пойти работать на нас.

Левин выйдет совершенно прав, а «бедный» совершенно неправ, разумеется, решая дело, так сказать, в высшем смысле. Но в том-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное решение его нельзя смешивать с историческим; не то — безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в теоретических русских головах — и в головах негодяев Стив и в головах чистых сердцем Левиных. В Европе жизнь и практика уже поставили вопрос — хоть и абсурдно в идеале его исхода, но всё же реально в его текущем ходе, и уже не смешивая двух разнородных взглядов, нравственного и исторического, по крайней мере, по возможности. Разъясним пашу мысль еще, хоть двумя словами.

III. ЗЛОБА ДНЯ В ЕВРОПЕ

В Европе был феодализм и были рыцари. Но в тысячу с лишком лет усилилась буржуазия и наконец задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и — стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: «*Ote-toi de là que je m'y mette*» (Убирайся, а я на твое место). Но став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска хлеба. Наш русский Стива решает про себя, что он неправ, но сознательно хочет оставаться негодяем, потому что ему жирно и хорошо; заграничный Стива с нашим не согласен и признает себя совершенно правым, и, уж конечно, он в этом по-своему логичнее, ибо, по его мнению, тут вовсе и нет никакого *права*, а есть только *история*, исторический ход вещей. Он стал на место рыцаря, потому что победил рыцаря силой, и он отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший во время борьбы его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот совсем усилится, то сковырнет его с места, как он когда-то 20 убил рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему: «Убирайся, а я на твое место». Где же тут право, тут одна история. О, он бы готов был на компромисс, как-нибудь поладить с врагом, и даже пробовал. Но так как он отлично догадался, да и па опыте знает, что враг ни за что не расположен мириться, делиться не хочет, а хочет *всего*; кроме того: что если он и уступит что, то только себя ослабит, — то и решил не уступать ничего и — готовиться к битве. Положение его, может быть, безнадежно, по по свойству человеческой природы укрепляться духом перед борьбою, — он не отчаивается, напротив, укрепляется на бой всё более и более, пускает все средства в ход, изо всей силы, пока сила есть; ослабляет 30 противника и пока только это и делает.

Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже, была и там *нравственная* постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были спросы, споры и дебаты об разных, весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария всё это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе: «А там, после победы, всё само собою устроится практически, хотя, очень может быть, что после рек пролитой 40 крови». Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом и что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И однако, между и теперешними даже предводителями случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов собственно для красы, чтобы скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих «нравст-

венных» коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве и им прямо ставят на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение — палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе: «Братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества». Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство — бредни и что будущее человечество устроится на основаниях научных. Всё это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество, на основаниях научных, чистая фантазия, что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа; что человеку трудно и невозможno отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы; что от будущего своего человека они слишком много требуют пожертвований, как от личности; что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и беспрерывный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек, и что сам он, чтобы спасти себя от разрушения и смерти, соглашается добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своееволя и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы и что всё это, стало быть, по-прежнему гадательно. Что если б они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий и слушать бы их не стал, а если идет за ними теперь и организуется в битву, то единствено потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективою разрушения и битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надобно совсем устраниТЬ, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою.

Вот европейская постановка дела. И та и другая сторона страшно не правы, и та и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас, русских, то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единствено возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, — есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская.

В Европе она немыслима, хотя и там, рано ли, поздно ли, после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной исход.

IV. РУССКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить, ничего не делать и ездить па охоту», и если вы действительно это почувствовали и действительно так вам жаль «бедных», которых так много, то отдайте им свое имение, если хотите, пожертвуйте па общую пользу и идите работать на всех и «получите сокровище на небеси, там, где не копят и не посягают». Пойдите, как 10 Влас, у которого

Сила вся души великая
В дело божие ушла.

И если не хотите сбирать, как Влас, на храм божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, учите его. Если бы все раздали, как вы, свое имение «бедным», то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в золотых платьях 20 заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастии, ему и детям его. И не говорите, что вы лишь слабая единица и что если вы один раздадите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже раздавать *непременно* имения, — ибо всякая *непременность* тут, в деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лености. Надо делать только то, 30 что велит сердце: велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, по и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик». Тачка опять-таки мундир.

Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как ученик, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательна и не надеванье зипуна: всё это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать всё ради деятельности любви*, всё что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти 40 старания «опроститься» — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого «опрощения». Но пусть всего не запугиваете себя сами,

не говорите: «Один в поле не воин» и проч. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и проч. и проч. Всё это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться,

10 что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам — любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но ведь вы делаете дело любви, а стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не

20 скажет вам, что вы и без любви должны были сделать всё это, из собственной, так сказать, пользы, и что иначе вас бы заставили силой. Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнуданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнуданность желания ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир по-

30лагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение: «Есть деньги, стало быть, могу делать всё, что угодно; есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечивать себя деньгами, а «разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить». Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени, — то он ли после того не свободен? Это уже высочайшее проявление воли!

40 Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: «Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унизить его, истребить его». Между тем настоящее равенство говорит: «Какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня? На-против, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека я уважаю себя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и

всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтобы сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».

Если так будут говорить все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви.

Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» — есть «царство небесное» и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стпвы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал прийти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, а *ргіорі*, из одних мечтаний сердца и «ученных» цифр, взятых притом из прежнего строя общества, — то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществлятся, а, напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинаяющихся людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и золагери в своих убеждениях, по зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насилием, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять пашу «Новь». Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем поднимаются и в нашей среде — и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять. — вот в чем вся тайна первого шага.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО

В редакцию «Дневника писателя» пришло следующее письмо:

Милостивый государь
Федор Михайлович!

12 января я послал на ваше имя 2 р. 50 к., прося Вас выслать мне ваше издание «Дневник писателя»; из газет я узнал, что 1 номер вышел 1-го февраля; сегодня уже 25 число — меж тем я еще не получал его! Крайне интересно знать, что за причина этому факту? Не знаю, как для Вас, — а для меня подобный 10 образ отношений к подписчикам кажется более чем оригинальным!

Если Вы вздумаете когда-нибудь выслать мне ваше издание — прошу адресовать: г. Новохоперск, врачу при городской земской больнице, В. В. К-ну.

В. К-п.

Г. Новохоперск.

18 $\frac{25}{II}$ 77

Вот ответ редакции:

Милостивый государь.

20 К сожалению, жалобы на неполучение выпусков приходят к нам довольно часто, и особенно в начале года. Справляясь по книгам, всегда находим, что номера эти давно уже отправлены и — теряются, стало быть, в дороге. Процент этих потерь, конечно, очень невелик сравнительно с числом подписчиков, но он существует неизменно, и не у одних нас, а и в других изданиях. Обыкновенно мы, не вступая в объяснения и чтоб удовлетворить скорее подписчиков, посылаем вторичные номера: где уж разыскивать пропавший номер! В середине года дело налаживается, а в конце года пропаж почти не бывает.

30 Но Вы, милостивый государь, изо всех предположений: почему мог не дойти к Вам номер, — выбрали не колеблясь одно, именно обман со стороны редакции. Это ясно из тона Вашего письма и особенно из слов: «Если Вы *когда-нибудь вздумаете* выслать мне ваше издание, прошу» и т. д. Стало быть, прямо предполагаете, что редакция сознательно удержала ваш номер, и не удерживаетесь выразить ваше сомнение в том, что его даже хоть когда-нибудь получите. Вследствие чего редакция спешит выслать Вам Ваши 2 р. 50 к. обратно и просит уже более ее не беспокоить. Принуждена же сделать это из понятного и естественного 40 побуждения, которому Вы, милостивый государь, вероятно не удивитесь.

МАРТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, ЧТО КОНСТАНТИНОПОЛЬ, РАНО ЛИ, ПОЗДНО ЛИ, А ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ

Прошлого года, в июне месяце, в июньском № моего «Дневника», я сказал, что Константинополь, «рано ли, поздно ли, должен быть наш». Тогда было горячее и славное время: подымалась духом и сердцем вся Россия, и народ шел «добровольно» послужить Христу и православию против неверных, за наших братьев по вере и крови славян. Я хоть и назвал тогдашнюю статью мою ¹⁰ «утопическим пониманием истории», — но сам я твердо верил в свои слова и не считал их утопией, да и теперь готов подтвердить их буквально. Вот что я написал тогда о Константинополе:

«Да, Золотой Рог и Константинополь — всё это будет наше... И, во-первых, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то действительно время уже близко, все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело еще время».

Затем я тогда разъяснил мою мысль, почему не созрело, да ²⁰ и не могло созреть прежде время. Если б Петру Великому (писал я) и пришла тогда мысль

вместо основания Петербурга захватить Константинополь, то, мне кажется, он, по некотором размышлении, оставил бы эту мысль тогда же, если б даже и имел настолько силы, чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дело это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель России.

Уж когда в чухонском Петербурге мы не избегли влияния соседних немцев, хотя и бывших полезными, но зато и весьма парализовавших русское развитие, прежде чем выяснилась его настоящая дорога, то как ³⁰ в Константинополе, огромном и своеобразном, с остатками могущественной и древнейшей цивилизации, могли бы мы избежать влияния греков, людей несравненно более тонких, чем грубые немцы, людей, имеющих

несравненно более общих точек соприкосновения с нами, чем совершенно непохожие на нас немцы, людей многочисленных и царедворных, которые тотчас же бы окружили трон и прежде русских стали бы и учены и образованы, которые и Петра самого очаровали бы в его слабой струне уж одним своим знанием и умением в мореходстве, а не только его ближайших преемников. Одним словом, они овладели бы Россией политически, они стащили бы ее немедленно на какую-нибудь новую азиатскую дорогу, на какую-нибудь опять замкнутость, и, уж конечно, этого не вынесла бы тогдашняя Россия. Ее русская сила и ее национальность были бы остановлены в своем ходе. Мощный великорус остался бы в отдалении на своем мрачном снежном севере, служа не более как материалом для обновленного Царьграда, и, может быть, под конец совсем не признал бы нужным идти за ним. Юг же России весь бы подпал захвату греков. Даже, может быть, совершилось бы распадение самого православия на два мира: на обновленный царьградский и старый русский... Одним словом, дело было в, высшей степени несвоевременное. Теперь же совсем иное.

Теперь (писал я), теперь Россия уже могла бы завладеть Константинополем, и не перенося в него свою столицу, чего тогда, 20 при Петре, и даже долго после него, было бы нельзя миновать. Теперь Царьград мог бы быть нашим и не как столица России, но (прибавляя я) и не как столица всеславянства, как мечтают некоторые:

Всеславянство, без России, истощится там в борьбе с греками, если бы даже и можно составить из своих частей какое-нибудь политическое целое. Наследовать же Константинополь одним грекам теперь уже совсем невозможно: нельзя отдать им такую важную точку земного шара, слишком уж было бы им не по мерке.

Но во имя чего же, во имя какого *нравственного* права могла бы искать Россия Константинополя? Опираясь на какие высшие цели могла бы требовать его от Европы?

А вот именно (писал я) — как предводительница православия, как покровительница и охранительница его, — роль, предназначенная ей еще с Ивана III, поставившего в знак ее и царьградского двуглавого орла выше древнего герба России, но обозначившаяся уже несомненно лишь после Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактически уже и стала действительной и единственной покровительницей и православия и народов, его исповедующих. Вот эта причина, вот это *право* на древний Царьград и было бы понятно и не 40 обидно даже самым ревнивым к своей независимости славянам или даже самим грекам. Да и тем самым обозначилась бы и настоящая сущность тех политических отношений, которые и должны неминуемо наступить у России ко всем прочим православным народностям — славянам ли, грекам ли, все равно: она — покровительница их и даже, может быть, предводительница, но не владычица; мать их, а не госпожа. Если даже и государыня их когда-нибудь, то лишь по собственному их провозглашению, с сохранением всего того, чем сами они определили бы независимость и личность свою.

Все эти соображения само собою представлялись мною в июньской прошлогодней статье отнюдь не как подлежащие немедленному исполнению, а лишь как долженствующие несомненно ис-

полниться, когда придет к тому историческое время и восполнятся сроки, близость и отдаленность которых хотя невозможno предсказать, но всё же можно предчувствовать. С тех пор прошло девять месяцев. Про эти девять месяцев вспоминать, я думаю, нечего: всем нам известно это восторженное время, вначале полное надежд, а потом странное и тревожное и которое до сих пор еще не заключилось ничем, так что один бог знает (я думаю, так лишь можно выразиться) — чем оно разрешится: обнажим ли мы меч, или дело еще раз оттянется каким-нибудь компромиссом в долгий ящик. Но что бы ни случилось, мне как раз почему-то 10 именно теперь захотелось высказать несколько дополнительных и пояснительных слов к моим июньским мечтам о судьбе Царьграда. Что бы там теперь ни случилось — мир ли, вновь ли уступки со стороны России, но рано ли, поздно ли, а Царьград будет наш, — вот что хочется мне именно теперь опять подтвердить, но уже с некоторой новой точки зрения.

Да, он должен быть наш не с одной точки зрения знаменного порта, пролива, «средоточия вселенной», «пула земли», не с точки зрения давно сознанной необходимости такому огромному великану как Россия выйти наконец из запертой своей комнаты, 20 в которой он уже дорос до потолка, на простор, дохнуть вольным воздухом морей и океанов. Я хочу поставить на вид лишь одно соображение, тоже самой первой важности, по которому Константинополь не может миновать России. Это соображение я потому преимущественно перед другими выставляю па вид, что, как мне кажется, такой точки зрения никто теперь не берет в расчет или, по крайней мере, давно позабыли брать в расчет, а она-то, пожалуй что, и из самых важных.

II. РУССКИЙ НАРОД СЛИШКОМ ДОРОС ДО ЗДРАВОГО ПОНЯТИЯ О ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ С СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

30

Хоть и дико сказать, но четырехвековой гнет турок на Востоке с одной стороны был даже полезен там христианству и православию, — отрицательно, конечно, но, однако же, способствуя его укреплению, а главное, его единению, его единству, точно так же, как двухвековая татарщина способствовала некогда укреплению церкви и у нас в России. Придавленное и измученное христианскоe население Востока увидело во Христе и в вере в него единое свое утешение, а в церкви — единственный и последний остаток своей национальной личности и особности. Это была последняя единая надежда, последняя доска, остававшаяся от разбитого корабля; ибо церковь все-таки сохраняла эти народы как национальность, а вера во Христа препятствовала им, то есть хотя части из них, слиться с победителями воедино, забыв свой род и свою прежнюю историю. Всё это чувствовали и хорошо понимали сами угнетенные народы и единились около креста теснее. С другим

той стороны, с самого покорения Константина, весь огромный христианский Восток невольно и вдруг обратил свой молящий взгляд на далекую Россию, только что вышедшую тогда из своего татарского рабства, и как бы предугадал в ней будущее ее могущество, свой будущий всеединящий центр себе во спасение. Россия же немедленно и не колеблясь приняла знамя Востока и поставила царьградского двуглавого орла выше своего древнего герба и тем как бы приняла обязательство перед всем православием: хранить его и все народы, его исповедующие, от 10 конечной гибели. В то же время и весь русский народ совершенно подтвердил новое назначение России и царя своего в грядущих судьбах всего Восточного мира. С тех пор главное, излюбленное наименование царя своего народ твердо и неуклонно поставил и до сих пор видит в слове: «православный», «царь православный». Назвав так царя своего, он как бы признал в наименовании этом и назначение его, — назначение охранителя, единителя, а когда прогремит веление божие, — и освободителя православия и всего христианства, его исповедующего, от мусульманского варварства и западного еретичества. Два века на- 20 зад, и особенно начиная с Петра Великого, верования и надежды народов Востока начали сбываться уже на деле: меч России уже несколько раз сиял на Востоке в защиту его. Само собою, что и народы Востока не могли не видеть в царе России не только освободителя, но и будущего царя своего. Но в эти два века явилось и у них европейское просвещение, европейское влияние. Высшая просвещенная часть народа, интеллигенция его, как у нас, так и на Востоке, мало-помалу стала к идее православия равнодушнее, стала даже отрицать, что в этой идее заключается обновление и воскресение в новую, великую жизнь как для 30 Востока, так и для России. В России, например, в огромной части ее образованного сословия перестали и даже как бы отучились видеть в этой идее главное назначение России, завет будущего и жизненную силу ее; в противоположность тому стали находить всё это в новых указаниях. В церкви, по-западному, многие стали видеть лишь мертвенный формализм, особность, обрядность, а с конца прошлого века так даже предрассудок и ханжество: о духе, об идее, об живой силе было забыто. Явились идеи экономические характера западного, явились новые учения политические, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать выше ее. Явились, наконец, наука, не могшая не внести безверия в прежние идеи... В народах же Востока стали пробуждаться, кроме того и главнейшим образом, идей национальные: явились вдруг боязнь, освободясь от турецкого ига, подпасть под иго России. Зато в простом, многомиллионном народе нашем и в царях его идея освобождения Востока и церкви Христовой не умирала никогда. Движение, охватившее народ русский прошлым летом, доказало, что народ не забыл ничего из своих древних надежд и верований, и даже удивило огромную

часть нашей интеллигенции до того, что та прямо не поверила этому движению, отнеслась к нему скептически и насмешливо, стала всех уверять, и себя прежде всех, что движение это выдумано и подделано неблаговидными людьми, желавшими выдвинуться вперед на красивое место. В самом деле, кто бы мог, в наше время, в нашей интеллигенции, кроме небольшой отделившейся от общего хора части ее, допустить, что народ наш в состоянии *сознательно* понимать свое политическое, социальное и нравственное назначение? Как можно было им допустить, чтобы эта грубая черная масса, недавно еще крепостная, а теперь опившаяся водкой, знала бы и была уверена, что назначение ее — служение Христу, а царя ее — хранение Христовой веры и освобождение православия. «Пусть эта масса всегда называла себя не иначе как христианством (крестьянством), но ведь она все-таки не имеет понятия ни о религии, ни о Христе даже, она самых обыкновенных молитв не знает». Вот что говорят обыкновенно про народ наш. Кто говорит это? Вы думаете — немецкий пастор, обработавший у нас штунду, или заезжий европеец, корреспондент политической газеты, или образованный какой-нибудь высший еврей из тех, что не веруют в бога и которых вдруг у нас 20 так много теперь расплодилось, или, наконец, кто-нибудь из тех поселившихся за границей русских, воображающих Россию и народ ее лишь в образе пьяной бабы, со штофом в руках? О нет, так думает огромная часть нашего русского и самого лучшего общества; а и не подозревают они, что хоть народ наш и не знает молитв, но суть христианства, но дух и правда его сохранились и укрепились в нем так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего, несмотря даже на пороки его. Впрочем, атеист или равнодушный в деле веры русский европеец и не понимает веры иначе как в виде формалистики и ханжества. В народе же они 30 не видят ничего подобного ханжеству, а потому и заключают, что он в вере ничего не смыслит, молится, когда ему надо, доске, а в сущности равнодушен, и дух его убит формалистикою. Духа христианского они в нем не приметили вовсе, может быть, и потому еще, что сами этот дух давно уже потеряли, да и не знают, где он находится, где он веет. Этот «развратный» и темный народ наш любит, однако же, смиренного и юродивого: во всех преданиях и сказаниях своих он сохраняет веру, что слабый и приниженный, несправедливо и напрасно Христа ради терпящий, будет вознесен превыше знатных и сильных, когда раздастся 40 суд и веление божие. Народ наш любит тоже рассказывать и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и непререкаемого, верного и сердцем чистого. И имея, чтя и любя такого богатыря, — народу ли нашему не веровать и в торжество приниженных теперь народов и братьев наших на Востоке? Народ наш чтит память своих великих и смиренных отшельни-

ков и подвижников, любит рассказывать истории великих христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и заучил, и я сам их впервые от народа услышал, рассказанные с проникновением и благоговением и оставшиеся у меня на сердце. Кроме того, народ ежегодно и сам выделяет из себя великих кающихся «Власов», идущих с умилением, раздав всё имение свое, на смиренный и великий подвиг правды, работы и нищеты... Но, впрочем, о народе русском потом; когда-нибудь добьется же он того, что начнут понимать и его и, по крайней мере, принимать его во внимание. Поймут, что и он что-нибудь да значит. Поймут, наконец, и то важное обстоятельство, что ни разу еще в великие или даже в чуть-чуть важные моменты истории русской без него не обходилось, что Россия *народна*, что Россия не Австрия, что в каждый значительный момент нашей исторической жизни дело всегда решалось народным духом и взглядом, царями народа в высшем единении с ним. Это чрезвычайно важное историческое обстоятельство обыкновенно у нас пропускается почти без внимания нашей интеллигенцией и вспоминается всегда как-то вдруг, когда грязнет исторический срок. Но я отвлекся, я заговорил о Константинополе...

III. САМЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫСЛИ

Восточная церковь, ее предстоятели, вселенский патриарх, во все эти четыре века порабощения их церкви, жили с Россиею и между собою мирно — в деле веры то есть: больших смут, ересей, расколов не было, не до того было. Но вот в нынешнем веке, и особенно в последнее двадцатилетие, после великой Восточной войны, как бы потянуло у них тленным запахом разлагающегося трупа: предчувствие смерти и разложения «большого человека» и гибели его царства стало ощущением главным, насущным.

О, конечно, освободить может окончательно все-таки лишь одна Россия, та самая Россия, которая и теперь, и в настоящую минуту всеобщих разговоров о Востоке все-таки лишь одна разговаривает за них в Европе, тогда как все остальные народы и царства просвещенного европейского мира были бы, конечно, рады, чтобы их всех, этих угнетенных народов Востока, хотя бы и вовсе на свете не было. Но увы, чуть ли не вся интеллигенция восточной райи хоть и зовет Россию на помощь, но боится ее, может быть, столько же, сколько и турок: «Хоть и освободят нас Россия от турок, но поглотят нас как и „больной человек“ и не даст развиться нашим национальностям» — вот их неподвижная идея, отравляющая все их надежды! А сверх того у них и теперь уже всё сильней разгораются и между собою национальные соперничества; начались они, чуть лишь просиял для них первый луч образования. Столь недавняя у них греко-болгарская церковная распрая, под видом церковной, была, конечно, лишь напо-

нальною, а для будущего как бы неким пророчеством. Вселенский патриарх, порицая ослушание болгар и отлучая их и самовольно выбранного ими экзарха от церкви, выставлял на вид, что в деле веры нельзя жертвоовать уставами церкви и послушанием церковным «новому и пагубному принципу национальности». Между тем сам же он, будучи греком и произнося это отлучение болгарам, без сомнения, служил тому же самому принципу национальности, но только в пользу греков против славян. Одним словом, можно даже с вероятностью предсказать, что умри «больной человек», и у них у всех тотчас же начнутся между собою смятения и распри на первый случай именно характера церковного и которые напесут несомненный вред даже и самой России; нанесут даже и в том случае, если б та совершенно устранилась или была устранена обстоятельствами от участия в решении Восточного вопроса. Мало того, смуты эти, может быть, отзовутся даже еще тяжелее для России, если она устранит себя от деятельного и первенствующего участия в судьбах Востока. А тут вдруг кричат (и не только в Европе, но и у нас многие высшие политические наши умы), что случись умереть туркам как государству, то Константинополь должен возродиться не иначе, как городом 20 «международным», то есть каким-то серединным, общим, вольным, чтобы не было из-за него споров. Ошибочнее мысли нельзя было и придумать.

И во-первых, уже по тому одному, что такой великолепной точке земного шара просто не дадут стать международной, то есть ничьей; непременно и сейчас же явятся хоть бы англичане со своим флотом, в качестве друзей, и именно охранять и оберегать эту самую «международность», а в сущности чтобы овладеть Константинополем в свою пользу. А уж где они поселятся, оттуда их трудно выжить, народ цепкий. Мало того: греки, славяне и 30 мусульмане Царьграда призовут их сами, ухватятся за них обеими руками и не выпустят их от себя, а причина тому — все та же Россия: «Зашитят, дескать, они нас от России, нашей освободительницы». И добро бы они не видели и не понимали, что такое для них англичане, да и вообще вся Европа? О, они и теперь знают лучше всех, что англичанам (да и никому в Европе, кроме России) до их счастья, то есть до счастья всей христианской райи, нет ровно никакого дела. Вся эта райя знает отлично, что если б возможно было повторить болгарские летние ужасы (а это, кажется, очень возможно) как-нибудь неслышно и втихомолку, то в Европе англичане первые пожелали бы повторения этих убийств хоть раз десять — и не из кровожадности, вовсе нет: там народы гуманные и просвещенные, — а потому, что такие убийства, повторенные десять раз, истребили бы окончательно райю, истребили бы до того, что уже некому было бы на Балканском полуострове делать против турок восстания, — а в этом-то и вся главная суть: остались бы одни милые турки, и турецкие бумаги повысились бы разом на всех европейских биржах, а Рос-

ции «с ее честолюбием и завоевательными планами» пришлось бы откочевать поглубже вовсюзи за немением кого защищать. Райя слишком хорошо знает, что только этих чувств она и может ожидать теперь от Европы. Но совсем другое дело явилось бы мигом на свете, если б каким-нибудь образом, сам собою или от меча России, умер бы наконец «больной человек». Тотчас же вся Европа возгорелась бы к обновленным народам нежнейшею любовью и тотчас же бросились бы «спасать их от России». Надо думать, что идею о «международности» Европа первая и внесет

10 в их новое устройство. Европа поймет, что над трупом «больного человека» у освобожденных народов немедленно возгорится смута, распра и соперничество, а ей это и на руку: предлог вмешательства, главное, предлог возбудить их против России, которая наверно не захочет им дать ссориться из-за наследства «большого человека». И не будет такой клеветы, которую бы не пустила в ход против нас Европа. «Из-за русских-то мы вам и против турок не помогали», — скажут им тогда англичане. Увы, народы Востока и теперь это понимают отлично и знают, что «Англия никогда не примет участия в их освобождении и никогда

20 не даст на это своего согласия, если б оно считалось нужным, потому что она ненавидит этих христиан за их духовную связь с Россией. Англии нужно, чтоб восточные христиане возненавидели нас всею силою той ненависти, какую опа сама питает к нам»... (*Московские ведомости*, № 63). Вот что знают и покамест запоминают про себя эти народы, и вот что они уж и теперь, конечно, поставили на будущий счет России. А мы-то думаем, что они нас обожают.

В международном городе, мимо покровителей англичан, все-таки будут хозяевами греки — исконные хозяева города. Надо думать, что греки смотрят на славян еще с большим презрением, чем немцы. Но так как славяне будут и страшны для греков, то презрение сменится ожесточением. Воевать между собою, объявлять друг другу войну они, конечно, не смогут, потому что их всё же не допустят до того покровители, по крайней мере в смысле серьезном. Ну вот именно за невозможностью открытой и кровьюенной драки у них и пойдут всякие другие распри, и прежде всего примут характер церковных смут. С того и начнется, потому что это всего сподручнее; и вот это я и хотел указать.

40 Я потому так говорю, что уж программа была дана: болгаре и Константинополь. С этой точки греки сплыны, и они понимают это. А между тем ничего страшнее в грядущем не может быть для всего Востока, а вместе и для России, как еще раз подобная церковная распра, которая, увы, так возможна, устранись хоть на миг Россия с своим покровительством и с строгим над ними надзором. Хоть это и всего только будущее, и даже лишь гадания, но непростительно было бы выпустить это из виду даже хотя бы только как гадание. В самом деле, неужели уж и нам

желать продолжения владычества турок и здоровья «больному человеку»? Неужели и нам дойти до того? Неужели не ясно, что умри этот «больной человек», а главное, отстранись Россия хоть наполовину от окончательного и первенствующего влияния на судьбы Востока, сделай она эту уступку Европе, и — более чем вероятно, что на Балканском полуострове пошатнется церковное единение стольких веков, а может быть, и еще далее на Востоке. Даже так можно сказать: будут эти распри или нет, но умри «больной человек», то весьма вероятно, что, может быть, дело не обойдется, *во всяком случае*, без великого церковного собора, для 10 уложения дел вновь возрождающейся церкви. Почему бы это не предвидеть заранее? В эти четыре века гонений и гнета предстоятели Восточной церкви всегда слушались советов России; но освободись они завтра от турецкого гнета и окажи им к тому же покровительство Европа, — они тотчас же заявят себя в других отношениях к России. Предстоятели Восточной церкви, то есть, главное, греки, чуть лишь Россия взяла бы сторону славян, тотчас же, может быть, пожелали бы ей заявить, что в ней и в советах ее они более совсем не нуждаются. Именно потому поспешат заявить, что четыре века смотрели на нее, сложа в мольбе руки. А положение 20 России будет почти всех труднее. Те же болгаре тотчас же закричат, что в Константинополе воцарился новый восточный папа и — кто знает, может быть правы будут. Международный Константинополь, действительно, может послужить, хоть на время, подножием нового папы. Тогда России стать за греков будет значить потерять славян, а стать за славян, в этой будущей и столь вероятной между ними распре, — значит, нажить и себе, может быть, пренеприятные и пресерьезные церковные хлопоты. Ясно, что всё это может быть избегнуто лишь заблаговременною 30 стойкостью России в Восточном вопросе и неуклонным следованием всё тем же великим преданиям нашей древней вековой русской политики. Никакой Европе не должны мы уступать ничего в этом деле ни для каких соображений, потому что дело это наша жизнь и смерть. Константинополь должен быть наш, рано ли, поздно ли, хотя бы именно во избежание тяжелых и неприятных церковных смут, которые столь легко могут возродиться между молодыми и не жившими народами Востока и которым пример уже был в споре болгар и вселенского патриарха, весьма плохо окончившемся. Раз мы завладеем Константинополем, и ничего этого не может произойти. Народы Запада, столь ревниво 40 следящие за каждым шагом России, еще не знают и не подозревают в настоящую минуту всех этих новых, еще мечтательных, но слишком возможных будущих комбинаций. Если б и узнали их теперь, то не поняли бы их и не придали бы им особенной важности. Зато слишком поймут и придадут важности потом, когда будет уже поздно. Русский народ, понимающий Восточный вопрос не иначе как в освобождении всего православного христианства и в великом будущем единении церкви, если увидит, напротив,

новые смуты и новый разлад, то будет слишком потрясен, и, может быть, глубоко отзовется и па нем, и на всем быте его всякий новый исход дела, особенно если оно в конце концов получит характер церковный по преимуществу. Вот по этому одному мы ни за что и никак не можем оставлять или ослаблять степень нашего векового участия в этом великому вопросе. Не один только великолепный порт, не одна только дорога в моря и океаны связывают Россию столь тесно с решением судей рокового вопроса, и даже не объединение и возрождение славян... Задача наша 10 глубже, безмерно глубже. Мы, Россия, действительно необходимы и неминуемы и для всего восточного христианства, и для всей судьбы будущего православия на земле, для единения его. Так всегда понимали это наш народ и государи его... Одним словом, этот страшный Восточный вопрос — это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нем и окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с нею, но уже на новых, могучих, плодотворных началах. О, где понять теперь Европе всю ту роковую жизненную важность 20 для нас самих в решении этого вопроса! Одним словом, чем бы ни кончились теперешние, столь необходимые, может быть, дипломатические соглашения и переговоры в Европе, но рано ли, поздно ли, а Константинополь должен быть наш, и хотя бы лишь в будущем только столетии! Это нам, русским, надо всегда иметь в виду, всем неуклонно. Вот что мне хотелось заявить, особенно в настоящий европейский момент...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. «ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС»

О, не думайте, что я действительно затеваю поднять «еврейский вопрос»! Я написал это заглавие в шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, — я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах. Но некоторое суждение мое я всё же могу иметь, и вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали вдруг интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них «нападаю», что я «ненавижу жида», ненавижу не за пороки его, «не как эксплуататора», а именно как племя, то есть вроде того, 40 что: «Иуда, дескать, Христа продал». Пишут это «образованные» евреи, то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) — которые всегда как бы стараются дать вам знать, что они, при своем образовании, давно уже не разделяют «предрассудков» своей нации,

своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в бога, дескать, не веруем. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из «высших евреев», которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову и отступаться от него. И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других, весьма высокого размера причин. Да и странное дело: еврей без бога как-то немыслим; еврея без бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных, мы ее пока оставим. Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал ¹⁰ в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но — по лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно. Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», что я называю иногда еврея «жидом»? Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово «жид», сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с пею, но не обижаться словом. Выпишу ²⁰ одно место из письма одного весьма образованного еврея, написавшего мне длинное и прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собою разумеется, что имя г-на NN, мне писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом.

... но я намерен³ затронуть один предмет, который я решительно не могу себе объяснить. Это ваша ненависть к «жиду», которая проявляется почти в каждом выпуске вашего «Дневника».

Я бы хотел знать, почему вы восстаете против жида, а не против эксплуататора вообще, я не меньше вашего терпеть не могу предрассудков моей нации, — я немало от них страдал, — но никогда не соглашусь, что в крови этой нации живет бессовестная эксплуатация.

Неужели вы не можете подняться до основного закона всякой социальной жизни, что все без исключения граждане одного государства, если они только несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, должны пользоваться *если* правами и выгодами его существования и что для отступников от закона, для вредных членов общества должна существовать одна и та же мера взыскания, общая для всех^{..}? Почему же все евреи должны быть ограничены в правах и почему для них должны существовать специальные карательные законы? Чем эксплуатация чужестранцев (евреи ведь все-таки русские подданные): немцев, англичан, греков, которых в России такая пропасть, лучше ⁴⁰ жидовской эксплуатации? Чем русский православный купец, член-

вальник, кровопийца, которых так много расплодилось во *всей* России, лучше таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу? Чем такой-то лучше такого-то...

(Здесь почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулаков с еврейскими в том смысле, что русские не уступят. Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не выставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени соглашаемся, что и те и другие нехороши.)

10 Таких вопросов я бы мог вам задавать тысячами.

Между тем вы, говоря о «жиде», включаете в это понятие всю страшно нищую массу трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона 900 000, по крайней мере, ведет отчаянную борьбу за жалкое существование, нравственно чище не только других народностей, но и обоготворяемого вами русского народа. В это название вы включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни, берите хоть...

20 (Тут опять несколько имен, которых я, кроме Гольдштейнова, считаю не вправе напечатать, потому что некоторым из них, может быть, неприятно будет прочесть, что они происходят из евреев.)

... Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею) и работающих на пользу общества и человечества? Ваша ненависть к «жиду» простирается даже на Дизраэли... который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями, и который, уж конечно, не руководит английской консервативной политикой с точки зрения «жила» (?)...

30 Нет, к сожалению, вы не знаете ни еврейского народа, ни его жизни, ни его духа, ни его сорокавековой истории, наконец. К сожалению, потому, что вы, во всяком случае, человек искренний, абсолютно честный, а наносите бессознательно вред громадной массе нищенствующего народа, — сильные же «жиды», принимая сильных мира сего в своих салахах, конечно, не боятся ни печати, ни даже бессильного гнева эксплуатируемых. Но довольно об этом предмете! Вряд ли я вас убежду в моем взгляде, — но мне крайне желательно было бы, чтобы вы убедили меня.

Бот этот отрывок. Прежде чем отвечу что-нибудь (ибо не хочу нести на себе такое тяжелое обвинение), — обращаю внимание на ярость нападения и на степень обидчивости. Положительно 40 у меня, во весь год издания «Дневника», не было таких размиров статьи против «жида», которая бы могла вызвать такой силы нападение. Во-вторых, нельзя не заметить, что почтенный корреспондент, коснувшись в этих немногих строках своих и до русского народа, не утерпел и не выдержал и отнесся к бедному русскому народу несколько слишком уж свысока. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непроплеванного места (словечко Щедрина), а еврею тем «простительнее». Но во всяком случае ожесточение это свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских. Писал это действительно человек обра-

зованный и талантливый (не думаю только, чтоб без предрассудков); чего же ждать, после того, от необразованного еврея, которых так много, каких чувств к русскому? Я не в обвинение это говорю: всё это естественно; я только хочу указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и не один русский народ и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени. Отметив это, выскажу несколько слов в мое оправдание и вообще как я смотрю на это дело. И хоть вопрос этот, повторяю, мне и не по силам, но что же нибудь ведь и я могу выразить.

10

II. PRO И CONTRA¹

Положим, очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа, как евреи; но на первый случай я уже то одно знаю, что наверно нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мучничество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств. Пусть благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею. Но все-таки, не будь 20 так сильна еврейская идея в мире, и, может быть, тот же самый «славянский» (прошлогодний) вопрос давно бы уже решен был в пользу славян, а не турок. Я готов поверить, что лорд Биконс菲尔д сам, может быть, забыл о своем происхождении, когда-то, от испанских жидов (наверно, однако, не забыл); но что он «руководил английской консервативной политикой» за последний год *отчасти* с точки зрения жида, в этом, по-моему, нельзя сомневаться. «Отчасти-то» уж нельзя не допустить.

Но пусть всё это, с моей стороны, голословие, легкий тон и легкие слова. Уступаю. Но все-таки не могу вполне поверить крикам евреев, что уж так они забиты, замучены и принуждены. На мой взгляд, русский мужик, да и вообще русский простолюдин, несет тягостей чуть ли не больше еврея. Мой корреспондент пишет мне в другом уже письме:

«Прежде всего *необходимо* предоставить им (евреям) все гражданские права (подумайте, что они лишены до сих пор самого коренного права: свободного выбора местожительства, из чего вытекает множество страшных стеснений для всей еврейской массы), как и всем другим чужим народностям в России, а потом уже требовать от них исполнения 40 своих обязанностей к государству и к коренному населению».

Но подумайте и вы, г-п корреспондент, который сами пишете мне, в том же письме, на другой странице, что вы «не в пример больше любите и жалеете трудящуюся массу русского народа,

¹ За и против (*лат.*).

чем еврейскую» (что уже слишком для еврея сильно сказано), — подумайте только о том, что когда еврей «терпел в свободном выборе местожительства», тогда двадцать три миллиона «русской трудящейся массы» терпели от крепостного состояния, что, уж конечно, было потяжелее «выбора местожительства». И что же, пожалели их тогда евреи? Не думаю; в западной окраине России и на юге вам на это ответят обстоятельно. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ, кричали и жалобились, что они забиты и мученики и что

10 когда им дадут больше прав, «тогда и спрашивайте с нас исполнения обязанностей к государству и коренному населению». Но вот пришел освободитель и освободил коренной народ, и что же, кто первый бросился на него как на жертву, кто воспользовался его пороками преимущественно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же заместил, где только мог и поспел, упраздненных помещиков, с тою разницей, что помещики хоть и сильно эксплуатировали людей, но всё же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтобы не истощить рабочей силы, а еврею до истощения русской силы дела нет,

20 взял свое и ушел. Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчас же закричат, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому верю всем этим глупостям, что «не знаю сорокавековой истории» этих чистых ангелов, которые несравненно «нравственно чище не только других народностей, но обоготовляемого мною русского народа» (по словам корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они нравственно чище всех народов в мире, а русского уж разумеется, а между тем я только что прочел в марковской книжке «Вестника Европы» известие о том, что евреи в Америке, Южных Штатах, уже набросились всей массой на

30 многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим «золотым промыслом» и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени. Представьте же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще пять лет тому приходило это самое на ум, именно то, что вот ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту свежую жертвочку как раз набрасываются евреи, которых столь много на свете. Подумал я это, и, уверяю вас, несколько раз потом в этот срок мне вспадало на мысль: «Да что же там ничего

40 об евреях не слышно, что в газетах не пишут, ведь эти негры евреям клад, неужели пропустят?» И вот дождался, написали в газетах, прочел. А дней десять тому назад прочел в «Новом времени» (№ 371) корреспонденцию из Ковно,prehактернейшую: «Дескать, до того набросились там евреи на местное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угрожая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». Просвещенный корреспондент, правда, сплюхну краснеет за свое население, до сих

пор верующее в ксендзов и в муки ада, по он сообщает при этом, что поднялись вслед за ксендзами и просвещенные местные экономисты, начали устраивать сельские банки, именно чтобы спасти парод от процентщика-еврея, и сельские рынки, чтобы можно было «бедной трудящейся массе» получать предметы первой потребности по настоящей цене, а не по той, которую назначает еврей. Ну, вот я это всё прочел и знаю, что мне в один миг за-кричат, что всё это ничего не доказывает, что это от того, что евреи сами угнетены, сами бедны, и что всё это лишь «борьба за существование», что только глупец разобрать этого не может, и 10 не будь евреи так сами бедны, а, напротив, разбогатей они, то мигом показали бы себя с самой гуманной стороны, так что мир бы весь удивили. Но ведь, конечно, все эти негры и литовцы еще беднее евреев, выжимающих из них соки, а ведь те (прочтите-ка корреспонденцию) гнушаются такой торговлей, на которую так падок еврей; во-вторых, не трудно быть гуманным и нравственным, когда самому жирно и весело, а чуть «борьба за существование», так и не подходит ко мне близко. Не совсем уж это, по-моему, такая ангельская черта, а в-третьих, ведь и я, конечно, не выставляю эти два известия из «Вестника Европы»²⁰ и «Нового времени» за такие уж капитальные и всерешающие факты. Если начать писать историю этого всемирного племени, то можно тотчас же найти сто тысяч таких же и еще крупнейших фактов, так что один или два факта лишних ничего особенного не прибавят, но ведь что при этом любопытно: любопытно то, что чуть лишь вам — в споре ли или просто в минуту собственного раздумья — чуть лишь вам понадобится справка о евреях и делах его, — то не ходите в библиотеки для чтения, не ройтесь в старых книгах или в собственных старых отметках, не трудитесь, не ищите, не напрягайтесь, а не сходя с места, не поды-³⁰ маясь даже со стула, протяните лишь руку к какой хотите первой лежащей подле вас газете и поищите на второй или на третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях, и непременно то, что вас интересует, непременно самое характернейшее и непременно одно и то же — то есть всё одни и те же подвиги! Так ведь это, согласитесь сами, что-нибудь да значит, что-нибудь да указует, что-нибудь открывает же вам, хотя бы вы были круглый невежда в сорокавековой истории этого племени. Разумеется, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. Конечно, очень может случиться, что все до 40 единого лгут, но в таком случае рождается тотчас другой вопрос: если все до единого лгут и обуреваемы такою ненавистью, то с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть, «ведь что-нибудь значит же слово *все!*», как воскликнул некогда Белинский.

«Свободный выбор местожительства!» Но разве русский «коренной» человек уж так совершенно свободен в выборе местожительства? Разве не продолжаются и до сих пор еще прежние,

еще от крепостных времен оставшиеся и нежелаемые стеснения в полной свободе выбора местожительства и для русского простолюдина, на которые давно обращает внимание правительство? А что до евреев, то всем видно, что права их в выборе местожительства весьма и весьма расширились в последние двадцать лет. По крайней мере, они явились по России в таких местах, где прежде их не видывали. Но евреи всё жалуются на ненависть и стеснения. Пусть я не тверд в познании еврейского быта, но одно-то я уже знаю наверно и буду спорить со всеми,
10 именно: что нет в нашем простонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею, вроде: «Иуда, дескать, Христа продал». Если и услышишь это от ребятишек или от пьяных, то весь народ наш смотрит на еврея, повторяю это, без всякой предвзятой ненависти. Я пятьдесят лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах. Там было несколько евреев — и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Когда они молились (а евреи молятся с криком, надевая особое платье), то никто не находил этого странным, не мешал им
20 и не смеялся над ними, чего, впрочем, именно надо бы было ждать от такого грубого, по вашим понятиям, народа, как русские; напротив, смотря на них, говорили: «Это у них такая вера, это они так молятся», — и проходили мимо с спокойствием и почти с одобрением. И что же, вот эти-то евреи чуждались во многом русских, не хотели есть с ними, смотрели чуть не свысока (и это где же? в остроге!) и вообще выражали гадливость и презрительность к русскому, к «коренному» народу. То же самое и в солдатских казармах, и везде по всей России: наведайтесь, спросите, обижают ли в казармах еврея как еврея, как *жигда*, за веру, за
30 обычай? Нигде не обижают, и так во всем народе. Напротив, уверяю вас, что и в казармах, и везде русский простолюдин слишком видит и понимает (да и не скрывают того сами евреи), что еврей с ним есть не захочет, брезгает им, сторонится и ограждается от него сколько может, и что же, — вместо того, чтоб обижаться на это, русский простолюдин спокойно и ясно говорит: «Это у него вера такая, это он по вере своей не ест и сторонится» (то есть не потому, что зол), и, сознав эту высшую причину, от всей души извиняет еврея. А между тем мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было
40 в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов — ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю? Нет-с, уверяю вас, что в русском народе нет предвзятой ненависти к еврею, а есть, может быть, несимпатия к нему, осо-

бенно по местам и даже, может быть, очень сильная. О, без этого
цельзя, это есть, но происходит это вовсе не от того, что он еврей,
не из племенной, не из религиозной какой-нибудь ненависти,
а происходит это от иных причин, в которых виноват уже не ко-
ренной народ, а сам еврей.

III. STATUS IN STATU.¹ СОРОК ВЕКОВ БЫТИЯ

Ненависть, да еще от предрассудков — вот в чем обвиняют ев-
реи коренное население. Но если уж зашла речь о предрассуд-
ках, то как вы думаете: еврей менее питает предрассудков к рус-
скому, чем русский к еврею? Не побольше ли? Вот я вам пред- 10
ставлял примеры того, как относится русское простолюдье к ев-
рею; а у меня перед глазами письма евреев, да не из просто-
людья, а образованных евреев, и — сколько ненависти в этих
письмах к «коренному населению»! А главное, — пишут, да и не
примечают этого сами.

Видите ли, чтобы существовать сорок веков на земле, то есть
во весь почти исторический период человечества, да еще в таком
плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою
территорию, свою политическую независимость, законы, почти
даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять воз- 20
рождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать
себе и законы и почти веру — нет, такой живучий народ, такой
необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспример-
ный в мире народ не мог существовать без *status in statu*, который
он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелет-
них рассеяний и гонений своих. Говоря про *status in statu*, я вовсе
не обвинение какое-нибудь хочу возвести. Но в чем, однако, за-
ключается этот *status in statu*, в чем вековечно-неизменная идея
его и в чем суть этой идеи?

Излагать это было бы долго, да и невозможно в коротенькой 30
статье, да и невозможно еще и по той даже причине, что не на-
стали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок
веков, и окончательное слово человечества об этом великом пле-
мени еще впереди. Но не вникая в суть и в глубину предмета,
можно изобразить хотя некоторые признаки этого *status in statu*,
по крайней мере, хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и
отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера
в то, что существует в мире лишь одна народная личность —
еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы
их и не существовало. «Выходи из народов и составь свою особь и 40
знай, что с сих пор ты *един у бога*, остальных истреби, или в ра-
бов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем
в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли

¹ Государство в государстве (лат.).

своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами — всё равно, — верь всему тому, что тебе обещаю, раз навсегда верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай...» Вот суть идеи этого *status in statu*, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть, и таинственные законы, ограждающие эту идею.

Вы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что уже это-то всё вздор и что «если и есть *status in statu* (то есть был, а теперь-де остались самые слабые следы), то единственno лишь гонения привели к нему, гонения породили его, религиозные, с средних веков и раньше, и явился этот *status in statu* единственno лишь из чувства самосохранения. Если же и продолжается, особенно в России, то потому, что еврей еще не сравнен в правах с коренным населением». Но вот что мне кажется: если б он был и сравнен в правах, то пи за что не отказался бы от своего *status in statu*. Мало того: приписывать *status in statu* одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, 20 надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова, как сказал я выше. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу — это-то уже несомненно. Что свой промыслитель, под именем прежнего первоначального Иеговы, с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой — это-то 30 уже ясно. Да и нельзя, повторю я, даже и представить себе еврея без бога, мало того, не верю я даже и в образованных евреев безбожников: все они одной сути, и еще бог знает чего ждет мир от евреев образованных! Еще в детстве моем я читал и слыхал про евреев легенду о том, что они-де и теперь неуклонно ждут мессию, все, как самый низший жид, так и самый высший и ученый из них, философ и кабалист-раввин, что они верят все, что мессия собирает их опять и Иерусалиме и низложит все народы мечом своим к их подножию; что потому-то-де евреи, по крайней мере в огромном большинстве 40 своем, предпочитают лишь одну профессию — торг золотом и много что обработку его, и это всё будто бы для того, что когда явится мессия, то чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь всё с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда

Загорит, заблестит луч денници;
И кимвал, и тимпан, и цевницы,
И сребро, и добро, и святыню
Понесем в старый дом, в Палестину.

10

Всё это, повторяю, слышал я как легенду, но я верю, что суть дела существует непременно, особенно в целой массе евреев, в виде инстинктивно-пруджимого влечения. Но чтоб сохранялась такая суть дела, уж конечно, необходимо, чтоб сохранялся самый строгий *status in statu*. Он и сохраняется. Стало быть, не одно лишь гонение было и есть ему причиной, а другая идея...

Если же существует вправду такой особый, внутренний, строгий строй у евреев, связующий их в нечто цельное и особное, то ведь почти еще можно задуматься над вопросом о совершенном сравнении во всем их прав с правами коренного населения. Само собою, всё что требует гуманность и справедливость, всё что требует человечность и христианский закон — всё это должно быть сделано для евреев. Но если они, во всеоружии своего строя и своей особности, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии своих правил и принципов, совершенно противу-положных той идее, следуя которой, доселе по крайней мере, развивался весь европейский мир, потребуют совершенного уравнения *всевозможных* прав с коренным населением, то — не получат ли они уже тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого коренного даже населения? Тут, копечно, укажут на других инородцев: «Что вот, дескать, сравнены или почти сравнены в правах, а евреи имеют прав меньше всех инородцев, и это-де потому, что боятся пас, евреев, что мы-де будто бы вреднее всех инородцев. А между тем чем вреден еврей? Если и есть дурные качества в еврейском народе, то единственно потому, что сам русский народ таковым способствует, по русскому собственному невежеству своему, по необразованности своей, по неспособности своей к самостоятельности, по малому экономическому развитию своему. Русский-де народ сам требует посредника, ру-ководителя, экономического опекуна в делах, кредитора, сам зовет его, сам отдается ему. Посмотрите, напротив, в Европе: там народы сильные и самостоятельные духом, с сильным национальным развитием, с привычкой давнишней к труду и с умением труда, и вот там не боятся дать все права еврею! Слышно ли что-нибудь во Франции о вреде от *status in statu* тамошних евреев?»

Рассуждение, по-видимому, сильное, но, однако же, прежде всего тут мерещится одна заметка в скобках, а именно: «Стало быть, еврейству там и хорошо, где народ еще невежествен; или несвободен, или мало развит экономически, — тут-то, стало быть, ему и лафа!» И вместо того, чтоб, напротив, влиянием своим поднять этот уровень образования, усилить знание, породить экономическую способность в коренном населении, вместо того еврей, где ни поселялся, там еще пуще унижал и разворачал народ, там еще больше пренебрегал человечество, еще больше падал уровень образования, еще отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние. В окраинах наших

спросите коренное население: что движает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: *безжалостность*; «двигали им столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью». И действительно, вся деятельность евреев в этих наших окраинах заключалась лишь в постановке коренного населения сколь возможно в безвыходную от себя зависимость, *пользуясь местными законами*. О, тут они всегда находили возможность пользоваться *правами и законами*. Они всегда умели водить дружбу с теми, от

10 которых зависел народ, и уж не им бы роптать хоть тут-то на *малые свои права сравнительно с коренным населением*. Довольно они их получали у нас, этих прав, над коренным населением. Что становилось, в десятилетия и столетия, с русским народом там, где поселялись евреи, — о том свидетельствует история наших русских окраин. И что же? Укажите на какое-нибудь другое племя из русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы равняться в этом смысле с евреем? Не найдете такого; в этом смысле еврей сохраняет всю свою оригинальность перед другими русскими инородцами, а причина 20 тому, конечно, этот *status in statu* его, дух которого дышит именно этой безжалостностью ко всему, что не есть еврей, к этому неуважению ко всякому народу и племени и ко всякому человеческому существу, кто не есть еврей. И что в том за оправдание, что вот на Западе Европы не дали одолеть себя народы и что, стало быть, русский народ сам виноват? Потому что русский народ в окраинах России оказался слабее европейских народов (и единственно вследствие жестоких вековых политических своих обстоятельств), потому только и задавить его окончательно эксплуатацией, а не помочь ему?

30 Если же и указывают на Европу, на Францию например, то вряд ли и там беззреден был *status in statu*. Конечно, христианство и идея его там пали и падают не по вине еврея, а по своей вине, тем не менее нельзя не указать и в Европе на сильное торжество еврейства, заменившего многие прежние идеи своими. О, конечно, человек всегда и во все времена боготворил материализм и наклонен был видеть и понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасенными всеми средствами деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно и так поучительно в высший принцип, как в нашем девятнадцатом веке. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми *единственно для себя*» — вот нравственный принцип большинства теперешних людей,* и даже не дурных людей, а, напротив, трудящихся, не убивающих, не ворующих. А безжалостность к низшим массам, а падение братства,

* Основная идея буржуазии, заместившей собою в конце прошлого столетия прежний мировой строй, и ставшая главной идеей всего нынешнего столетия во всем европейском мире.

а эксплуатация богатого бедным, — о, конечно, всё это было и прежде и всегда, но — но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, недаром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, недаром они движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же властители и всей международной политики, и что будет дальше — конечно, известно и самим евреям: близится их царство, полное их царство! Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеческого, жажда правды,¹⁰ чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей. Засмеются и скажут, что это там вовсе не от евреев. Конечно, не от одних евреев, но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала даже²⁰ до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут своего влияния. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не девять десятых их — буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут где бы урвать копейку на хлеб. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев (то есть огромного большинства их, по крайней мере), в самой эксплуатации³⁰ их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгуя чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом! Но всё же это пока ничего не изменяет; зато верхушка евреев воцаряется над человечеством всё сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Евреи все кричат, что есть же и между ними хорошие люди. О боже! да разве в этом дело? Да и вовсе мы не о хороших или дурных людях теперь говорим. И разве между теми нет тоже хороших людей? Разве покойный парижский⁴⁰ Джемс Ротшильд был дурной человек? Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о *жидовстве* и об *идее жидовской*, охватывающей весь мир, вместо «неудавшегося» христианства...

IV. ПО ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО!

Но что же я говорю и зачем? Или и я враг евреев? Неужели правда, как пишет мне одна, безо всякого для меня сомнения (что уже видно по письму ее и по искренним, горячим чувствам письма этого), благороднейшая и образованная европейская девушка, — неужели и я, по словам ее, враг этого «несчастного» племени, на которое я «при всяком удобном случае будто бы так жестоко нападаю». «Ваше презрение к жидовскому племени, которое „или о чём, кроме себя, не думает“ и т. д. и т. д., очевидно». — Нет, против этой очевидности я восстани, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что «всё, что требует гуманность и справедливость, всё, что требует человечность и христианский закон, — всё это должно быть сделано для евреев». Я написал эти слова выше, но теперь я еще прибавлю к ним, что, несмотря на все соображения, уже мною выставленные, я окончательно стою, однакоже, за совершившее расширение прав евреев в формальном законодательстве и, если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением (NB, хотя, может быть, в иных случаях, они имеют уже и теперь больше прав или, лучше сказать, *возможности ими пользоваться*, чем само коренное население). Конечно, мне приходит тут же на ум, например, такая фантазия: пусть если пошатнется каким-нибудь образом и от чего-нибудь паша сельская община, ограждающая нашего бедного кореника-мужика от стольких зол, — пусть если тут же к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умеющему сдержать себя от соблазна и которого именно опекала доселе община, — нахлынет всем кагалом еврей — да что тут: тут мигом конец его: всё имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея, и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина.

Но несмотря на все «фантазии» и на всё, что я написал выше, я все-таки стою за полное и окончательное уравнение прав — потому что это Христов закон, потому что это христианский принцип. Но если так, то для чего же я исписал столько страниц и что хотел выразить, если так *противуречу* себе? А вот именно то, что я не противуречу себе и что с русской, с коренной стороны нет и не вижу препятствий в расширении еврейских прав, по утверждению зато, что препятствия эти лежат со стороны евреев несравненно больше, чем со стороны русских, и что если до сих пор не созидался того, чего желалось бы всем сердцем, то русский человек в этом виновен несравненно менее, чем сам еврей. Подобно тому, как я выставлял еврея-простолюдина, который не хотел сообщаться и есть с русскими, а те не только не сердились и не мстили ему за это, а, напротив, разом осмыслили и извинили его, говоря: «Это он потому, что у него вера такая», — подобно тому, то есть этому еврею-простолюдину,

мы и в интеллигентном еврее видим весьма часто такое же безмерное и высокомерное предубеждение против русского. О, они кричат, что они любят русский народ; один так даже писал мне, что он именно скорбит о том, что русский народ не имеет религии и ничего не понимает в своем христианстве. Это уже слишком сильно сказано для еврея, и рождается лишь вопрос: понимает ли что в христианстве сам-то этот высокообразованный еврей? Но самомнение и высокомерие есть одно из очень тяжелых для нас, русских, свойств еврейского характера. Кто из нас, русский или еврей, более неспособен понимать друг друга? Клянусь, я оправдаю скорее русского: у русского, по крайней мере, нет (положительно нет!) религиозной ненависти к еврею. А остальных предубеждений где, у кого больше? Вон евреи кричат, что они были столько веков угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь, и что это, по крайней мере, надобно взять в расчет русскому при суждении о еврейском характере. Хорошо; мы и берем в расчет и доказать это можем: в интеллигентном слое русского народа не раз уже раздавались голоса за евреев. Ну, а евреи: брали ли и берут ли они в расчет, жалуясь и обвиняя русских, столько веков угнетений и гонений, которые перенес сам русский народ? Неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол «в свою историю», чем евреи где бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ и сам обращался в его гонителя? Ведь это всё было же, существовало, ведь это история, исторический факт, но мы нигде не слыхали, чтоб еврейский народ в этом раскаивался, а русский народ он все-таки обвиняет за то, что тот мало любит его.

Но «буди! буди!» Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав! А для этого я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снискходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя «скорбная брезгливость» евреев к русскому племени есть только предубеждение, «исторический нарост», *а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя*, — то да рассеется всё это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помошь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчаться взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства *нужно братство с обеих сторон*. Пусть еврей покажет ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтоб ободрить его. Я знаю, что в еврейском народе и теперь можно отделить

довольно лиц, ищущих и жаждущих устраниния недоумений, людей притом человеколюбивых, и не я буду молчать об этом, скрывая истину. Вот для того-то, чтоб эти полезные и человеколюбивые люди не унывали и не падали духом и чтоб сколько-нибудь ослабить предубеждения их и тем облегчить им начало дела, я и желал бы полного расширения прав еврейского племени, по крайней мере по возможности, именно насколько сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими без ущерба коренному населению. Даже бы можно было уступить вперед, сделать с русской стороны еще больше шагов вперед... Вопрос только в том: много ли удастся сделать этим новым, хорошим людям из евреев, и насколько сами они способны к новому и прекрасному делу *настоящего братского единения* с чуждыми им по вере и по крови людьми?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. ПОХОРОНЫ «ОБЩЕЧЕЛОВЕКА»

Мне о многом хотелось поговорить в этот раз в этом мартовском № моего «Дневника». И вот опять как-то так случилось, что то, об чем хотел сказать лишь несколько слов, заняло всё 20 место. И сколько тем, на которые я уже целый год собираюсь говорить и всё не соберусь. Об ином именно надо бы много скажать, а так как весьма часто выходит, что очень многое нельзя сказать, то и не принимаешься за тему.

Хотелось мне в этот раз тоже, мимо всех этих «важных» тем, сказать хоть мимоходом слова два об искусстве. Видел я Росси в Гамлете и вывел заключение, что вместо Гамлета я видел господина Росси. Но лучше и не начинать говорить, если не намерен всего сказать. Хотелось бы поговорить (немножко) о картине Семирадского, а пусть всего хотелось бы ввернуть хоть два слова 30 об идеализме и реализме в искусстве, о Репине и о господине Рафаэле, — но, видно, придется отложить всё это до более удобного времени.

Потом хотелось бы мне, но уже несколько побольше, написать по поводу некоторых из полученных мною за всё время издания «Дневника» писем, и особенно анонимных. Вообще я не могу отвечать на все письма, которые получаю, а на анонимные само собою, а между тем, за все эти почти полтора года, я вывел из этой корреспонденции (всё об общих наших темах) несколько наблюдений, может быть, и любопытных, на мой взгляд по крайней мере. По крайней мере, можно сделать несколько особых отметок уже на основании опыта о нашем русском умственном теперешнем настроении, о том, чем интересуются и куда клонят наши непраздные умы, кто именно наши непраздные умы, причем выдаются любопытные черты по возрастам, по полу, по со-

словиям и даже по местностям России. Думаю, что можно бы отделить несколько места в каком-нибудь из будущих «Дневников» по поводу хоть бы одних анонимов, например, и их характеристики, и не думаю, чтоб это вышло так уж очень скучно, потому что тут довольно всевозможного разнообразия. Разумеется, обо всем нельзя сказать и всего нельзя передать и даже, может быть, самого любопытного. А потому и боюсь приниматься, не зная, совладаю ли с темой.

Однако хочу привести теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мне г-жи Л., очень молодой девицы, еврейки,¹⁰ с которой я познакомился в Петербурге и которая пишет мне теперь из М. С уважаемой мною г-жою Л. мы никогда почти не говорили на тему о «еврейском вопросе», хотя она, кажется, из строгих и серьезных евреек. Вижу, что очень странно подошло письмо это к сейчас только дописанной мною целой главе о евреях. Было бы слишком много всё на одну и ту же тему. Но тут не на ту тему; а если отчасти и на ту, то выставляется как бы совсем другая, именно противоположная сторона вопроса, а при этом и как бы даже намек на разрешение его. Пусть извинит меня великодушно г-жа Л., что я позволяю себе передать здесь ее словами всю ту часть письма ее о похоронах доктора Гинденбурга в М., под первым впечатлением которых она и написала эти столь искренние и трогательные в правде своей строки. Не хотелось мне тоже утаить, что писано это еврейкой, что чувства эти — чувства еврейки...²⁰

Это я пишу под свежим впечатлением похоронного марша. Хоронили доктора Гинденбурга 84-х лет от роду. Как протестанта, его сначала отвезли в кирку, а уже затем на кладбище. Такого сочувствия, таких от души вырвавшихся слов, таких горячих слез я еще никогда не видела при похоронах... Он умер в такой бедности, что не на что было похоронить его.³⁰

Уже 58 лет как он практикует в М... и сколько добра он сделал за это время. Если бы вы знали, Федор Михайлович, что это был за человек! Он был доктор и акушер; его имя передает здесь в потомство, о нем уже сложились легенды, весь простой народ звал его отцом, любил, обожал и только с его смертью понял, что он потерял в этом человеке. Когда он еще стоял в гробу (в церкви), то не было, кажется, ни одного человека, который бы не пошел поплакать над ним и целовать его ноги, в особенности бедные еврейки, которым он так много помогал, плакали и молились, чтоб он попал прямо в рай. Сегодня пришла бывшая наша кухарка, ужасно бедная женщина, и говорит, что при рождении последнего ее ребенка он, видя, что ничего дома нет, дал 30 к., чтоб сварить суп, а затем каждый день приходил и оставлял 20 к., а видя, что она поправляется, прислал пару куропаток. Также будучи позван к одной страшно бедной родильнице (такие к нему и обращались), он, видя, что не во что принять ребенка, снял с себя верхнюю рубаху и платок свой (голова у него была повязана платком), разорвал и отдал.⁴⁰

Еще вылечил он одного бедного еврея дровосека, затем заболела его жена, затем дети, он каждый божий день приезжал 2 раза и, когда всех поставил на ноги, спрашивает еврея: «Чем ты мне заплатишь?» Тот говорил, что у него ничего нет, только последняя коза, которую он сегодня продаст. Он так и сделал, продал за 4 р. и принес ему деньги, тогда доктор дал лакею своему еще 12 р. к этим 4-м и отправил купить корову,⁵⁰

а дровосеку велел идти домой, через час тому приводят корову и говорят, что доктор признал козье молоко для них вредным.

Так он прожил всю свою жизнь. Бывали примеры, что он оставлял 30 и 40 р. у бедных; оставлял и у бедных баб в деревнях.

Зато хоронили его как святого. Все бедняки заперли лавки и бежали за гробом. У евреев есть мальчики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается провожать иноверца этими псалмами. Тут перед гробом, во время процессии, ходили мальчики и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах молились за его душу, также колокола *всех* церквей звонили всё время процессии. Был хор военной музыки, да еще еврейские музыканты пошли к сыну усопшего, просить, как чести, позволения играть во всё время процессии. Все бедные принесли кто 10, кто 5 к., а богатые евреи дали много и приготовили великолепный, огромный венок свежих цветов с белыми и черными лентами по сторонам, где золотыми буквами были вычислены его главные заслуги, так, наприм., учреждение больницы и т. п., — я не могла разобрать, что там, да и разве возможно вычислить его заслуги?

Над его могилой держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали, а он себе лежал в стареньком, истертом вицмундире, старым платком была обвязана его голова, эта милая голова, и казалось, он спал, так свеж был цвет его лица...

II. ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Единичный случай, скажут. Что ж, господа, я опять виноват: опять вижу в единичном случае чуть не начало разрешения всего вопроса... ну хоть того же самого «еврейского вопроса», которым я озаглавил мою вторую главу этого «Дневника». Кстати, почему я назвал старичка доктора «общечеловеком»? Это был не общечеловек, а скорее общий человек. Этот город М. — это большой губернский город в западном крае, и в этом городе множество евреев, есть немцы, русские конечно, поляки, литовцы, — и все-то, все эти народности признали праведного старичка каждая за своего. Сам же он был протестант, и именно немец, вполне немец: манера, как он купил и отоспал бедному еврею корову — это чисто немецкий вид. Сперва озадачил того: «Чем уплатишь?» И, уж конечно, бедняк, продавая последнюю козу, чтоб уплатить «благодетелю», не роптал nimalo, а, напротив, горько страдал в душе, что всего-то коза стоит 4 целковых, а ведь и «бедному работающему на них всех, бедняков, старичку тоже ведь жить надо, а что такое четыре целковых за все-то его благодеяния семейству?» Ну, а старичок себе на уме, посмеивается, а сердце горит у него: «Вот же я ему, бедняку, наш немецкий вид покажу!» И ведь как, должно быть, хорошо смеялся про себя, когда повели к еврею корову, как прибодрился духом, и, пожалуй, всю ту ночь, может быть, провозился в нищай лачуге какой-нибудь бедной еврейки-родильницы. А ведь восьмидесятилетнему старичку хорошо бы и поспать ночку, попокоить старые, усталые кости. Если бы я был живописец, я именно бы написал этот «жанр», эту ночь у еврейки-родильницы. Я ужасно люблю реализм в искусстве, по у иных современных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах, как выразился

на днях один могучий поэт и тонкий художник, говоря со мной о картине Семирадского. Тут, в предлагаемом мною сюжете для «жанра», мне кажется, был бы этот центр. Да и для художника роскошь сюжета. Во-первых, идеальная, невозможная, смраднейшая ипщета бедной еврейской хаты. Тут можно было много даже юмору выразить и ужасно кстати: юмор ведь есть остроумие глубокого чувства, и мне очень нравится это определение. С топким чувством и умом можно много взять художнику в одной уже перетасовке ролей всех этих нищих предметов и домашней утвари в бедной хате, и этой забавной перетасовкой сразу одарить вам сердце. Да и освещение можно было сделать интересное: на кривом столе догорает оплавившая сальна свечка, а сквозь единственное заиндевевшее и обледенелое оконце уже брезжит рассвет нового дня, нового трудного дня для бедных людей. Трудные родильницы часто рожают на рассвете: всю ночь промучаются, а к утру рожают. Вот усталый стариочек, па миг оставив мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленок нет, ни тряпки нет (бывает этакая бедность, господа, клянусь вам, бывает, чистейший реализм — реализм, так сказать, доходящий до фантастического), и вот праведный стариочек сплял свой старенький вицмундирчик, снял с плеч рубашку и разрывает ее на пеленки. Лицо его строгое и проникнутое. Бедный новорожденный еврейчик копошится перед ним на постели, христианин принимает еврейчика в свои руки и обвивает его рубашкой с плеч своих. Разрешение еврейского вопроса, господа! Восьмидесятилетний обнаженный и дрожащий от утренней сырости торс доктора может занять видное место в картине, не говорю уже про лицо старика и про лицо молодой, измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденного и на проделки с ним доктора. Всё это видит сверху Христос, и доктор знает это: «Этот бедный жидок вырастет и, может, снимет и сам с плеча рубашку и отдаст христианину, вспомниая рассказ о рождении своем», — с наивной и благородной верой думает стариик про себя. Сбудется ли это? вероятнее всего, что нет, но ведь сбыться может, а на земле лучше и делать-то нечего, как верить в то, что это сбыться может и сбудется. А доктор вправе верить, потому что уже на нем сбылось: «Исполнил я, исполнит и другой; чем я лучше другого?» — подкрепляет он себя аргументом. Усталая старуха еврейка, мать родильницы, в лохмотьях суетится у печки. Еврей, выходивший за вязанкой щепок, отворяет дверь хаты, и мерзлый пар клубом врывается па миг в комнату. На полу, на войлочной подстилке крепко спят два малолетних еврейчика. Одним словом, аксессуар мог бы выйти хороший. Даже тридцать копеек медью на столе, отсчитанные доктором па суп родильнице, могли бы составить деталь: медный столбик трехкопеечников, методически сложенных, отнюдь не разбросанных. Даже перламутр мог бы быть написан, как и в картине Семирадского, в которой удивительно написан кусок перламутра: докторам ведь дарят же ино-

гда (чтобы не платить много деньгами) хорошенъкие вещицы, и вот перламутровая докторская сигарочница лежит тут же подле медной кучки. Нет, ничего, картинка бы вышла с «нравственным центром». Приглашаю написать.

Единственный случай! Года два тому назад откуда-то (забыл) с юга России писали про какого-то доктора, только что вышедшего утром в жаркий день из купальни, освежившегося, ободрившегося и поспешавшего поскорее домой напиться кофею, а потому и не захотевшего помочь тут же вытащенному из воды утопленнику, несмотря на приглашение толпы. Его, кажется, за это судили. А ведь это, может быть, был человек образованный и новых идей, прогрессист, но «разумно» требовавший новых общих законов и прав для всех, пренебрегая единичными случаями. Полагавший, может быть, что единичные случаи даже скорее вредят, отдаляя общее решение вопроса, и что в отношении единичных случаев «чем хуже, тем лучше». Но без единичных случаев не осуществишь и общих прав. Этот общий человек хоть и единичный случай, а соединил же над гробом своим весь город. Эти русские бабы и бедные еврейки целовали его ноги в гробу вместе, 10 теснились около него вместе, плакали вместе. Пятьдесят восемь лет служения человечеству в этом городе, пятьдесят восемь лет неустанной любви соединили всех хоть раз над гробом его в общем восторге и в общих слезах. Провожает его весь город, звучат колокола *всех* церквей, поются молитвы на всех языках. Пастор со слезами говорит свою речь над раскрытой могилой. Раввин стоит в стороне, ждет и, как кончил пастор, сменяет его и говорит свою речь и льет те же слезы. Да ведь в это мгновение почти разрешен хоть бы этот самый «еврейский вопрос»! Ведь пастор и раввин соединились в общей любви, ведь они почти 20 обнялись над этой могилой в виду христиан и евреев. Что в том, что, разойдясь, каждый примется за старые предрассудки: капля точит камень, а вот эти-то «общие люди» побеждают мир, соединяя его; предрассудки будут бледнеть с каждым единичным случаем и наконец вовсе исчезнут. Про старичка останутся легенды, пишет г-жа Л., тоже еврейка и тоже плакавшая над «милой головой» человеколюбца. А легенды — уж это первый шаг к делу, это живое воспоминание и неустанное напоминание об этих «победителях мира», которым принадлежит земля. А уверовав в то, что это действительно победители и что такие действительно 30 «наследят землю», вы уже почти соединились во всём. Всё это очень просто, но мудрено кажется одно: именно убедиться в том, что вот без этих-то единиц никогда не соберете всего числа, сейчас всё рассыплется, а вот эти-то всё соединят. Эти мысли дают, эти веру дают, живой опыт собою представляют, а стало быть, и доказательство. И вовсе нечего ждать, пока все станут такими же хорошими, как и они, или очень многие: нужно очень немного таких, чтобы спасти мир, до того они сильны. А если так, то как же не надеяться?

III. НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ

Новочеркасск. Ю. Г. О штунде. Высылайте.

Г-жу NN, предлагающую извещать о событиях из крестьянской жизни и из земской деятельности края, просят приступить к обещанному.

Всех, приславших нам объявления о своих изданиях для напечатания в «Дневнике», покорнейше просим на этот раз извинить нас: мы не могли исполнить поручений за недостатком места.

АПРЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ВОЙНА. МЫ ВСЕХ СИЛЬНЕЕ

«Война! объявлена война», — восклицали у пас две недели назад. «Будет ли война?» — спрашивали тут же другие. «Объявлена, объявлена!» — отвечали им. «Да, объявлена, по будет ли?» — продолжали те спрашивать...

И, право, были такие вопросы, может быть, есть и теперь. И это не от одной только долгой дипломатической проволочки разуверились так люди, тут другое, тут инстинкт. Все чувствуют, что началось что-то окончательное, что наступает какой-то конец чего-то прежнего, долгого, длинного прежнего и делается шаг к чему-то совсем уже новому, к чему-то преломляющему прежнее надвое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шаг этот делает Россия! Вот в этом-то и неверие «премудрых» людей. Инстинктивное предчувствие есть, а неверие продолжается: «Россия! Но как же она может, как она смеет? Готова ли она? Готова ли внутренно, нравственно, не только материально? Там Европа, легко сказать Европа! А Россия, что такое Россия? И па такой шаг?»

Но народ верит, что он готов на повый, обновляющий и великий шаг. Это сам народ поднялся па войну, с царем во главе. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все *поздравляли* друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и всё это даже здесь в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, воскликнают: «Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!» Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по несколько тысяч, а записываются

неизвестными. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет. О, мудрецы и эти факты отрицать будут, как и прошлогодние; мудрецы всё еще, как и недавно, продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли их голоса. Почему же они смеются, откуда в них столько самоуверенности? А вот именно потому-то и продолжают они смеяться, что всё еще почитают себя силой, той самой силой, без которой ничего не поделаешь. А меж тем сила-то их приходит к концу.¹⁰ Близятся они к страшному краху, и когда разразится над ними крах, пустятся и они говорить другим языком, но все увидят, что они бормочут чужие слова и с чужого голоса, и отвернутся от них и обратят свое упование туда, где царь и народ его с ним.

Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте. Мудрецы кричат и указывают, что мы погибаем и задыхаемся от наших собственных внутренних неустройств, а по-²⁰ тому не войны желать нам надо, а, напротив, долгого мира, чтобы мы из зверей и туши могли обратиться в людей, научились порядку, честности и чести: «Тогда и идите помогать вашим братьям-славянам», — заканчивают они, в один хор, свою песню. Любопытно в таком случае, в каком виде представляют они себе тот процесс, посредством которого они сделаются лучше? И каким образом сами-то они приобретут себе честь явным бесчестием? Любопытно, наконец, как и чем оправдают они свой разрыв с всеобщим и повсеместным чувством пародным? Нет, видно правда, что истина покупается лишь мученичеством. Миллопы³⁰ людей движутся и страдают и отходят бесследно, как бы предназначенные никогда не попасть истины. Они живут чужою мыслию, ищут готового слова и примера, схватываются за подсказанное дело. Они кричат, что за них авторитеты, что за них Европа. Они свидят на несогласных с ними, на всех презирающих лакейство мысли и верящих в свою собственную и парода своего самостоятельность. И что же, на самом-то деле эти массы кричащих людей предназначены послужить собою лишь косным средством для того, чтобы разве единицы лишь из них приблизились сколько-нибудь к истине или по крайней мере получили бы о ней хоть ⁴⁰ предчувствие. Вот эти-то единицы и ведут потом всех за собою, овладевают движением, рождают идею и оставляют ее в наследство этим мечущимся массам людей. Такие единицы уже были и у нас. Некоторые из нас уже их понимают, даже многие. Но мудрецы всё еще продолжают смеяться и всё еще верят в себя, что они великая сила. «Погуляют и воротятся», — говорят они теперь про папы войска, перепедшие границу, говорят даже вслух. «Не бывать войне, какая война, где уж нам воевать: про-

сто военная прогулка и маневры, с тратой сотен миллионов, для поддержания чести». Вот их интимный взгляд на дело. Да и интимный ли?

Да, если б могло так случиться, что мы будем побиты, или хотя и побьем врага, но под давлением обстоятельств замирим пустяками, — о, тогда мудрецы, конечно, восторжествуют. И какой, какой опять начнется свист и гам и цинизм на несколько лет, какая опять вакханалия самооплывания, пощечин и самодразнения, — и это не для вызова к воскресению и силе, а именно ради 10 торжества собственного бесчестия, безличности и бессилия. И новый нигилизм начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его. А главное, приобретет столько силы и так укрепится, что несомненно начнет даже вслух помыкать святыней России. И опять молодежь оплюет свои семейства и дома и побежит от своих старииков, твердящих в зубряжку бесконечные общие места и старые, надоевшие всем слова о европейском величии и об обязанности нашей быть как можно безличнее. А главное — старая песня, старые слова и — надолго нового ничего! Нет, нам нужна война и победа. Свойской и победой придет новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна только мертвящая болтовня как прежде, — да что как прежде: как до сих пор, господа!

Но надо быть на всё готовым, и что же: если предположить даже самый худший, самый даже невозможнно худший исход для начавшейся теперь войны, то хоть и много вынесем скверного, уже надоевшего до смерти старого горя, но колосс всё же не будет расшатан и рано ли, поздно ли, а возьмет всё свое. Это не надежда только, это полная уверенность, и в этой невозможности расшатать колосс — вся наша сила перед Европой, где все теперь 30 чуть не сплошь боятся, что расшатается их старое здание и обрушатся на них потолки. Колосс этот есть народ наш. И начало теперешней *народной* войны, и все недавние предшествовавшие ей обстоятельства показали лишь наглядно всем, кто смотреть умеет, всю народную целость и свежесть нашу и до какой степени не коснулось народных сил наших то растление, которое загноило мудрецов наших. И какую услугу оказали нам эти мудрецы перед Европой! Они так недавно еще кричали на весь мир, что мы бедны и ничтожны, они насмешливо уверяли всех, что духа народного нет у нас вовсе, потому что и *народа* нет вовсе, 40 потому что и народ наш и дух его изобретены лишь фантазиями доморощенных московских мечтателей, что восемьдесят миллионов мужиков русских суть всего только миллионы косых, пьяных податных единиц, что никакого соединения царя с народом нет, что это лишь в прописях, что всё, напротив, расшатано и проедено нигилизмом, что солдаты наши бросят ружья и побегут как бараны, что у нас нет ни патронов, ни провианта и что мы, в заключение, сами видим, что расхрабрились и зарвались не в меру, и изо всех сил ждем только предлога, как бы отступить

без последней степени позорных пощечин, которых «даже и нам уже нельзя выносить», и молим, чтоб предлог этот нам выдумала Европа. Вот в чем клялись мудрецы наши, и что же: на них почти и сердиться нельзя, это их взгляд и понятия, кровные взгляд и понятия. И действительно, да, мы бедны, да, мы жалки во многом; да, действительно у нас столько нехорошего, что мудрец, и особенно если он *наш* «мудрец», не мог «изменить» себе и не мог не воскликнуть: «Капут России и жалеть нечего!» Вот эти-то родные мысли мудрецов наших и облетели Европу, и особенно через европейских корреспондентов, нахлынувших к нам.¹⁰ накануне войны изучить нас на месте, рассмотреть нас своими европейскими взглядами и измерить наши силы своими европейскими мерками. И, само собою, они слушали одних лишь «премудрых и разумных» наших. Народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жителей европейских и миллионов вместе с ними живущих «христиан»; дрогнуло сердце Биконс菲尔да: сказано было²⁰ ему, что Россия всё перенесет, всё, до самой срамной и последней пощечины, но не пойдет на войну — до того, дескать, сильно ее «миролюбие». Но бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России, а главное-то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колossalный факт: союз царя с народом своим! Вот *только это* и проглядели они! Кроме того, не могли они никак понять и поверить тому, что царь наш действительно миролюбив и действительно так жалеет кровь человеческую: они думали, что всё это у нас из «политики». Не видят³⁰ они ничего даже и теперь: они кричат, что у нас вдруг, после царского манифеста, появился «патриотизм». Да разве это патриотизм, разве это единение царя с народом на великое дело есть *только* патриотизм? В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России, ничего не понимают в России! Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире, что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Что мы не Франция, которая вся в Париже, что мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от «спокойствия» своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час. Не понимают они и не знают, что если мы *захотим*, то нас не победят ни жиды всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий, что если мы *захотим*, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Беда только в том, что над словами этими засмеются не только в Европе, но и у нас, и не только наши мудрецы и разум-

ные, а даже и настоящие русские люди интеллигентных слоев наших — до того мы еще не понимаем самих себя и всю исконную силу нашу, до сих пор еще, слава богу, не надломившуюся. Не понимают эти хорошие люди, что у нас, в нашей необозримой и своеобразной, в высшей степени не похожей на Европу стране, даже тактика военная (столь общая вещь!) может быть совсем не похожая на европейскую, что основы европейской тактики — деньги и ученье организации шестисоттысячных войсковых нашествий могут споткнуться о землю нашу и наткнуться у нас на 10 новую и неведомую им силу, основы которой лежат в природе бесконечной земли русской и в природе всеединящего духа русского. Но пусть *пока* еще не знают этого у нас столь многие и хорошие люди (не знают и робеют). Но зато знают это цари наши, и чувствует это народ наш. Александр I знал про эту своеобразную силу нашу, когда говорил, что отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим, но не положит меча и не покорится воле Наполеона. И, уж конечно, об такую силу разбилась бы вся Европа вместе, потому что не хватит у ней на такую войну ни денег, ни единства организации. Когда у нас все наши 20 русские люди узнают о том, что мы так сильны, тогда мы и добьемся того, что воевать уже не будем, тогда в нас уверует и впервые *откроет* нас, как когда-то Америку, Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихнего открыли сами себя и чтоб интеллигенция наша поняла, что ей нельзя уже более разъединяться и разрывать с народом своим...

II. НЕ ВСЕГДА ВОЙНА БИЧ, ИНОГДА И СПАСЕНИЕ

Но мудрецы наши схватились и за другую сторону дела: они проповедуют о человеколюбии, о гуманности, они скорбят о пролитой крови, о том, что мы еще больше озвереем и осквернимся в войне 30 и тем еще более отдадимся от внутреннего преусперения, от верной дороги, от науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но много тут и ошибки в рассуждениях этих, а главное — довольно уж нам этих буржуазных нравоучений! Подвиг самопожертвования кровью свою за всё то, что мы считаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение. Конечно, мы можем ошибаться в том, что считаем великодушной идеей; но если то, что мы считаем святынею, — позорно и по-лично, то мы не избегнем кары от самой природы: позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей и выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение,

всякое развитие значит уже излишок, несет в себе болезнь, а за ней и смерть. Так, Англия, если б стала в теперешней восточной борьбе за Турцию, забыв уже окончательно, из-за торговых выгод своих, стоны измученного человечества, — без сомнения, подняла бы сама на себя меч, который, рано ли, поздно ли, а опустился бы ей самой на голову. Наоборот: что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия? Скажут, что «ведь и Россия хоть и вправду идет лишь освобождать измученные племена и возрождать их самостоятельность, но ведь тем самым, в этих же племенах, приобретет потом себе же союзников, а стало быть, силу, — и что, стало быть, всё это, разумеется, составляет тот же самый закон развития национальной личности, к которому стремится и Англия. А так как замысел „панславизма“ колоссальностью своей, без сомнения, может пугать Европу, то уж по одному закону самосохранения Европа несомненно вправе остановить нас, точно так же, впрочем, как и мы вправе идти вперед, нисколько не останавливаясь перед ее страхом и руководясь, в движении нашем, лишь политическою предусмотрительностию и благоразумием. Таким образом ничего нет в этом ни святого, ни позорного, а есть лишь как бы вековечный 20 животный инстинкт народов, которому подчиняются безразлично все, еще недостаточно и неразумно развитые племена на земле. Тем пе менее накопившееся сознание, наука и гуманность, рано ли, поздно ли, непременно должны ослабить вековечный и зверский инстинкт неразумных наций и вселить, напротив, во всех народах желание мира, международного единения и человеколюбивого преуспления. А стало быть, надо все-таки проповедовать мир, а не кровь».

Святые слова! Но в настоящем случае они как-то не прикладываются к России, или чтоб еще лучше выразиться, — Россия 30 составляет собою, в теперешний исторический момент всей Европы, как бы некоторое исключение, что и действительно так. В самом деле, если Россия, столь бескорыстно и правдиво ополчившаяся теперь на спасение и на возрождение угнетенных племен, впоследствии и усилится ими же, то всё же, и в этом даже случае, явит собою самый исключительный пример, которого уж никак не ожидает Европа, мерящая на свой аршин. Усилясь, хотя бы даже чрезмерно, союзом своим с освобожденными ею племенами, она не бросится на Европу с мечом, не захватит и не отнимет у ней ничего, как бы непременно сделала Европа, 40 если б нашла возможность вновь соединиться вся против России, и как делали в Европе все нации, во всю жизнь свою, чуть только получала какая-нибудь из них возможность усилиться на счет своей соседки. (И это с самых диких первобытных времен Европы вплоть до современной нам и еще столь недавней франко-пруссской войны. И куда девалась тогда вся ихняя цивилизация: бросилась самая ученая и просвещенная из всех наций на другую, столь же ученую и просвещенную, и, воспользовавшись слу-

чаем, загрызла ее как дикий зверь, выпила ее кровь, выжала из нее соки в виде миллиардов дани и отрубила у ней целый бок в виде двух, самых лучших провинций! Да, вправду, виновата ли Европа, если после этого не может понять назначения России? Им ли, гордым, ученым и сильным, понять и допустить хоть в фантазии, что Россия предназначена и создана, может быть, для их же спасения и что она только, может быть, произнесет наконец это слово спасения!) О да, да, конечно — мы не только ничего не захватим у них и не только ничего не отнимем, но 10 именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не захватом и насилием), — тем самым и получим наконец возможность не обнажать меча, а, напротив, в спокойствии силы своей явить собою пример уже искреннего мира, международного всеединения и бескорыстия. Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, участь у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполнясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю. О, пускай смеются над этими «фантастическими» словами наши теперешние «общечеловеки» и самооплевники наши, но мы не виноваты, если верим тому, то есть идем рука в руку вместе с народом нашим, который именно верит тому. Спросите народ, спросите солдата: для чего они подъемаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне, — и 20 все скажут вам, как един человек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить угнетенных братьев, и ни один из них не думает о захвате. Да, мы тут, именно в теперешней же войне, и докажем всю нашу идею о будущем предназначении России в Европе, именно тем докажем, что, освободив славянские земли, не приобретем из них себе ни клочка (как мечтает уже Австрия для себя), а, напротив, будем надзирать за их же взаимным согласием и оборонять их свободу и самостоятельность, хотя бы от всей Европы. А если так, то идея наша свята, и война наша вовсе не «вековечный и зверский инстинкт неразумных наций», 30 а именно первый шаг к достижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к достижению *воистину* международного единения и *воистину* человеколюбивого преуспеяния! Итак, не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть.

III. СПАСАЕТ ЛИ ПРОЛИТАЯ КРОВЬ?

«Но кровь, но ведь все-таки кровь», — наладили мудрецы, и, право же, все эти казенные фразы о крови — всё это подчас только набор самых ничтожнейших высоких слов для известных целей. Биржевики, например, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью. А между тем крови, может быть, еще больше бы пролилось без войны. Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти (кроме разве войн междуусобных), — война есть процесс, которым *именно* с наименьшим 10 пролитием крови, с наименьшою скорбию и с наименьшейтратой сил, достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями — войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда рождает жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Налажено, что мир рождает богатство — но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болезнями богатства, сама передает заразу и остальным девятым десятым, хотя и без богатства. Заражается же она развратом и цинизмом. От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие рождает жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души. Иной сладострастник, падающий в обморок при виде крови из обрезанного пальца, не простит бедняку и заточит его в тюрьму за ничтожнейший долг. Жестокость же рождает усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, рождает страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: «Всякий за себя и для себя»; бедняк слишком видит, что такое богач и какой он ему брат, и вот — все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие. Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь и будит души, засыпающие в периоды долгого мира. Вот отчего и выдумали, что искусство может процветать лишь во время долгого мира, а между тем тут огромная неверность: искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет в разрез с грузным и порочным

усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, взвывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы. В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, все-таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, — словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма. Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают и даже совсем губят народы, тогда как война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи, — такая война лишь очищает зараженный воздух от скопившихся миазмов, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень, объявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой призвана та или другая нация. Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию. А главное, сознанием исполненного долга и совершенного хорошего дела: «Не совсем же мы упали и развертились, есть же и в нас человеческое!» И посмотрите, с чего начинали свою проповедь эти столь недавние наши проповедники миролюбия и гуманности: они прямо начинали с самой бесчеловечной жестокости. Они сами не хотели и других удерживали помочь мученикам, 30 вызвавшим к нам. Они, по-видимому, столь гуманные и чувствительные, хладнокровно и с насмешкой отрицали необходимость для нас самопожертвования и духовного подвига. Они желали столкнуть Россию на самую пошлую и недостойную великой нации дорогу, не говоря уже об их презрении к народу, признавшему в славянских мучениках братьев своих, а стало быть, об их надменном разрыве с волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое «европейское» просвещение. Любимым тезисом их было: «Врачу, исцелися сам». «Вы лезете исцелять и спасать других, а у самих даже школ не устроено», — выставляли они на вид. «Что ж, мы и идем исцеляться. Школы важное дело, конечно, но школам надобен дух и направление, — вот мы и идем теперь запасаться духом и добывать здоровое направление. И добудем, особенно если бог победу пошлет. Мы вернемся с сознанием совершенного нами бескорыстного дела, с сознанием того, что славно послужили человечеству кровью своей, с сознанием обновленной силы нашей и энергии нашей — и всё это вместо столь недавнего позорного штания мысли нашей, вместо мертвящего застоя нашего в заимствованном без толку европеизме.

Главное же, приобщимся к народу и соединимся с ним теснее, — ибо у него и в нем одном найдем исцеление от двухвековой болезни нашей, от двухвекового непроизводительного слабосилия нашего».

Да п вообще можно сказать, что если общество нездороно и заражено, то даже такое благое дело, как долгий мир, вместо пользы обществу, обращается ему же во вред. Это вообще можно применить даже и ко всей Европе. Недаром же не проходило поколения в истории европейской, с тех пор как мы ее запомним, без войны. Итак, видно, и война необходима для чего-нибудь, целительна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для зараженного организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезною оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великолдушного принципа, а не для материального интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации па ложную дорогу и всегда губили их. Не мы, так дети наши увидят, чем кончит Англия. Теперь для всех в мире уже «время близко». Да и пора.

10

20

IV. МНЕНИЕ «ТИШАЙШЕГО» ЦАРЯ О ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ

Мне сообщили одну выписку из одного сочинения, изданного в Киеве в прошлом году: «Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам архи-диакона Павла Алеппского». Соч. Ив. Оболенского, Киев, 1876 г., стр. 90—91. Страница из сочинения чужого, но она столь характерна и столь любопытна в теперешнюю нашу минуту, а самое сочинение, вероятно, еще так мало известно в общей массе публики, что я решил поместить эти несколько строк в «Дневнике». Это мнение царя Алексея Михайловича о Восточном вопросе — тоже «тишайшего» царя, по жившего еще два века тому назад, и его тогдашние слезы о том, что он не может быть царем освободителем.

Говорили, что на св. пасху (1656 г.) государь, христосуясь с греческими купцами, бывшими в Москве, сказал между прочим к ним: «Хотите ли вы и ждете ли, чтобы я освободил вас из плена и выкупил?» И когда они отвечали: «Как может быть иначе? как нам не желать этого?», — он прибавил: «Так, — поэтому, когда вы возвратитесь в свою сторону, просите всех монахов и епископов молить бога и совершасть литургию за меня, чтобы их молитвами дана была мне мощь отрубить голову их врагу». И, пролив при этом обильные слезы, он сказал потом, 40 обратившись к вельможам: «Мое сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей, которые стоят в руках врагов нашей веры; бог призовет меня к отчету в день суда, если, имея возможность освободить их, я пре-небрегу этим. Я не знаю, как долго будет продолжаться это дурное состояние государственных дел, но со времени моего отца и предшественников его к нам не переставали приходить постоянно с жалобой на угнетение поработителей патриархии, епископы, монахи и простые бед-

няки, из которых ни один не приходил иначе, как только преследуемый сурою печалью и убегая от жестокости своих господ; и я боюсь вопросов, которые мне предложит творец в тот день: и порешил в своем уме, если Богу угодно, что потрачу все свои войска и свою казну, пролью свою кровь до последней капли, но постараюсь освободить их». На всё это вельможи отвечали ему: «Господи, даруй по желанию сердца твоего».

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

10

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я всё еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, — не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

20 А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же — чем больше я учился, тем больше я научился тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем 30 смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом всё больше и больше о моем ужасном качестве, но по-

чему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастила страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете *всё равно*. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне *всё равно* было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне всё казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, слушалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было всё равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало *всё равно*, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он всё это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я всё молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было всё равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, всё равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было всё равно. Они и увидели, что мне всё равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я за-

метил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он всё лежал в ящике; но мне было до того всё равно, что захотелось наконец улучить минуту, когда будет не так всё равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелиюсь.

10 Я всё ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет *непременно* уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в плащечке и в одном платышике, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернулся к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала 30 ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, всё бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..» — но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже

у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю почь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страха какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает пой раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, по, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклюпился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, — мне всегда всё равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, — до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю па волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелиюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелиюсь наверно, но сколько еще просижу 20 до тех пор за столом, — этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если бы не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было всё равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не всё равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дер-³⁰ гала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне всё на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, всё равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не всё равно и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже 40 я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через

два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас *совершенно* не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два 10 часа всё угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал 20 все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, 30 то, смотря с земли на луну, — было бы мне *всё равно* или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что это будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже всё утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось 40 прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад.

Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во всём продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и скончен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает всё это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но нежели не всё равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, ¹⁰ что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материалах. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, спля, наставляю его прямо в сердце — в сердце, ²⁰ а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим всё во мне сотряслось и всё вдруг потухло, и стало кругом меня ³⁰ ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору. ⁴⁰

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев па ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спора принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, всё через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль: «Это рана моя, — подумал я, — это выстрел, там пуля...» А капля всё капала, 10 каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг возвзвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершилось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравняться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мучничества!..

20 Я возвзвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспрепредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас всё изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, по я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслась в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслась, и не могу представить: совершилось всё так, как всегда во спне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и остававливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидел в темноте одну звездочку. «Это Сирлус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел писать спрашивать. — «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, 40 я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизни!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо быть снова, — подумал я, — и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спут-

нику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощущив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проникало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды 10 в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг *наше солнце!* Я знал, что это не могло быть *наše солнце*, породившее *нашу землю*, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и *наše*, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: род- 20 ная сила света, того же, который родил меня, отзывалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как *наše*, — вскричал я, — то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и *наша*... совершенно такая же, 30 несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и *наша*?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь всё, — ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове.

Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное 40 чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На *нашой* земле мы пс-

тине можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызalo их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крыльышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял всё, всё! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они у вели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы всё уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на

меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь многое, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена.¹⁰ Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не²⁰ нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мысливо только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами.³⁰ Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, всё время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их именем, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались⁴⁰ легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между

ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видел, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались

10 еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, по, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, по у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной.

20 Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проникали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили

30 лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во всё их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и всё более и более. Я часто говорил им, что я всё это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на пашей земле зовущую тоскою, доходившую подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и

40 в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым лю-

бовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же певчим и правдивым, как и их сердца, то и я не желал, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что я во сне пельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, — боже, какой смех они подняли! 10 Чье в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови рапенном сердце моем: по зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до, того были птичны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что всё это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но всё это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса птичное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, по разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? 30 Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Нет, ужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!

▼

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиной грехопадения был я. Как скверная три- 40 хина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом

лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за 10 разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над 20 возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веря в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если бы только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное 30 и счастливое состояние, которое они утратили, и если бы кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость 40 откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об

их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому ¹⁰ пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страда- ²⁰ нии лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирая к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! ³⁰ Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал муки, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стес- ⁴⁰ пилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся.

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; ни-

когда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, — вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, — но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал всё существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбываюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбываюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, сбьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь всё это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел пстину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я сбьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но не-надолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я *лгу*, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и всё буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже

это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, *в один бы час* — всё бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду! 10

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОДСУДИМОЙ КОРНИЛОВОЙ

22 апреля сего года в здешнем окружном суде вторично решалось дело подсудимой Корниловой с новым составом суда и присяжных заседателей. Прежний приговор суда, состоявшийся еще в прошлом году, был кассирован сенатом за недостаточно произведенной медицинской экспертизой. Может быть, большинство моих читателей очень помнит об этом деле. Молодая мачеха (тогда еще несовершеннолетняя), в беременном состоянии, в злобе на мужа, попрекавшего ее прежней женой, и после жестокой с ним ссоры, выбросила свою шестилетнюю падчерицу, 20 дочь своего мужа от прежней жены, из окошка, из четвертого этажа (5½ саж. высоты), причем случилось почти чудо: ребенок не разбился, не сломал и не повредил себе ничего и скоро очнулся; теперь же жив и здоров. Это зверское действие молодой женщины сопровождалось такой бесмыслицей и загадочностью всех ее остальных поступков, что само собою являлось соображение: в здравом ли уме она действовала? И не была ли опа, например, хоть под аффектом своего беременного состояния? Проплывши утром, когда уже муж ушел на работу, она дала выспаться ребенку; потом одела ее, обула и папоила кофеем. Затем 30 отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянув даже из окна вниз, чтоб посмотреть, что стало с ребенком, опа затворила окно, оделась и отправилась в участок. Там объявила о произшедшем, отвечала па вопросы грубо и странно. Когда ей уже несколько часов спустя возвестили, что ребенок остался жив, она, не обнаружив ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно заметила, как бы в задумчивости: «Какая живущая». Затем в продолжение почти полутора месяца, в двух тюрьмах, в которых ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдруг всё разом прошло: 40 все остальные четыре месяца до разрешения от бремени и всё остальное время, на первом суде и после суда, начальница женского отделения тюрьмы не могла ею нахвалиться: явился харак-

тер ровный, тихий, ласковый, ясный. Впрочем, я всё это уже описывал прежде. Одним словом, прежний приговор был кассирован, а затем состоялся новый, 22 апреля, которым Корнилова была оправдана.

Я был в зале суда и вынес много впечатлений. Жаль только, что нахожусь в полной невозможности передать их и буквально принужден ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о деле единственно потому, что прежде много писал о нем, а стало быть, считаю не лишним сообщить читателям и об исходе его. Суд продолжался вдвое долее прежнего раза. Состав присяжных заседателей был особенно замечателен. Призвана была новая свидетельница — начальница женского отделения тюрьмы. Показание ее о характере Корниловой было очень веско и в ее пользу. Замечательно очень было показание мужа подсудимой: с чрезвычайно честностью он не скрыл ничего, ни ссор, ни обид с его стороны, оправдывал жену, говорил сердечно, прямо, откровенно. Он всего только крестьянин, правда, носящий немецкое платье, читающий книги и получающий тридцать рублей ежемесячного жалования. Затем замечателен был подбор 20 экспертов. Приглашено было шесть человек — всё известности и знаменитости в медицине; из них давали показания пятеро: трое заявили не колеблясь, что болезненное состояние, свойственное беременной женщине, весьма могло повлиять на совершение преступления и в данном случае. Один лишь доктор Флоринский с этим мнением был не согласен, но, к счастью, он не психиатр, и мнение его прошло без всякого значения. Последним показывал известный наш психиатр Дюков. Он говорил почти около часу, отвечая на вопросы прокурора и председателя суда. Трудно представить себе более тонкое понимание души человеческой и 30 болезненных ее состояний. Поражало тоже богатство и разнообразие многолетних и чрезвычайно любопытных наблюдений. Что до меня, то я выслушал некоторые из показаний эксперта решительно с восхищением. Мнение эксперта было вполне в пользу подсудимой: он утвердительно и доказательно заключил о несомненном, по его мнению, болезненном состоянии души подсудимой, во время совершения ею страшного преступления.

Кончилось тем, что сам прокурор, несмотря на свою грозную речь, отказался от обвинения в преднамеренности, то есть от самой главной злобы обвинения. Защитник подсудимой, присяжный поверенный Люстиг, тоже чрезвычайно ловко отбил несколько обвинений, а одно, важнейшее, — долгую будто бы ненависть мачехи к падчерице, — привел к полному нулю, осязательно обнаружив в нем лишь коридорную сплетню. Затем, после длинной речи председателя, присяжные удалились и менее чем через четверть часа вынесли оправдательный приговор, произведший почти восторг в многочисленной публике. Многие крестились, другие поздравляли друг друга, жали друг другу руки. Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу,

к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом, почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизнь и явного божьего перста во всем этом деле, — хотя бы только начиная с чудесного спасения ребенка.

К МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Прибегаю к чрезвычайному снисхождению моих читателей. В прошлом году, из-за моей поездки летом в Эмс для лечения болезни, я принужден был выдать №№ «Дневника» за июль и август месяцы вместе, в одном выпуске, 31-го августа, конечно,¹⁰ в удвоенном числе листов. В нынешнем же году, по усилившейся еще более моей болезни, я принужден выдать и майский № с июньским вместе, в одном выпуске, в конце июня или в самых первых числах июля. Затем июльский и августовский №№, как и в прошлом году, выйдут тоже в августе. С сентября же месяца №№ «Дневника» начнут опять выдаваться аккуратно в последнее число каждого месяца.

Уезжая из Петербурга по приговору докторов, я заявляю, что хотя в Петербурге помещение редакции и будет закрыто до самого сентября, тем не менее все иногородные подписчики и читатели, *равно как и все петербургские*, в случае надобности, могут обращаться *письменно* в редакцию совершенно как и прежде. Письма эти будут немедленно доставлены заведующим редакцией, и всякая жалоба, всякое недоумение и проч. будут по-прежнему в скорейшем времени удовлетворены. Равно все письма на мое имя будут немедленно мне доставлены. На этот счет сделаны редакцией самые точные распоряжения. Подписка по-прежнему может продолжаться: подписавшиеся будут немедленно удовлетворены.

Не знаю, извинят ли меня мои читатели и подписчики ³⁰ «Дневника писателя»? При таком непредвиденном обстоятельстве, как усложнение болезни, трудно было угадать всё это вперед. Огромное большинство читателей моих относились доселе ко мне весьма доброжелательно, в чем я уверен по твердым фактам. Осмеливаюсь ждать этой доброты и теперь.

МАЙ — ИЮНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ИЗ КНИГИ ПРЕДСКАЗАНИЙ ИОАННА ЛИХТЕНБЕРГЕРА, 1528 ГОДА

Мне сообщили один престранный документ. Это одно древнее, правда, туманное и аллегорическое, предсказание о нынешних событиях и о нынешней войне. Один из наших молодых ученых нашел в Лондоне, в королевской библиотеке, один старый фолиант, «книгу предсказаний», «Prognosticationes» Иоанна Лихтенбергера, издание 1528 года, на латинском языке. Экземпляр редкий и даже, может быть, единственный в свете. В туманных картинах изображается в этой книге будущность Европы и человечества. Книга мистическая. Помещаю лишь те строки, которые мне сообщили, *и лишь как факт*, не лишенный некоторого любопытства.

После предсказаний о французской революции (1789 г.) и о Наполеоне первом, который именуется в книге великим орлом (*aquila grandis*), говорится далее о грядущих европейских событиях так:

«Post haec veniet altera aquila quae ignem fovebit in gremio

20 После сего придет другой орел, который огонь возбудит в лоне sponsae Christi et erunt tres adulteri unusque legitimus невесты Христовой, и будут трое побочных и один законный qui alios vorabit.

который других пожрет.

Exsurget aquila grandis in Oriente, aquicolae occidentales

Восстанет орел великий на Востоке, островитяне западные moerebunt. Tria regna comportabit. Ipsa est aquila grandis, quae восплачут. Три царства захватит. Сей есть орел великий, который dormiet annis multis, refutata resurget et contremiscere faciet спят годы многие, пораженный восстанет и трепетать заставит aquicolas occidentales in terra Virginis et alios montes Superводяных жителей западных в земле девы и другие вершины пре-

bissimos; et volabit ad meridiem recuperando amissa. Et amore гордые; и полетит к югу, чтобы возвратить потерянное. И любовью charitatis inflammabit Deus aquilam orientalem volando ad ardua милосердия воспламенит Бог орла восточного, да летит на трудное, alis duabus fulgens in montibus christianitatis.

крылами двумя сверкая на вершинах христианства».

Конечно, темновато, но согласитесь, однако, что «великий орел восточный, который спит годы многие и пораженный (В не война ли наша с Европой 22 года назад?) восстанет и трепетать заставит водяных жителей западных», — согласитесь, что это как будто и похоже на теперешнее, конечно, если только не брать в соображение наших европействующих мудрецов, как бы всё еще трепещущих перед «водяными жителями», обратно пророчеству, тогда как уже орел полетел, «сверкая двумя крылами». Но трепещут лишь мудрецы, а не орел. Далее: «водяные жители западные в земле девы», если приложить пророчество Иоанна Лихтенбергера к современным событиям, очевидно, означают собою Англию. Но в таком случае почему же «земля девы»? В 1528 году еще не было королевы Елизаветы. Не означает ли аллегория Лихтенбергера землю (острова Великобритании), не подвергавшуюся ни разу нашествию, в том смысле, в каком выразился когда-то Наполеон о европейских столицах, подвергавшихся его нашествию: «Столица, подвергшаяся нашествию, похожа на девицу, потерявшую свою девственность». Но орел, по пророчеству, трепетать заставит и другие «вершины прегордые», полетит к югу, чтобы возвратить потерянное, и — что всего замечательнее — «любовью милосердия воспламенит Бог орла восточного, да летит на трудное, крылами двумя сверкая па вершинах христианства». Согласитесь, что уж это-то нечто даже очень подходящее. Разве не милосердием воспламеняться к угнетенным и измученным, взлетел наш орел? Разве не милосердие Христово двинуло весь народ наш «на дело трудное» и в прошлом и в нынешнем году? Кто станет это отрицать? Этот народ, эти солдаты, взятые из народа, не знающего хорошенько молитв, подымали, однако же, в Крыму, под Севастополем, раненых французов и уносили их на перевязку *прежде*, чем своих русских: «Те пусть полежат и подождут; русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его на перед пожалеть надо». Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо сказанных словах? Итак, разве не дух Христов в народе нашем — темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос его сила, наша русская теперь сила, когда орел полетел «на дело трудное». И что значит один какой-нибудь анекдот о севастопольских солдатиках сравнительно с тысячами проявлений духа Христова и «огня милосердия» в народе нашем, наяву и воочию, в наше время, хотя и до сих пор изо всех сил стараются мудрецы задавить мысль и похоронить факт участия народа нашего, духом и сердцем его, в теперешних судьбах России и Востока?

И не указывайте на «зверство и тупость» народа, на невежественность его и неразвитость, при которых он будто бы не в силах понять того, что теперь происходит. Сущность дела он понимает превосходно, будьте уверены, он четыре уже столетия как ее понимает. Вот теперешних дипломатов не понял бы вовсе, если б об них знал; но ведь кто ж их поймет? Да, великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения еще с самого начала своего, за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы, разложился бы и уничтожился, а наш

10 только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за «зверство и невежество», господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сделали. Напротив, вы ушли от него, двести лет назад, покинули его и разъединили с собой, обратили его в податную единицу и в оброчную для себя статью, и рос он, господа просвещенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный как зверь в берлогу свою, по с ним был его Христос, и с ним одним дожил он до великого дня, когда двадцать лет тому назад северный орел, воспламененный огнем милосердия, взмахнул и расправил свои крылья и осенил его

20 этими крылами... Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель. Я видел и разбойников, страшно много наделавших зверства и павших развращенною и ослабевшею волею своею ниже всего низкого; но эти развращенные и столь упавшие звери — знали, по крайней мере про себя, что они звери, и чувствовали, сколь упали они, и в минуты чистые и светлые, которые и зверям посыпает бог, — сами умели осудить себя, хотя часто не в силах уже были подняться.

30 Другое дело, когда зверство воздвигается над всеми, как идол, и люди ему поклоняются, считая себя именно за это-то добродетельными. Лорд Биконс菲尔д, а за ним и все Биконсфильды, и наши и европейские, зажали уши себе и закрыли глаза на зверства и муки, которым подвергают целые племена людей, и изменили Христу — ради «интересов цивилизации» и ради того, что измученные племена называются славянами, то есть несут в себе нечто новое, а стало быть, их тем более надо задавить совсем до корня, и тоже ради интересов старой загнившей цивилизации. Вот это так зверство — образованное и вознесенное как добродетель, и кланяются ему как идолу, и на Западе, и у нас еще в России. А «блаженнейший папа, непогрешимый наместник божий», отходя к богу, в последние дни свои на земле, — разве не пожелал он победы туркам и мучителям христианства над русскими, ополчившимися во имя Христа за христианство, — за то только, что, по его непогрешимому определению, турки всё же лучше русских еретиков, не признающих папу? Разве это не зверство, не варварство? Да, пророчество Иоанна Лихтенбергера сильно подходит к настоящей минуте. И не разу-

40

меть ли нам уж и папу в числе других-то «вершин и прегородых», которых заставит трепетать взмахнувший крылами орел? Кстати, чтоб покончить с пророчеством: что же разумел Иоанн Лихтенбергер, говоря о том, что «придет орел, который огонь возбудит в лоне невесты Христовой, и будут три побочных и один законный, который других пожрет»? На религиозном и мистическом языке под выражением «невеста Христова» всегда разумелась вообще церковь. Кто же трое побочных и один законный? Казалось, должно бы тут разуметь, то есть если уж его принимать за предсказателя, три исповедания: католицизм, протестантство ¹⁰ и... какое же третье-то из незаконных? И какое же законное-то?

Но оставим Иоанна Лихтенбергера. Серьезно говорить обо всем этом трудно; всё это лишь мистическая аллегория, хотя бы и похожая несколько на правду.

И мало ли бывает совпадений? Правда, всё это написано и напечатано в 1528 году, и это очень любопытно. В то время, должно быть, часто являлись подобные сочинения, и хотя время это еще только предшествовало войнам великой протестантской реформации, но уже протестантов, реформаторов и пророков было ²⁰ много. Известно тоже, что потом, особенно в протестантских армиях, всегда появлялись исступленные «пророки» из самих сражавшихся, предсказатели и конвульсионеры. Если я сообщил эту латинскую выписку из старой книги (несомненно существующей, — повторяю это), то единственno как занимательный факт. Не как чудо, да и не одни лишь чудеса чудесны. Всего чудеснее бывает весьма часто то, что происходит в действительности. Мы видим действительность всегда почти так, как хотим ее видеть, как сами, *предвзято*, желаем растолковать ее себе. Если же подчас вдруг разберем и в видимом увидим не то, что хотели видеть,¹³⁰ а то, что есть *в самом деле*, то прямо принимаем то, что увидели, за чудо, и это весьма не редко, а подчас, клянусь, поверим скорее чуду и невозможности, чем действительности, чем истине, которую не желаем видеть. И так всегда бывает на свете, в том вся история человечества.

II. ОБ АНОНИМНЫХ РУГАТЕЛЬНЫХ ПИСЬМАХ

Я за границу не поехал и нахожусь теперь в Курской губернии. Мой доктор, узнав, что я имею случай провести лето в деревне, да еще в такой губернии, как Курская, прописал мне пить в деревне ессентукскую воду и прибавил, что это будет для меня ⁴⁰ несравненно полезнее Эмса, к воде которого я-де уже привык. Долгом считаю заявить, что я получил весьма много писем от моих читателей с самым сочувственным выражением их ко мне участия по поводу моего объявления о болезни. И вообще, к слову

скажу, за всё время издания моего «Дневника» я получил и продолжаю получать много писем, подсанных и анонимных, столь для меня лестных и столь одобрявших и поддерживавших меня в труде моем, что, прямо скажу, я никогда не рассчитывал на такое всеобщее сочувствие и никогда не считал себя достойным того. Эти письма я сберегу как драгоценность и — что тут пригорного, если я заявляю об этом печатно? Неужто дурно, что я ценю и дорожу общим вниманием? Но, скажут, вы теперь хвалитесь, хвастаетесь. Пусть скажут это, я знаю про себя, что это 10 не хвастовство, что я заявляю лишь мою благодарность, мое искреннее чувство, и слишком уж не молод, чтоб не понимать, как раздражаю иных господ моим заявлением. Но и господ этих, кажется, у меня тоже слишком немного. Из нескольких сот писем, полученных мною за эти полтора года издания «Дневника», по крайней мере сотня (но наверно больше) было анонимных, но из этих ста анонимных писем лишь два письма были абсолютно враждебные. Есть не согласные со мной в убеждениях, те прямо излагают свои возражения, но всегда серьезно, искренно, без малейших личностей, и в подсанных, и в анонимных письмах, 20 и я лишь жалею, что, по множеству получаемых писем, никак не могу всем ответить. Но эти два письма — исключения, и написаны не для возражения, а для ругательства. И вот эти-то господа сочинители этих писем и будут раздражены моим заявлением благодарности. Последнее из этих писем как раз касается моего объявления о болезни. Мой анонимный корреспондент рассердился не на шутку: как, дескать, я осмелился объявить печально о таком частном, личном деле, как моя болезнь, и в письме ко мне написал на мое объявление свою пародию, весьма неприличную и грубую. Но, отлагая главную цель письма — ругательство, я невольно заинтересовался вопросом, именно: если я, например, поставлен в необходимость, по расстроенному здоровью, уехать лечиться, а потому принужден не выдать майский № «Дневника» своевременно, а вместе с июньским, и так как я каждый раз, в каждом выпуске «Дневника», объявлял о времени выхода следующего номера, — то мне и показалось, что прямое, голословное, безо всяких объяснений объявление о том, что следующий выпуск «Дневника» выйдет вместе с июньским, было бы несколько бесцеремонным, и почему же было не объявить причину, из-за которой так вышло? И разве, в объявлении 30 моем, так уж много я расписал о моей болезни? Но всё это, конечно, пустяки, и если б дело шло лишь от человека, серьезно шокированного в своем чувстве литературного и общественного приличия, то получился бы любопытный, хотя отчасти, пожалуй, и почтенный экземпляр господина, стоящего, может быть, и вне литературы, по из бескорыстной любви к ней, так сказать, сограющегося почтенным огнем соблюдения литературных приличий, и хоть доводящего свои стремления до щепетильности, тем не менее выводящего их из источника уважаемого и любопытного,

так что я, из одной только деликатности, не мог бы отказать такому анониму в своего рода уважении. Но ругательства всё испортили: ясное дело, что в них-то и была вся цель. И уж, без сомнения, припомнить всё это здесь и не стоило бы; но мне давно хотелось сказать слова два вообще об анонимных письмах, то есть собственно о ругательных анонимных письмах, и я рад, что набрел на случай.

Дело в том, что мне давно казалось, что в наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь исполненное перемен и столь мало ¹⁰кого удовлетворяющее (да так и должно быть), — непременно должно было развестись чрезвычайное множество людей, так сказать, обойденных, позабытых, оставленных без внимания и досадующих: «Зачем, дескать, везде *они*, а не я, зачем же обращают и на меня внимание». В этом состоянии личного раздражения и неудовлетворенного, так сказать, идеала иной господин готов подчас взять спичку и идти зажигать, — до того это чувство мучительно, я это очень понимаю, и, чтобы осуждать это, надо вооружиться скорее гуманностью, чем негодованием. Но зажигать спичкой уже крайность и, так сказать, удел натур ²⁰могучих, байроновских. К счастью, есть выходы не столь ужасные для натур не столь могучих. Такой выход — просто напакостить, ну там паклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить. Одним словом, я стал давно уже подозревать, и подозреваю до сих пор, что наше время должно быть пепремепло ³⁰кремепем хотя и великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера. Что касается литературы, то тут нет никакого сомнения: анонимные ругательные письма составляют, так сказать, неотъемлемую часть современной русской литературы и сопровождают ее по всем направлениям, — и кто только из издателей и писателей не получает их, я даже спрашиваю кой в каких изданиях, и в одном из них — именно в одном из тех, которые попали вдруг, произвели впечатление быстрое, внезапное, и угодили публике в такой степени, что сами даже на такой успех не рассчитывали, — в этом издании один из ближайших участников его поведал мне, что они получают такое множество ругательных анонимных писем, что уж и не читают их вовсе, а только распечатывают. Он было хотел рассказать мне иные из таких посланий в подробности, но с первых же слов заился неудержимым смехом. Да так и должно быть; наши неопытные анонимы ⁴⁰и не подозревают еще, кажется, что чем ругательнее их письма, тем они невиннее и безвреднее. Чертова хорошая: она обозначает, что наши анонимы хоть и горячи, но всё же без выдержки и не понимают, что чем вежливее, чем достойнее тон язвительного анонимного письма, тем оно будет злее и сильнее подействует. Иезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у нас, во второй, *высший* фазис свой не вступило это дело, а, стало быть, находится еще в самом только начале и, стало быть, есть всего лишь

плод первого необузданного пыла, а не плод обдуманного, строго воспитанного злобного чувства. Это не испанское, так сказать, мщение, готовое принести для достижения цели своей даже великие жертвы и научившееся выдержке. Наш анонимный ругатель далеко еще не тот таинственный незнакомец из драмы Лермонтова «Маскарад» — колossalное лицо, получившее от какого-то офицера когда-то пощечину и удалившееся в пустыню тридцать лет обдумывать свое мщение. Нет, действует пока всё еще та же славянская природа наша, которой всегда бы только поскорей вырваться, да тем и покончить (а чего доброго, так даже тут же и помириться), и согласитесь, что всё это в одном смысле отрадно, ибо и тут, стало быть, всё это, так сказать, юно, молодо, свежо, вроде как бы весна жизни, хотя, надо сознаться, препакостная. Долгом считаю присовокупить еще наблюдение: кажется, наше молодое поколение, то есть слишком юное, подростки, анонимных ругательных писем не пишут. Я получаю от молодежи множество писем и все подписанные. Не подписанные из них только те, которые выражают слишком уж дружеские чувства. Не согласные же со мною в чем-нибудь из молодежи всегда подписываются. (Анонимное же ругательное письмо слишком легко узнать и слишком ясно, по многим признакам и приемам, что оно не из молодого поколения идет, не от юного подростка.) Итак, молодежь наша, очевидно, понимает, что, во-первых, можно написать весьма даже резкое письмо, но что подпись под таким письмом придаст выражениям чрезвычайную цену и что весь характер такого письма изменится к лучшему через подпись, которая придаст ему дух прямодушия, мужества, готовности постоять и ответить за свои убеждения, да и самая резкость выражений покажет лишь горячку убеждения, а не желание оскорбить. Итак, ясное дело, что неподписывающийся ругатель желает, главное, выругаться площадными ругательствами, желает доставить себе, прежде всего, это именно удовольствие, а другой цели не имеет. И ведь сам он знает, что делает пакость и что сам себе вредит, то есть силе письма своего, по уж такова потребность выругаться. Эту черту, то есть эту потребность, надо заметить, ибо она всё еще доминирует в нашем интеллигентном обществе. И пусть не смеются надо мной, что я верю, что такая черта у нас *предоминирует*; я убежден, что не преувеличиваю и что мы стоим теперь на этой именно точке развития, так сказать, в массе нашей. К тому же сообразите и то, что можно во всю жизнь не написать ни одного анонимного ругательного письма, а между тем всю жизнь носить в себе душу анонимного ругателя; а ведь это тоже важное выражение. И что в том, что я, в полтора года, получил всего лишь два ругательных письма; это лишь доказывает мою невинность и неприметность, равно как и малый круг моей деятельности, а сверх того и то, что я имею дело лишь с порядочными людьми. Другие же деятели, более моего приметные (а, стало быть, уже по тому одному более моего виновные) и, сверх того, принужден-

ные действовать по самому роду и характеру изданий своих в чрезвычайно расширенном круге действия, получают ругательных писем, может быть, по двести, а не по два в полтора года. Одним словом, я убежден, что европейская цивилизация чрезвычайно мало привила к нам гуманности и что у нас людей, желающих выругаться быстро и непосредственно, в каждом случае, который им чуть-чуть не понравится, даже, может быть, до того немало, что страшно сказать; а желающих выругаться — притом же и безнаказанно, анонимно и безопасно, из-за двери, еще того больше, и вот как раз анонимное письмо дает эту возмож- 10 ность: письмо не прибьешь, и письмо не краснеет.

В старину у нас европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно, и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но зато у них была своя честь, хоть и не в европейской форме, по не менее чем там священная и серьезная, и из-за этой чести боярин пренебрегал иной раз всем — состоянием своим, положением своим при дворе, даже царскою милостью. Но, с переменою костюма и с введением европейской шпаги, началась у нас новая, европейская честь и — в целые два века не принесла серьезно, так что 20 старое забыли и оплевали, а новое припяли недоверчиво и скептически. Приняли, так сказать, механически, а душевно позабыли, что значит честь, и сердечную потребность в ней утратили, и это, страшно признаться, за весьма, может быть, малыми исключениями.

В эти два века нашего европейского и шпажного, так сказать, периода, честь и совесть, странно даже сказать, сохранилась наименее и даже целиком в нашем народе, до которого почти и не коснулся шпажный период нашей истории. Пусть народ грязен, невежествен, варварствен, пусть смеются над моим предположе- 30 нием без малейшего снисхождения, но во всю мою жизнь я вынес убеждение, что народ наш несравненно чище сердцем высших наших сословий и что ум его далеко не настолько раздвоен, чтоб рядом с самою светлою идею лелеять тут же, тотчас же, и самый гаденький антите́з ее, как сплошь да рядом в интеллигенции нашей, да еще оставаться с обеими этими идеями, не зная, которой из них веровать и отдать преимущество на практике, да еще называть это состояние ума и души своей — богатством развития, благами европейского просвещения, и хоть и умирать при таком богатстве от скуки и отвращения, но в то же время из всех сил 40 смеяться над простым, не тронутым еще чужою цивилизацией народом нашим за наивность и прямодушие его верований... Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый из народа постыдится иных мыслей и побуждений иного нашего «высшего деятеля», я уверен в том, и с отвращением отвернется от большей части дел наших интеллигентных людей. Я уверен, что он не понимает и долго еще не поймет, что можно наедине, за дверями, когда никто не подглядывает, делать про себя пакости и считать

их вполне дозволительными, нравственно дозволенными, единственно потому что нет свидетелей и никто не подглядывает, — а между тем эта черта до ужаса часто практикуется в интеллигентном сословии нашем, да еще без малейшего зазрения совести, и даже, напротив, весьма часто с высшим удовлетворением ума и высших свойств просвещенного духа. По понятиям народа, то, что пакостно на миру, пакостно и за дверями. Между тем мы на народ-то и смотрим именно как на похабника, пакостника, обскурантного ругателя и находящего лишь наслаждение в ругатель-

стве. Кстати припомнить, тем более, что это уже давно прошло и изменилось. Во времена моей юности было у военных людей, в огромном большинстве их, убеждение, что русский солдат, как вышедший из народа, чрезвычайно любит говорить похабости, ругатель и сквернослов. А потому, чтобы быть популярными, иные командиры, на учениях например, позволяли себе так ругаться, с такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснели от этих ругательств, а потом, у себя в казармах, старались забыть высказанное начальством, и на того, который припоминал, вскрикивали всею артелью. Я бывал сам лично тому свидетелем. А командиры-то как довольны были в душе, что вот, дескать, как они подделались под дух русского солдата! Да чего, — даже Гоголь в «Переписке с друзьями» советовал приятелю, распекая крепостного мужика всенародно, употреблять не-пременно крепкие слова, и даже приводил, какие именно: то есть именно те из них, которые садче, в которых как можно больше бы оказывалось, так сказать, нравственной похабости, чем наружной, утонченности чтоб в ругательстве больше было. Между тем народ русский хоть и ругается, к сожалению, крепкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, в самой незначительной даже своей доле (поверят ли тому?), а главное (и бесспорно), ругается он скорее машинально, чем с нравственною утонченностью, скорее по привычке, чем с умыслом, и вот это-то, последнее-то, то есть с умыслом, случается лишь в чрезвычайно редких экземплярах у бродяг, пропоц и всяких стрюцких, презираемых народом. Народ хоть и ругается по привычке, но сам знает, что эта привычка скверная, и осуждает ее. Так что отучить народ от ругательств, по-моему, есть просто дело механической отвычки, а не нравственного усилия. Вообще эта идея о народе нашем как о любителе подлых ругательств, по моему мнению, укоренилась в интеллигентном слое нашем, главное, уже тогда, когда уже произошел окончательный, нравственный разрыв его с народом, кончившийся, как известно, со стороны интеллигентного слоя нашего совершенным непониманием народа. Тогда-то явилось много и других всяких ошибочных идей о нашем народе. Пусть не поверят мне и свидетельству моему, что народ наш вовсе не такой ругатель, как до сих пор его представляли себе и описывали, пусть: я ведь убежден, что свидетельство мое оправдается. Те же надежды, которые возлагаю я на народ, возлагаю я и на юно-

поколение наше. Народ и юное поколение интеллигенции нашей сойдутся вместе вдруг и во многом и гораздо ближе и успешнее поймут друг друга, чем то было в наше время и в наше поколение. В молодежи нашей есть серьезность, и дай только бог, чтоб она была умнее направлена. Кстати о молодежи: один весьма молодой человек приспал мне недавно в письме весьма резкое возражение на одну тему, на какую — умолчу, и подпсался под своим резким (но отнюдь не невежливым) письмом *en toutes lettres*,¹ да еще выставил адрес. Я пригласил его к себе объясниться. Он пришел и поразил меня горячностью и серьезностью своего отношения к делу. Кой в чем он со мной согласился и ушел в раздумье. Замечу еще, что, как мне кажется, юное поколение паше гораздо лучше умеет спорить, чем старики, то есть собственно в манере спора: они выслушивают и дают говорить — и это именно оттого, что для них разъяснение дела дороже их самолюбия. Уходя, он пожалел о резкости письма своего, и всё это вышло у него с неподдельным достоинством. Руководителей нет у нашей молодежи, вот что! А уж как она в них нуждается, как часто она устремлялась с восторгом вслед людей, хотя и не стоявших того, но чуть-чуть если искренних! И каковы или каков должен быть этот будущий руководитель — там кто бы он ни был? Да и пошлет ли еще нам таких людей наша русская судьба — вот вопросы!

III. ПЛАН ОБЛИЧИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТИ ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

А ведь я об анонимном ругателе еще не кончил. Дело в том, что этакой человек может представить собою чрезвычайно серьезный литературный тип, в романе или повести. Главное, тут можно и надо взглянуть с иной уже точки зрения, с точки общей, гуманной и согласить ее с русским характером вообще и с современною текущею причинностью появления у нас этого типа в особенности. В самом деле, чуть-чуть вы начнете работать над этим характером, как тотчас сознаетесь, что у нас без таких людей теперь и не может быть, или еще ближе — что только подобного рода людей мы, скорее всего, и ожидать должны в наше время, и что если их сравнительно еще мало, то это именно по особой милости божией. В самом деле, все это народ, взросший в наших недавних шатких семействах, у недовольных скептических отцов, передавших детям одно равнодушие ко всему насущному и много-много что какое-то неопределенное беспокойство насчет чего-то грядущего, страшно фантастического, но во что, однако же, ваклонны уверовать даже эти так называемые *готовые* реалисты и холодные ненавистники нашего настоящего. Да сверх того передавших им, разумеется, свой скептический бессильный смех, хотя

¹ полностью (*франц.*).

и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало ли взросло за последние двадцать, двадцать пять лет детей у этих гадких завистников, проживших последние выкупные и оставивших детям нищету и завет подлости, — разве мало таких семейств? И вот молодой человек вступает, положим, на службу. Фигуры нет, «остроумия нет», связей никаких. Есть природный ум, который, впрочем, у всякого есть, но так как он у него воспитан прежде всего на бесцельном зубоскальстве, вот уж двадцать пять лет принимающемся у нас за либерализм, то, уж конечно, наш герой

10 свой ум немедленно принимает за гений. О, боже, как не оказаться безграничному самолюбию, когда человек вырос без малейшей нравственной выдержки. И сначала он куражится ужасно, но так как в нем все-таки ум (я для типа предпочитаю взять человека несколько умнее средины людей, чем глупец, ибо только в этих двух случаях и возможно появление такого типа), то он скоро догадывается, что зубоскальство всё же вещь отрицательная и до положительного ни до чего не доведет. И что если довольствовался им его батюшка, то ведь потому, что тот был всё же старый колпак, хоть и либеральный человек, ну, а он,

20 сынок, всё же гений, и только вот покамест проявить себя затрудняется. О, он, конечно, готов на всякую самую положительную подлость в душе, «ибо почему же не употребить подлость в дело? Да и кто может доказать в наш век, что подлость есть подлость» и т. д. и т. д. Одним словом, он ведь взрос на этих готовых вопросах. Но он скоро догадывается, что ныне, чтоб даже и подлость-то употребить в дело, надо ждать долгой вакансии, да к тому же от нравственной готовности на подлость до дела даже и ему, пожалуй, далеко, и надо предварительно еще, так сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь он поглупее, он бы мигом устроился: «Высшие поползновения долой и примоститься поскорее к тому-то или к такому-то, да уж и тянуть за ним лямку послушно и убежденно и — в конце карьера». Но самолюбие-то, убеждение-то в своей гениальности пока еще долго мешает: не может он даже и в мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу свою с судьбой такого-то иль такого-то. «Нет-с, мы пока еще в оппозиции, а если они захотят меня, то пусть сами придут — поклонятся». И вот он ждет, пока кто-нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждет, а между тем под боком у него такой-то уже шагнул выше его, другой уже

30 примостился, а третий уже сел ему в начальники, — этот третий, которому он же, там, в их «высшем училище», изобрел прозвище и пустил на него эпиграмму в стихах, когда рукописный, училищный журнал издавал и слыл там за гения. «Нет-с, это обидно! Нет, зачем же не я, а он? И везде-то, везде-то всё занято! Нет, — думает он, — тут не моя карьера, да и что служить, служат мешки, мое поприще литература», — и вот он начинает рассыпать по редакциям свои произведения, сначала *incognito*, потом с обозначением полного имени. Ему, разумеется, не отвечают; в нетерпе-

нип он пускается лично обивать пороги редакций. При случае, получая обратно рукопись, позволяет себе даже поострить, желчно позубоскальничать, так сказать, сердце сорвать, но всё это не помогает. «Нет, видно, и тут всё занято», — думает он, скорбно усмехаясь. Главное, его всё мучит роковая забота отыскывать всегда и везде как можно больше людей хуже себя. О, он бы и понять никогда не мог, как это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вот тогда-то он и натыкается в первый раз на мысль пустить в какую-нибудь редакцию, из тех, где его наиболее обидели, злобное неподписанное письмо. Написал, ¹⁰ пустил, повторил в другой раз — понравилось. Но последствий все-таки никаких, всё по-прежнему кругом его глухо, немо и слепо. «Нет, что ж это за карьера», — решает он окончательно и решает наконец «примоститься». Он выбирает лицо — именно своего начальника-директора, тут, может быть, как-нибудь помогает ему и случай и связушки. И Поприщип у Гоголя начал ведь с того что отличился чинкою перьев и был вытребован для сей цели в квартиру его превосходительства, где и увидал директорскую дочку, для которой очинил два цара. Но времена Поприщина прошло, да и перьев теперь не чинят, да и не может изменить наш герой своему характеру: не перья в его голове, а самые дерзкие мечты. Короче, в самый короткий срок, он уже убежден, что пленил директорскую дочку и что та по нем изнывает. «Ну вот и карьера, — думает он, — да и к чему бы годились женщины, если б нельзя было через них сделать умному человеку карьеру: в этом, в сущности, весь женский вопрос и заключается, если реально-то обсудить его. А главное, и не стыдно: мало ли кто выходил на дорогу через женщин?» Но — но тут как раз подвертывается, как и у Поприщина, адъютант! Поприщин поступил по своему характеру: он сошел с ума на мечте о том, что он ²⁰ испанский король. И как натурально! Что могло оставаться при ниженному Поприщину, без связей, без карьеры, без смелости и без всякой инициативы, да еще в то петербургское время, как не броситься в самое отчаянное мечтание и поверить ему? Но наш Поприщин, современный нам Поприщин, — ни за что в мире не в состоянии поверить, что он такой же самый Поприщин, как и первоначальный, только повторившийся тридцать лет спустя. В душе его громы и молнии, презрение и сарказмы, и — и вот он бросается тоже в мечту, но в другую. Он вспоминает, что на свете могут быть анонимные письма и что они уже раз употреблены ³⁰ им, и — вот он рискует свое письмо. Но уже не в журнальную редакцию, а почице-с: он чувствует, что вступает в новый практический фазис. О, как он запирается в своей каморке от своей хозяйки, как трепещет, чтоб за ним не подглядели, но он строчит, строчит, изменения почерк, создает четыре страницы клевет и ругательств, перечитывает с наслаждением и — просидев ночь, к рассвету запечатывает письмо и адресует — к жениху адъютанту. Почерк он изменил, он не боится. Вот он рассчитывает

часы, вот теперь письмо должно дойти — это жениху об его невесте, — о, тот, конечно, откажется, он испугается, ведь это же не письмо, а «шедёвр»! И молодой наш друг изо всех сил знает, что он подлецкий негодяй; по он этому только рад: «Ныне-де время раздвоения мысли и широкости, ныне прямолинейной мыслью не проживешь».

Разумеется, письмо не оказалось действия, свадьба состоялась, но начало сделано, и герой наш как бы напал на свою карьеру. Его обуял своего рода мираж, как и Поприщина. С жаром бро-
10 сается он в новую деятельность, в анонимные письма. Он выведывает про своего генерала, он соображает, он изливает всё, что накопилось в нем за целые годы неудовлетворенной службы, раздраженного самолюбия, желчи, зависти. Он критикует все действия генерала, он осмеивает его самым беспощадным образом, и это в нескольких письмах, в целом ряде писем. И как ему это спачала правится! И поступки-то генерала, и жену-то его, и любовницу, и глупость всего их ведомства — всё, всё изобразил он в своих письмах. Мало-помалу он кидается даже в государственные соображения, он компонует письмо к министру, в котором
20 предлагает изменить Россию, уже не церемонясь. «Нет, министр не может не поразиться, гений поразит его, и письмо дойдет, покалуй, до... До такого то есть лица, что... Одним словом, кураж, mon enfant,¹ и когда станут разыскивать автора, тут-то я разом и объявлюсь, так сказать, уже без застенчивости». Одним словом, он упивается своими произведениями и поминутно воображает, как распечатываются его письма и что затем происходит на лицах тех лиц... В таком расположении духа он позволяет себе иногда даже и пошалить: для шутки пишет к иным самым смешным даже лицам, не пренебрегает каким-нибудь даже Егором
30 Егоровичем, своим старичком столоначальником, которого и вправду чуть не сводит с ума, анонимно уверив его, что его супруга завела любовную связь с местным частным приставом (главное, что тут наполовину могло быть и правды). Так проходит некоторое время, но... но вдруг странная идея осеняет его — именно: что ведь он Поприщин, не более как Поприщин, тот же самый Поприщин, но только в миллион раз поднее, и что все эти пасквили из-за угла, всё это анонимное могущество его есть в сущности мираж и больше ничего, да еще самый гаденький мираж, самый паскудненький и позорный, хуже даже, чем мечта об испанском престоле. А тут как раз случилось обстоятельство уже серьезное — не позорное какое-нибудь: «что позор, позор вздор, позора боятся теперь лишь аптекари», а действительно страшное обстоятельство, в самом деле страшное. Дело в том, что хоть рассудок и был у него, но всё же он не удержался и во время своего упоения новой карьерой, именно после-то письмеша к министру, сболтнул о своих письмах — кому же? немке, хозяйке

¹ дитя мое (франц.).

своей, — ну, конечно, не всё, она бы и не поняла всего, конечно, чуть-чуть, так, от избытка лишь сердца; но каково же было его изумление, когда, через месяц, тихоня-чиновник другого ведомства, проживавший у той же хозяйки в отдаленной комнатке, злобно-молчаливый человечек, вдруг, рассердившись на что-то, намекнул ему, проходя мимо в коридоре, на то, что оп, — то есть вот он, чиновник-тихоня, — есть «человек нравственный и анонимных писем, по примеру некоторых господ, не пишет». Каково! Сначала он не так испугался, мало того, проэкзаменовав чиновника — а для того нарочно и даже унизительно помирившись ¹⁰ с ним, — он убедился, что тот ничего почти и не знает. Но... ну, а если знает? К тому же в департаменте давно уже начался слух о том, что кто-то пишет начальству по городской почте ругательства и что это непременно кто-то из своих. Несчастный начинает задумываться, даже не спит по ночам. Одним словом, можно особенно ярко выставить его душевные муки, его мнительность, его промахи. Наконец, он почти уже совсем убежден, что все всё знают, что ему только не говорят до времени; что же об исключении его из службы, то это уже решено, что этим, конечно, не ограничивается, — одним словом, он почти сходит с ума. И вот раз ²⁰ сидит он в департаменте, и почти беспредельное негодование подымает его сердце па всё и па всех: «О злые, проклятые люди, — думает он, — пу можно ли так притворяться! Ведь они знают же, что это я, знают все до единого, ведь они об этом шепотом говорят друг с другом, когда я прохожу мимо, знают и бумагу, которая обо мне там в кабинете приготовлена и... и все притворяются! Все скрывают от меня! Им хочется насладиться, увидеть, как меня потащат... Так нет же! Нет же!» И вот он, час спустя, случайно относит какую-то бумагу в кабинет его превосходительства. Оп входит, кладет почтительно бумагу на ³⁰ стол, генерал занят и не обращает внимания, он повертывается, чтоб неслышно выйти, берется за замок и — вдруг, так, как падают в бездну, бросается к ногам его превосходительства, за секунду и не подозревая о том, что бросится: «Всё равно погибать, лучше уж сам сознаюсь!» «Только потише, ваше превосходительство, только, пожалуйста, потише, ваше превосходительство! Чтоб там не услыхал нас кто-нибудь, а я вам всё расскажу, всё расскажу, всё расскажу!» — умоляет он, как безумный, изумленного его превосходительство, сложа перед ним по-дурацки руки. И вот, отрывочно, бессвязно, весь дрожа, глупо признается ⁴⁰ во всем, к вящему изумлению его превосходительства, совсем ничего и не подозревавшего. Но ведь и тут герой наш выдержал характер вполне, — ибо для чего он бросился к ногам генерала? Конечно, от болезни, конечно, от мнительности, но *главное и от того*, что он, — и струсивший, и униженный, и себя во всем обвиняющий, — а всё же мечтал по-прежнему, как всеупоенный самомнением дурачок, что, может быть, его превосходительство, выслушав его, и всё же, так сказать, пораженный его гением, —

раскроет обе руки свои, которыми он столь много подписывает на пользу отечества бумаг, и заключит его в свои объятия: «Неужели, дескать, ты до того доведен был, несчастный, но даровитый молодой человек! О, это я, я во всём виноват, я просмотрел тебя! Беру всю вину на себя. О, боже мой, вот до чего принуждена доходить наша талантливая молодежь из-за вины наших старых порядков и предрассудков! Но приди, приди на грудь мою, и — вместе со мною раздели пост мой и мы... и мы перевернем департамент!» Но так не случилось, и потом, долго

10 спустя, в позоре и в унижении, вспоминая о пинке носком генеральского сапога, пришедшегося ему прямо тогда в лицо, он почти искренно обвинял судьбу и людей: «Раз, дескать, в жизни моей я раскрыл людям мои объятия вполне, и что же удостоился получить?» Финал ему можно придумать какой-нибудь самый натурализм и современный, например, его, уже выгнанного из службы, нанимают в фиктивный брак, за сто руб., причем после венца он в одну сторону, а она в другую к своему лабазнику. «И мило и благородно», — как выражается частный пристав у Щедрина о подобном же случае.

20 Одним словом, мне кажется, что тип анонимного ругателя — весьма недурная тема для повести. И серьезная. Тут, конечно, бы нужен Гоголь, но... я рад, по крайней мере, что случайно набрел на идею. Может быть, и в самом деле попробую вставить в роман.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ПРЕЖНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ — БУДУЩИЕ ДИПЛОМАТЫ

Но куда я удалился от дела? Я начал с того, что я в деревне и рад тому. Давненько-таки я не жил в русской деревне. Но о деревне потом, а здесь лишь вставлю, что я уже потому, между прочим, рад, что я в деревне, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся там наших русских. В самом деле, в наше, столь народное, столь единительное и патриотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русских, ждешь русских, желаешь и требуешь русских, в такое время слишком тяжело видеть за границей, куда вот уж двадцать лет ежегодно экспатриируется и где колонизируется наша интеллигенция, — претворение чисто-русского, сырого и превосходного, может быть, материала в жалкую международную дрянь, обезличенную, без характера, без народности и без отечества. Я не про отцов говорю, — отцы неисправимы и бог с ними, — а про их несчастных детей, которых они губят за границей. Отцы же даже отъявленным нашим русским европейцам становятся наконец смешны. Г-н Буренин, отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих писем забавную встречу с одним из наших европейцев сороковых годов, «в седых почтенных кудрях»,

проживающим постоянно за границей, но приехавшим нарочно на войну посмотреть, на «эрелище борьбы» (разумеется, с самого почтительного расстояния) и разострившимся в вагоне над всем, над чем вот уж сорок лет острят эти господа, то есть над русским духом, над славянофилами и проч. и проч. Он потому-де живет за границей, что у нас в России «всё еще нечего делать серьезному и порядочному человеку». (NB: Я привожу цитаты на память.) Одна из удачнейших острот его состояла в том, что «уже сделано распоряжение по железным дорогам привезти в особом вагоне, ввиду вступления наших войск в Болгарию и обновления 10 славянства — тень Хомякова». Но этому седокудрому господину можно бы было заметить, что сам он очень тоже похож на тень какого-нибудь, может быть, и весьма почтенного западно-либерального говорильщика сороковых годов, но который теперь, если б столько лет спустя и дожив до седых кудрей, повторял бы то же самое, на чем остановился в своих сороковых годах, то, уж конечно, даже будь он хоть сам Грановский, казался бы непременно точь-в-точь таким же самым шутом, как и этот господин, извещавший о распоряжении доставить по железной дороге на театр войны тень Хомякова и о том, что в нашей России всё еще 20 нечего делать порядочному человеку.

Эмигрировали из России (я удерживаю это слово) двадцать лет назад наиболее помещики, и с тех пор эмиграция продолжается с каждым годом. Конечно, в этом числе много и не помещиков, были всякие, но, в огромном большинстве, если не все, — более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, «что в России таким порядочным и умным, как они, людям нечего делать», другие уже просто ненавидя ее безо всяких убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобожденного мужика, 30 за русскую историю, одним словом, за всё, за всё ненавидя. Замечу, что такая ненависть может быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатии равнодушная. А тут как раз почувствовались в руках выкупные и, сверх того, ужасно многих озарило убеждение, что с освобождением крестьян всё погибло — и деревня, и землевладение, и дворянство, и Россия. Правда и то, что с освобождением крестьян сельский труд остался без достаточной организации и обеспечения, и личное землевладение натурально струсило и сконфузилось так, как ни в какой исторический переворот не могло бы случиться больше. Вот и пустились помещики 40 продавать и продавать, и часть их (слишком не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себе в оправдание, но не могут же они утаить, и перед согражданами, и перед детьми своими, что главная причина их эмигрирования была тоже и приманка эгоистического «ничегонеделанья». И вот с тех пор русская личная поземельная собственность в полнейшем хаосе, продается и покупается, меняет своих владетелей поминутно, меняет даже вид свой, облезлесивается, — и во что обратится она, за кем

останется она окончательно, из кого составится окончательно обновленное русское землевладельческое сословие, в какую форму преобразится оно в конце концов — всё это трудно предсказать, а между тем, если хотите, в этом главнейший вопрос русской будущности. Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете: кто в стране владеют землей, те и хозяева той страны, во всех отношениях. Так бывало везде и всегда. Но у нас, скажут, сверх того община, — вот, значит, и хозяева. Но... вопрос об общине разве из решенных у нас окончательно? Разве

10 пятнадцать лет назад он не вошел у нас тоже в новый фазис, как и всё остальное? Но об этом обо всем потом, а заключу пока мою мысль голословно: если в стране владение землей *серъезное*, то и всё в этой стране будет серьезно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях. Хлопочут, например, у нас теперь о просвещении, о народных школах, а я вот верю только тому, что школы тогда только примутся у нас серьезно и основательно, когда землевладение и земледелие наше организуются у нас серьезно и основательно, и что скорее не от школы получится хорошее земледелие, а, напротив, от хорошего лишь земле-
20 делия (то есть от правильного землевладения) получится хорошая школа, но никак не раньше. Параллельно же с этим примером и всё: и порядки, и законы, и нравственность, и даже самый ум наций, и всё, наконец, всякое правильное направление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утверждается прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, по каков характер землевладения, таков и весь характер нации.

Но теперь пока наши бывшие помещики гуляют за границей, 30 по всем городам и водам Европы, набивая цены в ресторанах, таская за собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и в английских костюмчиках, с голыми ножками, напоказ Европе. А Европа-то смотрит и дивится: «Вот ведь сколько у них там богатых людей и, главное, столь образованных, столь жаждущих европейского просвещения. Это ведь из-за деспотизма им до сих пор не выдавали заграничных паспортов, и вдруг сколько у них оказалось землевладелей и капиталистов и удалившихся от дел рантьеров, — да больше, чем даже во Франции, где столько рантьеров!» И расскажите Европе, 40 растолкуйте ей, что это чисто-русское явление, что никакого тут нет рантьерства, а, напротив, пожирание основных своих фондов, сжигание свечки с обоих концов, то Европа, конечно, не поверит этому, невозможному у неё, явлению, да и не поймет его вовсе. И ведь, главное, эти сибариты, слоняющиеся по германским водам и по берегам швейцарских озер, эти Лукуллы, проживающиеся в ресторанах Парижа, — ведь сами они знают и с некоторо-ро даже болью всё же предчувствуют, что ведь фонды-то они свои наконец проедят и что детям их, вот этим самым херувим-

чикам в английских костюмчиках, придется, может быть, просить по Европе милостыню (и будут просить милостыню!) или обратиться в французских и немецких рабочих (и обратятся в французских и немецких рабочих!). Но, думают они, «après nous le déluge», да и кто виноват: виноваты все те же наши русские порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному человеку до сих пор еще ничего сделать нельзя». Вот как они думают, а либеральнейшие из них, те, которые могут называться высшими и чистейшими западниками сороковых годов, те прибавляют еще, может быть, про себя: «Ну что ж, что дети останутся без состояния, зато унаследуют пдею, благородную закваску истинного и священного образа мыслей. Воспитанные вдали от России, они не будут знать попов и глупое слово „отечество“. Они поймут, что отечество есть предрассудок и даже самый пагубнейший из всех существующих в мире. Из них выйдут благородные общечеловеческие умы. Мы и только мы, русские, положим начало этим новым умам. Именно тем, что проживаем за границей наши выкупные, мы полагаем основание новому, грядущему международному гражданству, которое, рано ли, поздно ли, а обновит Европу, и вся честь за то нам, потому что мы начали раньше ¹⁰ всех». Впрочем, так говорят лишь «седокудрые», то есть еще очень немногие, ибо много ли передовых-то? Более же практические, и даже из «седокудрых» не столь благородные, в конце концов все еще надеются на «связишки»: «Мы-то здесь проживаемся, это правда, да ведь и наживаем же что-нибудь все-таки, ну, там знакомства, связишки, которые потом в „отечестве“-то, и пригодятся. К тому же хоть и в либеральном духе воспитываем деток, да ведь все ж джентльменами, — а в этом ведь и все главное. Будут они витать в сферах исключительных и высших, а либерализм в высших сферах всегда обозначал и сопровождал ³⁰ у нас джентльменство, ибо джентльменский либерализм для высшего-то, так сказать, консерватизма и полезен, это всегда у нас различать умели. И что ж, мы детей растим за границей и — как раз, значит, готовим их в дипломаты. Что за прелест здесь все эти места при посольствах, при консульствах и какая бездна-бездна этих милейших mestечек, и как восхитительно дотированных! Вот и хватит на наших детишек: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая: знай знакомься с русскими за границей, из ⁴⁰ тех, кто попорядочнее, а из тех, кто накуролесят да защитить себя консула просят, — мы тех свысока обернем, поначальственное, и слушать-то не станем: „Не верим вам, дескать, беспорядки производите сами, все еще воображаете себя в милом отечестве, тогда как здесь место чистое. Из-за вас неприятности получай, да и стоит еще из-за такого, как вы, иноземное начальство беспокоить: вы только посмотрите на себя в зеркало, до чего вы дошли-с!“ Вот и вся служба в этом! Одним словом, сумеют и наши деточки

выйти в люди, да-с, были бы только связи — вот что первое всего надо родительскому сердцу наблюдсти, а прочее всё приложится по востребованию».

Итак, все не столь благородные из проживающих за границей более или менее рассчитывают на связушки. Но ведь что такое связи? Ну хоть и значат что-нибудь, но ведь эта материа ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мешало, кроме связей, запасти себе — ну хоть немножко знания России и собственного ума, хоть па всякий случай. Теперь же именно, в эпоху реформ и новых начал, у нас как нарочно все собственным умом хотят жить, все того захотели, — идея, бесспорно, просвещенная, но то беда, что никогда еще у нас не бывало столь мало собственного ума, как теперь, при общем желании иметь его. Почему это так — решать не возьмусь, да и трудно, но одну из причин, почему херувимчики наши, бесспорно, будут дурачками, — основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на нее. А впрочем, всё то же самое, об чем я говорил и в прошлом году. Причина — русский язык, то есть недостаток русского, отечественного языка от воспитания за границей, с гувернантками и боннами иностранками. Это у нас и всегда водилось, и прежде, то есть недостаток этот, но никогда как теперь, когда столько херувимчиков взрастет за границей. Положим, они готовятся в дипломаты, а дипломатический язык, известно, французский язык; русский же язык довольно знать лишь и грамматически. Но так ли это? Вопрос этот хоть и до пошлости старый, а между тем он до того еще нерешенный, что недавно даже в печати о нем опять заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочинений г-на Тургенева на французском языке. Выражено было даже мнение, что «не всё ли равно г-ну Тургеневу сочинять на французском или на русском языке и что тут такого запрещенного?» Запрещенного, конечно, нет ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русского языка, как Тургенев, и если у него такая фантазия, то почему же ему не писать на французском, да и к тому же если он французский язык почти как русский знает. И потому о Тургеневе ни слова, но... но я вижу, что я решительно повторяюсь и прошлого года говорил решительно то же самое, на ту же самую тему, и в этих же заграничных месяцах, толкуя с заграниценно-русской маменькой о вреде французского языка для ее херувимчиков. Но маменька готовит теперь херувимчиков в дипломаты, и вот собственно лишь по поводу дипломатии-то, хоть и неприятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

«Но ведь дипломатический язык французский», — прерывает меня маменька на этот раз, не дав мне даже и начать. Увы, она с прошлого года приготовилась, она третирует меня свысока. «Так, сударыня, — отвечаю я, — возражение ваше сильное, и я согласен с вами бесспорно. Но, во-первых, ведь что я говорил о знании русского языка, надо приложить и к французскому, ведь не правда ли? Ведь, чтоб выразить богатства своего орга-

низма па французском языке, надо п французский язык усвоить себе богатейшим образом. Ну так знайте же, есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, которому принадлежите вы. Вы морщитесь, я вас обидел, вы смотрите насмешливо. Вы махаете ручкой и уверяете меня, что слышали это еще прошлого года и что я повторяюсь. Хорошо-с, я вам уступаю, да и тема эта не *дамская*. Я вам просто-запросто уступлю и соглашусь с вами, что можно п русскому усвоить себе французский язык в совершенстве, но с огромным условием: родиться во Франции, вырасти в ней и с самого первого часа своей жизни преобразиться в француза. О, вы развеселились, вы уже улыбаетесь, но заметьте, однако, сударыня, что это даже и для вас не совсем возможно будет исполнить касательно вашего херувимчика, несмотря даже на все удобства, то есть эмиграцию, выкупные, парижскую бонну и проч. и проч. К тому же возьмите в соображение и природные, так сказать, дары, потому что нельзя же ведь сравнивать г-на Тургенева и ¹⁰ вашего, например, херувимчика относительно этих даров. Много ль, скажите, родится Тургеневыхъ-то... Ах нет, нет, что я! ²⁰ Я опять ошибся, сболтнул: из вашего херувимчика выйдет наверно Тургенев, или даже три Тургенева разом, оставим это, но...» — «Но, — прерываете вы вдруг меня, — ведь дипломаты и без того все умны, так зачем же уж так хлопотать об уме? Поверьте, были бы только связи. *Mon mari!*...» — «Вы совершенно правы, сударыня, — перебиваю и я поскорее, — были бы связи, и, оставляя вашего супруга как можно более в стороне, все-таки прибавлю, что к связям не худо бы хоть немного ума. И, во-первых, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому ³⁰ только, что они и до дипломатии были умные люди, а поверьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатов замечательно глупых людей» — «Ах нет, вот уж извините, — прерываете вы меня в нетерпении, — дипломаты все всегда умные, и все на превосходных местах, и это самая благородная служба!» — «Сударыня, сударыня, — восклицаю я, — вы говорите: связи и знание языков, но ведь связи только место доставят, а там, потом... Ну представьте себе: ваш херувимчик взрастает в ресторанах Европы, кутит с модными кокотками в товариществе заграничных виконтов и наших русских графов, но ведь потом... Вот он знает все языки, и уже по тому одному никакого. Не имея же своего языка, ⁴⁰ он естественно схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается еще смолоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недокопченными идеяками, с тупою прямолинейностью суждения. Он дипломат, по для него пстория наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает того,

¹ мой муж (франц.).

чем живут нации и народы, какие законы в организме их и есть ли в этих законах целое, усматривается ли общий международный закон. Он готов выводить все события мира из того только, что такая-то, например, королева рассердила фаворитку такого-то короля, вот и произошла от того война двух королевств. Позвольте, я буду с вашей точки зрения судить. Пусть связи...

10 Но ведь для приобретения связей нужен характер, нужна, так сказать, любезность характера, мягкость, доброта и в то же время твердость, настойчивость... Дипломат ведь должен быть плени-
тлен, так сказать, пленять, побеждать, не правда ли? Ну, так поверите ли вы или нет, когда я вам прямо и в высшей степени определенно скажу, что без знания натурального своего языка, без обладания им нельзя даже выровнять себе и характера, осо-
бенно если херувимчик хорошо и богато одарен от природы: у него начнут же в свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будут давить, так сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себе выражения, а без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения, то есть без языка, без развития его, без утонченностей его, без обладания оттенками его — сын ваш
20 будет вечно недоволен собою; обрывки мыслей перестанут его удовлетворять, накопляющийся в уме и в сердце материал по-
требует основательного уже выражения... Молодой человек ста-
нет озабочен, рассеян, беспредметно задумчив, потом брюзглив, несносен, потом расстроит свое здоровье, даже желудок, может быть, верите ли тому...».

Но вижу, вижу, вы покатились со смеху, я опять увлекся, согласен (а ведь, боже, какую я правду говорю!), но позвольте мне закончить, позвольте мне вам напомнить, что я давеча вам
30 уступил, я с вами согласился, для виду, что дипломаты всё же умные люди, но вы меня до того довели, сударыня, что я при-
нужден теперь не скрыть от вас даже самую секретнейшую под-
кладку взгляда моего на этот предмет. Именно, сударыня, мне как нарочно несколько уже раз в жизни приходило на мысль, что в дипломатии, то есть во всеобщей дипломатии, всех народов и всего девятнадцатого столетия, чрезвычайно даже мало было умных людей. Даже поражает. Напротив, скрудомие этого сосло-
вия в истории Европы нынешнего столетия... то есть, видите ли, все они умны, более или менее, это бесспорно, все остроумны, но умы-то это какие! Проникал ли хоть один из этих умов в сущ-
40 ность вещей, понимал ли, предчувствовал ли таинственные за-
коны, ведущие к чему-то Европу, к чему-то неизвестному, стран-
ному, страшному — но теперь уже очевидному, почти воочию совершающемуся в глазах тех, которые чуть-чуть умеют пред-
чувствовать? Нет-с, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума в этом столь почтенном и фаворизированном сословии! (Я, уж конечно, го-
воря так, исключая Россию и всё отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, в этом деле «особ-статья».) Напротив,

во всё столетие являлись дипломатические умы, положим, прёхитрейшие, интриганы, с претензией на реальнейшее понимание вещей, а между тем дальше своего носу и текущих интересов (да еще самых поверхностных и ошибочных) никто из них ничего не усматривал! Порванные ниточки как бы там связать, заплаточку на дырочку положить, «пену подбить, вызолотить, за новое сойдет» — вот наше дело, вот наша работа! И всему тому есть причины — и главнейшая, по-моему, — разъединение начал, разъединение с народом и обособление дипломатических умов в слишком уж, так сказать, великосветской и отвлечённой от 10 человечества сфере. Ну, возьмите, например, графа Кавура — это ль был не ум, это ль не дипломат? Я потому и беру его, что за ним уже решена гениальность, да к тому же и потому еще, что он умер. Но что ж он сделал, посмотрите: о, он достиг своего, объединил Италию, и что же вышло: 2500 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею — не отвлечённую какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а реальную, органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объединение всего мира — сначала древнеримское, потом папское. Народы, взраставшие и преходившие в эти два с половиной тысячи- 20 веков в Италии, понимали, что они носители мировой идеи, а непонимавшие чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство — всё облекалось и проникалось этим же мировым значением. О, положим, что мировая эта идея там, под конец, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя вряд ли так?), но ведь что ж наконец получилось вместо-то нее, с чем поздравить теперь-то Италию, чего достигла она лучшего-то после дипломатии графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевство, потерявшее всякое мировое пополнение, променявшее его на самое изношенное буржуазное начало 30 (тридцатое повторение этого начала со временем первой французской революции), — королевство, вседовольное своим единством, ровно ничего не означающим, единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единством), и, сверх того, в неоплатных долгах, и, сверх того, именно вседовольное своею второстепенностью. Вот что получилось, вот создание графа Кавура! Одним словом, современный дипломат есть именно «великий зверь на малые дела»! Князь Меттерних считался одним из самых глубоких и тончайших дипломатов в мире и уж бесспорно имел всеевропейское влияние. А между тем в чём была его идея, как 40 понял он свой век, в его время лишь начинавшийся, как предчувствовал он грядущее будущее? Увы, он со всеми основными идеями начинавшегося столетия решил справиться полицейским порядком и вполне был уверен в успехе! Посмотрим теперь на князя Бисмарка, вот этот так уж бесспорно гений, но...

— Finissons, monsieur,¹ — строго прерывает меня маменька

¹ Довольно, сударь (франц.).

с видом глубоко и свысока оскорбленного достоинства. Я, разумеется, тотчас же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понят, конечно, с маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такие темы, и я дал страшного маху. Но с кем можно-то теперь заговаривать о дипломатии, вот ведь вопрос? А ведь какая интереснейшая тема и как раз в наше время! Но...

II. ДИПЛОМАТИЯ ПЕРЕД МИРОВЫМИ ВОПРОСАМИ

И какая серьезная тема! Ибо что такое теперь наше время? Все, кто одарены мудростью, говорят, что наше время есть время по преимуществу дипломатическое, время решения всех мировых судей одной лишь дипломатией. Утверждают, например, что будто бы где-то теперь у нас идет война. И я даже слышал о том, что идет война, но мне говорят, и я читаю везде, что если и есть там что-то и где-то вроде войны, то все это наверно не так понимается... По крайней мере, решено, что эта война ничему не помешает, то есть никаким здравым отправлениям нации, совмещающимся, по последним взглядам всего того, что называется вообще «премудростью», преимущественно и даже единственno в одной лишь дипломатии; и что самые даже эти военные прогулки, маневры и проч., всегда, впрочем, необходимые, — в истинном смысле вещей составляют не более, как лишь один из фазисов высшей дипломатии и ничего более. Так и надо веровать. С моей стороны, я очень наклонен этому верить, ибо все это очень успокоительно, но вот, однако, что любопытно и что ужасно как выдается: у нас, например, загорелся Восточный вопрос, загорелся он и во всей Европе тотчас же, как и у нас, даже раньше, — и это ужасно понятно: все и даже не дипломаты (и даже особенно если недипломаты) — все знают давным-давно, что Восточный вопрос есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших *отделов* мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. Известно, что тут дело не только одного Востока Европы касается, не только славян, русских и турок или там специально болгар каких-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливов, входов и выходов, а гораздо глубже, основнее, стихийнее, насущнее, существенное, первоначальное. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатии так много дела. Но какое же, однако, дело у дипломатии? — вот мой вопрос! Чем она-то (по преимуществу теперь) в Восточном вопросе занята? Дело дипломатии (а иначе она и дипломатией бы не была), дело ее теперь — конфисковать Восточный вопрос во всех отношениях и поскорей уверить всех, кого следует и не следует, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что все это только так, маневрики и прогулочки — и даже, если только можно, то уверить, что Восточный вопрос не только не начался, но и никогда его не бывало на свете, не существует.

вовало, а только туману лет сто назад напустили, из видов, и тоже дипломатических, так вот и лежит этот нерастолкованный туман до сих пор. Откровенно скажу, что этому можно бы даже и поверить, если б тут как раз не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вот беда!), ибо дипломатия никогда и ни за что не берется за такие загадки, мало того, отворачивается от них с презрением, ибо считает их недостойными высших умов фантазиями. Эту загадку можно бы формулировать в таком виде: почему это всегда так происходит и особенно в последнее время, с половины то есть девятнадцатого столетия, 10 и чем далее, тем нагляднее и осязательнее, почему — чуть лишь дело коснется в мире до чего-нибудь мирового, всеобщего, как тотчас же, рядом с одним поднявшимся где-нибудь мировым вопросом, подымаются параллельно тому и *все остальные* мировые вопросы, так что мало, например, теперь Европе одного поднявшегося мирового вопроса, Восточного, нет, она рядом с ним неожиданно-негаданно вдруг поднимает во Франции вопрос, и тоже мировой, католический? И католический вопрос не потому только, что вот-де умрет скоро папа, то Франция, как представительница католичества, должна позаботиться об том, чтоб отнюдь не исчезло 20 и не изменилось ничего в установившейся веками организации католичества, а и потому еще, что католичество принято тут видимо за общее знамя соединения всего старого порядка вещей, за все девятнадцать веков, — соединения против чего-то нового и грядущего, насущного и рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота во всей западноевропейской жизни, или, по крайней мере, если и не совершится обновление это, то против страшного потрясения и колоссальной революции, которая несомненно грозит потрясти все царства буржуазии во 30 всем мире, везде, где они организовались и процветали, по шаблону французскому 1789 года, грозит сковырнуть их прочь и стать на их место. Кстати, на минутку отступлю от темы и сделаю одно необходимое *Nota bene*, ибо предчувствуя как смешно покажется иным мудрецам, особенно либеральным, что я, в самом разгаре девятнадцатого столетия, называю Францию державою католической, представительницей католичества! А потому в разъяснение моей мысли и объявлю пока голословно, что Франция есть именно такая страна, которая, если б в ней не оставалось даже ни единого человека, верявшего не только в папу, но даже в бога, 40 все-таки будет продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, так сказать, всего католического организма, знаменем его, и это пребудет в ней чрезвычайно долгое время, даже до невероятности, до того, может быть, времени, когда Франция перестанет быть Францией и обратится во что-нибудь другое. Мало того: и социализм-то самый начнется в ней по католическому шаблону, с католической организацией и закваской, не иначе, — до такой степени эта страна

есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамест укажу лишь, например, на то: почему это так вдруг подтолкнуло маршала Мак-Магона возбудить и поднять, ни с того ни с сего, именно католический вопрос? Этот храбрый генерал (впрочем, почти везде побежденный, а в дипломатии отличившийся коротенькой фразой «*J'y suis et j'y reste*¹») — этот генерал вовсе не из таких, кажется, деятелей, чтоб в состоянии был *сознательно* поднять что-либо в этом роде. А вот начал же, поднял же самый капитальный из староевро-
10 пейских вопросов, и именно в том виде, в каком и должно было ему подняться, — но, главное: почему, почему именно как раз в ту минуту поднять, как на другом конце мира загорелся другой мировой вопрос, Восточный вопрос? Почему вопрос к вопросу жмется, почему один другой вызывает, тогда как, казалось бы, между ними и связи-то нет? Да и не одни эти два вопроса поднялись вместе: с Восточным поднялись и еще вопросы, поднимутся и еще и еще, если он правильно разовьется. Одним словом, все главнейшие вопросы Европы и человечества в наш век начали подниматься всегда одновременно. И вот одновремен-
20ность-то эта и поражает. Условие-то это непременно всем вопросам являться вместе и составляет загадку! Но для чего я это всё говорю. А вот именно виду того, что дипломатия на такие именно вопросы и смотрит с презрением. Опа ие только не признает никаких подобных совпадений, но и думать-то о них не желает. Миражи, дескать, вздоры и пустяки: «Нет этого всего ничего, а просто маршалу Мак-Магону, а пусть его супруге чего-то захотелось, вот всё и вышло». А потому, несмотря на то, что сам же я провозгласил, начиная этот отдел главы, что время наше по преимуществу дипломатическое, а прочее всё мираж, — сам же
30 я принужден этому не поверить первый. Нет, тут загадка! Нет, тут решает дело не одна дипломатия, а и еще что-то другое. И, признаюсь, я чрезвычайно смущен этим выводом; я так наклонен был верить в дипломатию, а все эти новые вопросы — всё это только новые хлопоты и больше ничего... .

III. НИКОГДА РОССИЯ НЕ БЫЛА СТОЛЬ МОГУЩЕСТВЕННОЮ, КАК ТЕПЕРЬ, — РЕШЕНИЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ

В самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развел его голословно. Но всегда мне представлялся, и еще задолго до этого теперешнего вопроса (то есть вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь один из них подымется), еще другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но на который, именно потому что он так прост и естествен, люди мудрости и не обращают почти ни-

¹ «Я так сказал, и баста» (*франц.*) (букв.: «Я здесь и здесь останусь»).

какого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть дипломатия есть и была, всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов человечества, и будет впредь; но всегда ли окончательное решение европейских вопросов от нее зависит? Не бывает ли, напротив, такого фазиса, такой точки в каждом вопросе, когда уже нельзя разрешить его всем известным успокоительным способом, дипломатическим, то есть заплаточками. И хоть и бесспорно, что все мировые вопросы, с точки зрения дипломатического, а стало быть, и здравого смысла, всегда объясняются не более как тем, что таким-то вот державам захотелось расширения границ, или лично чего-то захотелось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной даме и проч. и проч. (пусть, это бесспорно, я это уж уступлю, ибо здесь премудрость), — но все-таки не бывает ли в известный момент, даже вот и при этих-то самых реальных причинах и их объяснениях, такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда появляются вдруг какие-то странные другие силы, положим и непонятные и загадочные, но которые овладевают вдруг всем, захватывают всё разом в совокупности и влекут не-отразимо, слепо, вроде как бы под гору, а пожалуй, так и в без-²⁰ дну? В сущности я хотел бы только узнать: всегда ли так уж надеется на себя и па средства свои дипломатия, что никаких подобных сил, и точек, и фазисов не боится вовсе, а пожалуй, так и не предполагает их вовсе? Увы, кажется, что всегда, а потому: как я поверю ей и доверюсь ей и могу ли принять ее за окончательную решительницу судеб столь блажного и беспутного еще человечества!

Увы, в пространной истории Кайданова есть одна величайшая из фраз. Это именно, когда он, в «Новой истории», приступил к изложению французской революции и появлению Наполеона I. ³⁰ Фраза эта есть начало главы, и она осталась в моей памяти на всю жизнь, вот она: «Глубокая тишина царствовала во всей Европе, когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои; но никогда подобная тишина не предшествовала такой великой буре!» Скажите, что знаете вы выше из фраз? В самом деле, кто тогда в Европе, то есть когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои, мог бы предузнать, хотя бы самым отдаленным образом, что произойдет с людьми и с Европой в течение следующего тридцатилетия? Я не говорю про каких-нибудь там обыкновенных образованных людей или даже писателей, журналистов, профессоров. Все они, как известно, сбились тогда с толку: Шиллер написал, например, тогда дифирамб на открытие национального собрания; путешествовавший по Европе молодой Карамзин смотрел с умилительным дрожанием сердца на то же событие, а в Петербурге, у нас, еще задолго перед сим красовался мраморный бюст Вольтера. Нет, я обращаюсь прямо к самой высшей премудрости, прямо к всерешителям судеб человеческих, то есть к самим дипломатам, с вопросом: предугадывали ли

оны тогда хоть что-нибудь из того, что в следующее тридцатилетие произойдет?

Но ведь вот что ужасно: если бы я спросил об этом дипломатов (и заметьте, все почти европейские дипломаты учились по «Кайдашке») — и если бы они удостоили меня выслушать, то наверно ответили бы с высокомерным смехом, что «случайностей предвидеть нельзя и что вся мудрость состоит лишь в том, чтобы ко всяkim случайнostям быть готовым».

Каково-с! Нет, я вам скажу: это ответ типический, и хотя я сам его выдумал, потому что ни одного дипломата не беспокоил вопросами (да и не смею), но весь ужас мой в том, что я ведь уверен, что мне именно так ответили бы, а потому я и назвал сей ответ типическим. Ибо что такое, скажите, были эти события конца прошлого века в глазах дипломатов — как не случайности? Были и есть. А Наполеон, например, — так уж архислучайность, и не явясь Наполеон, умри он там, в Корсике, трех лет от роду от скарлатины, — и третье сословие человечества, буржуазия, не потекло бы с новым своим знаменем в руках изменять весь лик всей Европы (что продолжается и до сих пор), а так бы и осталось сидеть там у себя в Париже, да, пожалуй, и замерло бы в самом начале!

Дело в том, что мне кажется, что и нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным, то есть, может быть, чем-нибудь хотя и не буквально похожим на то, чем кончилось восемнадцатое столетие, но всё же настолько же колоссальным, — стихийным, и страшным, и тоже с изменением лика мира сего — по крайней мере, на Западе старой Европы. И вот, если наши премудрые будут утверждать, что нельзя же предугадать случайностей и т. д., мало того: если им даже и в голову что-нибудь

30 об этом финале не заходило, то...

Одним словом: заплаточки, заплаточки и заплаточки!

Ну что же, будем благоразумны, будем ждать. Заплаточки ведь, если хотите, вещь тоже необходимая и полезная, благоразумная и практическая. Тем более, что заплаточками, например, обмануть врага можно. Вот у нас теперь война, и если бы случилось, что Австрия повернулась бы к нам враждебно, то «заплаточкой» ее как раз можно ввести в обман, в который сама же она с удовольствием втюится, ибо что такое Австрия? Сама-то она чуть не на ладан дышит, развалиться хочет, точно такой же 40 «больной человек», как и Турция, да, может быть, и еще того плоше. Это образец всевозможных дуализмов, всевозможных внутри себя враждебных соединений, народностей, идей, всевозможных несогласий и противоречивых направлений; тут и венгры, тут и славяне, тут и немцы, тут и царство жидов... Ну, а теперь, благодаря ухаживанию за ней дипломатии, она и впрямь, пожалуй, может вздумать о себе, что она — могущество, которое и действительно многое значит и многое может сделать в общем решении судеб. Такой обман воображения, возбужден-

ный именно посредством ухаживаний и заплаточек для решения славянских судеб, выгоден, ибо может на время отвлечь врага, а к моменту решения, когда он вдруг увидит, что его никто не боится и что он вовсе не могущество, — может поразить его упадком духа, попросту сконфузить. Другое дело Англия: это нечто посерьезнее, к тому же теперь страшно озабоченное в самых основных своих начинаниях. Эту заплаточками и ухаживающими не усыпишь. Что ни толкуй ей, а ведь она ни за что и никогда не поверит тому, чтоб огромная, сильнейшая теперь нация в мире, вынувшая свой могучий меч и развернувшая знамя ¹⁰ великой идеи и уже перешедшая через Дунай, может в самом деле пожелать разрешить те задачи, за которые взялась она, себе в явный ущерб и единственно в ее, Англии, пользу. Ибо всякое улучшение судеб славянских племен есть, *во всяком случае*, явный для Англии ущерб, и заплаточками тут ни за что и никого не умаслишь: не поверят! — просто ничему в Англии не поверят. Да и какими аргументами убедить ее? «Я вот, дескать, немножко *начну*, но не кончу». Но ведь в политике начало дела есть всё, ибо начало, естественно, рано ли, поздно ли, приведет к концу. Что в том, что окончание завершится не сегодня, всё ²⁰ равно завершится завтра. Одним словом, они не поверят, а потому надо бы и нам англичанам не верить или как можно меньше верить, разумеется, про себя. Хорошо бы нам тоже догадаться, что Англия в самом критическом теперь положении, в котором когда-либо находилась. Это критическое ее положение может быть формулировано точнейшим образом в одном слове: *удединение*, ибо никогда еще, может быть, Англия не была в таком страшном уединении, как теперь. О, как бы она рада была теперь найти в Европе союз, какой-нибудь *entente cordiale*.¹ Но беда ее в том, что не было еще момента в Европе, когда бы ³⁰ труднее было составить союз. Ибо именно теперь в Европе всё поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все мировые противоречия, так что каждому народу и государству *страшно много собственного дела у себя дома*. А так как английский интерес не мировой, а давно уже от всего и всех отъединенный и единственno касающийся одной только Англии, то, на время по крайней мере, она и останется в чрезвычайном уединении. О, разумеется, ей можно бы было согласиться даже и с преследующими другую цель из взаимных выгод: «Я, дескать, тебе то доставлю, а ты мне это». Но по характеру-то теперешних забот европейских трудно в этом роде *entente cordiale* составить, по крайней мере в данную минуту, и придется долго ждать, пока потом, в будущем развитии, найдется такой момент, что можно будет и ей куда-нибудь с своим союзом примазаться. Кроме того, Англии прежде всего надобен союз *выгодный*, то есть такой, при котором она возьмет всё, а сама отплатит по

¹ сердечный союз (франц.).

возможности *ничем*. Ну вот именно такого-то выгодного союза теперь всего более не предвидится, и Англия в уединении. О, если б этим уединением мы могли удачно воспользоваться! Но тут другое восклицание: «О, если б мы были менее скептиками и могли уверовать в то, что есть мировые вопросы и что не мираж они!» Главное то, что у нас в России очень большая часть интеллигенции нашей всегда как-то видит и принимает Европу не реально, как она есть теперь, а всегда как-то задним числом, с запаздыванием. В будущность не заглядывают, а на-
10 клонны судить более по прошедшему, даже по давно про-
шедшему.

А между тем мировые вопросы существуют действительно, и как бы это в них-то не верить, да еще нам-то? Два из них уже поднялись и влекутся уже не человеческою премудростью, а стихийною своею силою, основною органическою своею потребностью, и не могут уже оставаться без разрешения, несмотря на все расчеты дипломатии. Но есть и третий вопрос, и тоже мировой, и тоже подымается и почти уже поднялся. Вопрос этот, в частности, можно назвать германским, а в сущности, в целом, как 20 нельзя более всеевропейским, и как нельзя сильнее слит он органически с судьбой всей Европы и всех остальных мировых вопросов. Казалось бы, однако, на вид, что ничего не может быть спокойнее и безмятежнее, как теперь Германия: в спокойствии грозной силы своей она смотрит, наблюдает и ждет. Все, более или менее, в ней нуждаются, все, более или менее, от нее зависят. И однако... всё это мираж! Вот то-то и есть, что у всех теперь в Европе свое дело, у каждого объявилось по собственному своему самоважнейшему вопросу, по вопросу такой важности, как само почти существование, как вопрос о том, быть 30 иль не быть: вот этакий самый вопрос нашелся и у Германии, и как раз в ту минуту, как поднялись и другие мировые вопросы, — и вот это-то состояние Европы, прибавлю, забегая вперед, как не надо более выгодно для России в данный момент! Ибо никогда она не была столь нужна Европе и могущественнее в глазах ее и между тем столь отъединенное от поднявшихся в ней, в этой старой Европе, самых капитальных и страшных, но *своих*, ей только, старой Европе, а не России свойственных вопросов. И никогда союз России не цеплялся бы выше, как теперь, в Европе, никогда еще она не могла себя 40 с большею радостью поздравить с тем, что она не старая Европа, а новая, что она сама по себе, свой особый и могучий мир, для которого именно теперь наступил момент вступить в новый и высший фазис своего могущества и более чем когда-нибудь стать независимою от прочих, *ихних*, роковых вопросов, которыми старая, дряхлая Европа связала себя!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. ГЕРМАНСКИЙ МИРОВОЙ ВОПРОС. ГЕРМАНИЯ — СТРАНА ПРОТЕСТУЮЩАЯ

Но мы заговорили про Германию, про теперешнюю задачу ее, теперешний ее роковой, а вместе с тем и мировой вопрос. Какая же эта задача? И почему эта задача лишь теперь обращается для Германии в столь хлопотливый вопрос, а не прежде, не недавно, не год назад или даже не два месяца назад?

Задача Германии одна, и прежде была, и всегда. Это ее *протестантство*, — не та единственno формула этого протестантства,¹⁰ которая определилась при Лютере, а всегдашнее ее протестантство, всегдаший *протест* ее — против римского мира, начиная с Арминия, против всего, что было Римом и римской задачей, и потом против всего, что от древнего Рима перешло к новому Риму и ко всем тем народам, которые восприняли от Рима его идею, его формулу и стихию, к наследникам Рима и ко всему, что составляет это наследство. Я убежден, что некоторые из читателей, прочтя это, вскинут плечами и засмеются: «Ну, можно ли, дескать, в девятнадцатом столетии, в век новых идей и науки, толковать о католичестве и протестантстве, как будто мы еще в средних веках! И если еще есть, пожалуй, религиозные люди и даже фанатики, то сохранились как археологическая редкость, сидят по определенным местам и углам, осужденные и всеми осмеянные, а главное, в самом малом числе, в виде ничтожной мизерной кучки отсталых людей. Итак, можно ли их считать за что-нибудь в таком высшем деле, как мировая политика?»

Но я не религиозный *протест* разумею, я не останавливаюсь на временных формулах идеи древнеримской, равно как и вековечного германского против нее протеста. Я беру лишь основную²⁰ идею, начавшуюся еще две тысячи лет тому и которая с тех пор не умерла, хотя постоянно перевоплощалась в разные виды и формулы. Теперь именно весь этот крайний западноевропейский мир, — именно унаследовавший римское наследство, мучится родами нового перевоплощения этой унаследованной древней идеи, и это для тех, кто умеет смотреть, до того наглядно, что и объяснений не просит.

Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала пред христианством, — формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из нее составилась его цивилизация, для нее одной лишь оно и живет. Пала лишь идея всемирной *римской* монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный,

то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во 10 главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществимо быть не может. И вот началась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение, тогда как по римскому толкованию наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под 20 началом папы, как владыки мира сего.

С тех пор эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась беспрерывно. С развитием этой попытки самая существенная часть христианского пачала почти утратилась вовсе. Отвергнув наконец христианство духовно, наследники древнеримского мира отвергли и папство. Прогремела страшная французская революция, которая в сущности была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Был даже момент, когда 30 для всех наций, унаследовавших древнеримское призвание, наступило почти отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с 1789 года политическое главенство, то есть буржуазия, — восторжествовала и объявила, что далее и не надо идти. Но зато все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, — все те бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французской революцией 1789 года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно необходимость всеединения людей, уже не ввиду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а напротив: всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались. Осуществить же это решение положили *всякими* средствами, то есть

отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем.

Причем же тут всё это время, все эти две тысячи лет была Германия? Характернейшая, существеннейшая черта этого великого, гордого и особого народа, с самой первой минуты его появления в историческом мире, состояла в том, что он никогда не хотел соединиться, в призвании своем и в началах своих, с крайнезападным европейским миром, то есть со всеми преемниками древнеримского призыва. Он *протестовал* против этого мира все две тысячи лет, и хоть и не представил (и никогда не ¹⁰ представлял еще) своего слова, своего строго формулированного идеала взамен древнеримской идеи, но, кажется, всегда был убежден, внутри себя, что в состоянии представить это новое слово и повести за собою человечество. Он бился с римским миром еще во времена Арминия, затем во времена римского христианства он более чем кто-нибудь бился за верховную власть с новым Римом. Наконец, протестовал самым сильным и могучим образом, выводя новую формулу протesta уже из самых духовных, стихийных основ германского мира: он провозгласил свободу исследования и воздвиг знамя Лютера. Разрыв был ²⁰ страшный и мировой, формула протеста нашлась и восполнилась, — хотя всё еще отрицательная, хотя всё еще новое и *положительное* слово сказано еще не было.

И вот германский дух, сказав это новое слово протеста, на время как бы замер, и произошло это совершиенно параллельно с таким же ослаблением прежнего строго формулированного единства сил и в его противнике. Крайнезападный мир под влиянием открытия Америки, новой науки и новых начал искал переродиться в новую истину, в новый фазис. Когда наступила первая попытка этого перевоплощения во время французской революции, германский дух был в большом смущении и на время потерял было самость свою и веру в себя. Он ничего не мог сказать против новых идей крайнезападного европейского мира. Лютерово протестантство уже отжило свое время давно, идея же свободного исследования давно уже принята была всемирной наукой. Огромный организм Германии почувствовал более чем кто-нибудь, что он не имеет, так сказать, плоти и формы для своего выражения. Вот тогда-то в нем родилась настоятельная потребность хотя бы сплотиться только наружно в единый стройный организм, ввиду новых грядущих фазисов его вечной борьбы ³⁰ с крайнезападным миром Европы. Тут надо заметить весьма любопытное совпадение: оба всегдашние враждебные лагеря, оба противника старой Европы за главенство в ней, в одно и то же время (или почти), схватываются и исполняют очень схожую между собою задачу. Новая, еще мечтательная грядущая формула крайнезападного мира, то есть обновление человеческого общества на новых социальных началах, — эта формула, почти всё наше столетие провозглашавшаяся лишь мечтателями, науч-

ными представителями ее, всякими идеалистами и фантазерами, вдруг в последние годы изменяет свой вид и ход своего развития и решает: оставить пока теоретическое определение и воссоздание своей задачи и приступить прямо, прежде всяких мечтаний, к практическому шагу задачи, то есть прямо начать борьбу, а для того — положить начало соединению во единую организацию всех будущих бойцов новой идеи, то есть всему четвертому, обойденному в 1789 году сословию людей, всем неимущим, всем рабочим, всем нищим, и, уже устроив это соединение, поднять знамя новой и неслыханной еще всемирной революции.

Явились Интернационалка, международные сношения всех нищих мира сего, сходки, конгрессы, повые порядки, законы, — одним словом, положено по всей старой Западной Европе основание новому *status in statu*, грядущему поглотить собою старый, владычествующий в краинезападной Европе порядок мира сего. И вот, в то время как это совершалось у противника, гений Германии понял, что и германская задача, прежде всякого дела и начинания, прежде всякой попытки нового слова против перевоплотившегося из старой древнекатолической идеи противника, — за кончить собственное политическое единение, завершить воссоздание собственного политического организма и, воссоздав его, тогда только стать лицом к лицу с вековечным врагом своим. Так и случилось: завершив свое объединение, Германия бросилась на противника и вступила с ним в новый период борьбы, начав ее железом и кровью. Дело железом кончено, теперь предстоит его кончить духовно, существенно. И вот вдруг теперь для Германии является новая забота, новый неожиданный поворот дела, страшно усложняющий задачу. Какая же это задача и в чем этот новый поворот дела?

II. ОДИН ГЕНИАЛЬНО-МНИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Эта задача, эта новая *внезапная* забота Германии, если хотите, давно уже просилась наружу, а теперь всё дело в том, что она слишком уж вдруг выскочила на вид вследствие внезапного клерикального переворота во Франции. Формулировать ее можно отчасти в виде такого сомнения: «Да объединился ли, полно, германский организм в одно целое, не раздроблен ли он, напротив, по-прежнему, несмотря на гениальные усилия предводителей Германии за последние двадцать пять лет, — мало того: объединился ли он хотя бы только лишь политически, не мираж ли и это, несмотря на франко-прусскую войну и провозглашенную после нее новую неслыханную прежде германскую империю?» Вот этот мудреный вопрос.

Вся мудреность этого вопроса заключается, главное, в том, что его, почти до самого последнего времени, не предполагали даже и существующим, по крайней мере среди огромнейшего большин-

ства германцев. Самоупоение, гордость и совершенная вера в свое необъятное могущество чуть не опьянили всех немцев поголовно после франко-германской войны. Народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до странности часто побеждаемый, — этот народ вдруг победил такого врага, который почти всех всегда побеждал! А так как ясно было, что он и не мог не победить вследствие образцового устройства своей бесчисленной армии и своеобразного пересоздания ее на совершенно новых началах, и, кроме того, имея столь гениальных предводителей во главе, то, разумеется, германец и не мог не возгордиться этим до опьянения.¹⁰ Тут уж нечего брать в соображение всегдашнюю самодовольную хвастливость всякого немца — исконную черту немецкого характера. С другой стороны, из так недавно еще раздробленного политического организма вдруг появилось такое стройное целое, что германец не мог и тут усомниться и вполне поверил, что объединение завершилось и что для германского организма наступил новый, блестящий и великий фазис развития. Итак, не только явилась гордость и шовинизм, по явилось почти легкомыслие; и уж какие тут могли быть вопросы — не только для какого-нибудь воинственного лавочника или сапожника, но даже для профессора²⁰ или министра? Но, однако же, все-таки оставалась кучка немцев, очень скоро, почти сейчас же после франко-пруссской войны, начавших сомневаться и задумываться. Во главе замечательнейших членов этой кучки, бесспорно, стоял князь Бисмарк.

Еще не успели выйти германские войска из Франции, как он уже ясно увидел, что слишком мало было сделано «кровью и железом» и что надо было, имея перед собою таких размеров цель, сделать, по крайней мере, вдвое больше, пользуясь случаем. Правда, военных выгод осталось всё же безмерно больше на стороне Германии, и это еще надолго. Франция, после уступки Эль-³⁰ заса и Лотарингии, стала такой маленькой, по земельному объему, страной для великой державы, что одно или два удачных для Германии сражения, в случае новой войны, и германские войска тотчас же будут в центре Франции, и в стратегическом отношении Франция пропала. Но, однако, верны ли победы, можно ли надеяться на эти два победоносные сражения наверно? В франко-прусскую войну немцы победили-то собственно ведь не французов, а только Наполеона и его порядки. Не всегда же во Франции будут войска, столь плохо устроенные и командуемые, не всегда же будут и узурпаторы, которые, нуждаясь в своих⁴⁰ генералах и чиновниках из династических интересов, принуждены будут допускать у себя такие плачевые упущения, при которых не может существовать правильное войско. Не всегда же будет повторяться п Седан, ибо Седан в сущности только случай и вышел лишь потому, что Наполеону нельзя уже было воротиться в Париж императором иначе, как по милости короля Пруссского. Не всегда тоже будут и столь мало даровитые генералы, как Мак-Магон, или такие изменники, как Базен. Опьяниенные столь не-

слыханным для них торжеством, немцы, конечно, все до единого, могли уверовать в то, что это всё они сделали, одними своими талантами, но в сомневающейся кучке могли думать иное, особенно после того, когда побежденный враг, еще столь расстроенный и потрясенный, вдруг уплатил три миллиарда контрибуции разом и не поморщился. Это, уж конечно, очень огорчило князя Бисмарка.

С другой стороны, для сомневающейся кучки предстоял и другой вопрос, может быть, еще важнейший: совсем ли завершилось политическое и гражданское объединение внутри организма? Для всех почти в Европе, и, кажется, в особенности у нас в России, в этом доселе еще никто не сомневался. Вообще мы, русские, приняли всё то, что приключилось в последние десять—пятнадцать лет в Германии, за нечто уже окончательное, в высшей степени не случайное, а натуральное, за такое, что уже и не должно изменяться. Совершившиеся факты нам внушили необыкновенное почтение. А между тем в глазах столь гениальных людей, как князь Бисмарк, вряд ли всё, чему следовало, принял свою окончательную прочность. То, что может казаться теперь прочным, то, может быть, всего только еще фантазия. Трудно предположить, чтобы столь долгая привычка к политическому разъединению исчезла у немцев так вдруг, как выпитый стакан воды. Немец упорен уже по своей природе. Нынешнее поколение немцев к тому же было подкуплено успехами, опьянено гордостью и сдержано железной рукой предводителей. Но в весьма, может, недалеком будущем, когда эти предводители отойдут в другой мир и уступят место другим, поднимутся, может быть, прижатые на время вопросы и инстинкты. Весьма тоже вероятно, что тогда утратится энергия первого порыва соединения, напротив, возродится вновь энергия оппозиции, которая и пошатнет то, что было сделано. Явится стремление к распадению, к обособлению, и именно тогда, когда на Западе уж совсем оправится от удара страшный враг, который и теперь уже не спит и не дремлет, и даже известно с чего начнет. А тут вдобавок и самый, так сказать, закон природы: Германия ведь все-таки в Европе страна *серединная*: как бы она ни была сильна — с одной стороны Франция, с другой Россия. Правда, русские пока вежливы. Но что если они вдруг догадаются, что не они нуждаются в союзе с Германией, а что Германия нуждается в союзе с Россией; мало того: что *зависимость от союза с Россией есть, по-видимому, роковое назначение Германии, с франко-прусской войны особенно*. То-то и есть, что в слишком сильную почтительность России даже и такой убежденный в своей силе человек, как князь Бисмарк, не в состоянии верить. Правда, до последнего внезапного приключения во Франции, изменившего вдруг весь вид дела, князь Бисмарк всё еще надеялся, что чрезвычайная вежливость России еще надолго непоколебима, и вот вдруг это приключение! Одним словом, случилось нечто необычайное.

Необычайное для всех, но не для князя Бисмарка! Теперь оказалось, что гений его всё это «приключение» предвидел заранее. Не гений ли его, скажите, не гениальный ли глаз его подметил главного врага столь задолго? Почему именно он так возненавидел католицизм, почему он так гнал и преследовал всё, что происходило из Рима (то есть от папы), — вот уже столько лет? Почему он так дальновидно озабочился заручиться итальянским союзом (так можно выразиться), — как не для того, чтобы с помощью итальянского правительства раздавить папское начало в мире, когда придет срок выбирать нового папу. Не католическую веру он гнал, а римское начало этой веры. О, без сомнения, он действовал как немец, как протестант, он действовал против основной стихии крайнезападного, всегда враждебного Германии мира, по всё же очень и очень многие из гениальнейших и либеральных мыслителей Европы смотрели на этот поход великого Бисмарка против столь ничтожного папы, как на борьбу слона с мухой. Иные объясняли всё это даже странностью гения, капризами гениального человека. Но дело в том, что гениальный политик сумел оценить, может быть единый в мире из политиков, как сильно еще римское начало само в себе и среди врагов Германии и каким страшным цементом может опо послужить в будущем для соединения всех этих врагов воедино. Он сумел догадаться, что, может быть, у одной лишь римской идеи может найтись такое знамя, которое в роковую (а в глазах Бисмарка и неизбежную) минуту сплотит всех уже раздавленных им врагов Германии опять в одно страшное целое. И вот гениальная догадка вдруг оправдалась: все партии в побежденной Франции, из тех, которые могли начать движение против Германии, — все эти партии были раздроблены, ни одна из них не могла восторжествовать и захватить во Франции власть. Соединиться тоже они никак не могли, имея каждая в виду противоположные цели задач своих, — и вот знамя папы и иезуитов соединяет всё. Враг восстал, и враг этот уже не Франция, а сам папа. Это папа, предводительствующий всем и всеми, кому завещана римская идея, и идущий броситься на Германию. Но чтобы яснее изложить случившееся, взглянем пристальнее в лагерь противников Германии.

III. И СЕРДИТЫ И СИЛНЫ

Папа умирает. Он очень скоро умрет. Всё католичество, принимающее Христа в образе римской идеи, давно уже в страшном волнении. Подходит роковая минута. Оплошать нельзя, ибо тогда уже смерть римской идеи. Может именно случиться, что новый папа, под давлением правительства всей Европы, будет избран «не свободно» и, провозглашенный папой, согласится отказаться навеки, и в принципе, от земного владения, от сана земного государя, от которого не отказался Пий IX (напротив, в самую роковую

вую минуту, когда от него отнимали и Рим, и последний кусок земли, и оставляли ему в собственность лишь один Ватикан, в эту самую минуту он, как нарочно, провозгласил свою непогрешимость, а вместе с тем и тезис: что без земного владения христианство не может уцелеть на земле, — то есть, в сущности, провозгласил себя владыкой мира, а пред католичеством поставил, уже догматически, прямую цель всемирной монархии, к которой и повелел стремиться во славу божию и Христа на земле). О, конечно, он ужасно насмешил тогда всех остроумных людей: «Сер-

10 дит да не силен, — Хлестакову брат». И вот вдруг, если новоизбранный папа будет подкуплен, если даже сам конclave, под давлением всей Европы, принужден будет войти в соглашение с противниками римской идеи, — ну, тогда ей и смерть! Ибо раз, правильно избранный, а стало быть, непогрешимый папа откажется в принципе от сана земного государя, — то, стало быть, и впредь навеки так и останется. С другой стороны, если новоизбранный конclave папа твердо и на всю вселенную объявит, что он ни от чего не хочет отказываться, а пребудет в прежней идее вполне и начнет с анафемой на всех врагов Рима и римского като-
20 личества, то тогда правительства Европы могут его не признать, а стало быть, и в этом случае может произойти такое роковое потрясение в римской церкви, последствия которого могут быть неисчислимы и непредвидимы.

О, не правда ли, что для политиков и дипломатов почти всей Европы — всё это весьма смешно и ничтожно! Папа, поверженный и заключенный в Ватикане, представляя собою, в последние годы, в их глазах такое ничтожество, которым стыдно было и заниматься. Так размышляли чрезвычайно многие передовые люди Европы, особенно из остроумных и либеральнейших. Папа, из-
30 дающий аллокуции и силлабусы, принимающий богомольцев, проклинающий и умирающий, в глазах их похож был на шута для их увеселения. Мысль о том, что огромнейшая идея мира, идея, вышедшая из главы диавола во время искушения Христова в пустыне, идея, живущая в мире уже органически тысячу лет, — эта идея так-таки возьмет и умрет в одну минуту — эта мысль принималась за несомненную. Ошибка, конечно, тут заключалась в религиозном значении этой идеи, в том, что два значения были перемешаны вместе: «Так как-де редко кто теперь верит на свете в бога, особенно по римскому толкованию, а во Франции так даже
40 не верит в него и народ, а разве одно только высшее сословие, да и то не верит; а только ломается, — то, стало быть, какую же силу могут иметь, в наш образованный век, папа и римское католичество?» — вот в чем уверены даже и теперь остроумные люди. Но идея религиозная и идея папская в сущности различны. Вот эта-то папская идея вдруг в наши дни, всего только два месяца назад, разом проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франции радикальнейший политический переворот, на-деля на всю Францию узду и рабски повлекла ее за собой.

Во Франции за последние годы образовалось парламентское большинство из республиканцев, и вели они свои дела порядочно, чисто, спокойно, без потрясений. Улучшили армию, дали для нее громадные суммы не споря, но и не думали о войне, и все понимали, и во Франции и в Европе, что если есть вполне миролюбивая партия, то, уж конечно, это они, республиканцы. Предводители их отличались сдержанностью и необычным еще у них благородствием. В сущности, однако, всё это люди отвлеченные и идеалисты. Это давно уже отпетые и ужасно бессильные люди. Это либеральные, седые, но молодящиеся старички, воображающие себя всё еще молодыми. Они остановились на идеях первой французской революции, то есть на торжестве третьего сословия, и в полном смысле слова суть воплощение буржуазии. Это совершенство та же июльская монархия, но с тою лишь разницей, что она называется республикой и что нет короля (то есть, уж разумеется, «тирана»). Всё, что они внесли нового, — это провозглашение в 1848 году всеобщей подачи голосов, которого так боялось июльское королевское правительство и из которого не только не вышло ничего опасного, а, напротив, очень даже много, для буржуазии, полезного. Очень тоже пригодилась потом эта идея правительству Наполеона III. Но старички удовлетворены были ею в высшей степени, и их, как детей, тешит, что они республиканцы. Слово «республика» у них что-то комически-идеальное. Казалось бы, эта невинная партия могла вполне удовлетворить Францию, то есть городскую буржуазию и землевладельцев. Но оказалось папротив. В самом деле, почему республика всегда казалась во Франции правительством неблагонадежным. И если республиканцы не были всегда ненавидимы, то всегда были презиримы за бессилие их огромным большинством буржуазии. Если не прямо презиримы, то всегда не уважаемы. Народ тоже в них почти никогда не верил. Дело в том, что каждый раз, с воцарением во Франции республики, всё во Франции как бы теряло свою прочность и самоуверенность. Всегда до сих пор республика была лишь какой-то временной срединой — между социальными попытками самого страшного размера и каким-нибудь, иногда самым наглым, узурпатором. И так как это почти всегда случалось, то так и привыкло на нее смотреть общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда все начинали чувствовать себя как бы в междуцарствии, и как бы благородумно ни правили республиканцы, но буржуазия всегда при них уверена, что рано ли, 40 поздно ли, а грянет красный бунт или опять наступит какая-нибудь монархия. Кончилось тем, что монархическое правление буржуазия полюбила гораздо больше, чем республику, несмотря даже на то, что монархия, как, например, Наполеона III, выражала даже как бы попытки войти в соглашение с социалистами, тогда как уж никто на свете не может быть враждебнее социалистам, как чистые республиканцы: для республиканцев было бы только слово республика, а социалисты ищут не слова, а одного лишь

дела. По принципам социалистов всё равно — республика, монархия ли, французы ли они будут или станут немцами, и, право, даже если б вышло как-нибудь так, что им мог бы пригодиться сам папа, то они провозгласили бы и папу. Они прежде всего ищут *своего дела*, то есть торжества четвертого сословия и равенства в распределении прав в пользовании благами жизни, а под каким знаменем — это уж как там придется, всё равно, хоть под самым деспотическим.

Замечательно, что князь Бисмарк ненавидит социализм не
меньше папства и что германское правительство, в самое последнее время особенно, стало как-то слишком бояться социалистической пропаганды. Без сомнения, это потому, что социализм обезличивает национальное начало и подъедает национальность в самом корне, а принцип национальности есть основная, есть главная идея всего германского объединения, всего того, что совершилось в Германии в последние годы. Но очень может быть, что князь Бисмарк смотрит еще глубже, а именно: социализм есть сила грядущая для всей западной Европы, и если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что всё, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник. Римскому католичеству (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владычество: «Вам-де надо единение против врага — соединитесь под мою властью, ибо я один *всемирен* из всехластей и властителей мира, и пойдем вместе». Эту картину, вероятно, предвидит князь Бисмарк, ибо лишь он один из всех дипломатов возымел настолько зоркий взгляд, чтобы провидеть живучесть римской идеи и всю ту энергию, с которой она готова себя отстоять, не различая уже средств. Жить ей хочется адски, а убить ее трудно, это змея! — вот что понимает во всей силе один лишь князь Бисмарк — главный враг папства и римской идеи!

Но молодящиеся старички, французские республиканцы, этого не в состоянии были понять. Клерикалов они ненавидели из одного уже либерализма, но считали папу бессильным и презренным, а римскую идею совсем отжившую. Они не догадались даже ужиться с страшною клерикальною партиею, хотя бы только политически, чтоб придать себе больше крепости. По крайней мере, они могли бы не раздражать пока клерикалов, не затрагивать их, с таким нарочным задором, и даже могли бы пообещать некоторое содействие в ближайшем будущем при выборе нового папы. Но они именно сделали всё противоположное — или от идеальной честности своих убеждений, или просто по легкомыслию. Последнее время они особенно стали гнать клерикалов, и как раз в ту минуту, когда папству лишь только и оставалась что

одна Франция как поддержка, иначе выходил страшный план смерть папству вместе с Пием IX-м. Ибо кто, в случае нужды, мог бы в Европе обнажить меч за «свободу» избрания папы и за свободу избранного папы? Да и меч этот должен быть сильный и могучий. Другого выбора не оставалось кроме Франции и ее миллионной армии. И вот Франция-то и во главе врагов! Правда, маршал Мак-Магон послушел, но он в тисках и выпутаться сам не умеет: большинство палаты республиканско и либеральное, и ни одна из партий не в силах заместить его. Одним словом, сковать республиканско большинство невозможно, и вот вдруг ¹⁰ клерикалы — эти презираемые и бессильные клерикалы — выручают маршала Мак-Магона и проявляют на весь мир такое могущество, какого никто от них не ожидал более. Они дают знать партиям, что им можно соединиться лишь под клерикальным знаменем, и те, пораженные очевидностью, разом с ними соглашаются. В самом деле: и у легитимистов, и у бонапартистов самый главный и ближайший враг их — всё это же республиканско большинство. Если каждая из этих партий будет работать для себя порознь, то ничего не достигнет, а, соединившись вместе, эти партии могут составить силу, и всё побороть, и республиканцев разогнать. А там уже, когда раздавят республику, можно будет каждой партии позаботиться о себе, и, уж разумеется, каждая из них тем больше будет иметь шансов на успех, чем больше она угодит клерикалам. Клерикалы всё это рассчитали математически, соединение произошло, и клерикальное большинство сената разрешило Мак-Магону разогнать республиканцев.

IV. ЧЕРНОЕ ВОЙСКО. МНЕНИЕ ЛЕГИОНОВ КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Проявив такую внезапную силу и ловкость, клерикалы несомненно пойдут далее: они объявят в решительную для себя ми- ³⁰ путу войну Германии — и вот что немедленно понял князь Бисмарк! Главное они уже сделали: Мак-Магон уже согласился бросить Францию в политику приключений. Им ли остановиться перед дальнейшим? Не жалеть же им Францию; Франция как и всё на свете им пушка, пока лишь может приносить им пользу. О, они бы могли ее пожалеть: эта страна — единственная их надежда и служила им столько веков! Но теперь именно пришла для них самая роковая минута в целое тысячелетие, и коль подвернулась Франция, — то отчего же не высосать из ее соки, хотя бы до убийства ее, и не рискнуть самым ее существованием? Надо взять у нее всё, что она может дать, а главное, нельзя мешкать ни минуты: немного позже и для них будет несомненно поздно. Так что именно теперь надобно попробовать отбить Бисмарка, ибо если кто будет вредить при избрании папы, то, уж конечно, он. А вдобавок, Бисмарк имел по в эту минуту как нарочно один, без

союзников: Россия (вся надежда его) — занята теперь на Востоке. Наконец, если удастся смирить Бисмарка, хотя бы даже на время, то надо как можно скорей и заранее положить основание будущему: надо воспользоваться удавшимся моментом и, раз навсегда, создать из Франции уже прочную для себя союзницу, на всё готовую и послушную, а для того произвести в ней переворот уже серьезный, радикальный и вековой. Без сомнения, во всем этом много риску, но колебаться могут другие, а не отцы иезуиты. Главное в том, что им и нет другого выбора в данный момент,

10 как рисковать и рисковать... Ограничиться одним совершившимся во Франции клерикальным переворотом, без войны с Германией и без серьезной революции во Франции, им положительно невозможно. Дела их именно дошли до такого положения. Им надо всё или ничего, если же взять мало, ограничиться каким-нибудь там влиянием в правительстве, то всё равно это не принесло бы им ни малейшей пользы, ибо нужды-то их теперь большие! А потому они и должны решиться на самый открытый и наглый риск, ибо им надо взять весь va-banque. Если, на случай, риск не удастся и Францию, например, немцы победят и раздавят 20 опять, то ведь всё равно — им, клерикалам, хуже того, как теперь (то есть если б они сидели смирино и не начинали переворота), не будет: они останутся при том же, при чем были до начала «приключений», то есть в состоянии сквернейшем, но которое ухудшиться уже не может. Франция другое дело: если побеждена будет опять, то несомненно погибнет. Но таков ли иезуиты народ, чтоб пред этим остановиться: они знают, что если победит Франция, то они получат всё, и уж до того укрепятся во Франции, что их не выведешь. А для этого у них есть свои особые средства, во Франции еще неслыханные.

30 Всякие другие революционеры, даже из самых ярых или красных, производя переворот, всё же сообразуются, хоть отчасти, с чем-то общим, прежде данным и даже законным. Революционеры же иезуиты не могут действовать законно, а именно необычайно. Эта черная армия стоит вне человечества, вне гражданства, вне цивилизации и исходит вся из одной себя. Это *status in statu*, эта армия папы, ей надо лишь торжества одной своей идеи, — а затем пусть гибнет всё, что на пути ей мешает, пусть гибнут и вянут все остальные силы, пусть умирает всё не согласное с ними — цивилизация, общество, наука! Им несомненно необходимо обработать Францию в новом и уже окончательном виде, если случай будет на их стороне, и вымести из нее весь сор уж таким помелом, о каком до сих пор никто и не слыхивал, с тем чтоб и не пахло больше никаким сопротивлением, и дать стране новый организм, под строжайшей опекой иезуитов, на веки вечные.

Всё это с первого взгляда может показаться весьма нелепым. Во французских газетах (и в наших) все благонамеренные люди сплошь уверены, что клерикалы непременно сломают себе ногу на следующих выборах во французскую палату. Французские

республиканцы, в искренности душевной, совершенно тоже убеждены, что вся activité dévorante¹ новоразосланных префектов и мэров ровно ничего не добьется, а будут выбраны всё прежние республиканцы, которые и составят прежнее большинство и немедленно скажут veto всем замыслам Мак-Магона; затем клерикалы будут выгнаны, а может быть, и сам Мак-Магон вместе с ними. Но уверенность эта весьма неосновательна, и наверно клерикалы на этот счет не слишком-то озабочены. Дело именно в том, что наивные и чистые сердцем старики всё еще, несмотря на долгий опыт, не понимают, кажется, в полной силе, с каким на- 10 родом они имеют дело. Ибо чуть-чуть выборы окажутся для клерикалов невыгодными, то они разгонят и новую палату, несмотря на все конституционные и законные права ее. Возразят мне, что это будет незаконно, а потому невозможно. Это так, но ведь что им законы, этой черной армии? Они паверно (и есть уже факты, о том свидетельствующие) внушат столь послушному маршалу Мак-Магону отчаянную решимость употребить в дело одно средство такое, которое и во Франции еще ни разу не было употреблено, именно: *военный деспотизм*. Воскликнут, что это старое средство, что его уже несколько раз употребляли, например, На- 20 полеоны! И, однако, я осмелюсь заметить, что всё это было не то: это средство, *во всей его откровенности, действительно* не употреблялось во Франции еще ни разу. Маршал Мак-Магон, заручившись преданностью армии, может разогнать новое грядущее собрание представителей Франции, если оно пойдет против него, просто штыками, а затем прямо объявить всей стране, что *так захотела армия*. Как римский император упадка империи, он может затем объявить, что отныне «будет сообразоваться лишь с мнением легионов». Тогда настанет всеобщее осадное положение и военный деспотизм, — и вот увидите, увидите, что это ужасно мно- 30 гим во Франции понравится! И поверьте, что если будет надобность, то явятся и плебисциты, которые *большинством голосов* *всей Франции* позволят войну и дадут потребные деньги. В недавней речи своей к войскам маршал Мак-Магон говорил именно в этом смысле, и войска приняли его весьма сочувственно. Сомнений нет, что армия больше на его стороне. К тому же теперь он уже так далеко зашел, что ему и нельзя остановиться, иначе он никак не останется на своем месте, тогда как вся его политика и весь он выражаются в одном слове: «*J'y suis et j'y reste*»; то есть: «Сел и не сойду». Дальше этой фразы он, как известно, не пошел 40 и, уж конечно, для торжества этого тезиса рискнет, пожалуй, даже существованием Франции. Готовность к подобному риску он уже раз доказал в франко-прусскую войну, когда, под влиянием бонапартистов, решился сознательно лишить Францию ее армии из преданности к династии Наполеона. Клерикалы же наверно обеспечили ему его *«J'y suis et j'y reste»*. Раз соединив партии

¹ бешеная активность (*франц.*).

под своим знаменем, то есть бонапартистов и легитимистов, они наверно уже сумели ловко указать Мак-Магону, что ведь в случае нужды можно и совсем обойтись без Шамбара и без Бонапарта, и вовсе не надо будет их призывать, ни в каком даже случае, а просто бы самому ему, маршалу Мак-Магону, оставаться диктатором и бессменным правителем, то есть уж не на семь лет, а на-
всегда. Вот таким образом и осуществляется тезис «J'y suis et j'y reste», — было бы только согласие армии; согласие же Франции впоследствии неминуемо, ибо твердая диктаторская рука, во главе
10 власти, очень и очень многим придется по вкусу. Подобные льстивые указания наверно уже были произнесены. Может быть, усомнится в том, что такой человек, как Мак-Магон, может всё это предпринять и исполнить. Но, во-первых, он первую половину дела предпринял и исполнил, и половину, нисколько не легчайшую относительно проявления решимости, чем вторая будущая. А во-вторых, — вот такие-то именно люди, сами по себе вовсе не предприимчивые, если вдруг подпадут под чье-нибудь верховное и решительное влияние, то могут обнаружить огромную и роковую решимость, — и не то чтобы от большого гения, а именно от
20 противоположной причины. Главное, тут не соображение, а просто толчок, и если уж их раз хорошенко толкнуть, то они и прут в одну точку, до тех пор пока или пробьют лбом стену, или сломают себе рога.

V. ДОВОЛЬНО НЕПРИЯТНЫЙ СЕКРЕТ

Всё это совершенно понимают в Германии. По крайней мере, все официозные органы печати, находящиеся под влиянием князя Бисмарка, прямо уверены в неминуемой войне. Кто па кого бросится первый и когда именно — неизвестно, но война очень и очень может загореться. Конечно, гроза может еще пройти мимо. Вся
30 надежда, если маршал Мак-Магон вдруг испугается всего, что взял на себя, и остановится, как некогда Аякс, в недоумении среди дороги. Но тогда он сам рискует погибнуть, и невероятно, чтоб он не понимал этого. А шанс недоумения среди дороги хоть и возможен, но вряд ли на него можно твердо полагаться. Пока князь Бисмарк следит за всем, что происходит во Франции, с лихорадочным вниманием; он наблюдает и ждет. Для него гроза именно в том, что не в тот момент началось это дело, как он ожидал. Теперь же связаны руки. Всего же хлопотливее то, что открылись болячки, которые до сих пор тщательно прятались. Про
40 главную болячку всех немцев я уже говорил, — это боязнь, что Россия вдруг догадается о том, как она могущественна и какую силу может иметь теперь, именно в настоящий момент, ее решающее слово, а главное — что «зависимость от союза с Россиею есть, по-видимому, роковое назначение Германии, особенно с франко-прусской войны». Этот немецкий секрет может вдруг те-

перь обнаружиться — и для немцев будет это конфузио. Как ни искренно приязненна к нам была политика Германии за последние годы, но секрет-то все-таки соблюдался всеми немцами. Особенно печать действовала в этом смысле. До сих пор немцы всегда имели спокойный и гордый вид, прямо свойственный могуществу, не нуждающемуся ни в чьей помощи. Но теперь, конечно, слабое место должно выйти паружу. Ибо если клерикальная Франция решится на роковую борьбу, то Францию мало уже просто победить или лишь отбить ее нападение, если она первая бросится, а надо уж навеки ее обессилить, так-таки придавить, пользуясь 10 случаем, — вот задача! А так как у Франции к тому же миллион с лишком войска, то чтоб дело это покончить наверно, надо несомненно обеспечить его, иначе нечего и приниматься. А обеспечения другого нет, как заручиться решающим словом России. Одним словом, неприятнее всего, что всё это выходит так внезапно. Все прежние расчеты спутались, и теперь уже события командуют расчетами, а не расчеты властвуют над событиями. Франция может начать сегодня-завтра, лишь чуть-чуть управится у себя внутри. Она бросилась в политику приключений, что для всех очевидно, а если так, то где приключения остановятся, где пх 20 стена и граница? Это очень неприятно: так еще недавно немцы имели такой независимый вид, и особенно в последний год. Вспомним, что в этот год и Россия старалась рассмотреть в Европе друзей своих, и немцы знали про заботы России и имели самый приличный слушаю торжественный вид. Конечно, всякое славянское движение всегда несколько Германию беспокоило, но можно даже прямо сказать, что в объявлении Россией войны два месяца назад даже, может быть, заключалось для Германии нечто почти приятное: «Нет, уж теперь-то они никак не догадаются», — думали в Германии два месяца назад, — что это мы в них нуждаемся, 30 теперь они, напротив, стоя перед Дунаем — „немецкой рекой“, вполне убеждены, что сами они ужасно в нас нуждаются и что в конце войны не обойдется без нашего веского слова. И это хорошо, что русские так думают, это нам в будущем пригодится». Сомнений нет, что наверно об нас так думали весьма многие тонкие немцы; вся печать ее так думала и писала и — вдруг теперь это клерикальное настроение все переворотило на другую сторону: «О, теперь они догадаются, теперь обо всем догадаются! А кроме того, надо, чтоб Россия как можно скорее кончила на Востоке и освободилась. Но оказать па нее давление весьма певыгодно. Разве 40 сама испугается Англии и Австрии, но вряд ли. Соединиться же с Англией и Австрией для давления на Россию — нечего и думать: они потом не помогут, а Россия рассердится. Странное положение! Уж не помочь ли России, чтоб она кончила поскорее? Это можно сделать, и не обнажая меча, а лишь давлением политическим, на Австрию например...», — вот как раздумывают теперь те же политики, и очень, очень может случиться, что всё это так именно и есть в самом деле.

Одним словом, мне хотелось высказать лишь мое убеждение, мою веру, что Россия не только сильна и могущественна, как всегда была, но теперь, особенно теперь, она самая сильная из всех стран Европы, и что никогда ее решающее слово не могло цениться в Европе так веско, как в данный момент. Пусть Россия сама занята на Востоке, но одно лишь решающее слово ее па весах европейской политики может покачнуть теперь весы по ее воле и желанию. Конечно, и сама Англия теперь понимает, что ввиду *возможности* весьма хлопотливых новых событий в крайне-
10 западной Европе — и она, пожалуй, потеряет в глазах русских две трети своего престижа и что поймут же цаконец даже самые мительные из русских, что она отнюдь не рискует на войну в случае сильной решимости России продолжать свое дело и скорее станет рассчитывать на дежур наследства после «большого человека», чем решится начать открытую войну за него в такую и без того хлопотливую минуту в Европе. В самом деле, случись так, что и впрямь что-нибудь разыграется в Западной Европе неожиданное и роковое, то никогда Англия не решится слишком всесильно ввязаться в такое хлопотливое дело, столь несходное с обычным характером ее интересов, и уж наверно примет лишь зорко наблюдательное положение, выжидая, по обычаю своему, удобный момент, когда можно будет пронюхать где-нибудь какой-нибудь дежур добычи, чтобы немедленно к нему примазаться. Затевать же теперь (то есть до окончания разъяснений крайнезападных событий) с Россиею что-нибудь слишком серьезное будет уж слишком для нее не расчетливо. С другой стороны, Австрия, оставшись одна — что может сделать? Да и невероятно, чтобы клерикальное усложнение дела в крайнезападной Европе не смущило и ее хоть отчасти. И она, конечно, ждет, как и все, дальнейшей развязки событий, так что и у ней, как у всех, отчасти связаны руки. У всех связаны, а у одной России только распутаны. Вот уж и разыгралось, значит, нечто *непредвиденное* в нашу пользу. Ну как не рассчитывать на *непредвиденное* в решении судеб человеческих?
30

Миром управляет бог и законы его, и если и впрямь разразится над Европой что-либо новое и усложненное, то, значит, рано ли, поздно ли, а тому непременно надо было совершиться. Но дай бог, чтобы я ошибся, дай бог, чтобы новая грядущая туча рассеялась и все предчувствия мои оказались лишь «пылкими» моими же фантазиями — фантазиями ничего не понимающего в политике 40 человека. Всё дело в том: правы ли все официозные органы печати в Германии, ожидающие и пророчащие войну? С другой стороны, министры Мак-Магона изо всех сил, прежде всяких обвинений, уверяют французов и весь свет, что Франция не начнет войны. Согласитесь, что всё это, по крайней мере, подозрительно и что разрешение сомнений может последовать, уже по самому ходу дела, весьма и весьма в непродолжительном времени. Но что если так много теперь зависит от «мнения легионов»? Худо, если до того дойдет; тогда конец Франции. Впрочем, с ней только

с одной это и может случиться, и ни с кем больше в целом мире. Но дай бог, чтоб и с ней не случилось: начин нехорош, пример будет очень уж нехорош.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I. ЛЮБИТЕЛИ ТУРОК

А ведь у нас теперь объявились довольно много любителей турок, — конечно, по поводу войны с ними. Прежде я не помню ни разу во всю мою жизнЬ, чтобы кто-нибудь начинал разговор с тем, чтоб восхищаться турками. Теперь же очень часто слышу про их защитников и даже сам встречался с такими, и очень ¹⁰ даже горячатся. Тут, разумеется, потребность отличиться оригинальностью. Но вот, однако же, любители ученые, учителя, профессора.

— Мусульманский мир внес в христианский науку. Христианский мир потопал во мраке невежества, когда у арабов уже сияла наука.

Тут, видите ли, причиною невежества христианство. Тут Бокль, тут даже Дрепер. Выходит, стало быть, обратно, что мусульманство есть свет, а христианство начало тьмы. Какая уединенная логика! Оттого-то, вероятно, магометанство так и просвещено ²⁰ в настоящее время сравнительно с христианством. Что ж они свой светоч-то потушили так рано!

— Да, но у них, однако, монотеизм, а у христиан...

Это превознесение мусульман за монотеизм, то есть за чистоту учений о единстве божием, будто бы высшую сравнительно с учением христианским, — это конек очень многих любителей турок. Но тут главное в том, что эти любители порвали с народом и не понимают его. Разорвав с пародом, они успели уже составить себе иные удивительные понятия о том, что у русского простолюдина происходит в голове. Между тем у русского простолюдина, «ни- ³⁰ чего не смыслящего в деле веры и не знающего молитв», — как привыкли говорить о нем, — весьма часто, если не всегда, составляется, однако, в уме и в душе весьма своеобразное, но *верное* и строгое и вполне удовлетворяющее его убеждение о том, во что он верует, хотя в то же время, конечно, редкий из простолюдинов сумеет изложить свою верований словами отчетливо и в последовательности. Этому, порвавшему с народом, «интеллигентному» русскому удивительно было бы услышать, что этот безграмотный мужик вполне и незыблемо верует в божие единство, в то, что бог един и нет другого бога, такого, как он. В то же время русский мужик знает и благоговейно верует (всякий русский мужик это знает), что Христос, истинный бог его, родился от бога отца и воплотился от девы Марии. Прежде всего интеллигентный русский, порвавший с пародом, не захочет допустить даже возмож-

ности того, чтоб русский мужик, ничему не учившийся, мог иметь такие знания: «Он так необразован, так темен, его ничему не учат, где его учитель?» Он не поймет никогда, что учитель мужика «в деле веры его» — это сама почва, это вся земля русская, что верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце его вместе с жизнию. Но всего невероятнее иному русскому мыслителю то, как может русский простолюдин не сбиться в своих понятиях! Сам давно уже утратив всякое понятие о том, что такое непосредственная великая теплая вера народа, он уже 10 не может допустить, чтоб, благоговейно веря в великую христианскую тайну воплощения сына божия, простолюдин мог в то же время оставаться при самом строжайшем монотеизме. Скорее же он припишет эту твердость столь *непосредственных* убеждений русского простолюдина — непривычке размышлять, привычке к путанице понятий от лености и отупения мысли, от отсутствия всякой критики в уме его; «плачевное» же состояние ума его припишет забитости, нужде, разврату, крепостному состоянию и проч. На том и стоит русский ученый, *изучающий* русский народ. Совершенно тем же процессом могло произойти и осуждение правоведных русских за поклонение, например, иконам. Иной лютеранский пастор ни за что не может попять, как можно, веруя в истинного бога, поклоняться в то же время «доске», изображению святого, и допустить, чтоб из этого не вышло идолопоклонства. Русский интеллигентный человек всегда чаще согласен в этом суждении с пастором. Между тем пет *ни одного* русского мужика или бабы, которые, поклоняясь иконе, в то же время *хоть сколько-нибудь* смешивали «доску» с самим богом, несмотря на то, что православный парод в то же время верует в чудотворность иных икон. Но нет *ни одного русского*, который чудотворную силу иконы 20 приписал бы самой иконе, а не соизволению божию. А это уже совсем другое. Вот этого-то воззрения русского простолюдина ни пастор, ни разорвавший с народом русский ни за что не допустят, да и не поверят, что так оно есть.

Вспомнили бы, однако, Магометов рай, чтобы уже совсем восполнить свое убеждение о чистоте турецких понятий о единстве божием. Всё это я, разумеется, говорю не затем, чтоб затеять с почитателями турецкого монотеизма богословский спор, и, уж конечно, не затевал его. Ведь почитатели эти хлопочут больше о *здравых* понятиях народа, а самим-то им, пожалуй, и всё равно, 30 кто бы как ни верил. Вот потому-то я и свел этот вопрос лишь на народное о нем понятие.

II. ЗОЛОТЫЕ ФРАКИ. ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ

Кроме любителей турок объявились очень много людей с потребностью *особливого мнения*: «Всё вздор, нет никакого движения; адресы вздор, это не по-русски; санитарные отряды вздор,

это не по-русски. Сантиментальничание. Славян выдумали, болгар выдумали, турки лучше болгар, всё вздор. Я люблю турок...»

Это не то что из каких-нибудь злоказательно-тонких видов высшей политики. «Высшая политика» у нас есть, это бесспорно, но эти — эти просто самолюбие. Самолюбие в двух видах: или до крайности придавленное, а вследствие того и непременная потребность пооригинальничать, чтоб отличиться и чем-нибудь заявить себя, или 2) самолюбие от необыкновенного величия. Русский «великий человек» всего чаще не выносит своего величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак, из парчи например, чтоб уж не походить на всех прочих и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился. Я уверен в том, и если до сих пор еще не видал ни одного из наших «великих» в золотом фраке, то, вероятно, потому, что портные шить не согласны. «Я всех умнее, я велик. Все они об войне *так* думают, так я не хочу так, как они, думать. Докажу, что велик...»¹⁰

Об золотом фраке, об характерно-русских социальных и психологических основаниях происхождения его, о наглядных примерах и проч. и проч. мне хочется особо поговорить, тема милая, и я, может быть, о ней не забуду. Теперь же, оставив пока золотой фрак в покое, скажу словечко о «прямолинейных». Прямолинейные бывают всякие — люди добрые и злые, умные и глупые, честные и нечестные и т. д. Их у нас очень много. Эти бывают в одну точку, и их ни за что не собьешь с этой точки: «J'y suis et j'y reste». Это наши Мак-Магоны.

Из армии доносятся известия о геройстве, о самоотверженности русских, как солдат, так и офицеров. Тут молодежь. Еще недавно было такое безверие в молодежь — в надежду нашу; многие видели в ней лишь цинизм, обвиняли ее в тупом отрицании, в холодности, в равнодушии, в тупом самоубийстве, а теперь вдруг как бы прочистился воздух: та же молодежь проявляет великодушие, жажду геройского порыва, долга, чести, жертвы. Они идут впереди солдат, они бросаются первые в опасность...

— Да, но этак сознательно бросаться на верную смерть может только пьяный или сумасшедший. Другого объяснения нельзя найти.

— Как? неужели вы не предполагаете в нем великодушного сознания, что он жертвует собою для России, служит ей...

— Кулаком.

— То есть как же? В войне надо драться. Чем же бы он мог принести пользу?

— Гм. Например, школы.

— Школы в свое время. В школы он принесет потом сознание исполненного долга, великодушное воспоминание, сближение с народом.

— Какое сближение с народом?

— В общей солидарности для общего дела. Солдат и его офицер живут теперь там единым духом и единым чувством. Интел-

лигенция роднится с народом, возвращается к нему опять и уже делом, а не теорией, научается уважать народ, из которого вышел этот солдат, и научает народ уважать себя и уже не как начальника или господина, а как человека, душевно. Недавний рассказ о простолюдине, обнявшем в слезах в Успенском соборе Чернигова, имеет значение. Вы хотите образовать народ, по вы скорее его образуете, заставив его уважать ваши идеи, ваши дела и привлекая к себе народ сердцем. Чем больше народ будет уважать людей образованных лично, тем вернее пойдет и образование народное. Таким образом, заслуживая уважение народа, вы служите уже делу образования народного, тем же школам, о которых вы так хлопочете.

— Заслужить уважение через кулак; заставить народ уважать кулак?

— Тут не один кулак, тут прежде всего великодушие, тут жертва собственною жизни на виду. На виду и смерть красна. Вы вот спрашиваете, что может заставить человека, в цвете жизни, жертвовать почти наверно жизни, и недоумеваете, — иначе ведь нельзя объяснить ваших слов о пьяном и сумасшедшем: они 20 только аллегория, способ выражения. Но что может заставить? Жажда славы, честного дела, жажда заслужить добрую известность, похвалу всех сограждан, которые все теперь следят за их делами, проявить личность, прославить имя.

— Ага, сделать карьеру!

— Но все эти чувства и побуждения великодушны. Их тысячи и всё вместе. Человек не из одного какого-нибудь побуждения состоит, человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно. Пролитая же собственная кровь и готовность пролить ее благородят даже и неблагородного до тех пор человека, налагаются на него обязанность чести на всю потом жизнь. У нас уже появились в печати опасения, что эти люди потом возьмут верх, явится самоудовлетворение, гордость, будут презирать образование, штафирок, будут буйствовать и что в общество проникнут эти идеи. Но напрасные страхи. Улита едет — когда-то будет. Как не появиться Копейкиным, «так сказать, кровь проливавшим», это правда, но ведь они только людей насмешат и себе повредят. Выгода же нравственная будет неисчислимая. Развеется тоска цинизма, явится уважение к честному подвигу...

40 — И к кулаку.

— Тут не одни кулачные бойцы, тут есть почти еще дети, чистые сердцем дети. Он только что произведен, он бросается вперед на подвиг, с мыслию о том, что скажет о нем, там, далеко, его мать, сестра, с которыми он только что простился... Неужели это только смешно и сентиментально? Наконец, почему не допустить в этих героях высшего сознания. Он понимает, что Россия взяла задачу трудную, что задача эта может и еще усложниться. Они все видят теперь, что Россия не с одной уж Тур-

цней ведет войну, что турецкими армиями руководят английские генералы, что английские офицеры возвдвигают многочисленнейшие укрепления на английские деньги, что флот английский ободряет Турцию продолжать войну, что, наконец, чуть ли не явились (в азиатской Турции) уже английские войска... Они знают всё это и бросаются почти на смерть, понимая, что пришло время сослужить России верную службу. Я уже не говорю про болгар, про угнетенных «братьев славян», мучимых, обижаемых. К стыду нашему, эта тема уже устарела... но не в их сердцах. Неужели вы не предполагаете во многих из них высшего сознания, что они ¹⁰ пдут служить человечеству, угнетенным, оскорбленным...

— Служить человечеству кулаком!

— Позвольте, кстати, вам рассказать один анекдот. Я уже передавал однажды, что в Москве, в одном из приютов, где наблюдают маленьких болгарских детей сироток, привезенных к нам в Россию после тамошнего разгрома, есть одна больная девочка, лет 10, которая видела (и не может забыть), как турки, при ней, содрали кожу с ее живого отца. Ну, так в этом же приюте есть и другая больная болгарка, тоже лет десяти, и мне об ней недавно рассказали. У ней странная болезнь: постепенно-²⁰ный, всё больший и больший упадок сил и беспрерывный позыв ко сну. Она всё спит, но сон никак не укрепляет, а даже напротив. Болезнь очень серьезная. Теперь эта девочка, может быть, уже умерла. У ней тоже одно воспоминание, которого она не может выносить. Турки взяли ее маленького брата, ребенка двух-трех лет, сначала выкололи ему иголкой глаза, а потом посадили на кол. Ребеночек страшно и долго кричал, пока умер, — факт этот совершенно верный. Ну, вот этого и не может забыть девочка, всё это они сделали при ней, на ее глазах. Природа, может быть, и посыпает таким, пораженным сердечно, сон, по-³⁰тому что они не могли бы долго оставаться наяву с таким беспрерывным воспоминанием пред собою. Теперь представьте себе, что вы бы там были сами в ту минуту, как они прокалывали ребенку глаза. Скажите, неужели вы бы не бросились остановить их, даже и кулаком?

— Да, но всё же кулак.

— Да вы не бейте их, если хотите, вы только ятаганы-то у них отнимите! Неужели и этого нельзя сделать силой?

А кстати, неужели есть у нас даже такие любители турок, которые и ятаганов-то у них не желали бы отобрать? Не думаю ⁴⁰ и не верю, чтоб были.

ИЮЛЬ – АВГУСТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. РАЗГОВОР МОЙ С ОДНИМ МОСКОВСКИМ ЗНАКОМЫМ. ЗАМЕТКА ПО ПОВОДУ НОВОЙ КНИЖКИ

Выдав в Петербурге мой запоздавший май-июньский выпуск «Дневника» и возвращаясь затем в Курскую губернию, я, проездом через Москву, поговорил кой о чём с одним из моих давних московских знакомых, с которым вижусь редко, но мнение которого глубоко ценю. Разговора я в целом не привожу, хотя я уз-
нал при этом кое-что весьма любопытное из текущего, чего и не подозревал. Но, расставаясь с моим собеседником, я, между прочим, упомянул, что хочу сделать, пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтораста верст в сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества, — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц. Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но всё никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями.

— Вот у вас есть такие воспоминания и такие места, и у всех нас были. Любопытно: что у нынешней молодежи, у нынешних детей и подростков будет драгоценного в их воспоминаниях, и будет ли? Главное, что именно? Какого рода?

Что святые воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения, конечно, быть не может, иначе прекратилась бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горь-

кое, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь.¹⁰ Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно оформляется для них этот дорогой запас — всё это, конечно, и любопытный и серьезный вопрос. Если б можно было хоть сколько-нибудь предугадать па него ответ, то можно бы было утолить много современных тревожных сомнений, и, может быть, многие бы радостно уверовали в русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но беда в том, что никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы 20 данных для предчувствования и предзнаменания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено, как теперь. Где вы найдете теперь такие «Детства и отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, на-³⁰ пример, памятью свою эпоху и свое семействоgraf Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь не более лишь как исторические картины даны прошедшего. О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их *характере*, о законченности, точности и определенности их характера — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится все более и более случайным семейством. Именно случайное семейство — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, же-⁴⁰ ланный и удовлетворяющий русское сердце облик? Иные и столь серьезные даже люди говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется, всё это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, то есть высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство — разве теперь оно не вопрос тоже?

— Вот что бесспорно, — сказал мне мой собеседник, — бесспорно то, что в весьма непродолжительном времени в народе

явятся новые вопросы, да и явились уже, — куча вопросов, страшная масса всё новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных, и всё это естественно. Но кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них, и кто первый выищется, кто ждет уже и готовится? Вот вопрос, наш вопрос, да еще самой первой важности.

И, уж копечно, первой важности. Столь крутой перелом жпзпи, как реформа 19-го февраля, как все потом реформы, а главное, грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновение 10 с нею), всё это, бесспорно, рождает и рождало уже вопросы, потом, пожалуй, оформирует их, объединит, даст им устойчивость и — в самом деле, кто ответит на эти вопросы? Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паства, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — отвечают на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того 20 отдаляются от себя паству песоразмерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать. На эту тему можно бы и много прибавить, по прибавим потом. Затем, одни из ближайших к народу — это сельские учителя. Но к чему годятся и к чему готовы паши сельские учителя? Что представила до сих пор эта, лишь начинающаяся, впрочем, но столь важная по значению в будущем, новая корпорация, и на что она в состоянии ответить? На это лучше не отвечать. Остаются, стало быть, ответы случайные — по городам, на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних помечатников (об начальстве, само собою, не упоминаю). О, ответов, конечно, будет множество, пожалуй, еще больше, чем вопросов, — ответов добрых и злых, глупых и премудрых, но главный характер их, кажется, будет тот, что каждый ответ рождает еще по три новых вопроса, и пойдет это всё crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса.

— А главное, — нечего и говорить об этом. Вынесут.

Конечно, выпесут, и без нас вынесут, и без ответчиков и при ответчиках. Могучая Русь, и не то еще выносила. Да и не таково 40 назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она всё решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такою же прежнею, святою пашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в тепереш-

нюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. «Здесь терпение и вера святых», как говорится в священной книге.

В то утро я только что увидал, в первый раз, объявление в газетах о выходе отдельно восьмой и последней части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией «Русского вестника», в котором печатался весь роман, с самой первой части. Всем известно было тоже, что отвергнута эта последняя, восьмая часть за разногласие ее с направлением журнала и убеждениями редакторов, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положил купить и, прощаясь с моим собеседником, спросил его о ней, зная, что ему давно уже известно ее содержание. Он засмеялся.

— Самая невиннейшая вещь, какая только может быть! — отвечал он. — Вовсе не понимаю, зачем «Русский вестник» не поместил ее. Притом же автор предоставлял им право на какие угодно оговорки и выноски, если они с ним не согласны. А потому прямо и сделали бы выноску, что вот, дескать, автор...

Я, впрочем, не впишу сюда содержания этой выноски, преддавшейся моим собеседником, тем более, что и высказал он ее, 20 всё еще продолжая смеяться. Но в конце он прибавил уже серьезно:

— Автор «Анны Карениной», несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположное, так как во всяком случае они всегда строго искренни. 30 Этот переверт может и совсем не совершиться, но может совершиться и через месяц, и тогда почтенный автор с таким же задором закричит, что и добровольцев надо посыпать и корпкий щипать, и будет говорить все, что мы говорим...

Книжку эту я купил и потом прочел, и нашел ее вовсе не столь «невинною». И так как я, несмотря на все мое отвращение пускаться в критику современных мне литераторов и их произведений, решил непременно поговорить об ней в «Дневнике» (даже, может быть, в этом же выпуске), то и счел не лишним вписать сюда и мой разговор о ней с моим собеседником, у которого и прошу потому пзвппепия за мою нескромность... 40

II. ЖАЖДА СЛУХОВ П ТОГО, ЧТО «СКРЫВАЮТ».
СЛОВО «СКРЫВАЮТ» МОЖЕТ ИМЕТЬ БУДУЩНОСТЬ, А ПОТОМУ
И НАДОБНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ЗАРАНЕЕ.
ОПЬЯТЬ О СЛУЧАЙНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Эти «места моего детства», куда я собирался съездить, — от Москвы всего полтораста верст, из коих сто сорок по железной дороге; но употребить на эти полтораста верст пришлось почти десять часов. Множество остановок, пересаживаний, а на одной станции приходится ждать этого пересаживания три часа. И всё это при всех неприятностях русской железной дороги, при небрежнейшем и почти высокомерном отношении к вам и к нуждам вашим кондукторов и «начальства». Всем давно известна формула русской железной дороги: «Не дорога создана для публики, а публика для дороги». Нет такого железнодорожника, с кондуктором до директора включительно, который бы сомневался в этой аксиоме и не посмотрел бы на вас с насмешливым удивлением, если б вы стали утверждать перед ним, что дорога создана для публики. А главное, и слушать не будут.

Кстати, в это лето я изъездил до четырех тысяч верст по крайней мере, и везде по дороге меня особенно поражал этот раз народ; везде народ говорил про войну. Ничто не могло сравниться с тем интересом и с тем жадным любопытством, с которым простонародье выслушивало и расспрашивало про войну. В вагонах я заметил даже нескольких мужиков, читавших газеты, большую частью вслух. Случалось садиться рядом с ними: какой-нибудь мещанин оглядит вас осторожно сначала, и особенно коль увидит у вас или подле вас газету, — немедленно и чрезвычайно вежливо осведомится: откуда вы? И коль ответите, что из Москвы или из Петербурга (а еще интереснее для него, если с юга, из Одессы, например), то непременно спросит: «Что слышно про войну?» Затем, чуть-чуть вы вселите в него доверчивость вашим ответом и готовностью отвечать ему, он тотчас, впрочем опять-таки с осторожностью, меняет любопытный вид на таинственный, приближается к вам и спрашивает, уже понижая голос: «А нет ли, дескать, чего особенного?», то есть пособеннее, чем в газетах, того, дескать, что скрывают? При этом прибавлю, что недовольных на правительство за объявление войны в народе нет никого, даже в самых злорадных типах, а злорадные есть, но тут особенного рода злорадство. Проходишь, например, во время остановки по платформе станции и вдруг услышишь: «Семнадцать тысяч наших легло, только сейчас была телеграмма!» Смотришь — оратствует какой-нибудь паренек, лицо у него выражает какое-то зловещее упоение, и вовсе не то, чтоб он был рад, что наших легло семнадцать тысяч, нет, тут другое, тут вроде того, как если б вдруг погорел человек, все сгорело — изба, деньги, скот: «Смотрите, дескать, на меня, православные христиане, все пропало, в лохмотьях, один как перст!» В эти минуты тоже бывает

у этакого какая-то сладость злорадного самоупоения в лице. Но насчет «семнадцати тысяч» было и другое: «Телеграмма, дескать, такая есть, только ее задерживают, скрывают, еще не пущают... видели, сами читали...» — вот смысл. Я не утерпел, вдруг подошел к кучке и сказал, что всё вздор, слухи глупые, не могли побить семнадцати тысяч наших, всё благополучно. Паренек (как будто из мещанства, а то и мужик, пожалуй) несколько хотя и сконфузился, но не очень: «Мы, дескать, люди темные, по свои слова говорим, так слышали». Толпа быстро разошлась, к тому же зазвенел и звонок. Любопытно мне теперь потому, что происходило это девятнадцатого июля, часов в пять пополудни. Накануне же, восемнадцатого, было Плевненское дело. Какая тут могла быть еще телеграмма, даже кому бы то ни было, а не то что среди поезда железной дороги? Конечно, случайное совпадение. Не думаю, впрочем, чтоб парень был сам расpusкатель и выдумщик ложных слухов, вернее всего, что он в самом деле от кого-нибудь слышал. Надо думать, что фабрикантов ложных слухов, и, уже конечно, злых слухов, об неудачах и несчастиях развелось по России в это лето чрезвычайное множество и, уж конечно, с целями, а не то что из одного простого вранья.

Ввиду горячего патриотического настроения народа в эту войну, ввиду той *сознательности* о значении и задачах этой войны, которая обнаружилась в народе нашем еще с прошлого года, ввиду пламенной и благоговейной веры народа в своего царя — все эти задержки и секреты в известиях с театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не может, конечно, ни требовать, ни желать, чтоб сообщались стратегические планы, цифры войск раньше дела, военные секреты и проч., по, по крайней мере, то, что узнают венские газеты раньше наших, — можно бы знать и нам раньше их.*

Сидя на станции, на которой приходилось ждать три часа для пересадки па другой поезд, я был в предурном расположении духа и на всё досадовал. От нечего делать мне пришло вдруг на мысль исследовать: почему я досадую и не было ли тут, кроме общих причин, какой-нибудь случайной, ближайшей? Я недолго искал и вдруг засмеялся, найдя эту причину. Дело заключалось в одной недавней встрече моей, в вагоне, за две станции перед этой. В вагон вдруг вошел один джентльмен, совершенный джентльмен, очень похожий на тип русских джентльменов, скитающихся за границей. Он вошел, ведя с собой маленького своего сына, мальчика лет восьми, никак не более, даже, может быть, менее. Мальчик был премило одет в самый модный европейский детский костюмчик, в прелестную курточку, изящно обут, белье батистовое. Отец, видимо, о нем заботился. Вдруг мальчик, только

* Теперь всё это, в самом важном, поправлено: почти ни одного дня не остается публика без депеш главнокомандующего.

что сели, говорит отцу: «Папа, дай папироску?» Папа тотчас же идет в карман, вынимает перламутровую папиросочницу, вынимает две папироски, одну для себя, другую — для мальчика, и оба, с самым обыкновенным видом, прямо свидетельствующим, что между ними уж и давно так, закуривают. Джентльмен погружается в какую-то думу, а мальчик смотрит в окошко вагона, курит и затягивается. Он выкурил свою папироску очень скоро, затем, не прошло и четверти часа, вдруг опять: «Папа, дай папироску?», — и опять оба вновь закуривают, и в продолжение двух 10 станций, которые они просидели со мною в одном вагоне, мальчик выкурил, по крайней мере, четыре папироски. Никогда я еще не видел ничего подобного и был очень удивлен. Слабая, нежненькая, совсем не сформировавшаяся грудка такого маленького ребенка приучена уже к такому ужасу. И откуда могла явиться такая неестественно ранняя привычка? Разумеется, глядя на отца: дети так переимчивы; но разве отец может допустить своего младенца к такой отраве? Чахотка, катар дыхательных путей, каверны в легких — вот что неотразимо ожидает несчастного мальчика, тут девять из десяти шансов, это ясно, это всем известно, и именно отец-то и развивает в своем младенце неестественно преждевременную привычку! Что хотел доказать этим этот джентльмен — я не могу себе и представить: пренебрежение ли к предрассудкам, новую ли идею провести, что все, что прежде запрещалось, — вздор, а, напротив, все дозволено? — Понять не могу. Случай этот так и остался для меня неразъясненным, почти чудесным. Никогда в жизни я не встречал такого отца и, вероятно, не встречу. Удивительные в наше время попадаются отцы! Я, впрочем, тотчас перестал смеяться. Рассмеялся я тому только, что так скоро отыскал причину моего скверного расположения духа. Тут, хотя, впрочем, без прямой связи с событием, припомнился мне вчерашний мой разговор с моим собеседником о том, что унесут дорогое и святое из своего детства в жизнь современные дети, потом напомнилась моя мысль о *случайности* современного семейства... и вот я вновь погрузился в весьма неприятные соображения.

Спросят: что такое эта *случайность* и что я под этим словом подразумеваю? Отвечаю: случайность современного русского семейства, по-моему, состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для 40 всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. Заметьте еще: эта идея, эта вера — может быть, даже, пожалуй, ошибочная, так что лучшие из детей впоследствии сами бы от нее отказались, по крайней мере, исправили бы ее для своих уже детей, но все же самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи — есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, — но

порядка. Тогда как в наше время этого-то порядка и нет, ибо нет ничего общего и связующего, во что бы все отцы верили, а есть па место того или: во-1-х, поголовное и сплошное отрицание прежнего (но зато лишь отрицание и ничего положительного); во-2-х, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько голов столько умов, — попытки, раздробившиеся па единицы и лица, без опыта, без практики, даже без полной веры в них их изобретателей. Попытки эти иногда даже и с прекрасным началом, по невыдержаные, незаконченные, а иногда так и совсем безобразные, вроде огульного допущения всего того что 10 прежде запрещалось, на основании принципа, что всё старое глупо, и это даже до самых глупейших выходок, до познания, например, курить табак семилетним детям. Наконец, в-3-х, ленивое отношение к делу, вялые и ленивые отцы, эгоисты: «Э, пусть будет, что будет, чего нам заботиться, пойдут дети, как и все, во что-нибудь выровняются, надоедают только они очень, хоть бы их вовсе и не было!» Таким образом, в результате — беспорядок, раздробленность и случайность русского семейства, — а надежда — почти что на одного бога: «Авось, дескать, попадет нам какую-нибудь общую идею, и мы вновь соединимся!» 20

Такой порядок, копечно, рождает безотрадность, а безотрадность еще пуще рождает лепость, а у горячих — циническую, озлобленную лепость. Но есть и теперь много совсем не ленивых, а, напротив, очень даже прилежных отцов. Большею частью это отцы с идеями. Одни, наслушавшись, положим, весьма даже не глупых вещей и прочия две-три умные книги, вдруг сводят всё воспитание и все обязанности свои к семейству на один бифштекс: «Бифштекс с кровью и конечно, Либих, дескать» и т. д. Другой, пречистейший человек сам по себе, в свое время даже блиставший остроумием, уже согнал три пяньки от своих младенцев: 30 «Невозможно с этими шельмами, запретил настрого, вдруг вхожу вчера в детскую и что же, представьте себе, слышу: Лизочку укладывает в люльку, а сама ее бого родице учит и крестит: помилуй, дескать, господи, папу, маму... ведь настрого запретил! Решаюсь на англичанку, да выйдет ли лучше-то?» Третий, едва пятнадцатилетнему своему мальчишке, сам подыскивает уже любовницу: «А то, знаете, эти детские ужасные привычки развиваются, али пойдет как-нибудь на улицу, да болезнь скверную схватит... пет, уж лучше обеспечить ему этот пункт заране...» Четвертый доводит своего семнадцатилетнего мальчика до самых 40 передовых «идей», а тот самым естественным образом (ибо что может выйти из иных познаний рапаше жизни и опыта?) сводит эти передовые мысли (нередко очень хорошие) на то, что «если пет ничего святого, то, стало быть, можно делать всякую пакость». Положим, в этом случае отцы горячи, но ведь у многих ли из них эта горячка оправдывается чем-нибудь серьезным, мыслию, страданием? Много ль у нас таких-то? Большею ведь частью одно либеральное подхихиковывание с чужого голоса, и вот

ребенок уносит в жизнь, сверх всего, и комическое воспоминание об отце, комический образ его.

Но это «прилежные», и их не так много; несравненно больше ленивых. Всякое переходное и разлагающееся состояние общества порождает леность и апатию, потому что лишь очень немногие, в такие эпохи, могут ясно видеть перед собою и не сбиваться с дороги. Большинство же путается, теряет нить и, наконец, машет рукой: «Э, чтоб вас! Какие там еще обязанности, когда и сами-то никто ничего толком не умеем сказать! Прожить бы 10 только как-нибудь самому-то, а то что тут еще обязанности!». И вот эти ленивые, если только богаты, исполняют даже всё *как следует*: одевают детей хорошо, кормят хорошо, нанимают гувернанток, потом учителей; дети их, наконец, вступают, пожалуй, в университет, но... отца тут не было, семейства не было, юноша вступает в жизнь один как перст, сердцем он не жил, сердце его ничем не связано с его прошедшим, с семейством, с детством. И еще вот что: ведь это только богатенькие, у них был достаток, а много ли достаточных-то? Большинство, страшное большинство — ведь все бедные, а потому, при лености отцов 20 к семейству, детки уже в высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцов отражаются в их сердцах с детства мрачными картицами, воспоминаниями иногда самого отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты, и, что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство. И долго потом в жизни, может, всю жизнь, человек склонен слепо обвинять этих прежних людей, ничего не вынеся из своего детства, 30 чем бы мог он смягчить эту грязь воспоминаний и правдиво, реально, а стало быть, и *оправдательно* взглянуть на тех прошлых, старых людей, около которых так уныло протянулись его первые годы. Но это еще лучшие из детей, а ведь большинство-то их уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтобы употребить ее потом в дело и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем: «Все, дескать, ходят в грязи, об идеалах бредят только одни фантазеры, а с грязнотцой-то и лучше»...

«Но что же вы хотите? Какие это такие воспоминания должны 40 быть, чтобы опи унести из детства для очистки грязи своих семейств и для *оправдательного*, как вы говорите, взгляда на отцов своих?» Отвечаю: «Что же я могу сказать один, если в целом обществе нет на это ответа?» Общего нет ничего у современных отцов, сказал я, связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить *прекрасное* в воспоминаниях детей, — и даже как: несмотря даже на са-

мую лютую обстановку их детства, бедность и даже самую нравственную грязь, окружавшую их колыбели! О, есть такие случаи, что даже самый падший из отцов, но еще сохранивший в душе своей хотя бы только отдаленный прежний образ великой мысли и великой веры в нее, мог и успевал пересаждать в воспримчивые и жаждущие души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства и был прощен потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что осталось. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и 10 прекрасного нельзя пускать поколение в путь. Посмотрите, разве современные отцы, из горячих и прилежных, не верят в это? О, они вполне верят, что без связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя взрастить поколение и пустить его в жизнь! Но сами-то они все вместе утратили целое, потеряли общее, разбрелись по частям; соединились лишь в отрицательном, да и то кое-как, и разделились все в положительном, а в сущности и сами даже не верят себе ни в чем, ибо говорят с чужого голоса, примкнули к чуждой жизни и к чуждой идее и потеряли всякую связь с родной русской жизнью.

20

Впрочем, повторяю, этих горячих немного, ленивых бесконечно больше. Кстати, помните ли вы процесс Джунковских? Этот процесс очень недавний и рассматривался в Калужском окружном суде всего лишь 10-го июня текущего года. На него, среди грома текущих событий, весьма может быть, немногие и обратили внимание. Я прочел его в газете «Новое время» и не знаю, был ли он перепечатан еще где-нибудь. Это — дело о перемышльских землевладельцах майоре Александре Афанасьеве Джунковском, 50 лет, и жене его Екатерине Петровой Джунковской, 40 лет, обвиняемых в жестоком обращении с малолетними 30 детьми их Николаем, Александром и Ольгою... Здесь своевременно будет заметить, что дети, о которых идет речь, были в следующем возрасте: Николай — тринадцать лет, Ольга — двенадцать и Александр — одиннадцать лет. Прибавлю еще, забегая вперед, что суд оправдал подсудимых.

В этом процессе весьма, по-моему, резко выступает многое типичное из нашей действительности, а между тем что всего более в нем поразительно — это чрезвычайная обыкновенность, обыденность его. Чувствуешь, что именно таких русских семейств необыкновенное теперь множество, — конечно, не в этом самом 40 виде, конечно, не везде такие случайности, как чесание пяток (о чем будет ниже), но суть-то дела, основная-то черта множества подобных семейств одна и та же. Это именно тип «ленивого семейства», о которых я сейчас только говорил. Если не целый, не правильный очень тип (особенно судя поным весьма исключительным и характерным подробностям), то все-таки замечательная особь этого типа. Но пусть читатели судят сами. Подсудимые были преданы суду по определению московской су-

дебной палаты; припомним же это обвинение. Перепечатываю из «Нового времени» так, как оно там было изложено, то есть в сжатом виде.

III. ДЕЛО РОДИТЕЛЕЙ ДЖУНКОВСКИХ С РОДНЫМИ ДЕТЬМИ

Обвиняемые Джунковские, обладая известным достатком и имея надлежащее число прислуги, поставили детей своих: Николая, Александра и Ольгу, в совершенно пные отношения к себе, чем других детей. Они не только не держали себя с ними и не ласкали их как родители, но, оставив без присмотра, давали им плохое содержание, помещение, одежду, постели и стол, приуждали к запястьям вроде чесания пяток и т. п., возбуждая и поддерживая таким образом в них неудовольствие и раздражение, доведшее их до поступка с умерщвием сестрою, о чем будет сказано ниже. Всё это не могло не иметь дурного влияния на здоровье детей. Так, например, из дела видно, что Ольга страдает падучею болезнью; кроме того, не способствуя ни надзором, ни попечениями своим нравственному развитию детей, подсудимые прибегали к мерам, которые нельзя признать краткими мерами исправления родителями своих малолетних детей. Так, обвиняемые запирали детей на продолжительное время в сортир, оставляли дома в холодной комнате и почти без пищи или посыпали обедать и спать в комнате прислуги, ставя их таким образом в общество лиц, мало способных содействовать их исправлению, наконец, часто били чем попало, даже кулаками, секли розгами, хворостиной, иletью, назначенной для лошадей, и с такою жестокостью, что страшно было смотреть и что (по показанию мальчика Александра) спина ребенка болела пять дней от одной из таких экзекуций. Подобные побои были последствием не всегда какой-нибудь хотя бы маловажной шалости, но и просто так себе — по желанию. Служившая прачкою у Джунковских солдатка Сергеева, между прочим, объяснила, что обвиняемые не любили детей Николая, Александра и Ольгу, которые спали отдельно от других детей, внизу, в одной комнате, на полу на войлоке, одевались чем попало (было одно рваное одеяло); если людское кушанье, так что всегда были голодны. Одевали их плохо: летом в разные рубашки, а зимою в полуушубки. Джунковская была для этих детей хуже мачехи; она била их, особенно Александра, чем попало, а то так просто кулаками. Когда секла Николая, то страшно было глядеть. Дети хотя и были шаловливы, но как дети. Им доставалось больше всего по вечерам, когда они чесали матери пятки, что продолжалось по часу и более — пока мать не уснет. Это делала раньше прислуга, в том числе и Сергеева, которая наконец отказалась, потому что рука отекала! Из показания Усачковой оказывается, что Александр и Ольга валялись на полу, на грязных подушках, «вообще их держали грязно — в свином логовице чище, чем у них». Живший у Джунковских, в качестве учителя, по август 1875 года дворянин Любимов утверждал, что Николая, Ольгу и Александра содержали плохо и им никогда приходилось ходить босиком. В показании девицы Шишовой (кандидатка Николаевского института), бывшей у детей подсудимых гувернанткою по август 1874 года, которое было прочитано на суде, вследствие неявки свидетельницы, — зачитывается, что Джунковская — женщина эгоистичная, не ласкавшая никогда, равно как и муж ее, детей Александра и Николая. Отсутствие вообще порядка в доме подсудимых и равнодушное отношение к детям Шишова объясняет какою-то пебрежностью обвиняемых ко всему и даже в отношении себя; дела их были постоянно запутаны, и они жили постоянно в хлопотах и не умели хозяйствничать. Джунковская, стараясь, чтобы ее никто не беспокоил, поручала мужу наказывать детей, что им и было исполняемо, и хотя при экзекуциях свидетельница не присутствовала, но тем не менее удостоверяет, что «ника-

кой жестокости в наказаниях не было». «Случалось, — продолжает педагогика Шишова, — что Джунковская или я даже за шалости запирала детей в комнату, где стоял ватерклозет, но эта комната не холоднее других в квартире и отапливалась». Шишова и сама наказывала детей ремнем по плеткою, «но только она была маленькая». При свидетельнице никогда не случалось, чтобы детям не давали есть по нескольку дней.

Затем мальчики Николай и Александр дали следователю сдержанные показания, из которых, однако, видно, что их склоняли разными, ременною плетью, которую гоняют лошадь, а также и хворостинкою, употреблявшимся в дело и учителем Любимовым. Однажды у Александра пять ¹⁰ дней болела спина после того, как мать высекла его за то, что он из кухни привнес сестре Ольге картофель для завтрака.

Джунковский в оправдание свое ссылался на полнейшую испорченность своих детей, в подтверждение чего привел следующий случай: когда умерла его старшая дочь Екатерина, мальчики Николай и Александр в то время, когда сестра их лежала на столе, — нарезав в саду прутьев, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натешимся над тобою за то, что ты на нас жаловалась.

На суде обвиняемые не признали себя виновными.

Подсудимый уверял, что тратит на воспитание своих детей более, чем ²⁰ позволяют его средства, но что он так несчастлив, что не достиг своей цели, и что дети делаются всё хуже и хуже.

Старший сын (Николай) до отдачи в гимназию был хорошим мальчиком, но, побыв в гимназии, выучился там воровать; до поступления в гимназию он знал молитвы, но потом забыл их по той причине, что объявил себя католиком и вследствие этого не учился совсем закону божию, между тем было представлено метрическое свидетельство, в котором сказано, что Николай — православного вероисповедания.

В последнем своем слове Джунковская высказала, что она нанимала к детям несколько гувернанток, но, к несчастью, всё ошибалась в них, ³⁰ так же как и в учителе, но что в настоящее время отец сам занимается с детьми, и она надеется, что дети совершенно поправятся.

Вот этот процесс. Подсудимые, как сказано выше, были оправданы. Еще бы нет? И замечательно не то, что их оправдали, а то, что их предали под суд и судили. Кто и какой суд может обвинить их и за что? О, конечно, есть такой суд, который может их обвинить и ясно указать за что, но не уголовный же суд с присяжными заседателями, судящий по написанному закону. А в написанных законах нигде нет статьи, ставящей преступлением ленивое, неумелое и бессердечное отношение отцов к детям. ⁴⁰ Иначе пришлось бы осудить пол-России, — куды, гораздо больше. Да и что такое бессердечное отношение? Вот если бы жестокие истязания, какие-нибудь ужасные, бесчеловечные. Но мне помнится, как адвокат, в процессе Кронберга, обвинявшегося в бесчеловечном обращении с своим младенцем, раскрыл свод законов и прочел статью о жестоком обращении, жестоких истязаниях и проч., имея в виду доказать, что клиент его не подходит ни под одну из этих статей, в которых ясно и точно определено, что надо считать жестокими и бесчеловечными истязаниями. И, помню, эти определения жестоких истязаний были до того ⁵⁰ жестоки, что решительно похожи были на истязания болгар башбузуками, и если не сажание на кол и ремни из спины, то разломанные ребра, руки, ноги и не знаю еще что, так что какая-

нибудь ременная плетка да еще маленькая, по показанию девицы Шишовой, — решительно не может подойти к статье свода законов и составить пункт обвинения. «Секли, дескать, розгой». Да кто же не сечет детей розгой? девять десятых России сечет. Под уголовный-то закон уже никак нельзя подвести. «Секли, дескать, ни за что ни про что, за картофель». «Нет-с, не за картофель, —

10 — ответил бы г-н Джунковский, — а тут уж все вместе сошлось, за разврат, за то, что они, изверги, секли умершую doch Екатерину по лицу» — «В сортир, дескать, запирали» — «Да ведь сортир топленый, так чего же вам больше, карцер всегда карцер» — «За то, дескать, что людской пищей кормили и посылали спать чуть не в свиной хлев, на какой-то подстилке, с одним рваным одеялом?» — «А это тоже за наказание-с, и притом рваное — не равное, а я и без того трачу на обучение детей свыше моих средств и надеюсь, что закону нечего считать в моем кармане средства мои» — «За то, дескать, что вы не ласкали детей?» — «Но позвольте, покажите мне такую статью свода законов, которая повелевала бы мне, под страхом уголовного наказания, ласкать детей, да еще шалунов, бессердечных, дрянных воришек и извергов...» — «За то, наконец, что вы избрали не ту систему воспитания ваших детей?» — «А какую систему воспитания предписывает уголовный закон, под страхом уголовного наказания? Да и вовсе это не дело закона...»

Одним словом, я хочу сказать, что тащить это дело Джунковских в уголовный суд было невозможно. Да так и случилось: они были оправданы, из обвинения их ничего не вышло. А между тем читатель чувствует, что из этого дела может выйти, а может быть, уж и вышла целая трагедия. О, тут дело другого суда, но какого же?

30 Какого? Да вот хоть бы, например, девица Шишова, педагогичка, — она дает свое показание и уже произносит в нем приговор. Заметим, что эта г-жа Шишова хоть и секла сама детей ременной плеткой («только она была маленькая»), но, кажется, весьма умная женщина. Невозможно определить точнее и умнее характер Джунковских, как она его определяет. Г-жа Джунковская — женщина эгоистичная, говорит она. Дом Джунковских в беспорядке... по небрежности обвиняемых ко всему и даже в отношении себя. Дела их постоянно запутаны, живут они постоянно в хлопотах; не умеют хозяйничать, мучаются, а между 40 тем всего более ищут покоя: Джунковская, беспрерывно стараясь, чтобы ее никто не беспокоило, даже детей поручала наказывать мужу... Одним словом, г-жа Шишова унесла с собой из дома Джунковских то мнение, что эти люди — бессердечные эгоисты, а главное — ленивые эгоисты. Всё от лени, и сердца у них ленивые. От лени, конечно, и вечный беспорядок в доме, беспорядок и в делах, а между тем ничего они так не ищут, как покоя: «Э, чтоб вас, только бы прожить!» Отчего же их леность, отчего их апатия — бог знает! Тяжело ли им среди современного хаоса

жизни, в котором так трудно что-нибудь понять? Или так мало ответила современная жизнь на их духовные стремления, на их желания, вопросы? Или, наконец, от непонимания кругом происходящего разложились и их понятия и уже больше не собирались и наступило разочарование? Не знаю, не знаю; но, по-видимому, это люди, имеющие образование, может быть, некогда, да п 10 теперь, пожалуй, любившие прекрасное и высокое. Чесание пяток тут ничему не могло бы противуречить. Чесание пяток — это именно что-то вроде как бы ленивого, апатичного разочарования, ленивое дорлоторство, жажда уединения, покоя, теплоты. Тут 10 нервы, — и именно не столько лень, сколько эта жажда покоя и уединения, то есть скорее отъединения от всех долгов и обязанностей. Да, тут, конечно, эгоизм, а эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное, трусивое отвращение связать себя каким-нибудь долгом. Заметьте, что вечное и страстное желание этого освобождения себя от всякого долга почти всегда рождает и развивает в эгоисте, наоборот, убеждение, что все, кто бы ни сталкивался с ним, ему должны что-то, как бы обложены относительно его каким-то долгом, данью, податью. Как ни бессмысленно это мечтание, но оно наконец укореняется и пере- 20 ходит в раздражительное недовольство всем миром и в горькое, нередко озлобленное чувство ко всему и всем. Неисполнение этих фантастических долгов принимается наконец сердцем как обида — так что вы иногда во всю жизнь не вообразите, за что иной такой эгоист постоянно на вас сердится и злобится. Это озлобленное чувство рождается даже и к собственным детям — о, к детям даже по преимуществу. Дети — это именно предназначенные жертвы этого капризного эгоизма, к тому же они всех ближе под рукою, а всего пуще то, что никакого контроля: «Мои, дескать, дети, собственные!» Не удивляйтесь же, что это ненавистное чув- 30 ство, вечно раздражаемое напоминанием неисполненного относительно детей долга, раздражаемое вечным торчанием перед вами этих маленьких, новых личностей, требующих от вас всего и дерзко (увы, не дерзко, а по-детски!) не понимающих, что вам так нужен ваш покой, и считающих этот покой ни во что, — не удивляйтесь, говорю я, что это ненавистное чувство даже к собственным детям может переродиться наконец в настоящую месть, а под поощрением и подстреканием безнаказанности — даже в зверство. Да леность и всегда порождает зверство, заканчивается зверством. И зверство это не от жестокости, а именно от 40 лени. Сердца эти не жестокие, а именно ленивые сердца. И вот эта, столь любящая покой дама, даже до чесания пяток возлюбившая его, озлобившаяся, наконец, на то, что лишь у ней, у ней лишь одной нет никогда покоя, потому что всё кругом нее в беспорядке и требует ее беспрерывного присутствия и внимания, — эта дама вскакивает наконец с постели, хватает хворостину и сечет, сечет собственного ребенка, неутолимо, ненасытно, злорадно, так что «страшно было глядеть», как показывает прислуга,

и за что, из-за чего: за то, что мальчик принес голодной маленькой сестре (страдающей падучей болезнью) из кухни немного картофеля, то есть сечет его за хорошее чувство, за то, что не развратилось и не очерствело еще сердце ребека. «Всё равно, дескать, я запретила, а ты принес, так вот же, не делай свое хорошее, а делай мое дурное». Нет-с, ведь это истерики. Дети спят в грязи, «в свином логовище чище», с одним прорваным одеялом на троих: «Пусть, так им и надо, — думает родная мать, — не дают они мне покоя!» И не потому думает она так,
10 что сердце у ней жестокое, пет, сердце у пей, может быть, весьма доброе и хорошее от природы, да вот покоя-то ей никак не дают, достигнуть-то его она всю жизнь не может, и чем дальше, тем хуже, а тут эти дети («зачем опи! зачем они появились!») растут, шалят и требуют каждодневно всё больше и больше труда и внимания! Нет, если уже тут и истерики, то целыми годами накопленная. Рядом с этой болезненною (доведеною до болезненности) матерью семейства стоит перед судом отец, г-н Джунковский. Что ж, может быть, он и очень хороший человек, кажется, человек образованный, вовсе не циник, напротив, сознающий отцовский долг
20 свой, до огорчения сердца его сознающий. Вот он чуть не со слезами жалуется в суде на малолетних детей, он простирает руки: «Я сделал для них всё, всё, я нанимал учителей, гувернанток, я тратил на них более, чем позволяли мне средства, но они изверги, они стали воровать, они секли мертвую сестру по лицу!» Одним словом, он считает себя вполне правым. Дети стоят тут же, подле; замечательно, что они дали «показания сдержаные, осторожные», то есть мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтоб это от одного лишь страха родителей, к которым все-таки придется воротиться. Напротив, ка-
30 залось бы, тот факт, что их отца уже судят за жестокое обращение с ними, должен бы их был ободрить. Просто им неловко было судиться с отцом, стоять подле него и свидетельствовать против него, тогда как он, не думая о будущем и о том, какие чувства останутся в сердце этих детей от этого дня, не подозревая даже о том, что они унесут в свое будущее из этого дня, — он обвиняет их и разоблачает всё их дурное, все постыдные поступки их, жалуется суду, публике, обществу. Но он верит, что он прав, а г-жа Джунковская верит даже и в будущность, и вполне, вполне! Она объявляет суду, что всё от дурных учителей
40 и гувернанток, что она разочаровалась в них, а что теперь, когда вот муж ее сам примется за обучение и воспитание детей, то дети «совершенно исправятся» (так! так!). Дай им бог, однако.

Кстати, заметим кое-что об этих шалостях маленьких Джунковских.

То, что они секли розгами по лицу мертвую сестру за то, что она когда-то на них жаловалась, конечно, возмутительно и омерзительно. Но постараемся быть беспристрастнее и, клянусь вам, увидим, что даже и это лишь детская пылость, пмеппо — это

детская «фантастичность». Тут что-нибудь от воображения детей, а не от развращенного сердца. Детское воображение даже по природе своей, и особенно в известном возрасте, чрезвычайно восприимчиво и наклонно к фантастическому. И особенно в тех семействах, в которых хоть и тесно живут люди, так что каждый торчит у другого на виду, по дети все-таки отъединены в особую кучку — заботами, вечным недосугом отцов: «Учиться, за книгу, не шалить!» — только и слышат они и сидят за своими книжонками, по определенным углам, не смея даже болтнуть ногой. В свином своем хлеве, по ночам, засыпая, или сидя за скучными 10 уроками, или запертые в сортир, маленькие Джунковские могли приучить себя к странным мечтаниям — и к добрым и сердечным, и к озлобленным, или просто по-детски, к сказочным, фантастическим: «Вот, дескать, был бы я побольше, пошел бы па войну, а там бы приехал сюда; учительшка спросил бы: где вы были? как смели уехать из класса? А я бы вынул из кармана Георгий и повесил в петлицу, тут бы он испугался и бросился на колени!» Когда умерла сестра, кто-нибудь из них троих, греясь под уголком своего рваного одеяла, мог, засыпая, придумать: «А знаешь, Николя, ведь бог-то се нарочно наказал за то, что она злая была, 20 жаловалась. Она теперь видит сверху, хотела бы пожаловаться, да нельзя уже. Давайте ее завтра розгами сечь, пусть она смотрит сверху, видит и злится, что нельзя пожаловаться!» Клянусь вам, что ребятишки, может быть, через несколько дней раскаялись в сердцах своих в том, что они сделали такую гнусную глупость. Детские сердца мягки. На этот счет я знаю вот какой маленький случай. Умерла одна мать у семерых детей. Один ребенок, девочка лет семи или восьми, увидя мертвую маму, стала ужасно рыдать. Она так плакала, что ее унесли в детскую почти в истерике и не звали, чем утешить. Дура приживалка, случившаяся тут, вдруг сказала ей, утешая: «Не плачь, что ты уж так плачешь-то, ведь она тебя не любила, она тебя, помнишь, наказала, в углу-то ты стояла, помнишь!» Дуре думалось сделать лучше: вот, дескать, перестанет и успокоится ребенок — и достигла ведь цели: девочка вдруг перестала плакать. Мало того, и на другой день, и на похоронах имела какой-то холодный, подобранный, обиженный вид: «Она, дескать, меня не любила». Ей понравилась мысль, что она была обиженная, загнанная, нелюбимая. Ей-богу, это случилось с ребенком по восьмому году. Но детская «фантастичность» не продержалась долго: через не- 40 сколько дней ребенок так опять затосковал о матери, что сделался болен, и никогда потом, во всю жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери без благоговейного чувства. За проступок маленьких Джунковских с мертвою сестрою пх, без сомнения, следовало наказать, и строго, но поступок этот — детский, глупый, фантастический, именно детский и вовсе не означает развращения сердец. Шалость же мальчика Николая в гимназии, объявившего себя католиком, чтобы не учиться закону божию,

есть в высшей степени лишь детская шалость: это классный выверт перед товарищами: «Вот, дескать, вы учитесь закону, а я избавился, надул их всех, благо фамилья моя похожа на польскую». Тут решительно одно только *школьничество* — глупое, скверное, за которое следует строжайше наказать, но не следует отчаиваться за мальчика, не следует верить, что он уже до того развращен, что стал мошенником. Но Джунковский-отец, кажется, верит тому: не жаловался бы он так плачевно на суде, если бы не верил.

10 У нас в судах случается, что когда подсудимые бывают оправданы (и особенно когда они очевидно виновны, но отпущены лишь милосердием суда), то председатель суда, объявляя подсудимому свободу, говорит ему иногда при этом назидание на тему: как именно ему следует принять это оправдание, что вынести из всего этого в жизнь, как избежать в дальнейшем повторения беды. Председатель суда говорит в таком случае от лица как бы всего общества, государства; слова эти важные, назидание верховное. Может быть, подсудимым Джунковским объявлено было их оправдание без всякого особого, в таком роде, внушения, — 20 этого я не знаю, но я просто сам воображаю себе: что мог бы им сказать председатель суда, отпуская их. И вот что, мне кажется, он бы мог им сказать.

IV. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА

«Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кроме этого суда есть другой суд — суд собственной вашей совести. Сделайте же так, чтоб и этот суд оправдал вас, хотя бы впоследствии. Вы объявили, что намерены теперь сами заняться воспитанием и обучением детей ваших: если б вы раньше взялись за это, то не было бы, вероятно, и сегодняшнего суда вашего здесь с детьми 30 ващими. Но боюсь: имеете ли вы достаточно сил в себе для исполнения доброго намерения вашего? Не достаточно лишь решиться на такое дело, надо спросить себя: достанет ли ревности и терпения на исполнение его? Не хочу и не смею сказать про вас, что вы родители бессердечные, ненавистники детей ваших. Да и ненавидеть детей своих — вещь, в сущности, почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидеть же столь малых еще детей — вещь безрассудная и даже смешная. Но леность, но равнодушие, но ленивая отычка от исполнения такой первой естественной и высшей гражданской обязанности, как воспитание 40 собственных детей, действительно могут породить даже нелюбовь к ним, почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести к ним, особенно по мере их возрастания, по мере все возрастающих природных требований их, по мере вашего сознания о том, что для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из собственного вседовольного отъедине-

ния и покоя. К тому же все возрастающие шалости оставленных в пребрежении детей и укоренение в них дурных привычек, видимое извращение умов и сердец их могут вселить наконец прямое отвращение к ним даже и в родительских сердцах. В горячих, слезных жалобах ваших па пороки ваших детей мы все услышали здесь и увидели глубокую, неподдельную горесть вашу, горесть несчастного и оскорбленного своими детьми отца. Но подумайте, однако, немного и рассудите: из чего им было и сделаться лучше? Выяснилось, например, на суде, что за леность их и за шалости вы их запирали на несколько часов в сортире.¹⁰ Конечно: карцер есть карцер, да и сортир ваш отапливается, стало быть, не было тут жестокого истязания, но ведь так ли, однако? Сидя там, чувствуя унизительное и срамное положение свое, ребенок мог ожесточаться, в голове его могли проходить самые фантастические извращенные и цинические мечты; он мог окончательно потерять любовь, любовь к родному гнезду и к вам даже, родителям его, ибо ему могло казаться, что вы уже совершили пе дорожите ни чувствами его к вам, ни человеческим его достоинством, а у ребенка, даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство, заметьте это ²⁰ себе. О том, что эти мысли, а главное — сильные, хотя и детские впечатления эти он унесет потом в жизнь и проносит их в сердце своем, может быть, до самой могилы, вы, кажется, совсем не подумали. Да и сделали ли вы сами-то хоть что-нибудь предварительно, чтоб избежать этой обижающей ребенка необходимости сажать его в такое место и тем позорить его и издеваться над ним? Ведь впоследствии, в жизни, он этот вопрос непременно подымет и поставит перед собой. Вы уверяете, что вы сделали для детей своих *всё*, и как будто сами убеждены в этом, но я не верю тому, что вы сделали всё; и когда вы с таким огорченным ³⁰ чувством произносите это, я убежден был, что в вас самих было уже большое сомнение насчет этого самого пункта. Вы уверяете, что нанимали учителей и тратили свыше средств ваших. Без сомнения, учитель необходим для детей, и, пригласив учителя, вы поступили, конечно, как ревностный отец; но нанять учителя для преподавания детям наук не значит, конечно, сдать ему детей, так сказать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они больше уж вас не беспокоили. А вы, кажется, именно это-то и сделали и думали, что, заплатив деньги, уже совершенно всё сделали, и даже более чем *всё* — «свыше средств». Между тем, уверяю вас, что вы сделали лишь наименьшее из того, что могли бы сделать для них; вы лишь откупились от долга и от обязанности родительской деньгами, а думали, что уже всё совершили. Вы забыли, что их маленькие, детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения с вашими родительскими душами, требуют, чтоб вы были для них, так сказать, всегда духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного подражания. Наука наукой, а отец перед детьми все-

ида должен быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как теплым лучом всё носеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый. Но, кажется, ничего не посеяли сами и сдав их чужому семье вашей сеятелю, — вы потребовали уже жатвы и, непривычные к этому делу, потребовали этой жатвы слишком рано; не получив же ее, озлобились и ожесточились... на малюток, па собственных де-
10 тей ваших, и тоже рано, слишком рано!

Всё оттого, что воспитание детей есть труд и долг, для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей, — это самый гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот почему и стремятся они откупиться от него деньгами, если есть деньги. Если же и деньги не помогают, или, как у многих, их и вовсе нет, то прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости, к истязанию, к розге. Я вам скажу, что такое розга. Розга в семействе есть продукт лени родительской, неизбежный результат этой лени. Всё, что можно было сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, всё, чего можно было достичнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером, — всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всегда чаще достигнуть розгой: «Не разъясню, а прикажу, не впушу, а заставлю». Каков же результат выходит? Ребенок хитрый, скрытный неизменно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит его. Ребенка слабого, трусливого и сердцем нежного — вы забьете. Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым — вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно детскому сердцу отрываться от тех, кого оно любит; по если оно уже оторвется, то в нем зарождается страшный, неестественно раппий цинизм, ожесточение, и извращается чувство справедливости. Всё это, конечно, в том только случае, если жестокость происходит от эгоизма родителей и если хозяин нивы, не посеяв сам, потребует с нее доброй жатвы. В таких случаях жестокость и несправедливость идут со стороны отцов усиливаясь, без удержанья, и это всегда чаще. «Не делай свое хорошее, а делай мое дурное!» — вот, 40 наконец, что становится девизом, и ребята наказывают даже за доброе дело, за картофель, который он принес сестре из кухни: как же не ожесточиться сердцу и как не извратиться понятиям? Не будучи жестокими и даже любя их, вы наказывали их вашим пренебрежением к ним, унижением их: они спали в пыльной комнate, на какой-то подстилке, ели пищу не с вашего стола, а со слугами. И, конечно, вы думали, что они наконец почувствуют вину свою и исправятся. В противном случае надо бы было предположить, что вы делали так от ненависти к ним, от мести

к ним, чтобы им сделать зло? Но суд не захотел так заключить и присягал поступки ваши ошибочному расчету воспитателя. Но вот теперь вы сами собираетесь воспитывать и учить их: трудное это дело, несмотря на то, что супруге вашей кажется оно легким.

Детей ваших пет в зале, я приказал их вывести, а потому я могу коснуться до самого главного в этом предстоящем вам трудном деле. Самое главное в нем то, что предстоит многое простить с обеих сторон. Они должны простить вам горькие, тяжелые впечатления их детских сердец, ожесточение свое, пороки свои.¹⁰ Вы же должны простить им ваш эгоизм, ваше пренебрежение к ним, извращение чувств ваших к ним, жестокость вашу и то, наконец, что вы сидели здесь и судились за них. Говорю так потому, что не себя обвините вы во всем этом, выйдя из залы суда, а непременно их, я уверен в этом! Итак, начиная ваше трудное дело воспитания детей ваших, спросите сами себя: можете ли вы обвинить за все эти проступки и преступления ваши не их, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успеете в труде вашем! Значит, бог очистил взгляд ваш и просветил вашу совесть. Если же не можете, то лучше и не принимайтесь за ваше наименование.²⁰

Второе, что предстоит вам тяжелого в вашем труде, это побороть, истребить в их сердцах и изменить в них слишком многие прежние впечатления и воспоминания. Но тут надо столь многое заставить забыть и столь многое вновь создать, что недоумеваю: каким путем этого достигнете? О, если научитесь любить их, то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и любви падобно учиться, верите ли вы тому? Верите ли вы, наконец, убеждены ли вы, что вас не остановят и не победят, в прекрасном предприятии вашем, иные самые мелкие, самые первоначальные, самые пошлые обыденные заботы, о которых вы, может быть, теперь и не думаете, но которые, однако, могут составить панцирь препятствие добрым начинаниям вашим. Всякий ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед детьми своими в обыденной семейной жизни от известной распущенности их и разнозданности, воздерживать себя от дурных и безобразных привычек, а главное — от невнимания и пренебрежения к детскому их мнению о вас самих, к неприятному, безобразному и комическому впечатлению, которое может зародиться в них столь часто при созерцании нашей беспечности в семейном быту. Верите ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих. О, если родители добры, если любовь их к детям ревностна и горяча, то дети многое простят им и многое забудут потом не только из комического и безобразного, но даже не осудят их безапелляционно за то, что совсем уже дурные дела их; напротив, сердца их непременно найдут смягчающие обстоятельства. Но

совсем другое может случиться в семействах несогласных и ожесточенных. Ваша супруга, как оказалось на суде, имеет болезненную привычку заставлять чесать себе перед сном ноги. Служанка засвидетельствовала, что эта обязанность была для нее даже мучительна, что «затекали руки». Представьте же себе этого мальчика, вашего сына, которого вместо служанки заставляют чесать? О, если б мать любила его искренно и сердечно и он бы уверен был в том, то оп бы и теперь, да и всегда потом, вспоминал об этой немощи дорогого ему человека с добродушною улыбкою,

10 хотя, может быть, злился бы и досадовал в те минуты, когда его заставляли чесать. Но воображаю, как он смотрел и что он чувствовал, что заходило ему в голову, когда он сидел, по часу и более, над смешным занятием перед существом, не любившим его, которое вот-вот вскочит и начнет сечь его ни за что ни про что. Тогда требование от него этой услуги несомненно должно было казаться ему унижающим его, пренебрежительным к нему и презрительным. Не мог не сознавать он или, лучше сказать, не почувствовать, что матери своей он не нужен как сын, что как сына она его презирает, забывает, посыпает спать па какую-то

20 подстилку, а если вспоминает о нем, то для того лишь, чтобы бить его, но что он нужен, стало быть, ей не как сын, а всего только как какая-то чесалка! И вы же жалуетесь после того, что они развертились, что они бессердечные изверги, «что научились воровать»! Напрягите немного ваше воображение, вообразите сына вашего в будущем, уже тридцати, положим, лет и подумайте, с каким отвращением, с каким озлобленным чувством и презрением припомнит он этот эпизод своего детства... Что он будет помнить о нем до могилы, в том нет сомнения. Он не простит, он возненавидит свои воспоминания, свое детство, проклянет свое 30 бывшее родное гнездо и тех, кто был с ним в этом гнезде! Эти воспоминания предстоит вам теперь непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить их иными, повыми, сильными и святыми впечатлениями, — какой огромный труд! Страшно подумать! Нет: дело, предпринимаемое вами, гораздо труднее, чем кажется вашей супруге!

Не сердитесь, не обижайтесь словами моими. Говоря вам, я исполняю непременную обязанность. Я говорю от лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские 40 отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать уединения или, лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей. Всего ужаснее то, что это так распространено: вы не одни такие, хотя другие впадают в те же ошибки, как вы, может быть, и под другими формулами. Но внушительнее всего то, что вы не только еще не худшие, но даже многим лучшие из современных отцов, ибо всё же в сердцах ваших не умерло сознание вашего долга, хотя вы и не исполняли его. Абсолютного

отрицания долга в вас нет. Вы не холодные эгоисты, а, напротив, раздраженные — на себя ли, на детей ли ваших, не стану определять того, но вы оказались способными принять к сердцу ваш неуспех и глубоко огорчиться им! Итак, да поможет вам бог в решении вашем исправить ваш неуспех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не ¹⁰ любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершившееся. Да совершился же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей!

А теперь ступайте, вы оправданы...

ГЛАВА ВТОРАЯ

20

I. ОПЯТЬ ОБОСОБЛЕНИЕ. ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

У нас очень многие теперь из интеллигентных русских повадились говорить: «Какой народ? я сам народ». В восьмой части «Анны Карениной» Левин, излюбленный герой автора романа, говорит про себя, что он *сам народ*. Этого Левина я как-то прежде, говоря об «Анне Карениной», назвал «чистый сердцем Левин». Продолжая верить в чистоту его сердца по-прежнему, я не верю, что он народ; напротив, вижу теперь, что и он с любовью норовит в обоснование. Убедился я в этом, прочитав вот ту самую восьмую часть «Аппы Карепипой», о которой я заговорил в начале этого июль-августовского дневника моего. Левин, как факт, есть, конечно, не действительно существующее лицо, а лишь вымысел романиста. Тем не менее этот романист — огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентпою Россиею человек, — этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице частью и собственый взгляд свой на современную нашу русскую действительность, что ясно каждому, прочитавшему его замечательное произведение. Таким образом, судя об несуществующем Левине, мы будем судить и о действительном уже взгляде одного из самых значительных современных ⁴⁰ русских людей на текущую русскую действительность. А это уже предмет для суждения серьезный даже и в наше столь гремучее время, столь полное огромных, потрясающих и быстро сменяющихся действительных фактов. Взгляд этот столь значительного

русского писателя, и именно на столь интересное для всех русских дел, как всеобщее национальное движение всех русских людей за последние два года по Восточному вопросу, выразился точно и окончательно именно в этой восьмой и последней части его произведения, отвергнутой редакцией «Русского вестника» по несходству убеждений автора с ее собственными и появившейся весьма недавно отдельной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понял, заключается, главное, в том, что, во-1-х, всё это так называемое национальное движение нашим народом от 10 нию не разделяется, и народ вовсе даже не понимает его, во-2-х, что всё это нарочно подделано, сперва известными лицами, а потом поддержано журналистами из выгод, чтобы заставить более читать их издания, в-3-х, что все добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы, в-4-х, что весь этот так называемый подъем русского национального духа за славян был не только подделан известными лицами и поддержан про-дажными журналистами, но и подделан вопреки, так сказать, самых основ... И наконец, в-5-х, что все варварства и неслыханные истязания, совершенные над славянами, не могут возбуждать 20 в нас, русских, непосредственного чувства жалости и что «такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». Последнее выражено окончательно и категорически.

Таким образом, «чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся с огромным большинством русских людей. Взгляд его, впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы пригодился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлую зимой у нас в Петербурге и людям далеко не последним по общественному положению, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала. Отчего произошло столь 30 мрачное обособление Левина и столь угрюмое отъединение в сторону — не могу определить. Правда, это человек горячий, «бесспокойный», всеанализирующий и, если строго судить, ни в чем себе не верующий. Но все-таки человек этот «сердцем чистый», и я стою на том, хотя трудно и представить себе, какими таинственными, а подчас и смешными путями может проникнуть иной раз самое неестественное, самое выделанное и самое безобразное чувство в иное в высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочем, замечу еще, что хотя и утверждают многие, и даже я сам ясно вижу (как и сообщил выше), что в лице Левина автор во многом выражает свои собственные убеждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть не насилино и даже явно жертвуя иногда при том художественностью, но лицо самого Левина, так, как изобразил его автор, я всё же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю. Говорю это, находясь в некотором горьком недоумении, потому что хотя очень многое из выраженного автором, в лице Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, как художественно изображенного типа, но всё же не того ожидал я от такого автора!

II. ПРИЗНАНИЯ СЛАВЯНОФИЛА

Да, не того. Здесь я принужден выразить некоторые чувства мои, хотя и положил было, начиная с прошлого года издавать мой «Дневник», что литературной критики у меня не будет. Но чувства не критика, хотя бы и высказал я их по поводу литературного произведения. В самом деле, я пишу мой «дневник», то есть записываю мои впечатления по поводу всего, что наиболее поражает меня в текущих событиях, — и вот я, почему-то, намеренно предписываю сам себе придуманную обязанность не-пременно скрывать и, может быть, самые сильнейшие из переживаемых мною впечатлений лишь потому только, что они касаются русской литературы. Конечно, в основе этого решения была и верная мысль, по буквенному исполнению этого решения наверно, я вижу это, уже потому только, что тут буква. Да и литературное-то произведение, о котором я умолчал до сих пор, для меня уже не просто литературное произведение, а целый *факт* уже иного значения. Я, может быть, выражусь слишком наивно, но, однако же, решаюсь сказать вот что: этот *факт* впечатления от романа, от выдумки, от поэмы совпал в душе моей, нынешней весною, с огромным фактом объявления теперь идущей войны, 20 и оба факта, оба впечатления нашли в уме моем действительную связь между собою и поразительную для меня точку обоюдного соприкосновения. Вместо того чтобы смеяться надо мною, выслушайте меня лучше.

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский *действительно* дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину 40 уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений за-

падноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я.

Тут трунить и смеяться опять-таки нечего: слова эти старые, вера эта давнишняя, и уже одно то, что не умирает эта вера и не умолкают эти слова, а, напротив, всё больше и больше крепнут, расширяют круг свой и приобретают себе новых adeptов, новых убежденных деятелей, — уж одно это могло бы заставить наконец противников и пересмешников этого учения взглянуть на него хоть немноже серьезнее и выйти из пустой, закаменевшей в себе враждебности к нему. Но об этом пока довольно. Дело в том, что весною поднялась наша великая война для великого подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на все временные неудачи, отдаляющие разрешение дела, а будет-таки доведен до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полного и вожделенного конца именно в теперешнюю войну. Подвиг этот столь велик, цель войны столь невероятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена против нашего *коварства*, должна не верить тому, о чем объявили мы ей, начиная войну, и всячески, всеми силами должна вредить нам и, соединившись с врагом нашим хотя и не явным, не формальным политическим союзом, — враждовать с нами и воевать с нами, хотя бы тайно, в ожидании явной войны. И всё, конечно, от объявленных намерений и целей наших! «Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства»; не покорять, не приобретать, не расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забитых, дать им новую жизнь для блага их и человечества. Ведь как ни считай, каким скептическим взглядом ни смотри на это дело, а в сущности цель ведь эта, эта самая, и вот этому-то и не хочет поверить Европа! И поверьте, что не столько пугает ее предполагаемое усиление России, как именно то, что Россия способна предпринимать такие задачи и цели. Заметьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не только как за варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной на низость и глупость затеять в наш век что-то вроде преждебывших в темные века крестовых походов, но даже и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий будто бы ее великой цивилизации. Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже *друзья наши*, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявили, что *рады нашим неудачам*. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтобы из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия...

Но и об этом после. Заговорил я, главное, о впечатлении,

которое должны были ощутить в себе все верующие в будущее великое, общечеловеческое значение России нынешнею весною, после объявления этой войны. Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтобы дать жизнь и свободу, а не отнять их, — эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их. Это была уже не мечта, не гадание, а действительность, начавшая совершаться. «Если уже начало совершаться, то дойдет и до конца, до того великого нового слова, которое Россия, во главе союза славян, скажет Европе. И даже самое слово это уже начало сказываться, хотя Европа еще далеко не понимает его и долго будет не верить ему». Вот как думали «верующие». Да, впечатление было торжественное и знаменательное, и, разумеется, вера верующих должна была еще больше закалиться и окрепнуть. Но, однако же, началось дело столь важное, что и для них настали тревожные вопросы: «Россия и Европа! Россия обнажает меч против турок, но кто знает, может быть, столкнется и с Европой — не рано ли это? Столкновение с Европой — не то что с турками, и должно совершиться не одним мечом», так всегда понимали верующие. 20 Но готовы ли мы к другому-то столкновению? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у нас-то понимают ли все его? Вот мы, верующие, пророчествуем, например, что лишь Россия заключает в себе начала разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братии, без боя и без крови, без ненависти и зла, но что скажет она это слово, когда уже Европа будет залита своею кровью, так как раньше никто не услышал бы в Европе наше слово, а п услышал бы, то не понял бы его вовсе. Да, мы, верующие, в это верим, но, однако, что пока отвечают нам у нас же, наши же русские? Нам отвечают они, что всё это 30 лишь исступленные гадания, конвульсионерство, бешеные мечты, припадки, и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов. Что же укажем мы им, пока, для подтверждения наших пророчеств? Освобождение ли крестьян — факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявления русской духовной силы? Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, всё яснее и яснее выходящего в наше время наружу из-под всего, что давило его веками, и несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и искаляет черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; 40 нам опять ответят, что все эти факты опять-таки наше конвульсионерство, бешеная мечта, а не факты, и что толкуются они многоразлично и сбивчиво и доказательством ничему, покамест, служить не в силах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь не понимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы — сталкиваемся с Европой! Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистни-

Кам Европы — эта самая Европа, эта «страна святых чудес»! Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и всё великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, всё более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, нам дорога эта страна — будущая мирная победа великого христианского духа, сохранившегося на Востоке... И в опасении столкнуться с нею в текущей войне, мы всего более боимся, что Европа не поймет нас и по-прежнему, по-всегдашнему, встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, всё еще как диких варваров, недостойных говорить перед нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажем или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, по-видимому, еще так мало чего-нибудь, что могло бы быть ей *понятно* и за что бы она нас уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося 20 «нового слова» она долго, слишком долго еще не поймет. Ей надо фактов *теперь* понятных, понятных на ее *теперешний* взгляд. Она спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас. Где *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?»

III. «АННА КАРЕНИНА» КАК ФАКТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

И вот тогда же, то есть нынешней же весною, раз вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, всё как-нибудь на 30 улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою». По крайней мере, критика, вслед за публикой, отдельила их особо, перед всеми остальными беллетристами, и так это пребывает уже довольно давно, — всё тот же пяточ, «плеяда» не расширяется. Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. В этот раз было об чем говорить, война уже начиналась. Но он тотчас же и прямо заговорил об «Анне Карениной». Я тоже только что успел прочитать седьмую часть, которую закончился роман в «Русском вестнике». Собеседник мой на вид человек не восторженный. На этот раз, однако, он поразил меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнения об «Анне Карениной».

— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?

Меня поразило, главное, то в этом приговоре, который я и сам вполне разделял, что это указание на Европу как раз пришлось к тем вопросам и недоумениям, которые столь многим представлялись тогда сами собой. Книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того ¹⁰ искомого факта, па который мы могли бы указать Европе. Разумеется, возопят смеясь, что это — всего лишь только литература, какой-то роман, что смешно так преувеличивать и с романом являться в Европу. Я знаю, что возопят и засмеются, но не беспокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я сам знаю, что это пока всего лишь только роман, что это только одна капля того, чего нужно, но главное тут дело для меня в том, что эта капля уже есть, дана, действительно существует, взаправду, а стало быть, если она уже есть, если гений русский мог родить этот *факт*, то, стало быть, он не обречен на бессилие, может ²⁰ творить, может давать *свое*, может начать *свое* собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки. Притом это далеко не капля только. О, я и тут не преувеличиваю: я очень знаю, что не только в одном каком-нибудь члене этой плеяды, но и во всей-то плеяде не найдете того, строго говоря, что называется гениальною, творящею силою. Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частично Гоголь. Вся же плеяда эта (и автор «Анны Карениной» в том числе) вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще ³⁰ не понятого и не растолкованного. В Пушкине две главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — *всемирность* России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не как мечтание или пророчество, но исполнена *им на деле*, заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими. Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления («Пир во время чумы»), он и поэт Востока. Всем этим пародам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может *перевоплощаться* в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана *всемирность*, даро познание в будущем постигнуть и объединить все многоразличие национальностей и снять все противоречия их. Другая мысль Пушкина — это поворот его к народу и упование

единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый, па деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем, указаны им. Да к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их. «Анна Каренина» — вещь, конечно, не новая по идеи своей, не неслыханная у нас доселе. Вместо нее мы, конечно, могли бы указать Европе прямо на источник, то есть на самого Пушкина, как на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русского гения и права его на величайшее мировое, общечеловеческое и всеединящее значение в будущем. (Увы, сколько бы мы ни указывали, а наших долго еще не будут читать в Европе, а и станут читать, то долго еще не поймут и не оценят. Да и оценить еще они совсем не в силах, не по скучности способностей, а потому, что мы для них совсем другой мир, точно с луны сошли, так что им даже самое существование паше допустить трудно. Всё это я знаю, и об «указании Европе» говорю лишь в смысле нашего собственного убеждения в нашем праве перед Европой на самостоятельность нашу.) Тем не менее «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее 30 своей это уже нечто наше, наше *свое* родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слыхать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Я не могу пуститься здесь в литературную критику и скажу лишь небольшое слово. В «Аппе Карениной» приведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взяты люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление 40 и гибнут неотразимо: как видно, мысль па любимейшую и стариннейшую из европейских тем. Но как, однако же, решается такой вопрос в Европе? Решается он там повсеместно двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека па высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общежитии. Этому выработанному кодексу повелевается следо-

вать слепо. Кто не последует, кто преступит его — тот платит свободою, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно. «Я знаю, — говорит сама их цивилизация, — что это и слепо, и бесчеловечно, и невозможно, так как нельзя выработать окончательную формулу человечества в середние пути его, но так как другого исхода нет, то и следует держаться того, что написано, и держаться буквально и бесчеловечно; не будь этого — будет хуже. С тем вместе, несмотря на всю ненормальность и нелепость устройства того, что называем мы нашей великой европейской цивилизацией, тем не менее пусть силы человеческого духа пребывают здравы и невредимы, пусть общество не колеблется в вере, что оно идет к совершенству, пусть не смеет думать, что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накопляющеюся ложью!» Другое решение обратное: «Так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и преступления пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить всё общество и снести старый порядок как бы метлой. Затем начать всё новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые всё же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заключают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку». Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западноевропейский мир не представляет.

30

Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно, и от виновности и преступности. Выражено это в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиною и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределены и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью

своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви. А чтобы не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в гениальной

10 сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, всё простивших друг другу, в существа, которые сами, взаимным всепрощением, сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло, овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализирует всякую силу 20 сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимающим душой вместо света, — в этой картине — столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и вес, что, конечно, он воскликнет, в страхе и недоумении: «Нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам», — и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже *сознательно* отверг его. К букве, по крайней мере, не прибегнет...

Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли 30 и исполнения, то почему у нас не может быть *впоследствии* и *своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Всё остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени. Так могли бы рассудить наши, по крайней мере, европейцы, в ожидании, пока рассудят европейские европейцы...

IV. ПОМЕЩИК, ДОБЫВАЮЩИЙ ВЕРУ В БОГА ОТ МУЖИКА

40 Теперь, когда я выразил мои чувства, может быть, поймут, как подействовало на меня отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела и парадоксальная неправда, возведенная им на народ в его несчастной восьмой части, изданной им отдельно. Он просто отнимает у народа всё его драгоценнейшее, лишает его главного смысла его жизни. Ему бы

несравненно приятнее было, если б парод наш пе подымался повсеместно сердцем своим за терпящих за веру братий своих. В этом только смысле он и отрицает явление, несмотря на очевидность его. Конечно, всё это выражено лишь в фиктивных лицах героев романа, но, повторю это, слишком видно рядом с ними и самого автора. Правда, книжка эта искренняя, говорит автор от души. Даже самые щекотливые вещи (а там есть щекотливые вещи) улеглись в ней совсем как бы невзначай, так что несмотря на всю их щекотливость вы их принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малейшей кривизны. Тем не ¹⁰ менее книжку эту я все-таки считаю вовсе пе столь невинною. Теперь она, разумеется, не имеет и не может иметь никакого влияния, кроме как разве поддакнет еще раз некоторой отмежеванной кучке. Но такой факт, что такой автор так пишет, очень грустен. Это для будущего грустно. А впрочем, примусь лучше за дело: мне хочется возразить, укажу на то, что меня особенно поразило.

Прежде, впрочем, расскажу про Левина — очевидно, главного героя романа; в нем выражено положительное, как бы противу-²⁰ положность тех пепормальностей, от которых погибли или пострадали другие лица романа, и он, видимо, к тому и предназначался автором, чтобы все это в нем выразить. И, однако же, Левин все сще не совершенен, все еще чего-то недостает ему, и этим надо было заняться и разрешить, чтоб уж никаких сомнений и вопросов Левин более собою не представлял. Читатель впоследствии поймет причину, почему я на этом останавливаюсь, не переходя прямо к главному делу.

Левин счастлив, роман кончился к пущей славе его, но ему недостает еще внутреннего духовного мира. Он мучается вековечными вопросами человечества: о боге, о вечной жизни, о добре ³⁰ и зле и проч. Он мучается тем, что он не верующий и что не может успокоиться на том, на чем все успокаиваются, та есть на интересе, на обожании собственной личности или собственных идолов, на самолюбии и проч. Прппзак великодушия, не правда ли? Но от Левина и ожидать нельзя было меньше. Оказывается кстати, что Левин много прочитал: ему знакомы и философы, и позитивисты, и просто естественники. Но ничто не удовлетворяет его, а, напротив, еще больше запутывает, так что он, в свободное по хозяйству время, убегает в леса и рощи, сердится, даже не столь ценит свою Кити, сколько бы надо ценить. И вот вдруг он ⁴⁰ встречает мужика, который, передавая ему о двух, различных нравственною стороною своею мужиках, Митюхе и Фоканыче, выражается так:

— ...Митюхе как не выручить! Этот нажмет да свое выберет. Он христианина не пожалеет, а дядя Фоканыч разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где и спустит. Аи и не доберет, тоже человеком.

— Да зачем же он будет спускать?

— Да так, значит — люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, — а Фокапыч — правдивый старик. Он для души живет, бога помнит.

— Как бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.

— Известно как, по правде, по-божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека.

— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому.

10 Он, впрочем, побежал опять в лес, лег под осинами и начал думать почти в каком-то восторге. Слово было найдено, все веко-вечные загадки разрешены, и это одним простым словом мужика: «Жить для души, бога помнить». Мужик, разумеется, не сказал ему ничего нового, всё это он давно уже сам знал; но мужик всё же навел его на мысль и подсказал ему решение в самый щекотливый момент. За сим наступает ряд рассуждений Левина, весьма верных и метко выраженных. Мысль Левина та: к чему искать умом того, что уже дано самою жизни, с чем родится каждый человек и чему (поневоле даже) должен следовать и сле-
20 дует каждый человек. С совестью, с понятием о добре и зле каж-
дый человек рождается, стало быть, рождается прямо и с целью жизни; жить для добра и не любить зла. Рождается с этим и мужик и барин, и француз и русский и турок — все чтут добро (NB. хотя многие ужасно по-своему). Я же, говорит Левин, хотел всё это познать математикой, наукой, разумом, или ждал чуда, между тем это дано мне даром, рождено со мною. А что оно дано даром, то этому есть прямые доказательства: все на свете пони-
мают или могут понять, что надо любить ближнего как самого себя. В этом знании, в сущности, и заключается весь закон чело-
30 веческий, как и объявлено нам самим Христом. Между тем это знание прирожденно, стало быть, послано даром, ибо разум ни за что не мог бы дать такое знание, — почему? да потому, что «любить ближнего», если судить по разуму, выйдет неразумно.

— Откуда взял я это? (спрашивает Левин). Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверили, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за су-
ществование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого
40 не мог открыть разум, потому что это неразумно.

Далее представилась Левину недавняя сцена с детьми. Дети стали жарить малину в чашках на свечах и лить себе молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, стала им внушать, что если они испортят посуду и разольют молоко, то не будет у них ни посуды, ни молока. Но дети, очевидно, не поверили, потому что не могли себе и представить «всего объема того, чем они пользуются, а потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут».

«Это всё само собой, — думали они, — интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет. И всегда всё одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово; а нам хочется выдумывать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малярину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем не хуже, чем пить из чашек».

«Разве не то же самое делаем мы, делал я, разумом отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека?» — продолжал Левин.

«И разве не то же делают все теории философские, путем мысли странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без того и жить бы не мог. Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его, главный смысл жизни и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно. 10

Ну-ка, пустить одних детей, чтоб они сами приобрели, сделали посуду, подогрели молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы с голода померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстиами, мыслями, без понятия о едином боже и творце! Или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. 20

Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь!

Мы только разрушаем, потому что духовно сыты. Именно дети!»

Одним словом, сомнения кончились, и Левин уверовал, — во что? Он еще этого строго не определил, но он уже верует. Но вера ли это? Он сам себе радостно задает этот вопрос: «Неужели это вера?» Надобно полагать, что еще нет. Мало того: вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера. Левин любит себя называть народом, но это барич, московский барич средне-высшего круга, историком которого и был по преимуществу граф Л. Толстой. Хоть мужик и не сказал Левину ничего 30 нового, по всё же он его натолкнул на идею, а с этой идеи и началась вера. Уж в этом-то одном Левин мог бы увидеть, что он не совсем народ и что нельзя ему говорить про себя: я сам народ. Но об этом после. Я хочу только сказать, что вот эти, как Левин, сколько бы ни прожили с народом или подле парода, по народом вполне не сделаются, мало того — во многих пунктах так и не поймут его никогда вовсе. Мало одного самомнения или акта воли, да еще столь причудливой, чтоб захотеть и стать народом. Пусть он помещик, и работящий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит и телегу запрячь умеет, и знает, что к сотовому меду 40 огурцы свежие подаются. Все-таки в душе его, как он ни старится, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать праздношатайством — тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое, как он пи крепись, а всё же досталось ему по наследству и которое, уж конечно, видит во всяком барине народ, благо не нашими глазами смотрит. Но и об этом потом. А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок, и разом всё рухнет. Китя пошла и споткнулась, так вот зачем она споткнулась? Если споткнулась, значит, и не могла не споткнуться; слишком ясно 50 видно, что она споткнулась потому-то и потому-то. Ясно, что всё

тут зависело от законов, которые могут быть строжайше определены. А если так, то, значит, всюду наука. Где же промысел? Где же роль его? Где же ответственность человеческая? А если нет промысла, то как же я могу верить в бога, и т. д. и т. д. Берите прямую линию и пустите в бесконечность. Одним словом, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе он не был бы современным русским интеллигентным барином, да еще средне-высшего дворянского круга.

Он доказывает это блестательно всего какой-нибудь час спустя по приобретении веры; он доказывает, что русский народ вовсе не чувствует того, что могут чувствовать вообще люди, он разрушает душу народа самым всевластным образом, мало того, — объявляет, что сам не чувствует никакой жалости к человеческому страданию. Он объявляет, что «непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть» — то есть не только у него, но и у всех русских не может быть: я, дескать, сам народ. Слишком уже они дешево ценят русский народ. Старые, впрочем, оценщики. Не прошло и часу по приобретении веры, как пошла опять жариться малина на свечке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ САМОЛЮБИЯ

Прибежали дети и объявляют Левину, что приехали гости, — «один вот так размахивает руками». Оказывается, что гости из Москвы. Левин сажает их под деревьями, приносит им сотового меду с свежими огурцами, и гости тотчас же принимаются за мед и за Восточный вопрос. Всё происходит, видите ли, прошлого года, — помните: Черняев, добровольцы, пожертвования. Разговор быстро разгорается, потому что все неудержимо стремятся к главному. Собеседники, кроме дам, во-первых, один из Москвы профессорчик, человек милый, но глуповатый. Затем следует человек (с тем он и выставлен) огромного ума и познаний, Сергей Иванович Кознышев, единогубранный брат Левина. Характер этот проведен в романе искусно и под конец понятен (сороковых годов человек). Сергей Иванович только что бросился, всецело и с азартом, в славянскую деятельность, и комитетом на него много возложено, так что трудно и представить себе, вспоминая прошлое лето, как он мог бросить дело и приехать на целые две недели в деревню. Правда, в таком случае не было бы и разговора на пчельнике о народном движении, а стало быть, и всей восьмой части романа, которая для одного этого разговора и написана. Видите ли, этот Сергей Иванович, месяца два или три перед тем, издал в Москве какую-то ученую книгу о России, которую давно готовил и на которую возлагал большие надежды, но книга вдруг лопнула, и лопнула со срамом, никто-то об ней ничего не сказал,

прошла незамеченная. И вот тут-то Сергей Иванович и бросился в славянскую деятельность, и с таким жаром, какого от него и ожидать нельзя было. Выходит, стало быть, что бросился не натурально; весь его жар к славянам — *ambition rentrée*,¹ не более, и вы ясно предчувствуете, что Левин уже и не может не остаться над таким победителем. Сергей Иванович и в прежних частях проведен был в комическом виде весьма искусно; в восьмой же части становится уже окончательно ясным, что он и задуман-то был единственно для того, чтобы в конце романа послужить пьедесталом для величия Левина. Но лицо очень удачное.

10

Зато из неудачнейших лиц — это старый князь. Он тут же сидит и толкует о Восточном вопросе. Неудачный и во всем романе, а не то что в одном Восточном вопросе. Это одно из положительных лиц романа, предназначенных выразить собою положительную красоту, — пу, разумеется, не греша против реализма: он и с слабостями, и чуть ли не с смешными сторонами, но зато почтенный, почтенный. Он и добrosерд романа, он и здравомысл, по не фонвизинский какой-нибудь здравомысл, который как уже заладит, так точно осел ученый: одно здравомысле и ничего более. Нет, тут и юмор и вообще человеческие стороны. Забавное же 20 в том, что этот старый человек предназначен выражать собою остроумие. Пройдя школу жизни, отец многочисленных, хотя уже и пристроенных детей, он, под старость, взирает на всё кругом него с тихою улыбкою мудреца, но с улыбкою, далеко, однако, не столь кроткою и безобидною. Он даст совет, но берегитесь игры ума его: отбреет. И вот вдруг тут случилось одно несчастье: предназначенный к остроумию здравомысл, бог знает отчего, вышел вовсе неостроумен, а, напротив, даже и пошловат. Правда, он всё порывается, равно как и во весь роман, сказать что-нибудь остроумное, но так и остается при одном желании, ровнешенько ничего 30 не выходит. Читатель из деликатности готов наконец зачесть ему эти попытки и, так сказать, потуги остроумия за самое остроумие, но гораздо хуже то, что это же самое лицо, в восьмой, отдельно вышедшей части романа, предназначено выразить вещи, положим, опять-таки не остроумные (в этом старый князь твердо выдерживает свой характер), но зато вещи цинические и хульные на часть нашего общества и на народ наш. Вместо добросерда является какой-то клубный отрицатель как русского народа, так и всего, что в нем есть хорошего. Слышится клубное раздражение, стариковская желчь. Впрочем, политическая теория старого князя 40 искони не нова. Это стотысячное повторение того, что мы и без него поминутно слышим:

— Вот и я, — сказал князь. — Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до болгарских ужасов никак не понимал, почему все русские так вдруг полюбили братьев славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод (это, видите ли,

¹ затаенное честолюбие (*franç.*).

он острит: вообразить только, что он думает про себя, что он урод!), или что так Карлсбад на меня действует (сугубая острота). Но, приехав сюда, я успокоился (еще бы!), я вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами...

Вот она где глубина-то! Надо интересоваться только Россией. Так что вспоможение славянам прямо признается не русским делом; признавал бы он его русским делом — не говорил бы он, что надо интересоваться только Россией, так как интересоваться славянами само собою означало бы тогда интересоваться самой Россией и назначением ее. Характер воззрения князя состоит, стало быть, в узости понимания русских интересов. Этого как не слыхать, это тысячу раз услышишь, а в иных сферах так только это и слышишь. Но вот, однако же, нечто гораздо злокачественнее; это разговор, который был за несколько минут прежде. Старый князь спрашивает Сергея Ивановича:

— ... ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют?..

— С турками, — спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович...

— Да кто же объявил войну туркам? Иван Иванович Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?

Вот и проговорился. Вы понимаете, что он к тому и вел и для этого, может быть, и приехал поскорее из Карлсбада. Но это вопрос уже другого сорта, и то, что князь об этом заговорил, как будто даже и не хорошо. Конечно, и это идея не новая, но зачем же она опять повторяется? Прошлой зимой и очень даже многие, кому надо было, утверждали, что кто-то в России объявил войну туркам. Это выставляли; но идея походила, погуляла и назад воротилась к изобретателям. Потому что ровно никто в России прошлого года не объявлял войны туркам и утверждать это — по меньшей мере *преувеличение*. Правда, Сергей Иванович далее отшучивается, но наивный и честный Левин, как настоящий *enfant terrible*,¹ прямо высказывает то, что у князя на уме.

— Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, — сказал Сергей Иванович.

— Но князь говорит не о помощи, — сказал Левин, заступаясь за тестя, — а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства.

Видите ли теперь, о чем заботится Левин? Дело ставится уже совсем прямо, разъяснено сверх того глупой выходкой Катавасова. Вот что говорит Левин далее:

— Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится

¹ невозможный ребенок (*франц.*).

к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке, и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.

Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.

— В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не испытывает волн граждан, и тогда общество заявляет свою волю, — сказал Катавасов.

Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения...

Одним словом, указывается и поддерживается, что действительно кем-то была в России объявлена война туркам прошлого года, мимо правительства. С его умом, Левин мог бы догадаться, что Катавасов дурачок, что Катавасовых везде найдешь, что прошлогоднее движение было именно противоположно идеям Катавасовых, потому что было русское, национальное, настоящее паше, а не игра в какую-то оппозицию. Но Левин стоит на своем, он ведет свое обвинение до конца; дорога ему не истина, а то, что он придумал. Вот какими рассуждениями заканчивает он свои мысли на этот счет:

... Он (Левин) говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим 20 свою мысль в предании о призвании варягов: «Княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем». А теперь народ, по словам Сергея Иванычей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой, права.

Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?..

Слышиште? И никакие соображения не сбивают этих господ с толку, никакие самые очевидные факты. Я сказал уже, что 30 лучше, если б князь и Левин таких обвинений совсем не делали; но кто же не видит, что один — оскорбленное самолюбие, а другой парадоксалист. Впрочем, может быть, и Левин оскорбленное самолюбие, потому что неизвестно, чем может вдруг оскорбляться самолюбие людей! А между тем дело ясное, обвинение вздорное, да и не может быть такого обвинения, потому что оно вовсе не может существовать. Не те были вовсе факты.

II. TOUT CE QUI N'EST PAS EXPRESSÉMENT PERMIS EST DÉFENDU¹

Война была объявлена Турции, в прошлом году, не Российской 40 и не в России, а в славянских землях, славянскими владельцами князьями, то есть государями, князем Миланом Сербским и князем Николаем Черногорским, ополчившимися на Турцию за неслыханные притеснения, зверства, грабежи и избиения под-

¹ Всё, что не дозволено особенно настойчиво, надо считать запрещенным (франц.).

властных ей славян, в том числе герцеговиццев, вынужденных на конец этими самыми зверствами восстать против притеснителей. Неслыханные истязания и избиения, которым подверглись герцеговиццы, стали известны всей Европе. Известия об этих ужасах проникли и к нам в Россию, в интеллигентную публику и, наконец, в народ. По песлыханности своей они проникли всюду. Получались сведения, что сотни тысяч людей, старики, беременные женщины, оставленные на произвол дети, бросили свои жилища и устремились вон из Турции, в соседние земли, куда попало, без хлеба, без крова, без одежды, в последнем животном страхе само-сохранения. Князья, церковь, предстоятели церкви возвысили за несчастных голос и стали сбирать для них подаяние. Начал давать им и наш народ, жертвы стекались в определенные места, в редакции журналов, в отделы бывших славянских комитетов — и в этом вовсе ничего не было незаконного, противправительственного или безнравственного. Напротив, смело можно сказать, что было лишь одно хорошее. Что же до славянских князей, затевших войну с Турцией, то ни Россия и никто в России в этом не были виноваты. Правда, один из этих владетелей, именно князь Милан Сербский, был владетелем не вполне независимым; напротив, обязан был султану некоторой вассальной подчиненностью, так что в одной из русских газет его горько упрекали за то, что он, так сказать, бунтовщик, и, чтоб уж совершенно сконфузить и пристыдить его, написали, что он восстал против своего «сюзерена». Но всё это опять-таки было собственным делом князя Милана, за которое ему одному и следует отвечать. Россия же и никто в России войны прошлого года не объявляли, а стало быть, ровно ничем перед султаном не согрешили. А пожертвования между тем всё стекались да стекались, но это уже совсем другое.

Но вот вдруг один из русских генералов, на то время без занятий, человек еще не старый, всего только генерал-майор, но уже несколько известный по прежним, довольно успешным действиям своим в Средней Азии, отправился по своей собственной охоте в Сербию и предложил князю Милану свои услуги. На службу он был принят и зачислен, но вовсе не главнокомандующим сербскою армией, как пронесся было у нас о том слух в России, долго державшийся. Вот тут-то и начались русские добровольцы, которые, впрочем, несомненно и прежде были, то есть до Черняева; вместе с тем усилились сборы пожертвований, на которые поднялась вся Россия. Всех добровольцев, за весь прошлый год, было не бог знает сколько, очень не много тысяч, но провожала их в Сербию решительно вся Россия, и особенно народ, настоящий народ, а не стрюцкие, как особенно настаивает на том озлобленный Левин; стрюцкими он считает и добровольцев. Но это было не так, дело это не в углу происходило, дело это всем известно, все могли видеть и убедиться, и все, то есть вся Россия, решили, что дело это — хорошее дело. Со стороны народа объявились столько благородного, умилительного и сознательного, что всё

прошлогоднее движение это, русского парода в пользу славян, несомненно останется одною из лучших страниц в его истории. Впрочем, защищать народ против Левиных, доказывать Левиным, что это были не стрюцкие и не воздыхатели, а, напротив, созидающие свое дело люди, — доказывать всё это, по-моему, совершенно лишнее и не нужное, мало того, — даже для народа и унизительное. Главное же в том, что всё это происходило открыто, у всех на виду: объявлялись факты поражающие, характерные, которые записались, запомнились и не забудутся, и оспорены быть уже не могут. Но о народе потом, что же до добровольцев, то как не слу-¹⁰ читься в их числе, рядом с высочайшим самоотвержением в пользу ближнего (Н. Киреев), и просто удалству, прыти, гульбе и проч. и проч. Всё произошло, как всегда и везде происходит. Правда, не сочтено еще, сколько и из этих гуляк-пьяниц, болтавшихся людей, если только такие были в числе добровольцев, положили там далеко живот свой за великодушное дело, а потому и на них нечего бы было столь порицательно и даже ругательно восставать. Но утверждать, что прошлогодние добровольцы были сплошь гуляки, пьяницы и люди потерянные, — по меньшей мере не имеет смысла, ибо, опять-таки повторяю, дело это не в углу ²⁰ происходило, и все могли видеть. Но, во всяком случае, объявление войны, в прошлом году, соседней державе, кем-нибудь из русских помимо правительства, положительно не было. Иван Иванович Рагозов и графиня Лидия Ивановна и не могли бы объявить войну туркам, если б даже и хотели. Мало того, они даже добровольцев не подымали, никого не заманивали, не нанимали, а всякий шел добровольно вполне, что решительно всем известно. Но что помогали они добровольцам и сверх того посылали в славянские земли деньги для помощи несчастным, измученным и изувеченным и, сверх того, помогали деньгами же восставшим их ³⁰ защищать — это было, о, это было, и даже вместе с самым ревностным пожеланием, чтоб кровопийцы турки сломали себе шею, — да, это в высшей степени было! Но весь вопрос в том: объявление ли это войны? Если же нет, то запрещено всё это или нет правительством, то есть запрещено ли помогать сражающимся за христиан деньгами и желать, чтоб турки сломали себе шею? Опять-таки никак не думаю, чтоб было запрещено, ибо дело это было открытое, все видели, все участвовали, а добровольцы получали свои заграничные паспорты от правительства же. Я не знаю, впрочем, может быть, и есть такой закон, «что частные ⁴⁰ люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства», то есть не могут вступать без особого разрешения своего правительства в службу к иноземным государям. Может быть, действительно существует какой-нибудь такой закон, очень старый, но еще не отмененный; но правительство всегда могло бы и само воспользоваться этим законом, чего же тут Левину-то? Ему-то что во всем этом? Между тем он именно этим-то и волнуется...

— Pardon monsieur, mais il me semble que tout ce qui n'est pas expressément défendu est permis.

— Au contraire, m-r: tout ce qui n'est pas expressément permis est défendu.

То есть по-русски:

— Да, но мне кажется, что всё, что не особенно настойчиво запрещено, то можно бы считать дозволенным.

— Совсем напротив-с: всё то, что не особенно настойчиво дозволено, надо несомненно считать уже запрещенным.

10 Это краткий комический разговор человека порядка с человеком беспорядка, происходивший во Франции. Но ведь этот толковник порядка и поставлен у порядка, он объяснитель и защитник его, он уже такое лицо. А Левину-то что? Что он-то за специалист в этом роде? Он всё боится, чтоб не потерялось какое-то право. А между тем весь народ, сочувствуя угнетенным христианам, совершенно знал, что он прав, что он ничего не делает против воли царя своего, и сердцем своим был заодно с царем своим. Да, он знал это. Так точно думали и те, которые снаряжали добровольцев. Ни один не утешал себя, хотя бы втайпе, смешною мыслью, что он ведет дело против воли правительства. Царского слова ждали с терпением и с великою надеждою, и все предчувствовали его вперед и в нем не ошиблись. Обвинение в объявлении войны есть, одним словом, обвинение фантастическое, которое пало само собою и которое нельзя поддерживать.

20 Но Левин и князь от этого обвинения сами выгораживают народ. Они прямо отрицают участие народа в прошлогоднем движении, но зато прямо утверждают, что народ не понимал ничего, да и не мог понимать, что всё было искусственно возбуждено журналистами для приобретения подписчиков и нарочно подделано

30 Рагозовыми и проч., и проч.

— Личные мнения тут ничего не значат, — сказал Сергей Иванович. — Нет дела до личных мнений, когда вся Россия — народ выразил свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает, — сказал князь.

— Нет, папа... Как же нет? А в воскресенье в церкви? — сказала Долли, прислушавшаяся к разговору...

40 — Да что же в воскресенье в церкви? Священнику велели прочесть. Он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди, — продолжал князь. — Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, ну, они вынули по копейке и дали. А на что, они сами не знают.

Это мнение нелепое, идущее прямо против факта, и в устах князя оно легко объясняется: оно исходит от одного из прежних опекунов народа, от прежнего крепостника, который не мог, как бы ни был он добр, не презирать своих рабов и не считать себя безмерно выше их пониманием; «вздыхали, дескать, и ничего не попяли». Но вот мнение Левина, он, по крайней мере, выставлен не прежним крепостником.

— Мне не нужно спрашивать, — сказал Сергей Иванович, — мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают всё, чтобы послужить правому делу, приходят со всех концов России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит?

— Значит, по-моему, — сказал начинавший горячиться Левин, — что в восемьдесятмиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию... 10

— Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! — сказал Сергей Иванович с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. — А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.

— Это слово «народ» так неопределенно, — сказал Левин. — Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же 80 миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа? 20

Да и вообще надо бы здесь заметить, раз плавсегда, что слово «воля народа» в прошлогоднем движении его вовсе неуместно, да и ровно ни к чему не служит, потому что ничего точно не обозначает. Прошлого года не воля народа обозначилась, а великое сострадание его, во-первых, во-вторых, ревность о Христе, а в-третьих, собственное как бы покаяние его, вроде как бы говения — право, этак можно бы выразиться. Я это поясню ниже, но теперь прибавлю, что весьма рад, в устах Левина, таким выражениям про прошлогодних добровольцев, как *пойти в шайку Пугачева* и проч. По крайней мере, эти мысли я уже никак теперь 30 не могу приписать автору, чому и рад ужасно, ибо ясно понимаю, что автор вступил в свои права художника: он слишком почувствовал, что разгорячившийся ипохондрик Левин, как им же созданное художественное лицо, и не мог в данный момент спора не выдержать свой характер, то есть не закончить оскорбительнейшим ругательством свой отзыв как о добровольцах, так и об русском народе, их провожавшем. Тем не менее, так как обвинение народа, за прошлогоднее движение его, в глупости и в тупости действительно существовало и ходило, а намек пасчет шаек Пугачева действительно тоже наклевывался, то я здесь, кстати, и 40 решаюсь, по возможности в самых кратких словах, попробовать разъяснить: каким образом надобно понимать загадку *сознательности* прошлогоднего всенародного движения нашего на помощь славянам? Ибо из этого действительно составили целую загадку в известных кружках: «Как, дескать, народ только вчера услыхал о славянах, ничего-то он не знает, ни географии, ни истории, и на-вот — вдруг полез на стену за славян, полюбились они ему так вдруг очень!» За эту тему, кроме известных кружков, ухватились и седые старички, как старый князь, в клубах, и вот обрадовался сей, как видно, и Левин, так как сю очень можно поддержать и 50 предлагаемое им объяснение об искусственной подделке движе-

ния известными людьми для известных целей. Правда, выставляется Сергей Иванович как бы защитником против Левина сознательности народного движения, но защищает он дело свое плохо, тоже горячится, и вообще, как я уже и сказал, выставлен в комическом виде. Между тем дело это о сознательности и толковости народного чувства в пользу угнетенных христиан до того ясно, до того точно может быть определено, что я не мог не сблазниться, чтоб не выставить на вид: как надо, по-моему, понимать это дело для избежания путаницы и, в особенности, загадок?

10 III. О БЕЗОШИБОЧНОМ ЗНАНИИ НЕОБРАЗОВАННЫМ
И БЕЗГРАМОТНЫМ РУССКИМ НАРОДОМ ГЛАВНЕЙШЕЙ СУЩНОСТИ
ВОСТОЧНОГО ВОПРОСА

С самого начала народа русского и его государства, с самого крещения земли русской, начали устремляться из нее паломники во святые земли, ко гробу господню, на Афон и проч. Еще во время крестовых походов ходил в Иерусалим один игумен русский и был ласково принят королем Иерусалимским «Балдвином», что прекрасно описал в хождении своем. Затем паломничество на Восток, ко святым местам, не прекращалось и до наших 20 дней. Из русских же монахов есть и теперь в России весьма многие, живавшие на Афоне. Таким образом, темный и совершенно необразованный русский народ, то есть самые даже простые деревенские мужики, совершенно не зная истории и географии, знают, однако же, отлично, и уже очень давно, что святыми местами и всеми тамошними восточными христианами овладели нечестивые агаряне, магометане, турки и что жить христианам по всему Востоку чрезвычайно трудно и тяжело. Знает об этом русский народ сокрушением сердца; а такова уже русская народная черта, историческая, что покаянные подвиги хождения ко святым местам он издревле еще высоко ценил. Сердцем его всегда влекло туда, — черта историческая. Люди без гроша, старики, отставные солдаты, старые бабы, совершенно не зная географии, уходили из селений своих с нищенскими котомками своими за плечами, и действительно, иногда после бесчисленных бедствий, достигали святых земель. Когда же возвращались на родину, то рассказы их об их странствованиях благоговейно выслушивались. Да и вообще рассказы про «божественное» очень любит русский народ. Мужики, дети их, в городах мещане, купцы даже этих рассказов заслушиваются, с умилением и вздоханием. Например, 40 вопрос: кто читал Четы-Минеи? В монастыре кто-нибудь, из светских профессор какой-нибудь по обязанности или какой-нибудь старикашка-чудак, который постится и ходит ко всенощной. Да и достать их трудно: надо купить, а попробуйте попросите почитать на время в приходе — не дадут. И вот, верите ли вы тому, что по всей земле русской чрезвычайно распространено зна-

ище Четыи-Минеи — о, не всей, конечно, книги, — по распространен дух ее по крайней мере, — почему же так? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Четыи-Миней прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются. Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и вздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились изустно. В этих рассказах, и в рассказах про святые места, заключается для русского народа, так 10 сказать, нечто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притеснители, получали нередко странное и неудержанное желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом, исполнить давно данное обещание. Если не па Восток, пе в Иерусалим, то устремлялись ко святым местам русским, в Киев, к Соловецким чудотворцам. Некрасов, создавая своего великого «Власа», как великий художник, ие мог и вообразить его себе иначе, как в веригах, в покаянном скитальчестве. Черта эта в жизни народа нашего — историческая, па которую невозможно не обратить внимания, даже и потому только, что ее нет более 20 ни в одном европейском народе. Что из нее выйдет — сказать трудно, тем более что и к нашему народу надвигаются, через школы и грамотность, просвещение и несомненно новые вопросы, которые могут многое изменить. Но пока ею, и только ею одною, то есть этою только чертою, и возможно объяснить всю загадку сознательности прошлогоднего движения народа нашего в пользу «братьев-славян», как выражались прошлого года официально, а теперь как выражаются почти в насмешку. Про славян действительно народ наш почти ничего не знал, и не только один на тысячу, как выражается Левин, но на много тысяч один какой- 30 нибудь, может быть, слышал, как-нибудь мельком, что есть там какие-то сербы, черногорцы, болгары, единоверцы наши. Но зато народ наш, почти весь, или в чрезвычайном большинстве, слышал и знает, что есть православные христиане под игом Магометовым, страдают, мучаются и что даже самые святые места, Иерусалим, Афон, принадлежат иноверцам. Он даже двадцать с лишком лет тому назад мог слышать об истязуемых восточных христианах и о порабощенных святых местах, когда покойный государь начал свою войну с Турцией, а потом с Европой, кончившуюся Севастополем. Тогда тоже, в начале войны, пронеслось сверху слово 40 о святых местах, которое народ мог тоже с тех пор запомнить. Кроме того, еще задолго до прошлогоднего подъема пашего в пользу славян, начались истязания этих славян, и почти год как об этом уже говорили и писали в России, и я сам слышал, как в народе уже спрашивали даже тогда еще: «Правда ли, что турок опять подымается?» Кроме того (хотя это и отдаленное сопротивление), но мне кажется, что и время как бы всему этому способствовало, то есть прошлогоднему движению. Довольно

давно уж, отпосительно говоря, как последовало у нас освобождение крестьян, и вот прошли эти годы — и что же увидел в среде своей народ? Увидел он, между прочим, увеличившееся пьянство, умножившихся и усилившихся кулаков, кругом себя нищету, на себе нередко зверинный образ, — многих, о, многих, может быть, брала уже за сердце какая-то скорбь, покаянная скорбь, скорбь самообвинения, искания лучшего, святого... И вот вдруг раздается голос об угнетении христиан, об мучениях за церковь, за веру, о христианах, полагающих голову за Христа и идущих на крест (так как если бы они согласились отречься от креста и принять магометанство, то были бы все пощажены и награждены, — это-то уже, конечно, народу было известно). Поднялись возвзвания к пожертвованиям, затем пронесся слух про русского генерала, поехавшего помочь христианам, затем начались добровольцы, — всё это потрясло народ. Именно потрясло, как я выразился выше, как бы *призывом к покаянию, к говеню*. Кто не мог идти сам, принес свои гроши, но добровольцев все провожали, все, вся Россия. Старый князь, сидя в Карлсбаде, не мог понять этого движения и воротился в самый разгар его с юмором на устах. Но ведь что же мог понять в России и в русском человеке этот клубный старичок? Умный Левин мог бы понять гораздо более его, но его сбило с толку соображение, что народ не знает истории и географии, а главное, досада па то, что какие-то Рагозы объявляют войну, даже не спросясь его. Но объяснения войны не было, а со стороны народа было как бы всеобщее умилленное покаяние, жажды принять участие в чем-то святом, в деле Христовом, за ревнующих о кресте его, — вот всё что было. Так что движение-то было и покаянное и в то же время историческое. Заметьте себе, что, говоря про эту историческую черту русского народа, то есть про ревность его к «делу божию», ко святым местам, к угнетенному христианству и вообще ко всему *покаянному, божественному*, я ведь вовсе не думаю хвалить за это русский народ: я не хвалю и не хулю, я только констатирую факт, *которым многое объяснить можно*. Что же делать, что у нас есть такая историческая черта? Я не знаю, что из нее выйдет, но, очень может быть, что-нибудь и выйдет. В жизни народов всё важнейшее слагается всегда сообразно с их важнейшими и характернейшими национальными особенностями. Пока, например, у нас, из вышеуказанной исторической черты народа нашего, выходит, может быть, *каждый раз*, в войну России с султаном, сознательно-национальное отношение народа нашего ко всякой такой войне, так что нечего дивиться горячему участию народа в такой войне собственно потому только, что он не знает истории и географии. Что надо знать ему, он знает. О, наш народ — безграмотный невежда, это бесспорно, и ему даже в нравственном отношении можно бы насквозь превосходных и просвещеннейших вещей насчет столь застарелой в нем, древней исторической черты его. Этим русским людям можно бы было

разъяснить, что все их странствования, паломничества — суть только узкое понимание их долга и обязанностей; что нечего ходить за хорошим так далеко, что лучше было бы, если б он бросил пьянство, обратил внимание на умножение своего благосостояния, па прикопление экономических сил, не бил жену, обратил внимание на школы, на шоссейные дороги и проч. — одним словом, хоть чем бы нибудь способствовал, чтоб Россия, его отечество, стала наконец походить на другие «просвещенные европейские государства». Можно бы внушить, наконец, паломнику, что хождения его по святым местам богу вовсе не ¹⁰ падобны, потому, главное, что ни ему самому, ни семейству его и никому пользы никакой не припосят, а что, напротив, приносят даже вред, ибо странствующий, уходя надолго, оставляет свой дом, родину, в сущности для цели эгоистической, для спасения души своей, тогда как богу несравненно было бы приятнее, если б он употребил свой праздный досуг на какую-нибудь пользу ближнему: поспел бы на огороде, присмотрел бы за телятами и проч., и проч. Одним словом, можно бы наговорить много прекрасного; но что же, однако, делать, если так именно сложилась эта историческая черта и искание доброго ²⁰ приняло в народе нашем почти что *одну эту форму*, то есть форму *покаянную*, в паломническом или жертвенном виде? По крайней мере, в ожидании «просвещения», умный Левин мог бы зачесть народу эту *историческую черту его*. Он мог бы понять, по крайней мере, что многие добровольцы и народ, провожавший их, действовали из побуждения хорошего, думали дело сделать доброе (в этом нельзя же не согласиться!), а стало быть, во всяком случае, это были хорошие представители народа, конечно, не «блиставшие просвещением», но и не потерянные же люди, не бесшабашные, не стрюцкие, не за- ³⁰ болтавшиеся, а, напротив, даже, может быть, лучшие люди из народа. Дело это было ведено прямо, как Христово дело, а у многих, у очень многих в тайниках души их — именно как очистительное и покаянное дело. И пи один-то из всего этого народа не чувствовал себя за это дело виноватым перед царем своим! Напротив, знал, что милосердым сердцем своим царь-освободитель заодно с народом своим. Воли царевой, слова его все ждали в умилении и надежде, а мы, мы, сидя по углам наших, радовались еще про себя, что великий парод русский оправдал великую и вечную надежду нашу па него. А потому мозгли ли быть, хоть с какой-нибудь стороны, применено к нему и к его благородному и кроткому движению — сравнение с шайкой Пугачева, с коммунией и проч.! Именно только раздраженный до сотрясения шпохондрик Левин мог провозгласить это. Вот что значит обидчивость!

**IV. СОТРЯСЕНИЕ ЛЕВИНА. ВОПРОС:
ИМЕЕТ ЛИ РАССТОЯНИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ?
МОЖНО ЛИ СОГЛАСИТЬСЯ С МНЕНИЕМ ОДНОГО ПЛЕННОГО ТУРКА
О ГУМАННОСТИ НЕКОТОРЫХ НАШИХ ДАМ?
ЧЕМУ ЖЕ, НАКОНЕЦ, НАС УЧАТ НАШИ УЧИТЕЛИ?**

Но сотрясение идет еще далее: Левин прямо и назойливо провозглашает, что сострадания к мучениям славян, что «непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». Сергей Иванович говорит:

- 10 ...Тут пет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, пе единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтоб помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидел бы, что пьяные бьют женщину или ребенка, я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы обижаемого.
- Но не убил бы, — сказал Левин.
- Нет, ты бы убил.
- 20 — Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но *вперед сказать я не могу*. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.
- Может быть, для тебя пет. Но для других оно есть, — недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. — В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.
- Может быть, — уклончиво сказал Левин, — но я не вижу; я сам народ, и я не чувствую этого.

И опять: «Я сам народ». Повторю еще раз: всего только два часа тому, как этот Левин и веру-то свою получил от мужика, по крайней мере тот надоумил его, как верить. Я не восхваляю мужика и не унижаю Левина, да и судить не берусь теперь, кто из них лучше верил и чье состояние души было выше и развитее, пу и проч., и проч. Но ведь согласитесь сами, повторяю это, что уж из одного этого факта Левин мог бы догадаться, что есть же некоторая *существенная* разница между ним и народом. И вот он говорит: «Я сам народ». А почему он так уверен в том, что он сам народ? А потому, что запречь телегу умеет и знает, что огурцы с медом есть хорошо. Вот ведь люди! И какое са-
40 момнение, какая гордость, какая заносчивость!

Но всё же пе в том главное. Левин уверяет, что непосредственного чувства к угнетению славян *нет и не может быть*. Ему возражают, что «народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил», а он отвечает: «Может быть, но я не вижу; я сам народ, и я не чувствую этого!».

То есть сострадания? Заметьте, что спор Левина с Сергеем Ивановичем о сострадании и о непосредственном чувстве к угнетению славян ведется уклончиво и как бы с намерением, чтоб кончить победою Левина. Сергей Иванович спорит, например,

изо всех сил, что если б Левин шел и увидел, что пьяные бьют женщину, то он бы бросился освободить ее! «По не убил бы!» — возражает Левин. — «Нет, ты бы убил», — настаивает Сергей Иванович и, уж конечно, говорит вздор, потому что кто же, помогая женщине, которую бьют пьяные, убьет пьяных? Можно освободить и не убивая. А главное, дело вовсе идет не о драке на улице, сравнение неверно и неоднородно. Говорят о славянах, об истязаниях, пытках и убийствах, которым они подвергаются, и Левин слишком знает, что он говорит о славянах. Стало быть, когда он говорит, что он не знает, помог ли бы он, 10 что он не видит и *ничего не чувствует* и проч. и проч., то именно заявляет, что не чувствует сострадания к мучениям славян (а не к мучениям прибитой пьяными женщины), и настаивает, что непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть. Да так он буквально и выражается.

Здесь довольно любопытный психологический факт. Книга вышла всего $2\frac{1}{2}$ месяца назад, а $2\frac{1}{2}$ месяца назад уже совершенно известно было, что все бесчисленные рассказы о бесчисленных мучениях и истязаниях славян — совершенная истина, — истина, засвидетельствованная теперь тысячью свидетелей и очевидцев всех наций. То, что мы узнали в эти полтора года об истязаниях славян, пересиливает фантазию всякого самого болезненного и исступленного воображения. Известно, во-первых, что убийства эти не случайные, а систематические, парочно возбуждаемые и всячески поощряемые. Истребления людей производятся тысячами и десятками тысяч. Утонченности в мучениях таковы, что мы не читали и не слыхивали ни о чем еще подобном прежде. С живых людей сдирается кожа в глазах их детей; в глазах матерей подбрасывают и ловят на штык их младенцев, производится насилиничание женщин, и в момент насилия он прокалывает ее 30 кинжалом, а главное, мучат в пытках младенцев и ругаются над ними. Левин говорит, что он не чувствует *ничего* (!), и азартно утверждает, что непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть. Но смею уверить г-на Левина, что оно может быть и что я сам был тому уже неоднократно свидетелем. Я видел, например, одного господина, который о своих чувствах говорить не любит, но который, услышав, как одному двухлетнему мальчику, в глазах его сестры, прокололи иголкой глаза и потом посадили на кол, так что ребенок все-таки не скоро умер и еще долго кричал, — услышав про это, этот господин чуть не сдался болен, всю ту ночь не спал и два дня после того находился в тяжелом и разбитом состоянии духа, мешавшем его занятиям. Смею уверить при этом г-на Левина, что господин этот человек честный и бесспорно порядочный, далеко не стрюцкий и уж отнюдь не член шайки Пугачева. Я хотел только заявить, что непосредственное чувство к истязаниям славян существовать может, и даже самое сильное, и даже во всех классах общества. Но Левин настаивает, что его *не может и быть* и что сам он *ничего не*

чувствует. Это для меня загадка. Конечно, есть просто бесчувственные люди, грубые, с развитием извращенным. Но ведь Левин, кажется, не таков, он выставлен человеком вполне чувствительным. Не действует ли здесь просто расстояние? В самом деле, нет ли в иных натурах этой *психологической* особенности: «Сам, дескать, пе вижу, происходит далеко, пе вот ничего и не чувствую». Кроме шуток, представьте, что на планете Марс есть люди и что там выкалывают глаза младенцам. Ведь, может быть, пе было бы нам на земле жалко, по крайней мере так уж очень жалко? То же самое, пожалуй, может быть, и на земле при очень больших расстояниях: «Э, дескать, в другом полушарии, пе у нас!» То есть хоть он и не выговаривает это прямо, но так чувствует, то есть *ничего* не чувствует. В таком случае, если расстояние действительно так влияет на гуманность, то рождается сам собою новый вопрос: па каком расстоянии кончается человеколюбие? А Левин действительно представляет большую загадку в человеколюбии. Он прямо утверждает, что оп *не знает*, убил ли бы он:

Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному, но вперед сказать я не могу.

20 Значит, не знает, что бы он сделал! А между тем это человек чувствительный, и вот, как чувствительный-то человек, он и боится убить... турку. Представим себе такую сцену: стоит Левин уже па месте, там, с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть пголкой глазки ребенку, который уже у него в руках. Семилетняя сестренка мальчика кричит и как безумная бросается вырвать его у турка. И вот Левин стоит в раздумье и колеблется:

— Не знаю, что сделать. Я ничего не чувствую. Я сам народ. Непосредственного чувства к угнетению славян пет и не может 30 быть.

Нет, серьезно, что бы он сделал, после всего того, что нам вы сказал? Ну, как бы пе освободить ребенка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчас же из рук злодея турка?

— Да, вырвать, но ведь, пожалуй, придется больно толкнуть турка?

— Ну и толкни!

— Толкни! А как он пе захочет отдать ребенка и выхватит саблю? Ведь придется, может быть, убить турку?

— Ну и убей!

40 — Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку. Нет, уж пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кипти.

Вот как должен поступить Левин, это прямо выходит из его убеждений и из всего того, что он говорит. Он прямо говорит, что *не знает*, помог ли бы он женщине или ребенку, если бы приходилось убить при этом турку. А турок ему жаль ужасно.

— Двадцать лет тому назад мы бы молчали (говорит Сергей Иванович), а теперь слышим голос русского парода, который готов встать как один человек и готов жертвовать собой для угнетенных братьев; это великий шаг и задаток силы.

— Но ведь не жертвовать только, а убивать турок,— робко сказал Левин.— Народ жертвует и готов жертвовать для своей души, а не для убийства...

То есть, другими словами: «Возьми, девочка, деньги, жертву для души нашей, а уж братишке пусть выколют глазки. Нельзя же турку убивать...»

10

И потом дальше уже говорит сам автор про Левина:

...Он не мог согласиться с тем, чтобы десятки людей, в числе которых и брат его, имели право, на основании того, что им рассказали сотни приходивших из столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль парода, и такую мысль, которая выражается в *мщении и убийстве*.

Это несправедливо: *мщения* нет никакого. У нас и теперь ведется война с этими кровопийцами, и мы слышим только о самых гуманных фактах со стороны русских. Смело можно сказать, что немногие из европейских армий поступили бы с таким неприятелем так, как поступает теперь наша. Недавно только, в двух или трех из наших газет, была проведена мысль, что не полезнее ли бы было, и именно для уменьшения зверств, ввести репрессалии с отъявленно-улческими в зверствах и мучительствах турками? Они убивают пленных и раненых после неслыханных истязаний, вроде отрезывания носов и других членов. У них объявились специалисты истребления грудных младенцев, мастера, которые, схватив грудного ребенка за обе ножки, разрывают его сразу пополам на потеху и хохот своих товарищей башибузуков. Эта изолгавшаяся и исподлившаяся нация отирается от зверств, совершенных ею. Министры султана уверяют, что не может быть умерщвления пленных, ибо «коран запрещает это». Еще недавно человеколюбивый император германский с негодованием отверг официальную и лживую повсеместную жалобу турок на русские будто бы жестокости и объявил, что не верит им. С этой подлой нацией нельзя бы, кажется, поступать по-человечески, но мы поступаем по-человечески. Осмелюсь выразить даже мое личное мнение, что к репрессалиям против турок, уличенных в убийстве пленных и раненых, лучше бы не прибегать. Вряд ли это уменьшило бы их жестокости. Говорят, они и теперь, когда их берут в плен, смотрят испуганно и недоверчиво, *твердо убежденные*, что им сейчас станут отрезать головы. Пусть уже лучше велико-душное и человеколюбивое ведение этой войны русскими не омрачится репрессалиями. Но выкальывать глаза младенцам нельзя допускать, а для того, чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетенных накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз на всегда. Не беспокойтесь, когда их обезоружат, они будут делать и продавать халаты и мыло, как напи казанские татары, об чем

20

30

40

уже я и говорил, но чтобы вырвать из рук их оружие, падо вырвать его в бою. По бой не мщениe, Левин может быть за турка спокоен.

Левин мог бы быть и прошлого года за турка спокоен. Разве он не знает русского человека, русского солдата? Бонн пшшут, что солдат хоть и колет изверга турку в бою, но что видели, как с пленным турком он уже не раз делился своим солдатским рационом, кормил его, жалел его. И поверьте, что солдатик знал всё про турка, знал, что попался бы он сам к нему в плен, то этот же 10 самый пленный турок отрезал бы ему голову и вместе с другими головами сложил бы из них полумесец, а в средине полумесца сложил бы срамную звезду из других частей тела. Всё это знает солдатик и все-таки кормит измученного в бою и захваченного в плен турка: «Человек тоже, хоть и не християнин». Корреспондент английской газеты, видя подобные случаи, выразился: «Это армия джентльменов». И Левин лучше многих других мог бы знать, что это действительно армия джентльменов. Когда болгары в иных городах спрашивали его высочество главнокомандующего, как им поступать с имуществом бежавших турок, то он 20 отвечал им: «Имущество собрать и сохранить до их возвращения, поля их убрать и хлеб сохранить, взяв треть в вознаграждение за грудь». Это тоже слова джентльмена, и, повторяю, Левин мог бы быть спокоен за турок: где тут мщение, где репрессалии? Сверх того, Левин, столь тонко знающий русское общество, мог бы тоже сообразить, что турок спасет еще наш ложный европеизм и наше нелепое, выделанное и прямолинейное сантиментальничанье, столь нередкое в нашем образованном обществе. Слыхал ли Левин про наших дам, которые провозимы в вагонах пленным туркам бросают цветы, выносят дорогого табаку и конфект? Писали, что 30 один турок, когда тронулся опять поезд, громко хркнул и энергически плонул в самую группу гуманных русских дам, махавших отходящему поезду вслед платочками. Конечно, трудно согласиться вполне с мнением этого бесчувственного турка, и Левин может рассудить, что тут со стороны ласковых турок дам наших — лишь истерическое сантиментальничание и ложный либеральный европеизм: «Вот, дескать, как мы гуманны, и как мы европейски развиты, и как мы умеем это выказать!» Но, однако, сам-то Левин: разве не ту же прямолинейность, не то же сантиментальное европейничанье он сам проповедует и высказывает? 40 Убивают турок в войне, в честном бою, не мстя им, а единственно потому, что иначе никак нельзя вырвать у них из рук их бесчестное оружие. Так было и прошлого года. А если не вырвать у них оружие и — чтоб не убивать их, уйти, то они ведь тотчас же опять станут вырезывать груди у женщин и прокалывать младенцам глаза. Как же быть? дать лучше прокалывать глаза, чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение понятий, это тупейшее и грубейшее сантиментальнчество, это исступленная прямолинейность, это самое полное извращение природы.

К тому же принужденный убивать турку солдат сам несет жизнь свою в жертву да еще терпит мучения и пытязапия. Для мщения ли, для убийства ли одного только поднялся русский народ? И когда бывало это, чтобы помочь убиваемым, истребляемым целыми областями, насилием женщинам и детям и за которых уже в целом свете совершенно некому заступиться — считалась бы делом грубым, смешным, почти безнравственным, жаждой мщения и кровопийства! И что за бесчувственность рядом с сантиментальностью! Ведь у Левина у самого есть ребенок, мальчик, ведь он же любит его, ведь когда моют в ванне этого ребенка, так ведь это в доме вроде события; как же не искровенить ему сердце свое, слушая и читая об избиениях массами, об детях с проломленными головами, ползающих около израсилованных своих матерей, убитых, с вырезанными грудями. Так было в одной болгарской церкви, где нашли двести таких трупов, после разграбления города. Левин читает всё это и стоит в задумчивости:

— Кити весела и с аппетитом сегодня кушала, мальчика вымыли в ванне, и он стал меня узнавать: какое мне дело, что там в другом полушарии происходит; *непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть*, — потому что я ничего не чувствую.

Этим ли закончил Левин свою эпопею? Его ли хочет выставить нам автор как пример правдивого и честного человека? Такие люди, как автор «Анны Карениной», — суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их. Чему ж они нас учат?

ПРИЛОЖЕНИЕ

«ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» НА 1877 ГОД»

Открыта подписка на ежемесячное издание Ф. М. Достоевского «Дневник писателя» на 1877 год. (Двенадцать выпусков в год).

Каждый выпуск будет заключать в себе от полутора до двух листов убористого шрифта, в формате еженедельных газет наших.

Каждый выпуск будет выходить в последнее число каждого месяца и продаваться отдельно во всех книжных магазинах по 20 копеек. Желающие подписаться на все годовое издание вперед пользуются уступкою и платят лишь два рубля (без доставки и пересылки), а с пересылкою или доставкою на дом два рубля пятьдесят копеек.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городских подписчиков в С.-Петербурге: в книжном магазине Я. И. Исакова (гостиный двор № 24) и в книжном «Магазине для иногородних» М. П. Надеина, Невский пр., № 44.

В Москве: в «Центральном книжном магазине», Никольская, д. Славянского Базара.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусков производится во всех книжных магазинах Петербурга, в Москве: у Салаева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева и др., в Казани: у Дубровина, в Киеве: у Гинтера и Малецкого, в Южнорусском книжном магазине, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, в Одессе: у Распопова и Белого, в Харькове: у Геевского и Куклевского, в Воронеже и Туле: у Аносова, в Тамбове: у Зотова, в Перми: у Наумова, в Смоленске: у Лаврова, в Тифлисе: у Беренштама, в Чернигове: у Даниловского, в Варшаве: у Истомина.

Г-да иногородние подписчики благоволят обращаться исключительно к автору по следующему адресу: С.-Петербург, Гречес-

кий проспект, подле Греческой церкви, дом Струбипского,
кв. № 6, Федору Михайловичу Достоевскому.

«ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»
ЗА МАЙ—ИЮНЬ 1877 г.»

«Дневник писателя» издание Ф. М. Достоевского. За май и
июнь м^есяцы выйдет в свет 12 июля в одном выпуске удвоен-
ного объема.

РУКОПИСНЫЕ РЕДАКЦИИ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1877

«ЗАПИСИ К «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ» ИЗ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 1876—1877 гг.»

1) Община.¹ Недоумение (декабрь). Первое разъяснение недоумению.² Национальное наше начало и есть всеобщность.

2. ? Штунда. Наша демократия, обратятся в хлыстовщину.

2. Фома Данилов.³ Герой и великий русский.

3. Солдат и Марфа.

О передаче великой идеи. Великие блудницы.

Движения нет в народе. Да разве в характере нашего народа эти движения.⁴

Критика?⁵. 4. Идеалисты и реалисты. Цветок с пониманием природы лучше обличения взяточничества.

Расчет, Литке.

4. «Кроткая». «Новое время».

Социализм, разрушение и на другой день.

ЯНВАРЬ 1877

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Стрюцкие и община.

Община и европеизм. Европеизм поддерживает общину,⁶ ополчается на европейские⁶ начала. Гонение на национальную партию.

¹ Община, вписано. Выше зачеркнутый заголовок: Январь. Стр.

² Далее было: Европа?

³ Далее было: Великая идея. Великие блудницы.

⁴ Движения нет ~ эти движения. вписано на полях.

⁵ поддерживает общину вписано.

⁶ Было: народные

НВ. Община держит человека у земли. У нас страсть к бродяжничеству и к приключениям. Отделите каждого к своему клочку, и он всё заложит и продаст жиdu. (Свели лесок.) Дайте власть — не спритеесь. Лучше держать в узде, в общине. В самоуправлении же могли бы быть сделаны изменения.¹

Недоумения. Аксиома (последняя строчка декабрьского №). Европействующие. Русские европейцы от роду. Это и есть их национальность. Вот первое разъяснение недоумения.²

«*Новое время*», 31 декабря. Среди газет и журналов из «Русского мира» о продаже «Голоса» турецкому посольству.

«*Новое время*», 31 декабрь. Пятница. О Фоме Данилове, унтер-офицере, замученном за веру кипчаками.

НВ. О том, как великая идея передается таким душам, которые, по-видимому, и подозревать невозможно, что они заняты высшими идеями жизни: Фома-мученик, Влас, Жан Вальжан.

Основная ошибка нашей критики. Вот уже 30 лет. Мы прямо поставлены на самую низкую степень понимания дела в глазах Европы и настоящего просвещения. Наши консерваторы не возражали, киргизы, сами думали, что это так неважно. Направление, ярлык портит автора. Добрые и полезные человечеству чувства, но тут *a priori* решается, что такое добро и что полезное. Описание цветка с любовью к природе гораздо более заключает в себе гражданского чувства, чем обличие взяточников, «с. 174» ибо тут соприкосновение с природой, с любовью к природе. Кто не любит природы, тот не любит и человека, тот не гражданин и т. д.

Это в виде прибавления к критике.

Корнель и революция.

«Московские ведомости», 31 декабря, 76. Передовая, письмо Екатерины II к Цимерман и толки заграничной прессы о русских революционных движениях (*valet rouge* — червонные валеты). Анекдот об англичанине, стрелявшем русских добровольцев.

Повреждения ума, а не сердца. Кирилловы, богочеловек, человекобог, необразованность от ничегонеделания. Непонимание современного человека. «Новь».

«Новое время», суббота, 8 января (№ 310?), — фельетон Стасова об идеале и реализме. Любовь к человечеству. Идеал видит в слове, это важнее. Репины — дураки, Стасов хуже.

¹ На полях рядом с текстом: Стряпки и община со сделаны изменения. — запись: Община.

² На полях рядом с текстом: Недоумения. Аксиома со разъяснение недоумения. — помета: Здесь.

№. Сознание и любовь, что, может быть, и одно и то же, потому что ничего вы не сознаете без любви, а с любовью сознаете многое (яблоко писаное) — и проч.

Зато казенщина; Артемьева, Диккенс.

№. Тирада об том, что чем более мы будем национальны, тем более мы будем европейцами (всечеловеками). Тогда-то, может быть, создастся этот тип в первый раз, которого теперь нет и который только в мечтах у всех русских самых даже противоположных направлений (славянофилы, националы, красные и проч.). Пора перестать стыдиться своих убеждений, а надо высказать их.

№. Ошибка ума, а не сердца и проч.

Сатира (Щедрин), сами свое европейство уничтожающие.
(с. 175)

№. Идея. Заразить душу своим влиянием. Влас. Виктор Гюго.

№. Пусть славяне будут накормлены нами или европейцами, все равно, только бы были накормлены. Иначе шовинизм. Совсем неправда, и нет шовинизма, ибо желал бы я, чтоб славяне были накормлены и облагодетельствованы лишь русскими, вовсе не шовинизм, ибо я вовсе не для выгод и не для тщеславия России желаю этого, а для выгод славян. Всякое отвоевание (хотя бы и кормом) славян Европою от нас будет им же во вред. Да и есть хлеб телесный¹ и хлеб духовный. Славяне-европейцы суть поляки, суть чехи, суть сербы, высшей интеллигенции. А желать накормить славян, конечно, хорошо, — обратиться к Европе тоже недурно и проч. Как желает иной школьник (прямолинейность).

Оркестр Миллер, соединивший в себе славянофильство с европейничеством.

Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть.

Яблоко. Любя яблоко, можно любить человека.

Французы, без вкуса, Lamartine и Victor Hugo. Реализм, фотография. Фотография на себя не похожа — и проч.²

Литке, расчет. (Мольтке). Неверие в народное движение. Пшел цинизм. Народ наш не крпчит, не демонстрирует. (Стоял у Аничкова дворца.) Пшел циплизм. Крахи, паразиты. Кровь хороша. Сатирики.

¹ Было: животный

² На полях рядом с текстом: Христианство есть доказательство не похожа — и проч. — запись: Искусство. Стасов. Репин.

Наша демократия так же древна, как и Россия, а у тех с 89-го года (мысль Мещерского). Ответ автору «Нови».

ШТУНДА. Драгоценный сосуд. Обратятся в хлыстовщину.
«с. 176»

Солдат, замученный за веру, с другой стороны, солдат с дочерью. Разврат. Что кого поглотит?

С уничтожением общины.

Разврат в высшем сословии. Штунда.¹ Отрицают народное движение. Разорвали с народом. Редсток.² К ним примкнули европействующие. К деспотизму. Мы свободны с начала русской земли. Европействующие хотят жидовства и разврата. Но есть уже сильное ядро сознавших.³ Хотя у европействующих литература. Сатира. Подкладки нет. Нечего было бы сказать. *Новь* — вот тайная мысль автора. Вот вам и Потугин! Вот подкладка сатиры Потугина. Нам нечего волноваться революцией, ибо мы уже 1000 лет как свободны.

Общечеловек. Россия — новое слово. В том-то ее и национальность.

Речь шотландского ректора.

Высшее общество расшаталось и оглутило. И какие у него радости: *comtesse*⁴ такая-то (а за спиной дураками зовут друг друга). Напакостил такому-то.

То, что мне писали по поводу бессмертия души. И вообще пишут с вопросами. Высших убеждений, цели нет.

Идеализм и реализм.

Червонные валеты и проч. Выписка из октябрьского Дневника о том, как восторжествует ципизм.

Отрицают движение. Что же не кричал народ? Стало быть, не было движения.

К подвигу унтер-офицера Максимова прессы отнеслась сухо. Не нашего, дескать, мира. Эх, что защищать христианство. (Грановский). Крестовые походы. Общечеловеческое. А христианство не общечеловеческое. Эх свиньи.) Хотя бы честность и сила духа должны были поразить сердечно: этот *унтер-офицер есть воплощение народа*, с его незыблемостью в убеждении, и растленного нашего общества, с другой стороны.⁵ «с. 177»

¹ Штунда. *вписано*.

² Редсток. *вписано*.

³ Далее было начато: Сатир<a>

⁴ графиня (франц.).

⁵ растленного со стороны. *вписано*.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПМ)

«Январь»

Что молодой человек осквернился и не знал покоя <?>, я ни-
когда не поверю. Ошибка ума, а не сердца.

Мы скажем после, а теперь лишь несколько слов.

Строили <?> <нрзб.> но это и нельзя.

Сочувств<овать?> может, но заняться *мелко*.

Такова молодежь.

Тут помогают социальные теории (незыбломые).

За тех авторитеты были (Белинский? Чернышевский?), ес-
тественные, будто бы, науки; получаю письма (и Благосв<етлову>
проверь).

Не знают науки.

Эта наука передается *словами*.

Ни один-то профессор не возьмет.

Гумбольдт.

А тут бродяжни<чество?>

Великость подвига.

Легкость идеи низвергнуть всё и идти дальше.

Остановили науку при Николае.

Молодежь же чиста.¹

1. Бергеман.

2. О детях (вот и всё).

3. От редакции (и всё).

Иезуитизм.

И даже особенно нравится.

Именно кровь, грызня. *A вот вы какие были, вот же вас.*
Именно радикальные.

Как удивят все эти больные <?>.

Тут так недалеко от детства, ненависть к авторитету, вот, де-
скать, мы какие. Вагон и три мальчика.

Сцена — застрелился <?>.

Грянет и наше имя в истории.

Это любящие сердца, но до любви им и дела нет. *Не время,*
то есть не пришло еще времени. Тут надо жизни.²

¹ Рядом с текстом: Мы скажем после ∞ чиста. — помета: Короче.

² Как удивят ∞ Тут надо жизни. записи на полях.

Готовые науки, тут не надо и читать.
Читают,¹ конечно, иные, но не многис.
Я убежден.

Не надо учиться, когда имею право презирать.
Рабское преклонение перед авторитетом. Прудон, Бакунин,
Герцен. Устарели.

Нагнанная <?> на себя жестокость.

Не нашего мира. Неполнота <?> Есть страдания страшные и
уже не фиктивные. И хотя тут многие не от нашего уже мира —
а социальны<?>. Левин?² не виноват.

Не достает. Психология покоя <?>.

Розги, образование, профессор.
Восточная война.

1) О деятельной любви, Бергеман.

<Апрель, гл. II>

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

<I>³

Длинной бы истории не затял, просить, сбирать подаяние, но
в ту минуту бы помог.

Выстрелил в себя.

До сих пор сон был ясен, дальше пошло клочками (как во
сне).

Одно с ужасающей ясностью через другое перескакивает, а главное, зная, например, что брат умер, я часто вижу его во сне и дивлюсь потом: как же это, я ведь знаю и во сне, что он³ умер, а не дивлюсь тому, что он мертвый и все-таки тут, подле меня живет.

У Эдгара Поэ.

Не знаю, почему это, но не в том дело.

Право, я не могу иначе передать тогдашнего моего мимолет-
<ного>⁴ ощущения. Но ощущение продолжалось. Пусть.

Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через 2 часа — то
что мне девочка? Я обращусь в нуль.

¹ Было: Читатели

² Здесь и далее цифрами в ломаных скобках обозначаются отдельные
фрагменты рукописи.

³ В рукописи ошибочно: я

⁴ Было: беглого

А если так, то почему же я теперь, так твердо порешив застрелиться, не могу преодолеть моей жалости.

Вот потому-то я и затопал: дескать, не только не чувствую жалость, но если и бесчеловечие и подлость сделаю, то мне должно быть всё равно. Но оказалось не так.

Человек вообще. Тем менее я люблю людей в частности.

До страстных мечтаний о подвигах, и я бы, может быть, даже крест перенес за людей.

Слышал поблизости <?>. Я не мог бы жить в одной квартире.

Я двух дней не проживу с кем-нибудь в одной комнате.

Я не спал. Отнесли, и уже только в могиле мне показалось: как же это я умер, а всё знаю, только шевелиться не могу.

Если есть разумнее, то пусть явится.

Но то никогда никакому мучению, какое бы меня ни постигло, не сравняться с тем презрением, которое я буду молча ощущать к мучителю, хотя бы миллионы лет.

Можно сказать даже так, что для меня и сделан. Застрелись я, и мира не будет, по крайней мере, для меня. А может быть, почем знать, и совсем не будет.

Являлось <?> рассуждение — то какое мне дело — ведь тогда совершенно как бы не существовало бы мира. Я понимаю, что я человек, и пока живу, то могу страдать, мучиться и иметь стыд за свой поступок.

Жизнь и мир от меня зависит.

И чем более я сидел у стола, тем больше я бесился.

Одним словом, случилось, что если бы эта девочка, то я бы застрелил себя. А тут мне стало досадно, что я об этом думаю, и я не брал револьвер, но что я застрелился к утру, я знал наверно. И вот я заснул.

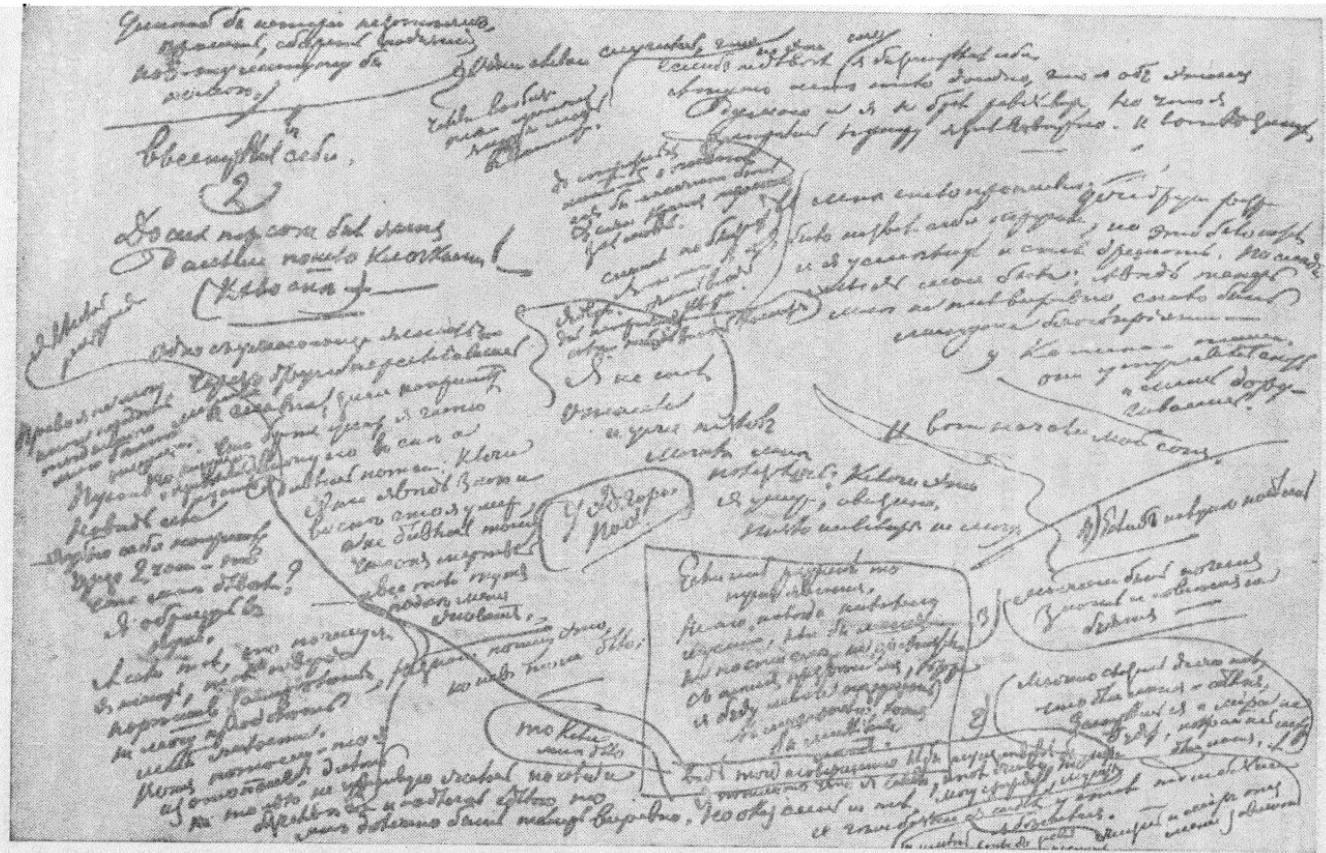
И мне стало противно. Уже другое <?> разрешение?

Я было назвал себя трусом, но это не так, и я усмехнулся и стал дремать. Последняя мысль моя была: а ведь теперь мне не так всё равно, стало быть, минута благоприятна.

У капитана тишина. Они устраивались спать и лишь доругивались.

И вот начался мой сон.

«Это Сириус?» — спросил я. «Нет, эта та самая звездочка, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой». И как



«Дневник писателя» за 1877 г. Черновые наброски к рассказу «Сон смешного человека» (вторая глава апрельского выпуска)
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН ССР. Ленинград.

только он сказал мне это, я понял, что его не надо спрашивать, что он ответит мне, если бы его спросил, но что лучше, если его не спрашивать.

Я плохой астроном.

И я возвзвал к видимому властителю всего того, что происходило со мной, если только был властитель.

«II»

Я оскорбил ребенка.¹

Но я почувствовал, что мы приближаемся к окраине бытия.

— Ты увидишь, — ответил он грустно.

Мелькнула мысль о девочке.

Милым трепетом своих крылышек.

Не хотел, чтоб меня победили.

— Ты знаешь, что я боюсь тебя. Ты презираешь меня, — сказал я вдруг.

Он не ответил ничего. И я почувствовал, что у него есть цель и наш путь будет иметь конец. Мы пролетали звезды и новые пространства.

Они были спокойны, не тревожились.

И тут я понял, что меня не презирают и не могут презирать. Не хочу сожалений, подумал было я, но меня и не сожалели.

Почему я знал это, не знаю, но что-то сообщилось мне от этого существа.

Я бесился, и на все эти вопросы и не возможность ответить?».

Сладкое зовущее чувство — родная сила света, меня породившего, отзывалась в моем сердце и воскресила его, и я воскликнул: Если это наше солнце, то где же земля?

Они целовали меня.

Я задрожал и преклонил^{ся} перед ними. Я понял. Я всё тотчас же понял.

О, они были прекрасные и невинные, это была земля, не оскверненная грехопадением.

НВ. Я не знаю, было всё так, но ощущения мои были те, а теперь я, может быть, сам рисую подробности, потому что я не умею этого передать.²

Ощущение, когда сладко ноет сердце во мне от счаствия.

¹ Далее было: Я плохой зна~~сток~~ в астрономии.

² Было: передать вам

О мечта, я лишь наобум и придумываю. Помню восторг, картины и пейзажи. Их любовь влилась в меня лучами, и осталась со мной. Я вглядывался, бегал по лесам и рощам.

Я бы не мог ответить на вопросы: как они знали железо и не дрались и проч. Как могли они понимать и не знать науки. Как могли довольство^{ваться?}, знали другое, обращали силы ума на другое.

Но, может быть, они имели другое проникновение, и это было так — и — и может быть очень, что всё это был не сон.

Да, как скверная трихина.

Счастье^е проповедовать.

Сейчас будет, если только все захотят, но пусть не хотят, пусть не хотят, а мы будем молиться [?].

Я не знаю, я не могу растолковать, как устроить, но я видел воочию, вот что главное. Главное, люби другого как себя — вот что главное, и просто люби, а не из выгоды, тогда устроится.

Они¹ говорят, что я и теперь сбиваюсь. Что ж, может, еще несколько раз сбьюсь и очень сбьюсь, пока отыщу, как проповедовать. Кто же не сбивается. А между тем все ведь идут к одному, все — с мудреца до последнего разбойника, все стремятся к одному и тому же, только разными дорогами. Но у меня, вот что они никак не хотят понять, в сердце Истина, живой образ ее, который я видел, в такой восполненной целости, что не могу больше не верить, что оно не может быть па земле,² — и как же мне сбиться. Не имел бы этого образа и сбылся-то. А теперь сбьюсь разве немножко, на копейку, но главное отыщу.

И ведь вот *«знаю»*, что никогда ни до чего не добьюсь. О, ведь и тут то же самое: ведь и тут знать законы счастья лучше счастья, но что мне за дело. Иду! Иду!

Ведь я видел, что можно быть прекрасными, не потеряв способности жить на свете. Не хочу верить, чтобы зло было нормальным состоянием.

А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются.

О, я скрою, что я их всех развратил.

Они стали мучить животных.

Животные удалились от них и одичали и стали злы, как и люди.

Всякий оберегал свое существование.

¹ Далее было: и теперь

² я видел *«на земле вписано на полях со знаком вставки.*

Ложь, шутки, пляски, сладострастие, ревность, кровь единит.
Скорбь. И опять полюбили скорбь.

В ленце, мое, твое, явились изобретения. Скорбь полюбили.
Истина, мучения, храмы. Человечность.

Они устали в труде.¹

«Июль—август, гл. I, II»

«I»

Недоконченный век — недоконченные люди.

Утратили всякую правду.

Джунковские. Не жестокое, но бессердечное. Джунковские, я думаю, не совсем худые люди.

Эгоизм. Дама почтенная, но эгоистка. Эгоисты капризны. Нежелание связать себя никаким долгом. Ах, чтоб вас бог прибрал. Эгоизм и страстное желание покоя и лени рождают желание освободиться от всех долгов, а вместе с тем и странное² требование от всех к себе долгов. Неисполнение этих долгов к себе самому³ принимается как обиды, сердцем. Сердце ожесточается местью против маленьких детей. Личная месть. Картофелью принес (в сортир).

Джунковские жалуются, что испорчены, чем же ты их заправил. Сердце любящее, но разочаровано, чем же разочаровали — тем, что не поселял сам оснований любви и требовал ее даром. Требования сузил — ненависть. Не до есть. Учителей нанимал — то есть как будто и долг исполнял. Он удивляется шалостям — воровать, котелок. Дети секли: чёрта. Какое зрелище: отец с детьми судится. (Дети дали сдержаные показания.) Отец займется — исправит недостатки. Плачет, колотит в грудь. Если даровиты дети, простят многое, по если нет, то...

Воспоминания в детях оставить.

Я беру один из эпизодов. Обленились от гражданской пеудачи, от разложения, от непонимания. Разложились попятым от непонимания кругом происходящего и не собрались. Это неряхи, но есть холодные эгоисты, те не штурмуют детей, а так себе, всё равно. Беспорядочные люди, недоконченные люди, утратившие всякую правду. Русское семейство в полном хаосе. В купцах тоже, в дворянках тоже, в высшем сословии разврат. Разве попы, у тех цельнее склеены дети, кандидаты; жиды, левитизм спас. Сложиться обществу на новых началах. Лурье па свои деньги.

«Война и мир», «Детство и отрочество», но эти, случайные

¹ Далее было: Как любить себя больше всех. Стали придумывать, как бы соединиться так, чтоб не переставать любить себя больше всех, в то же время не помешать никому другому. Целые войны поднялись за эту идею.

² желание освободиться со странное вписано.

³ к себе самому вписано.

семейства или потерявш~~и~~еся>, нравственно разложившиеся, кто опишет. Увы, их большинство. Отец и 7 лет ссып с папирской.

Ленивые, беспорядочные, циничны, маловерны.

Проехал в деревню. Листва, роща и Вальтер Скотт. Имение расстроенное. Освобождение крестьян. Привычки крестьян, ненависти. О русском будущем землевладении, хаос. Помещики рыцари — заслужить уважение. Мал падел. Гоняются за живодестом. Понятие о труде. Народ хочет опеки, власти над собой. Своим судом недоволен, и т. д.

Алена Леонтьева.

Я говорю лишь об их характере, о законченности, точности и устойчивости их характера, благодаря которым могло¹ появиться такое² отчетливое изображение их, как в поэме графа Льва Толстого. Ныне этого нет, ныне хаос и х~~---~~.

Впрочем, 1500 верст. Везде о войне. Аксаков. Вагон. Деспотизм даже в кондукторе. А публика для дороги.

Любовница для детей. Сигары. Богородица. Бифштексы. Сам он так смотрит на жизнь.³ Это горячие отцы. Другие безразличны, холодны. Великих мыслей нет, и вот Джунковские.

Девица Шишова. Г-жа Шишова, должно быть, очень умный человек. Невозможно определить тоныше и разумнее. Этот умный человек сама скла плетк~~ой~~ (только маленькой).

Фантастичность чёрта. Фантастичность машины.

Зажгите огонь.

И наконец, нравственное — мать не любила.

7 лет. Мальчик с табаком. С 12 лет любовница.⁴

Нет, тут есть наше свое, наше русское.

Митрофану и положено подлешим из подлеших не быть. Хотя бы о трещотках-то⁵ даже, а то ведь либеральные подхихиковали. Либерально подхихивают. Коли нет ничего святого, то можно делать всякую мерзость. Ленивое, ленивое, заключу.⁵

Невозможен и суд человеческий, невозможны и кодексы закона. Такие вопросы не могут быть разрешены теперь, трудно сочтать и собрать.⁶

Речь председателя. « — За бессердечие нельзя вас обвинить и вас оправдали, но ...»

— Тут надо простить с обеих сторон.

¹ Было: могла

² Было: такая

³ Далее было начато: Другие^с

⁴ Далее начато: А пыль так прямо говорят, что

⁵ Впрочем ∞ заключу. вписано на полях.

⁶ Невозможен ∞ собрать. вписано между строк в обратном направлении.

— Вы-то, может быть, вам бог очистит взгляд, но они войдут в мир, не простят.

— О, вы говорите, что всё сделали свыше средств, жалуетесь на их испорченность, но кто унижается, сортир топленый.

Сортир — унижал топленый.¹ Пятки. И вот то, что вы теперь, простирая руки, жалуетесь на детей. Лень ласки, всё хворостина сделает. И вот хворостина не только не делает, но и хуже, и хуже, а вы-то раздражаетесь. Но ведь вы не единицы. Вы отцы, это дети, вы теперешняя Россия, а те будущая.

Если в вас гражданский огонь, неужели столь возлюбили покой, что махнули на всё, — э, прожить бы как-нибудь.

Г-да русские дворяне, вы, как все (не тем, так другим). То-то и ужасно для России. Вы еще лучшие. У вас леность привела к строгим истязаниям, у других — ни к каким, к совершененному запущению воспитания детей.²

Ваша жена говорит, что нанимала несколько гувернанток, но всё ошибалась, не в гувернантках дело.

Она говорит, что теперь вы приметесь за дело, и они исправятся (надо простить обоюдно). Легкомыслie и тут проглядывает.

Общество, государство, верховное назидание.

Он говорит от лица общества, он, лицо государственное. Слова важные!

— Ступайте! Страйтесь сделать как можно лучше и... да пробудится в вас совесть!

Не поселяли сами оснований любви и требовали ее даром.

Лень. Как бы отделаться от долгу деньгами, а не помогут деньги, так розгами.

Председатель суда — особенно если он помилован, а был виноват.

Пятки, унесут образ матери.

Я верю, очень верю, что вы желали им добра, но вы так мало хотели делать для этого добра, а потому и уверили себя, что дав деньги — вы помогли даже и сверх средств. От лености явилась и розга. Ведь что такое розга? Розга есть порождение лености.

Но ведь место отапливалось, рваное одеяло — наказание за картофель, а за его ослушание *и нрзб.* и проч., а что они ослушались и злодеи, так сестру Катерину секли.

За то, что не ту систему воспитания, повторяю, осудили всю Россию. Да и не дело это суда. Одним словом, ничего не вы-

¹ говорите со топленый. *вписано*.

² У вас леность со воспитания детей. *вписано*.

шло, и, однако, трагедия, может быть, на всю жизнь! Подсудимые оправданы.¹

И помню.

По крайней мере уклониться можно очень.

Я только хочу сказать, что тащить это дело в уголовный суд было невозможно, тут дело другого суда, но какого же?

Какого? Да вот, между прочим, девица Шишова уже произнесла свой суд, хоть и секла плеточкой (только маленькой), но вот уже она произнесла приговор. Умная женщина.

Г-жа Джунковская. Чесание пяток. Долг.

Не бесчеловечное, а бессердечное² от лени и эгоизма. Что такое Джунковские? Как им было сделать лучше?

Чесать пятки. Кроме унизительного положение несколько комическое.³

Тут уж не один картофель, а за всё: «Как это меня беспокоит, жить не дают, скука, тоска, все виноваты».

Она должна много страдать (от своего характера).

Джунковский платил, а она жалела — ей противны стали дети.

Так их и надо. Особенно возмутил его поступок с дочерью Елизаветой.

Ответов тысячи, но тем хуже, что их тысячи, а не один.

Была ли жестокость? И я не верю, что была, а было лишь ленивое отношение к детям.

Отчего их леность? Бог знает, образованные люди, прекрасное и высокое, что говорю вовсе не в насмешливом виде,⁴ потерявшиеся, удалившись. Это скорее тип ленивых эгоистов, следствием, особь типа.⁵ Образованные, сам учить. Обязанности уметь понимать. Леность, эгоизм порождает зверство. Но всё это не преступление. Кто начал это обвинение? Безумное обвинение. За то, что не ласкали? Не жестокие, но бессердечные.⁶

Вы выслушайте этого отца — вот он простирает руки, кстати, это сечение мертвый. Переменил фамилию.

Нотация отцу председателя. Сердца не дали. Откуда бы они иначе были? Как им сделаться хорошими? Ленивые сердца. Отсюда звериная жестокость, но они не понимают ее. Видите ли вы этого отца — жалуется. Сортир, думы мальчика, картофель. Кстати. Детская шалость, фантастичность.⁷

¹ Одним словом «оправданы. вписано».

² Далее было: Это ленивость сердца

³ Общество, государство «несколько комическое. вписано на полях»

⁴ прекрасное «в насмешливом виде вписано».

⁵ Далее было: Во-1-х, трудно принять обвинение. Снасович.

⁶ Не жестокие, но бессердечные. вписано.

⁷ Откуда бы они «фантастичность. вписано на полях. Рядом с текстом: Видите ли вы «фантастичность. — помета: Здесь».

Судились с детьми. Где семейство? Сам учить. Надо ведь простить с обеих сторон.

Джунковский не нигилист, верит в прекрасное. Он не циник. Признает долг отца. «Я делал всё совершенно свыше средств». Он образован, сам учит.

Посмотрите, дали сдержанные показания, не думаю, чтоб от страха, могли надеяться па улучшес^{ни}е. Им тяжело было судиться с отцом, тогда как отец кричал и обвинял их, не думая о будущем, о том, что поселяет [?] он впредь в этих сердцах. А ведь кто знает, может быть, Джунковский считал себя вполне правым. Мать говорит, что он сам возьмет^{ся} (так, так). Легкомыслие.¹

Страх, что судимы. Кто и какой суд пх может обвинить и за что. Пленил — дурацкий колпак. За то, что не ласкали. Ну вот еще (то есть в том смысле, принадлежит ли это суду). И, однако, вышла трагедия на всю жизль. Что же тут вышло? Ленивые отцы, отцы эгоисты².

Девица Шишова умная.

Я славянофил. Что такое «славянофил»? Наша борьба с Европой — не одним мечом. Несем мысль. Вправе ли мы нести мысль? Не фантазия ли только, что мы хотим обновить человечество? Но вот «Анна Каренина» уже факт. Если это есть, то и всё будет. Стотысячная капелька — но она уже есть, дана. Я написал к Суворину. (Что есть у них подобного?) (Смотри.)

ЛЕВИН.

Наивная она потому, как Левин нашел бога, ну это бог с ним.

И однако ж, что ж я говорю об Левине. Идеи Левина разделяет, видимо, и сам автор, сам граф Лев Толстой. NB. Если уж такие люди.

Мы, интеллигенция русская, плохие граждане, мы сейчас в обосблении. Не дадут нам чего — и мы дуемся. Левин, которого я называл «чистым сердцем», в обосблении.

Если такие убеждения, ибо я свято верю, что это убеждение, а не обосбление для оригинальности из величия, из золотого фрака.³ Боюсь только золотого фрака. Беру назад.

А действительно наши великие не выносят велчия, золотой фрак. Гоголь вот ходил в золотом фраке. Долго примеривал. С покровителями был, говорят, другой. С «Мертвых душ» он вынул давно спитый фрак и надел его. Белинский. Что ж, думаете, что он Россию потряс, что ли?⁴ С ума сошел. Завещание. Прокопо-

¹ считал себя ~ Легкомыслие. вписано.

² И, однако, вышла ~ отцы эгоисты. вписано на полях.

³ Если уж такие ~ из золотого фрака. вписано.

⁴ Что ж, думаете ~ что ли? вписано.

вич, Нежинская гимназия. Потом изумился, написал письмо Белинскому. Много искрепшего в переписке. Много высшего было в этой натуре, и плох тот реалист, который подметит лишь уклонения. А уклонения были. Но не видели важных. Маленький Гоголь. Тогда носили сultаны. Поручик Пирогов. *Крикливая* глотка. Майор под Плевной... Но я увлекся. Повторяю, Лев Толстой не то, я не разумел про него золотого фрака. Я теперь потому говорю, что хочу писать про него. Но он в обособлении. Он видит, во-1-х, выделанность, во-2-х, тупость народа, в-третьих, пошлость добровольцев (смотри и проч.), в-четвертых, ужасно сердится. Отчего произошло это обособление, не знаю. Но оно печально. Если такие люди, как автор «Анны Карениной». Что такое Лев Толстой? Он значил много даже и для войны. Явилось в последнее время. Если у нас появляются такие совершенства, то будет и наука. Мое письмо Суворину. Встреча с Гончаровым.

Я пишу Дневник.

Хотел записать, как отразилась на мне «Анна Каренина». Пользуюсь случаем, но не критику.

2 момента в романе — пальчик и проч. Но оставим. Вот 8-я часть. Кстати, в ней Левин. Вопросы о боже. К чему искать умом, когда дано непосредственно. Что бы они сделали лишь умом-то. Значит, соприкоснулись с народом.

Но вот эта сцена. Выпишу. Приехал князь. Фигура. На водах не остроумно. На три части — всё ложь — всё сделали искусственно.¹ Суждения легкомысленные. Добровольцы. Подлецы. Журналисты побегут. Журналист Щедрина. Кстати, этот князь. Изображение высшего общества. Мещерский.

Отвечать этому князю невозможно. Этим людям и не может иначе представляться всё русское движение за последние 2 года. Но взглянем на движение. В нем три вопроса для сомневающихся.

1-е. Народ, правилен ли подъем? Спорят <?>.

2) Человеколюбие.

3) Славянофилы.

Левин парод.²

«II»

На эту тему можно бы и много прибавить, но прибавлю потом.

Затем сельские учителя. Но к чему годятся и к чему готовы паши сельские учителя? Что представляла до сих пор эта, начинаящаяся лишь у нас корпорация и на что она может ответить? Затем останутся лишь случайные ответы — их много будет, ко-

¹ Далее было начато: Всё это движение

² Отвечать этому князю ~ Левин народ. вписано на полях. Здесь же записи и пометы: Когда прогремело. Здесь. Много горьких и страшных недоумений западноевропейской цивилизации.

нечно, и добрых, и злых, и глупых, и премудрых, но согласитесь, что всё это опять-таки хаос, а дело-то, ух какое важное.

Вопросы не то чтобы какие-нибудь, а основные и неслыханные.

Куча вопросов, страшная масса, всё новых, никогда не бывавших <?> — и вдруг...

Кто ответит? Духовенство, дворянство, интеллигенция? Но вопросы являются в страшной массе, и скоро, ужасно скоро.

Никогда лик мира сего <не> переделать. Нечего и говорить об этом, приготовить ответы нельзя.

На силу оставить — вынесут.

Кто верит в Русь, тот знает, что она всё вынесет и останется прежнею святою нашею Русью — как бы не изменился наружно облик ее. Не таково ее назначение и цель, чтоб ей повернуть с дороги.¹

Ее назначение столь велико, и ее внутреннее предчувствие своего назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту, главное), что бояться и сомневаться верующему нечего.²

Но он как бы в стороне, ему как бы некогда. Заплатил деньги учителю даже сверх средств, ну и конечно, он, правда, наказывает детей по просьбе жены, г-жи Джунковской, но сам, должно быть, не кровожаден. « — Э, дети надоедают только, оставили бы в покое» — г-жа Джунковская.

И вот взгляните, эта столь любящая покой, до чесания пяток, дама³ вдруг вскакивает, схватывает хворостину и сечет⁴ так, что страшно смотреть — и за что — за картофель, за хорошее. Так вот что: «Не делай свое хорошее, а мое дурное».

Спят в хлеву, так им и надо.

Джунковский отец. Смотрит⁵, как он. «Они изверги, они секли». Кстати об этих шалостях⁶, но ведь сам не поселял, а требуешь.

Но кому воспитывать? Председатель.

Чесать пятки не бесчеловечно, а бессердечно.

ЛЕНИВЫЕ СЕРДЦА.

Ведь от лености явилась и розга. Что такое розга? Средство избежать.

Сечет долго, ненасытно!⁵

Жажда теплоты, дорлотерства.⁶

¹ Вместо: чтоб ей повернуть с дороги — было: чтоб изменить свой ход и повернуть с дороги.

² Вместо: верующему нечего — было: нечего.

³ Было: женщина

⁴ Было: бьет

⁵ Далее было начато: злорадно.

⁶ Далее на полях было: воспоминаний, из совокупности коих мог бы он потом вывести некоторый смысл для своего назидания.

Да и как не любить их?

Если уже перестанем наших детей любить, то что же будет с нами самими? Для них только обещал сократить. В каждом ребенке дитя свое.

Но да поможет вам бог. Любовь всесильна. Лишь неустанною любовью, а не естественным лишь правом рождения их¹ можем купить сердца детей наших. Любовь всё победит, всё покорит, всё купит.

Вспомните, что ради них и Спаситель наш обещал сократить «времена и сроки».

А теперь ступайте,² вы оправданы.

Не забывайте никогда, что вы были оправданы.

Не сердитесь, не обижайтесь словам моим! Не обижайтесь словам моим, я говорил вам от лица общества, государства.³ И тема эта слишком важная. Вы отцы, они ваши дети. Вы теперь поколение русских, они будущее. Что готовим мы России? Надо быть гражданами. Вы еще и лучшие, и наконец <?> были чувства. Другие же — лучше не говорить!⁴

Сами взялись за воспитание: трудно, ибо многое надо простить, а главное, лень и что вы откупились от долга деньгами, им надо создать взгляд новый, что не откупились вы деньгами.⁵ А не деньги, так розга? Что такое розга? Ожесточение. Сечение за картофель, пятки, комическое воспоминание.

Или: розга, наказание, дырявое одеяло, впечатление пяток, суда перед отцом, обоюдно простить. И ведь вы не единицы.

Впечатление на них суда с отцом.⁶ Я их вывел, я могу говорить.

Но ведь вы не единицы, вы еще лучшие, будущность России. Призываю вас к гражданскому чувству.

Если можно, вдохновитесь ревностью труда. Чтобы бог очистил зрение. А унизительное чувство мести к ним за то, что стояли с ними перед судом, изгоните из сердца вашего.

Вы лучшие, вы так приняли к сердцу.⁷ Больше любите. И так вот этот суд совести.

Чтоб бог очистил ваше зрение.

Любовью нашую купим детей наших, да сократит времена и сроки ради страданий детей наших.

Столь многое забыть и столь многое в нас переделать.

¹ а не естественным ∞ их вписано.

² Было: Ступайте, подумайсте

³ Незачеркнутый вариант: отечества

⁴ Другие ∞ не говорите! вписано.

⁵ им надо ∞ деньгами. вписано.

⁶ Над строкой начато: впечатление суда перед «отцом»

⁷ Вы лучшие ∞ к сердцу. вписано на полях.

Да совершится наше совершенство, да закопчится паша цивилизация.¹ А теперь ступайте...

Не разъясню, а прикажу, не убежжу, а заставлю.

Лишь добрую улыбку, отвратительное чувство к родному гнезду, разрушение семейства.

Старакния?² тут потребуется столько, верите ли. Халат.

Тип строгий, тип цельный, по... пе такой хороший.

Но пока я сидел на той станции, скучал и досадовал.

Спросил себя и рассмеялся. Папироска, 7 лет.

Потом рассудил, что нечего смеяться, вспомнил разговор о поколении и задумался. Аксаков.

Вот этот отец — 7 лет. Эти еще занимаются детьми.

В случайне переход почему? Веры нет в великое у отцов. Общесвязующая гражданственная и нравственная идея.

Эх, чтоб вас! Прожить бы только как-нибудь самому-то.

Ленивые. Переходное состояние общества порождает леность и апатию. Что же вы требуете общесго, скажут мне. Великих мыслей нет, святого нет, человек путает, теряет нитку и наконец махнет рукой.²

Горячей мысли нет, великой веры нет,³ нельзя отпускать детей в жизнь без великих и прекрасных воспоминаний положительного и прекрасного, нельзя. Горячие и хотели бы в виде святом, но сами-то они, по положительному не имают сами, хихикание, цинизм, озлобление, к тому же подражание Европе, комическе, беспорядок, неопределенность и путаница в главнейшем. Совершенно непонятно.

А иной даже из страстных прогрессистов?⁴ вдруг подметит сыну ?, 7 летнего уже настроивает отрока:⁵ «Не делай свое хорошее, а делай мое, дурное».

Но это горячие. Ленивые. Впрочем, теперь ? этих горячих мало.

Постойте, я вспомнил. Джунковские.

Сух и груб, не разговорчив, наживает.

Что он хотел этим сказать, я пе могу себе и представить.

Равнодушны — богатые, другие — их, чтоб вас, натыкать куда-нибудь. Третья ничего и никуда.

Удивительные в паше время попадаются отцы.

¹ Столь многое — наша цивилизация. вписано на полях.

² Рядом с текстом: Ленивые — махнет рукой. — на полях помета: Непременно.

³ Далее было: Горячее

⁴ Было: либералов

⁵ 7 летнего — отрока вписано.

Кстати, помните ли процесс Джуковских? Если не целый тип, то замечательная особь типа ленивых.

Если это не тип ленивых отцов, то, по крайней мере, замечательная особь типа.

«Июль—август, гл. II—III»

Плевно. Трудно поверить, чтоб радовались, а есть такие, что и радуются. Другие. Если б не было народа, а вверху народа государя, мы бы не соединились. Народ спасет. Соприкасаются, по народом не становятся.¹

Они много сделали, но все вышли из Пушкина и нового слова, как он, не сказали, хотя и чту «Анну Каренину» за произведение недосягаемой высоты, но я пока об Гоголе.

Вся Россия на коленях заплакала.

Так богато, как Пушкину, разве только грезилось, а что грезилось, то сомнения нет, в его душе. Его новое слово было столь глубоко и широко, что, может быть, целого столетия мало, чтоб его постигнуть. Он первый ушел к народу и провозгласил, что без народа и сил его мы ничего не значим, смешны и нелепы. Возвращение к народу с самого Петра Великого, то есть с Европы.

Родство с ним полное и бесспорное.²

Многое только намечено, только указано, намечено и несомненно указано, и главное у него у первого, а до него ни у кого не было.

Главная мысль — возвращение к народу — мерешилась и до него, но он не только сказал, но и сделал. И когда сделал, то его тотчас же не поняли.

Свое собственное, и именно то, что отличает нас от европейского мира, что составляет паше новое слово, или хотя бы только начало его, и о котором в Европе еще не слыхали, и еще с какой силой.³

Как решает европейский мир в таких случаях? Двояко.

Что не настали еще окончательные сроки торжества цивилизации.

Что не настанут, может быть, никогда.

Я обещал поговорить об этой книжке.⁴

Я назвал ее не столь невинною, почти злокачественною. Левин не верит в паше восстание, в добровольцев. Почему он

¹ Рядом с текстом: Если б не было народа ∞ не становятся. — на полях помета: в 12-м году

² Родство ∞ и бесспорное. вписано.

³ и о котором ∞ сплошь. вписано на полях.

⁴ Далее было: Между тем есть об золотом фраке и об любителях турок. Я *(не закончен)*. — Ниже незачеркнутая запись: хотя и сплошной, но, как видно, каковы

не верит и мог разбирать, из чего его мрачное обособление, не знаю.

Золотой фрак, оговорка.

Кстати, меня очень заботит то, что я написал о золотом фраке.

Левин, как факт, есть, конечно, не действительно существующее лицо, а лишь вымысел романиста, тем не менее этот романист — огромный талант, довольно смелый ум и весьма уважаемый Россиею человек, — этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице весь свой собственный взгляд на современную нашу действительность, что ясно¹ каждому, читавшему замечательное произведение автора. Таким образом, судя об Левине, мы будем судить и о целом действительном взгляде одного из самых значительных русских людей на современную русскую действительность.² А это уже довольно серьезно даже и в наше столь гремучее время, столь полное потрясающими фактами, не идеальными и вымышленными, а действительно существующими.³ Серьезно это⁴ потому, что⁴ в наше время всеобщей раздробленности и разъединения наших взглядов на эту самую гремучую и потрясающую действительность⁵ мысли таких замечательных русских людей, как автор романа «Анна Каренина»,⁶ заслуживают⁷ непременно внимания и оценки и даже, чем больше мы тут употребим внимания и оценки, тем вернее *нрзб.* сделаем *<?>*.⁸

Все эти взгляды выразил автор в 8-ой своей части романа, отвергнутой «Русским вестником» и изданной отдельно, как раз *<не закончено>*

Наш народ заключает в себе начала решить вопрос низшей братии, четвертого сословия, без боя и без крови, без ненависти и зла, совершенно па иных началах, как думает решить его Европа.

Пушкин, сделавший это и показавший, как надо сделать.⁹

Почему не может быть и остального и науки, потому что скажут, что тут все-таки Европа, нет в «Анне Карениной» уже и то русское. Тут именно русское.¹⁰

¹ Было: выяснилось

² на современную русскую действительность вписано.

³ даже и в наше со существующими вписано.

⁴ Вместо: это⁴ потому, что⁴ было: ибо

⁵ Серьезно это⁴ со действительность вписано.

⁶ как автор со Каренина вписано.

⁷ Было: все заслуживают

⁸ Далее начато: чем к настоящей, вернее взг^{яд?} который еще в будущем

⁹ Пушкин со сделать. вписано.

¹⁰ Рядом с текстом: Почему со именно русское. — фигурная скобка с по-меткой: №.

Я не хочу оторваться одной поэмой, это лишь копия, но это копия есть, дана, действительность, вправду существующая.¹
Впечатление сильное и, уж разумеется, вера верующих.
Этот подъем России уже факт.
Но дальше.

Вы сулите посрамление и веруете, что Россия усмирит 4-е сословие. Верующие верят в начало. Но когда это совершился, когда разовьется? Где героическое, где ее наука, где литература?

Литература?

И вот вдруг поэма обратилась для меня в факт.

Факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявление русской силы. Мирно освободили.² Прирожденный демократизм все яснее и яснее выходит наружу из-под всего, что давило человека. Но все эти факты оспаривают и толкуют различно. Где факты? Вы сталкиваете с Европой. Как дорога нам эта страна, будущая мирная победа великого славянского духа.

О, пусть малый факт, но не шутите. Факт малый, но уж он есть, но уж дан, и он свой.

Вот какова была минута этого взгляда.³

Почему же отъединение? Каюсь — золотой фрак — Гоголь. Но я отрицаю. Книжка наивна и, так сказать, первоначальна.

Это до того наивная книжка! Но она не должна была являться!

В ней глубоко выразился русский дух, как давно уже он не высказывался в Европе.⁴

Автор любит эти лица (князь). В сущности, он историк среднерусского дворянского семейства, уже отжившего время свое.

Мы укажем им пока хоть нашу литературу, и хоть они не поймут нас, потому что долго еще не будут читать ничего русского, но мы-то вправе, мы-то спокойнее за себя.

Тут слишком выразилось наше.

Меня сбил с толку Гоголь.

Развитие науки требует, может быть, других условий — этнографических, экономических, политических, тесноты, инертности.

Скажут, это только поэзия, литература, какой-то роман.

Я возвратился в странном настроении домой. Роман обращался в факт, факт этот нашел соприкосновение.

Не порабощать, а жить давать другим.

Как не верить после того.

Но, однако, роман. Стотысячные факты, но, однако же, они есть, даны.

Слова и вера стерлись. Война-освободитель. Без примера тупо

¹ Я не хочу вправду существующая. вписано.

² Мирно освободили. вписано. Вариант: Мирно и свободно

³ Вот какова взгляда. вписано.

⁴ В ней глубоко в Европе. вписано на полях.

неверующей Европы — тем не менее — обновление» 4-м сословием, христианские начала.

Я сам европеец. Я благоговел перед великой загадкой «страны святых чудес». Где факты?

«Анна Каренина» — боже, как смешно.

Но ведь если это есть, то почему же не быть п всему другому?

Гончаров. Шекспир — разговор. Не Шекспиры. Плеяда — но совершенный взгляд народа». «Карениной».

Реализм, который создался у нас раньше европейского, раньше фальшивого французов, например, реализма.

В сущности, весь гений начинающейся Англии, но вопрос этот даже о Шекспире лично.

Те, кто понимают Шекспира, поймут, что я говорю. Гениальюю силою; и упования единственно на силу его.

Снятия противуречий еще не произошло, *«не* совершилось, почти даже и не началось.

Многоразличие явлений не разъяснено. Объяснить».¹

Хоть на мгновение, может быть, понятым, и в это мгновение на задавшего вопрос вы не будете смотреть, как на сумасшедшего.

«Аз воздам» — дальше страшные *«?»* вопросы, как, например, даже не затронутые».

Что составляет вечное приобретение литературы всего мира? Не разбирают? 100-тысячную черту.

И вот что должен подумать верующий — совершившийся факт обновление» 4-м сословием.

О, г-да европейцы! Никогда вам не была так дорога Европа, как мне.

Факт этот важный и огромный и как раз пришелся к моему недоумению.²

Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося нового слова, они долго, слишком долго, может быть, не поймут.

Совершился начавшийся воочию великий факт, подтверждавший их гадания.

Ну хоть где наша наука? Гончаров.

Пусть это еще только заря. Зарю еще холодно и рано, все равно день наступит, солнце засияет. Пусть смеются и бросают камни, но зато мы первые об этом пророчествовали, и это останется за нами.³

Заметьте еще, что, говоря так, я Левина с автором не смишиваю, хотя многие и уверяют, что так. Как объективный художник и много дурного — но не могу не признать, что очень многие из убеждений вложены автором в уста Левина, вопреки даже, может быть, художественности. Таким образом я убедился, что многое, но далеко не все, но хоть многое.

¹ Многоразличие \sim Объяснить. вписано.

² Рядом с текстом: Факт \sim недоумению. — на полях было: Извлечь себе посредством России еще больше, чем сама Россия.

³ Пусть \sim за нами. вписано на полях.

Дале того. Здесь я принужден выразить некоторые чувства мои, хотя и положил бы, издавая «Дневник», что литературной критики у меня не будет. Но тут будут лишь чувства, а не критика.¹ Я издаю «Дневник», и вот я пропустил огромное впечатление, произведенное на меня окончанием романа. Об нем² я, может быть, выражусь слишком наивно; это впечатление от романа, от выдумки, от поэмы совпало у меня с огромным впечатлением объявления войны, так что оба факта страшно и торжественно в душе моей² нашли действительную связь, так что оба факта, и ром^{ан} и объявление войны, нашли в мечте моей свою, так сказать, точку соприкосновения и связь.³

Возымели значительную и замечательную точку соприкосновения между собою.⁴

Вместо того, чтобы смеяться надо мной, выслушайте меня лучше. Превосходство нашей культуры не в естественных лишь зачатках ее (несомненных), но и в фактах. Сила великоруса наиболе гонимого и презираемого *<не закончено>*.

Правда, я только черкнул (*Суворину*) несколько слов.

Вот почему такое сильное отъединение как отъединение автора такого произведения от нашей России в такую критическую для нес минуту и произвело на меня, может быть, слишком сильное впечатление. А впрочем, перейду лучше к делу.

3 главка.

Тут собрались лица, рассуждающие о Восточном вопросе.

Но скажу заранее, что Левин искал бога. Эта черта важна в дальнейшем, как увидит читатель.

Он убегает в леса и рощи и даже сердится, мало того, даже факт, что он давно знал и на что мужик Федор только навел его мысль. Тут выразился народный дух во взгляде на преступника и па ненормальность общественных отношений.

Искать ли ненормальности в этом отъединении от всего человечества в целой массе.⁵

¼ имения. Ибо всё так и делается. Но я чувствую, что я только затемняю.

Хотя это только 100-тысячная копия, но она уже есть, уже дана.

Я объяснял его золотыми фраками. Я уже всё буду говорить наивно, прямо, что такое золотой фрак. Вместо всяких разъяснений возьмем пример.

«Июль—август, гл. II, § IV»

Теперь, когда я выразил мои чувства, может быть, поймут, как подействовало на меня отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела, от правды и истины

¹ Вместо: будут ∞ критика — было: не одна критика

² Далее было начато: впечатление нашли в своей

³ Далее было: Выскажусь яснее: я славянофил

⁴ Возымели со между собою. вписано.

⁵ Он убегает ∞ в целой массе. вписано на полях.

и парадоксальная ложь, возведенная им на народ. Конечно, всё это выражено лишь в лицах героев романа, но с тем вместе видно, что и автор теряет свою художественную объективность и что он и сам заодно с своими героями, поддакивает им и направляет их. Так как я пишу искренно, то признаюсь уж во всем: я, было, всё приписал золотому фраку, вот тому самому золотому фраку, о котором я написал в прошлом № Дневника». Но написал я тогда еще далеко до прочтения книжки и еще даже до появления ее,¹ а об авторе еще и слухов тогда почти² не имел. Я написал тогда по поводу любителей турок и прочего. Разговор же о турках, приведенный мною, происходил буквально (точно ведь напророчил) в то время, когда я вел этот разговор, отчасти совершенно³ такие же мысли и размышления уже печатались в одной из московских типографий в 8-й части «Анны Карениной». Но кончить сначала о золотом фраке: вот что я написал о золотом фраке.⁴ Про этот золотой фрак мне пришла первая наглядная мысль, вероятно, еще лет тридцать тому назад, во время путешествия в Иерусалим, «Исповеди», «Переписки с друзьями», «Завещания» и последней повести Гоголя. Мне всю жизнь потом представлялся этот не вынесший своего величия человек, что случается и со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особенно с треском. Шли слухи⁵ — и вот пошло. Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой фрак еще чуть ли не до «Ревизора».

Даже самые щекотливые вещи улеглись там так, что сердитесь⁶ и⁶ приписывать чему-нибудь трудно. Тем пе менее щекотливые вещи там есть и хорошо,⁷ если б их там не было.

Доказал, что ему нечему учить никого. Даже в школе не годился бы.

Таскает на вихры.

От каких причин не знаю, но о золотом фраке говорить больше не буду и от догадки моей отрекаюсь.

Пьяных убить.

Следовательно, Левин говорит именно об этом. И веру-то получил от мужика, тот навел его на мысль, как верить в людей! Тяжкий⁸ решил дух, мешавший его объединить, занять.

Или это заклятый⁹ какой-нибудь спор из-за пари.

Не в одной лишь бедности людей, не в одном торжестве грядущего в мире четвертого сословия, несравненно¹⁰ глубже.

¹ и еще даже до появления ее вписано.

² тогда почти вписано.

³ отчасти совершенно вписано.

⁴ вот что в фраке. вписано.

⁵ Было: Еще задолго шли слухи

⁶ сердитесь и вписано.

⁷ Было: много бы я дал

1

1877 год. Август. Всё писалось в воскресенье

Многие годы я мечтал над пьесой, и наконец начал
последний из предшествующих наименований, оставляемый
всецело в творчестве, определяющийся ими впереди.
Но неудача в выборе названия, и то не
один раз, и вспоминается мне оно вновь и вновь.
Все же я нашел название для пьесы, и это
имя, какое-то время, неизменно звучало в моем
уме, а именно: «Дядя Фёдор». Но это было
таким именем, что я не мог вспомнить
о нем, и оно оставалось в моем уме
всегда. Но я не знал, как же назвать
эту пьесу, и не знал, как же назвать
ее, и не знал, как же назвать ее, и не знал,

и не знал, как же назвать ее, и не знал,

и не знал, как же назвать ее, и не знал,

и не знал, как же назвать ее, и не знал,

«Дневник писателя» за 1877 г. Черновые наброски ко второй главе
августовского выпуска.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Ленинград.

— Народ шел как одни за себя. Но ни разу не было сомнения, что царь не с ними сердцем. Против вели цари — по об этом потом еще скажем ниже.

Заметьте, *ambition rentrée*,¹ стало быть, бросились в новую деятельность не натурально с горя, из самолюбия, чтоб бурлить и бурлить.

Это обвинение ходило и имело свою карьеру.

Этот уж осмеет, и пирог осмеет, а съест первый. Он-то и начинает разговор.

Разговор быстро разгорается, потому что все неудержимо стремятся к главному.

Что ни слово, то как в лужу. Впрочем, степень и характер его остроумия читатель сейчас сам увидит ниже из выписок.

Досадует.

Как это автор так и не заметил, что остроумия-то в нем и нет,² что его остроумец не остроумен. Он и добросерд и здравомысл и остряк, главное остряк.

Лицо, впрочем, второстепенное. Здравомысл, но не так, как у Фон-Визина здравомысл, который как заладит, так точно осел ученый: одно здравомысле и ничего больше.

Турок резать. Не беспокойтесь, мы народа не развернем. Опыт был двухсотлетний. Нас народ научит.

Да вот солдатики воротятся и обстоятельно расскажут, что такое болгары.

Не заметил он тоже и многого, московский пошляк, клубный герой.

Филантропическая девица.

Варенька, премило паписанная и премило обличенная, послужившая под конец пьедесталом Кити, делающая вид, что ей не надо замуж, а что она довольна и филантропией.

Сочувствие же русского народа и общества ни за что пельзя принять за объявление войны.

И то, что князь об этом заговорил, как будто даже и не хорошо, хоть бы и не ему вовсе.³

Сюзерена, как писали в одной газете. Русские довольны известием генерал-майора Черняева еще прежде по телеграфу.⁴

Кстати, я выше говорил про остроумие князя. Вот все-таки.

M-me de Шталь. Князь, очевидно, знаком с говорками в кружках и знает, где место пощекотливее.

Почему же добровольцы негодяи, почему же огульная такая хула? Народ тоже.

Шоссейные дороги, и тем поровняться с Англией и с великими западноевропейскими пародами.

¹ подавленное честолюбие (франц.).

² что остроумия-то нет вписано. Далее было начато: что он вовсе не

³ И то не ему вовсе. вписано на полях.

⁴ Сюзерена по телеграфу. вписано.

20 лет свободы. Внутренняя жизнь народа, много разочарований.

Народ. А между тем это гораздо проще и яснее.
Мещерский.

Рогозин. Да, а для великих целей (войну). Если сделать самое строгое следствие, то и тут вы не отыщете ни одной цели, ни одной черты, которой бы не было наружу.

Я держусь мнений «Русского вестника», что с 7-ю частями кончился роман «Анна Каренина».

Про народ. Агаряпе. Это уж не для Левина. Я знаю, что его не убедишь.

Факты в историю перейдут движения народного, и не будут спрятываться с историками средневысшего дворянского круга.

Зато уж и ответил ему, прямо в жилку: «С турками».

Какое остроумие с обеих сторон.

Я знаю людей весьма, в высшей степени честных и весьма порядочных, которые не могли спать.

Я не узнал князя, но вот и Левин доходит до таких столпов, что я не узнал и Левина (чувство).

Правительство. Тут же узнают, что не было ни единого человека, который шел бы против царя.

И этакий писатель брякнул там прямо народу в глаза, да еще за лучшее его дело, которое вспоминается в истории и в русской, и в всеславянской истории!¹

Но прежде. Все эти разговоры в конце, но прежде *праздношатайство*. Когда Некрасов писал кающегося Власа.

Мысль очень верная, хотя, впрочем, те философии, то есть рассуждения, ведь совсем не о том.

Пройдет, выйдет — какой-нибудь сучок.

Князем Миланом, князем Николаем Черногорским, а прежде тех герцогиницами. Правы ли, не правы ли они были, бунтовали ли или нет, нам нет дела. Народ же русский, идя против губителей христианства добровольно, конечно, считал себя правым.² И он знал, что он был вместе с царем своим одним сердцем. Осенний манифест оправдал восставших славян.

Графиня Лидия Ивановна и Рагозов объявили войну, но это большая ошибка и даже умышленная натяжка и именно той партии.

Не удовлетворяет, тем более, что и не об том трактует, об чем ему хочется знать.

И вот Левин это почти доказывает. Он опять жарит малину на свечке.

Это дело сделано было народом для Христа, и этого отнимать у народа нельзя. Потому — чем же бы наш народ был без Христа.

¹ Правительство в всеславянской истории! вписано на полях.

² Далее было начато: Осенний манифест

Это тоже жить для бога, как сказал мужик Федор, — удивляться тому, что народ знает про агарян, — значит удивляться тому самому, почему народ и всех прежде мудрецов знает¹ о добре и зле. Сам же Левин так недавно торжествовал, найдя это знание и в себе и в народе как данное, а не достигнутое разумом.

Это хитросплетенный человек, что и увидим сейчас. Только что он уверовал,² прибежали дети и объявляют ему...

Ибо он сейчас же, ниже <?> опять разрушает. Опять жарит малину на свечке.

Или чем-нибудь.³

Кити пошла и споткнулась, так вот зачем она споткнулась. Если споткнулась, значит всё предопределено, ибо оно даже ясно видно, что она и не могла не споткнуться. Был ли в таком случае промысел? Всё зависит от законов, которые могут быть строжайше определены наукой, а не от промысла и т. д. и т. д. и опять, значит, в <нрзб.>.⁴

Не думаю, чтоб вера, но, однако же, нечто взамен ее очень успокоительное.⁵ Не поручусь, что⁶ мнительный ипохондрик Левин не разрушит этого сам.⁷

<Июль—август, гл. III, §§ II—IV>

Но вот вопрос, который до странности мучит Левина.

Левин отрицает про народ, но об народе мы потом, а теперь кончим лишь об объявителях войны.

Милан.

Народ.

Генерал.

Добровольцы.

Весь народ провожал <?>.

Почему правительство не запретило?

Но всё открыто. Сборы открыто, всё публиковали. Всё действительно совершалось совершенно свободно.⁸ Была ли хоть тень, чтобы прятаться, не вправе участвовать в войне? Но такого закона, кажется, и нет вовсе. Правда, может быть, есть какой-то, но не действует. Но в самом деле почему правительство не запретило? Потому что правительство слишком знало, что нет ни единого человека. И действительно никто не шел против воли царя и не мыслил идти. Ждали слова царева и дождались! И эта-

¹ В рукописи ошибочно: знают

² Далее было начато: объявляют

³ Это хитросплетенный со чем-нибудь. вписано на полях.

⁴ Кити пошла ~ значит в <нрзб.>. вписано на полях.

⁵ Далее было начато: по крайней

⁶ Далее было: беспокойный и взбалмошный

⁷ Не думаю ~ этого сам. вписано на полях.

⁸ Всё действительно ~ свободно. вписано.

кий писатель брякнул так прямо народу в глаза, что в истории его и славян *<не закончено>*

Но писатель не признает и народа. Сволочь — (выписки). *Стрюцкие*. Нет, не сволочь. Добровольцы — почему им сволочь. *Журналисты*.

Народ. Агаряне.

Левин озлоблен, тут им *собираться <?>*. Но Левин доходит до бесчувствия. Кити спокойна.

Expressément permis.¹

Как можно было не чувствовать непосредственного угнетения этих несчастных?²

Expressément.

Да из чего он хлопочет наконец? Ему-то что?

Нарушаются, дескать, основы, то-то и есть, что нет, а напротив созидаются.

Действительно есть такие, которым из-за расстояния уже и не бывает жалко: «Э, за 1000 где-то верст, не в моем приходе», но Левин...

Журналисты. Правда, все они трусливы, но лишь перед либерализмом. Всякий поклонится идолу, который не может ни видеть, ни слышать, ни говорить. Всякий назовет правду ложью, а ложь правдой — из-за либерализма. Это глупое и тупое преклонение из страха перед всем, что либерально, надолго остановило развитие русских сил. Вместо свободных мы рабы. А рабы не скоро еще приобретут человеческое достоинство. Но перед ружьем или штыком никто из них не струсит. Всё это люди, имеющие вид джентльменов, как выразился один лондонский типографщик об одном русском явившемся к нему литераторе.

Но желание, чтоб сломали себе шеи, было и деньги <?>. Это-то Левин и называет объявлением войны. Но это уж слишком партия. Азарт <?> Левиных <?>.³

К королю Балдвину и так ласково был принят им.

Так что Левин мог бы теперь и не колебаться и не говорить: «Я не знаю», писаря волостные, учителя, нет, именно не писари, а весь народ наш и именно лучшие его представители, так как дело это было понято прямо, как Христово дело, очистительное, покаянное.

Что они не образованы, я согласен, но что они действовали из хорошего побуждения и думали сделать хорошее дело, в этом уж тоже нельзя бы не согласиться, а стало быть, во всяком случае это были хорошие представители народа, не бесшабашные, не стрюцкие, а напротив, даже лучшие, может быть, представители народа, если уж очень-то смело говорить.

Слово царя о сочувствии тем же несчастным. А там во всем

¹ Точное разрешение (*франц.*).

² Рядом с фразой: Как можно \sim несчастных? — на полях помета: Здесь,

³ Журналисты. \sim Левиных <?>. вписано на полях.

остальном его великая, святая монаршая воля. Ни одного мгновения народ не думал иначе, и могло ли быть применено к обнаженному чувству. Но шайка Пугачева и проч. Сами рассудят. Вот как надо понимать, по-моему, *сознательность* движения народного.

Именно пробудилась христианская ревность, почти покаянная, как я выразился выше, — и вот этим, и только этим, можно и объяснить загадку поднятия всего народа русского в пользу и в защиту, как официально называют, братьев славян.

Придет к этим разумным и просвещенным мыслям: после всего, что он выразил, это одно сму и остается.

А теперь в насмешку.

Геогр^афия. Покаяние. Свят^ой мир <?>. Воля. Ст^{ар}ый князь. Не хвалю. Почему-то так сложилось исторически.

Но движение было доброе, благородное, христианское. Мы разделились, что народ оправдал великую веру нашу в него.

Сочувствие отзывалось великодушному и благородному слову свыше.

Что хождения их по святым местам богу вовсе и не надобны потому, главное, что ни им самим, ни семействам их и никому пользы никакой не приносят, а что, напротив, приносят вред, ибо странствующий уходит надолго, в сущ^ности, это для эгоизма <?>¹ оставляет дом, семейство и хотя бы в доме он был и лишний уже человек за старостию лет и проч., но всё же бы он, хоть и в старости, мог бы гораздо больше пользы принести и себе и другим, оставаясь дома: за скотинкой бы присмотрел, на пчельнике бы посидел и проч., но польза своего рода есть.

Пусть он будет спокоен за турку. И в этом именно беспокойстве своем он доказывает, что не знает ни русского народа, ни русского солдата.

Репрес^салии, я не согласен.

Конечно трудно согласиться вполне с этим неблаговоспитанным и неблагородным турком, но нельзя не согласиться, что сентиментальничание.

1) Разговор человека порядка с человеком беспорядка, положим, во Франции.

2) Этот у порядка приставлен, это его дело.

3) Но Левину что за дело, чего ему надсаживать себя, но он именно надсаживает себя.

Чтите за хорошее.

Не забудьте нашу войну 20 лет назад.

Афон. Всех сослали.

Газеты народ читает. Тут не славяне. Освобождение христианской церкви, христиан. Кулаки.²

¹ в сущ^ности, это для эгоизма <?> вписано.

² Текст: Не забудьте о Кулаки. — вписан.

Такие негодяи смотрят с высокомерием на русский народ, что уж от таких людей, как граф Толстой, он бы мог ждать и оправдания себе.

Хоть Сергей Иванович и выпущен защищать, но они только кричат, а не говорят дело. Дело же до того ясно.

В пример назидания и подражания, очень не хорошо-с.

Разбогатев и укрепившись в своем семействе, имея подле себя Кити и прочее, он именно так начинает смотреть на народ.

Считает за хорошее. Конечно, русский народ не образован и груб, но Левин мог бы зачесть ему эту историческую черту его, склад и настроение его¹ и, одним словом, простить его за узость, так сказать, понимания хорошего. Без всякого сомнения, можно указать² ему шоссе *«?*», школы — умножить свое благосостояние, прикопить экономические силы.³

Так что не понять тут может или совершенный невежда в русском народе, или Старый Князь, или, например, человек с известными *«?*» целями. Умному же Левину невозможно бы этого не понять.

Высшие же классы руководило и человеколюбие вообще.

За 1000 верст. К тому же теперь быстрота сообщений, телеграфы, железные дороги как бы сократили расстояния, и сердцу не только бы, кажется,⁴ не стыдно было, но даже и натурально пожалеть об младенцах, даже несмотря на расстояние. Да и к тому же определено ли хоть сколько-нибудь изысканиями науки, например, па каком расстоянии должны ослабевать и наконец совершенно сводиться *на нет* естественные движения человеческого сердца?

Final. И вот вместо идеала⁵ оказался злобный и чем-то лично обиженный ипохондрик. Очень даже нехорошо. Этого озлобленного и раздраженного до трясения ипохондрика.

Кити весела и кушала, мальчика мыли, и он узнает — что же мне в том, что там за 1000 верст делается.

До детей с проткнутыми глазами и до их матерей с вырезанными грудями. Не чувствую ничего непосредственно. Никакого ощущения. А коль я не чувствую, так, стало быть, и весь народ не может чувствовать, и не может быть никакого непосредственного ощущения, потому что я сам народ.

Здесь начало. Он сказал еще хуже. Признаюсь, что *ж это расстояние*.

N.B. Сначала, что непосредственного *ощущения* не чувствуя, а потом уж выписать, что *не убил бы*.

С мнением турок, конечно, трудно согласиться, ибо тут европейничание и сентиментальность, но не похоже ли на эти же

¹ склад и настроение его *вписано*.

² Было: наскажать

³ умножить со силы. *вписано*.

⁴ Было: казалось

⁵ И вот вместо идеала *вписано*.

самые конфеты и мнение Левина (убил иль не убил). Серг^{ей} Ив^{анович}.

Эти люди пророки,¹ учителя наши, и чему же они учат?

Был^и бы подлецы. Когда помошь незащищенному не считалась доблестью и подвигом?²

Левин^ы столь горячи и добры. Левин не по закон^у, если и был.³

«ОБЪЯВЛЕНИЕ К АПРЕЛЬСКОМУ ВЫПУСКУ
«ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА 1877 г.»
«Черновой набросок»

Содержание объявления

Глава первая. I. Война. Мы всех сильнее. II. Не всегда война бич, иногда и спасение. III. Спасает ли пролитая кровь? IV. Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе.

Глава вторая. I. «Сон смешного человека», фантастический рассказ. II. Освобождение подсудимой Корниловой. III. К читателям [и т. д.].

¹ В рукописи ошибочно: пророку

² Был^и ~ подвигом? вписано на полях.

³ Левин^ы ~ если и был. вписано на полях.

ВАРИАНТЫ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ ЗА 1877 г.

Варианты чернового автографа (ЧА)

«Май—июнь, гл. I¹ и II»

Стр. 124.

- ^{43–44} *После:* дни свои на земле — (и он знает это)
⁴⁴ пожелал он победы / пожелал победы .
⁴⁵ за то только / потому
⁴⁷ русских еретиков / еретиков ♦

Стр. 125.

- ^{1–2} И не разуметь ли нам уж и папу / И не разумел ли он папу ♦
² в числе других-то «вершин прегородых» / в «других-то вершинах
прегородых»
⁷ *После:* пожрет? — начато: В книгах? .
^{9–12} Казалось, должно бы тут разуметь со протестантство и... / а. Ка-
залось бы [три] он говорит про три исповедания: про католицизм,
протестантство и... б. Казалось, он должен бы тут разуметь,
если уж он предсказатель, католицизм, протестантство и... ♦
¹² *После:* законное-то? — Не разумел ли он чего-нибудь грядущего
¹⁴ всё это лишь / тем более, что всё это лишь
¹⁶ И мало ли бывает совпадений? / Совпадения бывают.♦
¹⁶ Правда, всё это написано / а. Начато: Правда, документ б. Правда,
всё это писано
^{16–17}? и напечатано вписано.
¹⁷ и это очень / что очень
^{19–20} войнам великой протестантской реформации / великой протестант-
ской Реформации ♦
²¹ особенно в протестантских / в протестантских
²² появлялись / являлись
^{25–24} занимателльный факт. Не как чудо, да и не одни лишь чудеса / зани-
мателльный факт, а вовсе не как чудо. Да и не одни лишь чудеса ♦
²⁰ и в видимом увидим / и увидим
^{21–23} то прямо принимаем то со поверим скорее чуду / то, клянусь, пове-
рим скорее чуду
^{24–25} *После:* в том вся история человечества. — А кстати уж еще раз и от-
ступая от дела, и пусть это будет глава лишняя: существует ли про-
рочество, т_{ко} есть существует ли в человеке способность [проро-

¹ Начало § 1 отсутствует.

чества] пророческая? Говоря так, я [разумею] предполагаю лишь естественную способность, заключающуюся в организме человека [вообще] (или даже нации), но, разумеется, исключаю из вопроса моего совершенно [тех пророков] тот дар пророчества, о котором [по Священному писанию] говорит Священное писание [в Ветхозаветной священной истории Иудейской]. Та тема особенная и к настоящему вопросу не подходящая. [Она наводит на вопросы] Современная наука, столь много трактующая о человеке и даже [много] уже решившая много вопросов окончательно, как сама она полагает, кажется, никогда еще не занималась вопросом о способности пророчества [потому ли] в человеке потому ли, что ей некогда было, или потому, что не находилось достаточно фактов для начала исследования [тем не менее даже] или даже для возбуждения самого вопроса. [Тем не менее] Кстати, в вопросе о способности пророчества в человеке, способности предчувствий и т. д. уверены очень многие и в наше время [и даже слишком многим] и, главное, даже из самых образованнейших людей. Правда, никто не умеет ничего сказать точного, и все только разводят руками перед фактом. [Но хорошо ли так оставлять дело со стороны науки, хорошо ли оставлять нечто предвзятое, а может быть, и совершенно предрассудочное в людях. Наука [учит] находит же бесспорно необходимым, прежде всего, искоренение предрассудков, для расчистки себе поля действия, а мистические же¹ предрассудки всех сильнее. А потому]

Но факты, факты! Как же начинать науке без твердых фактов? Вот для того-то их и надобно проверить, и ученый, если бы пожелал ими заняться, нашел бы их сколько угодно. Он сразу вывел бы два превосимательные для него заключения. 1) Чем превознительнее относится к ним наука, тем сильнее они размножаются, и 2) что ве-рующих в эти факты не одна лишь чернь, не одни лишь необразованные, а, напротив, найдутся (и не мало) высокообразованных людей и даже ученых. Само собою, крупные и, так сказать, исторические факты, даже и столь давние, трудно проверить. Предсказание, и(а)прим(ер), того француза, который, в семидесятых годах прошлого столетия, на одном тогданием «ужине» предсказал смерть короля и всего королевского дома, с замечательною подробностью, что одному лишь королю дадут в последние минуты перед казнью духовника, — предсказание это, несмотря на то, что засвидетельствовано одной писательницей, конечно трудно теперь проверить и считается недоказанным. Любопытно только то, что предсказание это было высказано без малейшего мистического или религиозного оттенка, светским, хотя и весьма странным, как передано, человеком. Более, кажется, доказанными считаются предсказания Сведенборга в Швеции [ученого, много], известного ученого, много оказавшего пользы в свое время своему Отечеству по минералогии и по устройствуrudополен. Он написал несколько мистических сочинений и одну удивительную книгу о небесах, духах, рае и аде, как очевидец, уверяя, что загробный мир раскрыт для него, что ему дано посещать его сколько угодно и когда угодно, что он может видеть всех умерших, равно как всех духов и низших и высших и иметь с ними сообщение. Вот про него-то идет предание, что он, по смерти одной коронованной особы, по просьбе (л. 7) королевы отыскал какие-то важные затерянные бумаги, отправившись нарочно за тем в небеса переговорить с покойником. Что книга его о небесах, аде и рае — искренняя и не лживая, — в этом не может быть ни малейшего сомнения, но в то же время нет ни малейшего сомнения в том, что она плод болезненной галлюсинации, начавшейся у него лишь в летах преклонных и продолжавшейся 25 лет и, что всего замечательнее,

¹ Неважеркнутый вариант: несуществующие

продолжавшейся именно в эпоху самой плодотворной научной его деятельности. В том же, что книга эта есть плод галюсинации, убеждается всякий, ее прочитав: в ней до того выразился протестант, со всем духом протестанства и с его предрассудками, что не останется ни малейшего сомнения, по прочтении ее, что она вышла вся лишь из души и сердца самого автора, конечно вполне веровавшего в истинность своей галюсинации. Но если б [возможно было к тому же доказать] к тому же была доказана и истинность факта об отысканных после покойника бумагах, — то для науки получился бы важный факт, а именно болезненность того состояния, при котором возможно в человеке пророчество, или, лучше сказать, что пророчество есть лишь болезненное отправление природы человеческой.

Но все это было давно. В наше время, как на крупный факт, лет тридцать или сорок сряду, указывали на гадальщицу мадмуазель Ленорман. Этой еще и теперь есть свидетели, и даже до сих пор помещаются иногда в газетах известия о ее [бывших] чрезвычайных и точных предсказаниях иным лицам.¹ *«л. 8»*

Если [не быть] способность [пророчества] пророков действительно есть в человеке, заключается в самой природе его, в организме его, положим, при известных, особых условиях, но совершенно, однако, естественных условиях, то как бы хорошо и полезно было [очистить факт, хотя бы только от мистической его примеси] разъяснить этот факт. Вопросы же сами собой представляются: если действительно существует дар пророчества, то как болезнь или как нормальное отправление? Если существует способность пророчества, то во всех ли людях, более или менее разумеется, или в самых редких случаях, из множества миллионов людей в одном каком-нибудь экземпляре? И проч. и проч. Правда, заниматься даже таким вопросом, даже только ставить его как тему исследования в наш век недостаточно *«л. 1»* либерально и может компрометировать серьезного человека, тем более научного исследователя, но лучше, что ли, если люди будут веровать про себя, слишком да тайком, бог знает во что? Я осмеливаюсь выразить мнение, что подобные верования, оставленные без внимания и разъяснения, без расчистки, так сказать, поля, вредят делу преуспеяния человеческого и самой даже науке несравненно более, чем [она] сама наука полагает. Слишком уж высокомерно и предвзято смотрят опа в наш век на иные предметы. Если бы, например, наука добилась того, что дар пророчества есть *«дело естественное, хотя бы и ненормальное, болезненное [и совершенно], но свойственное организации человека, тогда, думаю, было бы чрезвычайно многое разом порешено.* (В. Ведь есть же, например, какая-то болезнь, кажется, в Шотландии, называемая двойным зренiem, ведь разъялена же она, ведь не верят же в нее как в чудо?)

Древний мир, до христианства, [кажется] верил в существование способности пророчества в человеке, кажется, безусловно. В средние века христианства, и даже в весьма недавние века, кажется, тоже не возбуждалось ни малейшего сомнения в существовании этой способности, и ей тоже буквально все верили. В эти века христианства к чистым и высоким верованиям примешивалось, как известно, слишком много предрассудочного, чудовищного и отвратительного [и главное], которому не только верили, но, что главное, которому повелевалось веровать чуть не наравне с самыми незыблемыми религиозными [истинами] основами. В наш век люди

¹ Текст: Но факты, факты! со иным лицам. — очерчен красным карандашом. На обороте л. 8 помета А. Г. Достоевской: Находилось в рукописи май—июнь 1877 «Дневника писателя». Не было напечатано. Вставлено в текст по смыслу вместо предыдущих зачеркнутых шести строк.

науки многое из того, чему верили прежде,¹ называют свысока предрассудками, предвзятыми [истинами] идеями, болезненностью, а главное — не удостовгают даже исследования. Правда, мы еще слишком не далеко [удалились] отошли от тех темных веков и влияния их, так *(л. 2)* что презрение науки и отношение ее свысока ко многому, что было в те еще недавние почти времена понятно, да и образовался к тому же, как мы упомянули, [к тому же] ложный стыд: недостойно-де науке этими заниматься. Но не «предвзятость» ли, не предрассудок ли со стороны науки так относиться к иным вещам, голословно и ничего не разъяснив в точности. Вспомните, что в человеке вообще, и кто бы он ни был, в чрезвычайной силе развито [убеждение] верование, хоть не в пророчество, но, например, в способность предчувствия. В этой способности предчувствия убеждены люди лично, про себя, чуть [ведь] не все сплошь. Если же она есть (а почти ведь наверно можно сказать, что она существует), то что Гла такое? И удостопи ли кто из людей науки обратить на нее² внимание серьезное? А между тем, серьезно сообразите, сколько может произойти от этого верования в способность собственного, личного предчувствия — других убеждений, например хоть лишь убеждение в [черном]³ дурном глазе, т^(ко) есть в способности слазить, прямо простирающая из способности предчувствия, — убеждение, которому веровали и [веруют] продолжают веровать столь многие из самых образованнейших людей. Кстати, один недавний апекдот о дурном [черном] глазе: нынешней весной один мой знакомый (не могу назвать его имени) [попал] зашел как-то, по встретившемуся делу, на Охту, где не был почти пятнадцать лет. Прежде, и особенно в детстве своем, он часто бывал на Охте и даже жил там некоторое время. Естественно, в нем разгорелись воспоминания и он даже нарочно прошел по одной из тамошних улиц, наиболее напоминавших ему минувшее. Через два часа встретясь со мной и рассказывая свои впечатления, он [совершенно] мимоходом заметил, что даже поднялся, как *(л. 3)* там, в целые пятнадцать лет, ничего не изменилось, те же дома и даже почти не постарели. «И странно даже, — прибавил он, — строение деревянное, в Петербурге так часто пожары. а там, — благословенное место, — ни одного-то пожара, все уцелело и я, проходя, невольно даже об этом подумал». На другой день это знакомый приносит мне газету и указывает место, где [объявлено] извещали, что вчера в таком-то часу на Охте т^(ко) есть> ровно два часа спустя как там был мой знакомый и именно в той самой улице, в которой он подумал о пожарах) сгорело восемь домов. Бессспорно сущайность, и сомнения в том нет никакого, но так как этот знакомый и до того еще был уверен в [своем черном глазе или в] своей способности предчувствия, бессознательной угадки, и даже сам много раз перед тем и давно уже говорил мне об этой своей способности и рассказывал мне множество случаев с ним в этом роде, то и в этот раз он [совсем] невольно конечно остался и даже утвердился еще более в своем убеждении. Положим, он сам смеется над этим, но все же продолжает веровать, как-то невольно, неотразимо. Согласитесь, что если все эти (бесчисленные) у людей случаи — ложь, то как должна вредить эта ложь и как важно [расчистить поле] разъяснить ее раз навсегда. Если же бы оказалось, что это [все] вовсе не ложь, а многое из этого есть, существует и происходит по известным определенным законам, то опять-таки, согласитесь, как важно бы было такое строго научное исследование во всех отношениях и сколько пользы опять-таки могло бы принести оно. Заметьте еще, если в природе человека существует действительно способность предчувствия, то в высших степенях своих, в *тах* умে своего проявления [она-то

¹ Вместо: многое из того, о чем прежде — было: все это

² Неважернутый вариант: обращено ли хоть на это

весь и есть] (хотя бы и в чрезвычайно редких случаях проявления этого таих'ума) — она-то ведь и есть дар пророчества: как же людям не [верить в него?] веровать после того и в дар пророчества?

Тема эта, впрочем, общирная, и хоть не либерально, а об ней тоже бы когда-нибудь особо поговорить. (л. 4)

Я привел пример лишь, чтоб наглядно [доказать] показать, как могут совсем невольно укореняться самые роковые иногда убеждения. (Столь многих, утвердившихся в наш век на спиритизме, я считаю решительно постигнутыми злым роком.) Кстати, забыл сообщить. Тот же [исследователь] путешественник, который сообщил мне выписку из книги Иоанна Лихтенбергера, отыскал в Париже, в другой библиотеке, другую книгу предсказаний, тоже шестнадцатого века и тоже на латинском языке. В ней довольно точно предсказана французская революция. Между прочим, сказано en toutes lettres *[напрямик — франц.]* и еще два раза, что в 1878 году (*т_со есть*) в будущем году начнется конец мира и что этот 1878 год будет «первым годом начала конца мира». Предсказание это имеет смысл отчасти клерикальный, ибо прибавлено, что конец мира начнется именно с того, что в этот 1878 год власть святейшего отца папы перейдет в чужие недостойные и неподобающие руки. [Безо всякого сомнения, и это вздор, но однако же] Тут любопытнее всего то, что год помещен *et toutes lettres*, и кто же не скажет, что тут есть нечто верно попавшее в точку и что если папа Пий IX умрет [даже] в этом году или в будущем (что кажется несомненно), то в католическом мире может разразиться огромный спор о его преемнике, разлад и даже так, что избранный преемник его может быть не признан целиком половиною католичества, как избранный неправильно и недостойно. Согласитесь, что вот такие угадки современных событий, за триста лет, с точным обозначением года, настолько странны,¹ что могут довольно влиятельно действовать на некоторых людей, особенно расположенных к восприятию иных убеждений. (Н.В. Факт существования этой книги не подвержен ни малейшему сомнению; за нужду я могу сообщить № шкафа и № книги.) Между (л. 5) тем наука прямо говорит: «Всё это вздор, потому что ничего этого не может быть». Так, по крайней мере, относится наука к спиритизму, и спириты, может быть, с большею логикой возражают ей: «Всё это может быть, потому что всё это есть», *т_со есть* потому, что неразъясенные факты налицо. Но наука отвергает факты голословно и пока спокойна, а лучше, что ли, будет, когда весь темный люд, рабочие и мужики засядут за столы и начнут вызывать духов. А вряд ли этого не будет, и всякий шаг вперед отдалится лет назад.² Кстати, про меня упомянули как-то печатно, что я тоже наклонен к спиритизму. Дай бог любому противнику спиритизма быть таким ненавистником его, как я, но я ненавижу лишь отвратительную гипотезу духов и сношений с ними, насколько может чувствовать к ней отвращение человек, не потерявший здравого смысла. Но откидывая лишь мистическое голкование фактов, я всё еще остаюсь [убежденным] в убеждении, что факты эти требуют [еще] строгой проверки и что наука, может быть, не сказала об них не только последнего, но и первого слова. Я, разумеется, могу ошибаться, но в таком случае я ошибаюсь вместе с сотнями тысяч людей, люди же науки вместо щадительного, непредвзятого отношения к факту говорят лишь: «Ничего этого нет, потому что не может быть».

Мне передавали, между прочим, что некоторые из нашего духовенства отчасти обрадовались спиритизму: возбудят, дескать, веру, по крайней мере, явление духов протестует против всеобщего матери-

¹ Неважеркнутый вариант: по крайне мере любопытны
² Так в рукописи.

ялизма. Вот рассуждение-то! Нет, уж лучше чистый атенам, чем спиритизм!¹ *«л. 6»*

²⁶ Заголовка: Об анонимных ругательных письмах. — нет.

²⁷ нахожусь теперь / очутился

⁴¹ полезнее / лучше

⁴¹ к воде которого я-де уже привык *вписано*.

⁴³ читателей / читателей и подписчиков

⁴³ их ко мне *вписано*.

⁴⁴ о болезни / *Начато*: о моей болезни, мешающей мне *вписано*.

126.

¹⁻² продолжаю получать / продолжаю постоянно получать ♀

² много писем / множество писем

⁸ я ценю / я [так] естόль ценю

⁹ Пусть / Но пусть

^{v-10} После: это не хвастовство — *начато*: и потому рискну не угодить кому-нибудь

¹¹ не понимать / не знать

¹² раздражаю иных господ / раздражу тем иных господ

¹³ у меня тоже слишком / у меня слишком

¹⁵ по крайней мере сотня (но наверно больше) было анонимных / сотни две, по крайней мере, анонимных

¹⁶ из этих ста / из этих двухсот

¹⁸⁻¹² лишь два письма были абсолютно враждебные / лишь два ругательных со мной / со мною ♀

¹⁷ личностей / «личностей» ♀

²² для ругательства / для ругательства, впрочем, довольно забавного

²¹⁻²⁵ И вот эти-то господа со объявления о болезни. / Последнее из них

касается именно моего объявления о болезни.

²⁵ Мой анонимный корреспондент / Мой аноним

²⁶ не на шутку / не в шутку ♀ *вписано*.

¹⁶⁻²⁷ осмелился объявить со как мой болезнь / смею объявлять о моей

болезни

¹⁷⁻²⁸ в письме ко мне / в письме своем

¹⁸⁻²⁹ Слов: весьма неприличную и грубую — нет.

¹⁹⁻³¹ вопросом, именно: если я, например, поставлен в необходимость / а, вопросом: я нахожу нужным б. вопросом, именно: если я, например, нахожу нужным ♀

¹⁴ объявлял / объявляю ♀

³⁴⁻³⁵ о времени выхода / день выхода

³⁹ из-за которой , почему

¹⁹ После: так вышло? — До сих пор, казалось бы, я не слишком-то надоедал публике откровенностями насчет моих [интимных] личных обстоятельств.

⁴² литературного и общественного *вписано*.

⁴³ хотя отчасти, пожалуй / но, пожалуй, отчасти ♀

⁴⁴ бескорыстной / бескорыстнейшей ♀

Стр. 126—127.

⁴⁸⁻¹ К тексту: то получился бы любопытный со и я рад, что набрел на случай. — *нечеркнутый вариант на стр. 156 рукописи*: то получился бы любопытный и почтенный экземпляр, которому [вы] я, из деликатности, [по крайней] не мог бы я отказать даже и в уважении. Но тут был аноним, ругательный аноним, а я давно хотел поговорить о ругающихся анонимах.

¹ Текст: потому ли, что ей некогда со чем спиритизм! — (лл. 8—6) очерчен красным карандашом и снабжен примечанием А. Г. Достоевской: Всё, очерченное красным карандашом, не напечатано.

Стр. 127.

9 исполненное перемен / исполненное реформ ♦
13 везде они / все они
13–14 зачем не обращают / зачем, дескать, не обращают ♦
15 неудовлетворенного, так сказать, идеала / неудовлетворенной злобы
16 готов подчас взять / готов взять
16–18 до того это чувство мучительно со негодованием *вписано*.
18 скорее / более
18–19 Но зажигать спичкой уже крайность / Но это уже крайность
21–23 для натур со ругательное письмо пустить *вписано*.
23 пустить / написать
23–24 я стал давно уже подозревать / я стал подозревать невольно ♦
28–31 анонимные ругательные письма со не получает их *вписано*.
28 *После*: ругательные письма — начато: но всем направлениям>
34 в такой степени, что / так, как
34 на такой успех *вписано*.
37–38 уж и не читают их вовсе, а только распечатывают / уж конечно
не читают их
38–39 из таких посланий *вписано*.
39 с первых же слов / с первых слов ♦
39–40 неудержимым смехом / самым неудержимым смехом ♦
40 и должно быть / и должно было быть
40 наши неопытные анонимы / бедные анонимы
43 горячия / горячи и даже злы
44–45 явствительного анонимного письма / ругательного анонима
45 оно будет / он будет
46 не развились у нас / не развились
47 высший фазис / высший, тко есть зрелый фазис
47 не вступило это дело / не вступило
47–48 находится *вписано*.

Стр. 128.

1 необузданного пыла / необузданного взрыва
1 а не плод / чем уж
3–4 великие жертвы / а. великую жертву б. великие жертвы от себя
4–6 Наш анонимный ругатель со «Маскарад» / Это не таинственный незнакомец в драме Лермонтова «Маскарад»
7 когда-то пощечину / пощечину
8–9 Нет, действует пока всё еще та же славянская / Нет, это всё та же славянская
9 природа наша / порода ♦
9 всего бы только *вписано*.
9–10 поскорей выругаться / поскорее бы выругаться ♦
10 да тем и покончить / и, может быть, тем и покончить
10 *После*: покончить — начато: не дойдя до не
10–11 (а чего доброго со помириться) *вписано*.
10–11 даже тут же и помириться / даже и помириться ♦
11–12 согласитесь со юно, молодо, свежо / согласитесь, что всё это в одном смысле [только <?>] отрадно, [но крайней мере и тут у нас не по-западному] ибо и тут, стало быть, всё это [ведь], так сказать, юно, молодо. ♦
13 вроде как бы весна жизни, хотя, надо сознаться, препакостная *вписано на стр. 124 рукописи*.
20–21 слишком ясно, по многим признакам и приемам / и слишком по многим признакам и приемам ♦
21–22 не из молодого поколения пдет, не от юного подростка / не от молодого человека
22–28 Итак, молодежь наша, очевидно, понимает со чрезвычайную цену / а. Кстати: можно не согласиться в чем-нибудь, можно по этому поводу написать весьма резкое письмо, но тут-то бы и подписаться.

Подпись придает возражениям чрезвычайную цену. б. Молодежь наша [видно что] понимает, что [можно], во-первых, можно написать если резкое письмо, но что подпись придаст возражениям чрезвычайную цену.

24–25 выражениям / возражениям ♦

25–29 и что весь характер со не желание оскорбить вписано.

29–32 Итак, ясное дело, что неподписывающейся со удовольствие, а другой цели не имеет. / Для чего же не подписывается автор «краб.» „ вот именно, чтобы выругаться, чтобы доставить себе удовольствие. Другой цели нет.

32 После: а другой цели не имеет. — что ж, это еще не бог знает что и лишь в натуре вещей. ♦

32–33 И ведь сам он знает, что делает пакость / И ведь сам он знает всё это и знает, что делает пакость

34 Этую черту / Но эту черту ♦

35 в нашем интеллигентном обществе вписано.

38 После: не преувеличиваю — Чувство чести и долга ею налагаемого в нашем [обществе] малоинтеллигентном обществе мало (да и всегда бывало мало) [Да неужто ж скажут всем] Это не значит, что нет совсем у нас людей чести и совести? Как не быть [их], но желающих выругаться у нас всегда было больше, а

38 стоям / именно стоим ♦

Стр. 128—129.

39–8 Текст: К тому же со страшно сказать — вписан на стр. 124 рукописи.

Стр. 129.

1 роду и характеру изданий своих / роду своей деятельности

3 После: по двести — начато: Я вовсе не хочу сказать

4–5 Слов: что европейская цивилизация со нам гуманности и — нет.

9–7 в каждом случае, который им чуть-чуть не понравится / в случае, если им что не понравится ♦

8–10 а желающих выругаться со из-за двери, еще того больше / а желающих выругаться безнаказанно — еще больше

10–11 и вот как раз анонимное письмо дает эту возможность: письмо не прибьешь, и письмо не краснеет / и вот как раз письмо: письмо не краснеет

14 и окончательную вписано.

14 не считалась / кажется, не считалась

16 серьезная, и вписано.

18 После: при дворе — вписано: положением политическим ♦

20 в целые два века / в два века

20 После: не принялась серьезно — решительно не принялась ♦

21–22 После: скептически. — О бесспорно, и у нас [дрались] дерутся на дуэлях, [но еще чаще прибегали, чуть нет этой необходимости, тесть] чуть нет свидетелей [предпочитали ругательства], то несомненно предпочитали просто выругаться из-за угла анонимно] но, кажется, редко считают их за что-нибудь серьезное, а только разве за необходимое, тогда как там, в странах бывшего рыцарства, если уж дерутся на дуэль, то глубоко верят, что это дело серьезное. Признаюсь, я отдаю предпочтение нашему взгляду; в нем больше трезвости и силы ума, но то скверно, что у нас [много уже] и дерущийся на дуэли (из необходимости), если есть возможность из-за угла как-нибудь анонимно напакостить, то самое [любимое] милое дело, и главное, в ужасающем большинстве людей. О, великие душой люди бывали и у нас, но — невольно приходит на мысль:

* Текст: В старину у нас европейской чести не было со а новое приняли недоверчиво и скептически. — (строки 12—22) был зачеркнут, а затем восстановлен Достоевским.

неужели же это они сдерживают наше общество от всеобщей потасовки? Казалось бы, их так мало, а интеллигентно скептического элемента так у нас много: Поневоле верить приходится, что и ничтожное число благородных людей может сдерживать хоть целое государство анонимных ругателей. И не смейтесь опять, что я [выражаюсь] написал «целое государство»: [во-первых, это пусть лишь риторическая фигура преувеличения с моей стороны, но во-вторых вместе с тем сообразите, однако, и то, что] можно во всю жизнь не написать ни одного анонимного ругательного письма, но всю жизнь носить в себе душу анонимного ругателя.

²²⁻²⁵ Текста: Приняли со малыми исключениями. — нет.

²⁶ В эти два века / За два века

²⁶⁻²⁷ европейского и шпажного, так сказать, периода / интеллигентного периода

²⁷⁻²⁸ честь и совесть со в нашем народе / честь и совесть, кроме немногих избранных, говоря сравнительно, в интеллигентном сословии нашем, уцелела почти целиком в народе.

²⁸ целиком / целиком, можно сказать

²⁸⁻²⁹ до которого со нашей истории вписано на стр. 122 рукописи.

²⁴ лелеять / читать

³⁴⁻⁴⁶ К тексту: лелеять со наших интеллигентных людей. — вариант на стр. 140 рукописи: [рядом] тотчас же и самый гаденький антitez ее, [да еще называть это богатством развития и] как сплошь да рядом в интеллигенции нашей, да еще оставаться с обеими этими идеями, не зная, которой веровать, да еще называть это состояние — богатством развития и хоть и умирать при таком богатстве от отвращения и скуки. Но тема эта длинина. Просто скажу: самый грубый из народа постыдится иных мыслей и побуждений иного высшего дипломата и с отвращением отвернется от большей части дел этих высших людей. Повторю в заключение, что повторял все два года: одна надежда наша на народ, мы поправим себя народом и возродимся через народ.

³⁷ и отдать преимущество на практике вписано.

³⁹ благами европейского просвещения вписано.

⁴⁴⁻⁴⁵ «высшего деятеля» / высшего дипломата [♦] Далее начато: и с отвращением

⁴⁶ наших интеллигентных людей / этих высших людей

⁴⁸ не подглядывает / не смотрит

Стр. 129—130.

⁴⁶⁻¹⁰ Текст: Я уверен со наслаждение в ругательстве. — вписан на стр. 128 рукописи.

Стр. 130.

³ до ужаса / ужасно

³ высших свойств / высших (отрицательных) свойств [♦]

¹⁴⁻¹⁵ иные командиры / командиры [♦]

¹⁵ позволяли себе / сплошь и рядом позволяли себе [♦]

¹⁷ а потом / и потом [♦]

¹⁹⁻²⁰ Я бывал сам лично тому свидетелем. / Честью свою про это свидетельствую.

²⁰⁻²¹ А командиры-то со русского солдата! / А командиры-то убеждены были, что, напротив, они подделались под дух солдата!

²² даже Гоголь / даже Гоголь тогда

²⁵ которые садче вписано.

²⁵ в которых как можно больше / в которых больше

²⁶ (поверят ли тому?) вписано на стр. 126 рукописи.

²¹ чем с нравственной утонченностью вписано.

²² После: последнее-то — начато: уже в чрезвычайно

³³ случается лишь в чрезвычайно / уже в чрезвычайно

³⁴ у бродяг, пропоц и всяких стрюцких / бродяг, пропоц и стрюцких [♦]

- ²⁵⁻²⁸ Народ хоть и ругается по привычке ∞ а не нравственного усилия.
~~вписано.~~
- ²⁵ Народ хоть и ругается / Он хоть и ругается
²⁹ по моему мнению ~~вписано.~~
- ⁴⁸ *После:* народа. — *начато:* Мы еще помним смешной факт, как
⁴²⁻⁴⁴ Тогда-то явилось ∞ о нашем народе. / Тогда [тут] явилось много-
и других ошибочных идей о нашем народе. ♦

Стр. 130—131.

- ⁴⁷⁻¹ *Фраза:* Те же надежды, которые возлагаю я на народ ∞ юное по-
коление наше. — ~~вписано на стр. 126 рукописи.~~

Стр. 131.

- ¹⁻⁴ Народ ∞ в наше поколение. / *Начато:* Народ и наше новое поколе-
ние сойдутся вместе лучше, чем в
⁴ *После:* в наше поколение. — *начато:* На народ и на молодежь
⁹ да еще выставил адрес / да еще с выставкою адреса ♦
¹¹⁻¹² Кой в чём оп ∞ и ушёл в раздумье. / Но он был не прав и, кажется,
кай в чём он со мной согласился
¹⁵⁻¹⁶ дороже их самолюбия / дороже самолюбия
¹⁷ с неподдельным достоинством / с чрезвычайным достоинством
¹⁸⁻²³ А уж как она в них ∞ вот вопросы! / Нашей молодежи надобно ру-
ководителя, одного большого [какого-нибудь] руководителя, кото-
рый бы разом их пленил и осветил и увлек за собой. За таковым она
последует с восторгом, и это, [кажется] может быть, сбудется, ибо
потребность есть сильная. Недаром [она] наша молодежь столько раз
и с таким энтузиазмом [следовала] устремлялась у нас за [такими
дрянными людьшками] [столь не стоящими] людьми чуть-чуть искрен-
ними [хотя и мало], принимая их за руководителей. Каков [же]
должен быть этот будущий руководитель [и], какая роль [и какая
возможность] его, что он скажет, чем увлечет. [Вот вопрос!] [Пошлет
ли только] [Да и] Что пошлет нам в его лице наша русская судьба —
вот вопрос.
¹⁸⁻²³ А уж как она в них нуждается ∞ наша русская судьба — вот во-
просы! ~~вписано на стр. 132 рукописи.~~
²¹⁻²² *После:* кто бы он ни был? — профессор ли, художник, деятель, даже
поэт?
²³⁻²³ Да и пошлет ли ∞ вот вопросы! / *Начато:* Но настоящего руково-
дителя до сих пор еще не являлось, и кто знает, явится ли. Да еще
кто знает
²⁴ *Заголовок:* План ∞ из современной жизни. — нет.
²⁵⁻²⁶ *После:* Дело в том, что — *начато:* У меня родилась идея о
²⁸ с иной уже точки / с несколько другой точки
²⁴ мы, скорее всего ∞ время / *Начато:* у нас всего удобнее произво-
дить на
²⁵⁻²⁴ и что если их сравнительно ∞ по особой милости божией. ~~вписано.~~
²⁶⁻²⁷ наших недавних ~~вписано.~~
²⁸ одно равнодушие / иное скептическое равнодушие ♦

Стр. 131—132.

- ³⁸⁻¹ ко всему насущному и много ∞ но всегда вседовольный ~~вписано~~
на стр. 130 рукописи.

Стр. 131.

- ³⁸⁻³⁹ ко всему насущному ∞ что какое-то / ко всему насущному и какое-то
³⁹⁻⁴⁰ беспокойство ∞ фантастического / беспокойство к чему-то гряду-
щему, фантастическому
⁴¹ наклонны уверовать / наклонны даже уверовать ♦
⁴² ненавистники нашего настоящего / ненавистники настоящего
⁴³ свой скептический бессильный смех / а. много что бессильный смех
б. бессильный смех ♦

Стр. 132.

¹ но всегда вседовольный / но вседовольный ♦
¹⁻² Мало ли взросло со у этих гадких *вписано*.
⁶⁻⁸ который, впрочем со у него воспитан прежде всего на бесцельном /
воспитанный на бесцельном
⁷ у всякого есть / и у всякого есть ♦
⁸⁻⁹ вот уж двадцать пять лет принимающемся у нас за либерализм
вписано на стр. 130 рукописи.
⁹ то, уж конечно / и — и уж конечно
⁹ наш герой / он
¹¹ безграничному самолюбию / самолюбию ♦
¹¹ вырос / рос
¹² И сначала он куражится ужасно / И, уж конечно, в юности он кура-
жится, зубоскалит и осмеивает
¹³ в нем все-таки ум ! в нем есть ум
¹³⁻¹⁵ (я для типа предпочитаю со появление такого типа) *вписано на*
c. 130 рукописи.
¹⁵ такого типа / этого типа
¹⁷⁻²¹ Фраза: И что если довольствовался им его батюшка со проявить
себя затрудняется. — *вписано на стр. 130 рукописи.*
¹⁸ то ведь потому / то ведь всё же потому
²⁴⁻²⁵ Одним словом со вопросах. *вписано.*
²⁷⁻²⁹ да к тому же со практически выровняться *вписано.*
³¹⁻³² практически выровняться / выровняться
да уж и тянуть за них лямку послушно и убежденно / да уж и тянуть
за гуж
³³⁻³⁴ пока еще долго *вписано.*
³⁵ предполагаемую судьбу свою / судьбу свою
³⁶⁻³⁷ а если они со поклонятся / а захотят, пусть сами к нам придут
³⁷⁻³⁸ он ждет, пока кто-нибудь ему поклонится, и злится / а. он ждет
и злится б. он ждет, пока ему поклонятся, и злится
³⁹ под боком у него / рядом с ним
³⁹ уже шагнул выше его / прошел выше его
⁴¹ там, в их «высшем училище» / в школе
⁴⁴ Нет, зачем же / Да зачем же
⁴⁵ тут не моя / это не моя
⁴⁵ да и что служить, служат мешки *вписано.*
⁴⁷⁻⁴⁸ сначала incognito, потом с обозначением полного имени *вписано.*

Стр. 133.

¹ пускается лично обивать / начинает обивать
³ так сказать, сердце сорвать *вписано.*
³⁻⁴ но всё это / но это конечно
⁵ скорбно усмехаясь *вписано.*
⁵⁻⁸ Текста: Главное, его всё мучит роковая забота со как это можно
радоваться тому, что есть и лучше его! — нет.
⁸ Вот тогда-то / И вот тогда-то ♦
⁹ в какую-нибудь редакцию / в редакцию
⁹⁻¹⁰ из тех, где его наиболее обидели *вписано на стр. 136 рукописи.*
¹¹ повторил в другой раз / раз, другой
¹¹⁻¹³ Но последствий со немо и слепо. / а. Но ответа нету. б. Но послед-
ствий все-таки никаких, всё по-прежнему кругом его глухо. ♦
¹³ что ж это за карьера / тут не моя карьера
¹⁵⁻¹⁸ помогает ему и случай / помогает случай
¹⁸ и связушки *вписано на стр. 136 рукописи.*
¹⁸ начал ведь / начал
¹⁸ увидел / увидел ♦
¹⁹ два пера / одно перо ♦
²⁰ прошло / теперь прошло ♦

²⁰ После: прошло — начато: и где же нам
²¹ После: своему характеру — начато: первев он не станет чинить, а
²²⁻²⁷ в этом, в сущности, весь женский вопрос и заключается, если ре-
ально-то обсудить *вписано на стр. 136 рукописи.*
²⁷ обсудить его. / обсудить... ♀
²⁸ выходил на дорогу / выходил
²⁸⁻²⁹ подвертывается, как и у Поприщина, адъютант / подвертывается
флигель-адъютант
²⁹ он сошел с ума / сошел с ума ♀
³⁰ да еще в то петербургское время *вписано на стр. 136 рукописи.*
³⁰⁻³⁵ современный нам / современный ему ♀
³⁶⁻³⁷ Поприщина, как и первоначальный, только тридцать лет спустя
тридцать лет спустя / Поприщина, только тридцать лет спустя
⁴⁰ После: письма — в особенности у нас в Петербурге
⁴⁰⁻⁴¹ и что ~ употреблены им *вписано.*
⁴¹ свое письмо / письмо
⁴¹⁻⁴³ письмо практический фазис *вписано на стр. 134 рукописи.*
⁴⁴ чтоб за ним не подглядели *вписано.*
⁴⁷⁻⁴⁸ к жениху адъютанту / к флигель-адъютанту

Стр. 134.

¹ это жениху / это [ему] адъютанту
² о, тот, конечно, откажется / о, он, конечно, откажется ♀
²⁻³ ведь это же не письмо, а «шедевр»! *вписано на стр. 134 рукописи.*
⁴ И молодой наш друг изо всех сил знает / О, он знает ♀
⁴⁻⁵ подленький негодяй / негодяй и сделал подлость
⁴⁻⁶ Фразы: «Ныне-де время раздвоения мысли и широкости, ныне пря-
молинейной мыслью не проживешь». — нет.
⁶ как бы *вписано.*
⁷ После: карьеру — начато: С этих пор
⁸ Его обуял своего рода мираж, как и Поприщина. *вписано на стр. 134*
рукописи.
¹⁰⁻¹¹ выведывает про / выведывает всё про
¹⁸⁻²⁴ Текст: Мало-помалу он кидается даже в государственные сообра-
жения ~ так сказать, уже без застенчивости». — *вписан на стр. 134*
рукописи. Ср. набросок на стр. 140 рукописи: Вот так-то у нас гиб-
нут даром способности, удовлетворял себя. Затрагивал тем самыми
великими государственными соображениями
²⁰ изменить Россию / изменить Россию к лучшему
²⁴⁻²⁷ Одним словом, он упивается ~ и что затем происходит на лицах
тех лиц... / Он упивается ими, он воображает, с какою милою полу-
 чают его письма, что за тем происходит
²⁷ В таком расположении / В веселом расположении ♀
²⁸ даже и пошалить / пошалить ♀
²⁷⁻²⁹ В таком расположении духа ~ не пренебрегает каким-нибудь /
Мало-помалу он расширяет круг деятельности, он пишет к другим,
даже не пренебрегает каким-нибудь
²⁹⁻³⁰ даже Егором Егоровичем / Егором Егоровичем
³⁰ анонимно уверив его / уверив ♀
³¹⁻³² уверив ~ и правды). *вписано.*
³³ могло быть и правды / было и правды ♀
²⁷⁻³³ есть в сущности мираж / есть мираж
²⁹ хуже даже, чем мечта / хуже даже мечты
⁴⁰ А тут как раз случилось / Начато: А тут как раз действительность
⁴² лишь аптекари / лишь аптекари, да и то всё немцы! ♀
⁴²⁻⁴³ а действительно ~ страшное. / а страшное обстоятельство, страшное,
именно страшное. ♀
⁴⁴ но всё же он / но он
⁴⁵⁻⁴⁶ именно после-то письмечка к министру *вписано.*

Стр. 135.

1 она бы и не поняла всего *вписано*.
2 от избытка лишь сердца / от избытка сердца ♦
3 тихоня-чиновник / капитан
4 проживавший / живший
5 человечек / человек
6 проходя мимо в коридоре *вписано*.
7 то есть вот он ☞ Каково! *вписано*.
8 есть «человек нравственный / человек нравственный ♦
9 по примеру некоторых господ / по примеру иных ♦
10 Сначала он не так / Сначала было он не так ♦
11-12 давно уже начался слух о том / а. давно уже узнали о том б. давно
уже заботились <?> все о том
13 уже решено / решено ♦
14-15 **Текст:** И вот раз сидит он в департаменте ☞ Так нет же! Нет же! —
16 сидит он / сидит ♦
17-18 И вот он ☞ относит / Однажды утром он относит
19 не подозревая о том, что бросится / не подозревая о том
20 лучше уж / так уж лучше
21 не услыхал нас / не услышал нас ♦
22 изумленного его превосходительство *вписано*.
23-24 сложа перед ним по-дурацки руки / а. сложа руки его превосходи-
тельства б. сложа перед ним руку
25 И вот, отрывочно ☞ признается / и отрывочно бессвязно, глупо
[действительно] признается ♦
26 к вящему изумлению / к величайшему изумлению
27 совсем ничего и не подозревавшего / совсем его и не подозревавшего ♦
28 Но ведь и тут герой наш / Но и тут он
29-30 себя во всем обвиняющий ☞ пораженный его гением / во всем об-
виняющий, все-таки по эгоизму своему, требовал себе всего от дру-
гих, а сам не считал себя ничем никому обязанным. Может быть,
и не представлялось ему сознательно, но бессознательно, так ска-
зать, представлялось ему, что генерал вдруг, выслушав его
31 мечтал по-прежнему / мечтал ♦
32-33 выслушав его / вдруг, выслушав его ♦
34 и всё же, так сказать, пораженный его гением *вписано на стр. 138*
рукописи.

Стр. 136.

1 бумаг *вписано*.
2 заключит его / заключит Равароля ♦
3-4 **После:** просмотрел тебя! — приди и вместе со мною раздели пост
мой, и мы... .
5-6 Беру всю вину на себя. ☞ на грудь мою, и *вписано на стр. 138*
рукописи.
7 О, боже мой / О боже ♦
8 из-за вины / через вину
9 перевернем департамент / перевернем Отчество
10-11 носком генеральского сапога / носком сапога
12-13 в жизни ☞ объятия вполне / я раскрыл им объятия
14-15 **Текст:** Финал ему можно придумать ☞ пристав у Щедрина —
вписан на стр. 138 рукописи.
16 у Щедрина о подобном же случае / у Щедрина. ♦
17-18 набрел на идею / схватил идею
19 и в самом деле попробую / и попробую
20 **Заголовок:** Прежние земледельцы — будущие дипломаты. — нет.
21-22 между прочим / между мягким ♦

- 31 *После*: наших русских — и их разодетых по-европейски несчастных маленьких [детей] русских детей на руках французских, зиггийских и швейцарских бонн и губернанток. ♀
- 31–32 *После*: В самом деле, в наше — *начато*: время, когда именно ищешь столы народное, столы единительное и патриотическое время / столы народное и патриотическое время ♀
- 33–34 *После*: ждешь русских — ищешь русских
- 35 и где колонизируется / и колонизируется
- 36 без народности / без народа
- 41–42 отъявленным нашим / известным нашим
- 42 становятся наконец смешны / становятся смешны
- 44 забавную встречу / одну забавную встречу
- 45 «в седых почтенных кудрях» / «в седых кудрях»

Стр. 137.

- 1 проживающим / живущим ♀
- 1 но приехавшим / но отправившимся
- 8 состояла в том / была о том
- 9–10 в особом вагоне *зписано*.
- 12–20 на тень какого-нибудь со тенью Хомякова / на тень, например, хоть Грановского [с тою только], ибо Грановский [столы почтенное лицо], если бы не умер [тридцать лет] 22 года назад, а дожив до седых кудрей, теперь, двадцать два года спустя, повторял бы то же самое, [на что] на чем остановился в 54-м году, то, уж конечно, даже несмотря на свои седые кудри и на то, что он был столь уважаемым лицом, был бы непременно точь-в-точь таким же самым шутом, как и он, этот господин, извещавший о [тени] провозе в особом вагоне тени Грановского ♀
- 24–25 много и не помещиков / много было и не помещиков
- 25 были всякие / а и все есть
- 25 но, в огромном большинстве, если не все / но все
- 28–27 вследствие убеждения / по убеждению
- 28 просто ненавидя ее / ненавидя
- 29 так сказать, натурально, физически / а просто, физически
- 29–31 за климат, за поля со за все, за всё ненавидя / климат, поля, леса, порядки, освобожденного мужика
- 31–33 *Фразы*: Замечу, что такая ненависть со очень спокойная и до апатии равнодушная. — нет.
- 33–34 А тут как раз почувствовались / Главное, почувствовались
- 37–38 без достаточной организации / безо всякой организации ♀
- 38–39 землевладение натурально струсило / землевладение струсило
- 41 слишком / весьма
- 42 ни выставляли они / ни говорили они
- 44–45 была тоже и приманка / была приманка ♀
- 45–46 русская личная поземельная собственность / русское личное землевладение
- 47–48 меняет своих владетелей поминутно, меняет даже вид свой / меняется в своих владениях и меняет даже вид свой

Стр. 137—138.

- 48–52 за кем останется со всё это трудно предсказать / кто будут нашими землевладельцами, за кем окончательно утвердится это сословие — трудно сказать

Стр. 138.

- 5–6 не только в России, но и во всем свете *зписано*.
- 9 кто в стране владеют / кто владеют
- 7 той страны / той земли
- 8 *Слов*: вот, значит, и хозяева — нет.
- 9–10 Разве пятнадцать лет назад оп / Разве двадцать л'т оп ♀

11 как и всё остальное / как и всё другое ♀
12 если в стране владение / если владение
13 о народных школах / о школах
17 землевладение и земледелие наше / землевладение и земли
18 и что скорее не от / и что не от
18 не от школы / не от школ ♂
20-21 получится хорошая школа / получатся хорошие школы ♀
22 и порядки / и всякий порядок
23 всякое правильное / получится всякое правильное
23-24 национального организма / организма
24 организуется / получится ♀
24-25 когда в стране утверждится прочное землевладение / когда [организуется] утверждается правильное землевладение ♀
25-28 *Фразы:* То же самое можно сказать со таков и весь характер нации.— нет.
29 Но теперь пока наши бывшие помещики / а. А пока наши бывшие помещики б. Но об этом когда-нибудь поговорим поподробней,
а теперь, пока наши бывшие помещики ♀
35 столь жаждущих европейского просвещения вписано.
39 столько рантьеров / столько богатых рантьеров ♀
43 да и не поймет его вовсе вписано.
44-45 по германским водам и по берегам / по водам и берегам
46 в ресторанах Парижа / в ресторанах
47 всё же предчувствуют / предчувствуют

Стр. 138—139.

48-1 этим самым херувимчикам / этим херувимчикам

Стр. 139.

1-2 просить по Европе милостыню / просить [после] в этой же Европе
после них милостыню ♀
5-6 всё те же наши русские порядки / всё наши русские порядки
13 и глупое слово / и слово
15 Из них выйдут / Это выйдут
16-17 положим начало этим новым умам вписано.
18 мы полагаем основание новому / полагая тем самым основание но-
вому
19-20 обновит Европу / обновит вселенную
22 много ли передовых-то? / много ли передовых-то, «Грановских-то»? ♀
25-26 все-таки, ну, там вписано.
28-29 а в этом ведь и всё главное / а. вот что главное б. а это ведь и всё
главное ♀
31-32 для высшего-то со полезен, это всегда / даже для самого консерва-
тизма полезен, что всегда ♀
36 этих милейших местечек / этих мест
36-37 и как восхитительно дотированных вписано.
39-40 джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая / джентль-
менская, связь, а работы — [да] ну и работа прелегкая ♀
44-45 всё еще воображаете со место чистое вписано.
48 Вот и вся служба в этом! вписано.

Стр. 140.

1 *После:* в люди — и сколько есть вот этаких миленьких местечек ♀
1-3 вот что первое всего надо со приложится по востребованию / вот
что надо иметь в виду.
2 родительскому сердцу / родительскому-то сердцу ♀
4-7 Итак, все не столь благородные из проживающих за границей со
эта материа ужасно скоро изнапшивается. / Итак, рассчитывают на
авторитеты, бывают па связи! Но ведь и авторитеты изменичвы,

- а связи — что такое связи? Ну, хоть и значат что-нибудь, так ведь далеко не всё [◊]
- ⁸⁻⁹ и собственного ума, хоть на всякий случай / и собственного ума. Но именно об этом-то и не заботятся родители современных херувимчиков, и особенно о собственном уме. [◊]
- ⁹⁻¹⁰ Теперь же именно, в эпоху реформ и новых начал / Между тем теперь, в эпоху реформ и новых начал [◊]
- ¹¹ все того захотели / [все захотели] «старое-де, чужое, что от предков — это все предрассудки». [◊]
- ¹² не бывало / не было
- ¹³ Слов: при общем желании иметь его — нет.
- ¹⁴ она стара / она до смешного стара
- ¹⁵⁻¹⁷ Фразы: А впрочем \sim в прошлом году. — нет.
- ¹⁸⁻²¹ то есть недостаток этот *вписано*.
- ²² Вопрос этот хоть и до пошлости старый / Вопрос до пошлости отсталый и старый [◊]
- ²³ хоть и косвенно / положим, косвенно [◊]
- ²⁴ такого запрещенного / запрещенного
- ²⁵ как Тургенев / как г-н Тургенев [◊]
- ²⁶ не писать на французском / не писать
- ²⁷ И потому о Тургеневе / И потому о господине Тургеневе [◊]
- ²⁸ После: ни слова, но . . . — [обращусь лишь к маменьке, готовящей сынка в дипломаты] [И нэ] Не [брайтесь] хмурьтесь, маменька, я скажу [до невозможности мало] лишь [всего только несколько слов] самое коротенькое словцо. [Я прямо спрошу] Знаете ли вы, что такое языки? Язык есть форма, в которую облекается человеческий ум, [тко есть] чувство его, сердце его, весь опыт жизни его и мечта его, идеал его. Язык — это окончательное [слово] [форма] завершение всего человеческого организма. И потому согласитесь, что для богатой природы, для богатого организма (если Господь одарил таковым вашего сына, что несомненно) нужна и форма богатая, тко есть глубоко и утонченно развитые формы языка, чтобы могли вместиться в них все богатства [мысли и чувства] мыслей и чувств вашего херувимчика. И даже так надо сказать, что ведь эти огромные богатства мыслей и чувств вовсе и не являются на свет, вовсе и не разовьются, если с самого первого детства, тко есть [гораздо] задолго прежде, чем могут обнаружиться эти богатства, ваш птенец не научится своему языку, от своей русской нянки и от своего русского народа (всего бы лучше в деревне), огромному, тысячелетнему, богатейшему языку в мире, до глубокой утонченности развившемуся и сформировавшемуся. Этот язык, эти готовые формы его, которые достанутся вашему херувимчику даром, не только облегчат выражение и развитие богатств мыслей и чувств вашего херувимчика, но еще будут способствовать к вызову их на свет, да мало того, — если [б] эти богатства у него от природы скучны (ну предположите такой грех), то поверите [ли] вы или нет, если я вам скажу положительно, что усвоенные с детства формы роскошного и богатого языка нашего — поправят даже самую скучную природу херувимчика, так что [сделают] даже глупенького преобразят в умники. . .
- ³⁵⁻⁴¹ но я вижу \sim еще ей словцо / Но ведь я и прошлого года говорил всё это, на ту же самую тему, и в этих же заграничных месяцах, разговаривая с заграниценно-русской маменькой о вреде французского языка для ее херувимчиков. Увы, маменька готовит теперь херувимчиков в дипломаты, — и, хоть и неприятно повторяться, но рискну и еще ей словцо. [◊]
- ⁴²⁻⁴³ прерывает меня маменька \sim и начать / возражаете вы.
- ⁴³⁻⁴⁴ Увы \sim меня свысока. *вписано*.
- ⁴⁴ третирует / видимо третирует [◊]

⁴⁵ Так, сударыня, — отвечаю я / Так, сударыня ♀
⁴⁸ выразить богатства / разить богатство ♀

Стр. 141.

¹ на французском языке *вписано*.
⁶⁻⁷ Вы махаете ручкой ~ что я повторяюсь. *вписано*.
²² или даже три Тургенева разом / [мало того] три Тургеневых разом ♀
²⁵ Mon mari *вписано*.
²⁶ перебиваю и я поскорее / перебиваю я поскорее ♀
²⁶⁻²⁸ и, оставляя вашего супруга ~ хоть немного ума / но все-таки не худо бы немного ума.
³⁰ что они и до дипломатии были умные люди / что они умные люди ♀
³⁰⁻³² а поверьте ~ замечательно глупых / а потому есть чрезвычайно много дипломатов даже замечательно глупых
³³ умные / умные люди. *Далее начато:* Mon mari

Стр. 141—142.

⁴⁶⁻¹ не подозревает того, чем живут нации / нэ подозревает, что ведет нации

Стр. 142.

¹ законы в организме их / законы ведут их ♀
² в этих законах / в них
²⁻³ усматривается ли ~ международный закон / [есть ли в них] усматривается ли общий международный органический закон ♀
⁴ что такая-то, например, королева / что такая-то королева или императрица ♀
⁴ рассердила фаворитку / рассердила любовницу ♀
⁵ вот и произошла от того война двух королевств / вот и вышла война
⁶ Позвольте, я буду с вашей точки зрения судить. Пусть связи... / А впрочем, вы хмуритесь, я увлекся, я прибавлю лишь то, что вот, вы говорите, связи... ♀
⁷ нужен характер / (я буду с вашей точки зрения судить) для приобретения связей ведь нужен характер ♀
¹⁵ начнут же в свое время рождаться мысли / начнут родиться мысли
²⁰ недоволен собою / недоволен ♀
²² основательного уже выражения... / выражения... ♀
²⁴⁻²⁵ даже желудок, может быть / даже желудок
²⁶ я опять увлекся / я увлекся
³⁰⁻³¹ принужден теперь / принужден
³² на этот предмет / на этот счет
³⁶ умных людей / собственно умных людей
³⁶⁻³⁷ Даже поражает. Напротив ~ нынешнего столетия... / Даже поражает скудоумие этого сословия...
³⁸ все они умны / все умны ♀
³⁹⁻⁴⁰ в сущность вещей / во все наше столетие в сущность вещей
⁴³⁻⁴⁴ умеют предчувствовать / умеют смотреть
⁴⁵⁻⁴⁶ в этом столь ~ сословии *вписано*.

Стр. 143.

⁴⁻⁵ никто из них ничего не усматривал / никто ничего не видел
⁵ как бы там *вписано*.
⁶ заплаточку на дырочку положить / заплаточку вставить
⁹⁻¹¹ обособление дипломатических умов ~ от человечества сфере / обособление умов, нередко ук слишком сословных п великосветских
¹⁰⁻¹¹ отвлеченней от человечества сфере / высшей сфере ♀
¹² это ль был не ум / это ль не ум ♀
¹² *После:* беру его, что — начато: он, во-первых

¹⁷ не спекуляцию кабинетного ума / не плод ума ♦
¹⁸ плод жизни нации, плод мировой жизни / плод нации, плод мировой ♦
²³ этим же мировым / мировым
²⁶ получилось вместо-то нее / получилось ♦
²⁷ поздравить теперь-то / поздравить
²⁷⁻²⁸ лучшего-то после дипломатии графа Кавура? *вписано.*
³¹⁻³² этого начала со времени первой французской / с первой французской
³² своим единство / а. своим единственным б. своим единством, авторитетностью
³³ единством механическим / механическим
³⁵⁻³⁶ и, сверх того, именно вседовольное своею второстепенностью *вписано.*
³⁸ считался / считается
³⁹ тончайших / тонких
⁴⁰ всеевропейское влияние / всеевропейское значение ♦
⁴¹ лишь начинавшийся / начинавшийся
⁴² грядущее будущее / грядущее, будущее ♦
⁴²⁻⁴³ он со всеми ∞ столетия / он всю новую идею начинавшегося столетия
⁴⁵ *Слов:* вот этот так уж бесспорно гений, но... — нет.
⁴⁶ строго прерывает / прервала

Стр. 144.

¹ глубоко и свысока оскорблённого / глубоко оскорблённого
¹⁻² *После:* Я, разумеется — был испуган: увы, об этих делах еще нельзя говорить тотчас же с маменьками, и я дал страшного маху. Но, чтоб докончить, поговорю с самим читателем.
³⁻⁴ заговаривать на такие темы / заговаривать о дипломатии ♦
⁴ с кем / с кем же ♦
⁵ *После:* вот ведь вопрос? — Даже хоть что-нибудь поговорить? Однако рискну.
⁶ Но... / Начнешь — только разлакомишься.
⁷ *Заголовка:* II. Дипломатия перед мировыми вопросами.— нет.
⁹ Все, кто одарены мудростью, говорят, что *вписано.*
¹⁰ дипломатическое / время дипломатическое
¹¹ Утверждают, например / Теперь вот говорят
¹² где-то теперь у нас идет война / где-то у нас война
¹²⁻¹⁴ И я даже слышал о том ∞ то всё это наверно / И я даже слышал об этом, но если и есть там что-то и где-то, то это наверно
¹⁴⁻¹⁵ *После:* понимается... — Впрочем, мы эту тему пока оставим, война так война! ♦
¹⁵ По крайней мере *вписано.*
¹⁶⁻¹⁹ то есть никаким здравым отправлениям ∞ лишь дипломатии *вписано.*
¹⁸ и даже единственno / а вернее всего и единственno ♦
¹⁹ и что самые ∞ прогулки / Главное, что военные прогулки
¹⁹ эти военные / даже военные ♦
²⁰ и проч., всегда, впрочем, необходимые / а. всегда в свое время бывали необходимы б. [и всё это] и проч. всегда, в сущности, бывали необходимы ♦
²⁰ в истинном смысле / и в истинном смысле ♦
²⁰⁻²¹ в истинном смысле вещей ∞ как лишь один из фазисов / и в сущности составляют лишь один из фазисов
²² Так и надо веровать. *вписано.*
²² веровать / верить ♦
²²⁻²³ С моей стороны, я очень наклонен ∞ это очень успокоительно *вписано.*
²⁹ главнейших *отделов* / отделов
³⁰ разрешения судеб / решения судеб
³⁰⁻³¹ новый грядущий фазис / нового фазиса

⁵¹ Известно, что тут дело / Известно тоже всем и каждому, т^{ко} есть даже и не мудрецу, а по-моему, так отнюдь не мудрецу, что тут дело ♦
^{31–32} После: Востока Европы касается — начато: но и Запада Европы, и даже мир
^{37–39} Но какое же со в Восточном вопросе занята? вписано.
³⁷ дело / теперь дело
³⁸ Слов: вот мой вопрос! — нет.
³⁸ Чем она-то / чем она ♦
^{39–41} Дело дипломатии со конфисковать Восточный вопрос / т^{ко} есть, в сущности, всё дело дипломатии в Европе это конфисковать Восточный вопрос
⁴⁰ конфисковать / это конфисковать ♦
⁴¹ во всех отношениях и поскорей вписано.
^{41–42} кого следует и не следует / кого следует
⁴² что никакого вопроса / что его
⁴³ маневрики и прогулочки — и даже / маневрики, прогулочки и даже так
⁴⁴ можно / можно это ♦
⁴⁵ никогда его не бывало / никогда [не бывал] его и не бывало ♦

Стр. 144–145.

^{45–1} не существовало / что в основе-то самой вещей, в сущности-то самой его никогда не бывало

Стр. 145.

^{1–2} из видов, и тоже дипломатических вписано.
^{2–3} этот нерастолкованный туман / нерастолкованный мираж
³ После: до сих пор. — вписано: Ну-с, вот как представляется теперь всем и каждому дело дипломатии.
^{3–4} Откровенно скажу со и поверить / И что же ведь, ей-богу, всё это даже и похоже на правду, так что можно бы даже и поверить
⁴ После: одна загадка — тоже вопрос
⁵ (вот беда!) вписано.
⁶ загадки / вопросы
^{7–8} недостойными высших умов фантазиями / миражами и фантазиями
¹⁰ то есть девятнадцатого / то есть примерно девятнадцатого
¹¹ нагляднее / больше
¹² После: всеобщего — вписано: и главное, грядущего будущего
^{15–16} поднявшегося мирового вопроса / мирового вопроса
¹⁷ вдруг поднимает / уже [подняла] поднимает ♦
¹⁷ и тоже ♦
^{17–18} тоже мировой вписано.
²⁴ соединения против чего-то / ввиду чего-то
^{25–29} против грозящего вселенной обновления / ввиду обновления вселенной
^{26–27} против социального, нравственного / ввиду социального
²⁸ против страшного / ввиду страшного
²⁹ грозит потрясти / должна потрясти
^{30–31} во всем мире вписано.
^{31–32} по шаблону французскому 1789 года вписано.
³² грозит сковырнуть / сковырнуть ♦
³³ Слов: на минутку отступлю от темы — нет.
³⁴ что я / как это я
^{35–39} в самом разгаре девятнадцатого столетия / а. в девятнадцатом столетии б. в самом разгаре прогрессивного девятнадцатого столетия называю Францию державою / называю теперь Францию, так сказать, державою
^{37–38} в разъяснение моей мысли вписано.
⁴³ и это пребудет в ней вписано.

⁴³⁻⁴⁵ чрезвычайно долгое время ∞ и обратится во что-нибудь другое /
до самого того времени, когда радикальное социальное обновление
не то что наступит в ней (ибо в ней же и наступит прежде всех) —
но уже наступив, переродит все племя в течение многих поколений,
еще грядущих и отдаленных, из старого организма в новый.[◊]

⁴⁶ Мало того: / Тешерь же
⁴⁷ по католическому шаблону / по католическому

Стр. 146.

¹ После: страна католическая! — Но об этом потом, а покамест то на
виду и то прежде всего поражает, что почему это так вдруг подтол-
кнуло маршала Мак-Магона начать этот мировой вопрос.

² После: доказывать — и обо всем об этом потом [◊]

⁴ именно католический вопрос / такой мировой вопрос [◊]

⁷⁻⁸ деятелей, чтоб в состоянии был / чудовищ, который бы мог
⁸ поднять / начать

⁸ что-либо в этом роде / что-нибудь мировое [◊]

⁹⁻¹¹ самый капитальный ∞ должно было ему подняться / самый мировой
из мировых вопросов всего Запада Европы — вопрос, осуществлявшийся
в старом виде ввиду грядущего нового вида (о котором, впрочем, всё [было] в последнее время как бы затихло и ничего не
было слышно, социалисты молчали, коммуна не возобновила и вдруг
ни с того ни с сего надо было его поднять)[◊]

¹¹ но, главное: почему / и почему

¹² в ту минуту поднять / в ту минуту [◊]

¹² загорелся / поднялся (в декабря)

¹⁵⁻²¹ Текст: Да и не одни эти два вопроса поднялись ∞ и составляет за-
гадку — *вписано*.

¹⁷ правильно разовьется / разовьется [◊]

¹⁸⁻¹⁹ в наш век начали подниматься всегда одновременно / [разовьются]
подымутся и разовьются одновременно [◊]

²¹ составляет загадку / поражает

²¹⁻²² Фразы: Но для чего я это всё говорю. — *нет*.

²²⁻²³ А вот именно ∞ смотрит с презрением. / И вот дипломатия на [эти]
такие явления смотрит с презрением, и даже по преимуществу на
такие явления [◊]

²⁴ не желает / не захочет [◊]

²⁵ вздоры и пустяки / и обманы <?>

²⁵ Нет этого / Да и нет этого

²⁷ вот всё и вышло / вот и вышло

²⁸⁻²⁹ по преимуществу дипломатическое / дипломатическое [◊]

³⁰ Нет, тут / Нет, дескать, тут [◊]

³¹ не одна дипломатия, а и еще что-то другое / что-то другое, а не дип-
ломатия

³¹⁻³² а и еще что-то другое ∞ смущен этим выводом *вписано*. Далее на-
брочки: В самом деле, я задал один вопрос голословно, нет ли сил...
О, если б Кайданов. Ибо, в самом деле, возьмите Германию, почему
папа. Решила ли дипломатия, что Германия наиболее занята теперь.
У всех дела.

³²⁻³⁴ Слов: я так наклонен был ∞ и больше ничего... — *нет*.

³⁵⁻³⁶ Заводовка: III. Никогда Россия ∞ решение не дипломатическое.—*нет*.

³⁸⁻⁴⁰ то есть вопроса о совокупности / то есть о совокупности

⁴⁰ чуть лишь один / чуть лишь хоть один [◊]

⁴² и естественнейший *вписано*.

⁴²⁻⁴³ что он так прост и естествен *вписано*.

⁴³ люди мудрости / то люди [умные] мудрые по преимуществу [◊]

Стр. 147.

¹ После: внимания — тогда как что важнее этого вопроса? [◊]

⁵⁻⁶ точки в каждом вопросе / точки, до которой дойдет, наконец, дело

- ⁶⁻⁷ известным успокоительным способом, дипломатическим, то есть заплаточками. / а. известным реальным способом, то есть там *<?* заплаточку, когда надо, пену подбить, вызолотить, за новое поставить и проч. и проч. б. известным способом дипломатическим, то есть заплаточку вставить, пену подбить, вызолотить, старое за новое представить и проч. и проч. ♦
- ⁸ бесспорно, что все / бесспорно, положим, что все
- ⁹⁻¹⁰ объясняются / оказываются
- ¹³ знатной dame / а. *Как в тексте.* б. знатной dame или фаворитке ♦
- ¹⁶ это бесспорно вписано.
- ¹⁵⁻¹⁶ самых реальных причинах / самых причинах
- ¹⁶ в ходе дел / дел
- ¹⁶ После: дел — начато: когда
- ¹⁷ когда появляются вдруг / когда уже и тут пельзя даже отдалаться заплаточками и когда появляются вдруг ♦
- ¹⁸ непонятные и загадочные / необъяснимые и загадочные
- ¹⁸⁻¹⁹ но которые овладевают вдруг всем / но совершенно соответствующие природе вещей и людей, — силы, которые овладевают вдруг всем ♦
- ¹⁹ влекут / влекут всё ♦
- ²⁴ не предполагает / не признает
- ²⁶ ²⁷ После: и беспутного еще человечесива! — Мало того, знает ли она не только это человечество и [его] законы его, но даже просто [людей] хочет ли еще его знать-то? Во сколько [их] она ценит это человечество и ценит ли еще хоть во сколько-нибудь? Мне всегда казалось, например, что скептицизму и цинизму всех этих мудрейших людей, командующих событиями, придавалось несколько высшее, а потому и неправильное значение, так что, например, скептицизм и цинизм, с проправою самого легковесного остроумия — и принимался за познание всемирной истории, человека и дел его, да еще при таком высокомерии, что и подумать страшно. ♦
- ³⁰ к изложению французской революции / Начато: к описанию последней?
- ⁶⁷ хотя бы самим / хотя самим ♦

Стр. 147—148.

- ⁴¹⁻² Все они, как известно, сбились тогда с толку ∞ в следующее тридцатилетие произойдет? / нег, я прямо спрашиваю самих дипломатов, [верили], т^{ко} есть самих *<?* высших мудрецов, в^{ер}шителей судеб человеческих: [угада^лп] предугадывали они тогда что-нибудь? Обыкновеннейшие *<?* люди, как известно, сбились все тогда с толку: Шиллер написал, например, дифирамб на открытие национального собрания, путешествовавший по Европе молодой Карамзин смотрел с умилительным дрожанием сердца на то же событие, а в Петербурге, у нас, еще задолго до того времени появился мраморный бюст Вольтера. Ну, а потом появление-то Наполеона, например, первого — ну, кто бы мог хоть малейшую представить об этом идею?

Стр. 148.

- ¹⁻² они тогда ∞ произойдет / они тогда что-нибудь
- ⁹ и хотя / и хоть ♪
- ¹⁶⁻¹⁷ трех лет от ртути от скарлатины / трех лет от скарлатины ♦
- ¹⁷⁻¹⁸ и третью сословие человечества, буржуазия, не потекло бы / и буржуазия не потекла бы
- ²¹ После: и замерло бы в самом начале! — Вторая же половина премудрой фразы, т^{ко} есть что мудрость состоит лишь в том, чтобы всегда ко всяkim случайностям быть готовым — положим, премудра, но, по-моему, непозволительно легкомысленна и даже просто отзываются школьным учителем: ну как, в самом деле, быть готовым

ко всяким событиям, непредугадывая их вовсе, [потому что ведь это одно и то же, что и] то есть все равно, что не понимая их вовсе? [♦]
28 в старой Европе / в Западной Европе
24 и не буквально похожим / совсем даже не похожим [♦]
25 настолько же колоссальным / колоссальным
26 страшным, и тоже / может быть, страшным, тоже [♦]
27 на Западе старой Европы / на Западе Европы [♦]
80 *После:* об этом финале не заходило, то... — То как же я поверю в дипломатию и в то, что она решительница судеб человеческих, скажите пожалуйста? Я вот сказал, в старой Европе, но знает ли дипломатия хоть то только, что есть старая Европа и что есть новая, восточная, неодолимо [судьбою] волею божию грядущая вступить в новый свой фазис бытия? Отнюдь не знает-с, но главное, и знать не хочет. Вся ее честь, напротив, — ассилировать весь Восток Европы с Западом и заслужить для Востока Европы честь [называться] считаться такою же старой Европой во всех отношениях [♦]
31-32 Одним словом: заплаточки [∞] будем ждать. / Итак, заплаточки [Восточный вопрос и заплаточки], ну положим, подобъем пену и вы- золотим. [♦]
35 врага / врагов [♦]
55-58 Вот у нас теперь война [∞] сама же она с удовольствием втюрится / Австрия, например, если б случилось так, что повернулась бы к нам враждебно, как раз впадет в обман, в который сама же втюрится [♦]
42-43 *всевозможных несогласий и противоречивых вписано.*

Стр. 148—149.

44-5 *К тексту:* Ну, а теперь [∞] сконфузить. — *незачеркнутые наброски внизу листа:* 1. а то, что они за нами ухаживают, это военная хитрость, с которой Германия третий ^{⟨?⟩} мировой ^{⟨?⟩} вопрос ^{⟨?⟩}. Этую и умасливать нечего 3. Но оно в двусмысленном положении. Секрет, бессильно
48-1 возбужденный именно посредством ухаживаний и заплаточек [∞] вписано.

Стр. 148.

48 ухаживанию за ней дипломатии / ухаживанию за ней [♦]
48 в общем решении судеб [∞] вписано.

Стр. 149.

2 *После:* выгоден — начато; ибо дойдет до дела — так и окажется, что ничего не может сделать и ничему помочь. Другое дело Англия — это нечто сильное и теперь очень сильное.
2 на время отвлечь врага / усыпить врага [♦]
4 *Слов:* и что он вовсе не могущество — нет.
5 попросту сконфузить [∞] вписано.
5-8 это нечто посерьезнее / это нечто сильное и серьезное [♦]
8 Что ни толкуй / ибо что ни толкуй
8-9 ни за что и никогда не поверит тому / ни за что не поверит
11 и уже [`] перешедшая через Дунай / и уже перешедшая Дунай [♦] вписано.
12 *После:* взялась она — начато: не в ущерб
13 и единственno в ее, Англии, пользу / а в ее, Англии, пользу [♦]
16-17 ничему в Англии не поверят / ничему не поверят [♦]
17-18 дескать, немножко начну / дескать, теперь немножко начну [♦]
17-21 Да и какими аргументами [∞] они не поверят [∞] вписано на полях.
20 завершится не сегодня / будет не сегодня [♦]
21 завершится завтра / кончится завтра [♦]
25 в котором когда-либо находилась [∞] вписано.
81 составить союз / составить союз, как теперь [♦]
32 одновременно / вместе

³² вопросы разом / вопросы поднимаются разом
^{35–36} Слов: давно уже от всего и всех отъединенный и — нет.

Стр. 149—150.

^{38–2} Текст: О, разумеется, ей можно бы было со в уединении. — вписан на полях.

Стр. 149.

³⁸ ей можно бы / можно бы ♦

³⁹ за взаимных выгод / и войти с ними в соглашение из взаимных выгод ♦

⁴¹ трудно в этом роде / трудно ♦

⁴³ найдется такой момент / найдется момент

⁴⁴ можно будет и ей / можно ♦

⁴⁵ Кроме того, Англии / Англии ♦

Стр. 150.

^{1–2} такого-то выгодного со не предвидится / этого-то выгодного союза в данный момент и не предвидится ♦

² и Англия в уединении / и Англия поневоле в уединении ♦

³ мы могли удачно воспользоваться! / кое-кто мог воспользоваться!

^{4–5} менее скептиками / менее скептики ♦

^{10–11} даже по давно прошедшему вписано.

¹³ да еще нам-то? вписано.

¹⁴ премудростью / Премудростью ♦

²⁰ всеевропейским / всеевропейский

²⁰ слит он / а. Как в тексте б. слитым ♦

^{21–22} и всех остальных мировых вопросов вписано.

^{24–26} Фраза: Все, более или менее, в ней нуждаются со от нее зависят. — вписаны.

²⁶ И однако... всё это мираж! Вот то-то и есть / Но это мираж. То-то и есть ♦

^{28–30} самоважнейшему вопросу со быть иль не быть / а. самоважнейшему делу, по делу, например, вроде как о вопросе существования, до того по важному делу б. самоважнейшему вопросу, по вопросу такой важности, как существование, самосохранение, как вопрос о том, быть иль не быть ♦

^{30–32} вот этакий самый вопрос со и другие мировые вопросы / вот этакий самый вопрос есть и у Германии ♦

³⁵ и между тем столь отъединенное / столь отъединенное ♦

^{37–38} но своих со свойственных вопросов вписано.

³⁸ союз России / ее союз

³⁹ в Европе вписано.

^{43–45} и более чем когда-нибудь со связала себя! приписано позднее.

^{43–46} стать независимою со связала себя! / отъединить себя от старого дряхлого мира Европы и уничтожить свою от него зависимость.

⁴⁶ от прочих, ихних, роковых вопросов / от всех роковых вопросов ♦

Варианты стенограммы А. Г. Достоевской

«Март, гл. I, § III»

Стр. 70.

⁴¹ А сверх того / К тому же

^{42–43} все сильней разгораются и между собою национальные соперничества / все сильней и сильней зачинаются, разгораются национальные соперничества

Стр. 71.

^{4–5} послушанием церковным / послушанием

⁸ Слов: но только в пользу греков против славян. — нет.

⁹ можно даже с вероятностью / можно наверное
¹¹ Слов: на первый случай — нет.
^{14–15} была устранена обстоятельствами со Восточного вопроса / была устранена от решения Восточного вопроса
¹⁵ отзовутся даже / будут даже
¹⁷ участия в судьбах / влияния в судьбах
^{22–23} нельзя было и придумать / быть не может
²⁶ После: иначе — все-таки уж по этому одному изрекается, что
^{26–27} англичане со своим флотом со и именно охранять / *«пробел в степнограмме»* в конечном счете еще и именно, чтобы охранять
⁴² хоть раз десять / раз десять
⁴³ повысились бы разом на всех европейских биржах / повысились бы на всех биржах

Стр. 72.

² откочевать поглубже восвояси / воротиться восвояси
⁴ ожидать теперь / ожидать
^{7–8} нежнейшую любовью / нежнейшую дружбою
^{13–16} Текста: которая наверно не захочет со против нас Европа. — нет.
^{16–17} против турок не помогали / не помогали
^{17–18} Увы, народы Востока / Но народы Востока
¹⁸ это понимают отлично и знают / понимают отлично
²⁰ нужным / необходимым
^{21–22} Слов: за их духовную связь с Россией. — нет.
^{24–25} покамест запоминают про себя / запоминают
^{26–27} на будущий счет России. А мы-то думаем, что они нас обожают. / на счет России. Но молодым, не жившим и не опытным народам Востока прежде всего нужна их национальность, умри *«пропуск»* турки, оставь их Россия, хотя бы на мгновение, и без России там тотчас же начнутся распри.
^{33–34} их все же не допустят / их не допустят
^{34–35} Слов: по крайней мере в смысле серьезном. — нет.
³⁸ Слов: потому что это всего сподручнее — нет.
³⁸ и вот это и и хотел / и вот что я и хотел
^{41–42} Фразы: С этой точки со понимают это. — нет.
⁴³ как еще раз подобная / как подобная
⁴⁴ После: так возможна — уйди хоть на миг, освобожденная христианами рая
⁴⁷ было бы выпустить / было бы, по-моему, выпустить

Стр. 73.

⁵ Слов: сделай она эту уступку Европе — нет.
^{6–7} церковное единение стольких веков / церковное единение
⁸ Даже так можно / Да ведь так можно
^{10–11} Слов: для уложения дел со церкви — нет.
¹⁴ завтра от турецкого гнета / от гнета
^{15–16} в других отношениях к России / в другом характере
¹⁸ пожелали бы ей заявить / пожелают заявить поскорей России
^{18–19} они более совсем не нуждаются / уже не нуждаются
^{26–27} в этой будущей со распре / в этой неминуемой почти будущей между ними распре
²⁹ всё это может быть / всё это безусловно может быть
^{30–32} следованием всё тем же великим преданиям со русской политики / ее следованием великим преданиям нашей древней вековой русской дружбы
^{32–34} Фразы: Никакой Европе не должны мы со жизнь и смерть. — нет.
^{39–40} Фразы: Раз мы завладеем со произойти. — нет.
⁴⁰ столь ревниво / ревниво
^{42–43} еще мечтательных, но слишком возможных / слишком возможных

Стр. 73—74.

^{48—1} напротив, новые смуты / такие новые смуты

Стр. 74.

⁸ в конце концов получит / получит

¹² Слов: для единения его — нет.

¹³ государи его / цари его

¹³ Слов: но уже со началах. — нет.

²² переговоры в Европе / переговоры

^{24—25} Фразы: Это нам, русским со неуклонно. — нет.

²⁶ в настоящий европейский момент / в настоящую минуту

Варианты наборной рукописи (НР)

«Январь, гл. II, § V (фрагмент)»

Стр. 32.

²³ хочет отличиться / хочет смешить, отличиться

²⁵ вечное подозрение / вечное подозрение и убеждение

^{25—26} В отчаянии он решается на всё, чтоб всех поразить *вписано*.

²⁵ После: хуже всех — последний человек и ужасно дурен собою, а между тем — [между тем ведь он] неумолкаемое самомнение, что он ведь и лучше всех их, что в сердце его столько любви, но про нее никто не знает, [да] и что никому и не надо его любви. Но он к тому же и раздражен: поутру учителя истории он получил единицу и ежеминутно ждет, что гувернер, узнав о единице, подойдет к нему и обязательно прогонит его наверх в карцер. [К тому же] Он сделал и еще другую, страшную шалость с отцовским портфелем. Он сломал ключик портфеля, и отец непременно узнает, что он рылся в его секретных бумагах и читал чужие письма. В волнении мальчик машинал рукой на всё: «Чему быть, тому не миноваты!» А тут в играх девочка, в которую он влюблен, ему изменяет, никто его не выбирает в играх и в танцах, никто им особенно не интересуется, все считают его каким-то уж слишком маленьkim и ничтожным мальчиком, [ничтожностью]. И вдруг подходит гувернер, узнавший об единице, и [гово~~рит~~] велит ему идти наверх: «Вы не имеете права тут быть».

³⁵ целуют и обнимают его *вписано*.

³⁵ Вот он уже в Москве / Он в Москве

³⁷ После: государь... — начато: Удивительные мечты, но

³⁷ И вдруг *вписано*.

^{38—39} Начинаются другие. Он вдруг / и начинаются другие мечты. Как бы вихрь в его голове: он вдруг

³⁹ выдумывает / выдумал

^{42—43} «Он добный мальчик! / а. «Оп добный был мальчик!» — говорит отец б. «Он добный был мальчик!» ♀

Стр. 34.

^{1—2} получил письмо из К-ва / получил недавно письмо

⁴ выпишу местами / выпишу всё ♀

⁵ Слов: в выписываемом — нет.

⁵ После: Сюжет любопытен. — Случилось это в городе К-ве. Далее приписка: (тут выписка. НВ. для типографии.)

«Март, гл. II, § I»

Стр. 74.

^{30—31} После: такой величины вопрос — начато: я не в силах»

³² в числе сынов своих / в недрах своих

⁵² После: три миллиона евреев — начато: это такого
⁵³ я стал / я начал
⁴⁰ После: продал». — начато: Всего удивительнее для
⁴¹ из таких / из тех
^{43—44} при своем образовании, давно уже вписано.

Стр. 75.

^{1—2} Слов: как прочие мелкие евреи — нет.
² ниже своего просвещения / ниже своей образованности ♀
^{4—5} слишком даже грешно / даже грешно ♀
^{6—7} И это далеко ~ грешно / а. И далеко не от одного шовинизма,
не одного только чувства национальности... б. И это далеко не
из одного только чувства национальности... ♀
^{8—9} еврея без бога и представить нельзя / нет еврея без бога и не может
быть. ♀
⁹ из обширных / из слишком обширных
^{12—13} самими же этими господами вписано.
^{15—16} когда и чем заявил я / откуда и чем заявил я
²¹ обвиняют меня в «ненависти» / обвиняют меня
²⁷ Слов: не соглашаться с ней — нет.
^{30—32} Это одно ~ как к пародии. / Прежде чем отвечать на обвинения их,
евреев, укажу па одно из [этых] таких обвинений, признаться, одно
из самых характерных.

Стр. 75—76.

^{41—42} Автографа к тексту: Неужели вы не можете ~ но мне крайне же-
лательно было бы, чтобы вы убедили меня.— нет.

Стр. 76.*

^{19—20} которых я ~ напечатать / которые я пропускаю, кроме Гольдштейна
²⁰ некоторым из них / некоторые из них ♀
^{31—32} неприятно будет ~ происходить из евреев / не согласятся увидеть
себя евреями ♀
⁴⁶ не осталось ни одного / нет
⁴⁶ непроплеванного места / «непроплеванного» места ♀
⁴⁷ тем «простительнее» / уж и простительнее

Стр. 77.

¹ Слов: после того — нет.
^{4—5} в мотивах нашего разъединения с евреем виновен / в мотивах разъ-
единения виновен
⁶ скопились эти мотивы / а. Начато: может, они б. скопились они
⁸ высажу / скажу
⁹ несколько слов / мои несколько слов ♀
^{8—9} и вообще как я смотрю на это дело вписано.
¹⁰ могу выразить / могу сказать ♀
^{65—66} Между строк текста: «Прежде всего необходимо ~ к коренному
населению». — на письме Ковнера помета рукой Достоевского:
Самозащита позволительна, ведь евреи своих Talos <?> не переменят,
зная это заранее, и ограничивают их отчасти. Нельзя же пускать
цыган всюду.

«Апрель, гл. I»

Стр. 94.

¹ те спрашивать / они спрашивать
² И это / И право это

* Варианты к стр. 76, строкам 19—22, относятся к записям, сделанным Достоевским на тексте письма Ковнера.

- 11 наступает *вписано*.
 12 и делается / и сделан
 14–15 Слов: "уже для новой жизни — нет.
 16 И па такой шаг? *вписано*.
 21–22 на новый, обновляющий и великий шаг *вписано*.
 22 поднялся / идет
 24–26 народ крестился / все крестились
 25–27 Мы это сами видели со здесь в Петербурге. / Это мы сами видели,
 слышали, даже здесь, в Петербурге.
 32 дают / которые дают

Стр. 95.

- 1 десятки тысяч / десятки и сотни тысяч ♀
 2–3 Они означают лишь, что *вписано*.
 3–4 что весь народ со идет / это весь народ идет
 4 эти факты / это
 5 как и прошлогодние *вписано*.
 6 продолжают смеяться / продолжают отрицать и смеяться
 6–7 хотя и заметно притихли их голоса *вписано*.
 8 той самой силой / а. готовой <?> силой б. той самой нашей силой
 11–12 над ними крах / он над ними
 13 бормочут чужие со голоса / говорят чужими словами
 14 обратят свое упование со его с ним. / падение их будет великое.
 15–16 «братьев-славян» / народов
 18–19 в немощи растления и в духовной тесноте / в немощи и в тесноте
 19 мы погибаем / мы, напротив, погибаем
 20 собственных *вписано*.
 21 сами-то они приобретут себе честь / приобретут они честь ♀
 28–29 разрыв / разлад
 37–38 массы кричящих людей / миллионы людей
 39 приблизились / подошли
 44 Некоторые из нас уже / Некоторые уже
 46 они великая сила / они сила

Стр. 96.

- 3 их интимный взгляд / их взгляд
 2–3 Да и интимный ли? *вписано*.
 5 хотя и побьем / побьем
 10 После: торжества — начато: за собственное же бессилие
 10 безличности *вписано*.
 13 несомненно начнет / опять начнет
 14 вслух помыкать святыней России / ворочать по-своему судьбою
 играть святыней России
 18 После: безличнее. — начато: И опять за то
 20 придется новое слово, и начнется живая жизнь / новое слово, новые
 начала и живая жизнь
 20–22 а не одна только мертвящая болтовня со до сих пор, господа! /
 а не мертвящий сон.
 26 уже надоевшего до смерти / надоевшего
 35–36 которое загнопло мудрецов наших / которое давно уже загнопло
 верхние слои нашего общества, из которых выглядывают и выскаки-
 вают мудрецы наши. ♀
 37 так недавно еще *вписано*.
 37 крепчали / крепчали и уверяли
 39 нет у нас вовсе / нет вовсе
 41–42 восемьдесят миллионов мужиков / Начато: восемьдесят миллионов
 людей нашего
 42 миллионы / множество миллионов
 44–45 всё, напротив, расшатано и проедено / всё расшатано и сверху
 проедено

Стр. 96—97.

⁴⁸⁻³ ждем только предлога ∞ выдумала Европа / ждем предлога отступить и молим, чтоб предлог этот нам выдумала Европа.

Стр. 97.

⁷ наш «мудрец» / «мудрец» \diamond
⁷ не мог «пзменить» себе / пе мог усомниться \diamond
⁸ мудрецов / премудрых
¹¹ накануне войны *вписано*.
¹¹ рассмотреть нас / рассмотреть нас накануне войны
¹⁵⁻¹⁶ что ничто Россия ∞ п в ичто обратится *вписано*.
²¹⁻²² п последней пощечины / пощечины
²²⁻²³ до того ∞ ее «миролюбие» / по бог нас спас от «миролюбия»
²⁵ а главное-то п прогляделп / а главное проглядели \diamond
²⁷⁻³⁰ Кроме того, не могли они ∞ у нас из «политики». / Кроме того, не могли они понять, что царь наш, любимый царь наш действительно миролюбив и действительно так жалеет кровь человеческую: они думали, что все это из политики. \diamond
³¹ они ничего даже *вписано*.

Стр. 97—98.

³⁵⁻²⁵ Текст: Они пе знают ∞ с народом своим. . . — *вписан со следующим примечанием Достоевского: «Н. Приложение к странице 6-й в строку. Для типографии».*

Стр. 97.

³⁸⁻³⁹ и сознанием народным *вписано*.
⁴¹⁻⁴² усилиями / силами
⁴² правительств / государств

Стр. 98.

¹⁻² интеллигентных слоев наших *вписано*.
⁸ После: деньги — крепости и шестисоттысячные нашествия.
⁸ ученыe организации / организации \diamond
¹⁹⁻²⁰ все наши русские люди узнают / все узнают \diamond
²⁰⁻²¹ тогда мы и добьемся / тогда мы действительно станем [великим народом] великой нацией и добьемся
²⁵ с народом своим / с народом *нашим* \diamond
²⁶ Заголовок: Не всегда война ∞ спасение. — *вписан*.
²⁶ иногда и спасение / иногда и счастье \diamond
²⁸ проповедуют / говорят
²⁸ они скорбят *вписано*.
³³⁻³⁴ Подвиг самопожертвования / Закон самопожертвования
⁴³ пз того же общего всем народам закона / из правильного закона
⁴³⁻⁴⁴ своей национальной личности / национальной личности

Стр. 99.

⁶ ей самой на голову / ей на голову
⁷ предпринимает / начала
¹⁰ потом себе же *вписано*.
¹¹ и что, стало быть, всё это / и всё это
¹² составляет тот же / есть тот же
¹³ к которому стремится и Англия *вписано*.
¹³⁻¹⁵ А так как ∞ может пугать Европу / [который] которое колосальностью своей, без сомнения, пугает Европу
¹⁵ то уж по одному закону самосохранения / [и] то, стало быть, по закону самосохранения \diamond
¹⁶ так же, впрочем, как и мы / так же, как и мы \diamond
¹⁷⁻¹⁸ ее страхом / их страхом и самосохранением

18-19 в движении нашем, лишь политическою предусмотрительностью /
в движении этом предусмотрительностью
21 инстинкт народов / инстинкт
27-28 надо все-таки проповедовать / надо проповедовать
35-36 и в этом даже случае со исключительный пример / тем самым явит
собою самый исключительный случай ♀
37 мерящая на свою аршин *вписано*.
38 на Европу с мечом / на Европу
43 получала какая-нибудь из них / а. находила одна нация б. получала
какая-нибудь из наций
46 ихняя цивилизация / цивилизация ♀

Стр. 100.

7-8 и что она только со слово спасения!) *вписано*.
8 О да, да, конечно / Да
10-11 союзом любви и братства / союзом братства
15 не через подавление / не в подавлении
16 хотим мы достигнуть / видим мы [и] достигнуть
17-18 самостоятельнейшем развитии / полнейшем развитии
23 до всеобщего / до великого
24-25 над этими «фантастическими» словам / над [этим словом] этими
словами ♀
32 Слов: в теперешней же войне — нет.
35 ни клочка / ни одной
40-42 того вечного мира со человеколюбивого преуспехания! / вечного мира,
международного единения и человеколюбивого преуспехания. ♀
44 в мире одном / в мире лишь

Стр. 101.

12 международное спокойствие / спокойствие
16 страдать без срока / страдать бесконечно
17 Напротив, скорее мир / Напротив, мир
19 ожирелый эгоизм / эгоизм
19-20 а главное — умственный застой *вписано*.
20-21 жиреют лишь одни со эксплуататоры народов / лишь жиреют па-
лачи и эксплуататоры народов — и ведь это же правда, правда!
21 Налажено, что мир / Мир
22-23 а эта десятая со болезнями богатства / но эта десятая доля, зара-
зившись сама
23 передает / передаст ♀
23-24 и остальным девятым десятым, хотя и без богатства. / и всем.
25 в одних / в иных
26 у обладателей богатства / у обладателей богатств ♀
29 Грузная / Иная грузная
30-31 Иной сладострастник / сладострастник
38 После: в помощь общества — «всякий за себя!»
39-41 бедняк слишком видит со ему брат, и вот *вписано*.
41 все уединяются / все единятся ♀
42 Лишь искусство / Лишь искусство в долгие сроки мира
42 еще в обществе / еще отчасти в обществе ♀
43 и будит души, засыпающие в периоды / жизнь духа, угасающего
в долгий период
46 Слов: то есть истинное искусство — нет.

Стр. 102.

2 протест и негодование / протест
2 После: и негодование — будит дух от позорного сна
4-5 В результате же оказывается / Кончается же тем
6-9 выносит ее сам за себя со а из-за каких-нибудь жалких *вписано*.
9-10 нужных эксплуататорам / потребных эксплуататорам

10–11 необходимых обладателям / потребных обладателям
11–14 словом, из-за причин социального организма вписано.
13 о капризном, болезненном / о болезненном ♦
14–15 предпринимаемые / предпринятые
15 и даже совсем губят вписано.
16 из-за великодушной цели / из-за великодушной духовной цели
17 ради бескорыстной и святой идеи / на помощь братьям
18 зараженный воздух от скопившихся миазмов / воздух, которым
дышат
19 трусость и лень / трусость
19–20 объявляет и ставит твердую цель / объявляет цель
20 дает и уясняет идею / дает идею
22–23 взаимной солидарности / солидарности
24–26 Фразы: А главное, сознанием исполненного долга со есть же и в нас
человеческое! — нет.
29 Они—сами не хотели / Они не хотели ♦
31 отрицали необходимость / отрицали полезность
32 Они желали / Они хотели
35 в славянских мучениках / в мучениках
40 идем исцеляться / [могли] идем теперь исцеляться
42–43 здоровье направление / направление
44 совершенного нами бескорыстного дела / бескорыстного подвига
45 кровью своей / кровью нашей
48 и энергии нашей / и обновленной бодрости нашей

Стр. 103.

2 ибо у него и в нем одном найдем исцеление / ибо в нем одном
найдем мы исцеление
3 можно применить даже и ко всей Европе / можно сказать даже
[и для] и в отношении ко всей Европе
10 необходима / нужна
13–14 такое благое дело / благое дело ♦
14 как мир вписано.
14–15 Но все-таки со предпринята для идеи / а. Но свята война лишь для
идей б. Но свята и полезна война, лишь предпринята для идеи
17–20 Такие войны со пора. вписано.
26 Страница из сочинения / Выписка из сочинения
27 и столь любопытна вписано.
27 в теперешнюю нашу минуту / в современную нашу минуту
31–33 но жившего еще два века со не может быть царем освободителем /
его слезы о том, что не может быть царем-освободителем. Далее след-
ует помета Достоевского: (Тут выписка из прилагаемого текста.
Выписать лишь то, что очерчено и непременно петитом).

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

Стр. 104.

9 Подваголовка: Фантастический рассказ — нет.
11 Они меня / Кроме того, они меня
15 и тогда чем-то даже особенно милы / и тогда милы ♦
18 не то что со любя вписано.
17 так грустно / грустно ♦
19 Но они со не поймут. / Но они не понимают. Никак не могут
понять.. .
22 самого моего рождения / самого рождения
25 вся моя университетская наука / вся наука
28 как бы для того только и существовала / для того и существовала
27 по мере того как я в нее углублялся вписано.
28 Подобно как в науке, шло и в жизни. / Так и жизнь

²⁶ то же самое сознание / [это] то же самое убеждение ♦
²⁹⁻³⁰ о моем смешном со отношениях *вписано*.
³⁰⁻³¹ После: смеялись все и всегда — начато: с самого детства моего, что я смешной
³²⁻³³ знаяший про то, что я смешон / знаящий о том, что я смешной
³³ это был сам я / это был я ♦
³³ После: был сам я — начато: но я был так горд
³³⁻³⁴ и вот это-то со обиднее *вписано*.
³⁴ Слов: что они этого не знают — нет.
³⁴ но тут я / но я ♦
³⁷ что я со ни было / чтобы я хоть кому-нибудь
⁴⁰⁻⁴¹ О, как я страдал со сам товарищам. / О как я страдал [от этого страха] в моем отрочестве о том, что я не выдержу и признаюсь товарищам ♦

Стр. 105.

³⁻⁵ страшная тоска со в том / страшная тоска о том, что было бесконечно выше всего меня: мне вдруг показалось
? в последний год *вписано*.
⁸⁻⁹ существовал ли бы мир или *вписано*.
¹⁶⁻¹⁷ иду по улице и натыкаюсь / шел по улице и натыкался
³³ после того уж *вписано*.
²²⁻³³ в прошлом ноябре / в ноябре
²³ третьего ноября / семнадцатого ноября
²⁴ Это было в мрачный / Это был мрачный ♦
²⁶ я подумал / подумал ♦
²⁷⁻²⁸ Даже в физическом отношении. *вписано*.
³⁹ какой-то даже грозный / какой-то грозный ♦
³⁰⁻³¹ в одиннадцатом часу *вписано*.
³⁴ в самую глубь, подальше / в глубь, туда подальше
³⁶ грустнее сердцу / грустнее
³⁹ об чем-то вызывающем / об чем-то
⁴¹ и вы сказал это / сказал
⁴² говорю, всё равно / всё равно
⁴³ Это оттого / это потому ♦

Стр. 106.

³⁻⁴ У меня это было твердо положено еще два месяца / Я это твердо положил уже два месяца
⁸ для чего так / для чего это ♦
³ И, таким образом, в эти / Но в эти
⁹ возвращаясь домой *вписано*.
¹⁰ Я всё ждал минуты. *вписано*.
¹² Слов: дала мысль — нет.
¹⁵ После: Вдали спал — начато: извозчик, спала и
¹⁷ ее мокрые / ее совсем мокрые ♦
¹⁷⁻¹⁸ мне со в глаза *вписано*.
¹⁷⁻¹⁸ особенно мелькнули / мелькнули ♦
¹⁸⁻¹⁹ стала дергать меня за локоть и звать / стала трясти меня за локоть и рвать
²³ лицо / голову
²⁴ понял / помню
³⁸ чтоб помочь маме / и отвести к маме
²⁹⁻³⁰ Я сначала ей сказал / Я ей сказал ♦
³⁰ отыскала городового / шла к ордоворому
³¹⁻³² всё бежала сбоку и не покидала меня / всё не покидала меня
³² Вот тогда-то я топнул / Тогда я топнул ♦
³³ Барин, барин! / барин, пожалуйста...
³⁹ старое-престарое / все ободранное, старое ♦
⁴⁴ была драка / были девки и драка ♦

⁴⁵ долго таскали / таскали
⁴⁷ у нас в номерах всего *вписано*.
⁴⁷ одна маленькая ростом и худенькая дама / одна маленькая и худая
дама

Стр. 106—107.

^{48—1} уже у нас в номерах *вписано*.

Стр. 107.

⁶ и рассказываю это / и говорю это ♀
⁸ с самого начала *вписано*.
¹¹ мне всегда всё равно / мне всё равно ♀
¹³ Я просиживаю / Я сижу
²⁰ застрялюсь наверно / застрялюсь
^{20—21} просяжу до тех пор / буду сидеть
²⁵ чувствовал / чувствую
²⁵ и я бы почувствовал / и я почувствую
²⁶ Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь /
Так точно и в душе: [если я увижу] если б я увидел что-нибудь
³⁰ явившейся тогда *вписано*.
³⁶ вдруг почувствовал, что *вписано*.

Стр. 108.

^{1—2} Слов: до стыда, и до всего на свете? — нет.
⁵ к девочке / к этому ребенку
^{10—11} Текста: Верите ли со убежден в этом. — нет.
^{15—19} ничего не будет со мое сознание / ничего не будет и совсем ничего
не будет, и весь мир с моим сознанием угаснет
¹⁷ принадлежность лишь одного моего сознания / принадлежность
моего сознания
¹⁹ сам один и есть / сам и есть ♀
²¹ совсем уж новое / новое
^{21—22} мне вдруг представилось одно странное соображение / мне пред-
ставилось ♀
²⁶ лишь разве иногда / лишь иногда ♀
²⁸ всем существом моим *вписано*.
³⁸ а пока ворчали / ворчали
^{40—41} После: неприметно — [рассуждая и думая] и во сне, кажется, про-
должал рассуждать о том же, [особенно] по крайней мере в начале
сна. ♀
^{43—44} не замечая вовсе / не замечая [того] его вовсе ♀
⁴⁶ проделывал / делал

Стр. 109.

⁵ подле меня / подле меня живет
⁵ Почему разум мой / А я живу и разум мой
⁷ Да, мне приснился тогда этот сон / Да, я видел тогда этот сон ♀
⁹ сон или нет *вписано*.
^{13—15} а сон мой, сон мой со сильную жизнь / а сон мой возвестил мне
вечную жизнь. ♀
¹⁶ Слушайте. / Слушайте; слушайте!
²¹ положил прежде / хотел
²² Наставив в грудь / Наставив
^{28—29} Так и во сне моем со представилось / Но во сне [мне] моем мне пред-
ставилось
³⁴ визит хохляйка / плачет хохляйка ♀
^{42—43} представляя себе со в могиле / представляя себе смерть и могилу
⁴⁴ соединял / представляя себе

Стр. 110.

5 через крышу гроба / из крыши гроба
6–7 всё через минуту *вписано*.
8 в нем / в сердце
13–14 Кто бы ты ни был ∞ что-нибудь / Если ты есть и если есть что-нибудь
15 в продолжение миллионов лет / миллионы лет
21 и даже ∞ упала *вписано*.
22 знал и верил / верил
26 Я вдруг проэрел *вписано*.
29 Я уверял себя, что не боюсь / Я не боялся ♦
33 и через законы бытия в рассудка *вписано*.
36 Слов: ибо я не хотел ни о чём спрашивать — нет.
39 После: как бы лик человеческий. — И как только [он] этот человек ответил мне на вопрос, то я понял [почему-то], что его не надо [мне] спрашивать, что он мне ответит на каждый вопрос, но что лучше будет мне его не спрашивать ♦
42 существа, конечно, не человеческого, но которое / существа не человеческого, которое
43 После: есть — Если же надо было быть снова, то я все-таки <?> не хотел, чтоб меня победили и унизовили.
48 и за то презираешь / и презираешь ♦

Стр. 111.

1–2 в котором заключалось признание *вписано*.
2 и ощущив / и почувствовав
3 унижение мое / обиду мою
5 и даже не сожалеют меня *вписано*.
5 После: меня — но что надо мной не смеются и даже не жалеют меня
10 Я знал / Я не знал
15 наше солнце / а. солнце б. паше Солнце ♦
18 но я узнал почему-то / но я знал и чувствовал ♦
21 того же, который родил меня / меня породившего ♦
22 и я ощущил жизнь, прежнюю жизнь / я ощущил восторг жизни ♦
23 После: моей могилы. — Образ бедной девочки, которую я отогнал на улице, на мгновенное пролетел в моё воспоминаний
24–25 такое же солнце, как наше / такое же солнце ♦
23–29 неужели таков / неужели это ♦
30 земля, как и наша *вписано*.
30 совершенно такая же / совершенно такая же точно ♦
31 но дорогая и вечно любимая / скорбная и дорогая, вечно любимая
31–32 и такую же мучительную любовь рождающая / и мучительную любовь
вселяющая
33–36 вскрикивал я ∞ промелькнул передо мною / а. вскричал я, обливаясь слезами и прострая к [ней] новой земле руки. И образ бедной девочки, которую я обидел, мелькнул в моем воспоминании б. вскрикивал я, сотрясаясь от рыданий неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, мелькнул в моем воспоминании. ♦
37 Увидишь всё, — ответил / Увидишь, — отвечал
37–38 и какая-то печаль ∞ его слове *вписано*.
38 в его слове / в его коротком слове ♦
39–40 Она росла в глазах моих *вписано*.
41 чувство какой-то великой, святой ревности / чувство ревности ♦
43 лишь ту землю, которую / лишь ту, которую
43–44 на которой остались / где остались
44–45 неблагодарный, выстрелом в сердце / неблагодарный, разорвал с нею
и выстрелом в сердце
46 любить ту землю / любить [ее] нашу Землю ♦

Стр. 112.

¹ и только через мучение *вписано*.
² Мы пначе со пной любви. *вписано*.
³ в сию минуту целовать / обнять, целовать
⁵ не хочу со ни на какой пной! .. / не хочу, не хочу пной! .. ♀
⁶ уже оставил меня / а. не отвечал мне ничего. Он был грустен, я это
чувствовал, и вдруг покинул меня. б. уже покинул меня.
⁶⁻⁷ вдруг со для меня незаметно *вписано*.
⁷ стал / очутился ♀
⁷ на этой другой земле / на земле
⁸⁻⁹ Я стоял со островов / [Казалось] Это, кажется, был один из тех
островов
¹⁰ или где-нибудь на пребрежье материка / или какое-то [пребрежье
материки] место в пребрежье материки ♀
¹⁴⁻¹⁵ явной, видимой, почти сознательной *вписано*.
¹⁵ прекрасные деревья / огромные деревья ♀
¹⁷ я убежден в том, приветствовали / словно сознательно приветство-
вали
¹⁸ и как бы выговаривали / как бы выговаривавшим
¹⁹ горела яркими ароматными / пестрела и горела ароматными ♀
¹⁹ Птички / Птицы
²⁴⁻²⁵ о, как они были прекрасны / они были прекрасны как день
²⁵ на нашей земле / на моей прежней земле
²⁶ Разве лишь в детях наших / Лишь в детях
²⁸⁻²⁹ сверкали со Лица их *вписано*.
²⁹⁻³⁰ После: восполнившимся уже — сознанием, но лица эти были веселы
³¹ детская радость / радость
³¹⁻³² О, я тотчас же / О, я не умею пересказать, по я тотчас же
³² на их лица / на них
³⁴⁻³⁵ в таком же раю со и наши / в том же раю, как и наши ♀
³⁶ земля здесь / земля их
³⁶⁻³⁷ была повсюду одним и тем же раем / была тем же самым раем
³⁷ После: раем — я пал, я преклонился перед ними, я целовал эту
землю в восторге, они
³⁷ теснились ко мне / смотрели па мои слезы, теснились ко мне
⁴⁰ так мне казалось *вписано*.
⁴⁴ Но ощущение любви! Но зато я видел Истину, соприкоснулся с ней.
⁴⁴⁻⁴⁵ Ощущение любви
⁴⁴⁻⁴⁵ осталось во мне / как бы осталось во мне ♀

Стр. 112—113.

⁴⁵⁻¹ их любовь изливается на меня и теперь оттуда / а. как бы соприка-
саюсь с ними и теперь, отсюда б. как бы изливается их любовь на
меня и теперь, оттуда ♀

Стр. 113.

² я любил их, я страдал за них потом / я страдал за них и любил их ♀
³⁻⁴ как современному со петербуржцу *вписано*.
⁶ После: знание их — имело другие цели
⁸ стремления их были тоже совсем иные / цели их [совершенно иные]
были тоже совсем иные ♀
¹⁰ восполнена / полна
¹¹ и высшее / и бесконечно высшее ♀
¹¹ у нашей науки / у меня
¹¹⁻¹⁴ нашей науки со знали, как им жить *вписано*.
¹²⁻¹³ сама стремится сознать ее / сама учится
¹⁶ точно / п казалось
²⁴ с небесными звездами / с ними
²⁴⁻²⁵ с небесными звездами со каким-то живым путем *вписано*.

27 почти и не говорил / и не рассказывал
28 ту землю / землю
28 жпли / стояли
29 их самих / их
30 не стыдясь, что я их обожаю / без стыда за меня ♦
31 Они не страдали / и не страдали ♦
31–32 когда я, в слезах со ноги / видя, что я в слезах порою целовал их ноги ♦
32–33 *Слов:* радостно зная со мне ответят. — нет.
33 только из любви / из любви ♦
33 *После:* из любви к ним? — Но с ними я становился сам спокоен. ♦
42 их любивших животных / своих животных
46–47 почти всех грехов нашего человечества / а. грехов всей земли нашей б. всех грехов всего нашего человечества ♦

Стр. 114.

1–3 Их дети были со составляли одну семью. *вписано.*
3 У них почти / Между ними почти
4 как бы засыпая / а. благословляя их б. без болезни
6 их светлыми улыбками / тихими улыбками провожавших его
7 а была лишь / была разве
7–8 как бы до восторга / до грусти или до восторга
8–9 но до восторга со созерцательного *вписано.*
11 единение между ними / единение их
12–13 но, видимо, были / а были ♦
13 убеждены безотчетно / уверены
14 для них вопроса / для них даже вопроса ♦
14 У них не было храмов / У них не было храмов и не было веры
14–15 *После:* было какое-то — начато: совершенное убеждение их в будущей?
15 единение / соприкосновение
22 о которых они сообщали / *Начато:* которым они радостно
23 хоры / хоры голосов
26 Они любили / Иные любили ♦
28 выливались / выходили
28–31 Да и не в песнях одних со всецелая, всеобщая. *вписано.*
35 проникалось им безотчетно / умело
38 *После:* зовущую тоскою — начато: Я передавал им
39–40 и в мечтах ума моего *вписано.*
41–42 людям нашей земли / людям нашим
42 заключалась / была
43 зачем не могу не прощать их *вписано.*
44 *Слов:* тоска — нет.
46–47 *Слов:* я не жалел со я знал, что — нет.
47 они понимают со я покинул / но понимали [меня] своим сердцем то,
что я усиливался им высказать ♦
48 Да, когда они / Да, я многого не понимал в их словах, но когда они

Стр. 115.

5 уверяют меня / уверяют меня же в глаза ♦
9 сочинил / сочинил всё ♦
10 в самом деле так было / впрямь так и было ♦
10 какой смех / *Начато:* какой веселый
11 мне в глаза *вписано.*
12 ощущением того сна / ощущением
12 *После:* ощущением — начато: но во сне
13–14 действительные образы со сна моего / *Начато:* воплощение сна моего,
образы и формы его
14–15 *Слов:* то есть те, которые со сновидения — нет.

18–26 были восполнены до такой гармонии / а. были до того полны б. были в тот роковой час моего сновидения восполнены до такой гармонии ♀
18 После: прекрасны — в съамые часы сновидения моего
17–18 я, конечно, не в силах был / я не мог ♀
18–19 так что они со а стало быть *вписано*.
20–23 может быть, я сам со сколько-нибудь пх передать / может быть, сам сочинил подробности, исказив пх, но желая хоть сколько-нибудь их передать.
24–25 *Фразы*: Было, может быть, в тысячу со чем я рассказываю? — нет.
26 не могло не быть / было
27 в силах было / могло ♀
28 капризный, ничтожный *вписано*.
24–25 Дело в том, что я . . . развертил их всех! / Дело в том, что я заразил пх всех!
29 всю эту счастливую, безгрешную до меня землю / всю планету
30 научились лгать со красоту лжи / научились лжи и полюбили ее
31 и познали красоту ее
32 в самом деле, может быть, с атома *вписано*.

Стр. 116.

1 и понравился им *вписано*.
1–8 Затем быстро родилось сладострастие / а. Кокетство породило сладострастие б. Быстро родилось сладострастие
9 не знаю, не помню / не знаю, не знаю
1 Родилось понятие о чести / а. Они поняли слово честь б. Родилось понятие чести ♀
7 После: чести — начато: и каждый?
10 за личность / за личность, за существование ♀
10–11 Они стали / Они начали
11 После: языках. — У них явилась наука.
12 Тогда у них явилась наука. *вписано*.
13–15 Когда они стали злы со и поняли эти идеи. / Они стали влы, но купили тем то познание о братстве и человечестве.
16 Когда они стали преступны, то / Они стали преступны, но
17 кодексов / справедливости
17–18 Они чуть-чуть лишь со даже / О, они смутно помнили то, что потеряли, они даже
18 и называли его мечтой *вписано*.
19 как дети *вписано*.
20 настроили храмов / настроили ему храмов ♀
20–21 в то же время *вписано*.
22 если б только могло так случиться / а. если б случилось так б. если б могло так случиться ♀
23–24 и если б кто вдруг им показал / если б им показали
25 и спросил их / и сказали
26 к нему / в него ♀
27 мы знаем это и плачем со Но у нас есть *вписано*.
28–29 милосердый Судья / Судья
30 истину / Истину ♀
31 после слов таких *вписано*.
32 да и не могли они иначе сделать *вписано*.
33 После: других — Сильные полюбили порабощать
34 и в том жиань свою полагал *вписано*.
35 праведники / люди

Стр. 117.

1 стыда / стыда и невинности
2–3 и жить таким образом со в согласном обществе *вписано*.
3 Все воюющие твердо / Хотя все твердо
4 в то же время *вписано*.

10-12 а потому со их пдею вписано.
12-13 Слов: чтобы торжеству ее — нет.
15-16 прибегалось к злодейству / а. начались злодейства б. не пренебрегалось злодейством
18 успокоения / покоя
21 Они со в песнях своих. вписано.
24 и когда они со прекрасны. вписано.
25 их оскверненную ими землю / их землю
27-28 Слов: а об них со жалея их. — нет.
28-29 в отчаянии обвиния / обвиния
30 сделал я, я один / сделал я, я ♀
30 разврат, заразу и ложь! / разврат и ложь!
33-34 я жаждал мук со пролита была моя кровь / я хотел принять от них мученичества и чтоб пролита была моя кровь
34-35 Но они лишь со за юродивого. вписано.
37 сами желали / сами хотели ♀
38-39 Наконец, они объявили со они посадят меня / Они звали меня утопистом, они [решили посадить меня] объявили мне, что посадят меня
39 в сумасшедший дом / наконец в сумасшедший дом ♀
40 вошла со что сердце мое / вошла в мою душу и сотрясла ее. Сердце мое
40-41 стеснилось / стеснилось до смертной боли ♀
41-42 и тут... ну, вот тут я и проснулся. / Я закричал и... проснулся.
45 у капитана спали вписано.

Стр. 117—118.

43-1 никогда со мной / никогда еще со мной ♀

Стр. 118.

5-7 не воззывал, а заплакал / я заплакал
9 и, уж конечно, на всю жизнь! вписано.
9 Я иду! Да, я иду
12 После: Кроме того — начато: любви всех людей
17 дальше пойдет / дальше, мол, будет
19-20 Слов: потому что это очень трудно исполнить. — нет.
22 все стремятся / все хотят идти ♀
24 После: истина — да ведь мир ими-то и живет.
34 тут новое / главное
25 Потому что я видел / Я видел
22 даже несколько / и несколько
24 буду говорить со чужими словами / буду [может быть] непременно говорить чьим-нибудь чужим языком
22 После: на тысячу лет. — Я буду говорить людям неустанно, что видел
рай.
42 говорить, неустанно / говорить ♀
44 Слов: что я видел — нет.
49 Неужто это / точно это ♀
61 А наша-то жизнь / А вот вся жизнь

Стр. 119.

1-3 я понимаю / я знаю ♀
4 Слов: больше ровно ничего не надо — нет.
5 ведь это только / ведь опять ♀
10 И пойду! И пойду! вписано.
18 После: в беременном состоянии — выбросила
39 шестилетнюю вписано.
21-22 из четвертого этажа (5½ саж. высоты) вписано.
34-35 молодой женщины / забешенной женщины

²⁸ всех ее остальных поступков / ее [других] всех остальных поступков ♀
²⁶⁻²⁷ являлось соображение / [входила] являлась мысль
³¹ Не взглянув даже / Не поглядев
³⁹ в которых ей пришлось находиться / в которых она была
⁴¹ до разрешения / до родов св<оих>
⁴¹ от времени / от беременности
⁴²⁻⁴³ начальница женского отделения / надзирательница

Стр. 120.

⁵⁻⁶ *После:* Жаль только, что — *начато:* никак не могу
⁷⁻¹⁰ Да и сообщаю о деле со об исходе его. *вписано.*
¹⁰ Суд продолжался / а. Во-первых, суд продолжался б. Суд на этот раз продолжался
¹¹ присяжных заседателей / присяжных
¹⁴ и в ее пользу *вписано.*
¹⁴⁻¹⁵ мужа подсудимой / мужа Корниловой
¹⁹ *После:* ежемесячного жалования — *начато:* Но он искренно уверял, что в том, что преступление?
²²⁻²³ состояние, свойственное беременной женщине / состояние подсудимой
²³⁻²⁴ на совершение преступления и в данном случае / на [совершение]
поступок подсудимой
²⁵ с этим мнением был не согласен / *Начато:* заметил, что в настоящем
случае он не видит особенного
²⁶ не психиатр / не психиатр, а акушер
²⁷ Он говорил / Он показывал
³¹ и чрезвычайно любопытных *вписано.*
³²⁻³³ то я выслушал со решительно с восхищением / я слушал с восхище-
нием
³⁴ заключил о / *Начато:* заявил, что
⁴⁷ *После:* Муж — *начато:* увел подсудимую

Стр. 121.

³ и явного / и с присутствием явного
⁴ начинай / начинай буквально
⁴⁻⁵ *После:* чудесного спасения ребенка. — Я [известил] написал теперь о Корниловой, потому что прежде много говорил об этом деле, поразившем меня, [а по] и почел не лишним известить читателей об исходе [дела] его. Тем более, что [ни одно издание] никто, кажется, не сказал ни слова [передал] о заседании суда 22 апреля. И это очень странно, ибо редко встречается дело более интересное. Тем более, что ни одна из газет наших не передала об этом исходе ничего.

«Май—июнь, гл. I и II»

Стр. 122.

³ Из книги предсказаний / Предсказания
¹¹ изображается в этой книге / представляется в ней
¹¹ Европы и человечества / Европы и мира
¹¹ *После:* человечества. — *начато:* Помещаю лишь в
¹² Книга мистическая. *вписано.*
¹² *После:* Помещаю лишь — *начато:* как факт, не лишенный интереса

Стр. 123.

¹² на теперешнее / на правду
¹²⁻¹⁵ не брать в соображение со «сверкая двумя крылами» / не брать в со-
ображение дипломатов, «успокаивающих» Англию даже и теперь,
когда уже орел полетел, «сверкая двумя крылами», и таким образом
как бы все еще трепещущих перед «водяными жителями», обратно
пророчеству.

- 16 мудрецы / дипломаты
 28 о европейских столицах / о столицах
 23–24 подвергавшихся его нашествию *вписано*.
 30 очень подходящее / очень уж подходящее
 31–32 валетел наш орел / прилетел орел

Стр. 124.

- 9 за всю свою тысячу лег / тысячу лет назад
 9 такие, каких / такие, которых
 15 оброчную для себя статью / оброчную статью
 17 загнанный / и оставленный
 17 в берлогу свою / а, уползший в берлогу свою б. в берлоге своей
 19–20 воспламененный огнем милосердия *вписано*.
 20–21 и осенил его этими крылами *вписано*.
 25 *После*: зверства — начато: и падших до
 26–28 ослабевшою / слабою
 27 по крайней мере про себя *вписано*.
 30 подняться / исправиться ♀
 38 нечто новое / нечто грядущее
 39–40 старой загнавшей *вписано*.
 42 и у нас еще в России / и на Востоке
 42–43 А «блаженнейший со наместник божий» / а Святейший папа, непогрешимый на земле наместник

Стр. 125.

- 1–2 И не разуметь ли нам уж / И не разумеет ли он
 9–11 Казалось, должно бы со за предсказателя / Казалось, должен бы
 тут разуметь, если уж он предсказатель
 16 И мало ли бывает совпадений? / Совпадения бывают.
 19 предшествовало войнам / предшествовало
 26 Не как чудо со чудесны. / а вовсе не как чудо. Да и не одни
 лишь чудесны. ♀

Стр. 126.

- 28–29 весьма неприличную и грубую *вписано*.
 31 поставлен в необходимость / нахожу нужным

Стр. 127.

- 9 исполненное перемен / исполненное реформ ♀
 14–15 личного раздражения / много личного раздражения
 23–24 стал давно уже подозревать / стал подозревать

Стр. 128.

- 9 природа наша / порода
 20–21 слишком ясно со и приемам / слишком по многим признакам и приемам ♀
 82 *После слов*: другой цели не имеет. — Что ж, это еще не бог знает что
 и лишь в натуре вещей.
 38 мы стоим / мы именно стоим ♀

Стр. 129.

- 4–7 что европейская цивилизация со в каждом случае, который им чуть-чуть не понравится / а. что у нас людей, желающих выругаться быстро и непосредственно, в случае, если им что не нравится б. что, если только вообще говорить, европейская цивилизация чрезвычайно мало привила к нам гуманности и что у нас людей, желающих выругаться быстро и непосредственно, в каждом случае, который им чуть-чуть не понравился ♀
 18 *После*: при дворе — начато: политическим
 22–25 Приняли, так сказать, механически со малыми исключениями.
вписано.
 44–45 «высшего деятеля» / высшего дипломата ♀

Стр. 130.

8 высших свойств / высших (отрицательных) свойств
15 позволяли себе / сплошь и рядом, позволяли себе ♀
24 и всяких строцких / и строцких
44 всяких ошибочных идей / ошибочных идей

Стр. 131.

26 этакой человек / этакой человечек ♀
43 бессильный смех *вписано*.

Стр. 133.

5-8 Главное ∞ лучше его! *вписано на полях*.

Стр. 134.

3 И молодой ∞ знает / Он знает
4-6 «Ныне-де время ∞ не проживешь». *вписано*.
31 анонимно уверив его, что / уверив, что
38 могло быть, было
42 После: аптекари — да и то всё немцы
42-43 а действительно ∞ в самом деле страшное / а страшное обстоятельство, страшное, именно страшное

Стр. 135.

8 некоторых господ / их
14 кто-то из своих / кое-кто из своих ♀
23 думает он *вписано*.
39 по-дурацки *вписано*.
40 весь дрожа *вписано*.
41-43 ничего и не подозревавшего / его и не подозревавшего

Стр. 136.

18 выражается / говорит
19 о подобном же случае *вписано*.
22 земледельцы / землевладетели
31 После: слоняющихся там наших русских — п их разодетых по-европейски несчастных маленьких русских детей на руках французских, английских и швейцарских бонн и гувернанток.
32 столь единительное *вписано*.

Стр. 137.

3 проживающим / живущим
12-20 что сам он очень тоже похож ∞ тень Хомякова / что сам он очень похож на тень, например, хоть Грановского, ибо Грановский, если бы умер двадцать два года назад, а прожив до седых кудрей, теперь, двадцать два года спустя, повторял бы то же самое, на чем остановился в 54-м году, то, уж конечно, даже несмотря на свои седые кудри и на то, что он был столь уважаемым лицом, в свое время, был бы непременно точь-в-точь таким же самым шутом, как и он, этот господин, извещавший о провозе в особом вагоне тени Хомякова.
31-33 Замечу, что такая ненависть ∞ до апатии равнодушная. *вписано*.
33-34 А тут как раз почувствовались / Главное, почувствовались
37 без достаточной / без всякой

Стр. 138.

8 вот, значит, и хозяева *вписано*.
10 пятнадцать лет / двадцать лет
11 всё остальное / всё другое
12 организуются / организуется
13 не от школы / не от школ ♀
20-21 получится хорошая школа / получатся хорошие школы ♀
24 организуется / получится
25 прочное / правильное

²⁵⁻²⁸ То же самое со характером нации. *вписано.*

²⁹ Но теперь пока / Но об этом когда-нибудь поговорим поподробнее, а теперь пока

³⁰ столько рантьеров / столько богатых рантьеров ♦

Стр. 139.

² По Европе *вписано.*

²² много ли передовых-то? / много ли передовых-то, Грановских-то?

³¹⁻³² джентльменский либерализм со это всегда / джентльменский либерализм даже для самого консерватизма полезен, что всегда

³³ После: джентльменская — при связях

Стр. 140.

¹ После: выйти в люди — и сколько есть вот таких миленьких местечек

⁴⁻⁷ Итак, все со скоро изнашиваются. / Итак, рассчитывают на авторитеты, бывают <?> на связи. Но ведь и авторитеты изменчивы, а связи — что такое связи? Ну хоть и значат что-нибудь, так ведь далеко не всё.

⁹ хоть на всякий случай *вписано.*

⁹ После: на всякий случай. — Но именно об этом-то и не заботятся родители современных херувимчиков и особенно о собственном в них уме

⁹ Теперь же именно / Между тем теперь

¹¹ После: все того захотели — «а старое-де, чужое, что от предков — это всё предрассудки»

¹³ при общем желании / при общем-то желании *вписано.*

¹⁶⁻¹⁷ А впрочем, всё со в прошлом году. *вписано.*

²⁵ Вопрос этот со старый / Вопрос до пошлости отсталый и старый

²⁷ хоть и косвенно / положим, косвенно

³² как Тургенев / как г-н Тургенев

³⁵ о Тургеневе / о господине Тургеневе

³³⁻³⁷ но... но я вижу со говорил решительно то же самое / Но... но ведь я и прошлого года говорил всё это.

³⁸ толкуя / разговаривая

³⁹ херувимчиков / херувимов

⁴⁰⁻⁴¹ и вот собственно со хоть и неприятно повторяться / а. и хоть неприятно повторяться б. и вот по поводу дипломатии-то, хоть и неприятно повторяться ♦

⁴⁵ отвечаю я *вписано.*

⁴⁸ чтоб выразить / чтоб развить ♦

Стр. 141.

¹²⁻¹³ развеселились / развеселитесь

²⁰ и до дипломатии были *вписано.*

Стр. 142.

¹ в организме их / в душе их

¹⁻² международный закон / международный органический закон

⁴⁻⁷ что такая-то, например, королева со нужен характер / такая-то королева или императрица рассердила любовницу такого-то короля, вот и произошла от этого война между собой двух королевств и т. д. и т. д. А впрочем, вы <нрвб.> я увлекся <?> я прибавлю лишь то, что вот, вы говорите, связи... Но ведь для приобретения связей (я буду с вашей точки зрения судить) — для приобретения связей всегда нужен характер

²² основательного уже *вписано.*

Стр. 143.

¹⁰⁻¹³ отвлеченней от человечества сфере / высшей сфере

¹¹ не спекуляцию кабинетного ума / не плод ума

¹² плод жизни нации / плод нации

¹³ плод мировой жизни / плод мировой

¹⁴ вместо-то нее *вписано.*

40 влияние / значение

45 вот этот так уж бесспорно гений, но... вписано.

Стр. 144.

3-4 заговаривать на такие темы / заговаривать о дипломатии ♦

14-15 *После:* не так понимается... — Впрочем, мы эту тему пока оставим, война так война!

16 и даже единственno / а вернее всего, и единственno

30 всегда, впрочем, необходимые / всегда, в сущности, бывали необходимы и

33 веровать / верить

31 *После:* Известно — тоже всем и каждому, тко есть даже и не мудрецу (и, по-моему, преимущественно отнюдь не мудрецу)

33 вот мой вопрос! вписано!

44 можно / можно это ♦

Стр. 145.

3 *После:* до сих пор. — Ну, и вот как представляется теперь всем и каждому дело дипломатии. И что же, ведь, ей-богу, всё это даже и подхоже на правду, так что

3 Откровенно скажу, что этому вписано.

32 грозит сковырнуть / сковырнуть

33 на минутку отступлю от темы и вписано.

43-45 и это пребудет со во что-нибудь другое / и это пребудет в ней до самого того времени, когда радикальное социальное обновление не то что наступит в ней (ибо в ней же и наступит прежде всех) — но, уже наступив, переродит всё племя в течение многих поколений еще грядущих и отдаленных, из <?> старого организма в новый

Стр. 146.

1-2 *После:* не стану доказывать — и обо всём об этом потом

4 именно католический вопрос / такой мировой вопрос

8 что-либо в этом роде / что-либо мировое

9 *После:* поднял же самый — мировой из мировых вопросов всего Запада Европы — вопрос о существовании ее в старом виде ввиду грядущего нового вида (о котором, впрочем, всё в последнее время как бы ватихло и ничего не было слышно: социалисты молчали, Коммуна не возобновлялась, и вдруг ни с того ни с сего надо было его поднять)

9-11 капитальный со ему подняться вписано.

17 если он правильно разовьется / если он разовьется

18-19 в наш век начали подниматься всегда одновременно / а. поднимутся и разовьются одновременно б. всегда теперь начали подниматься одновременно ♦

21-23 Но для чего со смотрит с презрением. / И вот дипломатия на такие явления смотрит с презрением, даже по преимуществу на такие явления.

24 не желает / не [захочет] хочет ♦

30 Нет, тут загадка! / Нет, дескать, тут загадка!

33-34 я так наклонен был со хлопоты и больше ничего... вписано.

Стр. 146—147.

43-1 люди мудрости со внимания / люди мудрые по преимуществу и не обращают почти никакого внимания — тогда как что важнее этого вопроса?

Стр. 147.

7 то есть заплаточками / то есть заплаточку вставить, пену подбить, вызолотить, старое за новое представить и проч. и проч.?

18 храброму генералу / генералу

¹⁸ *После:* знатной даме — или фаворитке
^{16—17} такого фазиса, когда появляются вдруг / такого фазиса, когда уже
и тут нельзя даже отдалиться заплатками и когда появляются вдруг
¹⁸ *После:* и загадочные, но — совершенно соответствующие природе
вещей и людей, силы
^{26—27} *После:* беспутного еще человечества! — Мало того, знает ли она ?>
не только это человечество и законы его, но даже просто хочет ли
еще его ?> знать-то? Насколько она ценит это человечество, и ценит
ли еще хоть во сколько-нибудь? Мне всегда казалось, например,
что скептицизму и цинизму всех этих мудрейших людей, команду-
ющих событиями, придавалось несколько высшее, а потому и непра-
вильное значение, так что, например, скептицизм и цинизм с при-
правой самого легковесного остроумия и принимался за познание
всемирной истории, человека и дел его, да еще при таком высокоме-
рии, что и подумать страшно.

Стр. 148.

²¹ *После:* в самом начале! — Вторая же половина премудрой фразы,
т<о> есть что мудрость состоит лишь в том, чтобы всегда ко всяkim
случайностям быть готовым, — положим, премудра, но, по-моему,
непозволительно легкомысленна ?> и даже просто отлынивается школь-
ным учителем. Ну как в самом деле быть готовым ко всяkim собы-
тиям, не предугадывая их вовсе, т<о> есть все равно что не понимая
их вовсе?
²⁴ хотя и не буквально похожим / совсем даже непохожим
²⁷ на Западе старой Европы / на Западе Европы
³⁰ *После:* не заходило, то... — То как же я поверю в дипломатию
и в то, что она решительница судеб человеческих, скажите пожалуй-
ста? Я вот сказал сейчас: в старой Европе, но знает ли дипломатия
хоть то только, что есть старая Европа и что есть новая, восточная,
неодолимо волею божиего грядущая вступить в новый свой фазис
бытия? Отнюдь не знает-с [но главное и], и потому, главное, не знает,
что знать не хочет. Ведь ее честь, напротив, ассимилировать весь Вос-
ток Европы с Западом и заслужить для Востока Европы честь счи-
таться такою же старой Европой во всех отношениях. Итак, запла-
точки положим, подобьем пену и вызолотим.
^{31—32} Одним словом со будем ждать. *вписано.*
^{35—38} Вот у нас теперь война со она с удовольствием втюрится / Австрия,
например, если б случилось так, что повернулась бы к нам враж-
дебно, как раз впадет в обман, в который сама же втюрится
³⁶ случилось / случилось, например ♦

Стр. 149.

³ на время отвлечь / усыпить
⁴ и что он вовсе не могущественно *вписано.*
⁵ нечто посеръезннее / нечто сильное и серъезное
¹² и единственno в ее / а в ее
^{17—18} дескать, немножко / дескать, только немножко ♦
^{20—21} завершится не сегодня со завтра / будет не сегодня, все равно кон-
чится завтра
³¹ *После:* составить союз — как теперь
^{35—36} а давно уже со и единственno касающийся / а единственno каса-
ющийся
³⁸ ей можно бы / можно бы ♦
³⁹ *После:* другую цель — и войти с ними в соглашение
⁴¹ в этом роде *вписано.*
⁴⁴ можно будет и ей куда-нибудь / можно куда-нибудь

Стр. 150.

³ теперь всего болез / а. в данный момент б. теперь наиболее ♦
² в уединении / поневоле в уединении

²⁹ как само существование / как существование, самосохранение
³⁰ нашелся и у Германии / есть и у Германии
^{31–32} и как раз со другие мировые вопросы вписано.
³⁷ ей только / ей только одной ♀
⁴⁴ от прочих, ихних, роковых вопросов / от всех роковых вопросов ♀

«Май—июнь, гл. III, § I (фрагмент), § II (без окончания)»

Стр. 152.

^{39–40} провозглашенной французской революцией 1789 года вписано.
⁴⁰ свое уже вписано.

Стр. 152—153.

^{48–1} то есть отнюдь со христианской цивилизации, и вписано.

Стр. 153.

¹⁷ Наконец / Но затем
¹⁸ выводя новую формулу / выведя новую формулу ♀
^{45–46} грядущая формула / и несомненно грядущая формула
⁴⁸ всё наше столетие / всё столетие ♀

Стр. 154.

¹⁰ неслыханной еще всемирной революции / неслыханной революции
¹² старой Западной Европе / старой Европе
¹⁵ владычествующий в крайнезападной Европе порядок / владычествующий порядок ♀
²³ выскоцила на вид / выскочила всем на вид ♀
^{23–24} вследствие внезапного со во Франции вписано.
^{24–25} Формулировать со в виде / В сущности ее отчасти формулировать можно в виде

Стр. 155.

³ всех немцев поголовно / всех немцев
²⁸ вдвое больше / впятеро больше ♀
²⁸ пользуясь случаем вписано.
²⁹ осталось / оставалось ♀
^{31–32} но земельному объему вписано.
²⁹ После: победоносные сражения — и непременно на территории Франции
⁴⁰ и узурпаторы / жалкие узурпаторы

Стр. 156.

¹⁰ политическое и гражданское вписано.
¹² столь гениальных людей / столь гениально-мнительных людей ♀
²³ может / может быть ♀
^{27–28} прижатые на время вопросы и инстинкты / прижатые вопросы
²⁹ возродится вновь / явится ♀
³² уж совсем оправится / оправится
^{35–36} как бы она ни была сильна вписано.
³⁷ Правда, русские пока вежливы. / Правда, русские почтительны, но что-то уж слишком.
^{42–44} даже и такой убежденный со не в состоянии верить / даже и князь Бисмарк перестал уже верить, ибо даже и в его глазах слишком это было ненатурально.
^{45–47} что чрезвычайная вежливость со непоколебима / что почтительность России натуральна и непоколебима

Стр. 157.

² это «приключение» предвидел / это предугадал
³⁸ само в себе и вписано.

Стр. 167.

22 После: потушили так рано! — Заметьте притом, что нации мусульманские во всю их историю несравненно легче христианских страдали политически от иноверцев

«Июль—август, гл. II»

Стр. 193.

21 После: Опять обосаблене со «Анны Карениной». — Весь русский интеллигентный слой, т.^о есть все русские, стоящие над народом (теперь уже огромный слой, заметим это), — все, в целом своем — никака не годятся. Весь этот слой, как слой, как целое — донельзя плохой слой. Другое дело, если разбрить это целое на единицы и разбрать по единицам; единицы, т.^о есть частные лица, весьма бывают недурны и даже во множестве. Совсем другое в народе: в народе [все хороши] целое — почти, идеально хорошо *несколько нравов* (конечно в правственном смысле и, разумеется, не в смысле образования науками, развития экономических сил и проч.). Но по единицам в народе так хороши, так бывают хороши, как редко может встретиться в интеллигентном слое, хотя, несомненно, довольно есть и зверских единиц, а не просто зверских, то до безобразия невыдержаных. Да, в этом нельзя не сознаться, но не знаю почему так, но в большинстве случаев вы сами как будто отказываетесь произносить суд ваш [сами] над этими зверскими единицами, отказываетесь по совести и (не оправдывая их) извиняете, однако, народное безобразие. Но эту тему мы пока оставим, зато, повторяю, *целое* всего народа в совокупности и всё то, что хранит в себе народ как святыню, как *всех связующее* [как единое, чем можно спастися], так прекрасно, как ни у кого, как ни в каком народе, может быть. Что такое это единое и связующее — здесь не место объяснять, да и не о том я хочу говорить. Но связан и объединен наш народ пока так, что его трудно расшатать. Хомяков говорил, говорят, смеясь, что русский народ на Страшном суде будет судиться не единицами, не по головам, а целями деревнями, так что и в ад и в рай будет отсылаться деревнями. Шутка тонкая и чрезвычайно меткая и глубокая.

Зато в интеллигенции нашей совсем нет единения, никакой силы единения до сих пор не обнаружилось. Мы, например, преплохие граждане. Если бы не было народа и сверху над ним царя, [который всегда с народом] то мы, я думаю, и не шевельнулись бы соединиться в двенадцатом году. Вот уж где немыслимо аристократическое начало, так это у нас! У нас никогда не могло быть ничего подобного, как было когда-то в Польше, или даже как теперь в Англии. Верх нашей интеллигенции не только не может отъединить в себе, отдельно и исключительно, право изображать собою гражданство всей страны, но, напротив, без народа и сил, почерпаемых из него беспрерывно, утратил бы мигом даже и самую национальную свою личность. И как бы ни относились недоверчиво иные из нашей интеллигенции (очень многие еще) к духовным силам народа нашего и к крепости и благонадежности его национальных основ, но всё же без этого самого народа никакая Европа не спасла бы¹ этих иных, до сих пор этот народ презирающих [а без этого народа они, может быть, обезличились и в ожидании, пока еще [бы] переродились бы в европейцев, утратили бы всякую человеческую] от совершенной гибели и сведения на нет. Без этого народа они в ожидании, пока переродились бы

¹ Текст: Весь русский интеллигентный слой со никакая Европа не спасла бы — написан рукой А. Г. Достоевской.

в европейцев, утратили бы не только всякую национальную самостоятельность, но и просто человеческое достоинство.

Лишь беспрерывным, не останавливающимся соприкосновением нашим с народом мы, верхний слой его, существуем, тянемся кое-как, а подчас даже оживляемся и обновляемся. Это беспрерывное соприкосновение наше с народом и обновление себя его силами в большинстве интеллигенции нашей происходит, увы, до сих пор почти бессознательно: силы-то мы из народа черпаем, а народ все-таки свысока презираем.

А граждане мы, интеллигенция русского народа, — плохие. Мы при первой неудаче сейчас же в обослование и отъединение, и так весьма часто бывает даже с лучшими и умнейшими из интеллигентных русских людей.¹ Я уверен, что даже теперь, вот, например, хоть после неудачи при Плевне, страшно многое произошло обослений и отъединений, не говорю уж о разочарованиях, т.е. есть о внезапной потере веры в русскую силу.

А впрочем, и без Плевны в русскую силу еще мало кто в интеллигентном слое нашем верил. Мысль же о том, что русским [тоже как и всем] по примеру всех народов предназначено сделать что-нибудь особое, для всего человечества, что-нибудь совсем новое и свое, и еще неслыханное [для человечества] прежде ни от кого, — эта мысль до сих пор чрезвычайно удивляет, кажется дерзкою, смешит и, прямо скажу, лично обижает огромное большинство интеллигентных русских людей. А впрочем, что Плевна: обойди нас чином, предпочти перед одним другого, откажи в какой-нибудь просьбе, [раз]обидь нас хоть маленько и, повторяю, даже лучшие единицы из интеллигенции² нашей способны тотчас же удариться³ из гражданства в обослование и [пожелает] пожелать отъединиться в свой угол. В народе не так: в народе нашем, в беде и неудаче, все единятся, и чем больше беды, тем крепче единение.

²² У нас очень многие / Кстати: у нас очень многие ♦

²³ из интеллигентных русских вписано.

²⁴ я сам народ / я тоже такой же народ

²⁵ прочитав / окончательно прочтя

²⁶ значительный ум / довольно сильный ум

²⁷ частью и собственный взгляд свой / весь свой собственный взгляд

²⁸ об несуществующем Левине / об фантастическом Левине

²⁹⁻⁴⁰ и о действительном / и о целом, действительном

Стр. 194.

¹⁴ пьяные люди / пьяные люди бестолковые

¹⁵ но и подделан / но и фальшиво подделан

¹⁶ После: подделан — начато: с фальшивою, злокозненною и зловещею, могущею потрясти, так сказать, основы и даже *краб.* может быть, именно [против] для этого самого...

¹⁷ выражено окончательно и категорически / выражено автором резко и окончательно

¹⁸ о огромным большинством русских людей / со всей Россиею

¹⁹ Взгляд его, впрочем, вовсе не нов / Взгляд этот очень не нов

²⁰ по общественному положению вписано.

²¹ книжка несколько запоздала / мнение это несколько запоздало

²² После: несколько запоздала. — Впрочем, книжка явилась как раз

¹ Вместо: весьма часто бывает со людьми. — было: даже часто у лучших и умнейших интеллигентных русских.

² Вместо: даже лучшие единицы из интеллигенции — было: огромное большинство даже лучших из интеллигенции

³ Вместо: способны тотчас же удариться — было: тотчас ударяются

за несколько дней до нашей неудачи, плачевной неудачи при Плевне и столь всеобщего огорчения всех или большинства за исход дел всех русских людей, всей Руси, а потому <?> [книжка] она сделает свое дело и теперь, как раз совпадая с очень многочисленными и вдруг несомненно <?> поднявшимися везде голосами на тему: «Мы говорили, мы предупреждали, мы предсказывали» и т. д.

81 определить / сказать

82 и, если строго судить *вписано*.

82–83 *После:* ни в чем себе не верующий. — Но что его кто-нибудь обидел лично или мало чести [оказало] оказал ему [общество] кто-нибудь до того, что он и пожелал выразить нарочно свое особое мнение, чтоб он надумал и рассердился разом на всех, [этого я уж более] [на кого из русских] этого я отнюдь никак не предположу.

84–85 какими таинственными / как таинственными

85 смешными / а. Как в тексте б. странными ♦

84–87 самое неестественное со безобразное чувство *вписано вместо двух густо зачеркнутых строк*.

87 *После:* чистое сердце. — начато: Но повторяю: обид личных и как и сообщил / как и выразил

88 *После:* не смешиваю — и [утверждася] вовсе не утверждаю, как *нрагб.* фальшиво *нрагб.*, что Левин есть портрет автора во всех отношениях, так сказать *Далее шесть густо зачеркнутых строк*.

88 очевидно *вписано*.

84–87 как художественно изображенного типа *вписано*.

87–88 но всё же со такого автора! / но всё же слишком многое (хотя конечно не всё), высказанное в этой последней отдельно изданной книжке должно несомненно быть приписано прямо и убеждениям самого автора. А не того ожидал я от такого автора! ♦

Стр. 195.

7–8 наиболее / папглавнейше

14 я впжу это *вписано*.

17 иного значения / высшего значения

39 действительно / действительно, без шутки

39–40 *После:* в понимании славянофильства. — Вот Герцен в конце своей жизни так понял его несравненно глубже и шире. ♦

31–33 славянофильство со объединению / славянофильство — освобождение и объединение

34 даже и не строго политическим / вовсе не политическим

40 Слово это будет сказано *вписано*.

41–43 всемирным союзом / великим союзом

44–45 но всегда заключавшего / но заключающего

46 для будущего разъяснения / для величайшего подвига разъяснения

Стр. 196.

3 опять-таки нечего / опять-таки, скажу, нечего ♦

3 противников / всех <?> противников

9 пустой / тупой ♦

14 что Европа / что она

23 взлетел / воспрыпал

23 на это дело / на дело ♦

31 предпринимать / иметь

32 Заметьте это особенно. *вписано*.

34–35 что поступок России естественно / что весь факт этот

34 и непросвещенной / и полуевропейской

38 в темные века / в темные века варварства

39 опасный / опасный, враждебный

40–41 в Европе теперь особенно / теперь в Европе

⁴³ Поражение / Неудачи, поражение
⁴⁴ миlee им собственных ихних побед / для них миlee собственных побед

Стр. 197.

¹⁻² в будущее великое / в великое

⁶ После: как факт — начато: воочию совершившийся?

³⁻⁷ торжественно и запоминально «писано».

¹¹ И даже самое слово это / Слово это

¹⁶⁻¹⁷ Но, однако же, начиналось со «Россия и Европа! / Но, однако же, Россия и Европа!

²²⁻²³ понимают ли все его? / как понимают его?

²³ После: все его? — Движение началось великой, стихийной, национальной силой, но претендентная Россия, стоящая во главе движения, понимает ли сама-то, какая сила влечет ее и к чему, к какой цели, к какому концу? ♦

²⁵ низшей браты / низшей браты, четвертого сословия ♦

²⁶ это слово / его ♦

²⁷⁻²⁸ никто не услышал бы со нее понял бы его вовсе / никто не услышит в Европе наше слово и не понимает его, и, однако, лишь оно остановит кровь

³⁰ у нас же со russkimi *писано*.

³⁷ братства нашего / демократизма нашего (NB. По-русски: братства нашего) ♦

³⁹ на сор / на весь сор ♦

⁴⁰ укажем это / указываем

⁴¹ опять ответят / отвечают

⁴² а не факты *писано*.

⁴⁵⁻⁴⁶ столы не понимающие со верующие в себя, мы *писано*.

⁴⁷ Европа! *писано*.

Стр. 198.

³ европейцы и западники / западники

¹⁹ После: уважала? — начато: а. Ей надо фактов. Где наша наука, где литература, что же б. Ей надо фактов, понятных фактов, понятных на ее собственный взгляд... .

²¹ *теперешний* взгляд / собственный взгляд

²² Усматривается ли / Виден ли

²³⁻²⁴ который видим мы все у вас / который видим мы у вас и — который виден всем, наблюдющим вас?

³⁹ особо, перед всеми / особо на верх, перед всеми ♦

³³ ему доказывать / его уверять

³⁷⁻³⁸ что он устарел, как он говорит, и *писано*.

³⁸ ничего не напишет / не будет писать

⁴³ После: Собеседник мой — хоть и глубокий поэт, но

Стр. 199.

³⁻⁴ во всех их литературах *писано*.

³⁰ одного из величайших русских людей / величайшего из русских людей ♦

³² преобразование / преобразование

⁴⁰ Он человек древнего мира / Он Грек

⁴³ русский гений / русский дух

⁴⁴⁻⁴⁵ что он может со во всей полноте *писано*.

⁴⁷ многограничие национальностей / многограничие их национальностей ♦

⁴⁸ поворот его к народу / обращение к народу

⁴⁸ После: к пародии — начато: п завет, что лишь

Стр. 200.

⁴ совершил первый, на деле / совершил на деле ♦

⁵⁻⁶ немыслимый еще до него *писано*,

11–12 что Пушкин, конечно, признал бы их / как Пушкину только разве
грезилось ♦
16 русского гения / русского духа
18 значение / назначение
20–23 *Фраза*: Да и оценить еще со допустить трудно. — вписано.
27 подвернувшееся / явившееся ♦
29 в настоящую эпоху вписано.
31 составляет со европейским мпром / отличает нас от европейского
мира
34–35 несмотря на всю ее гордость вписано.
43 *После*: Первое решение: — Мера пшеницы за динарий и мера ячменя
за динарий *«Далее 2 строки нрзб.»*

Стр. 201.

7 буквально / буквенно ♦
8 *После*: будет хуже — и нельзя допускать послаблений там, где
единственное спасение есть [сила] прибегнуть к силе ♦
16 *После*: ложью! — «Мера пшеницы за динарий и мера ячменя за
динарий и так тому и быть бы».
21–22 общества и склада его вписано.
27–28 Итак, вот это второе решение / Вот решение
28 а пока / а в ожидании
31 русского автора вписано.
44 *Слов*: и столь таинственный — нет.
45 ни даже судей окончательных / ни судей ♦
48 *После*: решать ничего — начато: но чтоб не погибнуть в отчаянии от
непонимания путей и судеб своих

Стр. 201—202.

48–1 *Слов*: с гордостью своей непогрешимости — нет.

Стр. 202.

1 не пришли еще времена и сроки вписано.
1–4 Сам судья со будут нелепостью / Он не судья, он грешник сам,
весы и мера в руках его нелепость ♦
4–5 не преклонится перед законом со к Милосердию и Любви / не пре-
клонится перед законом милосердия и любви
5 не прибегнет / не прибегнет поэтому ♦
7–8 от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла вписано.
12 в братьев / в братстве
13 *Слов*: взаимным всепрощением — нет.
15 право / полное право
16 в конце романа вписано.
21–22 со страстью отмщения вписано.
24–25 «Нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам» / «Нет, здесь <?>
не мне отмщение и не аз воздам»
26 преступнику того / человеку
27 и уже сознательно / и сознательно ♦
29–30 такой силы мысли и исполнения / такой силы ♦
31 и своих решений экономических, социальных вписано.
33 *После*: слове — и во всем остальном?
37 *После*: наши, по крайней мере, европейцы — мы же, тко есть
верующие, понимаем это не колеблясь
43–44 в его несчастной восьмой части, изданной им отдельно вписано.
45 лишает его главного / лишает его характера чуть не главного

Стр. 203.

1 народ наш / он
2 за терпящих за веру братий своих / за Христову веру и за терпящих
за веру

⁹⁻⁷ Правда, книжка эта искренняя, говорит автор от души! Он поддакивает им и направляет их. Так как я пишу искренно, то и сознаюсь во всем: я было всё приписал «золотому фраку» — вот тому самому золотому фраку, о котором упомянул в прошлом май-июньском выпуске «Дневника» (^{тс}о) есть что русские великие люди вообще и не выносят своего величия и, для оригинальности, чтоб не походить на остальных людей, не столь великих, как они, готовы даже носить золотые фраки, если б портные шить согласились). Но написал я тогда о золотом фраке еще далеко до прочтения восьмой части «Анны Карениной» и даже до появления ее в свете. Да и написал я больше по поводу «Любителей турок», которые вдруг у нас там да сям объявились. Разговор же о турках, приведенный мною в прошлом «Дневнике», происходил буквально здесь в губернии, между мною и одним собеседником, и мог ли я ожидать, приводя этот разговор, что в восьмой части «Анны Карениной» прочту [отчасти] весьма и весьма сходные мысли и [убеждения] рассуждения, по крайней мере, в основном пункте? Тем не менее, повторяю опять, что, прочтя книжку, я тотчас же отказался от всякой мысли о «золотом фраке»: книжка эта наивная и искренняя. Говорят [он] автор от души, а не от оскорбленного чем-нибудь самолюбия, как обыкновенно бывает при «золотых фраках».

⁸ совсем как бы невзначай / там невзначай

¹⁰ кривизны / тени

¹⁴ так пишет / это пишет ♦

¹⁶ А впрочем, примусь / А впрочем, к чему предисловия, примусь

Стр. 204.

¹⁵⁻¹⁵ в самый щекотливый момент *вписано*.

²⁵ или ждал чуда *вписано*.

²⁸⁻³⁰ *После: как самого себя — начато:* Между тем это непременно должно

⁴⁷ а потому / и потому ♦

Стр. 205.

⁸ продолжал Левин / продолжал думать Левин ♦

³⁷⁻³⁸ *Фраза:* Мало одного самомнения со стать народом. — *вписано*.

⁴⁰⁻⁴¹ и знает, что к сотовому меду огурцы свежие подаются / и к сотовому меду огурцы свежие подает

⁴⁷ разрушит сам *вписано*.

Стр. 206.

⁸ Где же роль его? *вписано*.

⁸⁻⁴ А если нет промысла со бога, и т. д. и т. д. *вписано*.

⁴⁻⁵ Берите прямую линию! Одним словом, берите линию

⁹ есть самая праздно-хаотическая душа / есть хитросплетенейшая душа ♦

⁷ современным русским / русским ♦

⁹⁻¹⁸ К тексту: Он доказывает это со на свечке. — *НР отсутствует*.

«Июль—август, гл. III, окончание § III; § IV»

Стр. 217.

⁴⁸ с коммуной *вписано*.

⁴⁴ мог провозгласить / мог сказать

Стр. 218.

¹⁻⁵ Заголовок: IV. Сотрясение Левина со Чему же, наконец, нас учат наши учители? — *вписан*.

⁴ некоторых наших дам / наших дам

⁵ Чему же, наконец, нас учат / Чему нас учат

²⁹ еще раз / опять
³⁷⁻³⁸ он так со народом вписано.
³⁹ есть хорошо / подают

Стр. 219.

⁵ После: убьет пьяных? — начато: И случай такой
¹¹ не видит при ничего не чувствует / не видит, что он сам народ и ничего
не чувствует ♀
¹⁵ Да так со выражается. вписано.
²¹⁻²³ в эти полтора года со исступленного воображения / в эти полтора
года превосходит всяко самоз болезни поэзии исступленной вообра-
жению
²⁷ ни о чем еще подобном прежде / о таковых прежде
²⁸ С живых людей / С людей
³¹ младенцев / их младенцев ♀
³⁶ Я видел / Я знал
³⁹ так что ребенок все-таки не скоро умер / и ребеночек не скоро умер
³⁹ ребенок / ребеночек ♀
⁴⁰ еще долго кричал / ужасно кричал ♀
⁴⁶ существовать может / быть может

Стр. 220.

⁷ Кроме шуток / В самом деле
²¹⁻²² и вот, как чувствительный-то человек со турку. / и он боится убий-
ства, и особенно боится убить турку.♦
²⁶ вырвать его у турка / освободить его
⁴⁴⁻⁴⁶ и из всего того, что он говорит со убить при этом турку. вписано.

Стр. 221.

⁹ для души нашей / для души то есть ♀
¹⁰ После: турку убивать... — [приписывается (?) народу, что он
деньгами] Значит, Левин советует народу откупиться для «рабов»
души деньгами, а самому туда не ходить, чтоб не убивать турок.
²⁵⁻²⁶ неслыханных истязаний со других членов / неслыханных пыток
²⁹ на потеху и хохот / к потехе
³⁰⁻³¹ отирается от зверств, совершенных ею / отрицают зверства
³⁸ против турок, уличенных / против уличенных ♀
⁴² станут отрезать / отрежут ♀
⁴⁷ когда их обезоружат вписано.

Стр. 222.

¹³⁻¹⁴ и захваченного в плен турку / пленного турку
¹⁶⁻¹⁷ Фразы: И Левин лучше со армия джентльменов. — нет.
²³ где тут мщение, где репрессалии? вписано.
²⁶ нелепое, выделанное и прямолинейное вписано.
²⁶ После: сентиментальничанье — Слова главнокомандующего были
золотые слова и останутся в истории, но применение слов этих на
деле чиновниками действительно, может быть, бывало иногда
не совсем естественно, если так можно выразиться. Приезжают
они, например, в такой-то город (этот я читал), а там утром только что
свирипствовали турки, которых только что выгнали подоспевшие
русские, и вот чиновники собирают кое-как болгар, еще безумных
от ужаса, и начинают внушать им новые правила управления, для
них составленные, и между прочим, что они должны убрать хлеб ту-
рок, взяв треть его за работу. А у болгарина лежит мертвая изна-
силованная жена с вырезанными грудями, а кругом ее ребятишки
[просят] плачут и просят есть. Болгарину сгоряча может [быть]
показаться странным путь убирать хлеб турок.
²⁷ столь нередкое в нашем образованном обществе вписано.
³² отходящему поезду / им

- ³² платочками / платками
³³ бесчувственного турка / неблагодарного турка
³⁴ ³⁵ со стороны со дам наших *вписано*.
^{41–42} их бесчестное оружие / сабли и ятаганы
⁴² Так было п прошлого года. *вписано*.
^{45–46} чтоб только не убить как-нибудь турку *вписано*.

Стр. 223.

- ^{3–8} И когда бывало это со жаждой мщения и кровопийства! *вписано*.
^{10–11} ведь когда моют в ванне со вроде события *вписано*.
¹⁹ происходит / делается
¹⁹ После: в другом полушарии происходит — Ничего я не чувствую.
^{20–21} потому что я ничего не чувствую. *вписано*.

ПРИМЕЧАНИЯ

В двадцать пятом томе Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатается «Дневник писателя» за 1877 г. (выпуски с января по август).

Раздел «Рукописные редакции» состоит из черновых набросков, планов, заметок подготовительного характера и вариантов чернового автографа.

А. В. Архиповой подготовлены основной текст «Дневника писателя» за январь—июнь, рукописные материалы к этим выпускам и раздел «Варианты»; И. А. Битюговой — основной текст «Дневника писателя» за июль—август; И. Д. Якубович — рукописные материалы к июльско-августовскому выпуску.

Примечания составили В. А. Туниманов (§§ 1—2, 4—7 преамбулы; «Сон смешного человека»); А. В. Архипова (§ 3 преамбулы); А. И. Батюто (реальный комментарий к основному тексту «Дневника писателя», а также подготовительным материалам к июльско-августовскому выпуску); В. Д. Рак (записи к «Дневнику писателя» из рабочей тетради 1877 г.). В редактировании текста и примечаний принимал участие Г. М. Фридлендер, в сверке черновых материалов (ГБЛ) — Е. И. Кийко.

Редакционно-техническая подготовка тома к печати осуществлена А. М. Березкиным. Ему же принадлежат комментарии к стр. 122—125, 224—225 и к разделу «Варианты».

Редакторы тома — Н. Ф. Будanova и В. А. Туниманов.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ ЗА 1877 г.

(Том XXV, стр. 5, том XXVI)

Источники текста

ЗТ — Записная тетрадь (заметки, записи тем, названия прочитанных статей из газет и журналов, выписки; см. наст. том, стр. 226). Январь 1877 г. Хранится: ЦГАЛИ, ф. 212, I.16, стр. 174—177; см.: *Описание*, стр. 73. Опубликована: ЛН, т. 83, стр. 615—617.

ПМ — Подготовительные материалы (планы, наброски, заметки; см. наст. том, стр. 230—258, т. XXVI). Хранятся: ГБЛ, ф. 93, I.2.12; ф. 93, I. 2.14/1—11; ИРЛИ, ф. 100, №№ 29475, ССХб. 12; 29499. ССХб. 19; 29483. ССХб. 12; 29933. ССХб. 15; см.: *Описание*, стр. 74—77. Фрагменты опубликованы: Ученые записки Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского, 1940, т. IV, вып. 2, стр. 319 — с пропусками и неточностями; ЛН, т. 86, стр. 91—94. Полнотью публикуется впервые.

ЧА — Черновой автограф к выпуску за май—июнь в переплетенной тетради; см. наст. том, стр. 261—283. Хранится: ГБЛ, ф. 93, I.2.12. Фрагмент опубликован: ЛН, т. 86, стр. 67—72. Полнотью публикуется впервые.

Стенограмма — Стенограмма А. Г. Достоевской. Мартовский выпуск, глава первая, § 3; см. наст. том, стр. 283—285. Хранится: ИРЛИ, № 30470. ССХПб. 11. Публикуется впервые.

НР — Наборная рукопись. Автограф, за исключением майско-июньского выпуска. Выпуски за январь — фрагмент § 5 главы второй; март — глава вторая, § 1; апрель — полностью (автограф в переплетенной тетради); май—июнь — главы первая и вторая, глава третья, §§ 1 и 2, глава четвертая, фрагмент § 1 (рукою А. Г. Достоевской с поправками Ф. М. Достоевского); июль—август — глава вторая, глава третья, фрагмент § 3 и § 4 (автограф в переплетенной тетради); сентябрь — полностью; октябрь — полностью, ноябрь — глава первая, глава вторая, глава третья, § 1 и фрагмент § 2; декабрь — глава первая, глава вторая, § 2 (фрагмент), §§ 3 и 4. Все НР за сентябрь — декабрь (автографы) сброшюрованы в одну тетрадь. См.: наст. том, стр. 285—312 и том XXVI. Хранится: ИРЛИ, ф. 100, №№ 29476. ССХб.12; 29477. ССХб.12; 29479. ССХб.12; 29480. ССХб.12; 29481. ССХб. 12; 29482. ССХб.12; 29483. ССХб.12; ГИМ, Щук. 586п. № 128; ГБЛ, ф. 93. I.2.12; ф. 93. I.2.13; см.: *Описание*, стр. 79—83. Опубликован фрагмент НР, выпуска за июль—август, глава вторая, § 1: ЛН, т. 86, стр. 73—74. Полнотью публикуется впервые.

Н — Правка, вычерки и пометы Достоевского на письмах корреспондентов Достоевского, использованных в «Дневнике писателя»:

1) Письмо М. А. Юркевича к Ф. М. Достоевскому от 11 ноября

1876 г.; см. наст. том, стр. 34. Хранится: ИРЛИ, ф. 100, № 29911. ССХ16.14; см.: *Описание*, стр. 514. Частично опубликовано: *ДнП*, стр. 25—26.

2) Письма А. Г. Коньера к Ф. М. Достоевскому от 26 января 1877 г. и 22 февраля 1877 г.; см. наст. том, стр. 75—77. Хранятся: ГБЛ, ф. 93. II. 5.82; см.: *Описание*, стр. 83—84. Опубликовано: *ДнП*, стр. 68—70 (фрагменты писем);

3) Письмо С. Е. Лурье к Ф. М. Достоевскому от 13 февраля 1877 г.; см. наст. том, стр. 89—90. Хранится: ИРЛИ, ф. 100, № 29768. ССХ16.7; см.: *Описание*, стр. 418. Частично опубликовано: *ДнП*, стр. 80—81.

4) Письмо архимандрита Леонида к Ф. М. Достоевскому от 12 апреля 1877 г. и приложенная к нему выписка из книги Ивана Аболенского «Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам архиdiакона Алепцкого» (Киев, 1876); см. наст. том, стр. 103—104. Хранится: ГБЛ, ф. 93.II.6.16; см.: *Описание*, стр. 84.

Гр — Гранки статьи «Старина о петрашевцах»; см. наст. том, стр. 23—26. Хранится: ЦГИА, ф. 777, оп. 3, дело № 69 1875 г. Впервые опубликовано: Сб. *Достоевский*, I, стр. 369—372.

ДнП — Дневник писателя. Год 11-й. Ежемесячное издание. 1877. Январь—декабрь. Выходил отдельными выпусками, которые в конце года были сброшюрованы в один том (Дневник писателя за 1877 г. Ф. М. Достоевского. СПб., 1878); даты цензурного разрешения и выхода в свет отдельных выпусков см. ниже, стр. 318. В конце каждого выпуска подпись: «Ф. Достоевский».

Печатается по тексту *ДП* с устранением явных опечаток и со следующими исправлениями по *ЧА* и *НР*:

Стр. 15, строка 5: «вспомнить» вместо «вспоминать» (по смыслу).

Стр. 95, строка 45: «верят» вместо «верить» (по *НР*).

Стр. 100, строки 30—31: «Христу послужить» вместо «Христу служить» (по *НР*).

Стр. 101, строки 20—21: «В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов» вместо «В долгий мир жиреют лишь одни эксплуататоры народов» (по *НР*).

Стр. 129, строка 17: «всем — состоянием своим, положением» вместо «всем состоянием своим, положением» (по *НР*).

Стр. 184, строка 8: «напал на свою карьеру» вместо « попал на свою карьеру» (по *ЧА*).

Стр. 138, строка 14: «в частностях» вместо «в частности» (по *НР*).

Стр. 138, строки 14—15: «у нас теперь о просвещении» вместо «у нас о просвещении» (по *ЧА* и *НР*).

Стр. 138, строка 32: «в английских костюмчиках» вместо «в английских костюмах» (по *ЧА* и *НР*).

Стр. 141, строка 38: «с модными кокотками» вместо «с молодыми кокотками» (по *ЧА* и *НР*).

Стр. 143, строка 15: «2500 лет» вместо «2000 лет» (по *НР*).

Стр. 193, строка 41: «текущую русскую действительность» вместо «текущую русскую деятельность» (по *НР*).

Стр. 203, строки 19—20: «противоположность» вместо «в противоположность» (по *НР*).

Стр. 219, строка 14: «и не может быть» вместо «и не может быть, а не к угнетению пьяной женщины» (по *НР*).

1

Завершая декабрьский выпуск «Дневника» за 1876 г., Достоевский предупреждал читателей: «... заявляю теперь, что в (...) 1877 году буду издавать лишь „Дневник писателя“ и что „Дневнику“ и будет принад-

лежать, по примеру прошлого года, если моя авторская деятельность» (см.: наст. изд., т. XXIV, стр. 60). Успех «Дневника», «нравственный» и «материальный», возрастал, свидетельствует А. Г. Достоевская, «но возрастили вместе с ним и тяготы, связанные с издательством ежемесячного журнала: то есть рассылка номеров, ведение подписных книг, переписка с подписчиками и проч. и проч.» (*Достоевская А. Г., Воспоминания*, стр. 311).

Упорно работая над «Дневником», автор в письмах к друзьям и читателям постоянно сетовал на состояние здоровья, мешавшее ритмичной и регулярной работе. 13 января 1877 г. он писал П. В. Быкову: «... работа с изданием „Дневника“ (то есть не с одним сочинением его, а с изданием) — оказывается чем дальше, тем выше моих сил (физических)». О том же Достоевский писал 14 февраля А. Г. Коннеру («... я человек больной и чрезвычайно тут пишу мое ежемесячное издание»), 7 марта — А. Ф. Герасимовой, 17 апреля — С. Е. Лурье. Вскоре Достоевскому пришлось постепенно отказаться от регулярных ежемесячных выпусков. Уже по поводу апрельского выпуска он сообщал (20 апреля) В. И. Ламанскому, что «страшно запоздал с Дневником». Этот выпуск Достоевский завершил обращением «К моим читателям», где известил их, что «по приговору докторов» уезжает из Петербурга. «В прошлом году ... я принужден был выдать №№ „Дневника“ за июль и август месяцы вместе ... В нынешнем же году, по усилившей еще более моей болезни, я принужден выдать и майский № с июньским вместе, в одном выпуске, в конце июня или в самых первых числах июля. Затем июльский и августовский №№, как и в прошлом году, выйдут тоже в августе», — информировал Достоевский подписчиков (стр. 121).

О решении с 1878 г. на время прекратить издание Достоевский известил в октябрьском выпуске «Дневника». «По недостатку здоровья, — писал он здесь, — особенно мешающему мне издавать „Дневник“ в точные определенные сроки, я решаюсь на год или на два прекратить мое издание ... к сожалению, я решительно принужден остановиться. С декабрьским выпуском издание окончится». Однако главной причиной прекращения издания «Дневника» была работа над «Братьями Карамазовыми» (см. об этом стр. 339).

Ближайшим помощником Достоевского в хлопотливом деле издания и распространения «Дневника» в 1877 г., как и в предыдущем, кроме его жены, был метрантаж М. А. Александров. До декабря «Дневник» печатался в типографии князя В. В. Оболенского, декабрьский выпуск — в типографии В. Ф. Пуцкевича (Надеждинская ул. (ныне ул. Маяковского), дом 24). Смена типографий и болезнь Достоевского задержали выход декабрьского номера, в чем он счел необходимым специально оправдываться перед читателями: «... последний выпуск „Дневника“ так сильно запоздал по двум причинам: по болезненному моему состоянию в продолжение всего декабря и вследствие непредвиденного перехода в другую типографию из прежней, прекратившей свою деятельность. На новом непривычном месте неизбежно затянулось дело».

Характер творческой работы Достоевского над «Дневником писателя» не изменился в 1877 г.: последние главы часто набирались либо после 25-го числа, либо нередко в первой декаде следующего месяца. Об этом свидетельствуют записи Достоевского к Александрову, письма к читателям, а также объявления о предполагаемой дате выхода очередных номеров «Дневника», помещавшиеся в конце каждого выпуска. Даты эти (вслед за ними в скобках указываются даты цензурного разрешения) следующие: январь — 31 (31); февраль 28 (4 марта); март — 2 апреля (3); апрель — 30 (3 мая); май — июнь — 30 июня (8 июля); июль — август — «первые числа сентября» (10); сентябрь — 7 октября (6); октябрь — 31 (30); ноябрь — 30 (30); декабрь — 31 (15 января 1878 г.).

С октября выпуска в начале каждого номера печаталось объявление: «Подписка на „Дневник писателя“ в следующем 1878 году не принимается. Подписка на „Дневник писателя“ в текущем 1877 году продол-

жается». В декабрьском выпуске после постскриптума о книге Синклера следовало: «Р. Р. С. С. Несмотря на временное прекращение „Дневника“, всем прежним подписчикам моим будет производиться та же уступка на мои издания: „Бесы“, „Идиот“, „Преступление и наказание“ и проч. как и прежде, буде кто пожелает приобрести. О цене объявлялось в прежних выпусках „Дневника писателя“».

Н. Н. Страхов, располагавший всей необходимой информацией, привел следующие цифры о тираже и подписане на «Дневник» 1877 г.: «... было около 3000 подписчиков и столько же расходилось в розничной продаже» (*Биография*, стр. 300, первая пагинация). Тираж не был постоянным: в летние месяцы он падал, и журнал несколько медленнее расходился, что тревожило Достоевского, как видно из письма его от 7 июля к Анне Григорьевне: «... Марья Николаевна сообщила мне, что Овсянников воротил ей 280 экз. за апрель. Каково! Значит, он всего 200 продал. Стало быть, двойных № за май—июнь, может быть, и совсем не возьмет, кроме тех, которые выменяет за 280 апрельских (...) Одним словом, „Дневник“, видимо, падает».

Но это были обычные сезонные колебания. «Дневник» имел несомненный читательский успех. По подсчетам И. Л. Волгина, он распространялся в 1877 г. в 660 населенных пунктах.¹

После выхода декабрьского выпуска оставшийся на складе тираж «Дневника писателя» за 1877 г. был сброшюрован в одну книгу с общим титульным листом и оглавлением (цензурное разрешение 15 января 1878 г.).

Цена отдельного выпуска «Дневника» в 1877 г. была повышена до 25 копеек. С прошением о разрешении на повышение цены выпуска Достоевский обратился 26 января в Главное Управление по делам печати: «Имею честь покорнейше просить Главное Управление по делам печати о разрешении мне издаваемые мною сочинения „Дневник писателя“, ежемесячными выпусками, продавать с нынешнего 1877 года по двадцати пяти копеек» выпуск вместо двадцати копеек, как в прошлом году».

2

Рукописей к «Дневнику писателя» за 1877 г. до нас дошло значительно меньше, чем за 1876 г. Еще меньше сохранилось подготовительных материалов к «Дневнику». Поэтому мы можем только приблизительно, весьма фрагментарно реконструировать процесс работы Достоевского-публициста в 1877 г. Работа, как всегда, начиналась с записей отдельных тем, мыслей, различных их формулировок. Записи эти, за исключением первоначальных (к январскому выпуску), сделанных в тетради 1876—1877 гг. (3Т), велись на отдельных листках, иногда рядом со связным текстом предыдущего выпуска.

Не сохранилось набросков к февральскому, мартовскому, майско-июньскому, октябрьскому и ноябрьскому выпускам «Дневника». Больше набросков к выпускам за июль—август, сентябрь, декабрь, а также к рассказу «Сон смешного человека» (ПМ). Подготовительные наброски делались Достоевским в характерной для него манере: заготовки текста, близкого к окончательному, перемежаются отдельными фразами или обрывками фраз (порою это записи одного-двух слов). Записи следуют друг за другом вне всякой внешней последовательности, иногда они наброшаны на листе в различных направлениях; многие слова и фразы недописаны, пунктуация часто отсутствует. Такие наброски с трудом поддаются прочтению. При публикации в настоящем издании (большинство публикуется впервые) порядок расположения их в отдельных случаях следует считать предварительным.

¹ И. Л. Волгин. Редакционный архив «Дневника писателя». — РЛ, 1974, № 1, стр. 158.

К январскому выпуску «Дневника» сохранились лишь несколько первоначальных набросков (*ЗТ* и *ПМ*) пли, скорее, своего рода развернутый план, почти все пункты которого были в дальнейшем реализованы. Нет набросков лишь к второй части § 4 второй главы («„Последние песни“ Старые воспоминания»), создававшейся в конце января под впечатлением от январской книжки «Отечественных записок» со стихами Некрасова и от личной встречи с умирающим поэтом. Что касается заключающего выпуск § 5 «Именник», то в основу этой статьи легло письмо М. А. Юрковича, к содержанию которого Достоевский несколько раз обращался в записной тетради в декабре 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 295, 310).

Из намеченных в *ЗТ* тем для январского выпуска остался неосуществленным замысел статьи об общине и ее охранительной силе: «В. Община держит человека у земли. У нас страсть к бродяжничеству и к приключениям. Отделите каждого к своему клочку, и он всё заложит и прораст *etc.* Дайте власть — не спрятайтесь. Лучше держать в узде, в общине. В самоуправлении же могли бы быть сделаны изменения» (стр. 227).

Были задуманы Достоевским для январского номера рассказ «Солдат и Марфа» (согласно первоначальному декабрьскому плану § 3 первой главы) и статья о «нашей критике» (предполагавшийся § 4 первой главы: «Критика?». 4. Идеалисты и реалисты. Цветок с пониманием природы лучше обличия взяточничества — стр. 226). О замысле этой статьи Достоевский вспомнил в третьей главе мартовского выпуска, но вновь не нашел ей места: «... пуще всего хотелось бы ввернуть хоть два слова об идеализме и реализме в искусстве *etc.* но, видно, придется отложить всё это до более удобного времени» (стр. 88). В январском выпуске Достоевский ограничился (вместо статьи о критике, идеализме и реализме, Стасове, Репине и Рафаэле) кратким суждением о русской сатире и полемическим возражением Скабичевскому (стр. 26—27).

Отказался Достоевский и от намеченного в *ЗТ* литературного и исторического «фона» к рассказу о Фоме Данилове — мученике, русском «герое-крестопосце». «В. О том, как великая идея передается таким духам, которые, по-видимому, и подозревать невозможно, что они заняты высшими идеями жизни: Фома-мученик, Влас, Жан Вальжан» (стр. 227). Не реализована в январском выпуске «антиаристократическая» репарата: «Высшее общество расшаталось и оглушило. И какие у него радости: comtesse такая-то (а за спицой дураками зовут друг друга). Напакостил такому-то» (стр. 229). Как обычно, Достоевский фиксирует в *ЗТ*, сопровождая краткими комментариями, номера газет и статьи, привлекшие его внимание, — это материал, позволяющий воссоздать раннюю стадию работы над январским выпуском и установить избранные писателем объекты полемики (см. стр. 226—227).

К двойному выпуску «Дневника» за июль—август сохранились наброски ко всем (трем) главам. Тщательно работал Достоевский над § 4 первой главы «Фантастическая речь председателя суда» — «педагогическим» обращением писателя к современным «отцам» с призывом к «любви» и исполнению «гражданского долга» («назидание верховное»). Этой речи Достоевский придавал большое значение («Я говорю от лица общества, государства, отечества»). Она принципиально важна для понимания этико-гражданской позиции автора «Дневника», в центре которой мечта о другом и «совершеннейшем» человеческом обществе: «Да совершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей!». В набросках к речи еще разнее, чем в самом «Дневнике», очерчена ее «фантастичность»: «Невозможен и суд человеческий, невозможны и кодексы закона. Такие вопросы не могут быть разрешены теперь, трудно сосчитать, и собрать» (стр. 237); «Ответов тысячи, но тем хуже, что их тысячи, а не один» (стр. 239). Не вошло в речь и специальное обращение «председателя суда» к дворянам: «Г-да русские дворяне, вы, как все (не тем, так другим). То-то и ужасно для Рос-

ции <...> У вас леность привела к строгим истязаниям, у других — ни к каким, к совершенному запущению воспитания детей» (стр. 238).

Самая обширная группа первоначальных записей — о Л. Толстом и о восьмой части «Анны Карениной» (§ 1 первой главы; вторая и третья главы июльско-августовского выпуска). Это — развернутый план статьи ««Анна Каренина» как факт особого значения» (§ 3 второй главы) и наброски полемических возражений «обоссившемуся» автору.

Наброски позволяют точно назвать, кого имел в виду Достоевский, говоря об «одном из любимейших мною наших писателей». Это Гончаров, с которым Достоевский беседовал об «Анне Карениной» весной 1877 г.: «Встреча с Гончаровым», «Гончаров. Шекспир — разговор. Не Шекспир. Плеяды». В этом разговоре Гончаров высказал «поразившее» Достоевского мнение о романе: «Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?» (стр. 199).

Достоевский был уязвлен суждениями героев «неслыханного» романа о войне за освобождение балканских славян в восьмой части «Анны Карениной». В подготовительных материалах к выпуску один ведущий мотив, многократно повторяемый: «Если уж такие люди», «Если такие люди, как автор „Анны Карениной“», «И этот писатель брякнул там прямо народу в глаза, да еще за лучшее его дело, которое вспоминается в истории и в русской, и в всеславянской истории!» (стр. 240, 241, 253). Отсюда вопрос: «Почему же отъединение?», в ответ на который Достоевский сначала хотел отослать читателя к § 2 четвертой главы майского-июньского выпуска («Золотые фраки. Прямолинейные»), где он мельком коснулся своеобразного разряда «людей с потребностью *особливого мнения*» — самолюбцев «от необыкновенного величия». «Русский „великий человек“», — писал там Достоевский, — «всего чаще не выносит своего величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак <...> то он бы откровенно надел его и не постыдился <...> „Я всех умнее, я велик. Все они об войне *так* думают, так я не хочу так, как они, думать. Доказу, что велик“...» (стр. 169).

В дальнейшем в связи с анализом позиции Левина и его создателя Достоевский вынужден был отказаться от первоначального своего плана: «Если такие убеждения, ибо я свято верю, что это убеждение, а не обоснование для оригинальности из величия, из золотого фрака. Боюсь только золотого фрака. Беру назад»; «Повторяю, „Лев Толстой не то, я не разумел про него золотого фрака <...> Но он в обосблении“»; «Так как я пишу искренно, то признаюсь уж во всем: я, было, всё приписал золотому фраку, вот тому самому золотому фраку, о котором я написал в прошлом № Дневника». Но написал я тогда еще далеко до прочтения книжки и еще даже до появления ее, а об авторе еще и слухов тогда почти не имел <...> Но кончить сначала о золотом фраке...», «От каких причин не знаю, но о золотом фраке говорить больше не буду и от догадки моей отрекаюсь»; «Я объяснял его золотыми фраками. Я уже всё буду говорить наивно, прямо, что такое золотой фрак. Вместо разъяснений возьмем пример» (стр. 240, 241, 250, 249).

Рассуждение о «золотом фраке» связано в ПМ главным образом с последней порой жизни Гоголя («пример»), а также с мыслями по поводу 8-й части «Анны Карениной». В ПМ содержатся два развернутых плана своеобразного «отступления» о «золотом фраке» Гоголя. Более ранний из них: «А действительно наши великие не выносят величия, золотой фрак. Гоголь вот ходил в золотом фраке. Долго примеривал <...> С „Мертвых душ“ он вынул давно сшитый фрак и надел его. Белинский. Что ж, думаете, что он Россию потряс, что ли? С ума сошел. Завещание. Прокопович, Нежинская гимназия. Потом изумился, написал письмо Белинскому. Много искреннего в переписке. Много высшего было в этой натуре, и плох тот реалист, который подметит лишь уклонения <...>»

Но я увлекся» (стр. 240—241). Позднейший вариант того же рассуждения среди записей к § 4 второй главы: «Про этот золотой фрак мне пришла *«...»* мысль, вероятно, еще лет тридцать тому назад, во время путешествия в Иерусалим, „Исповеди“, „Переписки с друзьями“, „Завещания“ и последней повести Гоголя. Мне всю жизнь потом представлялся этот не вынесший своего величия человек, что случается и со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особенно с треском. Шли слухи — и вот попло. Вероятнее всего, что Гоголь спил себе золотой фрак еще чуть ли не до „Ревизора“» (стр. 250).

Приведенным рассуждением должна была начинаться статья «Помешник, добывающий веру в бога от мужика» с переходом от «Выбранных мест из переписки с друзьями» к 8-й части «Анны Карениной». «Почему же отъединение? Каюсь — золотой фрак — Гоголь. Но я отрицаю. Книжка наивна и, так сказать, первоначальная». В конечном счете, Достоевский отказался от планов включить в июльско-августовский номер пассаж о «золотом фраке» и Гоголе, приidia, видимо, к выводу, что такое «отступление» будет здесь лишним и неуместным.

ПМ позволяют заключать, что Достоевский смягчил в окончательном тексте резкость своих возражений Толстому. Некоторые слишком раздраженные реплики он отверг как недопустимые в полемике: «Доказал, что ему нечего учить никого. Даже в школе не годился бы». Другие автор «Дневника» сильно видоизменил. Так, в ПМ о «щекотливых вещах» в романе Толстого сказано: «Даже самые щекотливые вещи улеглись там так, что сердитесь и приписывать чему-нибудь трудно. Тем не менее щекотливые вещи там есть и хорошо, если б их там не было» (стр. 250). В «Дневнике» редакция той же мысли дипломатичнее: «Даже самые щекотливые вещи (а там есть щекотливые вещи) улеглись в ней совсем как бы невзначай, так что несмотря на всю их щекотливость вы их принимаете лишь за прямое слово и не допускаете ни малейшей кривизны» (стр. 203).

Немногочисленные сохранившиеся наброски к сентябрьскому выпуску «Дневника» дают лишь некоторое представление о процессе работы над §§ 1—3 первой главы (о «легионах» и «католическом заговоре») и §§ 2—3 второй главы. Судя по этим наброскам, Достоевский тщательно редактировал пассажи о «сущности Восточного вопроса», удалив в окончательном тексте резкие полемические выпады против «испорченных людей интеллигентного класса» и воспоминания о расправе над петрашевцами.

В ПМ полемика с «русскими европейцами» звучит резче, конкретнее: «Оставить славянскую идею и восточную церковь все равно, что сломать всю старую Россию и поставить на ее место новую и уже совсем не Россию. Это будет равносильно революции. Отвергать назначение могут только прогрессивные вышивки русского общества. Но они обречены на застой и на смерть, несмотря на всю, по-видимому, энергию и тоску сердца их. (Я не про маклаков биржевых говорю, какая у них тоска сердца.) Я говорю про испорченных людей интеллигентного класса, испорченных перемещением идеала, — не тот идеал признают, а ошибочный. Социально-демократический, европейский. Я социалист, но переменил идеал с эшафота. Великая идея Христа, выше нет. Встретимся с Европой на Христе».

Не была развита в сентябрьском выпуске и мысль о необходимости радикальных перемен: «В России столько надо сделать, что самый пламенный к ее счастию человек отвернется, убитый огромностью задачи и видимой невозможностью выполнения. Но невозможность лишь видимая. А для этого нужно изменять не верхушки, а основания».

К декабрьскому выпуску «Дневника» сохранилось несколько разрозненных заметок к первой главе (ответ на критику «Наблюдателя» в «Северном вестнике») и большая группа записей к главе второй (о Некрасове), дающая представление о начальной стадии работы над нею. Записи эти представляют значительный интерес: они сделаны под первым впечатлением от статей о Некрасове и от его некрологов А. М. Скабичевского,

А. С. Суворйна и других журналистов. Резче всего характеризует Достоевский в *ПМ* позицию Скабичевского: «Подлое ученье Скабичевского. Я не могу этого выносить». Достоевский отвергает за кем-либо право защищать или судить Некрасова за «пороки» и «ошибки». «С какой стати мы-то имеем право судить? Как гражданин, конечно, вот, дескать, был человек, у которого дела не вязались со словом»; «Да мы-то все, может быть, еще хуже его»; «Нуждается ли он в оправданиях либеральной прессы (Скабичевский), фельетонисты»; «Сами, страсти наши, не так много смею, как Некрасов», «Оправдываете? Ни за что. Я только ставлю обвиняемого и противников друг перед другом и оставляю обвинителей с собственной совестью».

В полемике со Скабичевским Достоевский, судя по первоначальным наброскам, склонялся иногда к весьма несправедливым оценкам Некрасова: «В воспоминаниях Сергея Аксакова звучит несравненно больше правды народной, чем в Некрасове, хотя Аксаков говорит почти только о природе русской». В «Дневнике» Достоевский отказался от этой пристрастной оценки. Не получили воплощения в «Дневнике» и суждения Достоевского об «ошибках» Некрасова-поэта, которые перечислены в *ПМ* (где имеются в виду, например, такие стихотворения, как «Так, служба! сам ты в той войне...» и «Тройка»): «Скабичевский. Художественностью не докажете. „Коробейники“ всё это бесконечно ниже»; «В Некрасове ошибки. Убийство французов — позор»; «На жатве (...) перевязывать грудь, точно народ виноват в своих привычках и обычаях, приобретенных в рабстве, народ не мог быть виноват за свое рабство. Таких ошибок Пушкин не сделал бы». В «Дневнике» Достоевский ограничился указанием на «чужие» влияния и более осторожным определением: «О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться».

Готовя ответ «обвинителям» Некрасова — гражданина и «частного человека», Достоевский полемизировал с теми, кто пытался использовать сплетни об «огаревском деле» для моральной дискредитации поэта: «Я не говорю, что Некрасовставил кабаки, хотя меня и уверяли в этом клятвенно чуть не очевидцы»; «Огарев, кабаки, но, однако, проверить бы»; «Надо бы проверить. Правда, даже близайшие к нему уже в печати говорят про то утвердительно, стало быть, нашли нужным поспешить, чтоб предупредить других, хотя никто еще и не нападал из противной стороны. Правда, они подтверждают темные стороны с тем, чтоб их оправдать. Но как они их оправдывают?». Была и еще одна причина, побуждавшая Достоевского специально обратиться к вопросу о «темных сторонах» личности Некрасова, — педагогическая: «Если молодежь оправдала его, это хорошо, но тут масса, к тому же в целой-то массе и не знали, а каждый кабаки не простит. Вот для тех-то я и пишу. Простят и кабаки».

Постепенно Достоевский, по-видимому, пришел к заключению о неуместности полемики о мелких подробностях личной жизни Некрасова в статье, посвященной его памяти, даже если бы разговор о «добродетелях» и «пороках» поэта был переведен в педагогическую плоскость. Достоевский осудил в «Дневнике» разглашения о «практицизме» Некрасова — человека и журналиста: «Сам я знал „практическую жизнь“ покойника мало, а потому приступить к анекдотической части этого дела не могу, но если бы мог, то не хочу, потому что прямо окунусь в то, что сам признаю сплетнею. Ибо я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного, по крайней мере половина, а может быть, и все три четверти — чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни».

В «Дневнике» Достоевский пишет о «демоне» поэта. В *ПМ* Достоевский лишь постепенно только приближается к своему позднейшему объяснению противоречивой, двойственной натуры поэта: «Страсть, страсть овладела им, и, надо признаться, в самой подлой форме»; «Был подлецом, сам свидетельствует, если же оправдывать и предположить, что сам он оправдывал, то во что же обратятся его вопли»; «У Некрасова в са-

мом подлом виде, забор, чтоб ни говорили, золотом все рты залеплю, а потому добывай только золото». Все эти предварительные попытки выяснить «лицо» Некрасова в дальнейшем подвергнутся коренной переработке.

Достоевский собирался подробнее остановиться в «Дневнике» на знании факта похорон Некрасова и отношении молодежи к поэту: «Те тысячи, которые шли за гробом его, оправдали его. Что же это? Заблуждение только? Не верю!; «Решение правое, решение высшее, решение русское»; «Что они проводили симпатичнейшего из наших поэтов в могилу — это хорошо и благородно, но если поверят, что они не участь учены и что они-то и есть русские критики, то уж это будет дурно. А ну как они вам не поверят. Тогда ведь над вами же будут смеяться, а может, еще хуже того». В «Дневнике» Достоевский ограничился объяснением «иронического крика о байронистах»: «...тут просто был горячий порыв заявить как можно сильнее всё накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга к великому и столь сильно волновавшему нас поэту...».

В *ПМ* среди записей к § 2 главы второй («Пушкин, Лермонтов и Некрасов») часть представляет проект статьи (или речи) о Пушкине. Полемический аспект в трактовке народности творчества Пушкина, присущий в «Дневнике», в *ПМ* выражен более резко: «Пушкин едва ли не первый высказал, что народ выше общества, тогда как западники, к которым принадлежал Некрасов (по недостатку образования), всесильно презирали народ, хотя и любили иногда, но себя и в лице своем просвещение ставили безмерно выше народа...»; «Савельич, раб. Да разве это раб? (...) Раб ли он был. Вот это-то Пушкин и понял, что не раб, и никогда не был (...) рабом, даже тогда, когда страдал в рабстве — и чего не поняли наши западники, хотя и любили народ, кричали об униженном состоянии народа». Приведенные полемические рефлики войдут в *ДП* и даже будут усилены. Но здесь Достоевский иначе сгруппирует мотивы и введет ряд оговорок-уточнений, смягчающих полемику. Неосуществленным остался замысел дать портрет Пушкина-гражданина: «„Увижу ли народ освобожденный и рабство, падшее по манию царя“, разговор с Николаем, письма Пушкина. Мужественный человек». Но получил подробнейшее развитие в «Дневнике» сформулированный в *ПМ* тезис: «Теперь вопрос о Пушкине вместо художественного перешел в вопрос о народности».

В целом подготовительным материалам ко второй главе декабрьского номера свойственна исключительная насыщенность мотивами, порой, в нерасчлененном виде, сконцентрированными всего в одном предложении. Таковы, например, наброски: «Но этот примиривший его факт важен, важнее несравненно, чем можно думать, ибо он будет исторически свидетельствовать впредь, что не отделяться от народа хотела интеллигенция наша, чуть только стала интеллигенцией, не поработить народ, как Речь Посполитая, не отрицаться от него, как умирающий труп французской аристократии, а стать самому народом, уйти в него, очиститься им, признать, что нет выше правды его, — на деле, значит, признание полное, по убеждениям (шатким) он западник, стало быть, интеллигенцию и Европу считал выше правды русской, грешил стихами...». Приведенная запись — главная тема статей о Некрасове в обрамлении мотивов, в дальнейшем сильно видоизмененных или отброшенных. Композиция второй главы в основных чертах сложилась уже в *ПМ*, но характерно, что содержание заключительных §§ 3 и 4 («Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове, как о человеке»; «Свидетель в пользу Некрасова») здесь отражено слабее. Видимо, на следующем этапе работы Достоевский сосредоточил усилия именно на этих статьях, требующих предельной четкости изложения и безуокоризненного такта. Однако более поздними набросками к декабрьскому выпуску мы не располагаем.

Заготовив необходимое количество подготовительных набросков, Достоевский переходил к написанию связного текста очередного выпуска

«Дневника». В большинстве случаев этот связный текст — автограф — оставался единственным. Он был одновременно черновиком и наборной рукописью, что подтверждается наличием помет наборщиков и следами типографской краски на страницах автографа. Только майско-июньский выпуск помимо чернового автографа, содержащего очень большую правку, имел еще и наборную рукопись, перебеленную А. Г. Достоевской.

Иногда А. Г. Достоевская стенографировала текст, который писатель ей диктовал, а затем расшифровывала и переписывала его. Такая беловая рукопись, вновь подвергавшаяся правке Достоевского, являлась, как правило, наборной. В архиве А. Г. Достоевской сохранились листы стеноGRAMмы § 3 главы первой марта выпускa «Дневника» 1877 г. СтеноGRAMма расшифрована Ц. М. Пощеманской.¹ Разночтения ее и окончательного текста (см. варианты, стр. 283) указывают на стадию работы, предшествовавшую созданию наборной рукописи.

Существенные отличия наборной рукописи от окончательного (печатного) текста показывают, что авторская работа продолжалась в корректуре. На это указывают и некоторые письма Достоевского метраполиту Александрову, посыпавшиеся в типографию во время печатания «Дневника». Например, в письме к нему от 27 января 1877 г. говорится, что Достоевский «выкинул 50 строк», но вместе с тем «много и вставил в корректуре». К сожалению, до нас не дошли корректурные листы «Дневника» за 1877 г., и точно определить, какими причинами вызывались изменения текста на последней стадии работы (была ли это авторская правка или цензурные исключения), мы часто не можем.

Как уже говорилось выше, начиная с апреляского выпуска рукописные редакции сохранились полнее, чем за январь—март. Мы располагаем подготовительными набросками к «Сну смешного человека» (апрель, глава вторая), к выпускам за июль—август, сентябрь, ноябрь и декабрь, черновым автографом выпуска за май—июнь (главы первая и вторая), наборными рукописями за апрель целиком (автограф), за май—июнь (главы первая и вторая — рукой А. Г. Достоевской с правкой Достоевского, главы третья и четвертая в отрывках — автограф), за июль—август (глава вторая целиком и глава третья в отрывках — автограф). Все сохранившиеся автографы текста за апрель—август (как черновые, так и наборные) писались на листах небольшого формата, которые были позднее переплетены А. Г. Достоевской в одну тетрадь, хранящуюся в ГБЛ. Подготовительные наброски, сделанные на тех же листах, оказались в этой тетради. Рукописи же, перебеленные А. Г. Достоевской, в тетрадь вшиты не были.

Не вошли в тетрадь и те куски автографа, которые самим Достоевским были исключены из окончательного текста и не отдавались в набор. Это относится прежде всего к окончанию статьи «Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года», открывавшей майско-июньский выпуск «Дневника». Печатный текст статьи значительно отличается от рукописного. Первоначальный автограф содержал не 8 рукописных страниц, которые соответствуют окончательному тексту, а шестнадцать. Однако в набор была отдана только часть написанного: лл. 1—6 автографа (текст записан только на одной стороне) и лл. 7—8, переписанные А. Г. Достоевской. Позднее, сшивая автографы «Дневника писателя» в одну тетрадь, А. Г. Достоевская к автографу, являющемуся наборной рукописью статьи «Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера» (лл. 1—6), присоединила и автограф окончания главки (лл. 7—8), причем на стр. 8 оказалась часть текста, не вошедшего в печатное издание. Остальные же листы с автографом статьи (лл. 9—14, согласно авторской пагинации, и два листа вставки, неnumерованные Достоевским) в тетрадь вшиты не были.

Не вошедшее в окончательный текст «Дневника» продолжение статьи «Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера» было опубликовано

¹ О работе Ц. М. Пощеманской см.: Литературный архив, т. 6. М.—Л., 1961, стр. 110—111; ЛН, т. 86, стр. 158—160, 166.

И. Л. Волгиным (*ЛН*, т. 86, стр. 67—72, ср. стр. 261—266 паст. тома). Им высказано и предположение, что текст: «А кстати уж еще раз и отступал от дела, и пусть эта глава будет лишняя...» до: «Нет уж лучше чистый атеизм, чем спиритизм!» — составлял первоначально самостоятельную главку, которая была исключена самим Достоевским (там же, стр. 72). Действительно, листы с указанным текстом не были в типографии; поэтому в данном случае нет оснований говорить о цензурном вмешательстве, ибо цензурные исключения делались в наборной рукописи. Значительные расхождения с печатным текстом имеет рукопись § 1 второй главы июльско-августовского выпуска — «Опять обосабление. Восьмая часть „Анны Карениной“». Начало ее (4 стр.) в окончательный текст не попало. Эти два листа (1-й лист — рукою А. Г. Достоевской с пометами писателя, 2-й лист — автограф Достоевского) не вошли в переплетенную тетрадь и хранятся отдельно в ИРЛИ. Однако они побывали в типографии, так как имеют следы типографской краски и пометы наборщика. Текст, с которого начинается главка в окончательном (печатном) варианте, в рукописи никак не отделен от предыдущего. Исключение начала произошло, видимо, уже в корректуре, что позволяет в данном случае предположить вмешательство цензора. Для выпусков за сентябрь—декабрь мы имеем большое число рукописей: подготовительные наброски к сентябрьскому, ноябрьскому и декабрьскому выпускам, наборные рукописи сентябрьского и октябрьского выпусков, которые сохранились полностью, большая часть наборных рукописей ноябряского и декабряского выпусков. Все наборные рукописи (которые были одновременно и черновыми автографами) переплетены позднее А. Г. Достоевской и составили вторую тетрадь, хранящуюся в ГБЛ. В нее же вошли и некоторые из подготовительных набросков декабряского выпуска, записанные на тех же листах, где находились черновые автографы.

Большая часть правок в рукописях носит стилистический характер. Можно условно говорить о нескольких типах такой правки. Часть ее шла по линии сокращения. Выбрасывались отдельные фразы, вводные предложения, а иногда и более обширные части первоначального текста (см., например, варианты к стр. 32, строке 25). В § 4 первой главы сентябрьского выпуска речь идет о внешней политике Австрии. Большой кусок текста, выброшенный в наборной рукописи, посвящен прогнозированию перемен во французском правительстве и последствий этих перемен в политической жизни Европы. Однако мысли эти уже высказаны Достоевским в предыдущих разделах главы и, возможно, показались ему ненужным повторением.

В ряде мест сокращение текста вело к частичному изменению тональности статьи. Первоначальный вариант отличается в таких случаях большей эмоциональностью. Некоторые резкие или иронические оценки смягчаются, экспрессивность или сентиментальность уступают место большей сдержанности.

Иногда Достоевский выбрасывал при окончательной обработке текста рассуждения, имеющие самостоятельное значение и не связанные с основным сюжетом. Так, из § 1 второй главы сентябрьского выпуска («Ложь ложью спасается»), посвященного анализу образа Дон-Кихота (о соотношении этого эпизода с текстом романа Сервантеса см.: В. Е. Багно. Достоевский о Дон-Кихоте Сервантеса. — *Материалы и исследования*, т. III, с. 126—135), Достоевский исключил отрывок о соотношении строгих фактов и гипотезы в науке, — вероятно, потому, что отрывок этот отвлекал читателя от основной в этой главе политической проблематики.

Большой отрывок был выброшен и из § 3 второй главы ноябряского выпуска. Здесь речь идет о будущих отношениях между Россией и балканскими славянами после освобождения их от власти турок. Ближайшая перспектива развития этих отношений представлялась Достоевскому в довольно мрачном свете. В наборной рукописи этот параграф заканчивался развернутым сравнением решения славянского вопроса с семейными отношениями. Достоевский рисует в связи с этим два типа отноше-

ний между детьми и родителями: чисто авторитарные и основанные на взаимном уважении, признании родителями интересов детей, без требования от них постоянных изъявлений почтительности и благодарности. В первом случае внутренние связи между людьми распадаются окончательно, во втором — повзрослевшие дети «уже во второй раз и уже навеки» соединяются духовно со своими родителями, и вновь создается семья, основанная на подлинной любви и человеческой привязанности. Уподобляя Россию в отношении славянских народов мудрой матери, которая добивается нравственного воссоединения с «детьми», Достоевский всему разговору о балканских славянах придает иную тональность: «Зачем нам их почтительность, зачем нам их благодарность? Зачем добиваться политического влияния и опекунства над ними. Не мучайте их, ободрите их, и они сами прильнут к России и поймут то, что движет ее сердцем». Можно предположить, что исключение из окончательного текста этого рассуждения (оно было сделано в корректуре) вызвано соображениями политического такта.

В целом правка «Дневника», продиктованная общественно-этическими соображениями, не менее существенна, чем правка чисто стилистическая.

В главах ноябрьского выпуска, посвященных славянскому вопросу, отразилось возросшее в ходе работы критическое отношение писателя к ряду тогдашних политических деятелей, в отдельных случаях текст приобрел полуиронический, пренебрежительный оттенок. Вместе с тем Достоевский с большим пафосом, чем в первоначальном тексте, говорит о роли России для всего славянского мира. Впрочем, такого рода усиление акцентов по сравнению с автографом — сравнительно редкое явление. Как правило, первоначальный черновой вариант содержал более резкие формулировки, которые затем смягчались.

Вообще Достоевский постоянно умерял слишком резкую и определенную направленность своих политических рассуждений. Так, во второй главе майско-июньского выпуска в параграфе «Прежние земледельцы — будущие дипломаты», рисуя образ старого либерала-западника, Достоевский сближал его первоначально с Грановским и давал такую характеристику: «Но этому седокудрому господину можно бы было заметить, что сам он очень похож на тень, например, хоть Грановского, ибо Грановский, если б не умер двадцать два года назад, а дожив до седых кудрей, теперь, двадцать два года спустя, повторял бы то же самое, на чем остановился в 54-м году, то, уж конечно, даже несмотря на свои седые кудри и на то, что он был столь уважаемым лицом, в свое время, бы бы непременно точь-в-точь таким же самым шутом, как и он, этот господин, извещавший о привозе в особом вагоне тени Хомякова» (вариант к стр. 137, строкам 12—20). В окончательном тексте исчезло сопоставление старого либерала с Грановским, а пренебрежительная характеристика Грановского заменилась намеком: «...даже будь он хоть сам Грановский». Вычеркнул Достоевский и другое сопоставление «седокудрого» либерала с Грановским (см. вариант к стр. 139, строке 22). В той же главке далее упомянут Тургенев — в связи со слухами о том, что он собирался писать по-французски. Называя его «огромным писателем и знатоком русского языка», Достоевский в первоначальном варианте именовал Тургенева «господин Тургенев», что придавал рассказу о нем иронический характер (см. варианты к стр. 140, строкам 32 и 35). В окончательном тексте Достоевский дважды убрал слово «господин».

Убрал Достоевский при обработке сентябрьского выпуска (глава вторая, § 3) содержавшиеся в автографе более определенные и конкретные, чем в окончательном тексте, намеки на отдельные произведения обличительной литературы и ее авторов: в окончательном тексте «талантливые семинаристы» заменились на «новых молодых писателей». Снял писатель и слова: «Эти талантливые и истинно желавшие добра молодые писатели положительно весьма мало знали и русский народ и русское общество».

Стремлением смягчить тональность статей, посвященных русско-турецкой войне, было продиктовано исключение из окончательного текста

первой главы (§ 5) октябрьского выпуска тех мест, где высказывались особенно оптимистические прогнозы относительно ближайшего будущего. После упоминания о Тотлебене в первоначальном тексте содержались предположения автора, могущие показаться читателю неубедительными: «Наконец и Осман, сослуживший столь большую службу султану, может отслужить ее весьма неудачно, попавшись весь и обратив свою Плевну в собственную западню. И на это все мы можем даже очень надеяться».

Существенной правке подверг Достоевский главу о Некрасове (декабрьский выпуск). Наборные рукописи второй главы дошли до нас в неполном виде (часть § 2; §§ 3—4). Но и по ним можно четко представить, в каком направлении велась правка.

Достоевский стремился смягчить излишнюю эмоциональность. Вместо характеристики Некрасова как «великого поэта, преклонившего перед правдой народной», в окончательном тексте появилось: «великого поэта, тоже признавшего правду народную». Вместо «страстного печальника горя народного» в окончательном тексте читаем: «истинного печальника горя народного»; «величие русского гения» (о Пушкине) заменено другим определением: «глубину русского гения». Вычеркнуты отдельные слова и целые фразы, придававшие изложению сентиментальный оттенок. Вместе с тем Достоевский слаживает те места, где содержатся размышления о противоречиях Некрасова. Возможно, Достоевский, упрекавший других журналистов за неуважение к умершему поэту, считал, что и написанное им может на этом фоне быть воспринято как бесактность.

Существенной правке подверглось окончание некрасовского цикла, которое в наборной рукописи было пространнее. Здесь снята фраза о том, что Некрасова «полюбит народ, когда в состоянии будет узнать его», и другая последняя: «Слишком высоко стал пред нами этот человек, а потому все и ощущают в себе как бы право судить его». В окончательном тексте статья завершается не выводом, а выразительным многосложием.

Анализ работы Достоевского над второй главой декабрьского выпуска, почти все этапы которой мы можем проследить от первоначальных набросков до наборной рукописи, свидетельствует о том, что она шла необыкновенно интенсивно и потребовала от писателя больших творческих усилий. Он продолжал вносить существенные поправки в нее даже в корректуре. Впечатление, что «Дневник» 1877 г. создавался «легче», чем в год начала издания, во многом обманчиво и убедительно опровергается немногими сохранившимися подготовительными материалами, черновыми и беловыми автографами и письмами Достоевского, рисующими картину лихорадочного, спешного и изнурительного труда. Об этом же говорят и опоздания «Дневника», ставшие в 1877 г. правилом.

3

«Дневник писателя» в 1877, как и в предыдущем году, выходил «не иначе как с дозволения предварительной цензуры» (Отношение Главного Управления по делам печати в Цензурный комитет 31 декабря 1875 г.). Цензором его был Н. А. Ратынский.

Январский выпуск подвергся серьезному цензурному вмешательству. Ратынский настаивал на изъятии статьи «Старина о петрашевцах». Создалась острые конфликтная ситуация, о которой можно судить по двум письмам цензора к Достоевскому от 29 января 1877 г. В первом (утреннем) Ратынский так объяснял свою позицию: «...к сожалению, я не могу принять на одну личную свою ответственность пропуск главы о петрашевцах; но, не запрещая ее лично, внесу сего дня в час на рассмотрение Комитета, который собирается в экстренном заседании для рассмотрения другого по содержанию своему совершенно однородного сочинения с Вашею статьею о петрашевцах. Я советовал бы Вам выпустить эту главу, так как в настоящее время признаются неудобными не только

под цензурою, но и в бесцензурных изданиях всякие воспоминания и рассуждения о бывших заговорах и тайных обществах. Если желаете, то можете сами объясниться сегодня в Комитете около двух часов дня. Впрочем, ввиду некоторых обстоятельств, едва ли такое объяснение поведет к успеху» (*Волгин, Достоевский и царская цензура*, стр. 115).

Судя по вечернему письму Ратынского, Достоевский был в Комитете в назначенное время и имел с цензором объяснения, приведшие на время к полному разрыву между ними. Цензор писал: «Ни в привычках, ни в правилах, ни в мыслях моих никогда не было и нет возвышать голос перед кем бы то ни было, а тем менее перед Вами, талант искренность которого я уважал всегда, помимо официальных наших отношений и еще задолго до их начатия. Убежден, что и при сегодняшнем случае Вам только показалось, что я возвышил голос, показалось вследствие Вашей впечатительности и нервности (извините за нерусское выражение!) *«...»* было бы в обоюдных наших интересах назначение для Вашего „Дневника“ другого цензора, который не так близко к сердцу принимал бы подобные столкновения. Уверен, что при более спокойном взгляде на дело Вы признаете, что в цензурных моих отношениях к Вам я никогда не действовал произвольно, а имел всегда основание, может быть, ошибочное с Вашей точки зрения, но всегда добросовестное. Корректурные листы при сем возвращаю на этот раз совершенно чистым» (там же).

На упомянутом заседании 29 января 1877 г. С.-Петербургского цензурного комитета был заслушан доклад Ратынского и принято решение не дозволить к печатанию статью «Старина о петрашевцах». Содержание доклада изложено в «Настольном журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета»: «В статье этой автор „Дневника“, Достоевский, по поводу газетных статей о том, что тип русского революционера все более и более мельчает, старается доказать, что члены преступного общества, так называемые „петрашевцы“, к которым принадлежал и автор, были нисколько не ниже декабристов по происхождению. Сравнивая затем членов обоих обществ со стороны их интеллигентности, автор утверждает, что петрашевцы представляли собою тип высший перед декабристами и заявили себя после помилования как полезные интеллигентные деятели в науке и литературе. Цензор находит, что такая далеко не объективная оценка разных типов государственных преступников никак не может быть дозволена к печати. *Определено:* согласно с мнением цензора статью к напечатанию не дозволять» (*ДГИА*, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 69).

Гранки запрещенной статьи сохранились в том же деле Цензурного комитета. Статья «Старина о петрашевцах» с этих гранок была опубликована С. А. Переселенковым (*Сб. Достоевский*, I, стр. 369—372) и введена в состав «Дневника писателя» В. В. Томашевским и К. И. Халабаевым (1926, т. XII). Римская цифра III, которой начинаются гранки, определила положение статьи во второй главе январского выпуска (стр. 23—26).

Конфликт с Ратынским побудил Достоевского обратиться 21 февраля 1877 г. в Главное Управление по делам печати с прошением разрешить ему издавать «Дневник» без предварительной цензуры: «Продолжая уже второй год издание книги моей „Дневник писателя“, которую я пишу один, без сотрудников, ежемесчайными выпусками, по подписке, имею честь покорнейше просить Главное Управление по делам печати разрешить мне издавать оную книгу под тем же заглавием, в те же сроки и в том же объеме, впредь без предварительной цензуры. Экземпляр книги моей, выданной мною за прошлый год, при сем прилагаю» (*ДГИА*, ф. 776, оп. 5, ед. хр. 132, л. 8).

Знакомый и почитатель Достоевского начальник Главного Управления по делам печати В. В. Григорьев отправил 18 марта 1877 г. в Министерство внутренних дел очень лестную характеристику Достоевского и «Дневника писателя»: «Г-н Достоевский, как известно Вашему высокопревосходительству, талант перворазрядный не только в отечественной,

но и в европейской литературе, как по силе художественного творчества, так и по глубине психического анализа. Все, что выходит из-под его пера, проникнуто, сверх того, полнейшою искренностью и добросовестностью. Вследствие этого пользуется он высоким уважением как у публики, так и между всеми литературными партиями <...>. По моему мнению, влияние его на умы самое благотворное, доказательством чему служит и „Дневник“ его за прошлый год, выходивший под цензурой. Я не вижу потому ни малейшей опасности дозволить такому писателю продолжать издание его без цензурной опеки, каковое заключение свое имею честь представить на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства» (там же, лл. 9—10).

Прошение Достоевского вскоре было удовлетворено, о чем Григорьев информировал 31 марта Цензурный комитет: «Г-н управляющий Министерством внутренних дел разрешил отставному подпоручику Федору Достоевскому издаваемую им ежемесячными выпусками книгу под заглавием „Дневник писателя“ печатать впредь без предварительной цензуры. Сообщаю о сем С.-Петербургскому цензурному комитету к надлежащему сведению» (ЦГИА, ф. 777, оп. 3, № 69, л. 5).

Тем временем конфликт Достоевского с Ратынским был уложен, о чем он писал 28 февраля М. А. Александрову: «Надо бы поторопиться, чтобы успеть к цензору (Ратынскому, мы помирились)». В дальнейшем серьезных разногласий у Достоевского с ним не возникало, а возможность издавать «Дневник» без предварительной цензуры писатель не воспользовался даже тогда, когда Ратынский был в отпуске: Достоевский предпочел временную замену Ратынского другим цензором риску и хлопотам, связанным с изданием без предварительной цензуры (см. об этом письмо Достоевского жене от 6 июля 1877 г.).

Переговоры и ходатайства, связанные с назначением вместо Ратынского для выпуска «Дневника» за май, июнь временного цензора (в них активное участие приняли М. А. Александров и В. Ф. Пуцкович), неожиданно затянулись. Д. П. Скуратов отказался быть цензором, о чем Александров сообщал 30 июня 1877 г. Пуцковичу: «...цензор Скуратов не принимается цензировать „Дневника писателя“, не получив на то предписания от Комитета, а Комитет не дает этого предписания, заставляя печатать без предварительной цензуры, чего никак не желает Федор Михайлович из-за проволочки восьмидневного лежания выпуска в Комиссии. Прошлый раз цензор был по его просьбе: я полагаю, что теперь его дадут по вашей просьбе...» (ЛН, т. 86, стр. 456).

Наконец цензором майско-июньского выпуска был назначен 5 июля Н. Е. Лебедев (см.: *Волгин, Достоевский и царская цензура*, стр. 118). Достоевский, обеспокоенный осложнениями с запоздавшим номером «Дневника», узнал об этом только 7 июля.

Назначение Лебедева было временным; по возвращении из отпуска Ратынский снова стал постоянным цензором издания, что совпадало с желанием Достоевского, который в конце лета просил Александрова: «Если <...> будете посыпать к цензору, то уж к Ратынскому. Ежели на случай его еще нет в Петербурге, то к Лебедеву, так как его тогда формально назначили».

Ратынский, помня об острых январских столкновениях, в дальнейшем свои возражения постарался высказывать в осторожной и деликатной форме, обращая их чаще всего против чрезмерной эмоциональности, необычной образности стиля политических статей Достоевского. В дошедшем до нас письме к Достоевскому Ратынского от 4 октября 1877 г., посвященном сентябрьскому выпуску, сообщается, что цензор «вымарал две строчки, где говорится „о наших неудачах и истощении войной“. Далее Ратынский советовал: «Обращайтесь, многоуважаемый Федор Михайлович, осторожно с этой матернею и в следующих статьях Ваших. Кроме того, имея в виду цензурное правило о недопустимости оскорбительных выражений о вероисповеданиях, терпимых в России, я взял смелость адреса желает в приложении к католичеству заменить словом

страстно, слово издыхающие (говорится о животных) словом *умирающие или отживающие*» (*Волгин, Достоевский и царская цензура*, стр. 119). Эти цензурские поправки сохранились в окончательном тексте. Можно предположить, что вмешательство Ратынского не ограничилось тремя названными им случаями, но что он внес в текст и другие исправления аналогичного характера. Так, в § 5 первой главы, говоря об умирающем папе, Достоевский в наборной рукописи назвал его «главой орды окружавших его иезуитов» и далее: «Когда же загорелся Восточный вопрос, орда поняла, что наступило самое удобное время». В первом случае слово «орда» заменено в окончательном тексте на «толпа», во втором вместо «орда» появились «иезуиты». Так как поправки эти сделаны были в корректуре и по своему характеру близки к правке, о которой Ратынский сообщил Достоевскому в приведенном письме, то, возможно, и здесь мы имеем дело с цензурным вмешательством.

Можно предположить цензурное вмешательство и в главе второй июльско-августовского выпуска, посвященной анализу восьмой части *«Анны Карениной»*. В этой главе уже в корректуре были сделаны значительные сокращения. Так, опущен в печатном тексте большой кусок начала § 1 со слов «Весь русский интеллигентный слой...» до слов «...чем больше беды, тем крепче единение» (см. вариант к стр. 193, строке 21). Выброшено в печатном тексте и развернутое противопоставление взглядов интеллигенции и народа на начавшееся столкновение России с Европой: «Движение началось великой, стихийной, национальной силой, но интеллигентная Россия, стоящая во главе движения, понимает ли сама-то, какая сила влечет ее и к чему, к какой цели, к какому концу?» (вариант к стр. 197, строке 23). Возможно, однако, и предположение о том, что Достоевский сам захотел сократить эти рассуждения или согласился с аргументами цензора. Другая группа купюр (кратких) может быть гипотетически связана если не с прямым вмешательством, то с пожеланиями цензора. Ратынский предостерегал Достоевского в письме от 4 октября от неосторожного обращения с материалом, связанным с военными неудачами на Балканах, опираясь во многом на содержание предыдущих выпусков *«Дневника»*. Тот же материал мог смущать его и раньше. Так или иначе, из окончательного текста июльско-августовского выпуска исключены упоминания о поражении царских войск при Плевне. В § 1 главы второй, где говорится о том, что взгляд Левина на Восточный вопрос «пришелся бы по вкусу многим», в рукописи далее следовало: «Впрочем, книжка (*«Анна Каренина»*, — Ред.) явилась как раз за несколько дней до нашей неудачи, плачевной неудачи при Плевне и столь всеобщего огорчения всех или большинства за исход дел всех русских людей, всей Руси, а потому она сделает свое дело и теперь, как раз совпадая с очень многочисленными и вдруг несомненно поднявшимися везде голосами на тему: «Мы говорили, мы предупреждали, мы предсказывали» и т. д.» (вариант к стр. 194, строке 29).

Если прибавить к этому, что и в октябрьском выпуске упоминания о Плевне исключены из окончательного текста (уже в корректуре), то предположения о вмешательстве цензуры представляются достаточно вероятными. Во второй главе июльско-августовского выпуска есть и другие исключения, возможно, санкционированные цензором. В § 2 «Признания славянофила» за пассажем о Белинском в наборной рукописи следовала фраза, исключенная в гранках: «Вот Герцен в конце своей жизни так понял его (славянофильство, — Ред.) несравненно глубже и шире» (вариант к стр. 195, строке 30). Говоря о «противниках и пересмешниках» славянофильства, Достоевский первоначально называл их враждебность «тупой, закаменевшей в себе» (вариант к стр. 196, строке 9). В окончательном же тексте эпитет «тупой» заменен на «плоский». Здесь, впрочем, более вероятно желание смягчить слишком резкие выпады против своих идеальных противников. В § 3 Пушкин был назван «величайшим из русских людей», что вполне соответствовало неизменной и постоянной оценке Пушкина Достоевским. Однако такая характеристика должна

была показаться цензору слишком смелой, и в окончательном тексте Пушкин стал «одним из величайших русских людей» (см. стр. 199, строка 30 и вариант к ней). Можно предположить, что по политическим соображениям выброшены слова «четвертое сословие» там, где говорится о «низшей братии» (вариант к стр. 197, строке 25), и опущено существенное заключение фразы о господствующих лживых моральных и политических представлениях, которым «повелевается следовать слепо (...) не будь этого — будет хуже» (стр. 200—201). За нею в наборной рукописи следовали слова: «и нельзя допускать послаблений там, где единственное спасение есть прибегнуть к силе» (вариант к стр. 201, строке 8). В разгар политических процессов над русскими революционерами такое осуждение силы могло показаться цензуре нежелательным.

Отсутствие документальных материалов не позволяет утверждать с полной определенностью, что указанные купюры сделаны цензором. Для метода работы Достоевского обычна правка и на стадии корректуры. Поэтому нет точных и бесспорных указаний, дающих право вносить исправления в основной текст. Показательно тем не менее обилие этих вариантов вплоть до стадии корректуры, позволяющих говорить не только о цензуре внешней, но и о колебаниях автора и своего рода автоцензуре.

4

В письме от 17 декабря 1877 г. к С. Д. Яновскому Достоевский, оглядываясь на двухлетний опыт издания, заключал, что „Дневник“ (...) сам собою так сложился, что изменять его форму, хоть сколько-нибудь, невозможно».

А за год до этого, в декабрьском выпуске «Дневника», Достоевский, подведя итоги первого года издания, наметил идеологическую программу на будущий год: «...хоть и мало успел сказать, а всё же надеюсь, что читатели мои (...) поймут характер и направление „Дневника“ (...). „Дневник“ не претендует представлять ежемесячно политические статьи; но он всегда будет стараться отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения и в текущих политических событиях» (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 61).

Достоевский переходит постепенно к все более целеустремленной публицистике, подчеркивая идеологические связи между отдельными выпусками, неоднократно возвращаясь к одним и тем же тезисам, что придало изданию ясно выраженный программный характер.

Январский выпуск «Дневника» открывает фраза: «Я начну мой новый год с того самого, на чем остановился в прошлом году» (стр. 5).¹ Достоевский подчеркивает внутреннее единство издания, декларирует характер и цели «Дневника», обещая, что он «никогда не сойдет с своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтет их несправедливыми, не будет поддаваться, льстить и хитрить» (стр. 6).

Не было в «Дневнике писателя» 1877 г. по сравнению с предыдущим «Дневником» и каких-либо коренных жанровых и композиционных перемен: «форма» отдельных выпусков, предусматривающая множество мотивов и тем, возможность неожиданных повествовательных сдвигов и

¹ К идеям и политическим прогнозам, высказанным в «Дневнике» 1876 г., Достоевский неоднократно обращается и в январском номере (стр. 5—6), и в дальнейшем: так, в главе первой (§ 1) марта 1876 г. выпуска он широко цитирует и пересказывает статью «Утопическое понимание истории» (ДП, 1876, гл. II, § 4). В новый «Дневник» целый ряд тем перешел из прежнего, в частности освещение дела Корниловой. Тем самым автор как бы специально указывает читателю на преемственность «Дневника» за 1876 и 1877 гг.

переходов осталась в основных чертах прежней.¹ Это позволило Достоевскому, не ограничивая себя строгими рамками, высказываться по большему количеству злободневных проблем. Католический заговор и модные религиозные секты (штунда), «червонные валеты» и землевладение, военная стратегия и русские дипломаты, женский вопрос и студенческие волнения, политика «железного канцлера» Бисмарка и судьбы Европы, будущность России на Востоке и идеальный союз монарха и народа, современные «отцы» и «дети», наука и искусство, лексико-этимологические этюды (о словах «стушеваться» и «стрюцкий»), всеобщее разложение и будущий «Золотой век», еврейский «вопрос» и судьба Константино-поля — таков далеко не полный перечень тем и сюжетов, обсуждаемых Достоевским в «Дневнике писателя» 1877 г.

Господствующее место в «Дневнике» 1877 г. занимают три круга тем, к которым автор обращается настойчиво и постоянно: политические статьи по Восточному и славянскому вопросам, прогнозы Достоевского-политика; выступления по юридическим и социально-педагогическим проблемам (процессы Корниловой, Джунковских, самоубийство Гартунга); многообразный литературный пласт, в состав которого вошел фантастический рассказ «Сон смешного человека»; в центре двух выпусков (февраль и июль—август) роман Толстого «Анна Каренина»; декабрьский номер (вторая глава) посвящен Некрасову.

События русско-турецкой войны 1877—1878 гг. определили политическую направленность большинства выпусков «Дневника», в том числе и «литературных». Объявление войны (12 апреля 1877 г.) было встречено Достоевским с энтузиазмом. По словам Анны Григорьевны, он «был потрясен [...] происшедшем событием и его великими последствиями для столи любимой им родины» (*Достоевская А. Г., Воспоминания*, стр. 316), задачей которой считал будущее объединение всего человечества в братский союз племен. Достоевский, огорченный неудачами русской армии на первом этапе войны, пытается осмыслить их причины, понять закономерность такого положения дел, обсуждает на страницах «Дневника» проблемы военной тактики и стратегии, обращаясь к историческим параллелям в первой главе октябрьского выпуска; содержание и даже самые заголовки этих военных статей говорят о стремлении писателя подыскать оправдание трудностям, противопоставив тем самым свою оптимистическую точку зрения либерально-дворянским «пораженческим» настроениям (§ 4 «Самые огромные военные ошибки иногда могут быть совсем не ошибками»; § 5 «Мы лишь наткнулись на новый факт, а ошибки не было. Две армии — две противоположности. Настоящее положение дел»).

Но в основном Достоевский современные политические события осмыслияет с этической точки зрения. Так, он в февральском выпуске «Дневника» остро ставит вопрос о «нравственности государства», отвергая иезуитскую логику, оправдывающую любые государственные преступления, но карающую отдельного человека за малейшее нарушение этических норм. Гнев Достоевского направлен в «Дневнике» в первую очередь против апстиславянской клерикальной пропаганды и «туркофильской» позиции Англии. Проклятие государствам-преступникам, цивилизации, построенной на насилии и обмане, миру, бесконечно далекому от того внесословного и гармонического братства людей, которое «увидел» герой рассказа «Сон смешного человека», постоянно звучит на страницах «Дневника».

Исключительно важны для опеки общественно-идеологической позиции Достоевского в «Дневнике» 1877 г. связи между высоким идеалом писателя и свойственным ему «утопическим пониманием истории» льве контрастно оттеняющие друг друга статьи февральского номера — «Злоба дня в Европе» и «Русское решение вопроса». Деятельная любовь, мирный труд каждого на родной пите, бескорыстная работа во имя правды.

¹ О жанре и структуре «Дневника писателя» см.: наст. изд., т. XXII, стр. 279—284.

истины и справедливости — вот, с точки зрения Достоевского, нравственное «русское решение вопроса», постановка которого была в то время немыслима в Западной Европе. Таковы высокие нравственные критерии, руководствуясь которыми Россия способна проложить путь к будущему соединению людей «в согласное общество, а не в насилиственное». «Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, — формулировал Достоевский единственно возможную «постановку дела», — и особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнозданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином» (стр. 62).

Достоевский отвергает скептические голоса тех, кто назовет его «русское решение вопроса» фантазией, «царством небесным», утопией. Доводы скептиков, опирающихся на безотрадные факты жизни современного русского общества, он склонен считать чрезмерно пессимистическими, верными лишь относительно. «Я же безгранично верю в наших будущих и уже начинающихся людей (...) они страшно как разбиты на кучки и лагери в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если бы только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насилием, а свободно. (...) И вот тот плуг, которым можно поднять нашу „Новь“. (...) Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! (...) теперь почти не в нас и дело, а в грядущих» (стр. 63).

Вера Достоевского, с такой страстностью запечатленная в статье «Русское решение вопроса», — центральный пункт его историко-этнической концепции развития человечества, различные аспекты которой освещаются на страницах всех выпусков «Дневника писателя» за оба года издания с той, правда, существенной разницей, что в «Дневнике» 1877 г. убеждения и идеи автора четче соотнесены с последними политическими событиями.

«Всякий великий народ, — провозглашает Достоевский в статье «Примирительная мечта вне науки», — верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, привлечь их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им пред назначенной» (стр. 17). Такова, с точки зрения Достоевского, бесспорная историческая истина.

Старую Европу, обреченную на бесконечные войны, раздираемую национальными и классовыми противоречиями, призвана обновить и спасти Россия: «Великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово» (июль—август, гл. II, § 2 «Признания славянофила»).

Русско-турецкая война, вызвавшая, по мнению Достоевского, всенародный подъем, — первый шаг на этом пути: «Подвиг самопожертвования кровью свою за всё то, что мы почтаем святым, конечно, нравственное всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великолепной идеи — есть толчок вперед, а не озверение» (апрель, гл. I, § 2 «Не всегда война бич, иногда и спасение»).

Много места Достоевский уделяет противникам «русского социализма», как и «войны из-за великолупной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи» на Западе и в России. Он резко обвиняет либеральных дворян; с горечью выражает автору «Анны Карениной», отвергая его оценку отношения русского общества к событиям русско-турецкой войны в 8-й главе романа. Достоевский обращает внимание на враждебные России и славянам действия правительства Великобритании. Он пишет не раз о разветвленном «католическом заговоре» против России и славянства.

Пристальное внимание к событиям в католическом мире было вызвано реальными фактами политической жизни Европы 1870-х годов. О «воинствующем католицизме», об иезуитах — «черной армии папы» в 1877 г. много писалось в английских и немецких газетах, перепечатки этих статей и корреспонденций в «Московских ведомостях» и «Новом времени» оказали значительное влияние на антикатолические мотивы в «Дневнике писателя».¹

Речь папы Пия IX па аудиенции 30 апреля 1877 г., обращенная к славянским пилигримам, своей ясно выраженной антирусской направленностью вызвала возмущение в славянском мире и признательность Турции. Воинственные выступления на проходившем тогда же съезде католического духовенства в Вене, слухи о растущем влиянии иезуитов па умирающего Пия IX, служение католической церковью молебнов о даровании победы Турции над Россией предопределили резкую антипапскую направленность «Дневника» 1877 г., достигшую кульминации в выпусках за май—июнь и октябрь.

«... мне кажется, — утверждает Достоевский в майско-июньском выпуске, — что и нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колосальным ... стихийным, и страшным, и тоже с изменением лица мира сего — по крайней мере, на Западе старой Европы» (стр. 148). Достоевский испытывает порою чувство растерянности перед массой «новых» вопросов, неразрывно связанных и настоятельно требующих «ответов»,² точных и верных: «... куча вопросов, страшная масса всё новых, никогда не бывавших, до сих пор в пароде неслыханных...» (стр. 174). Отсюда трезвое понимание Достоевским зыбкости многих собственных его предвидений и пророчеств. Ибо «никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы данных для предчувствования и преду��ания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха» (стр. 173).³

И все же прогнозирование политических судьб мира в «Дневнике» — грандиозная попытка в современном хаосе увидеть контуры «нового созидания», основы «складывающейся» жизни, предугадать формы и законы

¹ С борьбой против политики папства связано положительное отношение Достоевского к деятельности Бисмарка — «главного врага папства и римской идеи». До определенного момента Достоевский надеялся на возможность союза Германии и России: «Два великие народа ... предназначены изменить лик мира сего. Это не затея ума или честолюбия: так сам мир слагается ... Пока действуют тешерешние великие предводители Германии, эта минута *всего вернее* для нас обеспечена...». Однако решения Берлинского конгресса 1878 г., антирусская позиция, занятая на нем Бисмарком, заставили Достоевского отказаться от этих «прорицаний» и круто изменить мнение о «железном канцлере». Он упрекает В. Ф. Пуцковича за «принижение перед Бисмарком» (в письме от 23 августа 1879 г.) и даже называет Бисмарка «глупцом» (запись 1 марта 1880 г. в дневнике С. И. Смирновой (Сазоновой) (1852—1921) — см.: *Материалы и исследования*, т. IV, ст. 276).

² «... каждый ответ, — поясняет Достоевский особенность современной «минуты», — родит еще по три новых вопроса, и пойдет это всё *crescendo*. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса» (стр. 174).

³ Об идеологических и нравственных основах «Дневника писателя», историко-философской концепции Достоевского см.: Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского. — ЛИ, т. 83, стр. 51—59; И. Л. Волгин. 1) Нравственные основы публицистики Достоевского (Восточный вопрос в «Дневнике писателя»). — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1971, № 4, стр. 312—324; 2) Доказательство от противного (Достоевский-публицист и вторая революционная ситуация в России). — ВЛ, 1976, № 9, стр. 100—142.

«наступающей будущей России честных людей, которым нужна лишь одна правда» (стр. 57).

Дальнейшее развитие получили в «Дневнике» 1877 г. постоянные в творчестве писателя антибуржуазные мотивы. Утопическая великая «фантазия» Достоевского диаметрально противоположна буржуазному миропорядку, с его культом индивидуализма и обогащения, с его отрицанием духовных и нравственных ценностей: «... материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей» (стр. 85).

Достоевский отвергает буржуазный кодекс как самоубийственный для человечества. Он, подобно герою рассказа «Сон смешного человека», «знает», «что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле», и не хочет «верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей» (стр. 118). И это бесспорно та «руководящая нить», с помощью которой Достоевский стремится определить формы «исхода» современного общества из теперешнего хаотического состояния, предугадать «нормальные законы» будущего нового мира.

5

Вторую главу февральского выпуска «Дневника» Достоевский начал с признания: «... читатели, может быть, уже заметили, что я (...) стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-щавлевом тоне. А между тем в этом добровольном воздержании моем — какая неправда! Я (...) может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе: как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления?» (стр. 51).

Достоевский не совсем справедлив к себе: литературно-критический пласт «Дневника» 1876 г. содержит ценен и разнообразен, но значительных явлений современной русской литературы автор в «Дневнике» 1876 г. действительно почти не затрагивал, хотя и задумывал для него статью о Гоголе, Щедрине и русской сатире. В «Дневнике» 1877 г. Достоевский многократно нарушает когда-то поставленное им себе правило не писать о литературных новинках, хотя и делает это не «в чисто беллетристическом и критическом смысле (...) а (...) „по поводу“» (стр. 51).

«Чистой» литературной критики в «Дневнике» нет: все «литературное» в нем, как отмечал В. А. Десницкий, «в то же время и определенно публицистично» (1926, т. XI, стр. X). Влас Некрасова, Потугин Тургенева, Левин Толстого, Дон-Кихот Сервантеса — образы-символы, вокруг которых группируется материал и от которых отталкивается занятая злой днём в Европе и России мысль Достоевского-публициста. Статьи Достоевского об «Анне Карениной» Толстого в равной мере литературные и политические; в некролог Некрасова естественно вошли выпады против современных либералов, которые «в русском народном движении за последние два года не признали почти вовсе (...) высоты подъема духа народного...», а частые обращения Достоевского к главной «мысли» романа Тургенева «Новь» носят всецело идеологический характер и не затрагивают художественного «достоинства» произведения: оно для Достоевского «вне сомнения», но говорится об этом сухо и, похоже, для того, чтобы не касаться более литературной стороны романа.

Достоевский обратился к творчеству своих современников — Тургенева, Некрасова, Толстого, Щедрина в первом же выпуске «Дневника» 1877 г., — в § 4 и 5 второй главы — своеобразном сжатом «обзоре» литературы года, переходящем в полемику с А. М. Скабичевским. Обзор и полемика — прелюдия к «старым воспоминаниям» об эпохе 1840-х годов,

о первых встречах с Белинским и Некрасовым. Посещение больного Некрасова воскресило в необыкновенной чистоте воспоминания литературной молодости, свободные от всяких полемических злободневных напластований. От старых воспоминаний мысль Достоевского обращается к «страдальческим песням» «нашего любимого и страстного поэта», а от Некрасова он переходит вновь к Льву Толстому — «любимейшему писателю русской публики всех оттенков»: в социально-педагогической статье «Именник» дается изумительная по глубине взгляда и высоте задач, предъявляемых Достоевским к искусству, программа деятельности русской литературы на многое десятилетий вперед.

Так, в первом же номере «Дневника» намечены темы будущих «литературных» выпусков за май—июнь, июль—август, декабрь. Отступления от «правила» стали в «Дневнике» нормой, «несмотря на [...] отвращение пускаться в критику современных [...] литераторов и их произведений...». Основная причина частых обращений к литературной критике объясняется Достоевским, так определявшим мировое и историческое значение романа Толстого: «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *следствии* и *своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Всё осталное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени» (стр. 202). Необычайно высокой оценке «Анны Карениной» не помешали и коренные разногласия Достоевского с мыслями по поводу русско-турецкой войны в «несчастной» восьмой части романа, хотя взгляды Толстого болезненно задели автора «Дневника», вынужденного признать еще один и особенно «грустный» факт отъединения «от русского всеобщего и великого дела».

Еще до появления восьмой части романа, по признанию Достоевского, в его сознании тесно переплелись и сложным образом совпали впечатления от двух, казалось бы, во всех смыслах различных *фактов* — литературного («Анна Каренина») и политического (освободительная война): «...факт впечатления от романа, от выдумки, от поэмы совпал в душе моей, нынешней весной, с огромным фактом объявления теперь идущей войны, и оба факта, оба впечатления нашли в уме моем действительную связь между собою и поразительную для меня точку обоядного соприкосновения» (стр. 195). Но именно эта «действительная связь» между литературным и политическим фактами русской и европейской жизни 1870-х годов позволила Достоевскому — единственному из современников Толстого — найти верный масштаб для критической оценки «Анны Карениной», поставить вопрос об историческом и мировом значении русского романа. «Непреходящее историческое значение отзыва Достоевского об „Анне Карениной“, — резюмирует Г. М. Фридледпер, — как раз в том и состояло, что он первый в истории русской и мировой критики поставил вопрос не о тех или иных частных перипетиях и сюжетных линиях этого романа и об отдельных, остро поставленных в нем многообразных вопросах, но об его общем фокусе, о той центральной внутренней смысловой точке, к которой все эти линии сходятся» (Г. М. Фрилдер. Достоевский и Лев Толстой (статья вторая). — *Материалы и исследования*, т. III, стр. 89). Такой взгляд на явление «текущей российской словесности» был гениальным и новаторским по существу, независимо от конкретного субъективного истолкования Достоевским художественной идеи и общественно-нравственного смысла романа Толстого.

«Некрасовской» второй главе декабрьского выпуска «Дневника» предшествовала речь Достоевского на похоронах Некрасова 30 декабря 1877 г. Некоторые мысли речи писателя, как об этом свидетельствуют воспоминания Г. В. Плеханова и других участников похорон¹ и рассказ Досто-

¹ См.: *Некрасов в воспоминаниях*, стр. 477—478, 490—492.

евского в «Дневнике», вызвали оппозицию группы радикально настроенных студентов-народников. Их реплики, освещение «столкновения» Достоевского и молодежи в статье Скабличевского, первые газетные некрологические статьи о Некрасове побудили писателя в «Дневнике» ответить своим оппонентам и судьям поэта, подробнее разработать поневоле намеченную в речи лишь тезисно мысль о народности поэзии Некрасова: «маленький эпизод» на похоронах, по словам Достоевского, «тогда же, на месте, зажег во мне намерение объяснить мою мысль в будущем № „Дневника“ и выразить подробнее, как смотрю я на такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и в нашей поэзии, каким был Некрасов, и в чем именно заключается, по-моему, суть и смысл этого явления».

Достоевский стремится исторически осмыслить значение жизни и деятельности Некрасова, определил идеино-этический нерв поэзии «печальника горя народного». Наконец, он выявляет природу народности творчества поэта: «В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего свяще, незыблее, истиннее, перед чем преклониться ...». А коли так, то, стало быть, и он преклонялся перед *правдой народной* ... Вечное же исканье этой правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно ... о том, что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолившейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями».

Достоевский, раздраженный и вдохновленный репликами оппонентов, создает своеобразный очерк о народности русской литературы («Пушкин, Лермонтов, Некрасов»), обозначая оригинальное место музы Некрасова и выявляя сущность того «русского исторического типа», одним «из крупных примеров» которого, по его мнению, был Некрасов. Концепция Достоевского творчества и личности Некрасова не просто «почвенническая» и полемическая, но одновременно и личная, переходящая в исповедь писателя, излагающая свойственное именно ему понимание *истинной народности*.

Полемическое начало статей Достоевского о Некрасове в значительной степени способствовало расширению историко-литературной «предыстории», намеченной в речи. Изменился и масштаб оценки творчества и личности Некрасова; неизбежно вклинились злободневные мотивы — главным образом антиберальные. Но наряду с углублением ведущих положений речи в «Дневнике» произошло смещение мотивов в сторону усиления идеологической полемики с противниками особого и самостоятельного «русского пути», полемики, которую В. Г. Короленко, наиболее авторитетный и объективный свидетель речи, воспринял как тенденциозный «комментарий» к ней. Согласно рассказу Короленко в «Истории моего современника», Достоевский некоторые места речи, произведшие на молодежь особенно сильное впечатление, опустил в «Дневнике»: «Я ... слышал все. Достоевский говорил тихо, но очень выразительно и проникновенно. Его речь вызывала потом много шума в печати ... Скабличевский со всей простоватой прямолинейностью объявил ... что молодежь „тысячами голосов провозгласила первенство Некрасова“. Достоевский отвечал на это в „Дневнике писателя“. Но когда впоследствии я перечитывал по „Дневнику“ эту полемику, я не встретил в ней того, что на меня и многих моих сверстников произвело впечатление гораздо более сильное, чем спор о первенстве, которого многие тогда и не заметили. Это было именно то место, когда Достоевский своим проникновенно-пророческим, как мне казалось, голосом назвал Некрасова последним великим поэтом из „господ“. Придет время, и оно уже близко, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа... ... Это казалось нам таким радостным и таким близким. Вся нынешняя культура направ-

лена ложно. Она достигает порой величайших степеней развития, но тип ее, теперь односторонний и узкий, только с присущим пародия станет непримерно полнее и потому выше (...) Мне долго потом вспоминались слова Достоевского, именно как предсказание глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории» (*Некрасов в воспоминаниях*, стр. 488—489).

Декабрьский выпуск «Дневника» вышел в середине января 1878 г., а уже весной Достоевский приступил непосредственно к работе над романом «Братья Карамазовы», замысел которого «неприметно и невольно» сложился за два года публицистического издания, когда постепенно определялись «основные идеологические линии» романа, шло интенсивное «накопление цельного синтезированного опыта, стремящегося к своей привычной форме — к форме „идеологического романа“» (Долинин, стр. 239). «Дневник писателя» поистине явился необходимой «творческой лабораторией», в которой вызревали и предварительно испытывались идеи, а также подготавливались художественная концепция «Братьев Карамазовых». Многие статьи и даже целые выпуски «Дневника писателя» 1877 г., сохраняя свое самостоятельное публицистическое значение, в то же время «невольно» стали подступами к роману, его идеально-эстетическим фундаментом (см. об этом подробнее: наст. изд., т. XV, стр. 407—411, 451—453, 459, 469).

6

«Дневник писателя» (за исключением декабрьского выпуска) не вызвал в 1877 г. такой обширной и разноречивой прессы как «Дневник» 1876 г., так как к началу 1877 г. отношение различных органов печати к журналу Достоевского и к общественно-политической программе его автора уже успело определиться.

Поэтому не привлекли особенного пристального внимания печати и статьи Достоевского на политические темы: суждения автора «Дневника» о будущем России, освещение событий русско-турецкой войны, антиклерикальные страсти, анализ отношений России с другими славянскими народами. Публицисты как либерального, так и радикального направления чаще всего ограничивались сожалениями по поводу того, что талантливый писатель обратился к чуждой его дарованию сфере политики. Публицист демократического журнала «Дело» (П. Н. Ткачев), обозревая в «Журнальных заметках» январский, февральский и мартовский выпуски «Дневника», писал: «Г-н Достоевский известен как даровитый беллетрист, но он берется вовсе не за свое дело, когда пускается в публицистику и политику. Уже с самого начала сербской войны г-н Достоевский забил тревогу и повел свое славянское пророчество» (Д., 1877, № 6, стр. 62). Критик называет Достоевского «турецким публицистом», «тудаком-мечтателем, который до сих пор верит в возможность крестовых походов в то время, как Европа уже давно пережила период религиозного воодушевления, а в России он и не был; насущные же потребности нового времени и переворот, созданный в жизни народов новейшими изобретениями, дали всему европейскому и русскому мышлению совсем иной характер» (там же, стр. 63—64).

Критик «Дела» сожалеет о некоторых «странных» Достоевского публициста, но он не относится к «Дневнику» враждебно, отмечая одновременно разлад с действительностью и благородную убежденность, искренность автора: «Мы вовсе не отрицаем, что идея „общечеловека“ имеет законное право на существование. Мы бы желали только, чтобы вы нам доказали, что идея эта принадлежит специально нам, русским, и изобретена нами, а не Европой. (...) Г-н Достоевский вовсе и не подозревает, что в его мечтаниях решительно нет никакого фактического содержания, и мыслит он не реально, а бог знает как, — хоть святых вон выноси. В то же время сколько искренности, сколько любви и сколько фанатизма в его привязанности к пародии, к России» (там же, стр. 62).

Либеральный критик «Одесского вестника» С. И. Сычевский осудил политические идеи и пророчества Достоевского, опираясь на содержание выпусков «Дневника» за июль—август и (особенно) сентябрь, еще резче, квалифицируя его как «фантаста», «мистика», «фафатического приверженца партии». «Человек бесспорно чрезвычайно умный и с огромным литературным талантом, — писал Сычевский, — он является в последнее время решительным чудаком в политике. В последнем номере своего „Дневника“ он делает одно из чрезвычайно широких политических обобщений и сводит все настоящие вопросы на борьбу между православием и католицизмом. Но, по странной нелогичности, православие у него стоит рядом с протестантизмом, а католицизм — смешивается с исламом и с пресвитерианством... Выходит очень странный маскарад, далеко не говорящий в пользу логичности его обобщения (...) Я чувствую себя совершенно неспособным говорить серьезно о прорицаниях и откровениях г-на Достоевского. Настолько же, насколько я уважаю его талант — настолько же болезненно действует на меня его славянофильское кликушество. Он говорит, не поморщившись, такие вещи, от которых вчуже подирает мороз по коже. Про Константинополь и говорить нечего... По мнению г-на Достоевского, он давно уже наш...» (OB, 1877, 2 ноября, № 238).

Политические идеи «Дневника» встретили противодействие и у постоянного оппонента Достоевского в те годы, критика-народника А. М. Скабичевского.¹ Последний иронически отозвался о сентябрьском выпуске «Дневника»: «...сдается мне, что заключительные предсказания г-на Достоевского относительно окончания боя в пользу Восточного вопроса представляются очень и очень сомнительными и несбыточными. Я не скажу, чтобы способность предсказывать лежала вне человеческой природы, но только беда вся в том, что, имея дело с такою сложною комбинациею, какова человеческая жизнь, предсказатели никак не могут обнять и сообразить всю перекрестную сеть взаимно действующих элементов этой комбинации; иногда по ошибке (...) а иногда ради упрощения выводов, они очень часто опускают из виду то тот, то другой элемент, а этот самый опущенный элемент в будущем может повести ход событий совсем в другую сторону, чем они предполагают. В такую ошибку впадает, по моему мнению, и г-н Достоевский» (Задуманный читатель. Мысли по поводу текущей литературы. Нечто о предсказаниях г-на Достоевского, о том, почему они не могут сбыться, и что было бы, если бы они сбылись (см. «Дневник писателя», сентябрь). — BB, 1877, 21 октября, № 267).

Далее, коснувшись рассуждения Достоевского об «известном эпизоде» из романа Сервантеса, критик явственно заметил, что более всего похож на Дон-Кихота Достоевский-прорицатель, «воображающий, что одним ударом меча в одни сутки можно решить все европейские, западные и восточные вопросы...». Завершил Скабичевский статью характерным вообще для народнической критики противопоставлением Достоевского-публициста Достоевскому-художнику: «...я не могу выразить, как мне жалко, что, наполняя свои дневники мистико-фантастическими рассуждениями и высокопарно-туманными фразами, г-н Достоевский забыл совсем о своем истинном призвании изобразителя русской жизни. Единственными страницами наиболее дельными и памятными в течение двух лет издания „Дневника писателя“ остаются все-таки те две-три повести, которые были напечатаны в нем. Приобретя таким образом довольно плохого мысли-

¹ Достоевский в 1877 г. первым задел Скабичевского, иронически отозвавшись о его приговоре русской литературе в статье «Беседы о русской словесности (Критические письма)» (OB, 1876, № 11, стр. 2), — об этом см. ниже, стр. 368. Скабичевский немедленно ответил ему в «Биржевых ведомостях» (Задуманный читатель. Мысли по поводу текущей литературы. Письмо моему престарелому оптимистическому другу. — BB, 1877, 18 февраля, № 47).

теля и политика, мы потеряли весьма талантливого беллетриста. Как же не пожалеть об этом?» (там же).

Еще разе реагировал Скабичевский па спор Достоевского с Н. Я. Данилевским «о владении Константиноцем» в ноябрьском номере «Дневника писателя», прибегая по его адресу к таким энергичным выражениям, как «дилетант славянофелия», а его суждения характеризуя как «трескучие фразы», «исступленные завывания» (БВ, 1877, 23 декабря, № 330).

Статья Достоевского, посвященная окончанию дела Корниловой, в апрельском выпуске «Дневника» вызвала острую критику «Северного вестника» (1877, 8 мая, № 8; статья «Беседа» за подпись «Наблюдатель»). Достоевский подробно ответил критику в декабрьском выпуске. Позиция публициста «Северного вестника» не была характерной: большинство критиков и читателей сочувственно восприняли вмешательство Достоевского в запутанное и сложное юридическое дело. Н. В. Шелгунов (за подпись «Н. В.»)¹ во «Внутреннем обозрении» журнала «Дело» поддержал Достоевского, благодаря посредничеству которого дело Корниловой рассматривалось во второй раз, и осудил речи товарища прокурора и председателя суда: «Товарищ прокурора, обвинявший Корнилову второй раз, усиливался уговорить присяжных „не верить психиатрам, которые уже по своей профессии склонны видеть везде сумасшедших“. Но еще удивительнее было заключительное слово председателя. Он приглашал присяжных воздержаться от всякого влияния на них „доводов знаменитого писателя“. Мало ли что так себе, на ветер, „может взболтнуть знаменитый писатель“. Другое дело, сказал председатель, „если бы писателя посадили на скамью присяжных: тогда он, может быть, сказал бы совсем другое!“ Эти стрелы были направлены против Достоевского, который сидел в публике. Если таким образом ценит значение мысли один из представителей истины и правды — правды, для восстановления которой он призван, то что же говорить о той „легкомысленной“ части публики, для которой и мысли и люди мысли, и труд мысли, и ее результаты и не видны, и не ясны, и не понятны?» (Д, 1878, № 1, стр. 146).

Отмечен был современниками успех «Дневника писателя» у читателей, особенно среди молодежи. О нем с удовлетворением писал в «Гражданине» бывший сотрудник «Времени» и «Эпохи» А. У. Порецкий (в статье «Цикл понятий (Заметки из текущей жизни)», подписанной псевдонимом «Е. Былинкин»). «Не помните ли, — обращался к читателю еженедельника Порецкий, — где-то был недавно напечатан слух, что „Дневник писателя“ имеет у нас большой успех между учащейся молодежью. Не знаю как кому, а для меня этот слух был подобен ясной утренней заре, и мне кажется, что кто следил за этим единственным в своем роде изданием и вникал в дух, его оживляющий, тот ни за что не упрекнет меня в излишестве или пристрастии. В последнее время не раз поднимались жалобные голоса об оскудении или даже совершенном исчезновении в нашем обществе нравственного идеала, о происшедшем от того пренижении духа, безурядице в молодых головах и о последовавших затем разных „прискорбных явлениях“. Многие не верили или сами жаловались, те не умели помочь горю, потому что не находили слова, могущего найти дорожку к молодым сердцам. Кажется, автор „Дневника“ нашел это слово у себя в душе, — это мягкое, горячее, зовущее к нравственному идеалу слово...» (Гр, 1877, 21 апреля, № 15, стр. 384).²

¹ Шелгунов был подписчиком «Дневника». 1 мая 1877 г. он обратился с просьбой высылать ему «Дневник» по новому адресу в г. Череповец (РЛ. 1974, № 1, стр. 151).

² А. У. Порецкий в упомянутой статье дает пространную выписку из § 2 третьей главы мартовского выпуска «Дневника» («Единичный случай») и сопровождает ее восторженным комментарием: «Да будет же благословен тот день и час, когда успех „Дневника писателя“ окончательно утвердится в среде нашей молодежи и поможет им дойти до того душев-

Читательский успех «Дневника», в том числе и среди учащейся молодежи, несомненен. Он подтверждается свидетельствами многих корреспондентов Достоевского. Однако у П. Н. Ткачева были основания отнести к вопросу о восприятии «Дневника» революционно настроенной молодежью более трезво: «... г-н Достоевский (...) если верить его заявлениям, — ironизировал Ткачев, — пользуется большою симпатией и любовью молодежи, она даже смотрит на него (опять-таки если верить его заявлениям) в некотором роде как бы на своего учителя. Очень может быть, что на этот счет г-н Достоевский немножко и ошибается...» (Л, 1878, № 6, стр. 19). Ткачев имел в виду ту студенческую молодежь, об отношении которой к «Дневнику писателя» вспоминает Е. Н. Леткова-Султанова: «В студенческих кружках и собраниях постоянно раздавалось имя Достоевского. Каждый номер „Дневника писателя“ давал повод к необузданнейшим спорам. Отношение к так называемому „еврейскому вопросу“ (...) в „Дневнике писателя“ было совершенно неприемлемо и недопустимо. (...) молодежь (...) отчаянно боролась с обаянием имени Достоевского, с негодованием приводила его проповедь „союза царя с народом своим“ (...) непрерывно вела счеты с Достоевским и относилась к нему с неугасаемо критическим отношением после его „патриотических“ статей в „Дневнике писателя“» («Достоевский в воспоминаниях», т. II, стр. 387—392).

Из материалов «Дневника», пожалуй, наибольший интерес у критиков-современников вызвали литературные воспоминания Достоевского и выпуски «Дневника», посвященные роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и памяти Н. А. Некрасова.

Критик «Рижского вестника» особо выделил в январском выпуске «несколько интересных воспоминаний г-на Достоевского о первом знакомстве его с г-ном Некрасовым, воспоминаний, характеризующих одну из самых счастливых эпох нашей литературы». Эпохе 1840-х годов критик противопоставил безрадостное положение дел в современном журнально-литературном мире: «Увы! для нас навсегда минула эта счастливая эпоха „эстетических“ восторгов, „идейных“ увлечений и искреннего благоговения перед человеческим гением (...) Мы, русские, стремящиеся опередить все европейские народы серьезностью „направлений“ и солидностью воззрений, не сохранили даже той, относительно небольшой доли уважения к своим писателям, которое проявляется даже в „легкомысленном обществе“ современного Вавилона (подразумевается Париж, — Ред.)» («Рижский вестник», 1877, 7 февраля, № 29).

Рецензента «Рижского вестника» поддержал новороссийский литератор С. Т. Герцо-Биноградский, восклиавший в статье «Журналистика» (подписьана его псевдонимом «Барон Икс»): «О, *bon vieux temps!* Теперь даже и в литературных кружках ни тени подобной жизни, страсти, увлечений... Все быстро спустилось с высоты идеалов и горячей любви на покатую отлогость „банкирских контор“, этих излюбленных учреждений века, управляющих даже судьбами журналистики, в лице Баймаковых, Краевых, Трубниковых, Полетик... Если бы теперь нашелся новый Достоевский, кому бы он понес свою рукопись, в какую бы редакцию обратился, когда, как выразился один из (...) публицистов, журналистика утратила характер доброго старого времени и превратилась в лавочку, фабрику, завод...» («Новороссийский телеграф», 1877, 10 февраля, № 603).

Большую цитату из «Старых воспоминаний» привел С. А. Венгеров в статье «Николай Алексеевич Некрасов» («Неделя», 1878, 19 марта, № 12, стр. 393—394).

Февральский выпуск «Дневника» был сочувственно принят критиками и читателями. Даже А. М. Скабичевский, в 1877 г. весьма критически относившийся к «Дневнику», с симпатией процитировал мысли Достоевского о Левине и Власе (Задний читатель. Мысли по поводу текущей литературы. Повесть г-на Незлобина «Weltschmerzen» (см.

нога строя, чтобы воскликнуть с полною искренностью: „Если так, то как же не надеяться?“ (там же, стр. 385),

«Русский вестник» № 2) и моя попытка заставить г-на Незлобина поблескать посредством выдержки из «Дневника» Достоевского (см. «Дневник писателя»). — БВ, 1877, 11 марта, № 68). Взволнованно о глубоком впечатлении, произведенном на них этими же страницами февральского номера, писали Достоевскому Н. С. Лесков и А. Л. Боровиковский (см. ниже, стр. 351—352).

Глубокий критический разбор февральского выпуска появился через три года во второй статье Г. И. Успенского о Пушкинской речи Достоевского — «Секрет» (ОЗ, 1880, № 6). Успенский уделил здесь много места обстоятельному анализу содержания §§ 3 и 4 его второй главы («Злоба дня в Европе», «Русское решение вопроса»). Успенский отдал должное глубине анализа исторически сложившегося положения дел в Западной Европе 1870-х годов, последовательности и точности социально-критической мысли Достоевского. Сделав ряд выписок из «Дневника», Успенский резюмирует: «Вот положение вещей в Европе, положение историческое, вполне объясняющее неизбежность борьбы не за жизнь, а за смерть, между двумя борющимися сторонами, уже ставшими в боевую позицию. Г-н Достоевский обстоятельно объясняет, почему ни та, ни другая сторона не могут уступить, почему вопрос не может быть поставлен на нравственную почву. Все эти объяснения в европейском решении вопроса о злобе дня ... основаны на исторически сложившемся положении вещей, очерк которого г-н Достоевский приводит в начале статьи именно для того, чтобы читателю было понятно, почему дело решится так, а не иначе» (Успенский, т. VI, стр. 440). Высокую авторитетность критической оценке Успенского придало то, что она принадлежала автору «Выпрыгнула» и «Больной совести» — человеку, которому было «в подробности известно мучительного-тяжостное положение злобы дня» не только в России, но и в Европе (там же, стр. 442).

Но Успенского, естественно, многое не могло удовлетворить в предложении Достоевским решении вопроса. «Покуда дело идет о злобе дня в Европе, — четко определяет Успенский причины своего критического отношения к идеологическим тезисам и высокой проповеди Достоевского, — автор вполне последователен ... Но как только дело касается России, никакого положения нет, а прямо, с первой строки, начинаются ни на чем не основанные прорицания, указания, ребусы, шарады ... отвлеченная (хотя и очень искусная) проповедь о самосовершенствовании. Ни о положении вещей в данную минуту, ни о прошлом, из которого оно вышло, нет ни одного слова ... На каждом шагу задаешь себе вопросы: какую такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду с открытым воротом и в армянке собирать на построение храма божия? Если ту же, какая в Европе, то почему же там дело должно кончиться дракой, а не Власом? Если другую какую-нибудь, русскую злобу, особенную, то какую именно?» (там же, стр. 440—441).

Успенский указывает на главную причину неизбежных противоречий в теориях и проповедях Достоевского-публициста — недостаточную трезвость его аналитической мысли: «Не определяя „положения“ вещей, не объясняя его, решительно невозможно давать советов о том, что нужно делать, невозможно предсказывать, прорицать, учить и наставлять, не рискуя впасть в противоречия и свести самую горячую проповедь на ничто. И таких противоречий можно найти у г-на Достоевского не мало» (там же).

В отличие от других критиков-демократов, Успенский проник в сердцевину идеологических противоречий «Дневника писателя». Его анализ общественно-политических теорий Достоевского отличает соединение критизма по отношению к выводам Достоевского и эмоциональной зараженности теми же «больными» вопросами русской жизни. Другие же критики-народники 1870-х гг. ограничились более общим упоминанием о противоречиях публицистической мысли Достоевского, обойдя вопрос об их причинах и сути. Так, Н. К. Михайловский привел в «Письмах о правде и неправде» два противоположных, вызванных разными обстоятель-

ствами суждения Достоевского и заметил вскользь, что «мог бы сделать и другие сопоставления разных мест „Дневника писателя“, выражают мнения, столь же диаметрально противоположные по вопросам, не менее важным» (ОЗ, 1877, № 12, стр. 334). П. Н. Ткачев писал с иронией о «противоречиях» Достоевского как о само собой разумеющемся, не требующем ни доказательств, ни обстоятельного анализа: «Кто не знает, что его „больная душа“ составлена из таких нескладных противоречий, которых никакая немецкая философия не в состоянии обнять (а она ли не обнимает необъятного?) и никакая славянофильская мудрость не в силах примирить (а она ли не примиряет непримиримое?)» (Д, 1878, № 1, стр. 6). Сходную оценку давали этическим идеалам автора «Дневника»¹ А. М. Скабичевский, М. А. Протопопов и другие критики-народники, а равно и многие из представителей либерального направления.

Примечательно, что суждения Достоевского о романе «Анна Каренина» были восприняты многими критиками как «чудачество», пожалуй, еще большее, чем вдохновенные пророчества Достоевского о будущих политических судьбах России и Европы. Например, с искренним недоумением воспринял мысли Достоевского о мировом значении «Анны Карениной» в июльско-августовском выпуске «Дневника» Сычевский: «Читателям „Одесского вестника“ известно, как высоко я ставил и ставлю этот прекрасный роман. Но даже меня заставило прорететь глаза мнение Достоевского, будто „Анна Каренина“ — это именно и есть то новое, мировое слово, которое дает славянскому духу право на вековое первенство между всеми народами... И знаете, в чем заключается это слово? Что выражает собою „Анна Каренина“? Она, по мнению Достоевского, доказывает ту великую мысль, что карать человеческие заблуждения и прегрешения есть дело не человеческое, а божие... Не думаю, чтобы сам граф Толстой согласился с таким толкованием своего произведения...» (ОВ, 1877, 2 ноября, № 238).

Скабичевский, поставив в своей статье рядом Толстого и Мещерского (которых будто бы объединяет «отрицание великосветской жизни и тяга в деревню»), осудил политические тепдеции «Дневника». Тем не менее Скабичевский с удовольствием согласился с мнением автора в июльско-августовском выпуске о толстовском Левине: «Среди всего того исступленного кликушества, которому окончательно в последних выпусках своего „Дневника“ предался г-н Ф. Достоевский по случаю войны, он высказал несколько мыслей по поводу последней части „Анны Карениной“, не лишенных справедливости и показавших, что бедный гр. Толстой, никому не угодивший своим романом, не угодил даже и сродственнику своему по мировоззрению г-ну Ф. Достоевскому» (БВ, 1877, 23 сентября, № 239). «Некрасовская» глава декабрьского выпуска «Дневника», в которой Достоевский полемизирует со Скабичевским, В. П. Бурениным и радикально настроенными студентами, особенно оживленно обсуждалась прессой.

А. Г. Достоевская так охарактеризовала мнение большинства журналистов и писателей о «некрасовской» главе «Дневника»: «По мнению многих литераторов, статья эта представляла лучшую защитительную речь Некрасова как человека, кем-либо написанную из тогдашних критиков» («Достоевская», А. Г., «Воспоминания», стр. 38). Такой, действительно, была оценка многих читателей, в частности Е. А. Штакеншнейдер: «Его глава в „Дневнике писателя“ о Некрасове разве не перл? Кто из поклонников и панегиристов Некрасова сказал о нем то, что сказал о нем Достоевский? И сказал не превознося его, не хвали, но выставляя его добродетель и умаляя пороки» («Достоевский в воспоминаниях», т. II, стр. 316).

¹ Протопопов в рецензии на книгу А. А. Тишанского «Путешествия и рассказы» иронически отозвался обо всей русской беллетристической «плеяде», в том числе и Достоевском, который «не то духов кличет, не то в Царьград едет...» (ОЗ, 1878, № 4, стр. 287).

Благожелательно была воспринята оценка Некрасова публицистами «Нового времени» и «Недели». В. П. Буренин, цитируя и пересказывая «Дневник», писал в заключение: «Вот, по моему искреннему убеждению, оценка поэзии и личности Некрасова столь же глубокая, сколько верная. (...) Только таким любящим народ сердцем и можно постигнуть настоящую суть поэзии Некрасова и отличить в этой поэзии то, что действительно составляет ее великую сущность, ее плодотворное зерно, от наносной шелухи, которой в стихотворениях покойного найдется немало» (В. Буренин. Литературные очерки. (Кой-что о «Дневнике писателя» г-на Достоевского и о его авторе. — Эхо и голос в журналистике. — Примеры журнального эха и голоса в суждениях г-на Скабичевского о Некрасове и суждение г-на Достоевского. — Рутинные и малосмысленные тирады о Некрасове и мнениях о нем «молодых друзей». — Слова «Дневника» о Пушкине и значении некрасовской поэзии.) — НВр, 1878, 20 января. № 681).

Публицист «Недели» в статье «Либерал о сером мужике», цитируя декабрьский выпуск, соглашается с упреками писателя русской дворянской интеллигенции «за то, что она кичится своим „европеизмом“ перед народом...» (1878, 25 февраля, № 9, стр. 286). Несправедливо осудив очерки «Из деревенского дневника» Успенского, который якобы «падаче (...) открыл что ни на есть самую суть мужицкой души», критик «Недели» сочувственно противопоставил трезвому взгляду Успенского на положение русской деревни и на уровень развития крестьянского самосознания глубокую веру Достоевского «в нравственную высоту души русского серого мужика» (там же).

Далеко не все критические отзывы о «некрасовской» главе «Дневника» были положительными. И основные тенденции, и отдельные частные суждения ее автора вызвали немало полемических замечаний. Ряд критиков заявил о своем прямом и категорическом неприятии той концепции народности творчества Некрасова, которую отстаивал Достоевский, а равно осмыслия им личной трагедии поэта.

Ответил Достоевскому и непосредственно задетый в «Дневнике» Скабичевский. Но его возражение прозвучало слабо, а суждения критика о Пушкине, Лермонтове и — особенно — Тютчеве обнаружили в Скабичевском фактического эпигона Писарева. «... Некрасов (...) выше их, — выше их именно тем, чем наш век выше века Пушкина и Лермонтова, — настаивал критик. — Некрасов (...) выше своих предшественников тем, что в его поэзии мало того, что преобладают, но и выражаются страстными, исполненными мучительной скорби звуками такие мотивы нашей жизни, которые у его предшественников могли вызывать изредка (...) холодные и напыщенные фразы...». Что же касается сравнения некрасовской поэзии с музой Тютчева и поставления последней выше первой, то об этом и говорить не стоит (...). После подобного сравнения г-ну Достоевскому остается одно: поставить князя Мещерского превыше всех беллетристов; аналогия выйдет вполне точная, потому что князь Мещерский совершенно то же самое в прозе, что Тютчев в поэзии» (Заярный читатель. Мысли по поводу текущей литературы. Еще несколько слов о том, выше ли Некрасов своих предшественников и чем именно, по поводу последнего выпуска «Дневника» Достоевского. — БВ, 1878, 27 января, № 27).

Существа идейных позиций Достоевского Скабичевский сколько-нибудь прямо не коснулся, ограничившись в полемике с автором «Дневника» более или менее частными возражениями. Г. З. Елисеев во «Внутреннем обозрении» «Отечественных записок», напротив, полемизируя с основными тезисами декабрьского выпуска, выразил общее принципиальное отношение редакции «Отечественных записок» к идеям и убеждениям Достоевского.¹ Елисеев опровергал мнения Суворина и Достоев-

¹ Елисеев, в частности, опирается на тезисы статьи Успенского «Литературные и журнальные заметки. 1. Опять о Некрасове» («Обзор», 1878,

ского о Некрасове — человеке и поэте. Воспоминания Суворина Елисеев характеризует кратко, но энергично и однозначно: «Удивляться надобно, что из интимной беседы с Некрасовым, именно мысль о наживании денег (...) сильнее всего напечатлелась в уме и сердце г-на Суворина, а еще более удивительно, что он не только счел нужным поведать об этом всем, но и озабочился даже оправдательную теорию в виде русской жизненной философии для нее подстроить» (ОЗ, 1878, № 3, стр. 121).

Елисеев квалифицировал как измышление Достоевского тезис о «демоне самообеспечения, мучившем якобы всю жизнь Некрасова», обвинив автора «Дневника» в странном и тенденциозном осмысливании стихотворения «Секрет»: «Миллион, — восклицает г-н Достоевский, — вот демон Некрасова!». Судя по этому восклицанию, в котором с такою самоуверенностью содержание (...) стихов применяется к Некрасову, иной читатель подумает, что эти стихи Некрасов написал о самом себе! Ничего не было! (...) Каким образом г-н Достоевский, признающий искренность поэзии Некрасова, мог в стихотворении „Секрет“ усмотреть личный идеал Некрасова, когда последний относится к выведенному им герою с самым суровым порицанием — понять трудно» (там же, стр. 123).¹

Особенно горячо полемизирует Елисеев со словами Достоевского об «известных влияниях», под которыми находился Некрасов. «Отрицать самостоятельность мысли в Некрасове, — писал критик, — утверждать, что большая часть его стихотворений написаны по чужим впечатлениям, которые воспринимались им пассивно по недомыслию, вследствие неразвитости — значит не только унижать, но и совершенно уничтожить всякое значение Некрасова, низводить его на степень искусственного стихослагателя и рифмача, ставить ниже Фета, Майкова и т. д., потому что так или иначе последние поют все-таки, что бог им на душу положит, а не чужие мысли перелагают в стихи» (там же, стр. 131).

Елисеев упрощает и огрубляет мысль Достоевского, но делает это преднамеренно, так как полемизирует не только с «диалектической» статьей автора «Дневника», но и с другими, гораздо более прямолинейными и часто просто оскорбительными суждениями о Некрасове, появив-

29 января, № 27), полемически направленной против всей некрологической литературы о Некрасове, «толков» о поэте досужей публики и приговоров многочисленных «литературных приемщиков» (в том числе и Достоевского, хотя прямо Успенский его и не называет; см.: Успенский, т. VI, стр. 181—187). Характерно, что в том же мартовском номере журнала, в котором появилось это «Внутреннее обозрение» Елисеева, Н. К. Михайловский в «Литературных заметках» язвительно писал о новейших консервативных, неславянофильских, «антизападнических» настроениях в литературе и журналистике, выделяя позицию Достоевского как наиболее цельную и последовательную: «Переход от нравственных идеалов к понятиям о мире, как он есть, очень легок и естествен, а потому, зарядившись известным образом, можно, пожалуй, потребовать, во имя народной правды, чтобы все верили и исповедовали, что земля на трех китах стоит. Г-н Достоевский очень недалеко ушел от такого требования или, вернее, чуть-чуть не дошел до него и смело противопоставил свое приближение к китовому мироизмерению в качестве мироизмерения национально-русского или славянского всему западу. Но г-н Достоевский есть самый смелый из ныне славянофильствующих трусов и наиболее готовый к самоуничтожению из всех наличных самохвалов. Трусы и самохвалы среднего калибра довольствуются менее определенным указанием на преимущества востока над западом и умалчивают о трех китах» (ОЗ, 1878, № 3, стр. 165—166).

¹ Отрицательный отзыв Чернышевского (1886 г.) о воспоминаниях и статьях Достоевского, возможно, главным образом вызван суждениями автора «Дневника» о Некрасове — человеке и гражданине: «Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться» (Чернышевский, т. I, с. 742).

шимися в самых различных органах печати (например, в «Гражданине», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Деле»). Елисеев разъяснял: «Мне могут сказать, что я понимаю слова Достоевского о влиянии на Некрасова людей его лагеря слишком грубо, буквально, что г-н Достоевский вовсе не хотел сказать того, что Некрасову давались темы и подсказывались самые мысли, которые излагать следует; а что теории, проповедуемые людьми его лагеря, несомненно должны были восприниматься и Некрасовым, находившимся в постоянном с ними обращении, что, находясь Некрасов в другом лагере, что при других условиях было возможно для мало развитого Некрасова, он, окруженный другими людьми, пел бы другие песни, совершенно противоположные. Да, правда, г-н Достоевский не понимает так грубо и буквально влияния, которое имели, по его словам, на Некрасова люди его лагеря, но суть дела остается та же; притом я имел в виду не одного г-на Достоевского, а и других. А другие понимали это влияние именно в таком грубом, буквальном смысле» (там же, стр. 132).

Елисеев преимущественно потому так резко полемизировал с мнениями Достоевского, что они представлялись ему наиболее опасными, способными дезориентировать многих, в том числе и демократически настроенных читателей. Отсюда и элементы памфлета, карикатуры, недвусмысленные личные выпады обозревателя «Отечественных записок» против Достоевского, враждебный тон статьи Елисеева: «Условия во все время поэтической деятельности Некрасова были таковы, что он мог пристать к какому угодно лагерю, — явственно писал Елисеев, — и во многих отношениях в лагере г-на Достоевского и „Гражданина“ ему было бы гораздо удобнее быть, чем в том, где он был; следовательно, если, несмотря на многие неудобства, Некрасов остался все-таки в этом лагере, где был, то значит, что это было ему по душе, что он свободно хотел тут быть. Ведь не будет же г-н Достоевский утверждать, что Некрасов постоянно до конца жизни был не развит, что во всю жизнь свою он не мог понять той мудрости, которая исповедуется в других лагерях, ну, хоть бы в лагере г-на Достоевского и „Гражданина“» (там же, стр. 132—134).

Однако в апрельском «Внутреннем обозрении», отвечая А. С. Суворину, Елисеев иначе и в другой связи освещает «некрасовскую» главу «Дневника писателя», выделяя здесь тот полемический аспект статьи Достоевского, которому он не может не сочувствовать: «...статья его о Некрасове написана под самым неприятным впечатлением от толков вообще газет о покойном, преимущественно же от статьи г-на Суворина; против нее главным образом направляет свои удары г-н Достоевский... <...> своим рассуждением о несовместности той „практичности“, которую оправдывал г-н Суворин в Некрасове, с поэзией и о том, что всякое извинение подобной practicalности заключает в себе нечто принизительное для извиняемого и умаляет образ извиняемого чуть не до пошлых размеров, г-н Достоевский, так сказать, припирает г-на Суворина к стене. Отвечай, дескать, прямо, что такое был Некрасов: поэт-гражданин или стихослагатель-комедиант, самый яркий представитель искусства для искусства?» (ОЗ, 1878, № 4, стр. 320—321).¹

Свообразный итог затянувшегося спора о Некрасове-поэте и человеке подвел П. Н. Ткачев в статье «Литературные мелочи. Философские размышления о нравственности, нравственных идеалах и о других мелочах (Посвящается гг. Суворину, Достоевскому и Елисееву)», подписанной псевдонимом «Все тот же» (Д, 1878, № 6, отд. «Современное обозрение», стр. 1—35).

¹ Полемика Елисеева с Достоевским и Сувориным в значительной степени обусловила памфлетное использование писателем фактов биографии и творчества публициста «Отечественных записок» в романе «Братья Карамазовы»: образ семинариста Ракитина (об этом см.: наст. изд., т. XV, стр. 457, 597).

Согласившись со справедливостью слов Достоевского о невозможности говорить отдельно о Некрасове-поэте и Некрасове-гражданине, Ткачев затем остановился на споре в печати о «нравственных достоинствах и недостатках Некрасова» (там же, стр. 9). «Спор этот, — по мнению Ткачева, — в высшей степени характеричен для определения нравственного состояния современной литературы, а следовательно, и всей той интеллигентной среды, мнения, взгляды и идеалы которой выражает эта литература». Поэтому ведущий критик журнала «Дело» так определяет главную задачу статьи: «... мы считаем своею обязанностью остановиться на этой полемике, вникнуть в ее внутренний смысл, разоблачить ее истинный характер...» (там же, стр. 10).

Ткачев разбирает характер выдвинутых в печати обвинений по адресу Некрасова и того, что было сказано в его защиту. Критика «Дела» возмущает мелочность и мещанская узость взглядов обвинителей: «... все они стоят исключительно на точке зрения элементарной, уголовно-полицейской морали, все они касаются исключительно частной, домашней жизни поэта. Как будто полицейско-уголовная точка зрения есть самая подходящая для оценки его нравственного характера!» (там же).

Но и «защитники», как стремится показать Ткачев, оказались не намного лучше обвинителей. Особенно беспощаден критик к «представителю самоновейшей полицейско-патриотической прессы», «пресловутому червонному валету журналистики» А. С. Суворину (там же, стр. 13). Ткачев не считает даже нужным подробно останавливаться на мнениях Суворина: «Цинизм его нравственных взглядов до такой степени бьет в глаза, что едва ли они хоть кого-нибудь могут ввести в заблуждение». И далее, когда он сравнивает «оправдательные» аргументы в статьях Суворина и Достоевского, критик неизменно оговаривается, указывая, что последний «во всех своих нетенденциозных произведениях ... постоянно являлся и является красноречивым защитником „униженных и оскорбленных“; его „Мертвый дом“, его „Бедные люди“, его „Униженные и оскорбленные“, его „Идиот“, его „Преступление и наказание“, наконец, его „Подросток“ проникнуты такими высокими истинно-человечными, гуманными чувствами, что, разумеется, никому и в голову не может прийти ставить его в нравственном отношении на одну доску с каким-нибудь, с позволения сказать, Сувориным» (там же, стр. 19—20).¹

Тем решительнее восстает Ткачев против «психологического анализа» личности Некрасова в «Дневнике». Критик пришел к неутешительным выводам и даже заподозрил Достоевского в «самооправдании»: «„Некрасов-шулер, Некрасов — ловкий практик“, Некрасов, не презрющий никакими средствами для наживы денег, этот, одним словом, суворинский Некрасов все же лучше Некрасова, любящего народ не ради народа, а ради самого себя, Некрасова, видящего в этой любви какую-то „самоочистительную жертву“, — Некрасова, как его изображает г-н Достоевский. А ведь г-н Достоевский хотел оправдать Некрасова, хотел примирить с ним общественную совесть!.. Хорош защитник! Но, быть может, подобно г-ну Суворину, Достоевский, „оправдывая“ Некрасова, имел в виду совсем не его, а самого себя?» (там же, стр. 22).

Наибольшие, однако, возражения у Ткачева вызвали, как и у Елисеева, мысли Достоевского об особом, очистительном характере любви Некрасова к народу: «Я назвал любовь г-на Достоевского к народу оригинально, но я это сделал только из деликатности; в сущности же гораздо вернее ее назвать лживою, лицемерною, бессмысленною и в высочайшей степени безнравственою. Если действительно Некрасов любил народ подобно любовью, если подобно любовью любит его и Достоевский, то, очевидно, ни тот ни другой никогда его не любили, они только

¹ Также: «Да простит мне г-н Достоевский сопоставление его имени с именем Суворина; это сопоставление случайное и сделано мною без малейшего намерения оскорбить или унизить автора „Униженных и оскорбленных“» (там же, стр. 25).

идолопоклонствовали перед ним, то есть обманывали его, и притом обманывали умышленно, сознательно. В их идолопоклонстве нет и не может быть никакой искренности, — это идолопоклонство книжников и фарисеев» (там же, стр. 23).

Логично, что Ткачев всецело соглашается с полемическими возражениями Достоевскому (и, разумеется, Суворину) Елисеева, который «весьма резонно заключает», что «Некрасов вовсе не так сильно страдал от увлечения своего демоном самообеспечения и вовсе не так часто чувствовал потребность своего очищения и оправдания в любви к народу (то есть любви à la Достоевский) и в преклонении перед его правдой, как это выходит по теории г-на Достоевского» (там же, стр. 25). Но характер «защиты» хроникером «Отечественных записок» Некрасова-гражданина столь же мало удовлетворил Ткачева, как практическая философия Суворина и «теория» Достоевского. Ткачев точно уловил противоречивость и непоследовательность позиции Елисеева: «Посудите сами: Некрасов, которого мы <...> привыкли считать человеком вполне определенного лагеря <...> вполне определенного направления <...> постоянно внушил <...> даже „людям, вместе с ним работавшим“, самые противоречивые о себе представления. Он постоянно являлся перед ними „в фальшивом свете“ <...> Мало того: он не только считал позволительным говорить приспособительно к человеку, он считал даже позволительным и действовать приспособительно к обстоятельствам; поэтому как его слова, так и его поступки отличались, по словам хроникера, крайней противоречивостью...» (там же, стр. 31).

При всей своей остроте полемика по поводу речи и статьи Достоевского о Некрасове показала, что они стали заметными, яркими общественно-литературными событиями года.

Декабрьским выпуском «Дневника» за 1877 г. завершилось двухлетнее его издание. В прессе появились немногочисленные, но благожелательные итоговые статьи о «Дневнике». И. Ф. Тхоржевский и А. А. Тхоржевская (ур. Пальм) в статье «Ф. М. Достоевский и его „Дневник писателя“» (подписана их общим псевдонимом «Иван-да-Марья») отмечали успех «Дневника» среди читающей публики: «Давно, более четверти века тому назад, Ф. М. Достоевский жестоко поплатился за свои идеалы; но ему суждено было увидеть осуществление всего, за что он прежде ратовал, и он говорит теперь с нами о задачах нашего времени с искренностью человека, которому нечего скрывать, и с тем авторитетом, на какой ему дают право перенесенные им испытания. Его слушают как учителя и горячо сочувствуют ему, как испытанному другу. Его „Дневник“ имеет огромный успех. Но что всего важнее и чему до сих пор не было примеров — это нравственная связь, прекрасная сама по себе и удвоивающая силы писателя и возвышающая его душу <...> Таких хороших и таких близких отношений между писателем и обществом до сих пор еще не было <...> „Дневник писателя“ сделал первый удачный опыт в этом отношении, и в этом его огромная заслуга» («Донская пчела», 1878, 5 февраля, № 11).

С некоторыми оговорками («Я не разделяю многих славянофильских и особенно мистических взглядов и парадоксов г-на Достоевского...»), но тоже в целом весьма высоко оценил «Дневник писателя» за 1876 и 1877 гг. В. П. Буренин. Критик особенно выделил независимость и «внепартийность» издания. Он писал: «„Дневник“ г-на Достоевского был таким оригинальным, а главное, таким глубоко искренним изданием, что он приобрел себе самые живые симпатии не только у читателей, но даже и среди наших журнальных корреспондентов, которые любят называть себя партиями. Несмотря на парадоксальность многих воззрений высокодаровитого писателя, в его „Дневнике“, в продолжение двухлетнего срока, было высказано много своеобразных, верных и иногда необыкновенно глубоких, светлых мыслей и наблюдений и притом высказано такой задушевной, убеждающей, горячей речью. Без всякого сомнения, в нашей периодической литературе немного насчитывается изданий, могущих по внутреннему

интересу копкурировать с этим маленьkim журналом, издававшимся одним лицом, без помощи каких бы то ни было сотрудников. Все, кто читал „Дневник“, — а его читали очень и очень многие: он имел замечательный успех — конечно, пожалеют о том, что автор прекращает свою задушевную и симпатичную беседу о различных вопросах и явлениях современной действительности» (*НВр*, 1978, 20 января, № 681).

7

Возникшая в первый год издания переписка Достоевского с читателями «Дневника» в 1877 г. расширилась. Достоевский получал сотни писем от корреспондентов почти всех губерний России, на которые он часто был вынужден отвечать непосредственно в «Дневнике».¹

Писатель дорожил этой естественно возникшей связью с читателями. С ними издатель «Дневника» вел откровенный диалог, что давало ему основание считать многочисленных корреспондентов своими сотрудниками.

Достоевский с удовлетворением писал в обращении «К читателю» (октябрьский выпуск «Дневника» за 1877 г.): «...и не ожидал, начиная прошлого года „Дневник“, что буду встречен читателями с таким сочувствием (...) Благодарю особенно всех обращавшихся ко мне с письмами: из писем этих я узнал много нового. И вообще, издание „Дневника“, в продолжение этих двух лет, многому меня научило и во многом еще тверже укрепило».

Действительно, начиная с января Достоевский постоянно получал сочувственные и признательные письма, поток которых не уменьшился и после прекращения «Дневника». Так, с взволнованным письмом обратился к Достоевскому 20 февраля 1877 г. ученик 7-го класса смоленской классической гимназии: «...купил я Ваш январский „Дневник“ и начал читать, особенно меня заинтересовало начало первой главы и I и II статьи второй главы. Эти места из „Дневника“ я прочел несколько раз и сделался последователем Ваших идей, проводимых здесь (...) Вы делаетесь моим наставником! Я (...) с нетерпением ожидаю следующих выпусков» (*ВЛ*, 1976, № 9, стр. 103). Восторженный гимназист благодарит своего нового наставника, который помог ему не превратиться в «отъявленного нигилиста».

Откликнулся на январский номер «Дневника» изобретатель Н. Н. Салов, просивший в письме от 19 февраля 1877 г. поддержать идеи его брошюры «Изобретения. Как мы смотрим на изобретения и как должны быть на них смотреть» (СПб., 1877).² Поводом для обращения Салова, как и смоленского гимназиста, к писателю послужили слова Достоевского во второй главе «Дневника»: «А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но — слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...» (стр. 23).

Просил «и в февральском дневнике сообщить о состоянии здоровья Некрасова» в письме от 15 февраля 1877 г. крестьянин Новгородской губернии, почитатель великого поэта «смотритель топлива» на станции Дицнбург В. Ф. Соловьев (*Материалы и исследования*, т. II, стр. 317—318).

О своем удовлетворении содержанием первого номера поспешил сразу же (1 февраля) сообщить Достоевскому и К. П. Победоносцев: «Вот, любезнейший Федор Михайлович, когда вы были у меня, то сетовали, что январский № „Дневника“ выйдет у вас не в меру слабый, а вышло наоборот — весь в силе, и я, только что прочитав его, спешу благодарить вас за прекрасные статьи — все хороши, особенно, что вы

¹ Сведения о читателях-корреспондентах «Дневника» приведены в статье И. Л. Волгина «Редакционный архив „Дневника писателя“» (*РЛ*, 1974, № 1, стр. 154).

² См.: *Достоевский и его время*, стр. 274—276.

рассуждаете о штурме, да и о Фоме Данилове. Здравствуйте и радуйтесь» (ЛН, т. 15, стр. 132—133).¹

Горячо был принят читателями февральский выпуск, причем особенно большое впечатление на современников произвела вторая глава, вдохновившая Н. С. Лескова на «ночное» письмо 7 марта 1877 г. Лесков писал своему недавнему оппоненту: «Сказанное по поводу „негодяя Стывы“ и „чистого сердцем Левина“ так хорошо, — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, — иначе он не разобрат бы этого так. Это анализ умной души, а не головы» (Лесков, т. 10, стр. 449).

Февральский номер побудил написать Достоевскому и А. Л. Боровиковского (1844—1905), адвоката, поэта, постоянного корреспондента М. Е. Салтыкова-Щедрина. Боровиковского поразили те же страницы второй главы «Дневника», которые сочувственно принял Лесков. 14 марта 1877 г. Боровиковский прочел «Дневник» сразу же после процесса по делу «50-ти», на котором выступал в качестве защитника. Впечатления от процесса и от слов Достоевского о нарождающейся новой России и «чистых сердцем Левиных» неразрывно слились в его сознании. Естественно возникла необходимость написать автору «Дневника», поделиться с ним своими переживаниями, мыслями.² «Только вчера, по окончании „политического процесса“ (...) я прочел Ваш февральский „Дневник“, — ночью (как и Лесков) писал Достоевскому Боровиковский. — Но если бы я прочел его до тех жгучих впечатлений, какие я вынес из процесса, я не понял бы Вас. После процесса я читал то, что Вы „изо всей силы“ заявляете, — как мною самим прочувствованное, как несомненную истину. Только тогда поймешь правду, когда станешь думать сердцем. Вы писали не об этом деле, а вообще о великом движении, которое происходило на наших глазах. Но этот процесс — только один из трагических эпизодов того великого движения. Судили „революционеров“ (и некоторые из них сами полагают, что они «революционеры») — а между тем о революции почти не было и помину; только изредка — и то некстати, как нечто „заграницное“, как явно фальшиваяnota — звучали задорные слова, из которых оказалось возможным выжить нечто похожее на „революцию“. Все остальное, основной мотив — „русское решение вопроса“... Много юношей приговорены к каторге, между ними несколько превосходных девушек. Это „опасные“ люди — страшнее целых армий, потому что мир будет побежден не войною, не насилием, а именно этими бледными девушками, кроткою, страдающею любовью, не сильные, а „кrotкие наследия землю“... Но судьба права только в этом смысле...» («Каторга и ссылка», 1927, № 4, стр. 85—86).

Завершил письмо Боровиковский просьбой о личной встрече: «Без сомнения, Вы будете говорить об этом деле; Вы обязаны это сделать. Но из газет Вы узнаете мало. Не пожелаете ли Вы выслушать меня — очевидца от начала до конца. Я могу рассказать Вам даже больше, чем знают судьи, — то, что говорили мне эти чистые сердцем каторжники в тюрьме — „на свободе“, как другу. Я расскажу Вам правду, и, следовательно, Вы мне поверите» (там же, стр. 134).³

¹ Победоносцев продолжал внимательно следить за дальнейшей судьбой «Дневника». Его встревожила задержка номера за май—июнь: «Зная вашу заботливость, — писал он 6 июля, — я уже беспокоюсь, отчего не выходит до сих пор „Дневник“? Здоровы ли, здесь ли Вы, и все ли у вас благополучно?» (там же, стр. 134).

² «Я все это время точно в лихорадке», — писал 16 марта к А. Ф. Кони Боровиковский. — РЛ, 1961, № 2, стр. 170.

³ О письме Боровиковского см. статью: И. Л. Волгин. Доказательство от противного. Достоевский-публицист и вторая революционная ситуация в России. — ВЛ, 1976, № 9, стр. 123—128.

Лесков и Боровиковский принадлежали к числу более или менее случайных корреспондентов Достоевского. Основной же контингент читателей, подписчиков и корреспондентов его в 1877 г.— рядовая интеллигенция тогдашней России. Соответственно большая часть писем к издателю «Дневника»— искреннее и наивное выражение чувств читателей, непосредственный и живой отклик на затронутые Достоевским вопросы. Как правило, в письмах благодарность автору «Дневника» соседствовала с просьбой оказать нравственную или— реже— материальную помощь, осветить ту или иную проблему в очередном выпуске. Так, дочь богатого кронштадтского купца А. Ф. Герасимова писала 16 февраля 1877 г. Достоевскому: «...в Ваших произведениях вообще, а в „Дневнике“ в особенности, сказалась такая святая, честная, чистая душа, что как-то невольно веришь Вам и симпатизируешь» (Д., Письма, т. III, стр. 383). А далее— просьба выслушать и помочь советом: «Скажите же, что делать? Помогите, научите меня! Что лучше, что честнее: бежать ли от отца (...) или выйти замуж за человека, которого никогда не полюбишь так, как следует любить мужа? Скажите же, что делать? Так, как я жила до сих пор, я не могу больше жить: здоровье надламывается, силы слабеют, ум тупеет, характер портится. Где же исход? Где?» (там же).¹

Достоевский считал своим долгом отвечать на такие читательские письма, хотя ему и не всегда по душе была навязываемая роль врача-врачевателя душевых ран. Одной из своих постоянных корреспондентов он признавался в письме от 28 февраля 1878 г.: «Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорби? Иногда мне это пишут— но я знаю *наверно*, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их баюкали».

Писатель был признателен своим корреспондентам, ценил их сочувствие к «Дневнику». Но немногих он мог с определенностью назвать своими единомышленниками. Естественно, что мнениями и перепиской с последними Достоевский особенно дорожил. Так, он исключительно тепло ответил писателю и педагогу В. В. Михайлову (1832—1895), приславшему ему большое письмо (от 19 ноября 1877 г.), и в «Дневнике»,² и лично (16 марта 1878 г.). В письме Достоевский подчеркивал: «Я получаю очень много дружественных писем, но таких корреспондентов, как Вы, немного: в Вас чувствуешь своего человека, а теперь, когда жизнь проходит, а меж тем так бы хотелось еще жить и делать,— теперь встреча с *своим* человеком производит радость и укрепляет надежду. Есть, значит, люди на Руси, и немало их, и они-то жизненная сила ее, они-то спасут ее, только бы соединиться им».

К этой небольшой «своей» группе читателей-корреспондентов Достоевский относил и старых своих, еще с 1840-х годов, друзей— А. Н. Майкова и С. Д. Яновского. Майков, как видно из сохранившегося черновика его письма к Достоевскому (приблизительно датируется осенью 1877 г.), видел в «Дневнике» издание идейно себе близкое, драгоценное и необходимое. Вместе с тем он был не прочь влиять на направление «Дневника» в духе своих консервативных убеждений. В связи с этим, выражая симпатии автору «Дневника», Майков предлагал его вниманию и злободневные темы для ближайших выпусков: «Сколько соврано людьми простыми и здравомыслящими, которые полагают, что если бы у нас была конституция, то не было бы плевенских неудач... (...) Мы с Вами прислушиваемся к народному чувству. И вот я хотел предложить Вам, чтобы Вы в своем „Дневнике“ сохранили бы хоть некоторые действительно бывшие разговоры и рассуждения с лицами из простого народа. И я хотел Вам сообщить не-

¹ Достоевский ответил и на это, и на следующее письмо Герасимовой (от 15 марта).

² «Корреспонденту, написавшему мне длинное письмо (на 5 листах) о Красном Кресте, сочувственно жму руку, искренно благодарю его и прошу не оставлять переписки впредь» (декабрьский выпуск).

сколько из этих эпизодов. Жаль, если это потерянется для истории — корреспонденты передают множество черт, рисующих настроение войска, разные проявления солдат и офицеров. Но что здесь, в России, не на театре действий, дома, это надо сохранить в главных чертах, ибо то, что в армии, то есть только отражение того, что дома. Она не особый народ, не особое государство, не наемная дружина какого-нибудь кондотьера, а проявление в действии, видимо той силы, которая целиком находится дома, как стихия, из коей вышла однородная с ней армия...» (*Сб. Достоевский*, I, стр. 451—452).

Глубоко взволновало Достоевского письмо С. Д. Яновского от 8 августа 1877 г. (*Сб. Достоевский*, II, стр. 379). Достоевский тепло отвечал ему 17 декабря 1877 г.: «... я Вас всегда глубоко уважал и искренно любил. А когда думаю о давнопрошедшем и припоминаю юность мою, то Ваш любящий и милый лик всегда встает в воспоминаниях моих, и я чувствую, что Вы воистину были один из тех немногих, которые меня любили и извилили и которым я был предан прямо и просто, всем сердцем и безо всякой подспудной мысли. Это хорошо, что Вы иногда отзываетесь и вызываете тем и меня на обмен мыслей и впечатлений или, лучше сказать, на общение жизнью».

Но Достоевский придавал большое значение и критическим, полемическим и даже враждебным письмам. И хотя таких было сравнительно немного, Достоевский уделил своим оппонентам — анонимным и писавшим ему под своим именем — даже больше места, чем доброжелателям и поклонникам. Писатель тщательно готовил ответы полемистам, иногда делая сразу же заметки для себя на их письмах, как, например, на письме от 19 марта 1877 г. корреспондента «З», упрекавшего Достоевского в том, что его «искренняя, живая речь <...> не попадает в цель, тратится по-пустому» («Мне кажется, что я буду совершенно прав, если назову Ваше отрицательное отношение к явлениям общественной жизни — пассивным; это раз. А два, что уже сказал, — Вы бываете над целью и забываете о средствах, о том, что у нас происходит перед глазами. Нам нужна резкая оппозиция бюрократии, ее невежественному, всеноглощающему, нахальному деспотизму, в чем бы он ни проявлялся»). Достоевский набросал конспективный план ответа этому почитателю «почтенного и искреннего издания»: «Оппозиция бюрократии бьет мимо цели. Главного-то шагу и не видят, так же как и писавший о Левине. Сущность в воспитании нравственного чувства» (*ВЛ*, 1971, № 9, стр. 187—188).

В третьей главе мартовского выпуска (§ 1) Достоевский поделился с читателями планом «написать по поводу некоторых из полученных <...> за всё время издания „Дневника“ писем, и особенно анонимных»: «Думаю, что можно бы отделить несколько места в каком-нибудь из будущих „Дневников“ по поводу хоть бы одних анонимов, например, и их характеристики, и не думаю, чтоб это вышло так уж очень скучно, потому что тут довольно всевозможного разнообразия. Разумеется, обо всем нельзя сказать и всего нельзя передать и даже, может быть, самого любопытного. А потому и боюсь приниматься, не зная, совладаю ли с темой» (стр. 89).

Писатель осуществил свое намерение в выпуске за май—июнь (глава первая, §§ 2—3 «Об анонимных ругательных письмах», «План обличительной повести из современной жизни»). Здесь он ответил на письма, которые «написаны не для возражения, а для ругательства» (стр. 126). В 1877 г. Достоевский, как заметил И. Л. Волгин, получил «два письма, удивительно схожих между собой» (*РЛ*, 1976, № 3, стр. 142), — оба от анонимных корреспондентов, иронизировавших по поводу постскриптума к февральскому «Дневнику» («Ответ на письмо»). В первом, от 6 марта 1877 г. (из Петербурга), анонимный «подписчик» фамильярно «благодарил» «за удовольствие, полученное <...> при чтении второй главы <...> февральского „Дневника“» (*ВЛ*, 1971, № 9, стр. 191). «Так кстати потолковали Вы, — продолжал «подписчик», — да еще так хорошо потолковали, о грядущем царстве всеобщей любви». Затем анонимный корреспондент

обнажал истинную причину, побудившую его «обеспокоиться» автора «Дневника»: «Окончив „Дневник“, я находился в очень приятном возбуждении <...> на первы как бы бальзам животворящий пролился; сладко так мечталось, что вот есть же на свете такие хорошие, умные люди, как автор „Дневника“, что и еще, пожалуй, найдутся добрые люди, что их всё будет прибывать, прибывать и наконец придет время... И дернула же меня нелегкая заглянуть в следующую страницу, где обретается Ваша переписка с новохоперским врачом. Ну, его письмо самое обыкновенное: человек живет в глупи, скучает, ожидает с нетерпением почты, чтобы насладиться, отдохнуть, освежиться беседою с любимым писателем, понятно, человек раздражается, не получая следуемого, и пишет глупое, пожалуй — дерзкое письмо. Дело скучное, очень понятное. Ваш же, милостивый государь, ответ, признаюсь, совсем меня, да и многих, огорчил. Куда же, думаю, спряталась христианская любовь автора? Уж не фразы ли только вся его беседа, казалось, так прочувствованная? Вот какие печальные сомнения появились, вероятно, у очень многих, а должны бы явиться просто у всех после прочтения этой злополучной переписки» (там же, стр. 192). На лицевой стороне конверта иронического послания Достоевский записал: «За доктора. Аноним. Зачем отдал деньги подписчику?» (там же).

7 апреля 1877 г. с аналогичными претензиями к Достоевскому обратился анонимный корреспондент (подпись «Н. Н.»), на этот раз из Москвы. «Прочитав февральский выпуск „Дневника“ — писал московский аноним, — я был тронут до глубины души Вашей проповедью о христианской любви и смирении <...> Но, увы! Перевернув страницу, я случайно увидел Ваш ответ на письмо доктора из Новохоперска, то невольно подумал, как часто бывает слово далеко от дела, даже у таких последовательных мыслителей, как Вы <...>. Из Вашего ответа ясно видно, что Вы забыли и „самообладание“ и „самоодоление“ и глубокой тонкостью посрамили своего „ближнего“ перед целым городком, где всякий промах собрата делается общим достоянием для смеха и пересудов <...>. Я указал факт, который меня поразил своим противоречием, и далее предоставлю судить Вам как специалисту в деле человеческих чувств и мыслей... Не желая отдавать свое христианское имя на посмеяние, подобно доктору из Новохоперска. фамилии подписать не решаюсь, — если тут недоверие, то опо порождено Вами» (РЛ, 1976, № 3, стр. 142).

И на этом анонимном письме сохранилась заметка Достоевского: «За доктора. Аноним. Отвечать в газете» (там же). Ответить Достоевский все же предпочел в «Дневнике» — и не только двум упомянутым корреспондентам,¹ но и еще одному «ругателю», приславшему оскорбительное письмо по поводу объявления о болезни в апрельском выпуске. «Мой анонимный корреспондент, — писал здесь Достоевский, — рассердился не на шутку: как, дескать, я осмелился объявить печатно о таком частном, личном деле, как моя болезнь, и в письме ко мне написал на мое объявление свою пародию, весьма неприличную и грубую» (стр. 126).

Последнее анонимное письмо предрешило, по-видимому, вопрос об ответе «ругателям» в «Дневнике». Достоевский почти не вступает здесь в конкретную полемику с анонимными авторами. Он предельно обобщает, психологизирует и идеологизирует «материал», реконструируя «душу анонимного ругателя», набрасывает схему «серебряного литературного типа» («План обличительной повести из современной жизни»).

Приходили к Достоевскому отдельные раздраженные отзывы читателей о «Дневнике» и позднее. В частности, майско-июньский выпуск, содержащий две статьи об анонимных корреспондентах, вызвал враждебную реакцию Жигмановского и Андреевского (из слободы Голодаевки, недалеко от Новочеркасска), «советовавших» в письме от 21 июля 1877 г.: «Милостивый государь Федор Михайлович, не приходило ли Вам когда-

¹ Достоевский, вероятно, только письмо петербургского «подписчика» квалифицировал как «абсолютно враждебное».

шпбудь в голову, что Вы своим изданием „Дневника“ в ступе воду толчете или, что то же, занимаетесь переливанием из пустого в порожнее? Если Вам этого не приходило в голову, то для нас, читателей Ваших, это ясно как божий день. И если мы пишем Вам настояще письмо, то с искренним желанием посоветовать Вам бросить издание бесполезного и даже бессталанного „Дневника“, а заняться сочинением повестей и романов, которыми Вы действительно доставляете удовольствие, а главное, пользу публике» (ВЛ, 1971, № 9, стр. 188—189).

Автор «Дневника» получал критические письма не только от молодых, в большинстве своем радикально настроенных читателей,¹ но и от лиц с консервативными и реакционными взглядами, которых многое раздражало в его независимой, но и столь подчас противоречивой позиции. Характерна точка зрения подольского вице-губернатора, редактора охранительного «Варшавского дневника», князя Н. Н. Голицына, изложенная им в письме от 7 июня 1878 г. Достоевскому. Голицын отдавал должное независимому духу «Дневника»: «Вы — искатель правды, вот права Ваши на всеобщее уважение в среде всех лагерей, всех партий» (РЛ, 1976, № 3, стр. 138). Но как представитель сугубо охранительной консервативной партии, Голицын «далеко не разделял всего, что говорилось в „Дневнике“». Решительно не согласился Голицын с мыслями Достоевского о современной русской женщине, явно заподозрив автора в сочувствии к эмансипаторам. «Меня не приводит в восторг, — писал князь, — их (женщин, — Ред.) стремление идти в Красный крест и лазареты, зная очень хорошо, что из них 80% нигилисток, авантюристок, фельдшериц, акушерок, дочерей, живущих на воле и своевольно покинувших родной кров, жен, покинувших мужей, паконец, вообще женщин эмансипированных и свободно гуляющих по белу свету» (там же).

Сильное недовольство вызвало у Голицына содержание второй главы декабрьского выпуска. Он с раздражением писал: «К чему же эти проводы, эта народная скорбь, этот шум, демонстрации... Я спрашиваю, к чему?.. Хоронили сотоварища Чернышевского; „скорбный поэт“, „певец горя народного“, плаксивый деятель, скорбящий и охавший всю жизнь, хотя, кажется, ему следовало после 19 февраля настроить свою лиру или гармонику на мажорный лад...» (там же).

Достоевский не преувеличивал, когда некоторых своих читателей-корреспондентов называл «сотрудниками». Он широко воспользовался в «Дневнике» как их письмами, так и сведениями, содержащимися в этих письмах. Иногда он прямо отправлял корреспонденцию в типографию со своими пометами и указаниями. Так, в январском выпуске «Дневника» Достоевский в § 5 второй главы («Именинник») приводит большой отрывок из письма (от 11 ноября 1876 г.) помощника инспектора духовной Академии в Кишиневе М. А. Юркевича.² В февральском выпуске писатель частично пересказывает, корректно полемизируя с некоторыми мыслями, письмо русского добровольца А. П. Хитрова от 26 декабря 1876 г. из Белграда (§ 2 первой главы; подробнее об этом см. ниже, стр. 377—378).

Вторая и третья главы марговского выпуска непосредственно выросли из переписки Достоевского с литератором и критиком А. Г. Ковнером (см. о нем наст. том, стр. 387) п С. Е. Лурье (ср. о ней: наст. изд., т. XXIII, стр. 379—380). Во второй главе Достоевский пересказывает и приводит цитаты из писем Ковнера от 26 и 28 января, 22 февраля 1877 г.

Первое письмо Ковнера Достоевский характеризует как «длинное и прекрасное», «весьма (...) заинтересованное» его. Больше всего цитат в «Дневнике» из этого письма, меньше — из второго («другого»). Между

¹ Об одном из таких корреспондентов и о встрече с ним Достоевский писал в статье «Об анонимных ругательных письмах» (стр. 131).

² В ответе Юркевичу 11 января 1877 г. Достоевский писал: «... позвольте поблагодарить Вас за сообщение факта самоубийства ребенка. Этот последний факт очень любопытен, и без сомнения о нем можно кое-что сказать».

тем имело письмо от 28 января определило тональность и направление полемики Достоевского как в личном ответе Ковнеру (14 февраля 1877 г.), так и в «Дневнике».

Следует отметить, что, отвечая Ковнеру и Лурье, Достоевский страстно выступил против «высокомерного и бессмертного предубеждения против русского», как и вообще против национального «высокомерия», «самомнения» и «религиозной ненависти».

Особенно энергично Достоевский в письме к Ковнеру осуждает высокомерные и грубые представления своего корреспондента о массе русского простолюдинья: «В Вашем 2-м письме есть несколько строк о нравственном и религиозном сознании 60 миллионов русского народа. Это слова ужасной ненависти, именно ненависти». Заключив эту полемику главой «Похорона Общечеловека», писатель выразил горячую гуманистическую веру в то, что истинно самоотверженное деятельное служение и любовь к людям способны помочь нравственному объединению народов в единую дружную семью.

В третьей главе мартовского выпуска, являющейся своеобразным противовесом полемической второй, Достоевский приводит без купюр, но с небольшой стилистической правкой описание похорон доктора Гинденбурга из письма к нему от 13 февраля 1877 г. С. Е. Лурье (о ней см.: наст. изд., т. XXII, стр. 309). В ответе Лурье (11 марта 1877 г.) Достоевский предупредил о намерении использовать это место из письма в «Дневнике». После выхода в свет мартовского номера Достоевский с беспокойством спрашивал своего невольного «соавтора»: «...напечатал я о Гинденбурге по Вашему письму: не повредил ли Вам этим чем-нибудь в Вашем кругу?». Внимание и деликатность, не исключавшие принципиальной идеиной полемики, вообще были нормой в общении Достоевского с добровольными сотрудниками-корреспондентами.

Апрельский выпуск Достоевский завершил выпиской из книги И. Аболенского «Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам архидиакона Павла Алеппского». Выписка эта была прислана наместником Троице-Сергиевой Лавры, архимандритом Леонидом, из Воскресенска 12 апреля 1877 г. Последний писал: «Прилагаемо при сем статейкою можете воспользоваться как интересным материалом для ваших статей по Восточному вопросу» (ГБЛ, ф. 93.И.6.16). На письме архимандрита, направленном в набор, сделаны технические указания Достоевского наборщикам и небольшая, но показательная правка автора-издателя: заглавие § 4 первой главы — «Мнение „тишайшего“ царя о Восточном вопросе» — усеченная форма заголовка в письме («Мнение „тишайшего“ царя о так называемом ныне „Восточном вопросе“»), в последнем предложении из выписки («На все это вельможи отвечали будто бы ему: господи — даруй по желанию сердца твоего») Достоевским зачеркнуто «будто бы». Наконец, некоторые слова в выписке Достоевский выделил курсивом.

Корреспонденты не только предоставляли Достоевскому нужные сведения и документы, которые в отдельных случаях становились литературными фактами в «Дневнике», подкрепляя идеино-психологические, эстетические и политические рассуждения и выводы автора и сливааясь с ними. Письма корреспондентов писателя нередко определяли содержание статей «Дневника». Так, ответом на «несколько запросов из Москвы и из губерний» явилась статья «Что значит слово: „стрюцкие“?» (§ 1 первой главы ноябрьского выпуска).

Когда в октябрьском номере «Дневника» Достоевский объявил, что вынужден прекратить издание, он «стал получать от подписчиков и читателей „Дневника писателя“ сочувственные письма, в которых одни болезневали по поводу его болезни и желали ему выздоровления, другие выражали сожаление о прекращении журнала, так чутко отзывающегося на все, что волновало в то время общество! Некоторые высказывали желание (...) чтобы было можно хоть изредка слышать его искренние суждения о выдающихся событиях текущей жизни. Таких писем в начале

года (1878, — Ред.) пришло более сотни и письма эти производили на музыка самые добрые впечатления. Они доказывали Федору Михайловичу, что у него есть единомышленники и что общество ценит его беспристрастный голос и верит ему» (*Достоевская, А. Г., Воспоминания*, стр. 324—325).¹

Значительная часть писем к издателю «Дневника» в первой половине 1878 г., видимо, утрачена, по и немногие сохранившиеся подтверждают справедливость свидетельства А. Г. Достоевской.² Так, И. Л. Озмидов, владелец фермы в Химках, писал Достоевскому 2 января 1878 г. огорченный извещением о прекращении издания: «У Вас только одного я вижу указания, и разъяснения таких свойств человеческих, которых почти никто не видит и которые «...» существенные всего действуют в обществах людских. Ужасно подумать, что на всю Россию вы один такой... И вот не можете или не хотите сообщить нам свои мысли. А между тем настает самая неотложная нужда говорить именно о том, что Вы затрагиваете в своих изысканиях. Я не знаю ничего более важного, сложного, более основного, более радикального, более здравомысленного затронутых вами вопросов» (*Д. Письма*, т. IV, стр. 345).³

В ответ на просьбы своих читателей Достоевский пообещал в декабрьском номере «Дневника»: «Может быть, решусь выдать один выпуск и еще раз поговорить с моими читателями».⁴ Но этого обещания Достоевский не смог выполнить, чем вызвал разочарование читателей. От «лица многих студентов Казанского университета» Достоевскому писал 5 июля 1878 г. А. А. Порфириев (ум. 1879): «Появления этих условно обещанных выпусков мы (знакомый мне кругок студентов Казанского университета) ожидали с большим нетерпением, особенно последние два-три месяца. До сих пор, однако, не дождались. Последнее обстоятельство нас и огорчает и изумляет. Изумляет, потому что в последние 2—3 месяца совершилось столь много важного, столь неожиданного по своей внезапности, явились столь великие знамения грядущего совершившегося, что мы не находим объяснения, почему талантливый, посыпающий переживаемую эпоху писатель не высказывает о совершенных великой важности фактах своего слова. Ваше молчание нас огорчает, потому что очень и очень для многих необходимо слышать Ваше слово об жгучих вопросах чреватого изумляющими явлениями времени. Темы представляются бесконечно богатые и разнообразные «...» такие явления, о которых могущий должен сказать свое слово. И мы ждем от Вас этого слова; скажите его вовремя, и велика будет благодарность к Вам многих» (*Материалы и исследования*, т. II, стр. 319—320).⁵

¹ Публикацию писем читателей «Дневника» к Достоевскому см.: *Сб. Достоевский, II*, стр. 450—452; «Каторга и ссылка», 1927, № 4, стр. 85—86; *Д. Письма*, т. III, стр. 362—363, 377—383, 385—387, 389—390; т. IV, стр. 345, 355—356; *ВЛ*, 1971, № 9, стр. 173—196; № 11, стр. 196—223; *Достоевский и его время*, стр. 250—280; *Материалы и исследования*, т. II, стр. 297—323; *РЛ*, 1976, № 3, стр. 132—143.

² «На многочисленные вопросы моих подписчиков и читателей о том, не могу ли я хотя время от времени выпускать №№ «Дневника» в будущем 1878 году, не стесняясь себя ежемесячным сроком, спешу отвечать, что по многим причинам это мне невозможно», — писал Достоевский в декабрьском выпуске «Дневника».

³ Достоевский ответил Озмидову в феврале 1878 г.

⁴ Достоевский писал 17 декабря С. Д. Яновскому, что хочет «попробовать одно новое издание, в которое пойдет „Дневник“ как часть этого издания». Тогда же Достоевский составил программу журнала, в котором одна из разделов озаглавлен «Дневник писателя» (*ГБЛ*, ф. 93.1.3.12). Но этот замысел остался неосуществленным.

⁵ Весной (8 апреля) 1878 г. с просьбой откликнуться на недавние события (расправу мясников и торговцев Охотного ряда над участниками демонстрации 3 апреля) обратились к Достоевскому студенты-филологи Московского университета. Студенты писали, что «в два года «...» при-

Писатель высоко ценил свое непосредственное и личное общение с читателями. «Дневник» и был — в самом прямом смысле — и особенно в 1877 г. искренним и откровенным разговором автора с заинтересованным в этом диалоге читателем. Между выпусками «Дневника» и корреспонденциями читателей установилась прочная органическая связь. Достоевский был тронут и глубоко благодарен своим многочисленным корреспондентам, оказавшим такую горячую поддержку изданию. Е. С. Ильминской (ум. 1922), жене востоковеда и педагога Н. И. Ильминского, Достоевский писал 11 марта 1877 г.: «Я высоко ценю такое прямое обращение ко мне и дорожу таким отзывом. Что же больше и что же лучше для писателя? Для того и пишешь. Это — братское общение душ, которое самому удалось вызвать: самая дорогая награда». Жителю города Крестун Новгородской губернии Ю. Мюллеру он писал 21 сентября 1877 г.: «... я сохранию и передам моим детям Ваше письмо, вместе с другими, столь же лестными и дорогими для меня письмами от моих читателей, которые я удостоился получить в продолжение моей литературной деятельности».

Письма читателей были для Достоевского и необходимым подспорьем и драгоценным материалом, стимулировавшим и обогащавшим его публицистическую и художническую деятельность. Достоевский испытывал, по его словам, благотворное влияние от переписки с читателями; не только «учил», но и многому «научился» у своих корреспондентов. «Голубчик Степан Дмитриевич, — писал он 17 декабря 1877 г. Яновскому, — Вы не поверите, до какой степени я пользовался сочувствием русских людей в эти два года издания. Письма ободрительные и даже искренно выражавшие любовь приходили ко мне сотнями. С октября, когда объявил о прекращении издания, они приходят ежедневно, со всей России, из всех (самых разнородных) классов общества, с сожалениями и с просьбами не покидать дела. Только совестливость мешает мне высказать ту степень сочувствия, которую мне все выражают. И если бы знали, сколькому я сам научился в эти два года издания из этих сотен писем русских людей».

Стр. 6. ... *Франция со закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого бога...* — Здесь и ниже Достоевский подразумевает факты и события из эпохи французской революции 1789—1793 гг., о которых речь идет в восемнадцатитомной «Всемирной истории» Ф. К. Шлоссера (1776—1861), переведенной на русский язык (1861—1869) Н. Г. Чернышевским и В. А. Зайцевым. Об этом труде Достоевский упоминает в записной тетради 1875—1876 гг. — в перечне «нужных книг». О давнем интересе Достоевского к сочинениям Шлоссера свидетельствует предъявленный ему 29 августа 1862 г. счет книжного магазина А. Ф. Базунова (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 116). Шлоссер пишет: «Еще 3 сентября (1793 г., — Ред.) Тюрио привел в якобинском клубе определение просить Конвент о прекращении христианского богослужения. Конвент (...) повиновался (...) Конвент определил, что „католическое богослужение заменяется богослужением

выкли обращаться к (...) „Дневнику“ за разрешением или правильной постановкой поднимавшихся перед нами вопросов, привыкли пользоваться Вашими решениями для установления собственного взгляда и уважать их; даже когда не разделяли». «В настоящее время, — продолжали удрученные побоищем студенты, — у нас возникает один вопрос, определенного ответа на который не дает ни печать, ни общество. А между тем мы могли бы ожидать решения этого вопроса Вами, если бы продолжался Ваш „Дневник“ (...). В обществе не слыхать сильного, разумного слова; наши учителя молчат — и теряют право на название учителей» (Д, Письма, т. IV, стр. 355—356).

На это письмо Достоевский ответил 18 апреля 1878 г., но в печати не высказался ни после московского, ни после казанского студенческих воззваний.

Разуму". Этому новому божеству была отдана церковь Notre Dame, другие церкви другим аллегорическим божествам: Свободе, Молодости, Брачной любви и т. п.» (Ф. К. Шлоссер. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи, т. V. СПб., 1868, стр. 392).

Характеризуя непоследовательную политику видных членов Конвента в отношении церкви, Шлоссер пишет: «Робеспьер <...> заметил, что явный атеизм произвел дурное впечатление. Потому он выставил своих противников атеистами, а сам стал проповедовать веру в бога <...> 21 ноября он явился перед якобинцами защитником существования бога, декламировал против атеизма и называл его аристократизмом. Таким образом партия Дантона лишилась популярности и Робеспьер представлялся последней надеждой для угнетенного большинства французов, не разделявших атеистического фанатизма <...> 8 июня было назначено торжество, названное праздником Верховного Существа; Робеспьер должен был явиться на нем чем-то вроде первосвященника» и т. д. (там же, стр. 394, 396, 403).

Стр. 7. ... *Liberté, Egalité, Fraternité — ou la mort, то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы...* — Впервые эта формула употреблена Достоевским в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. наст. изд., т. V, стр. 81). С католицизмом она связывается в романе «Идиот» (см. наст. изд., т. VIII, стр. 450—451). Затем она употребляется в «Бесах» (наст. изд., т. X, стр. 473), «Дневнике писателя» 1876 г. (наст. изд., т. XXII, стр. 362). См. также наст. изд., т. IX, стр. 458. Достоевский называл эту «новую формулу всечеловеческого единения, провозглашенную французской революцией 1789 года», недостаточной, потому что от претворения ее в жизнь выиграла лишь незначительная часть населения Франции — буржуазия, захватившая «политическое главенство» (см. стр. 152).

Стр. 7. ... *протестующий еще со времён Арминия и Тевтобургских лесов.* — Вождь германского племени херусков Арминий (17 до н. э.—19 н. э.) разбил римлян в битве в Тевтобургском лесу (9 н. э.). См. наст. изд., т. XXIV, стр. 104, 233.

Стр. 7. ... *в Лютерову ересь...* — Вождь протестантизма Германии Лютер (1483—1546) был осужден как еретик вормским эдиктом (май 1521).

Сопоставляя и противопоставляя католичество, протестантство и православие и отдавая безоговорочное предпочтение последнему, Достоевский опирается на учение А. С. Хомякова, имя которого, в связи с этим вопросом, дважды упоминается еще в записной тетради 1864—1865 гг. Согласно учению Хомякова, сформулированному в его сочинении «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях» (1853), свобода угнетается католицизмом во имя единства, протестантство чрезмерно ценит свободу, и только православие верно духу христианства, так как гармонически сочетает единство и свободу (см. наст. изд., т. XX, стр. 190, 381). См. также наст. изд., т. XI, стр. 179—270.

Стр. 9. ... *не война за какое-нибудь наследство или из-за пререканий каких-нибудь двух высоких дам, как в прошлом столетии.* — Речь идет о войне за испанское наследство (1701—1714) между Францией и коалицией Австрии, Англии и Голландии. Под «двумя высокими дамами» подразумеваются фаворитки английской королевы Анны Стюарт (1664—1714) герцогиня С. Д. Мальборо (1660—1744) и мисс Хилл, впоследствии жена лорда Мэшема. Герцогиня Мальборо, представлявшая интересы партии вигов, побуждала королеву к продолжению войны с Людовиком XIV; мисс Хилл, представительница тори, склоняла ее к миру. Борьба между этими фаворитками за влияние на королеву окончилась в пользу мисс Хилл (см.: Ф. К. Шлоссер. История восемнадцатого столетия..., т. I. СПб., 1868, стр. 68, 69, 72, 73, 76, 77, 81, 83).

Стр. 9. ... *идею народную не только не понимают, но и не хотят совсем понять «ободнявшие Петры наши».* — См. статью «Словечко об оболпявшем Петре», заключающую «Дневник писателя» за 1876 г. (т. XXIV, стр. 63).

Стр. 10. ... «за великое дело любви...» — Стока из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

Стр. 10. Но это лишь «слова и мысли». — Сокращенно сконцентрированная цитата из «Гамлета» Шекспира. Преднамеренно реминисцентный характер комментируемого выражения очевиден при обращении к известным Достоевскому переводам шекспировской трагедии на русский язык. Восклицание короля (см. акт III, сцена 3) Н. А. Полевым (1796—1846) было переведено следующим образом:

Слова па небо — мысли па земле!
Без мысли слово недоступно к богу!

(Гамлет, принц датский. Драматическое представление. Сочинение Уильяма Шекспира. Пер. с англ. Николая Полевого. М., 1837, стр. 129). То же восклицание в переводе А. И. Кронеберга (?—1855), сделанном в 1844 г. и получившем высокую оценку Беллского:

Слова летят, но мысль моя лежит;
Без мысли слово к небу не взлетит.

(Полн. собр. драматических произведений Шекспира в переводе русских писателей. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В. Гербеля. Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1876, стр. 41).

Стр. 10. ... обидел этот торжествующий теперь, после летних восторгов, цинизм... — Под «летними восторгами» подразумевается проявленное летом 1876 г. деятельное участие (сбор средств, посылка добровольцев) русского общества к судьбе славян Балканского полуострова. Достоевский писал об этом в конце июльско-августовского выпуска «Дневника писателя» 1876 г. (гл. IV, § 5 «Органическое для России лето» и «Post scriptum», см. наст. изд., т. XXIII, стр. 100—105). Однако приблизительно с осени 1876 г., в связи с нарастающей угрозой войны с Турцией, в русской печати (главным образом, либеральной и демократической) все чаще начинают раздаваться голоса, подвергающие сомнению необходимость участия России в военном решении Восточного вопроса. В качестве главной задачи, стоящей перед русским обществом, эта печать считает «мир», в условиях которого предстоит решать несравненно более важные и неотложные, по ее мнению, вопросы о просвещении народа и действенном улучшении его экономического быта. Газетные и журнальные статьи, очерки и «корреспонденции» на эту тему Достоевский и квалифицирует как выражение «торжествующего теперь... цинизма». Так, вдавая должное отдельному изданию щедринского цикла «Благонамеренные речи» (СПб., 1876) и статье известного впоследствии ориенталиста, профессора петербургского университета В. Д. Смирнова (1846—1922) «Турецкая цивилизация» (ВЕ, 1876, № 9), публицист «Голоса» Ларош писал в заключение своего фельетона «Литература и жизнь»: «Мы прямые потомки крепостного, крепостнического времени. ... Много ли мы можем показать хорошего при таком родстве, при таком происхождении? Дайте вырасти, возмужать, состариться и умереть тому трудному младенцу, который сегодня сосет грудь свободной крестьянки, и тогда будет Россия, настоящая уже Россия, на которую вам не придется негодовать ежедневно, ежечасно, ежеминутно. А пока вы имеете дело с организмом, истощенным и потрясенным вследствие слишком долгого откладывания реформ, слишком долгого преобладания принципа „полицейского государства...“». И несколько выше: «Кажется, Чаадаев сказал, что мы, русские, совсем не восточный народ, а северный ... сравнивая окончательный вывод из „Благонамеренных речей“ с тем, что мы читаем в последней книжке „Вестника Европы“ о „турецкой цивилизации“, мы можем притти к тому определению, которого не допускал Чаадаев» (Г., 1876, 22 сентября. № 262). О неизжитой «нашей дрянности» писал и А. М. Жемчужников. Непосредственно по Восточному вопросу он высказывался следующим образом:

«Я утверждаю, с особенностью настойчивостью, что человек, имеющий чью-нибудь сказать, в настоящее время, в пользу мира, обладает поистине неоспоримым правом высказываться в этом смысле столь же смело и резко, без всяких уверток, умолчаний и унизительных приседаний перед публикою, как и тот, кто убежден в необходимости и пользе войны. Каждый свободен не соглашаться с этим сторонником мира и оспаривать его воззрения, но никто не имеет ни нравственного права, ни разумного основания обзывать его туркофилом, изменщиком славянскому делу или человеком, лишенным патриотизма» (А. Жемчужников. Русское общественное движение. (Письмо к редактору). — Г., 1876, 20 октября, № 290). Достоевский заметил эту статью Жемчужникова и собирался ему «возвратить короче и энергичнее» (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 277).

После ряда поражений сербской армии, командование которой было поручено М. Г. Черняеву, в русских газетах и журналах стали появляться статьи и заметки с резкой критикой его действий и распоряжений. В глазах Достоевского Черняев был героем и талантливым военным деятелем, поэтому критику в адрес этого генерала он также считал выражением цинизма.

Стр. 10. ...почти рад нашей штунде... — О штунде см.: наст. изд., т. XVII, стр. 416—417; т. XXI, стр. 58—60; т. XXII, стр. 403—404; т. XXIV, стр. 207, 214.

Стр. 10. Кстати, что такое эта несчастная штунда? Несколько русских рабочих у немецких колонистов поняли, что немцы живут богаче русских и что это оттого, что порядок у них другой. — Эти вопросы, ответ и отчасти последующее резюме о сущности учения штундистов свидетельствуют о знакомстве Достоевского со статьей М. Пащенко «Духовные секты в новороссийском крае», напечатанной в журнале «Гражданин». Пащенко писал о штунде: «Религиозное заблуждение появилось в нашем крае очень недавно, почти в то время, когда эманципация открыла окно и народ начал свободно знакомиться с чуждым ему миром. Многие из крестьян, привлеченные выгодными ценами, поступали в работники к колонистам. Живя в чуждой им семье по вере и обычаям, крестьяне — большую частью молодые люди, вообще плохо понимавшие сущность православия, — легко могли соблазниться свободой, дававшей самому забиться о спасении своей души». В той же статье отмечалось, что многие крестьяне, «возвратясь после долгого отсутствия» домой, «внесли в свои села и чуждые до того времени религиозные убеждения. Начали замечать, что пришельцы, служившие преимущественно в немецких колониях, не ходят в церковь, не держат постов, не признают икон и вообще ведут жизнь особняком. Спустя некоторое время увидели, что уж пристают к ним и другие сельчане ...». Одни по одному узнали они, что такие-то принесли новую веру, что она называется — штунд и — кто в нее уверует, тот будет святым» (Гр., 1876, 18 июля, № 25, стр. 699).

Стр. 10—11. Случившиеся тут пасторы разъяснили ~ Вот и соединились кучки русских темных людей, стали слушать, как толкуют Евангелие... — Возможно, что один из этих пасторов — посещавший русских штундистов на юге России «проповедник из Гамбурга Иоанн Ункен (Оппекен), издатель и составитель многих книг в духе ана뱁тистов» (см. цитированную выше статью М. Пащенко: Гр., 1876, 18 июля, № 25, стр. 700). Задолго до этого — но из того же журнала «Гражданин» — Достоевский узнал о распространении штундизма в Херсонской губернии пастором Бонекетбергом (см. наст. изд., т. XXI, стр. 414). Достоевскому были известны также данные о распространении штундизма на Украине, опубликованные газетой «Новое время» из газеты «Киевлянин» (см.: ЛН, т. 83, стр. 637).

Стр. 11. История вечная, старая-престарая, начавшаяся вораздо раньше Мартына Ивановича Лютера... — Достоевский вспоминает о попытках изменения форм церковной обрядности и вообще католических форм верования в бога, происходивших задолго до начала движения, известного под названием Реформация (1517—1648).

Стр. 12. ... хлыстовщиной — этой древнейшей сектой всего, кажется, мира... — То же самое говорил о хлыстовщине Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXII, стр. 99).

Стр. 12. ... и тамплиеров судили за верчение и пророчество... — Духовно-рыцарский орден тамплиеров, или храмовников, был основан в Иерусалиме после первого крестового похода (XII в.). Под влиянием длительного пребывания в мусульманской среде и вследствие разобщенности с христианским миром, тамплиеры возымели склонность к суевериям и к неканоническим христианским обрядам. Ложно обвиненные в ереси (в отрицании Христа, идолопоклонстве и дурных нравах), рыцари ордена во главе со своим магистром Жаком де Молле были преданы сожжению на кострах инквизиции. О «бездественном жребии» этого «славного ордена» упоминал Карамзин в «Письмах русского путешественника» (см.: Карамзин. Избранные сочинения, т. 1, стр. 429). См. наст. изд., т. XXII, стр. 367—368.

Стр. 12. Квакеры (от англ. quakers — «трясущиеся») — секта, возникшая в Англии в XVII в. Своё название эти сектанты получили в насмешку над судорожными движениями и припадками, которым они подвергались, когда «снисходил на них дух божий». Основатель секты — Георг Фокс (1624—1691).

Стр. 12. Дифия — жрица-прорицательница в храме древнегреческого бога Аполлона в Дельфах, смысл пророчеств которой был зачастую неясен и бессвязен.

Стр. 12. ... и у Татариновой вертелись и пророчествовали... — Сведения о характере деятельности религиозной секты, о которой идет здесь речь, Достоевский мог почерпнуть из различных источников. См. об этом наст. изд., т. XXII, стр. 367.

Стр. 12. ... и редстокисты наши, весьма может быть, кончат тем, что будут вертеться... — О Редстоке и его учении Достоевский подробно писал в «Дневнике писателя» 1876 г. (см. наст. изд., т. XXII, стр. 98—99; ср. также: Д., Письма, т. III, стр. 350—351).

Стр. 12. ... многие смеются совпадению появления обеих сект у нас в одно время... — М. Пащенко, автор упоминавшейся выше статьи «Духовные секты в новороссийском krae», отмечал, что впервые столкнулся со штундистами в 1871 г. Достоевский в марте 1876 г. вспоминает, что присутствовал на проповеди лорда Редстока «три года назад» (см. наст. изд., т. XXII, стр. 98).

Стр. 12. ... было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском инвалиде»... — В газете «Русский инвалид» (1876, 27 апреля, № 90, отдел «Внутренние известия») так рассказывалось о поведении унтер-офицера Фомы Данилова после захвата его в плен кипчаками в ноябре 1875 г.: «Вышедший к нему навстречу Абдул-Мумын (...) двукратно предлагал Данилову, по приказанию Пулата, перейти в мусульманство, обещая за это богатства и хорошие должности и угрожая, в противном случае, расстрелением. Унтер-офицер Данилов оба раза с негодованием отверг эти предложения, причем на вторую попытку Мумына сказал: „В какой вере родился, в такой и умру...“». После третьего отказа «был сделан неправильный залп; опустился Данилов, но жил еще около часу. Смерть Данилова, по показанию туземцев, произвела глубокое впечатление на присутствовавших: народ, расходясь, говорил, что „русский солдат умер, как батыр“».

Это газетное известие о поведении и гибели Фомы Данилова впоследствии было использовано Достоевским в романе «Братья Карамазовы» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 117—121; т. XV, стр. 545).

Стр. 12. ... в виде обыкновенного газетного *entrejlet*... — Т. е. сухой информации в ряду других газетных сообщений.

Стр. 13. ... Черняев, сербы, Киреев... — Имя отставного русского генерала М. Г. Черняева, принявшего во время турецко-сербской войны пост главнокомандующего сербской армией, в течение всей этой войны (июль—октябрь 1876 г.) и позже не сходило со страниц русской периодической печати. Достоевский нередко упоминает о нем в «Дневнике писателя»

за 1876 (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 104—105 и др.) и 1877 гг. (см. стр. 43). Н. А. Киреев (1841—1876) — отставной штаб-ротмистр лейб-гвардии конного полка, славянофил, организатор отправки русских добровольцев в Сербию. Командовал, под именем Хаджп-Гирея, отрядом болгарско-сербской милиции и проявил исключительную храбрость. По одним сведениям (см.: *Тургенев, Письма*, т. XII, кн. 1, стр. 597) погиб 6 (18) июля 1876 г. в сражении при Братарнице, по другим (см.: *ЛН*, т. 83, стр. 644) — при штурме турецких позиций под Раковицами. После гибели Киреева число русских офицеров и отставных солдат, добровольно отправлявшихся воевать на стороне Сербии, значительно возросло. В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский упоминал о Кирееве как о человеке, «положившем жизнь свою за народное дело», и называл его смерть «кончиной за народ» (см. наст. изд., т. XXIII, с. 69).

Стр. 13. ...*пожертвования*... — Пожертвования в фонд помощи жертвам турецкого насилия в Болгарии (лето 1876 г.) и в фонд обеспечения отправки русских добровольцев в Сербию. Сбором денежных средств на эти нужды ведали различные благотворительные комитеты в Москве и в Петербурге. Нередко пожертвования такого рода направлялись и в редакции газет.

Стр. 13. ...*самарский губернатор навел справки со сто двадцати рублей в год*. — Эти сведения заимствованы Достоевским из газеты «Новое время» (1876, 31 декабря, № 302, отдел «Внутренние известия»).

Стр. 14. ...*те самые крестоносцы, которых появление вновь Грановский, например, считал бы чуть ли не смешным и обидным «в наш век положительных задач, прогресса»...* — Достоевский выражает принципиальное несогласие «с циничной» точкой зрения на современную историю, политику и дипломатию, высказанной не Т. Н. Грановским, как он считал, а Б. Н. Чичериным в анонимно изданной брошюре «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года» (Лейпциг, 1861).

Продолжая полемику по Восточному вопросу с «Грановским», начатую в «Дневнике писателя» в предшествующем году (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 63), Достоевский подкрепляет прежнюю аргументацию новыми данными — сведениями о христианском подвиге Фомы Данилова, который выдвигается им на передний план как типичный представитель русского народа, современный «крестоносцу», «рыцарь без страха и упрека». Об этом свидетельствует характерная помета в записной тетради 1876—1877 гг.: «К подвигу унтер-офицера Максимова (описка Достоевского; нужно: Данилова, — Ред.) прессы отнеслась сухо. Не нашего, дескать, мира. Эх, что защищать христианство. (Грановский). Крестовые походы. Общечеловеческое. А христианство не общечеловеческое. Эх свиньи.» Хотя бы честность и сила духа должны были поразить сердечно; этот унтер-офицер есть воплощение народа, с его незыблемостью в убеждении...» (стр. 229).

Стр. 16. ...*я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить такой народ*. — Этот мотив неоднократно встречается у Достоевского и ранее — в «Записках из Мертвого дома», в статье «Книжность и грамотность» (1861), в «Дневнике писателя» за 1876 г.

Стр. 16. ...*«Врачу — исцелился сам»*. — Цитата из Евангелия от Луки (гл. IV, ст. 23).

Стр. 17. «*Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что соживет он на то, чтобы стоять во главе народа...*» — Помимо общепочвеннического своего значения, это суждение Достоевского интересно как отголосок романа «Подросток», один из героев которого (Крафт), уверившись в том, что он представитель лишь «второстепенного» (русского) народа, кончает жизнь самоубийством.

Стр. 18. *Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем?* — Юношу с такими мечтами Достоевский изобразил в романе «Подросток».

Стр. 19. ...*«счастье лучше богатства»*. — Этую русскую пословицу герой романа «Подросток» Версилов, осуждая житейское благородство, заменяет другим правилом, противоположным по смыслу: «...не твержу

тебе, что „счастье лучше богатырства“; напротив, богатырство выше всякого счастья...» (наст. изд., т. XIII, стр. 174; см. также комментарий: т. XVII, стр. 378—379).

Стр. 19. ...*торговцы и кораблестроители, живущие богато и с чрезвычайною отраслью...* — Подразумеваются англичане и голландцы.

Стр. 20. ...*стрюцкие*. — Подлые, дрянные, презренные люди (см.: В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV. М., 1955, стр. 346). См. статью «Что значит слово „стрюцкие“?» в ноябрьском выпуске «Дневника» за 1877 г. (gl. I).

Стр. 21. *Целое восемнадцатое столетие — лишь вид перенимали*. — Прежде всего Достоевский имеет в виду русское общество, вынужденное спешно «переродиться в европейцев» при Петре I. Затем его нареканиям подвергаются русские вельможи и по-европейски образованные люди, жившие в эпоху Екатерины II. Эти и многие другие инвективы по адресу «перенимающих вид» русских европейцев типичны для всей публицистической деятельности Достоевского начиная с 1860-х годов.

Стр. 21. *Еще до Петра, при московских еще царях и патриархах, один тогдашний молодой московский франт — прицепил европейскую шлагу*. — Достоевский мог иметь в виду родственника царя Алексея Михайловича Н. И. Романова, князя А. М. Кольцова-Мосальского, а также князя В. Б. Голицына (1643—1714), фаворита Софии Алексеевны.

Стр. 21. *Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера...* — Достоевский имеет в виду отношение к Руссо и Вольтеру подавляющего большинства русского образованного дворянства и даже венценосных особ (Екатерина II). Вместе с тем здесь содержится, по-видимому, персональный намек на Карамзина, который, вспоминая о своем пребывании в Швейцарии, писал в статье «Несколько слов о русской литературе»: «Автор совершаet поездки в Савойю, в Швейцарию; ему кажется, что на острове св. Петра он видит тень Ж.-Ж. Руссо, в экстатическом состоянии беседует с нею и возвращается в Женеву — читать продолжение „Исповеди“, которое только что вышло в свет. Он неоднократно посещает Фернейский замок, откуда некогда лились лучи просвещения, рассеявшие в Европе тьму предрассудков, где загорелись лучи остроумия и чувства, заставлявшие то плакать, то смеяться всех современников» (*Карамзин. Избранные сочинения*, т. 2, стр. 150).

Стр. 21. ...*мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созаванию «Национальных Штатов» в 89 году...* — О сочувственном отношении Карамзина к Великой французской буржуазной революции 1789—1793 гг. Достоевский узнал, по всей вероятности, в 1866 г., когда были опубликованы письма Карамзина к поэту И. И. Дмитриеву. В одном из писем (от 16 ноября 1797 г.), сообщалось: «Издатель французского „Северного зрителя“ (французский журнал *«Spectateur du Nord»*, издававшийся в Гамбурге, — Ред.) требовал от меня чего-нибудь. Я послал к нему: „Un mot sur la littérature russe“ («Несколько слов о русской литературе», — Ред.). Письмо мое напечатано в октябре месяце журнала; но я не имею еще этой книжки» (*Письма Карамзина к Дмитриеву*, стр. 82). В письме Карамзина от 18 января 1798 г. вновь сообщалось: «У меня нет копии с письма моего к издателю французского „Северного зрителя“; оно напечатано в октябре месяце журнала ...». Издатель и читатели довольны...» (там же, с. 91). Это-то «письмо», а по существу статья, перепечатанная в самом конце «Писем Карамзина к Дмитриеву» (стр. 473—483), и содержало несколько сочувственных суждений о революционной Франции и ее политических учреждениях (о себе как авторе «Писем русского путешественника» Карамзин всюду говорит в третьем лице): «О французской революции он услышал впервые во Франкфурте-на-Майне; известие это его чрезвычайно волнует ... он спешит в Швейцарию, чтобы там вдохнуть воздух мирной свободы ... Наконец, автор прощается с прекрасным Женевским озером, прикрепляет к шляпе трехцветную кардру, въезжает во Францию, некоторое время живет в Лионе ... и, наконец, надолго останавливается в Париже ... Наш путешественник при-

существует на бурных заседаниях в Народном собрании, восхищается талантами Мирабо, отдаёт должное красноречию его противника аббата Мори и сравнивает их с Ахиллесом и Гектором... И, наконец, автор собрался рассказать о революции... Можно было бы ждать пространного письма, но в нем всего несколько строчек; вот они: «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел. Прочтите одно замечание в «Эмиле», и книга выпадет у вас из рук. Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточно зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершенную. Нет. Нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений. Крайнее возбуждение умов говорит за то. Я опускаю занавес» (Карамзин, *Избранные сочинения*, т. 2, стр. 149, 150, 151—153).

Стр. 21. Даже самые «белые» из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же «красными»... — Одним из таких «красных», в глазах Достоевского, был Карамзин — автор «Писем русского путешественника» и корреспондент французского журнала «Spectateur du Nord». В связи с этим следует также иметь в виду, что, упоминая в «Письмах русского путешественника» о «счастливых временах французской литературы, которые прошли и не возвратятся», Карамзин утверждал: «Век Вольтеров, Жан-Жаков, Энциклопедия, „Духа законов“ не уступает веку Расина, Буало, Лафонтена» (Карамзин, *Избранные сочинения*, т. 1, стр. 419). Но главным образом сарказм Достоевского направлен не на Карамзина, а на тех русских (по преимуществу вельмож екатерининского времени и их потомков), которые, попав за границу, слепо, по-рабски, чисто подражательно перенимали западноевропейские идеи, нравы и обычаи. Так, в «Письмах русского путешественника» приведено следующее высказывание немецкого писателя Х. М. Виланда о графе А. П. Шувалове (1744—1789): «Я видел вашего Шувалова», острого человека, напитанного духом этого старика (указывая на бюст Вольтера). Обыкновенно ваши единоземцы стараются подражать французам...» (там же, стр. 176—177). Современник Достоевского, Дмитрий Кобеко, приведя эту цитату из «Писем русского путешественника», резюмировал в своей статье «Ученик Вольтера граф Андрей Петрович Шувалов»: «...все общество, которое окружало императрицу, Строгановы, Шуваловы и Чернышовы, были тем же, чем они и остались — garçons regguquiers de Paris (выучениками парижских парикмахеров, — Ред.)» (РА, 1881, т. III, № 2, стр. 273—274).

Стр. 21. ... в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму... — Подразумеваются Белинский, Герцен, Огарев, члены кружка Петрашевского.

Стр. 22. Наши помещики продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы... — Намек прежде всего на А. И. Герцена, который, покинув Россию и обосновавшись сначала в Париже, помогал Пьеру Жозефу Прудону (1809—1865) в издании газеты «La Voix du Peuple» («Голос народа», 1849—1850). Герцен внес за Прудона крупный, по существу безвозвратный денежный залог (24 000 франков), без которого издание, по тогдашним стеснительным французским законам, было невозможно, и напечатал в этой газете несколько своих статей (см.: Герцен, т. X, стр. 184—195). Как бы заранее отклоняя упреки, подобные этому, Герцен писал в одной из глав «Былого и дум»: «Глупо или притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприметное, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений. Поэтому я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства» (там же, стр. 132).

По-видимому, наряду с Герценом Достоевский имел в виду и Тургенева. Об этом свидетельствует обращенная к Тургеневу фраза в записной тетради 1875—1876 гг.: «Вы выпородили письмецо и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет» (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 74).

Стр. 22. ...*a наши Рудины умирали на баррикадах*. — Сцепой гибели Рудина на парижских баррикадах романа Тургенева (1855) был дополнен в издании 1860 г. Упоминая о «наших» Рудинах, Достоевский намекал, по всей вероятности, и на М. А. Бакунича (главный прототип Рудина), принявшего активное участие в дрезденском восстании 1848 г.

Стр. 22. ...*Grattez ~ le russe et vous verrez le tartare...* — Это выражение, ставшее пословицей, Достоевский употреблял и рапьше (см. наст. изд., т. XIII, стр. 454; т. XVII, стр. 392; т. XXIII, стр. 39; т. XXIV, стр. 92).

Стр. 23. ...*в ней все Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама*. — Идею о всемирном братстве человечества Достоевский выражает здесь, обращаясь к библейским образам и представлениям. Согласно библейской легенде, рассказанной в «Первой книге Моисеевой» («Бытие»), у Ноя, спасенного богом от всемирного потопа, было три сына. По окончании потопа старший сын Ноя Сим стал родоначальником семитических племен и народов, потомки Хама, второго по старшинству сына, заселили Африку, а из потомков Иафета, самого младшего сына Ноя, образовалась индо-европейская раса, в состав которой вошли и европейские народы — «всё Афетово племя», по определению Достоевского.

Стр. 23. *О ходе процесса мои читатели, вероятно, уже знают из газет*. — Суд над участниками революционной демонстрации, происходившей на Казанской площади в декабре 1876 г., начался «в особом присутствии правительства сената» 18 января 1877 г. Материалы этого судебного процесса публиковались в газете «Правительственный вестник» и перепечатывались затем всеми крупными петербургскими и московскими газетами. Об участниках казанской демонстрации Достоевский писал в декабрьском номере «Дневника» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 51—52).

Стр. 24. ...*в горячей передовой статье...* — Подразумевается анонимная статья «По поводу политического процесса», напечатанная в «Петербургской газете» (1877, 23 января, № 16). Автором статьи был, по всей вероятности, И. А. Баталин, редактор газеты (см.: Сб. Достоевский, I, стр. 372).

Стр. 24. *Это совет молодежи, идущей «в народ»...* — Далее приводится цитата из книги ученого-социолога А. И. Стронина (1827—1889) «Политика как наука» (СПб., 1872, стр. 528—529).

Стр. 24. ...*мысль эту об «измельчании» я уже давно слышал; она не раз уже повторялась в печати...* — До этого мысль об измельчании типа «государственного преступника» в среде петрашевцев Достоевский опровергал в «Дневнике писателя» за 1873 г. (статья «Одна из современных фальшней»), см. наст. изд., т. XXI, стр. 133—134.

Стр. 25. ...*петрашевцев, между которыми было тоже немало лиц в связях и в родстве с лучшим обществом, а вместе с тем и богатых*. — Выходцами из семей относительно родовитых и богатых среди петрашевцев были: А. П. Баласагло (1813—?), В. А. Головинский (1829—после 1874), Н. П. Григорьев (1822—1886), Н. Я. Данилевский (1822—1885) — все четверо генеральские дети; Кайдановы, Владимир Иванович (1820?—1896) и Николай Иванович (1821—1894) — сыновья известного профессора-историка; братья Ламаские, Евгений Иванович (1824—1902) и Порфирий Иванович (1824—1875), отцом которых был «директор особой канцелярии по кредитной части»; Н. А. Мордвинов (1827—?) — «сын сенатора»; Н. А. Спешнев (1821—1882) — крупный помещик; братья Тимковские, Алексей Иванович (1817—?) и Константин Иванович (1814—1881) — сыновья «цензора и председателя комиссии для печатания полного собрания

и свода законов» (*Петрашевцы*, т. III, стр. 345, 347—349, 351, 352, 354, 355).

Стр. 25. ...но военных было досконально и между петрашевцами. — К марта—апрелю 1849 г. на военной службе состояли следующие петрашевцы: Н. П. Григорьев, И. А. Кузьмин (1819—1885), Ф. Н. Львов (1823—1885), Н. А. Момбелли (1823—1902), А. Н. Пальм (1823—1885), А. Н. Тимковский. В юности некоторые из петрашевцев принимали участие в русско-турецкой войне 1828 г. (А. Н. Баласогло) и русско-турецкой (1828) и польской (1830) кампаниях (К. К. Ольденкоп) и вышли в отставку в 1830-е годы (см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 345, 347, 350, 351, 352, 353).

Стр. 25. Если же между петрашевцами и было несколько разнчинцев (крайне немного), то лишь в качестве людей образованных... — Подразумеваются: А. И. Берестов (1814—?), родом из мещан, окончивший Академию художеств со званием свободного художника «по портретной живописи акварелью»; П. Н. Латкин, «сын купца, кандидат Петербургского университета»; А. П. Милюков (1817—1897), «сын мещанина, окончил Петербургский университет (...) литератор и историк литературы»; Б. И. Утин (1832—1872), сын купца 3-й гильдии, окончил Дерптский университет, позднее — «профессор Петербургского университета по кафедре истории положительных законодательств» (*Петрашевцы*, т. III, стр. 346, 351, 352, 355).

Стр. 25. Между петрашевцами были, в большинстве, люди, вышедшие из самых высших учебных заведений и из самых высших специальных заведений. — Согласно сведениям, почерпнутым В. Р. Лейкиной из «подлинных дел» петрашевцев, университетское образование получили: Д. Д. Ахшарумов (1823—1910), П. И. Белецкий (1819—после 1859), И. М. Дебу (1824—1890), Н. А. Кашевский (1820—?), П. Н. Латкин, А. П. Милюков, А. М. Михайлов (1822—?), П. А. Мордвинов, А. А. Сидоров (1821—?), К. И. Тимковский, В. В. Толбин (1823—?), Б. И. Утин, А. Д. Щелков (1825—?), Иван-Фердинанд Львович Ястржембский (1814—1880-е гг.). Александровский лицей окончили: Н. Д. Ахшарумов (1819—1893), А. П. Беклемишев (1824—1877), П. Я. Данилевский, А. И. Европеус (1826—1885), Е. С. Есаков (1824—?), В. И. Кайданов, Н. И. Кайданов, Н. С. Кашкин (1829—1914), Е. И. Ламанский, О. Ф. Отт (1828—?), М. В. Петрашевский (1821—1866), М. Е. Салтыков-Щедрин. Училище правоведения окончили: А. Н. Барановский (1824—?), В. А. Головинский (1829—после 1874). «Высшие специальные заведения» (инженерные училища, Институт корпуса путей сообщения, Институт корпуса инженеров, Педагогический институт) окончили соответственно: братья М. М. и Ф. М. Достоевские, К. М. Дебу (1810—после 1862), П. И. Ламанский, Ф. Г. Толль (1823—1867) (см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 345—355).

Стр. 25. Было много преподающих... — В «Биографическом алфавите...», составленном В. Р. Лейкиной, отмечается, что П. И. Белецкий преподавал всеобщую историю во 2-м кадетском корпусе; Б. Е. Бернадский (род. 1819), окончивший Академию художеств, был учителем рисования и гравировал иллюстрации А. А. Агила к «Мертвым душам»; Ф. Н. Львов до ареста был репетитором химии в Павловском кадетском корпусе; А. П. Милюков «в 1849 году преподавал русскую словесность во 2-й петербургской гимназии и в Сиротском институте п до июня — в дворянском полку»; Ф. Г. Толль преподавал «русскую словесность в Главном инженерном училище»; И.-Ф. Л. Ястржембский с 1843 г. преподавал политическую экономию и был помощником инспектора классов в Технологическом институте (*Петрашевцы*, т. III, стр. 346—357).

Стр. 25. ...весьма многие из них заявили себя потом с большой честью в науке, как профессора, как естествоиспытатели, как секретари ученых обществ, как авторы замечательных ученых сочинений... — И это замечание Достоевского свидетельствует о его исключительном внимании к судьбе бывших петрашевцев. Всё, что говорит здесь Достоевский, находит подтверждение в исследовании В. Р. Лейкиной, опирающимся на массу документов и «подлинных дел» петрашевцев. Так, Д. Д. Ахшару-

мов «в 1862 году окончили Медико-хирургическую академию», работал за границей в лаборатории Дюбуа-Реймона, а по возвращении в Россию «написал ценные исследования санитарно-общественного характера...»; Н. Я. Данилевский — «выдающийся естествоиспытатель и теоретик неославянофильского направления»; Е. И. Ламанский — «исследователь истории денежного обращения и кредитных учреждений в России»; Ф. Н. Львов — секретарь Русского технического общества, редактор «Записок» этого общества и представитель научных обществ на нескольких русских и заграниценных выставках; О. Ф. Отт — «помощник ученого секретаря Ученого комитета в министерстве финансов»; Р. А. Черносвитов «в 1850 г. (...) просился в Петербург для разработки своего открытия в области воздухоплавания» (*Петрашевцы*, т. III, стр. 345, 348, 351, 353, 356). Профессорами стали впоследствии А. П. Милюков и Б. И. Утин, Ф. Г. Толль издал трехтомный «Настольный словарь» (1863—1866) с приложением.

Стр. 25. ...издатели журналов... — Достоевский подразумевает себя и своего брата М. М. Достоевского (1820—1864), А. П. Милюкова, А. Н. Плещеева.

Стр. 25. ...весьма заметные беллетристы... — Кроме самого Достоевского «весьма заметными беллетристами» стали: М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. П. Данилевский (1829—1890), А. И. Пальм, А. П. Милюков, Ф. Г. Толль.

Стр. 25. ...поэты... — Подразумеваются А. Н. Майков (1821—1897), так как по окончании суда над петрашевцами он все-таки долгое время состоял под надзором, А. Н. Плещеев (1825—1893) и С. Ф. Дуров (1816—1869).

Стр. 26. ...ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа... — Подразумеваются участники демонстрации на площади Казанского собора 6 декабря 1876 г.

Стр. 26. ...одно иностранное мнение о русской сатире... — См. наст. изд., т. XXIV, стр. 506.

Стр. 27. ...я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности». — Достоевский имеет в виду статью А. М. Скабичевского «Беседы о русской словесности (Критические письма)», в начале которой было высказано следующее заключение о современной русской литературе: «Что касается лично до меня, то я вполне разделяю недовольство большинства общества современною беллетристикою. Если и существуют в литературе два, три имени, которые следует исключить из этого недовольства, если и появляется в течение года два, три произведения, отмеченные сильным талантом и обращающие на себя всеобщее внимание, то подобные явления представляются словно оазисами в дикой пустыне. Они остаются сами по себе, а пустыня тоже — сама по себе и, главное дело, продолжает пребывать все тою же бесплодною пустынею» (*ОЗ*, 1876, № 11, отдел «Современное обозрение», стр. 2).

Стр. 27—28. ...на 92 странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения — К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен... — Подразумеваются следующие строки о Соломине в XVI гл. «Нови»: «...Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров — и до некоторой степени сочувствовал им — ибо сам был из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого „ничего ты не поделаешь“ и которого долго готовить надо — да и не так и не тому, как те. Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже получить, если так придется» (см.: *ВЕ*, 1877, № 1, стр. 92). Возможно, Достоевский увидел здесь новое подтверждение своим прежним, отразившимся в «Бесах» представлениям о Тургеневе как о писателе, втайне со-

чувствующем революционным попыткам переустройства русской жизни. На самом деле «вся мысль» романа сконцентрировалась не в приведенной характеристике Соломина, а в эпиграфе к «Нови».

Стр. 28. Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок». — Подразумеваются следующие стихотворения Некрасова: «Вступление», «Сеятели», «Отрывок», «Молебен», «Зине», «Пророк (Из Барбье)», «Дни идут... все так же воздух душен...»; «Скоро стану добычей тленья», «Друзьям» (ОЗ, 1877, № 1, стр. 277—282).

Стр. 28. ...какая-то язва в кишках, болезнь, которую определить трудно... — Некрасов умер от рака прямой кишки.

Стр. 28. ...мы в жизнь нашу редко видались... — Встречи Достоевского с Некрасовым стали редки после перехода в руки последнего журнала «Современник» (см.: Гроссман. Жизнь и труды, стр. 46). После отбытия Достоевским заключения в Петропавловской крепости, категори и ссылки (1849—1859) между ним и Некрасовым продолжаются недоразумения на литературной почве, усугубляющиеся идеологическими разногласиями (полемика журналов «Время» и «Эпоха» с «Современником»). Личные и литературные контакты между писателями налаживаются в 1875 г., в связи с публикацией романа «Подросток» в «Отечественных записках». В 1877 г. Достоевский дважды посещает умирающего Некрасова.

Стр. 28. ...бывали между нами и недоумения... — В 1846 г. часть постоянных сотрудников «Отечественных записок» (во главе с Некрасовым и Белинским) демонстративно покинула этот журнал с тем, чтобы с начала следующего года принять участие в издании журнала «Современник», приобретенного Некрасовым и Панаевым у П. А. Плетнева. Достоевский не решился на разрыв с Краевским, и это обстоятельство вызвало раздражение прежде всего со стороны Некрасова, стремившегося сгруппировать вокруг своего журнала лучшие литературные силы. О трениях с Некрасовым на этой почве Достоевский подробно писал брату М. М. Достоевскому (письмо от 26 ноября 1846 г.). По возвращении из ссылки Достоевский вновь чуть не поссорился с Некрасовым из-за повести «Село Степанчиково и его обитатели». Некрасов предложил за эту повесть небольшой гонорар. Достоевского оскорбило «торгашество» редактора «Современника» (см. письмо Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому от 9 октября 1859 г.).

Стр. 28. ...наша первая встреча... — Первая встреча Достоевского с Некрасовым состоялась в последних числах мая 1845 г. (см. наст. изд., т. I, стр. 465).

Стр. 28. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. — Достоевский родился 30 октября 1821 г., Некрасов — 22 ноября 1821 г. Следовательно, во время первой встречи им не исполнилось еще 24 лет.

Стр. 28. ...уже год как вышел в отставку из инженеров... — К моменту первой встречи с Некрасовым (конец мая 1845 г.) после выхода Достоевского в отставку еще не прошло года. Прощение об отставке Достоевский подал в середине августа 1844 г. и получил ее в конце августа того же года.

Стр. 28. ...кроме одной маленькой статьейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. — Очерк Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики» был напечатан в сборнике «Физиология Петербурга» (СПб., 1845). По свидетельству Григоровича, Достоевский был своего рода художественным редактором «Петербургских шарманщиков» (Григорович, стр. 84—85).

Стр. 28. ... (сам он еще не читал ее)... — По свидетельству Д. В. Григоровича, «Бедные люди» были прочитаны Достоевским сначала ему и только после этого доставлены Некрасову (см.: Григорович, стр. 89).

Стр. 28. ...«Некрасов хочет к будущему году сборник издать...» — Речь идет о «Петербургском сборнике» (1846), в котором была напечатана повесть Достоевского «Бедные люди».

Стр. 29. ...читая вслух и чередуясь, когда один уставал. — «Результат этого чтения более или менее известен читающей публике, — вспоми-

нал Д. В. Григорович. — История о том, как я силой почти взял рукопись „Бедных людей“ и отнес ее Некрасову, рассказана самим Достоевским в его „Дневнике“. Из скромности, вероятно, он умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собою и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы» (*Григорович*, стр. 89).

Стр. 29. «Читает он про смерть студента...» — Рассказ о смерти студента Покровского в «Записках» Вареньки Доброселовой (см. наст. изд., т. I, стр. 45).

Стр. 29. *Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре, через год потом.* — В течение 1846 и в начале 1847 г. Некрасов опубликовал в «Петербургском сборнике», «Отечественных записках» и «Современнике» целый ряд стихотворений, получивших высокую оценку лучших представителей тогдашней литературы («В дороге», «Пьяница», «Отрадно видеть, что находит...», «Колыбельная песня», «Огородник», «Когда из мрака заблужденья», «Тройка», «Псовая охота», «Нравственный человек»).

Стр. 29—30. *Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати...* — Наиболее точная дата приезда Некрасова в Петербург — конец июля ст. ст. 1838 г. (*Ашукин, Легопись*, стр. 26).

Стр. 30. *Писал он тоже чуть не с 16-ти лет.* — Первое появившееся в печати стихотворение Некрасова «Мысль» (*«Сын отечества»*, 1838, № 5) сопровождалось редакционным примечанием: «Первый опыт 16-летнего юного поэта». Но писать Некрасов начал раньше. По свидетельству А. М. Скабичевского, он был исключен из гимназии (осень 1837 г.) за писание сатирических стихов на своих товарищей и преподавателей (*Ашукин, Легопись*, стр. 25, 26, 27).

Стр. 30. ...*Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии.* — Оценивая поэзию Некрасова с позиций защиты гоголевского направления в литературе, Белинский писал в рецензии на «Петербургский сборник»: «Мелких стихотворений в „Петербургском сборнике“ немногого. Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника г-на Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного. Вот лучшее из них — „В дороге“» (*Белинский*, т. IX, стр. 573). Прочитав это стихотворение, Белинский, по свидетельству И. И. Панаева, обнял Некрасова и сказал «чуть не со слезами в глазах»: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?» (*Панаев*, стр. 249). 19 февраля 1847 г., имея в виду стихотворение Некрасова «Нравственный человек», напечатанное вскоре в третьей книжке «Современника» за 1847 г., Белинский писал И. С. Тургеневу: «Некрасов» написал недавно страшно хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (...) то пришлю к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека!» (*Белинский*, т. XII, стр. 336). Наконец, в письме к К. Д. Кавелину от 7 декабря 1847 г. (наиболее существенные отрывки из этого письма были опубликованы А. Н. Пыпиным, см.: *ВЕ*, 1875, № 5, стр. 190) Белинский писал: «Вот, например, Некрасов — это талант, да еще какой! (...) его теперешние стихотворения тем выше, что он, при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную и лучшую часть самого себя» (*Белинский*, т. XII, стр. 456).

Стр. 31. ...*цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!*... — Свидетельством того, что Достоевский не преувеличивал восторга Белинского после прочтения им повести «Бедные люди», является рецензия «Новый критикан», напечатанная в журнале «Отечественные записки» (1846, № 2). Отвечая в этой рецензии на вопрос: «А что нового в нашей литературе?» — Белинский писал: «Последняя новость в ней — явление нового необыкновенного таланта. Мы говорим о г-не Достоевском, который рекомендуется публике „Бедными людьми“ и „Двойником“ — произведениями, которыми для многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще; но так

начать — это в добный час молвить! Что-то уж слишком необыкновенное... Теперь в публике только и толков, что о г-не Достоевском, авторе „Бедных людей“...» И далее, говоря о «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым: «...после этого альманаха опять-таки „Бедные люди“ (Белинский, т. IX, стр. 493).

Стр. 31. Всё это он говорил потом обо мне и многими другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. — Одним из тех, кто мог «засвидетельствовать» справедливость слов Достоевского об отношении Белинского к повести «Бедные люди», был И. С. Тургенев (см.: Тургенев, Сочинения, т. XIV, стр. 52).

Стр. 31. Я остановился на углу его дома... — С 1842 по 1846 г. Белинский жил в доме купца А. Ф. Лопатина (угол Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, ныне Невский, № 68/40).

Стр. 31. Когда я воротился из катарги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об вас тогда написал!...» — Из Сибири в Петербург Достоевский «воротился» в конце 1859 г., здесь же подразумевается эпизод, относящийся к более позднему времени. Исследователи отмечают, что в 1863 г. Некрасов подарил Достоевскому том своих «Стихотворений», «Указывая на поэму „Несчастные“, Некрасов сказал: „Я тут о вас думал, когда написал это“, т. е. о жизни Достоевского в Сибири» (Ашукин, Летопись, стр. 290). Вспоминая о визитах Достоевского к Некрасову в 1877 г., А. Г. Достоевская отмечает в своих мемуарах: «Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим, и тогда тот читал мужу свои последние стихотворения, и, указывая на одно из них — „Несчастные“ (под именем «Крота»), — сказал: „Это я про вас написал!“, что чрезвычайно тронуло мужа» (Достоевская, А. Г., Воспоминания, стр. 316). Говоря о том, что он думал о Достоевском, создавая образ Крота, Некрасов, по всей вероятности, имел в виду прежде всего строки, рисующие внешность молодого Крота и его положение «белоручки» и «барина» в буйной и грубой среде каторжников:

Рука, не твердая в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И словно лен пушистый волос
На голове и бороде.

Стр. 31. Песни веющие их не допеты... — Цитата из стихотворения Некрасова «Скоро стану добычею тленья», вошедшего в цикл «Последние песни» (ОЗ, 1877, № 1). Несколько выше Достоевский говорит о Некрасове: «На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей». Друзья, «песни» которых «не допеты», — по всей вероятности, — рано умершие Белинский и Добролюбов и сосланный в Сибирь Чернышевский.

Стр. 32. ...герой всей поэмы. — Николенька Иртеньев, главный герой трилогии «Детство. Отрочество. Юность», напечатанной в журнале «Современник» (1852, № 9; 1854, № 10; 1857, № 1).

Стр. 32. ...не простой мальчик — не как брат его Володя. — См. «Отрочество», гл. V.

Стр. 32. ...принадлежащий к этому типу семейства — поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой. — Подразумевается «завет Пушкина» — автора «Евгения Онегина» и «Капитанской дочки». Достоевский, напротив, изображал в «Подростке» и «Братьях Карамазовых» не светлые, а темные стороны дворянского семейства, его разрушение и разложение в пореформенную эпоху.

Стр. 32. Чрезвычайно серьезный психологический этюд над детсквой душой, удивительно написанный. — Эта характеристика заключает подробный аналитический пересказ содержания ряда глав повести Л. Н. Толстого «Отрочество» (см. главы XI—XVI).

Стр. 34. Я получил письмо из К-ва, в котором мне описывают смерть одного ребенка... — Письмо из Кишинева от помощника инспектора Ки-

шиневской духовной академии Михаила Андреевича Юркевича (см.: *Д. Письма*, т. III, стр. 376). В ответном письме к М. А. Юркевичу Достоевский писал по поводу сообщенного ему известия о самоубийстве ребенка: «Этот последний факт очень любопытен, и без сомнения о нем можно кое-что сказать» (там же, стр. 254).

Стр. 36. *Несмотря на категорическое заявление мое в прошлом декабрьском «Дневнике»...* — См. наст. изд., т. XXIV, стр. 60.

Стр. 36. Очень просят г-жу О-гу А-ну А-нову, писавшую в редакцию о своих занятиях по экзамену... — Речь идет о письме 17-летней девушки О. А. Антиповой, полученным Достоевским в январе 1877 г. Письмо хранится в ИРЛИ. Об Антиповой см.: *Д. Письма*, т. III, стр. 386—387.

Стр. 37. ...развлечь себя со ««Новью»»... — Роман «Новь», опубликованный в январской и февральской книжках журнала «Вестник Европы» за 1877 г., сразу же привлек к себе пристальное внимание. Подробный обзор откликов на этот роман в отечественной и иностранной периодике см. в издании: *Тургенев, Сочинения*, т. XII, стр. 524—552.

Стр. 37. ...крагами... — Подразумеваются банкротства московского ссудного банка и еще двух банкирских контор. Первое из них породило шумный судебный процесс (процесс Струсберга). Несмотря на всплывшие на процессе факты крупного мошенничества и циничного злоупотребления доверием вкладчиков, суд присяжных нашел возможным ограничиться весьма мягкими наказаниями для финансистов-аферистов. Касаясь этих событий, журнал «Отечественные записки» отмечал в статье, подводящей итоги обсуждения в печати причин подобных явлений: «Мы очень хорошо помним, что в день оправдания Мясниковых, здесь, в Петербурге, была присуждена к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение женщина, укравшая из запертого стола шесть копеек; теперь сопоставьте с этим последним преступлением такое, в котором целый совет иправление банка принимают вклады от разных лиц в то время, когда им положительно известно, что банк не будет в состоянии возвратить эти вклады, что равнозначительно грабежу, соединенному с обманом, а между тем вы видите, что людям, решившимся на подобное преступное деяние, оно вовсе не вменяется в вину (...) положа руку на сердце, нельзя не заметить, что возможность подобных явлений указывает, что не только есть пробел в нашем законодательстве, но есть что-то ненормальное в наших нравах, обычаях и воззрениях» (А. Головачев. Заметки по поводу текущих событий. — *ОЗ*, 1877, № 1, отдел «Современное обозрение», стр. 88). О банковских крахах Достоевский упоминал также в подглавке «Словечко об „ободнявшем Петре“», напечатанной в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 64). Ср.: наст. изд., т. XVII, стр. 23, 33, 453—454.

Стр. 37. ...червонными валетами... — См. наст. изд., т. XXIII, стр. 359.

Стр. 37. ...тут непременно — «Надо что-нибудь да сделать, Надо чем-нибудь да кончить». — Возможно, что это двустишие — плод версификации самого Достоевского, использовавшего при этом лексический материал писем Н. М. Карамзина, опубликованных в 1866 г. 17 июня 1798 г. Карамзин писал И. И. Дмитриеву: «Гавриил Романович мне не отвечает; видно, он рассердился — жаль. Пожалуй, спроси у него, что он прикажет делать с напечатанной книгою. Надобно чем-нибудь кончить» (*Письма Карамзина к Дмитриеву*, стр. 96. Курсив наш, — Ред.).

Стр. 38. ...как ни отрицали мы изо всех сил всю зиму наше летнее движение... — См. комментарий к декабрьскому выпуску «Дневника писателя» за 1876 г. (наст. изд., т. XXIV, стр. 399—400).

Стр. 38. ...несмотря на пророков наших, умевших разглядеть со лице России лишь спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от Финских гладких скал до пламенной Колхиды, с колосальным штормом в руках. — Намек на Тургеневский роман «Новь» (работа над которым была закончена в июле 1876 г.), и в частности — на стихотворение Нежданова «Сон» из XXX главы второй части «Нови», опубликованной в феврале 1877 г. в «Вестнике Европы» (см.: *Тургенев, Сочинения*, т. XII,

стр. 230—231). В пересказ заключительных строк «Сна» Достоевский вмонтировал цитату из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831), вероятно, заподозрив Тургенева в пародийном переосмыслинии патриотической оды (см. также стр. 69).

Стр. 38. ... европейский наш взгляд на Россию — это все та же еще луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и все так же прескверно делает... — Продолжая разоблачать «несостоятельность» европепзма русских западников, Достоевский сравнивает их идеалы с бредовыми фантазиями гоголевского Поприщина из «Записок сумасшедшего»: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается (...) Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о луне» (Гоголь, т. III, стр. 212).

Стр. 38. ... немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание. — Возможно, здесь подразумевается «западник» Тургенев. Определение «немец» намекает на идеологическую самохарактеристику Тургенева, сформулированную во вступительной части его «Литературных и житейских воспоминаний»: «Я бросился вниз головою в „немецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился „западником“, и остался им навсегда (...) я другого пути перед собой не видел» (Тургенев, Сочинения, т. XIV, стр. 9). Определение же «хромой» содержит намек на подагру, от которой в течение долгих лет страдал Тургенев. Намекая в данном случае на «немецкую» ориентацию Тургенева, Достоевский безусловно опирался и на свое знаменитое письмо к А. Н. Майкову (16 (28) августа 1867 г.), в котором была описана баден-баденская ссора писателей, обусловленная различным пониманием ими идеологической концепции романа «Дым». Согласно этому полемическому-описанию, в ответ на насмешки Достоевского над «немцами» и их «цивилизацией», Тургенев будто бы заявил: «Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!» Несколько позже в письме к А. Н. Майкову (11 (23) декабря 1868 г.) Достоевский писал: «Тургенев сделался немцем из русского писателя, — вот по чему узнается дрянной человек».

Стр. 38. В газетах упоминалось как-то, что в Москву в эту зиму привезли из славянских земель не одну партию бедных маленьких детей со Их размещают по разным рукам и заведениям. — Газета «Русские ведомости» писала в конце 1876 г. (19 декабря, № 321, отдел «Московские вести»): «Нам сообщают, что дамское отделение Славянского благотворительного комитета получило от русского посольства в Константинополе известие, что (...) 26 болгарок-сирот, отправляющихся в Москву с целью получить воспитание в русских учебных заведениях, выехали из Константинополя в Одессу. После небольшого отдыха они поедут дальше, так что приезда их в Москву должно ожидать не позже будущей недели». В начале следующего года та же газета (РВед, 1877, 4 января, № 3, отдел «Московские вести») сообщала: «Болгарские дети, прибывшие недавно в Москву (...) помещены в Покровской общине сестер милосердия; из них 25 девушек и один мальчик. Из Константинополя до Одессы сопровождал их доктор Марконет; в Одессе супруга градоначальника, графиня Левашева, приняла в них горячее участие и постаралась обеспечить удобный путь этим детям до Москвы. В настоящее время для этих сирот (...) отведены обширные комнаты в Общине». Через несколько дней, после сведений о распределении болгарских детей по русским школам и семьям, газета сообщила: «Прибытие новых болгарских детей ожидается в скором времени; первоначально, как мы слышали, прибудут 10 детей, а несколько спустя — еще 70. Все они на первое время будут помещены в Покровской общине сестер милосердия» (РВед, 1877, 9 января, № 7, отдел «Московские вести»).

Стр. 38. Говорят, недавно в Москву привезли еще «партию деток», от трех до тридцати лет... — Подразумеваются толки, первоисточником которых является следующая газетная информация: «20-го января, ночью, в 12-часовом поезде Смоленской железной дороги, привезены из Сербии

21 девочка и 2 мальчика, сироты, от 6 до 14-летнего возраста. На станции железной дороги детей угостили кофе и одели в приготовленное для них общиною сестер милосердия платье. Затем они были отвезены в каретах в Покровскую общину сестер милосердия» (*РВед*, 1877, 31 января, № 29, отдел «Московские вести»). Возраст болгарских детей, о которых сообщали «Русские ведомости» 19 декабря 1876 г. и 4 января 1877 г., — «от 9-ти до 13-ти лет» (*РВед*, 1876, 29 декабря, № 328, отдел «Московские вести»).

Стр. 39. ... еще пятьдесят лет тому назад появившихся. — Достоевский здесь не точен, так как «пятьдесят лет тому назад» появились в печати не пушкинские «Песни западных славян», а сборник Мериме «La Guzla».

Стр. 39. Считали их так себе... — Вероятно, Достоевский имеет в виду ранний отзыв Белинского о «Песнях западных славян». В рецензии на книгу «Стихотворения Александра Пушкина», опубликованную в 1835 г., он писал: «Вообще очень мало утешительного можно сказать об этой четвертой части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще какой-то блеск, хотя слабый и бледный... Так, например, всем известно, что Пушкин перевел шестнадцать сербских песен с французского, а самые эти песни подложные, выдуманные двумя французскими шарлатанами — и что ж?.. Пушкин умел придать этим песням колорит славянский, так что, если бы его ошибка не открылась, никто и не подумал бы, что это песни подложные. Кто что ни говори, — а это мог сделать только один Пушкин!» (Белинский, т. II, стр. 82). Но позднейшие оценки Белинским «Песен западных славян» были безоговорочно высокими. Так, в рецензии «Библиографические и журнальные известия» (ОЗ, 1843, № 4) он писал о Пушкине: «Подделка двух французов заставляет его взяться за народные песни Сербии, — и он создает ряд песен, дышащих всею роскошью дикой поэзии дикого народа» (Белинский, т. VII, стр. 36). И далее, в статье пятой о Пушкине (ОЗ, 1844, № 2): «„Песни западных славян“ более, чем что-нибудь, доказывают непостижимый поэтический талант Пушкина и гибкость его таланта. Известно происхождение этих песен и проделка даровитого француза Мериме, вздумавшего посмеяться над колоритом местности. Не знаем, каковы вышли на французском языке эти поддельные песни, обманувшие Пушкина, но у Пушкина они дышат всею роскошью местного колорита, и многие из них превосходны...» (Белинский, т. VII, стр. 352).

Стр. 40. ... они взяты у Пушкина с французского, из книжки Мериме «La Gouzla»... — В предисловии к «Песням западных славян» Пушкин писал: «Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 года, под названием „La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégowine“ (Гузла, или Сборник иллирийских стихотворений, собранный в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине, — Ред.). Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полу-дикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил оп о собрании своем и, по совету друзей, перевел некоторые из сих поэм, и проч. Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме...» (Пушкин, т. III, стр. 334).

Стр. 40. ... книжки, сочиненной Мериме, по его собственному признанию, наобум, не выезжая из Парижа. — В письме к другу Пушкина С. А. Соболевскому (1803—1870), помещенном Пушкиным в предисловии к «Песням западных славян», Мериме писал: «Гузлу я написал по двум мотивам, — во-первых, я хотел посмеяться над „местным колоритом“, в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827. Для объяснения второго мотива расскажу вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы прибыли

в Венецию, — разумеется, на карте — где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Трпест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши были почти пусты, и эта „несравненная скорбь“, как говорил Рабле, остановила нас па полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать книго-продавцу и вырученные деньги употребить па то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен п перевод их; мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов «...» Вот мои источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный „местный колорит“: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Баньялуке «...» Местами он употребляет иллирийские слова, чтобы выставить напоказ свои знания «...» Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания. Затем я прочел главу: „De'costumi dei Morlachi“ «О нравах Морлаков» из „Путешествия по Далмации“ Фортиса. Там я нашел текст и перевод чисто иллирийской заплачки жены Ассана-Аги; но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить подстрочный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого подлинника с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении я получил дословный перевод «...» Вот и вся история. Передайте г-ну Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что и он попался и пр.» (Пушкин, т. III, стр. 335—336, 1310—1311).

Стр. 40. Этот преталантливый французский писатель... — Эта характеристика дарования Мериме перекликается с пушкинской характеристикой в предисловии к «Песням западных славян»: «... Мериме, острый и оригинальный писатель, автор „Театра Клары Газоль“, „Хроники времен Карла IX“, „Двойной ошибки“ и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы» (Пушкин, т. III, стр. 334). Также см. отзыв Достоевского о Мериме: наст. изд., т. XVIII, стр. 48.

Стр. 40. ... впоследствии *sénateur* и чуть не родственник Наполеона III... — В 1830 г. Мериме подружился с графом М.-Ф. де Монтихо и его женой, dochь которых Евгения (1826—1920) стала впоследствии женой Наполеона III и императрицей Франции (с 1853 по 1870). Евгения питала к Мериме сердечную привязанность и относилась к нему как к отцу. Мериме пользовался личной дружбой и самого императора. В звание сенатора Мериме был возведен в 1853 г.

Стр. 40. Я бы тем высокообразованным сербам, из которых многие столь недоверчиво смотрели нынешним летом на русских... — Подразумеваются прежде всего сербские «министерские «...» головы», о которых вскользь упоминал Достоевский еще в августовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 101), и вообще сербская интеллигенция.

В печати неоднократно указывалось на то, что главная причина недоверия к русским со стороны интеллигентных сербов — образование, полученное последними в Зап. Европе и, как следствие этого — крайняя скучность или тенденциозность их представлений о России. Так, например, В. П. Мещерский в цикле очерков «На пути в Сербию и в Сербии» писал об Иване Ристиче, министре иностранных дел Сербии: «... Ристич — цветок парижской цивилизации; следовательно, его понятия о России не шире и не глубже понятий всякого образованного и умного француза, который знает, что есть большая земля, именуемая la Russie, что в этой земле был Pierre le Grand, потом Alexandre Plessier, потом Nicolas et Sébastopol и что, затем, в этой Russie есть des cosaques. По своему расположению министра иностранных дел в Сербии Ристич, как умный человек, успел кое-какими отрывочными сведениями заткнуть черезсур большие пробелы в россииеведении, но, все-таки, он остался, относительно России, умным парижанином, кое-что знающим sur le православие, et le славянский мир, en général, и больше ничего. Значит, винить его в том, что он не может питать к России никаких серьезных чувств, нет возможности.

Скорее мы виноваты в том, что мы не предвидели событий сегодняшних, не позабочились вчера о том, чтобы Ристич воспользовалась для Сербии в России, а не в Париже» (*Гр*, 1876, 1 ноября, № 36—37, стр. 907). Впоследствии в бесплатном приложении для подписчиков журнала «Гражданин» была помещена лаконичная справка об образовании сербского министра иностранных дел: «Ристич получил высшее образование в Берлине, Гейдельберге и Париже и получил степень доктора философии также в Германии» (*Русский сборник*, т. II, стр. 172).

В цикле очерков «На пути в Сербию и в Сербии» Мещерский писал о сербской образованной молодежи: «...эта молодежь, как только она интеллигентия, не только не симпатизирует русским, по находит себя вправе смотреть на них свысока ... Образчиками этой культурной молодежи служат офицеры в сербской армии. Как только этот офицер *культурен*, он держит себя особняком от русских и, надо прибавить, особняком от своего солдата — представителя некультурного начала ... Воспитание этой культурной сербской молодежи получается в их белградском лицее, учебном заведении, не дорожшем, за неимением учебных и денежных средств, до университета. Там учат профессора, все получившие образование или в Германии, или во Франции» (*Гр*, 1876, 1 ноября, № 36—37, стр. 911).

Стр. 40. ... судя по ходу дел, вряд ли сербы скоро узнают этого неизвестнейшего из всех великих русских людей... — Достоевский, возможно, обратил внимание на следующее замечание Мещерского в его книге «Правда о Сербии» (СПб., 1877): «Интеллигент сербский наивно глупо и дерзко верит, что русские — Пушкин и Карамзин, перед ним, мальчишки, неучи и ученики ... Серб, который с вами заговорит по-русски, — вы это видите по лицу его, — дает вам понять, что он делает вам большую честь» (стр. 373). Предположение это тем более вероятно, что в следующем параграфе настоящей главы «Дневника писателя» есть скрытые цитаты из очерков или «писем» Мещерского «На пути в Сербию и в Сербии», напечатанных в журнале «Гражданин» за 1876 г. и полностью перепечатанных в этой книге.

Стр. 40. ...которому до сих пор не могли мы еще собрать денег на памятник... — Мысль о сборе средств на памятник Пушкину возникла в 1860 г. в среде бывших воспитанников царскосельского Лицея в связи с пятидесятилетним юбилеем Лицея. В 1870 г. был образован специальный комитет по постройке памятника. Работа по сооружению памятника, открытого в Москве на Тверском бульваре лишь 6 июня 1880 г., была поручена скульптору А. М. Опекушину (1841—1923). Газета «Московские ведомости» писала: «По словам „Нового времени“, модель памятника Пушкину, изготовленная художником Опекушиным и исправленная им по замечаниям экспертов, недавно удостоилась высочайшего одобрения и скоро будет выставлена для публики. Комитет в настоящее время приступает к заключению контрактов на предстоящие работы, которые будут производиться в Москве под наблюдением как г-на Опекушина, так и опытного архитектора, и, вероятно, начнутся не позже наступающей весны. Собранная сумма с процентами составляет с лишком 80 000 рублей» (*МВед*, 1877, 22 февраля, № 44, отдел «Последняя почта»).

Стр. 41. Сербская скупщина, собравшаяся в прошлом месяце в Белграде на одно мгновение (на полтора часа, как писали в газетах), чтобы только решить: «Заключить мир или нет?»... — Достоевский имеет в виду сообщение, напечатанное в отделе «Телеграммы» газеты «Московские ведомости» (1877, 17 февраля, № 41): «Землин, 28 (16) февраля ... Сегодня в половине десятого пушечные выстрелы возвестили гражданам Белграда об открытии скупщины. Заседание продолжалось до одиннадцати часов. Выработанные условия мира приняты почти без прений, и скупщина объявлена распущенна. При выходе из собрания, где происходило заседание, князь Милан и министры казались веселыми. Речь князя и все, что говорилось в скупщине, содержится в строгой тайне, под предлогом, что

гласность может повлиять на заключение мира. Министерство ликует от одержанного торжества и вероятно — удержится».

Стр. 41. Говорят, и на мир-то согласились вследствие какой-то передержки, министерской какой-то интриги. — По всей вероятности, Достоевский опирается здесь на данные о фракционной борьбе в скупщине, почерпнутые из газеты «Московские ведомости» (1877. 25 февраля, № 47, отдел «Последняя почта»): «О закупленной стороне сербской скупщины телеграмма венской „Tagblatt“ сообщает, что голосование скупщины было поражением консервативной партии Мариповича, хотя и эта партия агитировала постоянно за мир. В предыдущие два для многочисленные ее агенты старались привлечь на свою сторону депутатов, желавших продолжения войны. Этим думали нанести поражение министерству Ристича, ибо консерваторы были убеждены, что последнее стоит за войну в союзе с Россией и что речь князя будет иметь воинственный характер».

Стр. 41. . . если чуть-чуть правда, что скупщина не трусила продолжения войны, то со «Что ж это у нас так кричали о трусости сербов?» — Достоевский имеет в виду толки газет и журналов после стратегического поражения сербской армии на Дюнишских высотах 17 (29) октября 1876 г. Об этом свидетельствует записная тетрадь Достоевского, относящаяся к 1876—1877 гг. (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 279). Вместе с тем следует отметить: колебания в оценках поведения сербской армии русской печатью были велики — от нескрываемого злорадства и презрения до сочувственного понимания и участия. Так, петербургская газета «Новости» (1877, 5 января, № 5, отдел «Русская печать») отмечала с удовлетворением: «Н. В. Максимов печатает в „Биржевых ведомостях“ целый ряд фельетонов „Из сербской войны“, в которых встречаются весьма удачные эскизы и картинки. Вот, например, как он характеризует пресловутую храбрость сербов». Вслед за этим цитировался один из фельетонов Максимова, насыщенный злыми насмешками над необстрелянными сербскими солдатами.

Иную позицию занимал «Гражданин». Полковник Мак-Ивер, английский доброволец, командовавший кавалерийским отрядом в сербской армии, писал в статье «Впечатления сербской войны», перепечатанной в этом журнале из английского источника: «Мне было слышать, что сербы обвиняли в трусости». Напомнив «о страшном неравенстве сил» в сербо-турецкой войне, Мак-Ивер заключал: «И при всем том, вот уже три месяца как Сербия, этот бессильный пигмей, отбивается от Турции, от зверского и подлого гиганта» (Гр., 1876, 8 ноября, № 38—40, стр. 965). В том же номере журнала Мещерский утверждал: «...сербы не трусы! Сербы пастихи и землемельцы, поставленные в военный строй, п больше ничего ...». Черепьев говорил мне, что он назовет лжецом в глаза того солдата и офицера, который в первом деле не испытывает чувства страха. Но это чувство страха длится момент. Оно исчезает от мысли, что нельзя бежать ... Сербская же армия именно не есть армия потому, что этой мысли, что нельзя бежать, что показывать страх нозорно, — у сербов совсем нет ... Это чувство или эту мысль военной чести сербская армия приобретет через несколько месяцев» (там же, стр. 946).

Особенно часто «кричали о трусости сербов» в определенных кругах русских добровольцев (главным образом из числа бывших «дантристов» и «отставных помещиков»), принимавших небескорыстное участие в сербо-турецкой войне 1876 г. (см.: ОЗ. 1876, № 12, отдел «Современное обозрение», корреспонденция Г. И. Успенского «Из Белграда (письмо невоенного человека)»).

Стр. 41. . . особенно запомнил одно письмо от одного юного русского... — Письмо из Белграда студента-добровольца А. П. Хитрова от 26 декабря 1876 г., который энергично защищал сербов от нападок в русской печати: «Да, я убежден, что черных, постыдных мотивов у сербов не было, когда они рубили, стреляли себе руки... . . . У серба, когда он вышел на турок, злобы против врага оказалось так мало, что поздно

уже было травить его против врага. С другой стороны, в сербе выказалась такая любовь к своей тихой и полной скромных благ *куче*, что она его тянула, точно магнит. (...) Им в *кучах* сделалось так хорошо, так приятно. (...) Турок его не трогал, он безмятежно предался наслаждению *кучей*, полным материализма *кучным* (!), не знаяшим больше ничего на свете... Ах! Я так понимаю серба! Чем больше бываешь в *кучах* и в каких концах Сербии ни бываешь — всюду видишь *кучу*, всюду видишь *кучный материализм серба* (Материалы и исследования, т. II, стр. 312—313). *Куча* (*куха*) — большая семья, основное звено в составе организации племени в Сербии и Черногории. См.: П. Ровинский. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1897, т. II, стр. 191—192; Н. Овсяный. Сербия и сербы. СПб., 1898, стр. 160, 166—167.

Стр. 41. Восторженный русский эмигрант даже извиняет членовредительство сербских солдат у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нежны сердцем народ, до того любят свою «кучу» со что со отстреливают себе пальцы, чтобы поскорей воротиться в свое милое гнездо! — Сведения и характеристики, аналогичные тем, которыми было наполнено письмо этого «эмигранта», нередко встречались и на страницах русской периодики. В печати отмечалось, что в бою необученного и необстрелянного сербского пехотинца «неотвязно мучает воспоминание о потерях личных, о доме, о семье. Первый крик раненого серба: «И-я-у!.. Куку мене... Куку, красный брате!.. До кучи молим, до кучи!» В этом крике судорожный воцарь семьи, отца...» (И-о. В. Из Сербии. — Гр., 1876, 1 ноября, № 36—37, стр. 916). Мещерский писал в одном из «писем» «На пути в Сербию и в Сербии»: «Все в Сербии более или менее богаты, то есть имеют свое собственное состояние и наслаждаются жизнью (...) Вот это-то общее благосостояние, общее наслаждение жизнью и объясняет, почему в Сербии нет солдат в пехотных и конных милициях (...) с той минуты, как серб поступил в ряды войска, не имея понятия о нравственной стороне своей службы, он испытывает одно лишь: лишение разом всего того, к чему он привык, с чем он сжился, как с условиями жизни, без которых жизнь для него немыслима. Это рыбы, взятые из реки и пересаженные в стоячую воду. Оттого главная духовная черта в этом солдате есть непреодолимая тоска по дому или по *куче*, как говорит серб, то есть самое естественное и понятное желание быть дома» (Гр., 1876, 8 ноября, № 38—40, стр. 942). Такое же объяснение стремления сербского солдата в «кучу» было дано несколько позже в газете «Новое время» (Вл.-ъ. Из лагеря в лагерь. — НВр., 1877, 2 февраля, № 335). Представление о «членовредительстве» в сербской армии, которой командовал русский генерал Черняев, дает следующее описание встречи В. П. Мещерского и Д. К. Гирса (1833—1886) с сербскими солдатами, идущими в тыл: «Одни шли с подвязанными руками, ибо были солдаты, прострелившие себе пальцы, другие шли просто домой, без всякого отпуска, а так себе (...)»

— Ну, а эти раны, — спросил Гирс по-сербски, указывая на пальцы, — откуда они?

— Пуля, — ответил один из парней.
— Чья?
— Турецкая.

— Нет, — вмешался хладнокровно другой парень. — Я знаю, отчего эти раны: это они сами себе простреливают, чтобы уйти домой» (Гр., 1876, 8 ноября, № 38—40, стр. 941).

Стр. 42. ... таких несчастных детей я довольно встречал в моем детстве в разных школах... — Первой из этих школ был, по всей вероятности, Московский частный пансион Л. И. Чермака, в который Достоевский поступил осенью 1834 г. В справочной и мемуарной литературе отмечается: «Федор Достоевский в пансионе (...) заметив в толпе школьников новичка В. Каченовского, своего товарища по играм в саду Марининской больницы, берет его под свою защиту» (Гроссман, Жизнь и труды,

стр. 27). Второй школой юного Достоевского был приготовительный пансион капитана К. Ф. Костомарова, где он с мая 1837 г. готовился к поступлению в Императорское училище (см. там же, стр. 29).

Стр. 42. *Правда, теперь, когда уж кончилась у них война и заключен мир...* — Начав войну с Турцией 20 июня (2 июля) 1876 г., Сербия потерпела вскоре ряд поражений. Спасая ее от окончательного разгрома, Россия 19 октября 1876 г. предъявила Турции ultimatum, в котором потребовала заключения перемирия в течение ближайших сорока восьми часов. Турки согласились на двухмесячное перемирие. 17 февраля 1877 г., вновь благодаря дипломатическому давлению России, между Сербией и Турцией был заключен мир. Одна из телеграмм, опубликованных «Московскими ведомостями» (1877, 19 февраля, № 43), гласила: «Землпп, 2 марта (18 февраля). Депутаты скупщины, вчера в пять часов, подписали протокол заседания, большинство вслед за сим уехало из Белграда. Основание мира *status quo ante bellum*. От всех других притязаний Турция отказалась».

Стр. 42—43. ...сердца высшей сербской интеллигенции далеко не всегда возвышались до страдания по родине — это объясняется у них слишком сильным, может быть, политическим честолюбием. — Намек на попытки сербской правящей партии завоевать для своей страны политическое господство в ущерб другим. По этому поводу Мещерский, например, писал в очерках «На пути в Сербию и в Сербии»: «Пока некультурные черногорцы храбро и твердо подняли знамя войны, во имя свободы славян — без всякой другой задней мысли (...) сербская партия действия увлеклась (...) гораздо более честолюбивыми и себялюбивыми замыслами, занявшими место глубокого и высокого патриотического настроения» (Гр., 1876, 1 ноября, № 36—37, стр. 912).

Стр. 43. ...Хорватовичи и Мариновичи, то есть все равно как бы Мольтке и Бисмарки. — В 1876 г. Георгий Хорватович (1835—1895) успешно командовал Тимокской армией. В войну 1877—1878 гг. — генерал-майор. В 1881—1885 гг. — посланник в Петербурге. С 1886 по 1887 г. — военный министр Сербии. Маринович — видный сербский государственный деятель. С конца 1873 по конец 1874 г. — «министр-президент и министр иностранных дел» (см. статью «Сербия». — *Русский сборник*, т. II, стр. 180—183). В обзоре «Иностранные события», напечатанном в журнале «Гражданин» (1876, 15 ноября, № 41—42, стр. 971), Мариновичу были посвящены такие строки, вносящие дополнительные штрихи в характеристику его как одного из сербских политиков, интригующих «против России»: «Министр и президент сената Маринович 7 ноября отправился из Белграда, вместе с русским генеральным консулом Карапевым, со специальной миссией в С.-Петербург. По известиям от 10 ноября, все министры подали просьбу об отставке, которая пока не принята, — но министры настаивают на своей просьбе. Причины этого еще неизвестны. По одним слухам, эта просьба об отставке приводится в связь с требованием будто бы генерала Черняева заседать в совете министров с правом голоса, по другим же она имеет связь с поручением, данным от сербского правительства г-ну Мариновичу».

Канцлер князь Отто фон Бисмарк (1815—1898) и начальник германского генерального штаба Гельмут фон Мольтке (1800—1891) сыграли видную роль в объединении Германии «сверху» и в войне Германии против Франции в 1870—1871 гг.

Стр. 43. *Где-то я читал, что иные из этих строгих господ* — *засидевшего низшего серба, собиравшегося бежать из-под ружья, прямо отстреливали ему голову револьвером...* — Вне всякого сомнения, Достоевский прочел об этом в одном из «писем» Мещерского «На пути в Сербию и в Сербии», где есть такие строки: «Хорватович в своей армии ввел систему стрельния по убегающим: он сам, собственною рукою, убивал несколько человек из револьвера в ту самую минуту, когда происходило первое вздрагивание в рядах солдат. И вследствие этого случаи убеганья

Целых батальонов у Хорватовича стали немыслимы» (*ІР*, 1876, 8 ноября, № 38—40, стр. 946).

Стр. 43. «...могли бы мы быть железными князьями!» — Железным канцлером или железным князем называли Бисмарка, который еще в 1862 г. провозгласил доктрину внешней и внутренней политики, предусматривающую объединение Германии с помощью военной силы: «Не на либерализм Пруссии взирает Германия, а на ее мощь... Не речами, не постановлениями большинства решаются великие вопросы времени — это было ошибкой 1848 и 1849 гг., — а железом и кровью» (см.: Всемирная история, т. VI. М., 1959, стр. 540). Политика «железа и крови» была неприемлема для Достоевского-гуманиста. В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский утверждал: «Правило крови и железа не наше» (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 191). В записной тетради 1875—1876 гг. есть такие строки: «...падут Бисмарки. Всё застанется врасплох. Россия. Православие <...> Ждать смирения, то есть победить зло красотою моей любви и строгого образа воздержания и управления собою» (наст. изд., т. XXIV, стр. 165).

Достоевскому было близко противопоставление бисмарковской политике «русской» точки зрения на способы достижения единства славянских народов, сформулированной в стихотворении Ф. И. Тютчева «Два единства» (впервые напечатано в журнале «Заря», 1870, № 10):

«Единство — возвестил оракул наших дней —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там посмотрим, чтò прочней...»

Стр. 43. ...Черняев оттуда выехал, а добровольцев выслали... — В начале мая 1877 г. А. С. Суворин сообщил в своем фельветоне «Недельные очерки и картички»: «На днях приехал в Петербург Черняев после продолжительного своего отсутствия, после стольких приключений. Целый год прошел с того времени, как он вдруг исчез из Петербурга <...> и вот он снова здесь» (*НВР*, 1877, 1 (13) мая, № 420).

О причинах отзыва русских добровольцев на родину специальный корреспондент газеты «Московские ведомости» писал в очередном своем сообщении («Из Белграда. 8 (20) января 1877 г.» Подписано буквами: Гр. Д. А. М.): «Третьего дня через полковника Дохтурова получена телеграмма от русского правительства, в которой значилось приказание ликвидировать русское добровольческое движение в Сербии <...> После такого распоряжения можно сказать, что русская добровольческая песня спета <...> Какая причина удаления русских добровольцев или кто тому причиной, вот вопрос, который задает себе каждый, читая телеграммы и письма в наших газетах. Отвечу на это: во-первых, предвзятая мысль военного министерства (подразумевается местное, то есть сербское военное министерство, возглавлявшееся Николичем, — Ред.), а во-вторых, недоразумения <...> Третьего дня поехал первый эшелон в 380 человек; в воскресенье, 9 января, будет отправлена вторая партия, затем еще две, и почти не останется русских в Сербии...». Описав далее торжественную церемонию прощания, на крепостной площади Белграда, серского князя Милана с отъезжающими русскими добровольцами, корреспондент указывал на то, что на этой церемонии «ни одного ministra не присутствовало...» (*МВед*, 1877, 19 января, № 16). Таким образом, по утверждению катковских «Московских ведомостей», высылка русских добровольцев явилась будто бы результатом интриг и поисков «высокообразованных сербов».

Стр. 44. ...«да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!» Это восклицание не мое, это восклинули «Московские ведомости»... — Достоевский цитирует передовую статью газеты (*МВед*, 1877, 9 февраля, № 33), написанную вскоре по окончании Константинополь-

ской конференции, на которой турецкое правительство не пошло навстречу России, потребовавшей, совместно с западноевропейскими державами, облегчения участия болгар, сербов и других славян, входивших в состав Османской империи. Имея в виду главным образом английскую дипломатию, М. Н. Катков писал: «Коллективная Европа (...) готова великодушно принять на себя весь позор неудачи, лишь бы только все осталось по-старому в Турции, уцелели бы в ней порядки столь дорогие для некоторых цивилизованных интересов (да будут они прокляты!), и чтобы ничего не было сделано для христиан на Востоке». В том же духе писал Достоевскому 26 декабря 1876 г. А. П. Хитров: «Будь проклята Европа, буржуазная, алчная Европа (...) Какая это цивилизация? Война против этой цивилизации, война непримиримая!» (*Материалы и исследования*, т. II, стр. 313).

Стр. 46. *Ну, а во Франции* — в 93-м году разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи... — Достоевский подразумевает якобинский террор.

Стр. 46. *Аберрация* — заблуждение, отклонение от истины (от лат. *aberrare* — заблуждаться, уклоняться от чего-либо).

Стр. 46. *Вольтфас* — внезапный поворот лицом к преследующему (от франц. *volte-face* — поворот лица).

Стр. 46. У нас Дарвин, например, немедленно обращается в карманного воришку, — вот что такое и червонный валет. — Развитие мысли, высказанной ранее Достоевским в «Дневнике» за 1876 г. (май, гл. I, § 3): «На западе Дарвина теория — гениальная гипотеза, а у нас давно уже аксиома. На западе мысль, что преступление весьма часто есть лишь болезнь, — имеет глубокий смысл (...) у нас же эта мысль не имеет никакого смысла (...) и всё, всякая пакость, сделанная даже червонным валетом, и та чуть ли не признается болезнью...» (наст. изд., т. XXIII, стр. 8).

Стр. 47. С этой-то великодушной работы над собой и начинать надо, чтоб поднять потом нашу «Новь», а то незачем выйдет и подымать ее. — Достоевский полемизирует с последним романом Тургенева, в духе своих идей истолковывая эпиграф к нему: «Поднимать следует новь не поверхности скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом».

Стр. 48. В речах палатам уже упоминается прямо и откровенно, вслух на весь мир, что пролетарий опасен со что пролетарий винит социализму. — Достоевский, по всей вероятности, опирается на следующее сообщение, напечатанное в «Московских ведомостях» (1877, 10 февраля, № 34, отдел «Последняя почта»): «Берлинская „Провинциальная корреспонденция“ от 15 февраля обсуждает столь волнующее ныне Германию усиление социал-демократической партии и дает понять, что ответственность за это усиление падает не на правительство, так как оно во время прений о законе о печати настаивало на параграфах закона, особенно карающих нападения в печати на собственность, семейство и брак, между тем рейхstag отклонил эти параграфы. Среди большинства германских представителей, по-видимому, разделяется взгляд, что злу следует помочь хотя бы паллативами, доставляя рабочим случай для труда. Это доказывается заседанием Прусской палаты депутатов 13 февраля, где депутат Дункер внес предложение, чтобы правительство, ввиду бедственного экономического положения страны, усердно старалось о возведении общественных построек и других работ, средства на которые разрешены ландтагом».

Стр. 48. ...выступают политики, мудрые учителя: есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома — может получить вид величайшей премудрости! — Эта характеристика политических принципов современных западноевропейских государственных деятелей намекает прежде всего на английского премьер-министра лорда Биконсфилда, которому в «Дневнике писателя» за 1876 г. (сентябрь, гл. I, § 1) приписываются по существу совершенно аналогичные размышления и «аксиомы» по по-

воду двух священников, распятых в Болгарии башмаками (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 110—111). Вместе с тем эта характеристика представляет собою замаскированное продолжение «олемиши», начатой в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 61—63, 65—67).

Стр. 49. Это учение очень распространено и давнишнее... — Здесь, возможно, подразумевается «давнишнее» учение о государстве, изложенное в книге «Государь» (1513), принадлежащей перу итальянского политического деятеля эпохи Возрождения Никколо Макиавелли (1469—1527). Макиавелли защищал в нем необходимость в ту эпоху сильной власти для обуздания эгоизма и установления порядка.

Стр. 49. ...уже восполнились сроки... — Имея в виду грядущее великое предназначение России в судьбах Европы, Достоевский перефразирует слова Христа: он на вопрос апостолов: «Не в сие ли время, господи, восстановляешь ты царство Израилю?» — отвечал: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти...» (Деяния святых апостолов, гл. I, ст. 6—7).

Стр. 49. ...не пойдет уже сражаться с мельницами. — Указывая на ветряные мельницы, Дон-Кихот говорит своему оруженосцу: «Видишь ли, Санчо, эту толпу великанов? Клянусь богом, я уничтожу их всех. Разорением их мы положим основу нашему богатству и совершим дело, угодное господу, ибо велика заслуга пред ним человека, стирающего с лица земли проклятое племя великанов» (Дон-Кихот Ламанчский. Сочинение Мигуэля Сервантеса Сааведры. Часть I. Пер. с исп. В. Карелина. СПб., 1866, стр. 43). Достоевский вспоминает об этом эпизоде сервантесовского романа, чтобы оттенить чистоту и благородство побуждений русского народа накануне войны с Турцией. Ибо, в отличие от сервантесовского Дон-Кихота, русские Дон-Кихоты, по Достоевскому, пойдут сражаться не с мнимыми, а с действительно существующими злыми «великанами» — турецкими притеснителями славянского населения на Балканском полуострове.

Стр. 50. А Европа прочла осенний манифест русского императора и его запомнила... — Достоевский подразумевает один из актов царского правительства в связи с сербо-турецкой войной 1876 г. Газета «Правительственный вестник» (1876, 19 (31) октября, № 232, рубрика «Действия правительства. Высочайшие повеления») оповещала: «Сегодня, 18-го октября, государю императору благоугодно было повелеть, чтобы генерал-адъютант Игнатьев объявил Порте, что в случае если она в двухдневный срок не примет перемирия на шесть недель или на два месяца и если не даст немедленного приказания приостановить военные действия, то он, со всем посольством, выедет из Константиноополя и дипломатические сношения будут прерваны». Через несколько дней после этого Александр II, при приеме в Кремле «московского дворянства и городского общества в Москве», выступил с речью, в которой сказал: «Вам уже известно, что Турция покорилась моим требованиям о немедленном заключении перемирия, чтобы положить конец бесполезной резне в Сербии и Черногории». Сообщив далее о предстоящем совещании шести великих держав, созываемом для «определения мирных условий», Александр II заявил: «Если же оно (соглашение между шестью державами, — Ред.) не состоится и я увижу, что мы не добьемся таких гарантий, которые обеспечивали бы исполнение того, что мы вправе требовать от Порты, то я имею твердое намерение действовать самостоятельно и уверен, что в таком случае вся Россия отзовется на мой призыв, когда я сочту это нужным и честь России того потребует» (ПВ, 1876, 31 октября (12 ноября), № 243). См. наст. изд., т. XXIV, стр. 493.

Стр. 51. Солнце показалось на Востоке, и для человечества с Востока начинается новый день. — Идейный отголосок славянофильской поэзии А. С. Хомякова. См., в частности, стихи Хомякова из стихотворения «Еще об нем» (1841):

Скатилась звезда с омраченных небес,
Величье земное во прахе!..
Скажите, пе утро ль с Востока встает?
Не новая ль жатва над прахом растет?

Стр. 51. ... «*Après nous le déluge*» (*После нас хоть потоп!*)! — Первое употребление этой фразы приписывается разным лицам: 1) французскому королю Людовику XV (1710—1774); его фаворитке маркизе де Помпадур (1721—1764); неизвестному греческому поэту, которого часто цитировали Цицерон (106—43 до н. э.) и Сенека (ок. 4 до н. э.—65 н. э.).

Стр. 52. ... несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого, в январском № «Русского вестника». — Одиннадцатая глава из части VI «Анны Карениной», цитируемая Достоевским несколько ниже. В январской книжке «Русского вестника» за 1877 г. были напечатаны I—XII главы части VI романа.

Стр. 52. ... любовь этого «жеребца в мундире», как назвал его один мой приятель... — Возможно, что «приятель» — это М. Е. Салтыков-Щедрин, называвший героя романа Толстого «безмолвным кобелем Бронским» (Салтыков-Щедрин, т. XVIII, кн. 2, стр. 180; об отношении сатирика к «Анне Карениной» см. там же, т. XI, стр. 633—635).

Стр. 52. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела)... — См. роман «Анна Каренина», часть IV, гл. XVII—XX.

Стр. 52. Последние выросли в первых, а первые (Бронский) вдруг стали последними... — Это определение значения нравственного «переворота», совершившегося в душе Каренина и Бронского, встретившихся у постели умирающей Анны (см. часть IV, гл. XVII), восходит к евангельским текстам. См. Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 30: «Многие же будут первые последними, и последние первыми»; Евангелие от Луки, гл. 13, ст. 30: «И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».

Стр. 54. ... человек в случае... — Человек, пользующийся, с материальной для себя выгодой, покровительством могущественных особ, в том числе и венценосных; фаворит.

Стр. 54. По всякое приобретение... — Здесь и ниже Достоевский выборочно цитирует гл. XI из части VI «Анны Карениной».

Стр. 55. ... у нас знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России. — Подразумевается кружок М. В. Петрашевского.

Стр. 57. ... он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который раздал свое имение... — Имеется в виду стихотворение Некрасова «Влас». Этому стихотворению и, в связи с его содержанием, развитию некоторых собственных почвеннических взглядов на русский народ Достоевский посвятил специальный историко-психологический этюд в «Дневнике писателя» за 1873 г. (см. наст. изд., т. XXI, стр. 31—41).

Стр. 58. ... я должен разделить мое имение бедным и пойти работать на них. ~ Левин выйдет совершенно прав, а «бедный» совершенно не прав... — Логика мысли Достоевского в данном случае совпадает с характерной выдержкой из его письма к А. Г. Ковнеру (от 14 февраля 1877 г.): «NB. Кстати маленькую параллель: христианин, то есть полный, высший, идеальный, говорит: „Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем“. А коммунар говорит: „Да, ты должен разделить со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить“. Христианин будет прав, а коммунар будет не прав».

Стр. 60. ... а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. — Отголосок романа «Бесы», в котором в уста Липутина, одного из сподвижников Петра Верховенского, вложена следующая характеристика современных апартидов: «Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для возвращения здравого рассудка в Европе, гораздо больше,

чем на последнем конгрессе мира потребовали» (см. паст. изд., т. X, стр. 77; т. XII, стр. 201, 291).

Стр. 60. *Другие из коноводов прямо уже говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство — бредни и что будущее человечество устроится на основаниях научных.* — Подразумеваются, по всей вероятности, последователи Огюста Конта (1798—1857) — создателя философии позитивизма. Согласно этой философии, история развития человечества делится на периоды теологический, метафизический и позитивный. В третьем периоде (позитивном) руководящая роль в обществе принадлежит ученым и промышленникам. Упомянутая об отрицательном отношении «коноводов» к «христианским бредням», Достоевский, возможно, имел в виду также Л. Фейербаха (1804—1872), в книге которого «Сущность христианства» (1841) доказывалось, что религия и вообще всякая вера в бога — порождения фантазии человека на ранних стадиях развития общества. Достоевский мог иметь в виду и Р. Оуэна (1771—1858), антирелигиозные убеждения которого были следующим образом охарактеризованы в «Былом и думах» Герцен: «...объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — религия» (Герцен, т. XI, стр. 214). Примечательно, что эта и некоторые другие герценовские характеристики убеждений Р. Оуэна, быть может, были полемически переосмыслены Достоевским в обращенном к Христу речи Великого пиквализатора: «...пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть, лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“ — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой» (см. паст. изд., т. XIV, стр. 230; т. XV, стр. 559—560). Таким образом, и характеристика «коноводов» в области политики и философии, полемически сформулированная Достоевским на страницах «Дневника писателя» за первую половину 1877 г., могла быть связана с формирующимся замыслом романа «Братья Карамазовы».

Стр. 60. ... никакая польза не заменит своееволия и прав личности... — Один из характерных отголосков эгоцентрического протesta «антигероя» «Записок из подполья» против философского материализма французских просветителей XVIII в. (см. наст. изд., т. V, стр. 113, 379—380).

Стр. 60. ... погибнут во грехах своих. — Это резюме восходит к ветхозаветному тексту: «... отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам [вместе] во всех грехах их» (4-я книга Монсея. Числа, гл. 16, ст. 26).

Стр. 61. ... «есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту»... — Неточная цитата из «Анны Карениной» (ч. VI, гл. XI).

Стр. 61. ... отдайте им свое имение и «получите сокровище на небеси, там, где не копят и не посягают». — Ср.: Евангелие от Марка, гл. 10, ст. 21—24.

Стр. 61. *Пойдите, как Влас, у которого...* — Далее приводятся строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».

Стр. 61. ... надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастии... — Эти публицистические тезисы и поучения находятся в тесном родстве с идеейно-философской концепцией «Братьев Карамазовых».

Стр. 61. *Все же эти старания копроститься* — лишь одно только перерождение, невежливое даже к народу и вас унижающее. — Намек на тургеневское изображение поведения революционеров-народников в XXVII—XXXII гл. романа «Новь» (см.: Тургенев, Сочинения, т. XII, стр. 201—247).

Стр. 62. «Один в поле не воин»... — Крылатое выражение, восходящее к названию романа Ф. Шильдагена «In Reih und Glied» (1866),

появившегося в русском переводе под пазванием «Один в поле не воин». Тесное соседство здесь шипильгагеновского определения («один в поле не воин») с определениями, являющимися почти цитатами из «Нови» Тургенева («опроститься», «прощение», «остановность»), не случайно. По-видимому, у шипильгагеновского героя Лео — аристократа по натуре и демократа по убеждениям — Достоевский усматривал нечто общее с тургеневским Неждановым — убежденным демократом и вместе с тем «барином», «белоручкой», жалующимся сначала на свою беспомощность, а под конец испытывающим «отчалие и разочарование» в общении с народом. Контекст этой и предшествующей подглавок, насыщенный едкими намеками на «Новь», перемежающимися подчас с прямыми выпадами против этого романа и его автора, свидетельствует о принципиальном неприятии Достоевским героя паждановского типа и о его всеселом расположении к русским молодым людям, похожим на толстовского Левина.

Стр. 62. *Жалобы на разочарование совершило глупы...* — В первую очередь Достоевский укоряет молодежь «разочаровавшуюся» в пароде по-паждановски.

Стр. 63. *Если так будут говорить все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от получения любви.* — Здесь и выше публицистически предваряются речи старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы».

Стр. 64. *В редакцию «Дневника писателя» пришло следующее письмо... —* Автор этого письма — В. В. Каверин.

Стр. 68. ... начиная с Петра Великого со меч России уже несколько раз сиял на Востоке в защиту его — Достоевский имеет в виду Пртурский поход Петра I (1711), войны России с Турцией и Персией при Анне Иоанновне (1725—1739), Екатерине II (1768—1774 и 1787—1791), Александре I (русско-турецкая война 1806—1812 и русско-персидская 1804—1813) и Николае I (русско-персидская война 1826—1828, русско-турецкая война 1828—1829, Крымская война 1853—1856).

Стр. 69. ... немецкий пастор, обработавший у нас штунду... — Пастор Бонекетборг, о деятельности которого по организации новой религиозной секты штундистов на юге России сообщается в журнале «Гражданин» (см. наст. изд., т. XXI, стр. 58—60).

Стр. 69. ... или, наконец, кто-нибудь из тех поселившихся за границей русских, воображающих Россию и народ ее лишь в образе пьяной бабы, со штофом в руках? — Намек на Тургенева г. вторую часть его романа «Ноль», напечатанную в февральской книжке журнала «Вестник Европы» за 1877 г. В эту вторую часть (гл. XXX) Тургенев включил стихотворение «Сон», заканчивающееся следующим четверостишием (в редакции первой публикации):

Один кабак не снят и не смыкает глаз,
И ятоб с сущенной всей пятерней сжимая,
Лбом в полюс уперлись, а пятками в Кавказ,
Спит пепробудным спом отчизна, Русь святая!

Стр. 70. ... что Россия народна, что Россия не Австрия... — Здесь и в целом ряде других случаев высказывания Достоевского об австрийской империи, ее дипломатах и государственном строе согласуются с мнением тогдашних историков и политических публицистов, в частности с суждениями историка С. М. Соловьева: «... в Австрии, составленной из нескольких народностей, национальный вопрос, вопрос о национальной равноправности, о неподчинении одной национальности другой вел к усобице и разделению монархии. Как скоро страшная опасность была сознана, в основу системы было положено отсутствие всякого внутреннего дви-

жения, все должно оставаться по-старому и пребывать в полном спокойствии Но сохранение существующего порядка внутри австрийской империи чрезвычайно трудно, если около будут происходить опасные движения и перемены И потому главной задачею внешней политики Австрии должно быть сохранение старины по возможности во всех государствах Европы, преимущественно ближайших. <...> Это консервативное во что бы то ни стало стремление внутри и вне дало Австрии характер государства дипломатического... <...> Эти черты австрийской политики стали являться постоянными с тех пор, как заведование иностранными делами принял Меттерних...» (С. М. Соловьев. Император Александр первый. Политика Дипломатия. СПб., 1877, стр. 196). Резко отзыаясь о меттернитовской Австрии, Достоевский солидаризуется, в известной степени, с положением брошюры «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года» (Лейпциг, 1861). «Австрия, — писал в ней Б. Н. Чичерин, — представляет соединение областей, не связанных народностью; единство ее утверждено не одном правительстве, на его неограниченной власти. Всякое свободное движение должно вести к проявлению различных национальностей, к распадению государства. У Австрии нет будущего, она упорно должна держаться настоящего, чтобы сохранить свое существование. Это очень хорошо понимали австрийские государственные люди и в особенности Меттерних...» (стр. 9—10).

Стр. 70. ... во все эти четыре века порабощения их церкви... — С 1453 г., когда Константинополь был взят турками. Завоевание турками Балканского полуострова началось еще раньше.

Стр. 70. ... предчувствие смерти и разложения «большого человека». — Мпение о Турции (а речь здесь и ниже идет именно о ней) как о безнадежно «большом» государственном организме было достаточно широко распространено в Западной Европе и в России еще со времен наполеоновских войн. Приблизительно за два месяца до опубликования настоящей главы из «Дневника писателя» в журнале «Отечественные записки» была приведена по-русски цитата из брошюры Пьера Жозефа Прудона «Manuel du spéculateur à la bourse» («Наставление биржевому спекулянту»). В этой цитате «блестательная Порта» характеризовалась как государство, «не имеющее достаточно жизненности», больше того — как государство-труп (ОЗ, 1877, № 1, стр. 141). В самый разгар работы Достоевского над мартовским номером «Дневника писателя», полемизируя с либеральными газетами «Agence Russe» и «Journal de St.-Pétersbourg», газета «Русский мир» писала: «От „большого турецкого человека“ требуют, чтобы он добровольно прекратил или обязался прекратить на будущее время свои болезненные конвульсивные припадки, столь пагубные для лежащих под ним злополучных районов. Это курьезное, заведомо неисполнимое требование, неоднократно уже опровергнутое Россиею, постоянно выдвигается, однако, наружу не только в заграничной прессе, но и в наиболее наивной части нашей русской печати <...> не от Турции зависит изменить ход своей болезни или даже остановить его, и тщетно требуют „добровольного исцеления“ от самой этой большой империи <...> Турция безысходно больна еще с конца прошедшего столетия...» (РМ, 1877, 16 (28) марта, № 72, передовая «С.-Петербург. 15 марта»).

Характеристика «большой человек» употреблялась Достоевским и в «Дневнике писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 374—375). Ранее определение «большой человек» Достоевский употребил в одной из записных тетрадей 1864—1865 гг. (см. наст. изд., т. XX, стр. 188).

Стр. 70—71 Столь недавняя у них греко-болгарская церковная расправа, под видом церковной, была, конечно, лишь национальной... — Борьба болгар за независимость болгарской церкви от константинопольского (греческого) патрархата завершилась в 1870 г. учреждением болгарского экзархата. В православной церковной организации экзарх (от греч. ἔξαρχος — глава жрецов при храме) — глава самостоятельной церкви или отдельной церковной области.

Стр. 71. ... если б возможно было повторить болгарские летние

ужасы... — Достоевский имеет в виду турецкие зверства в Болгарии летом 1876 г., о которых и он много писал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXII, стр. 110).

Стр. 72. ...«Англия никогда не примет участия со силою той ненависти, какую она сама питает к нам»... («Московские ведомости», № 63). — Цитата из передовой статьи «Москва, 14 марта» (см.: МВед, 1877, 15 марта, № 63). Далее в этой передовой отмечалось: «Английские эмиссары, наполняющие теперь Болгию и другие провинции Европейской Турции (...) усиленно работают для сворачивания забытых и голодающих наций к отступничеству от веры их предков, употребляя для этой нравственной пытки те ничтожные благотворения, которые Англия бросает им как крохи отверженным и нравственно прокаженным, не щадя в то же время миллионов для вооружения их притеснителей. По мере нашей уступчивости растет и заносчивость наших противников».

Стр. 72. Я потому так говорю, что уж программа была дана: болгаре и Константинополь. — Имеется в виду проект возрождения Византийской империи. Об этом см.: наст. изд., т. XXII, стр. 100.

Стр. 74. С некоторого времени я стал получать от них письма... — Далее, в этом и следующем параграфах, Достоевский цитирует письма (от 26 января и от начала февраля 1877 г.), адресованные ему А. Г. Ковнером (1842—1909) — литератором, автором книги «Шамфлеты» (1865) и «Связка цветов» (1868), направленных против «старых устоев еврейского быта и национальной ограниченности». Ковнер сотрудничал в «Голосе», «Деле» и журнале «Всемирный труд», запрещенном цензурой за «явное сочувствие к революционным движениям» и «вредные социалистические идеи». Оба письма Ковнера, цитируемые Достоевским, хранятся в ГБЛ, впервые опубликованы в книге Л. Гроссмана «Исповедь одного еврея» (М.—Л., 1924); первое из этих писем (от 26 января 1877 г.) перепечатано в комментариях А. С. Долинина (см.: Д, Письма, т. III, стр. 377—382).

Стр. 75. ...этим господам из «высших евреев» слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову... — Иегова — одно из имен бога в Ветхом завете, происходит от слова гавá или гайá — быть. Согласно библейской легенде, под именем Иеговы бог впервые открылся пророку Моисею (Исход, гл. VI, ст. 2). С тех пор это имя сделалось знаменем национальной религии евреев.

Стр. 75. ...имя г-на NN, мне писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом. — Достоевский выполняет просьбу, выраженную в письме Ковнера от 26 января 1877 г.: «Может быть, Вы захотите заговорить в своем „Дневнике“ о некоторых предметах, затронутых в этом письме, то Вы это сделаете, конечно, не упоминая моего имени» (Д, Письма, т. III, стр. 382).

Стр. 76. (Здесь почтенный корреспондент сопоставляет несколько известных русских кулачков с еврейскими в том смысле, что русские не уступят. — Имея в виду эксплуататоров — выходцев из русской и еврейской среды, Ковнер воскликнул, обращаясь к Достоевскому в письме от 26 января 1877 г.: «Чем Губонин лучше Полякова? Чем Овсянников лучше Малькиеля? Чем Ламанский лучше Гинцбурга?» (Д, Письма, т. III, стр. 381).

Стр. 76. (Тут опять несколько имен, которых я, кроме Гольдштейнова, считаю не вправе напечатать, потому что некоторым из них, может быть, неприятно будет прочесть, что они происходят из евреев.) — Достоевский имеет в виду следующие обращенные к нему с укором строки из того же письма Ковнера от 26 января 1877 г.: «Вы, говоря о „жиде“ (...) в это название (...) включаете и ту почтенную цифру евреев, получивших высшее образование, отличающихся на всех поприщах государственной жизни — берите хоть Португолова, Кауфмана, Шапиро, Оршанского, Гольдштейна (геройски умершего в Сербии за славянскую идею), Быводцева и сотни других имен, работающих на пользу общества и человечества...» (Д, Письма, т. III, стр. 381).

Стр. 76. Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного непроплеванного места (словечко Щедрина)... — Достоевский имеет в виду следующие слова из первой главы «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина, опубликованной в февральском номере «Отечественных записок» за 1877 г.: «И как меня вдруг потянуло туда, в задние изызнькие комнаты, в эту провонялую, сырую атмосферу, на эти киселтатые диваны, на всем пространстве которых, без всякого сомнения, ни одного непроплеванного места невозможно найти!» (*Салтыков-Щедрин*, т. XV, кн. 1, стр. 17). Возможно, вспоминает Достоевский и щедринский рассказ в «Дневнике провинциала» (*ОЗ*, 1872, №№ 1—6, 8, 10—12) о перенесеновании одним русским помещиком выигранной им «в плавки» крепостной деревни в деревню «Проплеванную» (см.: *Салтыков-Щедрин*, т. X, стр. 348).

Стр. 77. Пусть благородный Гольдштейн умирает за славянскую идею. — Имя Гольдштейна, учигеля одной из петербургских или московских гимназий, добровольно отправившегося на войну сербов с турками и проявившего во время боевых действий исцаурядную храбрость, хладнокровие и находчивость, упоминалось также в цитировавшихся очерках Мещерского «На пути в Сербию и в Сербии».

Стр. 77. Я готов поверить, что лорд Биконс菲尔д сам, может быть, забыл о своем происхождении... — Достоевский соглашается, до известной степени, с Ковнером, писавшим ему 26 января 1877 г.: «Дизраэли <...> вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то испанскими евреями <...> Кстати замечу, что в одном вашем „Дневнике“ вы выражились вроде того, что Дизраэли *выклянчил* у королевы титул лорда, между тем как это общепзвестный факт, что еще в 1867 г. королева *предложила* ему лордство, но он отказался, желая служить представителем Нижней палаты» (*Д, Письма*, т. III, стр. 381). О Дизраэли см.: паст. изд., т. XXIII, стр. 106—111.

Стр. 78. Нет, они и тогда точно так же кричали о правах, которых не имел сам русский народ... — Очевидно, Достоевский вспоминает здесь о полемике по еврейскому вопросу, развернувшейся в периодической печати в 1858 г. (см. примечания к статье «Щекотливый вопрос» — наст. изд., т. XX, стр. 283—284). Кроме этой полемики, Достоевский мог иметь в виду сборник статей Л. И. Мандельштама «В защиту евреев» (СПб., 1859) и книгу Д. В. Хвильсона «О некоторых средневековых обвинениях против евреев» (СПб., 1861).

Стр. 78. ...я только что прочел в лартовской книжке «Вестника Европы»... — Подразумевается статья Ю. А. Росселя «Южные штаты североамериканской республики и их настоящее». Об эксплуатации «еврейскими факторами» негритинских сельскохозяйственных рабочих говорится во второй главке этой статьи (см.: *ВЕ*, 1877, № 3, стр. 136—137).

Стр. 78. А дней десять тому назад прочел в «Новом времени» (№ 371) корреспонденцию из Ковно, прехарактернейшую... — Далее Достоевский пересказывает содержание корреспонденции «Начало реакции против евреев в Ковенской губернии» (подписана буквами А. Л.), напечатанной не в 371-м, как он утверждает, а в 375-м номере газеты «Новое время» (см.: *НВ*, 1877, 15 (27) марта, № 375, отдел «Внутренние известия»). Эта описка не случайна. В № 371 «Нового времени» от 11 (23) марта 1877 г. особое внимание Достоевского могли привлечь: 1) положительный отзыв о статье Росселя (см. отдел «Среди газет и журналов») и 2) импонировавшая ему полемика с «Вестником Европы» по Восточному вопросу.

Стр. 79. ...«борьба за существование»... — Термин, получивший широкое распространение после выхода в свет книги Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за существование» (1859). Употребление этого термина в качестве характеристики отношений в человеческом обществе Достоевского, как христианина, возмущало. Кроме того, он считал (об этом свидетельствуют многие его письма и заметки в записных тетрадях), что

принцип «борьба за существование» полагается в основу социалистических и коммунистических учений в Западной Европе и в России (см.: Д. Письма, т. III, стр. 211—214; наст. изд., т. XXIV, стр. 164).

Стр. 80. *Мне даже случалось жить с народом, в массе народа, в одних казармах, спать на одних нарах.* — Достоевский имеет в виду свое пребывание на каторге.

Стр. 80. *Там было несколько евреев — и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их.* — О терпимом отношении русских каторжников к каторжникам-евреям Достоевский рассказывал в первой части «Записок из Мертвого дома» (см. наст. изд., т. IV, гл. IX «Исаи Фомич. Баня...»).

Стр. 81. ...не настали еще все времена и сроки... — Не совсем точная цитата из ответа Иисуса Христа апостолам. См. выше, примеч. к стр. 49.

Стр. 81—82. *«Выходи из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у бога, остальных истреби соединись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай...»* — По-видимому, Достоевский концентрированно и лишь по смыслу точно цитирует ряд положений Талмуда в истолковании М. И. Гриневича — автора издания «О тлетворном влиянии евреев на экономический быт России и о системе европейской эксплуатации» (СПб., 1876).

Стр. 82. *Еще в детстве моем я читал и слыхал про евреев легенду о том, что они-де и теперь неуклонно ждутmessию...* — Возможно, подразумевается драма Н. В. Кукольника «Князь Даниил Васильевич Холмский».

Стр. 82. ...кабалист-раввин... — У евреев — проповедник и хранитель учения иудаизма (от др.-евр. ga'balach — предание и rabbi — наставник).

Стр. 82. *Загорит, заблестит луч денницы...* — Достоевский неточно приводит строки из песни Рахили в драме Н. В. Кукольника «Князь Даниил Васильевич Холмский» (акт II, явл. 2). В оригинале:

Загорит,
Заблестит
Свет денницы...

(Нестор Кукольник. Сочинения драматические, т. II. СПб., 1852, стр. 415).

Стр. 84. *«Всяк за себя и только за себя соединственно для себя...»* — Эта «основная идея» или «нравственный принцип» западноевропейской буржуазии подвергался Достоевским ожесточенной и глубокой критике еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см. наст. изд., т. V, стр. 69, 74, 79).

Стр. 85. *Куртаж* (от франц. courtage) — вознаграждение маклеру за посредничество при совершении какой-либо сделки.

Стр. 85. *Разве покойный парижский Джемс Ротшильд был дурной человек?* — Речь идет о французском банкире бароне Джеймсе Ротшильде (1792—1868). В этом замечании Достоевского чувствуется отголосок герценовских характеристик Джеймса Ротшильда в «Былом и думах» (см.: Герцен, т. X, стр. 135—140).

Стр. 86. ...пишет мне одна соблагороднейшая и образованная еврейская девушка... — Корреспондентка Достоевского Софья Ефимовна Лурье (см. о ней: наст. изд., т. XXIII, стр. 379—380).

Стр. 86. ...ну что если тут же к этому освобожденному мужику со нахлынет всем кагалом еврей... — Здесь и ниже («И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ...» и т. д.) Достоевский частично опирается на сообщения тогдашних консервативных изданий, из которых в первую очередь должны быть названы «Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского быта. Собрал и перевел Яков Брафман» (Вильно, 1869) и упоминавшаяся выше книга Гриневича. Первая из этих книг была в библиотеке Достоевского (см.: Гроссман, Семинарий, стр. 46).

Стр. 87. Но «буди! буди!» Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав! — Эти слова Достоевского предваряют проповеди старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» (см. наст. изд., т. XIV).

Стр. 87. ...всегдашия «скорбная брезгливость» евреев... — В романе «Преступление и наказание» Свидригайлов за несколько минут до самоубийства встретил солдата-еврея, па лице которого «виднелась та веко-вечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени» (см. наст. изд., т. VI, стр. 394).

Стр. 88. Видел я Росси в Гамлете и вывел заключение, что вместо Гамлете я видел господина Росси. — Итальянский актер-трагик, переводчик Шекспира, драматург, критик и мемуарист Эрнесто Росси (1829—1896), начиная с 1877 г. неоднократно гастролировал в России. Ироническая оценка Достоевским актерских возможностей Росси находит существенное дополнение в суждениях Тургенева, видевшего в Росси как бы итальянского представителя столь непримечательной им русской «ложно-величавой школы» (см.: Тургенев, Письма, т. XI, стр. 200). Между тем газетные отклики на выступление Росси в «Гамлете», состоявшееся 16 (28) февраля 1877 г. в Мариинском театре, противоречили мнениям Достоевского, Тургенева и других ценителей сценического искусства. Так, например, Буренин писал: «В общем исполнение Гамлете, не во гнев будь сказано нашим доморощенным строгим ценителям и судьям, было настолько талантливо, правдиво и обработано, что оставляет желать очень немногого. Наши строгие ценители и судьи упрекают итальянского артиста за то, что его игра будто бы отличается одной обдуманностью, чужда непосредственного увлечения и чувства, что будто бы она проинкупта декламаторской закваской <...> Пора давно бросить эти пошлые поучения, что актер должен играть «внутренностями» и что никакое изучение и обдумывание роли не заменит такой игры. Напротив, следует твердить сколь можно чаще и нашей публике и нашим артистам, что, согласно с знаменитым мнением Дидро, только одно глубокое изучение и обдумывание, разумеется, при условии таланта, делает настоящего сценического мастера. Росси, по моему мнению, принадлежит именно к такого рода мастерам <...> Он совершенно впору шекспировским ролям <...> Я уверен, что в конце концов публика войдет во вкус» (НВр. 1877, 18 февраля, № 350, отдел «Театр и музыка»). Заключение Достоевского об игре Росси было, по всей вероятности, скрытым полемическим выпадом против Буренина, написавшего эту апологетическую рецензию.

Стр. 88. Хочелось бы поговорить (немножко) о картине Семирадского... — Речь идет о картине Г. И. Семирадского (1843—1902) «Светочи христианства» (познейшее название — «Светочи Нерона»), демонстрировавшейся на выставке в Академии художеств в марте 1877 г. (см.: РМ, 1877, 11 марта, № 67) и подаренной впоследствии художником краковскому музею.

Стр. 88. ...а пуще всего хотелось бы ввернуть хоть два слова об идеализме и реализме в искусстве, о Репине и о господине Рафаэле, — но, видно, придется отложить всё это до более удобного времени. — Это намерение Достоевского не осуществилось.

Упоминание об идеализме и реализме в искусстве имеет в данном случае прямое отношение к полемике, вспыхнувшей через некоторое время после напечатания в журнале «Пчела» статьи В. В. Стасова «Илья Ефимович Репин», в которой было опубликовано несколько писем Репина к Стасову, содержащих резкие отзывы об итальянском классическом искусстве. В одном из этих писем Репин писал: «Что вам сказать о пресловутом Риме? Ведь он мне совсем не нравится! Отживший, мертвый город, и даже следы-то жизни остались только пошлые, поповские, — не то что во дворце дожей, в Венеции! Только один Монсей Микеланджело действует поразительно. Остальное, п с Рафаэлем во главе, такое старое, детское, что смотреть не хочется <...> Я чувствую, во мне происходит

реакция против симпатий мопх предков: как они презиралы Россию и любили Италию, так мне противна теперь Италия, с ее устаревшей до рвоты красотой» («Пчела». 1875, № 3, стр. 41, 43; Стасов, т. I, стр. 266—267). О критиках, возмущавшихся этими суждениями И. Е. Репина, В. В. Стасов писал в статье «Прискорбные эстетики», опубликованной в газете «Новое время» (1877, 8 января, № 310): «И идеалист, подписывающийся Дм. Ст. («Русский мир». № 280), и позитивист, подписывающийся Эм¹ («Голос», № 332), уверяют, будто г-п Репин не пашел ни в одной европейской галерее ни одной картины, достойной его внимания, и осудил всех лучших представителей живописи. Но ведь это самая непозволительная неправда! В письмах ко мне он говорил, что Рим отживший, мертвый, поповский город. — они уверяют, что одним росчерком пера г-н Репин уничтожает всю Италию, и не желают помнить, что он тут же восхищается Венецией с ее галереями. Он мало сочувствовал римским художникам XVI века — они провозглашают, что он все итальянские школы топчег в грязь, и точно нарочно забывают, что он тут же приходит в восторг от многих других художников — Микеланджело, Веронезе, Тициана, Мурильо. Значит, чего же собственно г-н Репин не признавал? Только некоторых итальянских классиков? Но в этом, кажется, еще нет великой беды, и даже на самого Рафаэля не раз нападали, на нашем веку, художники Западной Европы — именно все те, которые отделились от направления „идеального“, в настоящее время кажущегося им значительно устаревшим в живописи, как и во всем другом, и примкнули к направлению, по их убеждению, более правдивому и жизненному — к направлению „реальному“ (Стасов, т. I, стр. 288—289).

Определение Достоевского «господин Рафаэль» скрытое пропично по отношению к Стасову и Репину. Дело в том, что в статьях Стасова «Илья Ефимович Репин» и «Прискорбные эстетики» беспрестанно назывался «господином» только Репин. Впрочем, в записной тетради 1876—1877 гг. отношение Достоевского к Репину как отрицателю Рафаэля и к Стасову как автору статьи «Прискорбные эстетики» выражено в весьма жесткой форме: «„Новое время“», суббота, 8 января (№ 310?), — фельетон Стасова об идеале и реализме «... Репины — дураки, Стасов хуже» (см. стр. 227).

В начале 1877 г. интерес Достоевского к полемике об идеализме и реализме в искусстве, возможно, стимулировался и памфлетными образами тургеневской «Нови». Во второй главе романа в устах Паклина была вложена следующая характеристика «нашего всероссийского критика, и эстетика, и энтузиаста» Скоропихина (под которым подразумевался Стасов): «Послушать Скоропихина, всякое старое художественное произведение уж по тому самому не годится никаку, что оно старо... Да в таком случае художество, искусство вообще — не что плюе, как мода, и говорить серьезно о нем не стоит! Если в нем нет ничего незыблемого, вечного — так черт с ним! В науке, в математике, например: не считаете же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков? Вы готовы признать их авторитет, а Рафаэль или Моцарт — дураки?» (Тургенев, Сочинения, т. XII, стр. 19). Нападки на Стасова и разделявших его взгляды молодых русских художников (в том числе и Репина) очевидны и в том месте «Нови», где упоминалось о «народном певце Агремантском» и характеризовалось отношение к нему Скоропихина: «И тот же Скоропихин, спаете, наш исконный Аристарх, его хвалит! Это, мол, не то, что западное искусство! Он же и наших паскудных живописцев хвалит! Я, мол, прежде сам приходил в восторг от Европы, от итальянцев: а услышал Россини и подумал: „Э! э!“; увидел Рафаэля — „Э! э!..“ И этого Э! э! нашим молодым людям совершенно достаточно; и они за Скоропихиным повторяют: „Э! э!“ — и довольны, представьте!» (там же, стр. 297).

¹ А. М. Матулинский (примеч. В. В. Стасова).

Достоевский, несомненно, иронизирует над выпадами Стасова и молодого Репина против «идеальной» живописи Рафаэля; сурово осуждает «гордых невежд», кичащихся тем, что «ничего не попимают в Рафаэле». не находят «ничего (...) особенного» в Шекспире (см. наст. изд., т. XIV, стр. 44).

Стр. 88. ... хотелось бы мне, но уже несколько побольше, написать по поводу некоторых из полученных мною за всё время издания «Дневника» писем, и особенно анонимных.— См. ниже параграф «Об анонимных ругательных письмах» в майско-июньском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г.

Стр. 89. ... хочу привести теперь одно письмо со всема знакомой мне г-жи Л. ...— Цитируемое ниже письмо с описанiem похорон доктора Гинденбурга (датировано 13 февраля 1877 г.) получено Достоевским из Минска от Софии Лурье. В ответном письме к ней от 11 марта 1877 г. Достоевский писал: «Вашим доктором Гинденбургом и Вашим письмом (не называя имени) я непременно воспользуюсь для Дневника. Тут есть что сказать». Письмо Лурье легло в основу статьи «Похороны „Общечеловека“».

Стр. 89. ... с которой я познакомился в Петербурге...— Это знакомство состоялось зимой 1876 г. (см. паст. изд., т. XXIII, стр. 51; см. также: Д, Письма, т. III, стр. 209, 359).

Стр. 90. ... это чисто немецкий вид. — Шутка (нем. Witz).

Стр. 90—91. ... у иных современных реалистов наших нет нравственного центра в их картинах, как выразился на днях один могучий поэт и тонкий художник, говоря со мной о картине Семирадского.— Скорее всего Достоевский имеет в виду А. Н. Майкова — знатока античного мира, автора поэм «Три смерти» (1857), «Два мира» (1872).

Стр. 91. Даже перламутр мог бы быть написан, как и в картине Семирадского,...— Вновь речь идет о картине «Светочи христианства». В. В. Стасов в статье «Картина Семирадского», опубликованной в газете «Новое время» (1877, 15 марта, № 375) недели за две до писания настоящей главы «Дневника писателя», отмечал некоторые удачные детали картины «Светочи христианства», которая в целом и ему не понравилась из-за полного отсутствия «внутреннего содержания»: «...выше, поразительнее всего перламутровые носилки Нерона, написанные так, как наверно никогда ни один живописец в мире не писал перламутра с радужными его переливами» (В. В. Стасов. Собрание сочинений, т. 1. СПб., 1894, стр. 542).

Стр. 92. ...наследят землю...— Восходит к библейскому выражению; см., например: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 5).

Стр. 94. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви со Мы это сами видели своими глазами, слышали, и всё это даже здесь в Петербурге.— Характеристику переизданий Достоевского в момент, когда до Петербурга дешел «высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции, данный в Киприане 12 апреля 1877 года», см. в воспоминаниях его жены (Достоевская, А. Г., Воспоминания, стр. 315—316).

Стр. 95. Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения...— В этих утверждениях Достоевского ощущаются отголоски «Речи, пропизнесенной председателем московского славянского благотворительного комитета (И. С. Аксаковым, — Ред.), в заседании 17 апреля». О начавшейся русско-турецкой войне в ней говорилось: «Эта война ее духу (то есть духу России, — Ред.) потребна (...) эта война за освобождение порабощенных и угнетенных славянских братий; эта война праведная, эта война подвиг, святой, великий (...) Но потому именно, что подвиг так возвышен и свят, для совершения его нужны чистые руки и чистое сердце». В заключение этой речи подчеркивалось свершившееся наконец,

по мнению ее автора, «единение между русским образованным обществом и народом» (*МВед*, 1877, 24 апреля, № 98).

Стр. 95. *Мудрецы кричат и указывают, что мы погибаем и задыхаемся от наших собственных внутренних неустройств, а потому не войны жечь нам надо, а, напротив, долгого мира...* — Подразумеваются «мудрецы» из журналов «Отечественные записки», «Вестник Европы» и газеты «Голос». Несколько раньше, чем Достоевский, «мудрецами века» иронически называл русских и западноевропейских противников войны России с Турцией председатель московского славянского благотворительного комитета И. С. Аксаков — в речи на заседании этого комитета 17 апреля 1877 г. по случаю обнародования царского манифеста 12 апреля 1877 г. (см.: *МВед*, 1877, 24 апреля, № 98).

Стр. 95—96. *Погуляют и воротятся* \sim *Не бывать войне, какая война, где уж нам воевать: просто военная прогулка и маневры, с тратой сотен миллионов, для поддержания чести.* — Подразумеваются мнения иностранных обозревателей и корреспондентов, «нахлынувших к нам накануне войны», чтобы «изучить нас на месте». Подтверждением этим суждениям Достоевского звучит заключение об отношениих английской печати к русско-турецкой войне, сформулированное несколько позже в передовой статье «Москва, 27 мая» (*МВед*, 1877, 28 мая, № 129): «...известная часть заграничной печати тщится доказать, будто мы встревожены, будто мы опасаемся и не знаем, как бы скорее бежать назад с Дунаем ...». Вот образчик: парижский корреспондент *“Times”* посвящает публику во все тайны, раскрывая ей опасные для России последствия ее предприятия, коих, по его словам, она может избежать только «быстрым и энергическим ограничением своих действий» ... Послушаем далее: «Очевидно, что в тот день, когда Сербия примет участие в войне или румынские войска перейдут Дунай, Австрия займет одно или оба княжества» ... Нас, как малых детей, пугают то Англией, то Австроией и соблазняют как игрушкой позволением удовлетворить „первой победой“ нашей национальной гордости...». Аналогичные резюме об отношении к России со стороны западноевропейской печати высказывались в «Московских ведомостях» и почти одновременно с Достоевским (см. передовицы, отделы «Телеграммы» и «Последняя почта» в *МВед*, 1877, №№ от 100 до 108). Ироническая цитация и интерпретация Достоевским военно-политических прогнозов в иностранной прессе содержат намек на сообщения лондонского корреспондента *«Kölnische Zeitung»*, перепечатанные в газете Суворина: «Лица, которые задались целью следить за политикою России в течение значительного числа лет и которым нельзя отказывать в глубоком понимании нынешних обстоятельств, только улыбаются и покачивают головою, когда их стараются убедить, что русская армия совершил только „военную прогулку“ и военный крестовый поход в пользу угнетенных христиан и что после двух-трех выигранных сражений Россия, удовольствуясь некоторыми гарантиями для своих „protégés“, вернется пресколькою восьмоязи» (*НВп*, 1877, 19 апреля (1 мая), № 408, отдел «Внешние известия»).

Стр. 96. *И новый нигилизм начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его.* — О прежнем русском нигилизме, выразителем которого, по определениям самого же Достоевского, был «беспокойный и тоскующий» (признак «великого сердца») Базаров, в 1860-е годы Достоевский судил иначе (см. наст. изд., т. V, стр. 59). Здесь же имеется в виду «новый» нигилизм, сродни нигилизму самоубийцы Крафта в романе «Подросток» (гл. III, 3 — см. наст. изд., т. XVII, стр. 39—47).

Стр. 97. ... *дрогнуло сердце Биконс菲尔да: сказано было ему, что Россия всё перенесет \sim но не пойдет на войну — до того, дескать, сильно ее «миролюбие».* — Речь идет о суждениях иностранных корреспондентов, наслушавшихся одних лишь «премудрых и разумных наших», то есть либералов и «западников», к которым писатель причислял и сотрудников «Отечественных записок» и «Вестника Европы», считавшихся Достоевским

в равной степени «западниками», так как по ним высказывались в ряде статей и очерков против войны России с Турцией.

Стр. 97. ...оны кричат, что у нас вдруг, после царского манифеста, появился «патриотизм». — Речь идет о суждениях иностранных корреспондентов (главным образом английских и австрийских газет). Манифест о войне России с Турцией был дан Александром II в Кишиневе 12 (24) апреля 1877 г.

Стр. 98. ...деньги и ученыe организации шестисоттысячных войсковых нашествий могут споткнуться о землю нашу... — Намек на нашествие Наполеона I в 1812 г.

Стр. 98. Александр I говорил, что отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим... — Об этом Достоевский прочел в «Обозрении жизни и царствования императора Александра I», принадлежавшем перу Н. В. Путяты. «Известие о занятии Москвы французами», — отмечалось в этом обозрении, — привез императору Александру флигель-адъютант Мишо. Александр сказал ему: «Если у меня не останется ни единого солдата, я созву мое верное дворянство и добрых поселенцев, буду сам предводительствовать ими и подвигну все средства империи. Но если промыслом божиим предоставлено роду моему не царствовать более на престоле моих предков, то, истощив все усилия, я отращу себе бороду и лучше соглашусь скитаться в недрах Сибири, нежели подписать стыд моего отечества» («Девятнадцатый век». Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым (издателем «Русского архива»). Книга первая. М., 1872, стр. 456—457).

Стр. 100. ...в виде миллиардов дани... — Франция была вынуждена заплатить Германии контрибуцию в пять миллиардов франков золотом.

Стр. 100. ...отрубила у нее целый бок в виде двух, самых лучших провинций! — Речь идет о французских областях Эльзасе и Лотарингии, отошедших после франко-прусской войны к Германии.

Стр. 100. ... (как мечтает уже Австрия...) — Австро-Венгрия «мечтала» о присоединении к своей территории славянских земель Боснии и Герцеговины. В марте 1877 г. Александр II тайно обещал отдать эти земли Австро-Венгрии, в обмен на нейтрализацию последней в предстоящей русско-турецкой войне.

Стр. 101. «Но кровь, но ведь все-таки кровь», — наладили мудрецы... — В связи с вопросом о войне и мире Достоевский солидаризировался с изданиями, осуждавшими позицию, занятую либеральной газетой «Голос». Так, например, несколько позже автор заметка «Последняя страничка», помещенных в «Гражданине» (1877, 31 мая, № 21), с насмешкой писал о том, что после «сорокадневного поста», то есть срока запрещения издания «Голоса» за напечатание антивоенной статьи Евгения Маркова «С кем нам воевать?», передовая этой газеты вновь начинается восклицанием: «Кровь пролита! И эта кровь — русская!».

Задаваясь вопросом: «Спасает ли пролитая кровь?» и утверждая: «Не всегда война бич, иногда и спасение», Достоевский, по-видимому, учитывал трактат Прудона «Война и мир. Исследование о принципе и сохранении международного права» (1861), появившийся в 1864 г. в русском переводе, и отклики на этот трактат в русской периодической печати (см.: ЛН, т. 83, стр. 657). См. также помету Достоевского со ссылкой на библейские тексты в записной тетради (наст. изд., т. XXIV, стр. 276). Возможно, что Достоевский здесь полемизирует и с рассказом Г. И. Успенского «Не воскрес», в котором на поставленный вопрос («Спасает ли пролитая кровь?») давался безоговорочно отрицательный ответ. В устах своего героя Успенский вложил следующие, проникнутые скептицизмом и разочарованием слова о сербо-турецкой войне 1876 г.: «Сотни и тысячи смертей, как ни странно это кажется, не только не развивают чувствительности в живых (о живых я только и говорю), но, напротив, приучают глядеть на смерть совершенно хладнокровно. Не диво становится каждому смотреть на кровь, слушать стоны, видеть оторванные руки, ноги, пробитые головы. Жизнь человеческая начинает цениться ни во что —

и в человеке, еще недавно обремененном именно человеческими-то заботами, сладко потягиваясь, просыпается зверенок... Эта атмосфера, созданная войной, охватила меня тотчас, как только я ступил на сербскую землю...» (*OZ*, 1877, № 2, стр. 296).

Стр. 102. *Они желали столкнуть Россию на самую пошлую и недостойную великой нации дорогу, не говоря уже об их презрении к народу...* — Эта характеристика представляет собою оценку позиции по Восточному вопросу, занятой либералами из «Вестника Европы». Подразумевается следующее место из статьи «Еще несколько слов по южнославянскому вопросу», подписанной буквами А. П. (А. Н. Пыпин): «Национальная гордость, сознание национального достоинства — это прекрасные вещи; они без вызовов являются в серьезные моменты национальной жизни, — но к ним надо appealировать с большой осторожностью и вниманием, потому что эти прекрасные чувства слишком поддаются злоупотреблению, которое делает из них пошлость. Национальная гордость может иметь разную подкладку, и действительное достоинство и право, и фальшивое самообольщение и самодурство: чернь в пароде и чернь в обществе легко увлекаются этими последними извращениями прекрасного чувства (...) У нас давно осужден и осмеян „квасной патриотизм“...» (*BE*, 1877, № 3, стр. 378). Несколько раньше Достоевского на «попштость» и «непатриотичность» убеждений, выраженных этими словами, с пе меньшей запальчивостью указывал А. С. Суворин: «Это справедливо, по пошлости точно таким же образом злоупотребляет и западничеством (...) Пошлость одинаково аплодирует и квасному патриотизму, и осмеянию всего русского, всего национального, всяких порывов» (*NBr*, 1877, 13 (25) марта, № 373).

Стр. 102. *Вы лежете исцелять и спасать других, а у самих даже школ не устроено...* — Продолжение полемики с «Вестником Европы» и, в частности, с автором статьи «Еще несколько слов по южнославянскому вопросу», в которой особенное возмущение Достоевского вызвали строки: «В том умственном тумане и жаждом состояния общественной самодеятельности, в каком наше общество находится, — со стороны общества странно затевать какие-нибудь великие подвиги (...) Говорят, что решение славянского вопроса решит наши собственные вопросы, что именно через него мы достигнем и возрождения нашего общества. Наивное заблуждение! Никакой „славянский союз“ (здесь автор статьи имеет в виду доктрину, которая была изложена в ряде статей В. И. Ламанского, напечатанных в газете «Новое время», — Ред.) не даст нам того, что должно быть достигнуто собственным внутренним трудом, усвоением свободной науки (не «европейской», а общечеловеческой, которой в Европе только более, чем у нас) и развитием чувства гражданского и общественного достоинства. Собственно говоря, „славянский союз“ и немыслим до тех пор, пока у нас, которые должны стать его сильнейшим участником, не решена будет, до какой-нибудь серьезной степени, эта внутренняя задача. Далекие перспективы, обширные планы, конечно, несравненно привлекательнее для фантазии, чем насущная тяжелая борьба с нашими недостатками; из этих планов так легко складывается дешевый идеал, о котором можно говорить такими пышными фразами, производя своего рода закидыванье шапками этой ничтожной, лживой и негодной Европы. Но перед нами действительность, которая покамест нимало не допускает этого идеала» (*BE*, 1877, № 3, отдел «Хроника», стр. 370). Несколько выше в цитируемой статье прямо утверждалось, что «за освобождение других народов можно браться не при таких условиях, каковы наши» (там же, стр. 368).

Стр. 103. ...«время близко». — Восходит к библейскому выражению; ср.: «Время мое близко; у тебя совершу пасху с учениками моими» (*Евангелие от Матфея*, гл. 26, ст. 18).

Стр. 103. ...«тишишего» царя... — В 1861—1862 гг. Достоевский неоднократно упрекал И. С. Аксакова и славянофилов вообще за идеализацию допетровской Руси, здесь же он сам во многом следует им в характеристике царя Алексея Михайловича (1629—1676). Между тем уже один

из современников Достоевского отмечал: «Характеристика царя Алексея Михайловича видна в его государственной деятельности, домашней жизни и отношениях к людям. Глубоко религиозный, жливой, впечатлительный, способный быть нежным другом и опасным врагом, тихий вообще («тишайший», как величали его льстцы), но, в то же время, строгий, а иногда «смирявший» (бывавший) собственноручно провинившихся, милостивый, даже слабый к своим «ближним людям» и мстительный недругам. мягкий и жестокий, сочинитель забавного „Урядника сокольничих путей“ и учредитель страшного приказа „Тайных дел“ — царь Алексей Михайлович представляет личность, полную двойственности весьма типичной» (М. Д. Хмыров. Царь Алексей Михайлович и его время. 1629—1676. Правоописательный очерк. — Древняя Россия, 1875, № 12, стр. 310). Обосновывая свое заключение, Хмыров указывал на то, что во время московского бунта 1662 г., подавленного «по знаку» «тишайшего», «человек 100 утонул в реке; больше 7000 было перебито и переловлено ... паказали тех, кто сутился заметнее других: вешали, резали поги, руки и ссылали в дальние города». Хмыров также цитировал книгу Г. К. Котошихина (ок. 1630—1667), в которой приводились факты жестокого обращения Алексея Михайловича с боярами и «ближними людьми», и напоминал о том, что в течении своего царствования этот царь «увеличил Россию территориально» больше, «чем все его предшественники», — за счет присоединения Малороссии, завоевания Смоленска и обширнейшей территории юго-восточной Сибири (см. там же, № 11, стр. 200; № 12, стр. 311).

Стр. 103. *Мне сообщили одну выписку...* — Цитируемую далее выписку из записок архиепископа Павла Алеппского сообщил Достоевскому в письме от 12 апреля 1877 г. архимандрит Леонид (Лев Александрович Кавелин; 1822—1891) — настоятель Воскресенского монастыря Новый Иерусалим. См. стр. 317.

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

(Стр. 104)

Источники текста

- ПМ** — Подготовительные материалы (наброски, заметки). См. наст. том, стр. 230. Хранятся: *ПРЛИ*, ф. 100, № 29499.ССХб.19 (1 л., 2 стр.); *ГБЛ*, ф. 93.I.2.12 (2 стр. в переплетенной тетради); см.: *Описание*, стр. 74. Публикуется впервые.
- НР** — Наборная рукопись. Автограф с поправками. В переплетенной тетради. Хранится: *ГБЛ*, ф. 93.I.2.12; см.: *Описание*, стр. 77. Публикуется впервые.
- ДП** — Дневник писателя за 1877 г. Апрель. СПб., 1877 (цензурное разрешение 3 мая 1877), стр. 95—109.

Печатается по тексту **ДП** со следующими исправлениями по **НР**:
Стр. 115, строка 38: «не помню» вместо «но помню».

Стр. 116, строка 24: «перед желанием» вместо «перед желаниями».

Ранний набросок (к первым трем разделам рассказа) датируется приблизительно первой половиной апреля; второй — концом апреля.

26 апреля 1877 г. Достоевский вместе с коротким сопроводительным письмом приспал метрапажку М. А. Александрову конец первой главы апрельского номера «Дневника писателя». Из письма к Александрову от 28 апреля очевидно, что Достоевский уже отправил в типографию очередные страници «Спа смешного человека»: «Присылаю Вам продолжение с 7-й по 12-ю страницу включительно, начинать же в строку с последнего слова в корректуре. Тут фраза была не окончена». Без интервалов посы-

лялись в типографию и последующие разделы рассказа. В письме от 30 апреля Достоевский сообщал метрополиту: «...посылаю 5 страниц. Хорошо бы, если бы и сегодня, подобно вчерашнему, мне прислали эти 5 страницек вечером для корректуры, с тем чтобы взять их завтра в 8 часов». Днем позже, 2 мая, в письме к Александрову: «...вот конец рассказа ...». Поскорее бы корректуру и к цензуре: боюсь, что чего не вычеркнули». Примечательны в последнем письме опасения Достоевского при прохождении цензуры, к счастью, на этот раз оказавшиеся напрасными.

1

«Сон смешного человека» имеет такой же жанровый подзаголовок («Фантастический рассказ»), как и «Кроткая». Но в «Кроткой» «фантастична» лишь избранная Достоевским форма повествования (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 5—6). Другое дело «фантастичность» «Сна смешного человека», проникающая самую суть произведения. Это «фантастичность» во многом того же рода, как и в высоко цепимых Достоевским «Пиковой даме» Пушкина, «Петербургских повестях» Гоголя,¹ «Русских ночах» Одоевского, произведеннях Э. По и Э. Гофмана.

Достоевский в письме к Ю. Ф. Абаза от 15 июня 1880 г. коснулся природы фантастического в «Пиковой даме»: «...верх искусства фантастического. И Вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна или действительно от одних из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (Н. Спиритизм и учения его)».

Подобного же рода двусмысличество (два плана, реальный и фантастический, без обозначения четких границ) присутствует и в рассказе Достоевского: сон рожден «природой» самоубийцы-прогрессиста и в то же время настапает па «реальности» особого рода — соприкосновении с другими и высшими мирами. Даже больше; сон и жизнь уравнены — «философские» спонианмы: «Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон?» (стр. 118).

В пабросках к первым трем разделам рассказа упомянут Э. По там, где говорится о снах: «Одно с ужасающей ясностью через другое перескаивает, а главное, зная, например, что брат умер, я часто вижу его во сне и дивлюсь потом: как же это, я ведь знал и во сне, что он умер, а не дивлюсь тому, что он мертвый и все-таки тут, подле меня живет» (стр. 231). Рядом с приведенным рассуждением о странностях и особенностях сновидений Достоевским сделана пометка: «У Эдгара По».

Достоевский, как об этом свидетельствует его предисловие к трем рассказам По, помещенным в январском номере «Времени» (1861), был знаком с переводами Ш. Бодлера произведенний американского писателя (см.: наст. изд., т. XIX, стр. 281). М. А. Турьян считает, что слова Достоевского («Допускает, что умерший человек, опять-таки посредством гальванизма, восстанавливается из состояния души своей...» — см. там же, стр. 88) относятся к рассказу По «Месмерическое откровение» (1844). Мистер Вэнкер, добровольный «подопытный» герой рассказа По, действительно постепенно слова произносит как бы из другого мира, а в состоянии, в котором пребывает человек в месмерическом сне, есть нечто близкое смерти: «...оно по своим признакам очень близко напоминает смерть, или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека» (По, стр. 515). Человек, погруженный в столь необычайное состояние, начинает по-

¹ О близости другого «фантастического» рассказа Достоевского («Бо́й») к «Запискам сумасшедшего» Гегеля см.: наст. изд., т. XXI, стр. 403.

стигать такие явления, которые обычно ему недоступны; «более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и озаренность...» (там же). Особенno должны были заплтесовать Достоевского рассуждения о месмерическом спне Вэнкерка — рационалиста и скептика, по в чем-то и мистика, смутно подозревающего, что душа бессмертна: «Умозрение, пожалуй, и занятны и по-своему небесполезны, но для постижения духа пужко что-то другое (...) я лишь смутно чувствовал в себе душу, но разумом — не верил (...) Бодрствующему во сне рассуждения и вывод — то есть причина и конечный результат — даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается — да и то, пожалуй, лишь частично — один результат» (там же, с. 516). Вэнкерку «опыты» помогают постичь истину, подобно тому как «бодрствующий» во сне «смешной человек» обретает ощущение счастья и полноты жизни: в том и другом случаях это знание иррациональное, сверхчувственное.

Вполне логично также предположить, что, создавая «фантастический рассказ», Достоевский припомнил и «Повесть Скалистых гор» (1844), герой которой отвергает нереальность происшедшего с ним и так рассуждает о снах: «Вы скажете теперь, конечно, что я грезил; но это не так. В том, что я видел и слышал, что ощущал и что думал, не было ничего от характерных особенностей сна, которых ни с чем не спутаешь. Всё было строго согласовано и реально. Сначала, сомневаясь в своем бодрствовании, я предпринял серию проверок, которые скоро убедили меня, что я действительно не сплю. Ведь если кто-либо спит и во сне подозревает, что он спит, то попытка проверить подозрение всегда завершается успехом, а спящий просыпается почти немедленно» (там же, стр. 500). Именно, чистати, в этом рассказе По герой повествует о своей смерти и ощущениях после нее: «Долгие минуты (...) моим единственным чувством, единственным ощущением, было ощущение тьмы и небытия, сознания смерти. Наконец, мою душу как бы пронизал внезапный, резкий словно электрический удар. С этим толчком вернулось чувство упругости и света. Этот последний я не увидел — я его только почувствовал. Почти в то же мгновенье я, казалось, поднялся над землей, но я не обладал никаким телесным, видимым, слышимым или осозаемым воплощением (...) Подо мною лежал мой труп со стрелою в виске, с сильно вздувшейся обезображенной головой. Однако всего этого я не видел — я это чувствовал. Ничто меня не трогало. Лежа мой труп представлялся мне чем-то совсем посторонним. Желания у меня не было, но что-то все-таки побуждало меня к движению (...) между тем происшедшее не потеряло своей живости — и даже теперь я ни на миг не могу заставить свой разум считать это сном» (там же, стр. 501—502).

В сознании и памяти Достоевского, очевидно, слились и контаминировались идеи и сюжеты различных произведений По: в первую очередь «Месмерического откровения» и «Повести Скалистых гор» — фантастический фон для «фантастического рассказа» «Сон смешного человека». Важнее, конечно, не близость отдельных эпизодов и мыслей в «Сне смешного человека» и рассказах По (во многом условная), а жанровая однородность, как ее понимал Достоевский.

Небольшая статья Достоевского об Э. По хорошо объясняет природу фантастичного в таких произведениях писателя, как «Бобок» и «Сон смешного человека». Достоевский писал о «внешней» фантастичности произведений По: «Но это еще не прямо фантастический род. Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности» (см. наст. изд., т. XIX, стр. 88). Так и в рассказе Достоевского фантастическое присутствует как невероятное допущение — одно «странные соображение». Вопрос возникает у героя перед сном и там «реализуется». Сам сон можно назвать собственно фантастическим элементом в рассказе Достоевского, но он рожден сердцем и рассудком героя, обусловлен реальной жизнью и многими нитями с ней связан. В сон переносятся земные

реалии — револьвер, соседи, петербургские холод и сырость; космическая темнота — продолжение апокалиптического пейзажа (петербургский вечер 3 ноября).¹

Достоевского покорило профессиональное литературное искусство По («техника»), в рассказах которого «сила подробностей» и «сила воображения» не просто размыают границу между реальным и фантастическим, но создают живую и впечатляющую иллюзию реальности фантастического: «...вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случалось на свете» (см. наст. изд., т. XIX, стр. 89). Среди опубликованных в журнале «Время» рассказов По «Черный кот», пожалуй, выделяется особенно. Здесь «сила подробностей» доведена до осязаемой, сверхъестественной точности: описание стона старика («Вдруг я услыхал тихий стон и понял, что это стон смертельного страха ...») Это был подавленный звук, который вырывается из глубины души, переполненной ужасом. Он был мне коротко знаком»; еще конкретнее передан стук сердца: «...вдруг мне послышался чужой, неясный, быстрый звук, подобный тому, какой производят часы, завернутые в хлопчатую бумагу. Мне хорошо был знаком и этот звук» (Br, 1861, № 1, стр. 234).

Столь же конкретно передает и свои «загробные» ощущения герой Достоевского: «... я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концами пальцев на ногах...»; «Но вот вдруг, на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, всё через минуту ...» А капля всё капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз» (стр. 109, 110).

Обостренность и изощренность слуха убийцы По — прямое следствие его патологического состояния, но он, как и «смешной человек», настойчиво опровергает банальное мнение «здоровой» среды: «Да! я был, — как и теперь я, — нервозен, очень, очень, страшно нервозен; но зачем вы хотите называть меня сумасшедшем? ... Вы воображаете, что я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не понимают, посмотрели бы на меня» (Br, 1861, № 1, стр. 232). Герой По, частично предвосхищая рассуждения Свидригайлова о привидениях (а его Раскольников склонен признать сумасшедшем), излагает преимущества своего особенно нервного состояния: «Болезнь изощрила мои чувства, а не испортила, не притупила их. В особенности тонко было у меня чувство слуха. Я слышал всё на небе и на земле. Я слышал многое в аду. Так я сумасшедший?» (там же). Рассуждение же Свидригайлова прямо подводит к проблематике рассказа Достоевского: «Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» (см. наст. изд., т. VI, стр. 221).

«Смешной человек» вступает в «соприкосновение с другим миром» (вернее, мирами, галактиками) во сне. В рассказе Достоевского отсутствует

¹ «Пусть это фантастическая сказка, — писал Достоевский Ю. Ф. Абаза в уже цитированном ранее письме, — но ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему».

патологический элемент, по зато очень выпукло и ясно выставлен идеал — живой образ золотого века.¹

Бахтин, исследуя рассказ «под углом зрепия исторической поэтики жанра», выделяет, в частности, такие разновидности «мениппеи», к которым восходит произведение Достоевского, — «Сонную сатиру» и «Фантастические путешествия» (Бахтин, стр. 197).² Помимо античных авторов он называет целый ряд европейских писателей XVI—XIX вв., модифицировавших названные виды мениппеи. в том числе Кеведо, Гриммельстауэна, Сирено де Бержерака, Шекспира, Кальдерона, Гримальпарцера, Вольтера, Жорж Санд, Черышевского.³

С уверенностью можно говорить о том, что в поле внимания Достоевского — автора «Сна смешного человека» — была большая статья Н. Н. Страхова «Жители планеты», опубликованная в январском номере «Времени» (1861) и включенная затем автором в книгу «Мир как целое» (1872),⁴ и мистическое сочинение Э. Сведенборга (1689—1772) «О небесах, о мире духов и об аде» (Лейпциг, 1863), подаренное 8 января 1879 г. писателю его переводчиком А. Н. Аксаковым.⁵

Отношение Достоевского к статье Страхова вряд ли было целиком положительным. Со многими ее положениями он принципиально соглашаться не мог, особенно с проповеди-списходительными словами об утопиях и утопистах: «Человек недоволен своею жизнью; он носит в себе мучительные идеалы, до которых никогда не достигает; и потому ему нужна вера в *нравственное* разнообразие мира, в бытие существ более совершенных, чем он сам (...) человек считает возможным, что сущность его нравственной жизни может проявиться в несравненно лучших формах, чем она является на земле (...) Мы улстаем мысленно к счастливым жителям планет, чтобы отдохнуть от скуки и тоски земной жизни» (Br, 1861, № 1, стр. 20). Сам Страхов менее всего склонен предаваться мечтаниям и уточням. Современные земли и человек представляются ему венцом мироздания; Страхов пишет о «непревосходимости человека», являющегося «совершеннейшим существом» (там же, стр. 39).

В статье Страхова приводятся мнения Лапласа, О. Конта, Фурье, Г. Гейне; цитируются «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля и книга Гюйгенса «Зритель мира, или О небесных странах и их убранстве». Сочувственно и подробно пересказывается и цитируется Страховым повесть Вольтера «Микромегас». Достоевский собирался написать в манере Вольтера «Русского Кандида» (см. наст. изд., т. XVII, стр. 14, 444). «Сон смешного человека» в известном смысле может быть назван «Русским Микромегасом».

¹ Достоевский в том же предисловии, воздавая должное художественному искусству По, решительно отдает предпочтение другому мастеру «фантастического рода» — Гофману, потому что у последнего «есть идеал, правда иногда не точно поставленный; но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку». И далее о «Коте Мурре»: «Что за истины, зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты, и рядом — какая жажда красоты, какой светлый идеал!» (см. наст. изд., т. XIX, стр. 89).

² Справедлива аналогия рассказа Достоевского и с мистерией: «...здесь, как в мистерии, слово звучит перед небом и перед землею, то есть перед всем миром» (там же, стр. 206).

³ Отразился в рассказе и интерес писателя к астрономии: в библиотеке Достоевского были два издания книги К. Фламмариона «История неба» (СПб., 1875, 1879), его же «Небесные светила» (М., 1865) и книга Шеффера «Противоречия в астрономии» (СПб., 1877). См.: *Библиотека*, стр. 161.

⁴ Книга Страхова послужила писателю «одним из источников при работе» над рассказом (*Фридлендер*, стр. 36).

⁵ См. комментарий И. Л. Волгина к публикации «Неизвестные страницы Достоевского» (*ЛН*, т. 86, стр. 72—73).

Герой Достоевского менее всего безумный утюнник, беспочвенный мечтатель, все время сбывающийся с дороги. Он — пророк, возвещающий «в чине» безумца¹ высшую истину миру. И увиденный им сон пророческий. В следующий выпуск «Дневника писателя» Достоевский собирался дать статью о пророках и пророчествах (см. стр. 261—266). Под естественным даром пророчества Достоевский понимает «способность предчувствия (...) в высших степенях своих» — редкую, исключительную, и в связи с этим вспоминает Сведенборга и его пророчества в недавно подаренной писателю Аксаковым «удивительной» книге «О небесах, о мире духов и об аде»: «Он написал несколько мистических сочинений и одну удивительную книгу о небесах, духах, рае и аде, как очевидец, уверяя, что загробный мир раскрыт для него, что ему дано посещать его сколько угодно и когда угодно, что он может видеть всех умерших, равно как всех духов и низших и высших и иметь с ними сообщение» (стр. 262).²

Возможно, что внимание Достоевского привлекли рассуждения Сведенборга о множестве населенных миров: «...все планеты, видимые для глазу в нашей солнечной системе, суть такие же земли, и (...) кроме их вселенная полна бесчисленным множеством других, которые точно так же исполнены жителей (...) человек мог бы увериться во множестве земель вселенной из того, что звездное небо необъятно и полно несчетных звезд, из которых каждая, на своем месте и в своей системе, есть расадники небес, — тот не может не верить, что всюду, где есть земля, там есть и люди» (*Сведенборг*, стр. 335—336).³

В этой «истине» убеждается и герой Достоевского, совершивший с небесным спутником головокружительный полет через галактики к «звездочке» и удивившийся, обнаружив там разительное сходство с его землей: «И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели такие природный закон?» (стр. 111).

Герой Достоевского думает и говорит во сне после «самоубийства», по это не человеческая речь, а нечто иное: «И я вдруг возвзвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим...» (стр. 110). Его прекрасно понимает небесное существо, которое «имело как бы лик человеческий». Это «темное», загадочное существо лишь изредка отвечает на вопросы «землянина» и каким-то сверхъестественным и в то же время очень действенным образом влияет на него, читая в мыслях и сердце: «Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня» (стр. 111).

«Ангелы» Сведенборга сообщаются с прибывшими на небеса людьми, вживаясь в их образ, усваивая язык, биографию и индивидуальные человеческие особенности (*Сведенборг*, стр. 166). Человек, согласно мистическим фантазиям Сведенборга, умирая и обращаясь в духа, сохраняет все качества и свойства, присущие ему в земной юдоли: «У человека-духа те же внешние и внутренние чувства, какие были даны ему на земле: он видит как прежде, слышит и говорит как прежде, познает обонянием, вкусом и осязанием как прежде; у него такие же наклонности (affectiones).

¹ Таинственный посетитель в «Братьях Карамазовых» говорит о высоком смысле проповеди и деятельности пророков-человеколюбцев: «...хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из единения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великкая мысль...» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 270).

² В «психологическом» отношении такова же и участь «смешного человека»: он страстно верит в истинность увиденного сна, вышедшего «из души и сердца» героя; другие же смеются над его верой, считая его сон «брехом» и «галлюцинацией».

³ Духи с планеты Меркурий «сказали» Сведенборгу, «что есть земли, обитаемые людьми, не только в нашем подсолнечном мире, но и вне его, в звездном небе, и что количество этих земель несчетное» (там же, стр. 338).

нес), желания, страсти; он думает, размышляет, бывает чем-нибудь затронут или поражен, он любит и хочет как прежде (...) При нем остается даже природная память его; он помнит всё, что, живучи на земле, слышал, видел, читал, чemu учился, что думал с первого детства своего до конца земной жизни...» (там же, стр. 370—371).

«Смешной человек» после «смерти» ведет себя таким же образом, как и в жизни, удивляясь тому обстоятельству, что он, будучи мертвым, существует и рассуждает. Конечно, идеи Сведенборга не больше, чем иллюстрация к отдельным эпизодам и мыслям рассказа Достоевского. Здесь нет прямых совпадений, нет и заимствования. Сочинение Сведенборга создало своеобразное мистико-astrономическое пастроение. Достоевский мистику почти всецело устранил, переведя ее в план «поэтики» и психологии сновидений. Но возможно, что именно книга известного спиритуалиста наполнила Достоевского на мысль о создании «фантастического рассказа» с героям — сновидцем и пророком, совершающим путешествие к звездочке. Вероятно, книга Сведенборга своим «удивительным» содержанием ожила в памяти писателя представление о «месмерических» произведениях Э. По. А это воспоминание предопределило во многом жанр «фантастического рассказа» и природу фантастического в произведении Достоевского.

2

«Фантастический рассказ» — единственное художественное произведение в составе «Дневника писателя» за 1877 г. — занимает в творчестве Достоевского особое место. По мнению М. М. Бахтина, «поражает предельный универсализм этого произведения и одновременно его предельная же скратость, изумительный художественно-философский лаконизм» (Бахтин, стр. 199).¹

Рассказ «Сон смешного человека» — кульминация в развитии одного из центральных, постоянных мотивов творчества Достоевского — золотого века. Вслед за Сен-Симоном и другими утопистами Достоевский веровал в то, что подлинный золотой век, то есть общество, основанное на братских и гуманных началах, не давно перевернутая, а будущая, предстоящая страница истории человечества.² Это общество должно разрешить все мучительные, «проклятые» вопросы и недоумения эпохи «цивилизации».

Отражение в «Сне смешного человека» идей французских утопистов (А. Сен-Симона, Ш. Фурье, В. Консiderана, Б. Анфантена) многократно отмечалось в литературе о Достоевском.³

¹ «По своей тематике „Сон смешного человека“ — почти полная эпопея клоподия ведущих тем Достоевского...» (Бахтин, стр. 201).

² Знаменитый эпиграф, предложенный Сен-Симоном «Рассуждениям литературным, философским и промышленным» («Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» — Сен-Симон, т. II, стр. 273), был девизом петрашевцев. Не утратил он своей актуальности и позднее как для Салтыкова-Шедрина, так и для Достоевского. Прямой аллюзия (с грустно-реалистической и частично полемической окраской) на «хрестоматийные» слова французского утописта является реплика Парадоксалиста в «Дневнике писателя» 1876 г.: «Золотой век еще весь впереди, а теперь промышленность...» (см. паст. изд., т. XXIII, стр. 87).

³ См., например: В. Л. Комарович. «Мировая гармония» Достоевского. — В кн.: Атеней. Историко-литературный временник, 1924, кн. 1—2, стр. 139; Н. А. Хмелевская. Об идеяных источниках рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека». — Вестник Ленинградского университета, 1963, вып. 2. Серия литературы, истории, языка. № 8, стр. 137—140. Хмелевская приводит интересные параллели отдельных сюжетных линий в рассказе Достоевского и романе В. Консiderана «Судьба об-

Обычно Достоевский противопоставляет «коноводов» утопического социализма тех времен, когда «попималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете» (см. наст. изд., т. XXI, стр. 130), представителям позднейшего, «политического» и «делового» социализма (второй половины XIX в.), отдавая предпочтение первым. Имена «коноводов» французского утопического социализма Достоевский упоминает в февральском выпуске «Дневника писателя» 1877 г., воссоздавая историю движения: «... лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многие ли и там были известны Сен-Симон и Фурье — первоначальные „идеальные“ толковники этих идей, а у нас (...) звали тогда о начинавшемся этом новом движении па Западе Европы лишь полсотни людей в целой России» (стр. 55). «Идеальными» мыслителями называет Сен-Симона и Фурье Достоевский потому, что они придавали большое значение этическим проблемам: «... прежде, недавно даже, была (...) нравственная постановка вопроса, были фуриеристы и кабестаны, были споры, споры и дебаты об разных, весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария всё это до времени устранили» (стр. 59).

Эти и другие (почти идентичные по смыслу приведенным) высказывания автора «Дневника писателя» позволяют точно судить о том, что было близко Достоевскому в идеях французских социалистов-утопистов и что он решительно отвергал как «пагубное» и нелепое. Достоевский в 1840-е годы многое не принимал в утопиях Фурье и Э. Кабе (см. наст. изд., т. XVIII, стр. 315, 340), как и другие петрашевцы, в частности В. А. Милютина, прописавшего в статье «Мальтус и его противники» о том «общественном устройстве», «которое придумал Фурье для блага человечества, по которым человечество, вопреки надеждам фуриеристов, может весьма легко и не воспользоваться...» (Милютин, стр. 144).¹

Сердцевина рассказа Достоевского — пророческий, историко-философский сын героя, который делится на 3 этапа: 1) пробуждение «смешного человека» после «смерти» и полет с небесным спутником к звездочке; 2) картина жизни счастливых обитателей планеты — «детей солнца»; 3) конец золотого века на безгрешной земле; описание эпохи обособления и войны.

Счастливая планета до «грехопадения» и изобретения «науки» — идеализированное прошлое земли.² Достоевский рисует общество невинных людей, чье счастье обусловлено неведением, которое ничего не стоило смутить и «развратить» одному «прогрессисту» и «глупному петербуржцу». Очевидна условность перепоса Достоевским картины идеального человеческого общежития на другую планету. Речь, в сущности, идет о счастливой поре детства человечества, и «живой образ» прекрасных иноземлян восходит к античным представлениям об утраченном золотом веке — бесчисленным вариациям в средневековой и новой европейской литературе «темы» Геспода («Труды п дпп»);³ об этом достаточно ясно говорится и в самом рассказе Достоевского: «Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили (...) в таком же раю, в каком жили, по преданию всего человечества, и наши согрешившие прародители...» (стр. 112; курсив наш, — Ред.).

Универсальность спа («предания всего человечества») позволяет в литературные и идейные «источники» рассказа зачислить почти всю старую

щества» (1834—1838), а также обнаруживает аплюзии из «Путешествия в Икарию» Э. Кабе (1840) и «Города солнца» Т. Кампанеллы (1623).

¹ «Пагубной» считал Достоевский ту черту воззрений некоторых французских утопистов, которую Милютин называл «стремлением к излишней централизации, к излишнему подчинению частных интересов интересу общему» (там же, стр. 354).

² Развитие с прямыми заимствованиями спа Ставрогина и «фантазии» Версплова (см. наст. изд., т. XII, стр. 320; т. XVII, стр. 312—313).

³ «Само описание земного рая выдержано в духе античного золотого века...» (Бахтин, стр. 205).

и новую европейскую литературу. С большей определенностью можно, однако, говорить об одном литературном произведении как настоящем литературном «источнике» — «Дон-Кихоте» Сервантеса.

Еще в набросках к «Идиллию» писатель предусматривал ввести в роман речь Мышкина о рае — своеобразную параллель мопологии Дон-Кихота (ч. I, гл. XI): «Бедоисовенная речь Гиязя (Дон-Кихот и желудь)» (см. наст. изд., т. IX, стр. 277, 468).

Ряд мотивов и идей речи Дон-Кихота отразился в картине «рай», увиденного во сне «смешным человеком»: органическое единство человека с природой и животным царством; мир, согласие, любовь, естественно присущие свободному союзу людей. не знающих, что такое ложь, лицемерие, личный произвол, сладострастие.

Особенно сближает речь Дон-Кихота и сновидение героя Достоевского контрастное и скорбное противопоставление идеала и действительности, тоска по красоте и иной справедливой и чистой жизни всех: «Блаженны времена и блажен тот век, который древние называли золотым,— и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: *твое* и *мое*. В те благословенные времена всё было общее. Для того, чтобы добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. (...) Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить. Девушки (...) всюду ходили об руку с невинностью (...) не боясь, что чья-нибудь распущенность, сладострастием распаляемая, их оскорбит (...) Ныне же, в наше подлое время, все они беззащитны, хотя бы даже их спрятали и заперли в новом каком-нибудь лабиринте наподобие критского, ибо любовная зараза носится в воздухе. (...) С течением времени мир все более и более полнился этим» (Сервантес, т. I, стр. 127—129).

В рассказе Достоевского противопоставление прекрасного идеала и «подлой» действительности значительно резче и трагичнее, чем в речи героя Сервантеса; близость отдельных мотивов вне сомнения.¹

Пронизана также и античными аллюзиями картина «рай» в рассказе. А грустная и кровавая летопись жизни счастливых людей после «развращения» — это история земли в самом скромном очерке, в которую попали и вполне конкретные «реалии»: «Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину». Но это не просто горестно-иронический обзор заблуждений человечества с опорой на античные и позднейшие представления о происхождении наук и искусств из людских страстей и пороков. Достоевский создает пеповторный, резко индивидуальный очерк истории человечества, пропитанный мотивами мучитель-

¹ Достоевскому в год создания «Спа смешного человека» особенно часто вспоминался роман Сервантеса. В январском выпуске он пишет о «древнем легендарном рыцаре», его бескорыстном и великим служении идеалу, уподобляя герою Сервантеса себя и других «интеллигентных» русских людей, верующих в золотой век, «общечеловечность»: «Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж (...) может быть выше и святее этой веры вашей?» (стр. 19).

Сон о прекрасной земле, увиденный героям Достоевского, родствен и другим утопиям и идиллиям, в частности описанию патрархальной жизни черногорцев («европейского оазиса») в романе Ш. Полье «Жап Сбогар» (1818).

ной и экстатической любви к земле и мирозданию, страдания и жестокого сластотства. В этот очерк Достоевский вводит антипозитивистскую polemiku — развенчание «полупаучного» кредо самоубийственного, с точки зрения писателя, для человечества: «Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука нам дает премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья».

«Смешной человек» объявляет войну позитивистским принципам «научной» переделки мира. Аналогичной была и позиция Достоевского, полемизировавшего в «Дневнике писателя» 1876 г.: «Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них всё украл разом (...) Настанет скука и тоска: всё сделано и нечего делать, всё известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будутходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым им вместе со всеми открытиями» (см. наст. изд., т. XXII, стр. 34).¹

Размышления Достоевского о самоубийцах нашли отражение в рассказе о злосчастиях, обрушившихся после падения на обитателей благословенной планеты: «Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в пичтожестве» (стр. 117).²

Финал рассказа (оптимистический и торжественный) резко контрастирует с тягостно-мрачной прелюдией к сну. До сна «смешной человек» принадлежит к традиционному в творчестве Достоевского типу подпольных героев-парадоксалистов; ближе всего он к Кириллову (и Ставрогину) в «Бесах», Крафту в «Подростке» и к «самоубийце от скуки, разумеется материалисту» «Приговора», который истребляет себя, так как не может быть «счастлив под условием грозящего завтра нуля» (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 147).³ После сна — это человек, взывающий «к вечной истине», «живой образ», которой пробудил петербургского прогрессиста: «...в один бы день, в один бы час — всё бы сразу устроилось!» (стр. 119).⁴ Для свершения такого чуда достаточно «только» одного, но всеобщего условия: «Главное — люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас пайдешь как устроиться» (стр. 119).

¹ Ср. с другими вариантами «райя» без бога: «фантазия» Версилова («последний день человечества») — наст. изд., т. XIII, стр. 378—379; «Геологический переворот» Ивана Карамазова — т. XV, стр. 83.

² Эти страницы Достоевского (равно публициста и художника) восходят к апокалиптической фантазии В. Ф. Одоевского «Последнее самоубийство» (аптимальтузянский памфлет), в которой «пророки отчаяния» философски обосновывают логичность и необходимость для человечества всеобщего самоубийства: «Куда же еще укрыться от жизни? мы переступили за пределы самого невыразимого! чего ждать еще боле? мы исполнили наконец все мечты в ожидании мурдецов, пас предшествовавших» (В. Ф. Одоевский. Русские почт. Л., «Наука», 1975, стр. 58). В завершение люди земли, взявшись за руки, взрывают себя.

³ Тот же «нуль» фигурирует и в размышлениях «смешного человека» перед сном (стр. 107—108).

⁴ Ср.: «Ну что, — подумал я, — если бы все (...) захотели, хоть па миг один, стать искренними и простодушными (...) Что если бы каждый (...) вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума (...) И эта мощь есть в каждом из вас, по до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?» (см. наст. изд., т. XXII, стр. 12—13. Подробнее о развитии темы золотого века см.: Фридлендер, стр. 34—43). Также см.: Н. И. Прудков. Утопия или антиутопия? — В сб.: Достоевский и его время. стр. 80—108; Н. Ф. Бельчиков. «Золотой век» в представлении Ф. М. Достоевского. — В кн.: Проблемы теории и истории литературы. М., 1971, стр. 357—367.

Идеал «смешного человека» близок основному завету «нового христианства» Сен-Симона: «„Люди должны относиться друг к другу как братья“». Этот высший принцип содержит в себе всё, что есть божественного в христианской религии» (Сен-Симон, т. II, стр. 365; также см.: паст. изд., т. VII, стр. 380—381). А слова героя рассказа Достоевского («... я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле», — стр. 118) перекликается с другим тезисом французского утописта: «Истинное христианство должно сделать людей счастливыми не только на небе, по и на земле» (Сен-Симон, т. II, стр. 398).¹

Современная Достоевскому критика рассказ, в сущности, не заметила. В периодической печати появился только один п. незначительный отклик: Н. В. Успенский (за подписью: В. Печкин) в обзоре «Заметки» подробно пересказал рассказ, иронически акцентировав внимание читателя на стихах «современный русский прогрессист по гнусный (курсив Успенского, — Ред.) петербуржец» п. заключив издательским пожеланием «автору „Дневника писателя“ скорейшего выздоровления» (Сыны отечества, 1877, 15 мая, № 20, стр. 270—271).

Прижизненных переводов «Сна смешного человека» на иностранные языки не было.

Стр. 106. Девочка была лет восемь ∞ бросилась от меня к нему. — Развитие мотива, впервые в творчестве Достоевского прозвучавшего в «Униженных и оскорбленах» (см. наст. изд., т. III, стр. 212—213).

Стр. 106. Штос — карточная игра.

Стр. 107—108. Но ведь если я убью себя ∞ какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? — Ранее, в «Бесах», Николай Ставрогин задавал себе подобные вопросы: «Я иногда сам представлял (...) если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет п. плевать будуг тысячу лет, и вдруг мысль: „Один удар в висок, и ничего пе будет“». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет. не так ли?» (см. наст. изд., т. X, стр. 187).

Стр. 108. ...мне вдруг представилось одно странное соображение ∞ Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? — Почти такая же гипотеза волновала и Ставрогина: «Положим, вы жили на луне (...) вы там, положим, сделали все эти смешные пакости (...) Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться п. плевать на ваше мясо тысячу лет, вечно, во всю лупу. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там падали п. что тамошние будут плевать па вас тысячу лет, пе правда ли?» (см. наст. изд., т. X, стр. 187).

Стр. 108. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь ∞ с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. — Это (и другие) рассуждение о снах во многом автобиографично (Достоевскому часто снился умерший старший брат М. М. Достоевский), и оно непосредственно развивает мысли о природе и психологии снов в «Преступлении и наказании» (см. наст. изд., т. VI, стр. 45—46) и «Идиоте» (см. паст. изд., т. VIII, стр. 377—378). Достоевский склонен был придавать некоторым собственным снам мистико-пророческое значение (об этом подробнее см.: Б. Бурков. Личность Достоевского. Л., 1974, стр. 397—400).

Стр. 110. «Это Сириус?» — спросил я... — Об этой звезде (в созвездии Большого Пса) много сообщается в книге К. Фламмарiona, имевшейся

¹ Подобно Ш. Фурье. Достоевский понимал, что современное ему «цивилизованное» общество является миром переворот, в котором «девять десятых индивидуумов, лишенные плодов развития социальной жизни, приведены к участия Тантала, мучимые видом благ, нужду в коих они испытывают» (Фурье, т. IV, стр. 325).

в библиотеке Достоевского: «Сиріус был замечен как самое блестящее светило на эфирном своде (...) самая яркая на Небе звезда, Сиріус. (...) Египтяне, наблюдавшие по утрам, называли Сиріуса пламенным, потому что за его утренним появлением следовали летние жара и зной» (К. Фламмарион. История неба. СПб., 1875, стр. 107, 133, 458; см. там же, стр. 135—137).

Стр. 112. ...Греческий архипелаг... — Острова в Эгейском море, колыбель европейской цивилизации.

Стр. 113. ...я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. — Эти мельком высказанные «смешным человеком» идеи подробно развивает Зосима в рассуждении «О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным»: «Многое на земле от нас скрыто, по взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя поглядеть на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 290—291). Алеша Карамазову (в главе «Кана Галлийская») дано познать «истинность» этого поучения Зосимы: «Как будто нити от всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным“» (там же, стр. 328; см. т. XV, стр. 569). В записной тетради 1880—1881 гг. Достоевский отмечает «упорное» и «постоянное» убеждение человечества в «соприкосновении мирам иным».

Идеи, с явной мистической окраской, о соприкосновении иным мирам имеют давнюю, античную традицию, сильно видоизмененную христианской литературой. Отражение этих идей чувствуется и в космологических концепциях Ш. Фурье, с которыми Достоевский, конечно, был хорошо знаком. Так, в трактате «Объяснение некоторых линий всеобщих судеб» Фурье утверждал, что «всё, начиная с атомов вплоть до небесных тел, образует картину свойств человеческих страстей», обещая читателям, что в будущих трудах «будет доказано при помощи законов социального движания, что ваши души обойдут эти планеты на протяжении вечности и что вечное блаженство, надежду на которое дают вам религии, будет зависеть от благосостояния других планет, где ваши души соединятся с материей после того, как проведут восемьдесят тысяч лет на планете, на которой мы обитаем (...) исчисление, которое откроет вам счастье, каким наслаждаются на других небесных телах, даст вам в то же время средства ввести на вашей планете благосостояние, весьма близкое к благосостоянию самых счастливых времен» (Фурье, т. I, стр. 136—137).

Стр. 113. ...но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия — единственным источником почти всех грехов нашего человечества. — Мотив сладострастия начальная с «Униженных и оскорблённых» — один из самых устойчивых в творчестве Достоевского. «Смешной человек» говорит о сладострастии значительно резче и трагичнее, чем Дон-Кихот в своей речи об утраченном золотом веке (см. стр. 404). Мысль героя рассказа ближе к тезисам Руссо в знаменитом трактате «Рассуждение о происхождении и основании неравенства между людьми» (1754): «Среди страстей, которые волнуют сердце человека, есть одна, пылкая, пеукротимая, которая делает один пол необходимым другому; страсть ужасная, презирающая все опасности, опрокидывающая все препятствия; в своем неистовстве она, кажется, способна уничтожить человеческий род, который она предназначена сохранять. Во что превратятся люди, став добычей этой необузданной и грубой страсти, не знающей ни стыда, ни удержу, и оспаривающие повседневно друг у друга предметы своей любви ценою своей крови (...) Вместе с любовью просыпается ревность; раздор торжествует, и нежнейшей из страстей приносится в жертву че-

ловеческая кровь» (Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., «Наука», 1969, стр. 67, 77).

Стр. 114. ...я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... — Постоянный в творчестве Достоевского символ, неотделимый от образа золотого века (см.: С. Н. Дурылин. Об одном символе у Достоевского. — В кн.: Достоевский. Сборник статей. М., 1928, стр. 163—199).

Стр. 115. Как скверная трихина, как атом чумы со безгрешную до меня землю. — Мотив, частично восходящий к апокалиптическому сну Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания» (см. наст. изд., т. VI, стр. 419; т. VII, стр. 399).

Стр. 116. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину... — Ср. со словами таинственного посетителя в «Братьях Караваевых»: «Никогда люди никакою наукой п никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Всё будет для каждого мало, и всё будут роптать, завидовать и истреблять друг друга» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 275).

Стр. 116—117. Явились праведники со Над ними смеллись или побивали их каменьями. — Аллюзии из Библии, неразрывно связанные в сознании Достоевского с «Пророком» М. Ю. Лермонтова (1841). В. В. Тимофеева-Починковская в воспоминаниях «Год работы с знаменитым писателем» рассказывает о чтении Достоевским стихотворения Лермонтова и приводит его слова: «Желчи много у Лермонтова, — его пророк — с бичом и ядом... Там есть они!» (Достоевский в воспоминаниях, т. II, стр. 174). Ср. со словами Зосимы: «Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 292).

Стр. 117. ...прямо потребовали всего иль ничего. — Ср. с рассуждениями Достоевского о некоторых современных ему западноевропейских течениях «политического социализма» в статье «Злоба дня в Европе» (стр. 59—61).

Стр. 119. ...в один бы день, в один бы час — всё бы сразу устроилось! — Ср. со словами брата Зосимы Маркела, который, с точки зрения доктора, впал «от болезни (...) в помешательство»: «...жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай (...) и одного дня довольно человеку, чтобы всё счаствие узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг перед другом хвалимся, один на другом обиды помпим: прямо в сад пойдем и станем гулять и развиваться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять» (см. наст. изд., т. XIV, стр. 262).

Стр. 119. Главное — люби других как себя, вот что главное... — Истина, «которую биллон раз повторяли», — завет Христа (Евангелие от Марка, гл. 12, ст. 31), с точки зрения многих героев Достоевского, как и самого писателя, неисполнимый для современного человека, даже противоречащий исторически и биологически сложившейся природе человека.

Стр. 119. Прежний приговор суда, состоявшийся еще в прошлом году, был кассирован сенатом... — О суде над крестьянкой Екатериной Корниловой (ок. 1856—1878), совершившей преступление в состоянии аффекта, Достоевский писал в «Дневнике писателя» 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 136—141).

Стр. 119. ...начальница женского отделения тюрьмы... — А. П. Борайша.

Стр. 120. Состав присяжных заседателей был особенно замечателен. — В отчете об этом судебном заседании, обнаруженному нами лишь в одной газете — «Петербургском листке» (1877, 1 мая, № 82, рубрика «Суд», подзаголовок «Покушение на убийство. Дело крестьянки Екатерины Прокофьевой, слушанное во 2 отделении с.-петербургского окружного суда 22 апреля 1877 г.»), фамилии присяжных не названы, а Екатерина Прокофьевна Корнилова названа Прокофьевой по ошибке.

Стр. 120. *Показание ее о характере Корниловой было очень веско и в ее пользу.* — В упомянутом отчете анонимного обозревателя газеты «Петербургский листок» в связи с этим отмечалось: «Смотрительница дома предварительного заключения г-жа Борейша показала, что Прокофьева поступила в мае или июне, лицо обыкновенно имела сердитое, отвечающее грубо; потом, когда была переведена в общее помещение, сделалась гораздо добрее, приветливее, вела себя хорошо, родившегося в тюрьме ребенка очень любит...».

Стр. 120. ...*замечателен был подбор экспертов со всей известности и знаменитости в медицине...* — В «Петербургском листке» поименованы, «в качестве экспертов, доктора: Никитин, Флоринский, Дюков, Гаудеман, Янпольский». Достоевский не преувеличивал, говоря об их «известности и знаменитости в медицине». В. Н. Никитин (род. 1850) к моменту суда над Корниловой занимал в Николаевском военном госпитале должность ассистента при клинике внутренних болезней женских врачебных курсов. Позднее — доцент Военно-Медицинской академии и профессор клинического института вел. кн. Елены Павловны. Кроме диссертации на степень доктора медицины — автор двадцати печатных трудов на русском, немецком и французском языках. В. М. Флоринский (1833—1899) — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук (1861). С 1863 г. — адъюнкт-профессор Медико-Хирургической академии по кафедре акушерства. С 1877 г. — профессор Казанского университета по кафедре гинекологии. С 1885 г. — попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Один из организаторов Томского университета. Автор крупных и многочисленных работ по акушерству, гинекологии, патологии женских болезней и т. п. П. А. Дюков (1834—1889) — врач-психиатр. В 1863 г. защитил докторскую диссертацию. Автор многочисленных статей по судебной психиатрии, печатавшихся во «Врачебных ведомостях», «Русской медицине», «Вестнике психиатрии». С 1867 г. — старший врач клиники душевных болезней. Сведения о Гаудемане и Янпольском в справочной литературе не обнаружены.

Стр. 120. ...*трое заявили не колеблясь, что болезненное состояние, свойственное беременной женщине, весьма могло повлиять на совершение преступления...* — Согласно отчету, помещенному в «Петербургском листке», болезненное состояние подсудимой не вызвало сомнений у двух экспертов. «Никитин, — отмечалось в отчете, — объяснил, что, получив известие о происшествии, он усомнился, чтоб его мог сделать человек в здравом уме, и хотя по освидетельствованию Прокофьевой не нашел признаков какой-либо психической болезни, по нашел усиленное сердцебиение, прилив крови...» Прослушав судебное следствие, свидетель приходит к тому убеждению, что Прокофьева действовала в ненормальном состоянии. Доктор Янпольский сказал, что хотя судебное следствие дало мало материалов, чтоб составить определенное мнение, но из того, что он слышал, можно вывести заключение, что Прокофьева была больна».

Стр. 120. *Один лишь доктор Флоринский с этим мнением был не согласен...* — В «Петербургском листке» заключение этого медика было сформулировано следующим образом: «Акушер Флоринский заявил, что у женщины под влиянием беременности часто являются непреодолимые симпатии или антипатии, которые непременно продолжаются все время беременности; в настоящем же случае этого не было, ничто не обнаруживает непреодолимого отвращения Прокофьевой к девочке, а потому нельзя прийти к убеждению, чтоб она была психически больна».

Стр. 120. *Последним показывал известный наш психиатр Дюков.* Он говорил почти около часу... — Пространное выступление этого эксперта изложено в отчете репортера «Петербургского листка» лишь в форме краткого и сухого резюме: «Доктор Дюков заявил положительно, что как самый факт преступления, так и обстоятельства предыдущие и последующие доказывают пленоральность умственных способностей Прокофьевой». О хронической ненормальности подсудимой, проявлявшейся задолго до преступления, говорили и другие свидетели: «Мать подсудимой показала, что была больна горячкой, когда кормила дочь грудью, росла она болез-

ненная, часто жаловалась на боль в голове и животе; что с дочерью ее несколько раз были припадки; она тряслась и падала где попало... Сама подсудимая «объяснила, что часто страдала головной болью, что однажды на квартире у матери съ на голову упала скопа и хотя не пробила голову, но у нее долго быта опухоль...».

Стр. 120. ...*сам прокурор, несмотря на свою грозную речь, отказался от обвинения в преднамеренности...* — В отчите «Петербургского листка» эта речь не цитируется, по упомянуто, что «обвинял товарищ прокурора Кессель». Прокурором Окружного суда в Петербурге был Владимир Константинович Случевский (см.: ЛН. т. 83, стр. 637).

Стр. 120. ...*присяжный поверенный Люстиг...* — Репортер «Петербургского листка» ограничился упоминанием лишь фамилии этого защитника подсудимой. В. И. Люстиг (1843—1915) — адвокат, с 1871 г. — присяжный поверенный округа С.-Петербургской судебной палаты. С 1874 г. — член совета присяжных и впоследствии преодолевший его председатель.

Стр. 120. ...*присяжные удалились и менее чем через четверть часа вынесли оправдательный приговор...* — Данные отчета «Петербургского листка» не согласуются с этим утверждением Достоевского: «Присяжные после продолжительного совещания (курсив наш. — Ред.) вынесли оправдательный приговор, встреченный аплодисментами со стороны публики».

Сkeptическое отношение определенной части публики к решению суда и несогласие ее с Достоевским, который первый высказал догадку об аффекте и активно способствовал пересмотру дела Корниловой, нашло отражение в печати. Автор фельетона «Беседа» (подпись: Наблюдатель), напечатанного в газете «Северный вестник» (1877, 8 мая, № 8), писал с возмущением: «„Муж оправданной.“ — пишет г-п Достоевский (...) увез ее в тот же вечер (...) и она, счастливая, вошла опять в свой дом». Как трогательно. Но горе бедному ребенку, если он остался в том доме, куда вошла „счастливая“ (...). „Аффект беременности“ — ну, выдумано новое жалкое слово. Как бы силен этот аффект ни был, однако же женщина под влиянием его не бросалась ни на мужа, ни на соседних жильцов. Весь аффект ее исключительно предназначался для той беззащитной девочки, которую она тиранила целый год без всякого аффекта». Достоевский взял этот фельетон на заметку (см.: Д., Письма, т. III, стр. 273) и пространно ответил на него в декабрьском выпуске «Дневника писателя» 1877 г. (см. наст. изд., т. XXVI).

Стр. 121. В прошлом году, из-за моей поездки летом в Эмс для лечения болезни... — Летом 1876 г. Достоевский был в Эмсе с 8 (20) июля по 6 (18) или 7 (19) августа (см.: Гроссман, Жизнь и труды, с. 250, 251).

Стр. 121. ...по усилившейся еще более моей болезни... — Подразумевается эмфизема легких.

Стр. 121. ...я принужден выдать и майский № с июньским вместе с первых числах июля. — Дата цензурного разрешения майско-июньского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. — 8 июня.

Стр. 121. ...июльский и августовский №№ выйдут тоже в августе. — Дата цензурного разрешения этих номеров «Дневника писателя» — 10 сентября 1877 г.

Стр. 121. С сентября же месяца №№ «Дневника» начнут опять въдаватьсь аккуратно... — Несколько запоздали сентябрьский (дата цензурного разрешения — 6 октября) и декабрьский (цензурное разрешение 15 января 1878 г.) выпуск «Дневника писателя» за 1877 г.

Стр. 121. Уезжаю из Петербурга... — Лето 1877 г. семья Достоевских проводила в усадьбе И. Г. Сипкина (брата А. Г. Достоевской) «Малый Прикол» в десяти верстах от городка Мирополье Суджапского уезда Курской губернии. В конце июня 1877 г. Достоевский выехал оттуда в Петербург для выпуска майско-июньского номера «Дневника писателя». Обратно из Петербурга писатель выехал 17 июля 1877 г.

Стр. 122. Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года. — Речь идет, по-видимому, об имеющемся в библиотеке Бретапского музея кёльнском памятнике: «Pronosticatio Iohannis Lichtenbergers, quam olim

scripsit super magna illa Saturni ac Jovis conjunctione, quae fuit anno MCCCCCLXXXIIII, praeterea ad eclipsim solis anni sequentis videlicet LXXXV, durans in annum usque MDLXVII, jam denuo sublatis mendis, quibus scatabant, pluribus, quam diligentissime excussa. [Coloniae], 1528» («Предсказание Иоанна Лихтенбергера, которое он некогда написал в связи с великим соединением Сатурна с Юпитером, которое было в 1484 году, а также в связи с солнечным затмением в следующем, то есть 1485 году, простирающееся до года 1507, впопы тщательно очищенное от многочисленных важных погрешностей, которыми оно изобиловало. [Кёльн], 1528»).

Стр. 122. *Один из наших молодых ученых нашел в Лондоне, в королевской библиотеке...* — Имеется в виду, по всей вероятности, Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900), занимавшийся в 1875—1876 гг. в крупнейших библиотеках Европы, в том числе и в библиотеке Британского музея (см.: Фрагменты «Дневника писателя». Публикация И. Л. Волгина. — ЛН, т. 86, стр. 61—62).

Стр. 122. ...один старый фолиант со издание 1528 года... — Фолиантом в собственном смысле этого слова (т. е. книгой формата *in-folio* — в половину печатного листа) кёльнское издание 1528 г. не было: оно напечатано *in-octavo* (в восьмую долю листа).

Стр. 122. *Экземпляр со может быть, единственный в свете.* — Экземпляр Британского музея не является единственным.

Стр. 122. *В туманных картинах изображается в этой книге будущность Европы и человечества.* — «Предсказание» Иоанна Лихтенбергера (биографических сведений об авторе его почти не сохранилось) представляет собой, как это видно уже из заглавия, астрологический прогноз на несколько десятилетий; оно было напечатано впервые в 1488 г. в Страсбурге на латинском языке, а затем многократно переиздавалось в конце XV—XVI в. на латинском, немецком и итальянском языках и было весьма популярно в Западной Европе. «Предсказание» Лихтенбергера было тесно связано со своим временем, несмотря на мистическую отвлеченность. Оно появилось в период острого общественного кризиса, накануне Реформации — массовых антикатолических и антифеодальных выступлений XVI в. В это время получают широкое распространение всевозможные «пророчества», «предсказания», «откровения», в которых отразились и надежды на будущее, и страхи перед ним: «Сущность бывших в Германии в ходе предсказаний составляет ожидание великого императора, стоящее в связи с представлениями об антихристе [...] Страшные кровопролития, война и восстания, моровая язва, голод и наводнение, новые ереси [...] и на заднем плане, по большей части, антихрист и светопреставление — таковы были постоянно повторяющиеся указания пророчеств [...] Почти постоянно в этих картинах будущего изображалась гибель владычества ионопов и возышение униженных и бедных [...] Между современными пророками наибольшую известность приобрел тогда Иоганн Лихтенбергер из Майнца, предсказания которого своей не теряющей силы популярностью даже гораздо позднее обратили на себя внимание Лютера. Он — верный сторонник императора и обращается с предостережениями к курфюрстам, но в то же время он возвещает победу Писания над императорским и церковным правом, предсказывает проповедь Евангелия, появление боготворимого народом пророка и большое восстание против властей» (Фридрих фон Бедольд. История Реформации в Германии, т. I. СПб., 1900, стр. 151—152). «В 1527 г. оп (Лютер, — Ред.) писал предисловие к новому изданию (на немецком языке, — Ред.) предсказаний Лихтенбергера, не преминувши, разумеется, выразить свое пренебрежение к астрологии» (там же, т. II, стр. 82). См. также: Joh. Friedrich. Astrologie und Reformation. München. 1864; I. Frank. Johann Lichtenberger. — In: Allgemeine deutsche Biographie, Bd 18. Leipzig. 1883. S. 538—542.

Позднее интерес к книге Лихтенбергера, естественно, уменьшился, однако известны издания «Предсказания», относящиеся к XVII и XVIII вв. (среди них вышедшие в Англии и Нидерландах), которые преследовали

цель соотнести астрологические выкладки Лихтенбергера с современностью и использовать их для новых прогнозов. В России же имя Лихтенбергера получило некоторую известность лишь благодаря Достоевскому: так, в энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона появилась небольшая заметка о Лихтенбергере, все сведения в которой заимствованы из «Дневника писателя» (см.: Энциклопедический словарь, т. XVIIа. СПб., 1896, стр. 856).

Стр. 122. Помещаю лишь те строки, которые мне сообщили... — Достоевский стремился передать сообщенные ему «строки» с максимальной точностью. 20 июня 1877 г. он писал метранпажу М. А. Александрову: «На первых страницах пойдет латинский текст. Напечатайте же петитом, а обыкновенным шрифтом, и непременно через строчку латинского с русским, точь-в-точь так, как увидите в оригинале. Латинский текст переведен подслогено, то есть под каждым латинским словом соответствующее русское. Надо так и набирать и печатать». И тут же добавлял: «Н. (самое главное). Ради бога, дайте прокорректировать латинский текст комунибудь знающему латинский язык».

Сопоставление приводимых Достоевским «строк» с имеющимися в ГПБ майнцским изданием 1492 г. (*Pronosticatio latina...* Maguntina, 1492) и парижским 1530 г. (*Prognosticatio Johannis Lichtenbergers...* Parisis, 1530), весьма близкими по основному тексту, показывает, что данный в «Дневнике писателя» текст представляет собой монтаж отдельных фрагментов «Предсказания», преследующий, по-видимому, цель выделить среди других «сюжетную линию» «великого восточного орла» (т. е. относящееся к судьбе великой восточной империи) и вместе с тем придать ей большую обобщенность, чтобы предсказываемое астрологом укрепление могущества Германии в XVI в. можно было истолковывать применительно к событиям XVIII—XIX вв. Так, первое предложение взято из главы XIII (л. 14; нумерация глав и листов дается по парижскому изданию 1530 г.); следующий фрагмент (от «*Exsurget aquila grandis...*» до «...*alias montes superbissimos...*») цитируется с сокращениями из главы VI (л. 9 об.), причем словоформа «*in Oriente*» («на Востоке») добавлена, а «*aannis quinque*» («пять лет») заменено на «*aannis multis*» («годы мгновне»); последнее предложение взято из главы XVIII (л. 16).

Стр. 122. ...как факт, не лишенный некоторого любопытства. — Интерес Достоевского к средневековым предсказаниям не был чем-то исключительным для своего времени: во второй половине XIX в. продолжали появляться все новые издания и толкования старых пророчеств — такие, например, как собрание предсказаний знаменитого астролога XVI в. М. Нострадамуса: «*Les Oracles de Michel de Nostredame...*, t. I—II. Paris, 1867» или же сборник пророчеств с истолкованиями: «*La prophétie d'Orval... avec les concordances historiques de 1793 à nos jours et les évènements à accomplir en 1883, 1893, 1908 et 1911. Deuxième édition augmentée de prophéties sur le Pape Saint et le Grand Monarque. Lausanne, 1871*» («Пророчество аббатства д'Орваль... с историческими соответствиями от 1793 г. до наших дней и перечнем событий, которые должны совершиться в 1883, 1893, 1908 и 1911 годах. Издание второе, с добавлением пророчеств о святом Папе и великом монархе. Лозанна, 1871»); на эту книгу мог обратить внимание Достоевского Н. Н. Страхов, в личной библиотеке которого имелся экземпляр данного издания, в настоящее время хранящийся в библиотеке Ленинградского государственного университета).

Стр. 123. ...не война ли наша с Европой 22 года назад?... — Крымская война 1853—1855 гг. В ней в союзе с Турцией воевали против России Франция, Англия и Сардиния.

Стр. 123. В 1528 году еще не было королевы Елизаветы. — Т. е. Елизаветы Тюдор (1533—1603) — королевы Англии с 1558 г., не вступившей в брак и не оставившей потомства.

Стр. 123. «Столица, подвергшаяся нашествию, похожа на девицу, потерявшую свою девственность». — Имеются в виду слова, сказанные Наполеоном в августе 1812 г. в Смоленске пленному русскому генералу

П. А. Тучкову (1775—1858), которому он доказывал невыгодность для России дальнейшего сопротивления, пытаясь использовать Тучкова для передачи Александру I предложений о мире: «... я зайду Москву, и какое бы я меры ни принимал к сбережению ее от разорения, никаких достаточно не будет: завоеванная провинция или занятая неприятелем столица похожа на девку, потерявшую честь свою. Что хочешь после делай, по части возвратить уже невозможно» (П. А. Тучков. Мои воспоминания о 1812 году.—Р_А, 1873, № 10, стб. 1963). Это высказывание приводится и в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. III, ч. 3, гл. XIX).

Стр. 123. ... «Те пусть полежат и подождут; русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперед пожалеть надо». — Почти точная цитата из мемуаров «Князь Александр Сергеевич Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта Аркадия Александровича Панаева», напечатанных в «Русской старине». Делись своими воспоминаниями об Инкерманском сражении, проигранном защитниками Севастополя 24 октября 1854 г., А. А. Панаев отмечал: «Подъехав к 6-му бастиону, я заметил, что солдаты наши несли на ружьях и на поспаках большую частью все раненых французов, и на вопрос мой: неужели наши раненые все уже подобраны? получил в ответ, что своих-то всякий подымет, а французика-то тоже жалко» (РС, 1877, № 5, стр. 69). Далее Панаев писал: «Опрашивая страшальцев (раненых французов, подобранных русскими солдатами, — Ред.), я получил от всех выражение искренней признательности за участие, оказываемое им русскими» (там же, стр. 70). Аналогичные сведения о великолдушии русских солдат во время Крымской войны Достоевский мог почерпнуть в книге французского профессора А. Рамбо (1842—1905) «Французы и русские» (*Français et Russes — Moscou et Sébastopol. 1812—1854.* Par Alfred Rambaud, professeur à la Faculté des lettres de Nancy. Paris, 1877). В хронике «Вестника Европы» отмечалось, что эта книга написана с учетом «всего, что было у нас издано в „Русском архиве“ и „Русской старине“ по поводу 12-го года и осады Севастополя, включая сюда и рассказы графа Льва Толстого ...». Прочтите, например, — указывалось в той же хронике, — главу „Севастопольские типы“; эта глава читается как роман, а между тем это — действительная история, в которой автору принадлежит только невольная симпатия к героям, сражавшимся с его же соотечественниками» (ВЕ, 1877, № 2, стр. 891, 892).

Стр. 124. Сущность дела он понимает пресосходно^{ко}он четыре уже столетия как ее понимает. — В 1453 г. Константинополь был завоеван турками. Приблизительно с этой даты Достоевский ведет отсчет четырех столетий, в течение которых русский народ понимает, по его определению, «сущность дела», т. е. причины конфликта между Россией и Турцией.

Стр. 124... дожил он до великого дня, когда двадцать лет тому назад... — Подразумевается 1857 г. — год опубликования царских реескриптов о подготовке освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Стр. 124. Я видел и разбойников, страшно много наделавших зверства^{ко} сами умели осудить себя... — Достоевский подробно рассказывает об этом в «Записках из Мертвого дома» (см. наст. изд., т. IV, стр. 40—41, 46—47, 51, 63 и др.).

Стр. 124. А «блаженнейший папа, непогрешимый наместник божий...» — Достоевский иронизирует над догматом о непогрешимости папы Пия IX в делах веры, провозглашенным на Ватиканском соборе 18 июля 1870 г. Собор происходил с 8 декабря 1869 г. по 20 октября 1870 г.

Стр. 124. ... отходя к богу^{ко} разве не пожелал он победы туркам и мучителям христианства над русскими^{ко} за то только, что, по его непогрешимому определению, турки всё же лучше русских еретиков, не признающих папу? — Папа Пий IX умер в 1878 г. Достоевский имеет в виду речь папы, произнесенную 30 апреля (н. ст.) 1877 г. В связи с этим газета «Московские ведомости» (1877, 30 апреля, № 104, корреспонденция «Из Вены. 5 мая (23 апреля)»; подпись буквой Z.) сообщала: «Телеграф известил на днях, что на аудиенции, данной савойским пилигримам, папа завел речь о русско-турецкой войне. В этой речи он буквально говорит

Так: «В это самое время выславши еретическая великая держава многочисленное войско для наказания неверной державы, жалуясь на то, что эта последняя несправедливо управляет и утесняет многочисленных своих подданных, исповедующих учение православие. Война уже началась. Не знаю, которая из этих двух держав победит, но знаю, что на одной из этих держав, которая называет себя православною, по есть схизматическая, тяготеет рука правосудного бога за бесчестивые преследования католиков...». Далее в этой корреспонденции приводилась выдержка из документа, напечатанного в пражской газете «Покрок» и представлявшего собою ответ городской думы города Младый Болеслав (Юргибенцлау) на предложение местного викария и декана подписаться под адресом папе Пию IX по случаю его пятидесятилетнего епископского юбилея: «Мы бы были бы вправе ожидать, что папа, как христианский епископ, будет молиться Богу о даровании победы христианскому оружью против вековых притеснителей христианских народов, — по ожидать того, что заявлено теперь папой, никто из нас не мог. Мы, славяне — чехи, вместе со всеми другими славянскими народами без различия вероповедания, сочувствуем более всего русским ратникам, в которых видим защитников идеи человечества и славянской народности и не перестанем всею душой и постоянно желать им полной победы в этой борьбе, начатой за высшие права человечества». В той же корреспонденции сообщались любопытные сведения о характере некоторых воинственных выступлений на съезде католического духовенства в Вене (1 мая п. ст. 1877 г.). По словам корреспондента, в этих выступлениях говорилось «о стремлении поглотить все национальности в высшем единстве католической веры, высказанным, между прочим, с такою бесцеремонностью, что даже и столь ярый католик, как чешский магнат граф Клем-Мартинец счел себя вынужденным заявить противное тому мнение. Господа члены съезда говорили, что „для них, как католиков, существует лишь один нравственный закон, заповедуемый церковию и ее верховным непогрешимым главою — папою“. Некоторые горячились даже до того, что заговорили „о необходимости безусловно подчиниться“ все „уравновешивающей власти церкви“, как „то было в средние века“ и пр. в этом роде».

Аналогично чехам против речи Пия IX протестовали католики-хорваты, входившие в состав Австро-Венгрии (см.: *МВед*, 1877, 14 мая, № 116, статья «Из Вены. От нашего корреспондента 19(7) мая»; подписана буквой Z.).

Исключительное раздражение Достоевского в связи с речью папы Пия IX к своим пилигримам вызвали еще два обстоятельства. В газете «Московские ведомости» (1877, 13 мая, № 115, отдел «Последняя почта») сообщалось, что 9 мая (п. ст.) 1877 г. «Порта отправила (...) в Рим» телеграмму «с выражением признательности папе за его речь в пользу Турции...». Через несколько дней в «Последней почте» той же газеты (1877, 22 мая, № 123) была помещена телеграмма: «Из Сараева телеграфируют в „Post“, что монах тамошнего францисканского монастыря Фра-Мартино велел, как слышно, по особому приказанию папы, служить молебны о даровании победы турецкому оружью над схизматической Россией».

Стр. 125. ...какое же третье-то из незаконных? И какое же законное-то? — «Третьим из незаконных» Достоевский считает магометанство, или исламизм, а единственно законным — православие. И здесь ощущается враждебно-полемическая реакция на слова и заявления Пия IX. Комментируя речь 30 апреля, официальные корреспонденты русских газет констатировали, что она возбудила презрение к Пию IX даже в такой классически католической стране, как Италия. Так, в корреспонденции «Из Рима. 8 мая (26 апреля)», подписанной буквой Б. п напечатанной 5 мая 1877 г. в «Московских ведомостях» (№ 109), отмечалось: «По общему мнению, высказанное римским первовещаником озлобление против России и сочувствие к склонной притеснительнице христианства, Турции, ясно свидетельствуют об ослаблении умственных способностей свя-

того отца и о влиянии на него позитотов, особенно успевшихся по смерти кардинала Антонелли».

Стр. 125. ... *еречь это еще только предшествовало войнам великой протестантской реформации...* — Очевидно, подразумеваются две войны: 1) война немецких протестантов («Шмалькальденский союз») против императора Священной Римской империи Карла V (1500—1558), начавшаяся в 1546 г. и закончившаяся в следующем году поражением протестантов; 2) война 1547—1552 гг., в которой пфальцские протестанты возобновили войну против Карла V и добились победы. Аугсбургским религиозным миром 1555 г. победы и завоевания протестантов были санкционированы и упрочены.

Стр. 125. ... *потом, особенно в протестантских армиях, всегда появлялись исступленные «пророки» из самих сражавшихся...* — Возможно, имеется в виду вооруженное сопротивление французских протестантов в конце XVII в. Когда после отмены в 1685 г. Нантского эдикта, предоставившего гугенотам свободу вероисповедания, усилились преследования протестантов, они в свою очередь пытались отстаивать в неравной борьбе свои права. Особенно напряженно была обстановка в горных местностях южной Франции, где протестанты действовали весьма решительно и где мистические тенденции гугенотского движение проявились наиболее ярко: не страшась преследований, сотни людей объявляли себя богодухновенными пророками (так называемые «севенские пророки»). Предводители крестьянского восстания кампазов 1702—1704 гг. (Кавалье, Раванель и др.) также воодушевляли парод своими пророчествами. См.: L. Figueir. Histoire du merveilleux dans les temps modernes, t. II. Paris, 1860, p. 177—426; A. Dubois. Les prophètes cévenols. Strasbourg, 1861.

Стр. 125. ... *нахожусь теперь в Курской губернии.* — См. примеч. к стр. 121.

Стр. 127. ... *я даже справлялся кой в каких изданиях, и в одном из них — именно в одном из тех, которые пошли вдрог, произвели впечатление быстрое, внезапное...* — Подразумевается, по всей вероятности, газета «Новое время», издателем которой с 29 февраля 1876 г. стал А. С. Суворин. Такое заключение подтверждается замечанием Достоевского в записной тетради 1876—1877 гг.: «„Новое время“ — газету, которую я читаю не всегда с большим удовольствием, по успеху которой показывает, до какой степени надоел „Голос“...» (см. наст. изд., т. XXIV, стр. 274).

Стр. 127. ... *один из ближайших участников со знался неудержимым смехом.* — По-видимому, речь идет о самом Суворине — человеке общительном, самоуверенном и склонном к юмору.

Стр. 128. ... *таинственный незнакомец из драмы Лермонтова «Маскарад* — колоссальное лицо, получившее от какого-то офицера когда-то пощечину и удалившееся в пустыню тридцать лет обдумывать свое мщение. — Достоевский контампирует два разных эпизода из драмы «Маскарад» (см.: Лермонтов, т. V, стр. 360, 361 и 396—402). Незнакомец «обдумывал свое мщение Арбеппину семь лет.

Стр. 130. ... *даже Гоголь в «Переписке с друзьями» советовал приятелю со и даже приводил, какие именно...* — В главе XXII «Переписки с друзьями» Гоголь советовал помешнику следующим образом поступать с крестьянином, проявляющим неуважение к «примерным хозяевам»: «...того распеки тут же при всех; скажи ему: „Ах ты невымытое рыло!“. И далее: «Мужика не бей! Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же па меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ. Это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все спиноны молодца для того, кого нужно подстригнуть, и все спиноны бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы стышила вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом — назови всем, чем только не хочет быть русский человек» (Гоголь, т. VIII, стр. 323, 324). В данном

случае Достоевский солидарен с Белинским, который возражал Гоголю в знаменитом «зальцбурнском» письме: «А выражение: *ах ты, неумытое рыло!* Да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков...» (Белинский, т. X, стр. 214).

Стр. 130. ...*ругается он скорее машинально, чем с нравственного утонченностью, скорее по привычке...* — Ср. это заключение Достоевского с его наблюдениями в очерке «Маленькие картички» — наст. изд., т. XXI, стр. 108.

Стр. 131. ...*этакой человек может представить собою чрезвычайно серьезный литературный тип, в романе или повести.* — В конце главы Достоевский вновь говорит о том, что «идею» об «этаком человеке» попробует «вставить в роман». Этот неосуществившийся замысел интересен определенной связью с гоголевской традицией. Как у гоголевского Поприщина, у задуманного Достоевским героя «фигуры нет», «остроумия нет», «связей никаких». Далее прямо говорится о том, что задуманный герой — «наш Поприщин, современный нам Поприщин <...> что он такой же самый Поприщин, как и первоначальный, только повторившийся тридцать лет спустя».

Стр. 134. ...*«что позор, позор вздор, позора боятся теперь лишь аптекари!...* — Перефразировка сентенции Поприщина в «Записках сумасшедшего»: «Черт возьми! Что письмо! Письмо вздор. Письма пишут аптекари...» (Гоголь, т. III, стр. 211).

Стр. 136. *«И мило, и благородно», — как выражается частный пристав у Щедрина о подобном же случае.* — Подразумевается эпизод из третьей главы «Современной идиллии» (см.: Салтыков-Щедрин, т. XV, стр. 42). Глава эта была напечатана в четвертой книжке журнала «Отечественные записки» за 1877 г.

Стр. 136. *Давненько-таки я не живал в русской деревне.* — Эта фраза — возможно, ироническая перелицовка первой строки неждановского стихотворения «Сон» из романа Тургенева «Новь» («Давненько не бывал я в стороне родной...» — см.: Тургенев, Сочинения, т. XII, стр. 230).

Стр. 136. *Г-н Буренин, отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих писем...* — Буренин писал: «На последней станции перед Плоештами в наш вагон пришел какой-то русский, очеп. почтенного вида, с высоким цветом, с седыми кудрями, с картишными манерами — одним словом, по фигуре тип человека сороковых годов. Когда он разговорился с нами, то действительно оказалось, что это последний из могикан тех неисправимых западников, которые до сих пор хранят, как святыню, свои западнические традиции и, невзирая ни на какие события, не поступаются прежними взглядами. Он постоянно живет за границей, находя, что в России „ничего путного все еще делать нельзя“ <...> Он говорил очень много и не без остроумия издавался над славянофилами и их <...> праздными фантазиями насчет „возрождения“ и „преобразования“ Болгарии.

«Скажите, пожалуйста, — иногда саркастически смеялся «последний из чистых западников», — вы, как корреспонденты, должны знать все: правда ли, что славянофилы московские, ввиду занятия Болгарии, выслали уже сюда надзирателей за будущими московскими колоколами на болгарских церквях? <...> Да, помилуйте, это еще что! Я из самых достоверных источников слышал, что на днях в особом вагоне из Москвы привезут сюда тень покойного А. С. Хомякова, пророка славянства. Да-с, п кажется, под особым конвоем <...>»

В таком вкусе, — резюмировал Буренин, — шутил и пронизировал зажоренелый западник. По правде сказать, его шутки, довольно пошловатые, производили впечатление весьма жалкое: ввиду близких крупных событий странно издаваться с мелкой партионной точки зрения над делом, во всяком случае вышедшем из границ кружковых стремлений и ставшим делом всей России, всего народа. Но эти последние могли бы западничество решительно исправимы: они ппчего не забывают и ничему не

учатся у событий, они живут своей мелкой иронией и в ней одной находят свое спасение и свое дело...» («Дневник корреспондента, 28-го мая», — НВр, 1877, 7 (19) июня, № 456).

Стр. 137. ...почувствовались в руках выкупные... — Согласно положениям об отмене крепостного права, освобождаемые крестьяне обязаны были уплатить своим прежним владельцам определенную сумму (выкупные) за землю, отходившую к ним в качестве личной собственности.

Стр. 137. ...русская личная поземельная собственность в полнейшем хаосе, продается и покупается — меняет даже вид свой, обезлесивается... — О хищническом уничтожении лесов в России Достоевский упоминал с тревогой также в «Дневнике писателя» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 41) и 1881 г. (гл. 1, § 2).

Стр. 138. Это ведь из-за деспотизма им до сих пор не выдавали заграничных паспортов... — Подразумеваются принципиально несхожие законы о выдаче заграничных паспортов, действовавшие при Николае I и Александре II. В 1851 г. Николай I ограничил до двух лет срок пребывания дворян за границей и приказал с каждого лица, упоминаемого в заграничном паспорте, взимать пошлину в размере двухсот пятидесяти рублей за каждое полугодие. С воцарением Александра II по закону от 26 августа 1856 г. эти ограничения и препятствия, затруднявшие получение заграничного паспорта, были устраниены.

Стр. 138. ...рантьеров... — Рантье (от франц. *gentier*) — лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала, на доходы с акций и т. п.

Стр. 138. ...эти Лукуллы... — Люций Люциний Лукулл (106—57 до н. э.) — римский полководец, имя которого стало нарицательным. Прославился необычайной роскошью, излишествами и пирами, вошедшими в поговорку («Лукуллов пир»).

Стр. 140. ...всё то же самое, об чем я говорил и в прошлом году. — Подразумевается «Дневник писателя» 1876 г. (июль—август, гл. 3; см. наст. изд., т. XXIII, стр. 77—84).

Стр. 140. ...дипломатический язык, известно, французский язык; русский же язык довольно знать лишь и грамматически. Но так ли этот Вопрос этот до того еще нерешенный, что недавно даже в печати о нем заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочинений г-на Тургенева на французском языке. — Достоевский искусно использует в своих публицистических целях полемику консервативной и либеральной прессы с Тургеневым — в связи с тем, что некоторые его художественные произведения, в частности «Рассказ отца Алексея», вышли в переводе на иностранный язык несколько раньше появления их русского оригинала в журнале «Вестник Европы». Суворин, без разрешения и даже без ведома автора, поместил в своей газете обратный перевод рассказа Тургенева (под названием «Сын попа»), сопроводив его следующим редакционным примечанием: «Этот не являвшийся еще на русском языке рассказ И. С. Тургенева помещен в февральских номерах „République des Lettres“» (см.: НВр, 1877, 6 и 7 апреля, №№ 395 и 396). Тургенев назвал этот поступок Суворина «бесцеремонным», после чего издатель «Нового времени» выступил с «Открытым письмом к И. С. Тургеневу». Пренебрегая этическими нормами, Суворин писал о «непатриотичности» поведения Тургенева: «Когда кокотка встретит новый фасон платья, когда она увидит последнюю модную картинку — сколько хлопот ей предстоит для того, чтобы облечься в этот модный костюм. Русский писатель, появляющийся первоначально на иностранном языке, напоминает эту франтиху...» (НВр, 1877, 24 апреля, № 413). Вскоре в газете «Новое время», в фельетоне Буренина «Литературные очерки», Тургеневу было предъявлено обвинение в незнании русской грамматики и русского языка (НВр, 1877, 29 апреля, № 418). Суворина и Буренина поддержал критик газеты «Голос», обращавший внимание читателей на «суетность» Тургенева и на его не только литературную, но и политическую «измену» родине (Письмо Тургенева редактору «Le Temps». — Г., 1877, 26 мая, № 104; см. также: Тургенев, Сочинения,

т. XV. стр. 173—174). Недоброжелательным было и суждение о тургеневской повести «Сон», высказанное парижским корреспондентом газеты «Московские ведомости» (МВед, 1877, 2 мая, № 106).

Полемика вокруг Тургенева в значительной степени обусловила написание настоящей главы «Дневника писателя». Но совершило особую роль в этом отношении сыграл фельетон «О правах писателя в частности и человека вообще, размыщление по поводу писем г-д Тургенева и Суворина...», подписанный псевдонимом «Один» (быть может, это псевдоним А. В. Эвальда — 1836—1898) и напечатанный в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Отметив, что благодаря тесным историческим связям у народов Западной Европы долгое время «был один общий литературный и политический (или дипломатический) язык — латинский»; что у западноевропейских народов «писать не на своем языке, а на чужом не считалось ни преступлением, ни изменою своему отечественному языку», Один писал в заключение своего фельетона: «Большинство авторов пишут на своих родных языках главнейшим образом потому, что они только их и знают. Но многие авторы, знавшие хорошо иностранные языки, не стесняли себя границами только родного языка. Не далее как Пушкин, этот наиболее народный наш писатель, создал несколько произведений (хотя небольших) на французском языке. Гейне был еврей, но всю жизнь писал или по-немецки, или по-французски, и, сколько я помню, никому в голову не приходило отучать его от этой привычки (...) Все это я пишу не в защиту собственно И. С. Тургенева, который, конечно, лучше меня сумеет защитить свое право и свою свободу. Я почел долгом защитить вообще свободу авторского права, на которое посягает г-н Суворин» (СлбВед, 1877, 1 мая, № 119).

Своим оппонентам и защитникам Тургенев ответил, кроме письма редактору «Le Temps», тремя письмами, опубликованными в газете «Наш век» (см.: Тургенев, Сочинения, т. XV, стр. 168—172, 175—176). Особенно убедительно прозвучало третье из этих писем («Наш век», 1877, 13 мая, № 72), в котором Тургенев писал: «Корреспондент „Московских ведомостей“ наговорил небылицу, которая меня исколько не трогает; но задел он меня, точно так же, как защитник мой, г-н *Один*, тем, что приписывает мне эту способность сочинительствовать па чужом паречии. В течение моей литературной карьеры я подвергался самой разнообразной брани; иная была мне неприятна (...) но обиду, именно обиду наносили мне только те господа, которые уверяли, что я могу писать — и писать па французском языке (...) Быть в состоянии писать, сочинять, на двух языках и не иметь никакой оригинальности — эти два выражения в моих глазах совершенно тождественные, а потому пользуюсь случаем и спешу заявить, что я никогда ни разу не писал (в литературном смысле слова) иначе, как на своем родном языке» (Тургенев, Сочинения, т. XV, стр. 175—176).

Стр. 142. ...такая-то, например, королева рассердила фаворитку такого-то короля, вот и произошла от того война двух королевств. — Достоевский иронизирует не только над «хрустящими», по, по-видимому, и над историками (возможно, в том числе и над И. К. Кайдаповым).

Стр. 143. ...возьмите, например, графа Кавура — это ль был не ум, это ль не дипломат? Я потому и беру его, что за ним уже решена гениальность... — Оценка результатов государственной деятельности графа Камилло Бензо Кавура (1810—1861) близка к резкому отношению «Современника» к этому итальянскому либеральному политику (в статье Чернышевского «Граф Кавур» — С, 1861, № 6; в статье Добролюбова «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» — С, 1861, №№ 6—7). Чернышевский утверждал: «Кавур был человек довольно дюжинный». В этом пункте Достоевский-человек был согласен с Добролюбовым и Чернышевским. Обращаясь к Чернышевскому, он отмечал в записной тетради 1860—1862 гг.: «Если кто с вами согласен, что Кавур был человек довольно дюжинный, так это мы. Если кто мог негодовать вместе с вами, что такая дюжинная душа властвует над всеми, вопреки гениальным, из уме-

ния воровски пользоваться гениальными мыслями, так это мы» (см. наст. изд., т. XX, стр. 154—155). Слова «за ним уже решена гениальность»ironически намекают на непререкаемый авторитет, которым пользовался Кавур в среде русских либералов. В связи с этим достаточно отметить, что даже Тургенев (в своих «Литературных и житейских воспоминаниях», опубликованных в 1869 г.) сетовал на покойного Добролюбова за «несвоевременное» и ошибочное, по его определению, осуждение либеральной политики Кавура и парламентаризма вообще (см.: *Тургенев, Сочинения*, т. XIV, стр. 34).

Стр. 143. ... «великий зверь на малые дела! — Цитата из басни П. А. Крылова «Воспитание льва» (1811).

Стр. 145. ... а только туману лет сто назад напустили, из видов, и тоже дипломатических... — По-видимому, Достоевский имеет в виду намеки западноевропейской дипломатии на русско-турецкую войну 1768—1774 гг. и ее результаты. Эта успешная для России война закончилась Кючук-Кайнарджийским договором (10 июля 1774 г.), по которому Турция признала покровительство России над Молдавией и Валахией и обязалась облегчить положение христианского населения Балканского полуострова.

Стр. 146. Этот храбрый генерал... — Мак-Магон. В записной тетради 1875—1876 гг. есть такая помета, сделанная под впечатлением толков о французском президенте в иностранной прессе: «Мак-Магон. Честный солдат, храбрый солдат, по все это, чтоб не сказать, что он умный солдат. Вот про „умного-то“ и никто не говорил» (наст. изд., т. XXIV, стр. 97).

Стр. 146. ... почти везде побежденный... — Мак-Магон воевал более или менее успешно лишь во французских колониях в Африке. Во времена франко-пруссской войны 1870—1871 гг. он был одним из бездарных руководителей французской армии.

Стр. 146. ... а в дипломатии отличившийся коротенькой фразой: «*J'y suis et j'y reste*»... — См. ниже, стр. 425.

Стр. 147. ... в пространной истории Кайданова есть одна величайшая из фраз. — Достоевский цитирует далее не совсем точно. У Кайданова: «Глубокая тишина царствовала в Европе в то время, когда Фридрик Великий закрывал глаза свои навеки; но никогда подобная тишина не предшествовала столь сильной политической буре, каковая вскоре последовала во всей Европе» (И. Кайданов. Руководство к познанию всеобщей политической истории. Третье издание, исправленное и дополненное. Часть третья. История новая, или трех последних веков, продолженная до 1818 года. СПб., 1827, стр. 279). И. К. Кайданов (1782—1843) — профессор Царскосельского Лицея, автор многократно переиздававшихся учебников по русской и всеобщей истории.

Стр. 147. ... а в Петербурге, у нас, еще задолго перед сим красовался мраморный бюст Вольтера. — Возможно, речь идет об одном из двух бюстов Вольтера, находящихся и поныне в коллекциях Эрмитажа. Автором первого из них, выполненного по заказу Екатерины II около 1770 г., была ученица знаменитого Фальконе Мари Анна Колло (1748—1821), а автором второго, созданного также по заказу императрицы и несравненно более значительного по своему художественному достоинству, — Жан Антуан Гудон (1741—1828), реалистически запечатлевший Вольтера в последний год его жизни (1778) (см.: Жаннетта Мадулевич. Французская портретная скульптура XV—XVIII веков в Эрмитаже. Л.—М., 1940, стр. 60—62 и раздел «Иллюстрации» в той же книге — табл. 28 и 32). Достоевский мог сам видеть эти скульптурные портреты (широкий доступ в Эрмитаж был открыт с 1866 г.) или же почерпнуть сведения о них из статьи В. В. Стасова «Три французских скульптора в России», опубликованной незадолго до написания настоящей главы «Дневника писателя». Ошибочно приписывая оба бюста Гудону, Стасов писал о нем в своей статье: «...у нас в России <...> сохранилось несколько самых капитальных, самых великолепных его созданий. В Эрмитаже есть два его бюста

Вольтера (один маленький, в парике, другой в натуральную величину, с ленточной повязкой на голове...)» (ДНР, 1877, № 4, стр. 348).

Стр. 149. ... и уже перешедшая через Дунай... — Русские войска форсировали Дунай 15 июня 1877 г.

Стр. 151. ... не та единственная формула этого протестанства, которая определилась при Лютере... — См. выше, стр. 7—8, 359.

Стр. 154. Явились Интернационалка... — Имеется в виду Интернационал — Международное товарищество рабочих, основанное в 1864 г. в Лондоне под руководством К. Маркса. Достоевский, основываясь на информации в тогдашней дворянско-монархической русской и буржуазной западноевропейской печати, не мог иметь сколько-нибудь верного представления о программе и характере деятельности этой первой массовой организации пролетариата.

Стр. 154. ... вследствие внезапного клерикального переворота во Франции. — Достоевский имеет в виду уход в отставку (16 мая 1877 г.) республиканского министерства Жюля Симона (1814—1896) под давлением президента Мак-Магона — бонапартиста по своим убеждениям (Мак-Магон направил Жюлю Симону письмо с выражением недовольства его политикой, после чего последовала «смена кабинета»). Это событие встревожило Европу как предвестие возможной международной войны. Западноевропейское и русское общество считало смену министерства во Франции результатом прискорбных клерикалов, руководимых из Ватикана — резиденции папы Пия IX. В «Последней почте» «Московских ведомостей» (1877, 22 мая, № 123) отмечалось: «Из Рима пишут в ультрамонтанскую „Germania“, что католики обязаны папе падением министерства Жюля Симона. По словам корреспондента, Пий IX не мог вынести, что бывший президент совета уличал его во лжи в публичном заседании палаты депутатов, и поручил своему нунцио в Париже передать маршалу Мак-Магону, что Ватикан разорвет сношения с французским правительством. „Маршал президент, — заключает корреспондент „Germania“, — был, разумеется, сильно взволнован сообщением монсеньора Мелии, и в скором времени найден был предлог положить конец администрации Жюля Симона“».

Комментируя отношение к этому событию со стороны французской печати и общественности, газета «Московские ведомости» (1877, 15 мая, № 117, отдел «Последняя почта») отмечала: «Та же газета («France», — Ред.) сообщает полученную ею из Вены шифрованную депешу от 19 мая, в которой сказано: „Государственный удар во Франции произвел здесь общую панику. В последние двенадцать часов в газетах появляются энергические статьи. Повсюду говорят: «Нет более Франции! Кабинет Броля не существует более трех месяцев». Общественное мнение единодушно считает переворот 16 мая результатом ультрамонтанских интриг...“». Корреспонденция «Из Парижа», помещенная в газете «Московские ведомости», обращала внимание на политику западноевропейских клерикалов, предупреждая о «католическом заговоре». «Судя по впечатлению, произведенному во всей Европе переменой министерства в Париже, ваши читатели могли убедиться, — писал автор корреспонденции, — что я не преувеличил его значение, когда в письме, отправленном несколько часов спустя после этой перемены, я придал ему значение настоящего *coupr d'état* (государственного переворота, — Ред.), которого лозунг вышел из Ватикана и который может иметь самые пагубные последствия для будущности Франции...». Несколько лет тому назад один известный государственный человек сказал, что, дабы понимать современные события Западной Европы, необходимо не упускать из виду, что в ней существуют две почти одинаковые силы, обе обладающие самою могущественною организацией, какую свет когда-либо выдвигал, сплы, между которыми идет борьба не на живот, а на смерть. Одна из этих сил — прусская армия, другая — иезуиты. Бисмарк и патер Бекс держат в своих руках нити почти всех происходящих в Западной Европе событий, и борьба, идущая между протестантской Германией, с одной стороны, и поклонниками Силлабуса, с другой, будет в своих

результатах однпм из самых выдающихся факторов в истории цивилизации XIX столетия ...» (МВед, 1877, 24 мая, № 125).

Стр. 155. ... имея столь гениальных предводителей во главе... — См. выше, стр. 43 и примеч. к ней.

Стр. 155. Еще не успели выйти германские войска из Франции... — Достоевский писал о французах в журнале «Гражданин» (1873, № 38): «...у них на днях произошел один факт, конечно, предвиденный и знаменитый всеми уже давным-давно, но непременно смутивший всех как нечто неожиданное. В официальном журнале от 4 (16-го) сентября было напечатано: „Конфлакт и Жарни, последние занятые местности, были очищены вчера в 7 часов вечера. В 9 часов немецкие войска перешли границу. Территория освобождена окончательно“» (см. наст. изд., т. XXI, стр. 180).

Стр. 155. ... как он уже ясно увидел, что слишком мало было сделано «кровью и железом». — Словами «кровью и железом» (или наоборот) выражался принцип внешней и внутренней политики Бисмарка — как до, так и после франко-пруссской войны 1870 г. Считаясь с возможностью новой войны с быстро оправившейся от поражения Францией, Бисмарк стремился к тому, чтобы, в случае возобновления конфликта, последняя оказалась в изоляции от других европейских держав.

Стр. 155. ... Наполеону нельзя уже было воротиться в Париж императором иначе, как по милости короля Пруссского. — Сдавая крепость Седан и находящуюся в нем армию, Наполеон III униженно писал прусскому королю Вильгельму (вскоре провозглашенному императором Германии), явно рассчитывая на его поддержку в сохранении статуса покачнувшейся «второй империи»: «Дорогой мой брат, так как я не сумел умереть среди моих войск, мне остается вручить свою шпагу Вашему величеству. Остаюсь Вашего величества добрым братом. Наполеон» (Всемирная история, т. VI. М., 1959, стр. 599). Через 2 дня, 4 сентября 1870 г., в Париже была провозглашена республика.

Стр. 155. Не всегда тоже будут и столь мало даровитые генералы, как Мак-Магон... — Главнокомандующий французской армиею Мак-Магон во время битвы за Седан находился в этой крепости. В результате седанского погрома свыше ста тысяч французов, в том числе 139 генералов, среди которых был и Мак-Магон, попали в плен.

Стр. 155. ... или такие изменники, как Базен. — См. наст. изд., т. XXI, стр. 487. Измене Базена и суду над ним Достоевский посвятил свой очередной обзор «Иностранные известия» в № 43 журнала «Гражданин» за 1873 г. (см. там же, стр. 211—216).

Стр. 156. ... побежденный враг со вдруг уплатил три миллиарда контрибуции разом и не поморщился. — В июле 1872 г. Франция провела засм для выплаты контрибуции, который был перекрыт в 12 раз. Затем французское правительство добилось возможности выплатить досрочно оставшиеся 3 миллиарда: в сентябре 1873 г. произошло полное освобождение территории страны.

Стр. 156. Правда, до последнего внезапного приключения во Франции... — Подразумевается «клерикальный переворот» во Франции 16 мая 1877 г.

Стр. 157. Почему он так дальновидно озабочился заручиться итальянским союзом... — Бисмарк «заручился» этим союзом накануне войны с Австрией, начавшейся 17 июня 1866 г.

Стр. 158. Конclave — собрание высших сановников католической церкви, кардиналов, для избрания нового папы.

Стр. 158. Папа, поверженный и заключенный в Ватикане... — После занятия Рима итальянскими войсками (20 или 21 сентября 1870 г.) Пий IX демонстративно объявил себя «узником Ватикана» и не покидал его пределов.

Стр. 158. ...издающий аллокуции... — Аллокуция — обращение папы к коллегии кардиналов с речью по какому-нибудь важному церковному или политическому вопросу. В первой половине 1877 гг. особое внимание

Достоевского было привлечено по крайней мере тремя речами, или аллокуциями, Пия IX. В газете «Московские ведомости» (1877, 2 марта, № 50, отдел «Последняя почта») отмечалось: «Итальянские газеты и корреспонденции сообщают, что во всех городах Италии подписываются протесты против закона о предупреждении злоупотреблений духовенства, частично для устрашения Сената, частично из повиновения Пию IX, изрекшему в одной из своих последних аллокуций: „Действуйте, действуйте! Действие, не достигающее цели сегодня, приготовляет успех на завтра“». В данном случае подразумевалась, по всей вероятности, аллокуция от 12 марта (п. ст.) 1877 г. (см.: *МВед*, 1877, 4 июня, № 136, отдел «Последняя почта»). После того как закон о злоупотреблениях духовенства не был утвержден Сенатом, а закон о гарантиях, ограждающих свободу существования папства, остался в спле, в «Гражданине» (1877, 11 мая, № 18) была напечатана корреспонденция А. Блберштейна «Из Италии», в которой отмечалось: «... папа, имея полную свободу говорить и делать, что ему вздумается, произнес недавно речь, в которой требует, в самых резких выражениях, иностранного вмешательства во внутренние дела Италии». Самое неблагоприятное впечатление на Достоевского произвела речь Пия IX на приеме савойских пилигримов 30 апреля 1877 г. (см. выше, стр. 413—414).

Стр. 158. ... и *силлабусы*... — Силлабус (по-гречески — *перечень*) — так называлось приложение к папской энциклике (окружному посланию) от 8 декабря 1864 г. с перечислением восьмидесяти «заблуждений», противоречащих учению католической церкви. Полное его название: «*Sillabus complectens praeceptios nostrae aetatis ergoress*» («Перечень, содержащий основные заблуждения нашего времени»).

Стр. 158. ... *принимающий богомольцев*... — Почти всю первую половину 1877 г. Пий IX принимал пилигримов, стекавшихся в Рим из Европы и Америки для празднования пятидесятилетия со дня возведения его в звание епископа.

Стр. 158. ... и *умирающий*... — Во время ежедневных приемов пилигримов Пий IX неоднократно терял сознание вследствие общей старческой слабости.

Стр. 158. ... *огромнейшая идея мира, идея, вышедшая из главы диавола во время искушения Христова в пустыне*... — Подразумевается искушение Христа властью, о котором рассказывается в Евангелии: «И возведя его на высокую гору, диавол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему диавол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана; написано: господу богу твоему поклоняйся, и ему одному служи» (Евангелие от Луки, гл. 4, ст. 5—8). Там же говорится о неудавшемся искушении Христа хлебом и чудом.

Эти и аналогичные суждения Достоевского о католицизме и социалистах, «поддавшихся» вместе с католиками трем искушениям дьявола, легли в основу замысла главы «Великий инквизитор» в романе «Братья Карамазовы» (см.: наст. изд., т. XV, стр. 198, 408—409, 481—483).

Стр. 158. ... *идея, живущая в мире уже органически тысячью лет*... — Т. е. со времен упрочения католицизма. Вполне самостоятельной церковной организацией католицизм стал в XI в., после разделения церквей.

Стр. 159. *Во Франции за последние годы образовалось парламентское большинство* — Предводители их отличались сдержанностью и необычным еще у них благородствием. — Имеется в виду послевоенный курс буржуазного республиканского большинства, руководимого такими политиками, как Гамбетта, Дюфор, Жюль Симон, Грэви и др.

Стр. 159. *Очень тоже пригодилась потом эта идея правительству Наполеона III*. — 31 мая 1850 г. Законодательное собрание Франции провело в жизнь закон о выборах, по существу лишавший права голоса большую часть рабочих. С целью упрочения своей популярности в народных массах Наполеон III, тогда еще только президент, начал борьбу с Законодательным

собранием за отмену этого закона. Благодаря этой борьбе, имевшей в значительной степени демагогический характер, будущий император прослыл защитником демократических норм общественной жизни. Закон о всеобщем голосовании был восстановлен Наполеоном III сразу после государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Стр. 159. ... *монархия, как, например, Наполеона III, выражала даже как бы попытки войти в соглашение с социалистами...* — Будучи узником в крепости Гам (за вторую попытку бонапартистского государственного переворота), Наполеон III написал брошюру «Extinction du parti républicain» («Уничтожение бедности»; издана в Париже в 1844 г.). Констатируя в этой брошюре, что рабочий класс получает вознаграждение за свой труд часто в зависимости от случая и произвола и, работая, ничем не владеет, Наполеон III обосновывал мысль о том, что рабочих надо сделать собственниками. Он предлагал построить за счет государства фермы, в которых были бы поселены пролетарии. Брошюра эта, задуманная и написанная под влиянием Луи Бланна (1811—1882), вызвала сочувствие к Наполеону в среде социалистов. Следствием заигрывания наполеоновской империи с социалистами были также введение закона о всеобщем голосовании и отмена закона о запрещении стачек (1864 г.).

Стр. 161. ... *клерикальное большинство сената разрешило Мак-Магону разогнать республиканцев.* — В отделе «Последняя почта» «Московские ведомости» (1877, 11 июня, № 143) сообщали: «16 июня происходило открытие французских палат при многочисленном стечении публики. В Сенате герцог де-Броль <...> прочел послание маршала Мак-Магона о распуске Палаты депутатов посреди глубочайшего молчания...» На этом заседании Палаты один из ее членов, республиканец Бетмон, «выражая осуждение акту 16 мая <...> предложил вопрос, на какие силы предполагает опереться правительство? „Силы эти, — продолжал оратор, — временная коалиция трех монархических партий. Но разве это союз? Вас три партии: орлеанисты, легитимисты, бонапартисты. Вы, легитимисты, колебались; ваша совесть была беспокойна, но вы получили приказ из Рима. Клерикальная связь соединяет эти три враждебные фракции. Итак, собственно говоря, против нас действует клерикализм. Приближение департаментских и общинаемых выборов возбудило тревогу; предчувствовалось изменение в большинстве Сената. Очевидно было, что мы сильны доверием страны. Тогда акт 16 мая решен был клерикальною партией и исполнен». Выступивший затем Гамбетта утверждал, что «акт 16 мая был клерикальным союз d'état, и в заключение объявил, что торжество коалиции (бонапартистско-легитимистско-орлеанистской, — Ред.) будет сигналом войны междуусобной или внешней». В следующем номере «Московских ведомостей» сообщалось: «Париж, 22 (10) июня. После речей Берто, Брюно и Лабуле сенат приступил к голосованию по большинством 150 голосов против 130 принял предложение о распуске палаты».

Стр. 161. ... *ибо если будет вредить при избрании папы, то, уж конечно, он.* — Достоевский опирается не только на свои представления о католичестве в отношении канцлера Бисмарка к притязаниям римских пап на неограниченную светскую власть в Западной Европе и во всем мире, но и на факты, зафиксированные русской печатью. В газете «Московские ведомости» (1877, 18 мая № 119, отдел «Последняя почта») отмечалось: «В генуэзской „Movimento“ от 21 мая сказано, что князь Бисмарк настаивает через посредство г-на фон Кейделля, германского посла, чтобы итальянское правительство приняло относительно папства энергическое и суровое положение вследствие недавней агитации и постоянных папских интриг, которые имеют целью встреможить общественное спокойствие, оскорбить национальное чувство и нарушить неприкосновенность территории не только в Италии, но и в Германии».

Стр. 162. *Во французских газетах (и в наших) все благонамеренные люди сильно уверены, что клерикалы непременно сломают себе ноги на следующих выборах во французскую палату.* — В газете «Новое время»

(1877, 3 (15) июня, № 452, отдел «Внешние известия») сообщалось: «„République Française“ следующим образом обрисовывает настоящее положение: „Самостоятельная политика Мак-Магона пришла к концу. Если Мак-Магон действительно отрекся от власти в пользу деятелей 16-го мая и если переворот 16-го мая действительно был делом Ватикана, то будет интересное зрелище, если результат будущих выборов окажется таким же республиканским, может быть, еще более либеральным“». Днем раньше в той же газете (*IBP*, 1877, 2 (14) июня, № 451, отдел «Внешние известия») было помещено изложение произнесенной в Амьене речи лидера республиканцев Гамбетты (1838—1882). Он «высказал мнение, что нынешний кризис может иметь только благоприятный исход для Франции и либеральных учреждений. Согласие всех фракций левой стороны, сказал он, не будет иметь временного характера, а упрочится с течением времени все более и более. Все 363 члена левой стороны будут вновь избраны народом, который поручит им защиту закона и державной воли Франции. (...) В день выборов Франция выразит то мнение, которое она неоднократно выражала в течение последних шести лет».

Стр. 162—163. *Французские республиканцы—убеждены, что вся activité dévorante новоразославленных префектов и мэров ровно ничего не добьется...* — Префект — правитель; то же, что губернатор в царской России. Мэр — глава муниципалитета, т. е. городского или сельского самоуправления. Не считаясь с волей таких правительственных учреждений, как Палата депутатов и Сенат, Мак-Магон, после «клерикального переворота» 4 (16) мая 1877 г., сместил префектов-республиканцев, занимавших свои посты на законном основании, и назначил новых, известных своим монархически-бонапартистским убеждениями. Сделано это было для того, чтобы накануне предстоящих выборов в Палату депутатов (осень 1877 г.) подавить или по крайней мереней нейтрализовать республиканское влияние в провинциях. Вопреки опасениям Достоевского, эта акция не принесла результата, на который рассчитывали поборники реставрации бонапартистского режима. Не желая себя компрометировать, некоторые префекты, назначенные Мак-Магоном в обход закона, отказывались занять предложенные им посты.

Стр. 163. ...затем клерикалы будут выгнаны, а может быть, и сам Мак-Магон вместе с ними. — Этот прогноз республиканцев оказался точным. На выборах в Палату депутатов 2 (14) октября 1877 г. бонапартисты и клерикалы потерпели поражение. В течение последующих лет влияние буржуазной республиканской партии, руководимой Гамбеттой, продолжало расти. 19 (31) января 1879 г. президент-бонапартист Мак-Магон ушел в отставку.

Стр. 163. *Воскликнут, что это старое средство, что его уже несколько раз употребляли, например, Наполеоны!* — Подразумеваются жестокие подавления недовольства масс, которыми был ознаменован переход Наполеона I и Наполеона III к единолично-деспотической, императорской форме правления.

Стр. 163. *Как римский император упадки империи, он может затем объявить, что отныне «будет сообразоваться лишь с мнением легионов».* — С 235 по 284 г. в Риме произошла смена 19 «законных» императоров и более 30 узурпаторов. Эти события явились яркими свидетельствами нравственного упадка и распада Римской империи. Достоевский, конечно, хорошо помнил герценовскую характеристику скульптурных изображений древних римлян, вырытых в окрестностях Рима и собранных Пием VII в одной из галерей Ватикана: «...с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы... Но есть и другой — это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть — повелевать; ум узок, сердца совсем нет — это монахи властолюбия; в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионы ставили на часы к империи» (*Герцен*, т. VIII, стр. 62—63).

Стр. 163. В недавней речи своей к войскам маршал Мак-Магон говорил именно в этом смысле, и войска приняли его весьма сочувственно. — 1 июля н. ст. 1877 г. маршал Мак-Магон произвел смотр «войскам всех родов оружия, расположенным в Париже и его окрестностях», после чего обратился к ним с следующим возвланием: «Солдаты! Я доволен вашею исправкой и стройностью выполненных вами движений (...) Я уверен, что вы поможете мне поддержать уважение ко власти и законам при исполнении миссии, которая возложена на меня и которую я выполню до конца» (см.: *MВед*, 1877, 26 июня, № 158, отдел «Последняя почта»). Германской официозной печати это возвлание было воспринято как очередное грозное предвестие надвигающейся войны.

Стр. 163. ... «*J'y suis et j'y reste*»; то есть: «Сел и не сойду». Дальше этой фразы он, как известно, не пошел... — По поводу победы французских буржуазных республиканцев на выборах 1876 г. газета «Голос» (1876, 15 марта, № 75) писала почти с благоговением: «Французская республика находится ныне в распоряжении людей самых благонадежных в политическом отношении (...) Против всяких насилиственных потрясений обеспечивает страну президент республики (...) Упрочение ныне устроившегося образа правления во Франции, республиканского только по форме, но с учреждениями, возможными в любой монархии, — это вопрос об обеспечении спокойствия не только самой французской нации, но и всей Европы». Иронически комментируя прогнозы «Голоса» о миролюбии мак-магоновского правительства, Достоевский отмечал в записной тетради 1875—1876 гг.: «Но забыли, что республика всчно будет в подозрении. И что у президента (которого так чтят армия, с удовольствием замечает «Голос») ни одной политической мысли в голове, кроме *j'y suis et j'y reste* (...) Тут пример Наполеона III-го» (наст. изд., т. ХХIV, стр. 166). Браждебное и презрительное отношение Достоевского к бонапартисту Мак-Магону усиливается после «клерикального переворота» 4(16) мая 1877 г. Достоевский здесь намекает на следующее заявление французского президента, перепечатанное «Московскими ведомостями» (1877, 21 мая, № 122, отдел «Последняя почта»): «В „Moniteur universel“ сообщают, что вечером 25 мая, во время приема, происходившего в Елисейском дворце, маршал Мак-Магон выразил некоторым политическим людям свои идеи о настоящем положении, и вот что он сказал им, между прочим: „Я сознаю, что исполнил великую обязанность. Я оставался и всегда буду оставаться в пределах строгой законности. Я поступил так потому, что я охранитель конституции...“ (курсив наш, — Ред.)».

Генерал Трошю так объяснял поведение Мак-Магона: «Одна французская газета передает, что генерал Трошю, узнав о катастрофе 16 мая, воскликнул: „Это повторение марша на Седан!“ При этом генерал рассказал о своем участии в великом военном совете в Шалонском лагере, на котором обсуждался вопрос, куда направить стоявшую там армию, находившуюся под начальством маршала Мак-Магона: на прикрытие Парижа или же на Седан. Маршал (...) колебался тогда между чувством патротизма, которое подсказывало ему необходимость отступить к Парижу, дабы защитить столицу, и чувством преданности династии, которое отклоняло его от этого шага (...) Маршал обнаружил тогда нерешительность своего характера. Генералу Трошю удалось убедить его в необходимости движения на Париж (...) Но по дороге он снова подпал под влияние окружавших его бонапартистов (...) и армия предприняла свое роковое движение на Седан. „Отступившись от республиканского большинства, заметил генерал Трошю, маршал повторил свой тогдашний маневр: 16 мая есть новый марш на Седан. Результат будет тот же: маршал будет вынужден передать команду другому“» (*MВед*, 1877, 19 июня, № 151). Возможно, именно эта трактовка нерешительных действий маршала Мак-Магона во время франко-пруссской войны 1870 г. и накануне «клерикального переворота» 16 мая 1877 г. побудила Достоевского иронически сравнить маршала с Аяксом.

Стр. 164. ... в случае нужды можно и совсем обойтись без Шамбора и без Бонапарта... — Шамбор (1820—1883), внук Карла X (1757—1836); был

одним из претендентов на французский престол, когда (в начале 1870-х годов) существование республиканского образа правления во Франции вновь оказалось под угрозой. Достоевский неоднократно упоминал о Шамборе в «Дневнике писателя» за 1873 г. (см. наст. изд., т. XXI, стр. 182—185, 482; а также: т. XXII, стр. 92).

Стр. 164. ... все официозные органы печати, находящиеся под влиянием князя Бисмарка, прямо уверены в неминуемой войне. — «Из Берлина», сообщали «Московские ведомости», — телеграфируют *«...»* что в передовой статье газеты „Post“ сказано: «С ружьем в руках ожидаем, что родит вулкан Франции. Страна эта находится накануне плебисцита. Республика во Франции означает для Европы мир; монархия, опиравшаяся на ультрамонтанов, неизбежно приведет к войне»» (*МВед*, 1877, 23 июня, № 155). В том же номере газеты была напечатана еще одна телеграмма аналогичного содержания: «Берлин, 4 июля (22 июня). „Провинциальная корреспонденция“, воспроизводя заключительные слова приказа Мак-Магона по войскам парижского гарнизона, присовкупляет: „Эти слова дают понять всю серьезность теперешнего положения вещей во Франции“». Отношение Бисмарка к последним политическим событиям во Франции было так охарактеризовано в корреспонденции «Из Берлина»: «Князь Бисмарк, не спускающий глаз с Запада, твердо убежден, что из тамошних отношений возникнет для Германии необходимость войны. Для проницательного государственного человека клерикально-бонапартистско-легитимистское министерство Броля — Фурту, которое не остановится ни перед чем, чтобы только утвердиться, само собою являет величайшую опасность для мира. Для истого монархиста, — нашего имперского канцлера, — гарантией мира является только господство республики во Франции. Император Вильгельм думает, однако, иначе» (*МВед*, 1877, 27 июня, № 159).

В числе немецких газет, выражавших уверенность в неизбежности «всехобщей европейской войны», русской печатью упоминалась также «National Zeitung» (см.: *МВед*, 1877, 4 июня, № 136, передовая «Москва, 3 июня»).

Стр. 164. Вся надежда, если маршал Мак-Магон вдруг испугается всего, что взял на себя, и остановится, как некогда Аякс, в недоумении среди дороги. — Иронически сравнивая бонапартиста Мак-Магона, совершившего по указке из Ватикана «клерикальный переворот», с одним из героев homerовской «Илиады», Достоевский подразумевает следующие строки: «Зевс же, владыка превысший, страх ниспоспал на Аякса: Стал он смущенный и, щит свой назад семикожный забросив, Вспять отступал, меж толпою враждебных, как зверь, озираясь...» (Гомер. Илиада. М., 1967, стр. 195. Перевод Н. Гнедича).

Помимо высказывания генерала Трошю (см. выше, стр. 425), прибегнуть к ироническому уподоблению Мак-Магона оробевшему Аяксу, отступающему в окружении врагов, могло побудить Достоевского и заключение о политическом одиночестве французского маршала, сформулированное на страницах газеты «Новое время» (1877, 1 (13) июня, № 450, отдел «Последние известия»): «... маршал убедился наконец, что один он с партией „Appel au peuple“ не справится с возбужденными умами *«...»* Внутри страны так же, как и за границей, „честный солдат“ не находит союзников, он стоит в изолированном положении...».

Стр. 165. ... стоя перед Дунаем — «немецкой рекой»... — Достоевский здесь, возможно, опирается на содержание передовицы «Московских ведомостей», так информировавшей русское общество о прениях в германском рейхстаге, происходивших 14 (26) апреля 1877 г.: «...г-да Иерг и Виндгорст (представители клерикально-католической партии в рейхстаге, — Ред.) *«...»* прямо заявили *«...»* о своей глубокой ненависти к России, которая является-де на Балканском полуострове покровительницей „схизмы“, а во-вторых, эти ораторы указывали на то, что Германия вовсе не так мало заинтересована в судьбе Балканского полуострова, как старался уверять князь Бисмарк. Г-н Иерг, как баварец, объяснил, что его отчество есть страна придунайская и потому не может относиться равнодушно к судьбе низовьев этой реки *«...»* Возражая г-ну Иергу, г-н Ласкер в свою очередь

заметил, что и по его мнению не следует допускать, чтобы Россия добилась настоящей войны каких-либо односторонних своих интересов <...> Таков был общий характер преней, происходивших в германском имперском сейме по поводу возгоревшейся войны. Представители правительства хранили глубокое молчание, и в то время, как противная ему партия, не стесняясь, высказывала свои дышащие злобой нападки на Россию, ораторы преданных правительству фракций не нашли сказать ни слова сочувства России» (*МВед*, 1877, 20 апреля, № 94).

Возгласы о «Дунае — немецкой реке» энергично раздавались в Австро-Венгрии. Имея в виду ежедневные колебания австро-венгерской официозной печати в оценках международной политической ситуации, сложившейся в результате начала русско-турецкой войны 1877 г., венский корреспондент «Московских ведомостей» сообщал: «Так, вчера, например, в „Венгерской корреспонденции“, органе графа Андраши (австро-венгерский министр иностранных дел, венгр по происхождению, — Ред.), говорилось, что „Австро-Венгрия перестанет быть нейтральною и объявит России войну в то мгновение, когда Россия возымеет намерение «ославлять» устья Дуная. Война в данном случае уже не будет происходить на турецкой территории. а перенесется-де в Галицию и Польшу, и Австрия найдет-де себе помощь в Англии и Германии“. Последняя мысль почему-то выплыла опять на поверхность мозгов здешних мадьяро-турецких политиков, и, быть может, они долго еще развивали бы ее на все лады, приняв за тему известное изречение, что „Дунай — немецкая река“, если бы не заставил замолкнуть ораторов „великий молчальник“ Мольтке. Его известная речь в рейхстаге произвела здесь сильное впечатление...» (*МВед*, 1877, 28 апреля, № 102). В дальнейшем, в связи с «клерикальным переворотом» во Франции, воспринятым как предвестие возможной общеевропейской войны, внимание западноевропейских держав еще в большей степени переместилось «с Востока на Запад». Но и в этой политической ситуации австро-венгерская печать на вопрос о том, «что случится, если Россия, раздавив Турцию, сохранит для себя устья Дуная и обратит Дунай в славянскую реку», отвечала весьма категорическим образом: «В таком случае мы начнем войну с Россией, ибо Дунай должен оставаться рекой австро-венгерской и немецкой» (*МВед*, 1877, 30 мая, № 131).

Стр. 166. ... министры Мак-Магона изо всех сил уверяют французов и весь свет, что Франция не начнет войны. — «Московские ведомости» (1877, 15 мая, № 117) сообщали: «В „Moniteur universel“ от 19 мая сказано, что члены кабинета сообщили <...> о своем твердом намерении энергически подавлять <...> всякое действие и писание, которые могли бы встреможить страну и ввести ее в заблуждение относительно намерений президента республики. Всякий раз, когда в избранных неполитических собраниях, или на сходках, или в газетах будет заявляемо, что цель или последствие действий главы государства есть война, или что он готовит государственный удар, кабинет воспользуется правами, которые предоставляет ему закон, и не дозволит никому вводить в заблуждение или волновать общественное мнение». Несколько позже заверение в миролюбивых намерениях Франции было сформулировано в циркуляре председателя совета министров и министра юстиции герцога де Броля, опубликованном в «Journal officiel» от 29 мая 1877 г. В заключение этого циркуляра, предлагавшего генеральным прокурорам Франции обратить особое внимание на «заговор клеветы» в оппозиционной республиканской среде, говорилось: «Ничто не может более повредить нашим добрым отношениям к союзным нациям, как уверение, что во Франции существует secta или партия настолько преступная, чтобы желать возбуждения в Европе бедствий новой войны» (*МВед*, 1877, 26 мая, № 127).

Стр. 167. Гут Бокль, тут даже Дрепер. — Достоевский имеет в виду труд английского историка и социолога Г. Т. Бокля (1821—1862) «История цивилизации в Англии» (см. наст. изд., т. V, стр. 384) и книгу американского химика, физиолога и историка Дж. В. Дрепера (1811—1882) «История умственного развития в Европе» (1864).

Стр. 168. . . адресы вздор. . . — Подразумевается реакция либералов на изъявления патриотических чувств и сочувствия славянству, получившие большое распространение еще до официального объявления войны. Адреса поступали от городов и городских учреждений, религиозных и общественных организаций, училищ и т. п. Подробные сведения о них пунктуально помещались почти в каждом номере «Московских ведомостей» (см., напр.: *МВед*, 1877, 9 февраля. № 33, отдел «Телеграммы»).

Стр. 169. . . скажу словечко о «прямолинейных» ~ Эти бьют в одну точку, и их ни за что не собьешь с этой точки. . . — Подразумеваются те же самые либералы, скептически относившиеся к русскому патриотическому движению, получившему большой размах после объявления войны Турции (12 апреля 1877 г.). Определение «прямолинейные либералы» было употреблено в фельетоне Суворина «Недельные очерки и картинки» (*НВр*, 1877, 3 (15) апреля, № 392; см. также: наст. изд., т. XXIV, стр. 274).

Стр. 169. Из армии доносятся известия о геройстве, о самоотверженности русских, как солдат, так и офицеров. Тут молодежь ~ Они идут впереди солдат, они бросаются первые в опасность. . . — По-видимому, Достоевский имеет в виду широко обсуждавшееся в русской печати потопление русскими морскими офицерами, матросами и солдатами двух турецких броненосцев на Дунае. Так, например, газета «Русский мир» (1877, 20 мая (1 июня), № 133) сообщала: «Броненосец, взорванный 14 мая нашими моряками, назывался „Хиззи-Рахман“ и по своей конструкции совершенно одинаков со взорванным 29 апреля „Лютфи-Джелилем“. Выше приводились биографические сведения о лейтенантах Ф. В. Дубасове, А. П. Шестакове, И. Л. Петрове и мичманах М. Я. Бале и В. П. Персине. Описанию взрыва одного из упомянутых броненосцев газета «Русский мир» (1877, 26 мая (7 июня)) посвятила статью «Ночь на 14-е мая».

Стр. 170. Недавний рассказ о простолюдине, обнявшем в слезах в Успенском соборе Чернигева. . . — Достоевский не совсем точен в припоминании деталей следующего «рассказа» корреспондента газеты «Русский мир»: «В пятницу, 17 сего июня, в 12 часов дня в Казанском соборе, что на Никольской, было совершено благодарственное молебствие по случаю победы, одержанной черногорцами над армией Сулейман-паши . . . К 12 часам к церкви, на простом извозчике, подъехал какой-то генерал и быстро прошел в церковь. По народу пронеслась весть, что М. Г. Чернигев . . . Когда молебствие кончилось, из церкви повалил народ, но выход ему положительно был загражден другую наружную массою народа. В дверях показались М. Г. Чернигев и И. С. Аксаков; разом вся масса народа заколыхалась, шапки полетели вверх и раздались крики „Да здравствует Чернигев!“ Аксаков с супругой едва успели сесть в экипаж, Михаила же Григорьевича толпа оттерла, и он никак не мог добраться до экипажа и вынужден был пешком направиться к Иверским воротам. Толпа не только не уменьшилась, но все более и более увеличивалась . . . вдруг из толпы выдвинулся какой-то старик лет 75-ти и, со слезами на глазах, подошел к М. Г. Чернигеву, который обнял старика и поцеловал его» (*РМ*, 1877, 19 июня (1 июля), № 163).

Стр. 170. Как не появиться Копейкиным, «так сказать, кровь проливавшим». . . — Слова, взятые в кавычки, — неточная цитата из «Повести о капитане Копейкине» (см.: *Гоголь*, т. VI, стр. 581, 582, 584).

Стр. 170—171. . . Россия не с одной уж Турцией ведет войну. . . — Подразумевается оказывавшаяся Англией щедрая помощь Турции вооружением, деньгами, продовольствием, военной консультацией и т. п. 1(13) мая 1877 г. Суворин писал в своем очередном фельетоне «Недельные очерки и картинки»: «. . . почва Дуная получила первый дар — пробитый турецкий броненосец опустился на дно славянской реки, и русалки Дуная рассматривают это английское изделие, купленное на английские деньги. Они скользят по его броне, спускаются в его каюты, садятся на его пушки и весело хохочут. . .» (*НВр*, 1877, № 420).

В корреспонденции «С театра войны» (*МВед*, 1877, 4 мая, № 108) сообщалось: «Из Константинополя телеграфируют в „Международное Теле-

графное Агентство" от 30 апреля (12 мая): „Уже несколько дней как три английских офицера интендантского ведомства деятельно собирают справки относительно подробностей, касающихся провианта и мест, удобных для его хранения. Они ежедневно имеют совещания с сераскиром и, по-видимому, довольны полученными ими сведениями. Английский посол г-н Лейядр употребляет все усилия, чтобы оживить настроение Порты, обещая в частных беседах с турецкими министрами, что Англия впоследствии, в последних числах июня (по новому стилю), окажет Турции помощь“.

Стр. 171. ... *турецкими армиями руководят английские генералы...* — Достоевский пользуется следующей газетной информацией: «По словам „Neue Freie Presse“, Россия протестовала против образа действий английского уполномоченного при турецкой азиатской армии, который всеми силами старается помочь турецким операциям» (*MВед*, 1877, 15 июня, № 147, отдел «Телеграммы»); «В „Новое время“ пишут из Константиноополя, от 22 мая, что генерал Кембалл находится в Эрзеруме; девятнадцать английских офицеров, возвратившихся из Малой Азии, отправились на болгарские пункты, которым наиболее угрожает опасность» (там же, 2 июня, № 134, отдел «Телеграммы»); «В „С. Петербургские ведомости“ сообщают, что английский офицер, руководивший действиями турецких войск в битве у Зейдекана (в районе турецкой крепости Карс. — *Ред.*), ранен» (там же, 15 июня, № 147, отдел «Телеграммы»).

Стр. 171. ... *английские офицеры воздвигают многочисленнейшие укрепления на английские деньги...* — Еще до начала русско-турецкой войны газета «Новое время» сообщала о спешном возведении укреплений вокруг города Рушук на Дунае: «Всеми работами руководят два английских инженера, препротивные фигуры [...] В белых фуражках, в каких-то бархатных коротких курточках, с сигарами в зубах, они целый день рыскают по окрестностям, верхом на горячих местных лошадках и беспощадно хлещут гуттаперчевыми хлыстами заленившихся солдат-рабочих; восемь раз счетом я натыкался на красивое зрелище подобной гуманной расправы...» (*НВР*, 1877, 15 (27) марта, № 375, корреспонденция Н. Каразина «В воинствующей Турции»).

Сначала военных действий число подобных сообщений резко возросло. Так, передовая «Московских ведомостей» (1877, 11 мая, № 113) сообщала в связи с взятием русскими войсками (5 (17) мая 1877 г.) турецкой крепости Ардаган: «Укрепления самого Ардагана слабы и не могли бы представить особых затруднений разрушительному действию артиллерии; но в последнее время оборона его была усиlena постройкой отдельных фортов и батарей, в планировке которых принимали участие английские инженеры». В том же номере (см. отдел «Телеграммы») сообщалось: «В Константинополь ежедневно прибывает множество английских офицеров; оборонительные работы производятся в обширных размерах; реквизируются лошади, рабочие и деньги». (См. также: *MВед*, 1877, 16 мая, № 118, отдел «С театра войны»).

Стр. 171. ... *флот английский ободряет Турцию продолжать войну...* — Английский военный флот, введенный (по распоряжению английского премьер-министра лорда Биконсфилда) в Средиземное море для «ободрения» Турции и устрашения России, базировался на острове Мальта.

Стр. 171. ... *чуть ли не явились (в азиатской Турции) уже английские войска...* — Достоевский опирался, в частности, на следующие газетные сообщения: «В „Новое время“ телеграфируют из Константиноополя от 6 мая, что здесь ждут прибытия в июне английского корпуса, наехало много английских офицеров, которые снимают помещения для оккупационного корпуса» (*MВед*, 1877, 9 мая, № 112, отдел «Телеграммы»); «Судя по чрезвычайному накоплению госпитальных средств. Англия приготовляется к сухопутной демонстрации» (*MВед*, 1877, 1 июня, № 133, отдел «Последняя почта»).

Стр. 171. Я уже передавал однажды, что в Москве, в одном из приютов, где наблюдают маленьких болгарских детей сироток есть одна большая девочка... — См. стр. 44.

Стр. 172. Выдав в Петербурге мой запоздавший май-июньский выпуск «Дневника»... — Цензурное разрешение на выход в свет майско-июньского выпуска «Дневника писателя» дано 8 июля 1877 г. Газетное сообщение о выходе его в свет 12 июля 1877 г. было помещено в газете «Новое время» от того же числа (см.: НВр., 1877, № 491, отдел «Среди газет и журналов»). Достоевский называет этот выпуск «запоздавшим» потому, что он был сдвоенным (май-июнь).

Стр. 172. ...и возвращаясь затем в Курскую губернию... — См. примеч. к стр. 121.

Стр. 172. ...поговорил кой о чем с одним из моих давних московских знакомых со мнением которого глубоко ценю. — Возможно, речь идет об И. С. Аксакове, Достоевский в письме к А. Г. Достоевской от 16 июля 1877 г. сообщал о своем намерении встретиться с ним в Москве.

Стр. 172. ...чтобы посетить места первого моего детства со давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц. — Речь идет о деревне Даровое, в которую Достоевский отправился из Москвы 18 или 19 июля 1877 г. По этому поводу А. Г. Достоевская писала в своих воспоминаниях: «Ввиду того, что летом 1877 года Федор Михайлович чувствовал себя вполне здоровым, я уговорила его на обратном пути из Петербурга в Мирополье остановиться в Москве и оттуда съездить в Даровое. Федор Михайлович так и сделал и прожил у своей сестры Веры Михайловны Ивановой (к которой перешло имение) двое суток (...) Заходил Федор Михайлович и в избы мужиков, своих сверстников, из которых многих он помнил (...) Поездка в Даровое доставила много воспоминаний, о которых муж по приезде передавал нам с большим оживлением» (Достоевская, А. Г., Воспоминания, стр. 313—314).

Стр. 172. ...это маленькое и незамечательное место оставило со впечатлением на всю потом жизнь... — Возможно, детское впечатление, пережитое Достоевским в Даровом, которое он описал в «Мужике Марее» (см. наст. изд., т. XXII, стр. 46—50).

Стр. 174. ...сельские учителя со столь важная по значению в будущем, новая корпорация... — Основание «корпорации» сельских учителей относится к середине 1860-х годов, после того, как вступило в силу положение о начальных народных училищах (14 июля 1864 г.). До 1864 г. специальных учреждений (учительских семинарий) для подготовки учителей в низшие учебные заведения не существовало.

Стр. 175. «Здесь терпение и вера святых», как говорится в священной книге. — Слова в кавычках — цитата из «Откровения святого Иоанна Богослова», гл. 13, ст. 10.

Стр. 175. ...я только что увидел, в первый раз, объявление в газетах о выходе отдельно восьмой и последней части «Анны Карениной» со словами взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну. — Объявление о выходе в свет восьмой части «Анны Карениной» появилось в газетах: МВед, 1877, 14 июля, № 175; 17 июля, № 178; «Современные известия», 1877, 17 июля, № 194. В дальнейшем это объявление перепечатывалось «Московскими ведомостями» (см.: МВед, 1877, 21 июля, № 182; 29 июля, № 188; 31 июля, № 190).

О разногласиях редакции «Русского вестника» с Л. Н. Толстым по поводу Восточного вопроса см. ниже, примеч. к стр. 175.

Стр. 175. ...автор предоставлял им право на какие угодно оговорки и выноски, если они с ним не согласны. — Здесь и далее Достоевский пересказывает и отчасти цитирует следующее сообщение, появившееся в «Русском вестнике» и интерпретированное затем, с оттенком иронии, в «Новом времени»: «В майской книжке „Русского вестника“, на стр. 472-й, находится заметка относительно непоявления в этой книжке последних глав романа „Анна Каренина“, и вот ее содержание: „В предыдущей книжке под романом „Анна Каренина“ выставлено: „Окончанье следует“. Но со смертью героя собственно роман кончился. По плану автора, следовал бы еще пебольшой эпилог листа в два, из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добро-

вольнем в Сербию и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа". Зная из самых верных источников настоящую причину непоявления в „Русском вестнике“ последних глав романа „Анна Каренина“, считаю долгом донести до сведения публики всю истину. Роман не кончился со смертью героппи, а конец его был уже набран для „Русского вестника“ и готовился к печати, но не напечатан только потому, что автор не согласился исключить из него, по желанию редакции, некоторые места; редакция же с своей стороны не согласилась печатать без выпуска, хотя автор предлагал редакции сделать всякие оговорки, какие бы она нашла нужными» (*НВр*, 1877, 14 (26) июня, № 463, «Письмо в редакцию», подписанное буквами Г. С.).

Стр. 176. ... в это лето я изъездил до четырех тысяч верст... — Цифра «до четырех тысяч верст» складывается из двух поездок из Петербурга в Курскую губернию плюс заезд в деревню Даровое.

Стр. 176. ... «Семнадцать тысяч наших легло, только сейчас была телеграмма! Смотришь — ораторствует какой-нибудь паренек, лицо у него выражает какое-то зловещее упоение... — За одиннадцать дней до встречи Достоевского с «пареньком» на железнодорожной станции между Москвой и Даровым «Московские ведомости» сообщали: «В „Новороссийский телеграф“ пишут из Полтавы, что там 9 мая появилась и в короткое время обошла весь город телеграмма следующего содержания: „В Добрудже было генеральное сражение; жаркий бой продолжался 12 часов. Нашими войсками проложен путь около Шумлы к Балканам, турки отброшены к Варне. Потеря наших: 4700 пало, 17 000 ранено; турок вчетверо более. Взято 113 знамен и 186 орудий“». Далее «Московские ведомости» писали, что в связи с этой телеграммой было произведено расследование, в результате которого служащий полтавской конторы, некто «Приходько признан виновным в распространении ложных слухов, за что и подвергнут штрафу в размере 20 рублей, а в случае несостоительности — аресту на семь дней. Обвиняемый остался доволен тем, что безобразная шутка обошлась ему так дешево» (*МВед*, 1877, 8 июня, № 169, отдел «Последняя почта»).

Стр. 177. Накануне же, восемнадцатого, было Плевенское дело. — 18 июля 1877 г. — день неудачного штурма осажденной Плевны, во время которого русские войска потеряли свыше семи тысяч человек убитыми и ранеными.

Стр. 177. ... почти ни одного дня не остается публика без депеш главнокомандующего. — Депеши главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича (1831—1891), печатались в газете «Правительственный вестник» и перепечатывались затем другими русскими газетами.

Стр. 181. Я прочел его в газете «Новое время» и не знаю, был ли он перепечатан еще где-нибудь. — Здесь и ниже Достоевский пересказывает, а в следующем параграфе «Дневника писателя» обильно цитирует судебное «дело» Джунковских, изложенное «в сжатом виде» газетой «Новое время» (1877, 23 июня, № 472, «Второй лист», отдел «Судебная хроника», подзаголовок «Калужский окружной суд»).

Стр. 183. ... помнится, как адвокат, в процессе Кронберга имел в виду доказать, что клиент его не подходит ни под одну из этих статей... — Подразумевается адвокат В. Д. Спасович и толкование им «Уложения о исках апелляционных» при защите Кронберга, истязавшего свою семилетнюю дочь. Достоевский подробно писал об этом в «Дневнике писателя» за февраль 1876 г. (см. наст. изд., т. XXII).

Стр. 185. ... по-видимому, это люди, имеющие образование — любившие прекрасное и высокое. — «Прекрасное и высокое» — понятия, восходящие к эстетике XVII—XVIII вв. См. наст. изд., т. XV, стр. 569, 591.

Стр. 193. ... «сократить времена и сроки». — Деяния святых апостолов. гл. 1, ст. 7.

Стр. 193. ... Левин говорит про себя, что он сам народ. — Цитата из XV гл. восьмой части «Лизы Карениной».

С гр. 193. Этого Левина я как-то прежде, говоря об «Анне Карениной», называл «чистым сердцем Левин». — Левин назван так в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (см. стр. 58).

Стр. 194. ... что «такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». — Слова в кавычках принадлежат Константину Левину, выражающему, по замечанию Достоевского, точку зрения самого Толстого (см.: «Анна Каренина», часть восьмая, гл. XV).

Стр. 194. Взгляд его, впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы пригляделся людям далеко не последним по общественному положению... — Здесь и выше можно подозревать выпад Достоевского против петербургского либерально-западнического «Вестника Европы». В напечатанной в этом журнале статье «Еще несколько слов по южнославянскому вопросу» были такие полемические строки: «Одним из заблуждений воинствовавшей печати было, между прочим, что свои славянские идеи она, не задумываясь, объявила идеями русского общества, народа, России, — когда (...) не имела на это никаких достаточных оснований. В самом деле, откуда знала печать о настроениях и желаниях России, (...) мы, при настоящем нашем знании народной жизни и при трудности сближения с ней, не можем говорить ничего решительного о взглядах народа на такие далекие и мудреные предметы, как славянский вопрос. (...) Всего менее воинствующая печать компетентна была говорить о „России“, которую, собственно говоря, могла представлять только правительственные дипломатия...» (ВЕ, 1877, № 3, стр. 374—375, подписана буквами А. П.). Достоевский мог намекать на А. Н. Пыпина, автора этой статьи, как и на редактора «Вестника Европы» — профессора М. М. Стасюлевича.

Стр. 194. ... утверждают многие, что в лице Левина автор во многом выражает свои собственные убеждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть не насильно и даже ясно жертвуя иногда при этом художественностью... — Возможно, подразумевается статья О. Ф. Миллера «Гениальная маниловщина» (НВр, 1877, 29 августа, № 539), в которой есть такие строки: «Увы! Левин в этой книжке окончательно играет роль хора в древней трагедии: устами его, очевидно, говорит сам гр. Л. Толстой. В книжке „Ясной Поляны“ он являлся учащимся у самого народа, как и чему учить народ; в лице Левина он воображает себя воспринимающим от народа ту простую высшую мудрость, которая сразу дает ему то, чего не могла ему дать ни положительная наука, ни отвлеченная философия!».

Стр. 196. ... весною поднялась наша великая война для великого подвига... — Война с Турцией формально началась в день объявления царского манифеста 12 апреля 1877 г.

Стр. 196. ... несмотря на все временные неудачи... — Подразумеваются главным образом три попытки русской армии (в июле—августе 1877 г.) овладеть превращенной в турецкую крепость Плевной. Во время этих боевых действий русские войска понесли серьезные потери. Неудачи под Плевной заставили русские войска отступить с болгарской территории южнее Балкан и укрепляться на Шипкинском перевале.

Стр. 196. ... Европа должна не верить тому, о чем объявили мы ей, начиная войну... — Подразумеваются строки из царского манифesta 12 апреля 1877 г.: «Всем (...) известно то живое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить положение его разделял с нами и весь русский народ, иные выражавший готовность на новые жертвы для облегчения участия христиан Балканского полуострова...». Далее в манифесте говорилось о том, что Россия вступает в войну, исчерпав все мирные средства воздействия на Турцию, оставшуюся «непреклонною в своем решительном отказе от всякого действительного обеспечения безопасности своих христианских подданных...».

Стр. 196. «Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства»... — Неточная цитата из «Предсказания» Иоанна Лихтенбергера, которому посвящен специальный параграф

первой главы «Дневника писателя» за май—июнь 1877 г. (см. стр. 122—123).

С т р. 196. ... поступок России со принимается Европой со за варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации... — Достоевский отзы-
вается на антируssские корреспонденции. Сообщая о злорадных толках тре-
петских немцев о «бессилии России», о «ее военной несостоятельности»,
корреспондент «Московских ведомостей» резюмировал: «Всё это мои поч-
тенные спутники пережевывали с большим аппетитом, приевая к каждому
доводу: „Россия страна дикая, варварская, и европейской цивилизации гро-
зит серьезная опасность“» (*МВед*, 1877, 21 июля, № 182, анонимный очерк
«По берегам Далматии»). См. также ниже примеч. к словам: «Даже друзья
наши, отъявленные, форменные...».

С т р. 196. ... способной на низость и глупость затеять в наш век что-то
вроде преждебывших в темные века крестовых походов... — Здесь очевидна
полемическая реакция Достоевского на скептические суждения о хри-
стианской миссии царской России на Балканах, высказывавшиеся
английской печатью. Одни из корреспондентов «Daily News» писали о болгарских легионерах, действовавших за Дунаем бок о бок с русской
армией: «... перед их глазами носится наконец сладкое ожидание близкой
мести расе, державшей в течение четырех веков под своим игом Болгарию.
Серебряное изображение креста мерцаet при лунном сиянии на их шап-
ках, но это крест рыцарей крестовых походов, а не знак, служащий эмбле-
мой милосердия и всепрощения» (*НВр*, 1877, 2 (14) июля, № 481, отдел
«Последние известия», очерк «Саривор, в Болгарии...»). Возможно, Досто-
евский полемизирует и с анонимным автором «Журнальных заметок» в жур-
нале «Дело», представлявших собою рецензию на первые четыре номера
«Военного сборника» за 1877 г. и первые три выпуска «Дневника» за тот же
год. «Если верить всему тому, что пишут наши российские публицисты, —
отмечалось в этой рецензии, — то можно подумать, что наступили времена
крестовых походов. А между тем, если б „Военный сборник“, кроме голого
изложения исторических фактов, поискал в их внешней шелухе более
существенного содержания, то он увидел бы, что идея теперешней войны
далеко не та, какой ее выкликают г-н Суворин и г-н Достоевский» (*Д*,
1877, № 6, стр. 57). Далее рецензент писал о Достоевском: «Какой чудак-
мечтатель! Мечтатель потому, что до сих пор верит в возможность кресто-
вых походов, в то время как Европа уже давно пережила период религиоз-
ного воодушевления, а в России он и не бывал; насущные же потребности
нового времени и переворот, созданный в жизни народов новейшими изо-
бретениями, дали всему европейскому и русскому мышлению совсем иной
характер...» (там же, стр. 63—64).

С т р. 196. Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать,
друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение
русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. — Под
«форменными» друзьями Достоевский иронически подразумевает Австро-
Венгрию и Германию (о чем свидетельствует намек на «собственные ихние
победы» во время франко-пруссской войны), с которыми в 1873 г. Алек-
сандр II заключил так называемый «союз трех императоров». Формулируя
свое заключение о «радости» этих «друзей» России в связи с ее военными
«неудачами», Достоевский опирался на следующие сообщения русской пе-
чати: 1) «Известие о неудачах русского оружия на Балканском полуострове
вызывало в немецкой части населения Венгрии еще больший восторг, нежели
среди чистокровных мадьяр» (*НВр*, 1877, 4 августа, № 514, отдел «Внешне
известия»); 2) «„Россия — государство низшего порядка“, слышим мы еже-
дневно от наших западных недругов; да и друзья наши того же мнения,
только они высказывают его не без притворного сожаления... В одной рас-
пространенной берлинской газете недавно было сказано при оценке послед-
ствий плевенской неудачи: „Правда, в конце концов мы желаем русским
одержать победу над турками, однако не можем скрыть некоторого самодо-
вольного удовольствия, что победа достается им не легко. (...) События
новейшего времени нисколько не повлияли на чувства и намерения, коре-

иящиеся в народном сознании Германии по отношению к ее восточной соседке. По-прежнему русские остались в наших глазах народом азиатским, не цивилизованным, отсталым в своем государственном развитии, и далеко еще русским до пас, несмотря на все их успехи за последние десятки лет» (там же, 10 августа, № 520, «Ежедневное обозрение»); 3) «Бисмарку совсем не за что любить нас, и поверьте, что в глубине души он очень рад нашим поражениям (...) Россия теряет свой военный престиж, а это на руку немцам (там же, 15 (27) августа, № 525; отдел «Внешние известия»).

Стр. 197. *Нам отвечают они, что всё это лишь исступленные гадания, конвульсионерство, бешеные мечты, припадки, и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов.* — Есть основания полагать, что здесь, продолжая полемику с анонимным автором «Журнальных заметок», напечатанных в «Деле», Достоевский пользуется определениями и фразеологией своего оппонента, но несколько их гиперболизирует. Так, автор процитированных выше «заметок» (см. стр. 433) неоднократно называл Достоевского *мечтателем*. Рецензент «Дела» писал также о «Дневнике»: «Г-н Достоевский вовсе и не подозревает, что в его мечтаниях решительно нет никакого фактического содержания, и мыслит он не реально, а бог знает как — хоть святых вон выноси» (Д, 1877, № 6, стр. 63).

Стр. 198. ...*Европа, эта «страна святых чудес»!* — Слова в кавычках — цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта» (1835).

Стр. 198. *Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса»...* — Под «чудесами» подразумеваются процветавшие на Западе философия, наука, искусства, литература, идеи гуманизма, свободы, равенства и братства, вера в счастливое будущее человечества и т. п. Об этом свидетельствует поэтическое «перечисление» их в подразумеваемом Достоевским стихотворении Хомякова:

Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте.
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры огнь живой потоки света лил! ..
О, никогда Земля от первых дней творенья
Не зрела над собой столь пламенных светил!

Стр. 198. ...*нам дорога эта страна — будущая мирная победа великого христианского духа, сохранившегося на Востоке...* — И здесь мысль Достоевского вновь перекликается с «мечтой» Хомякова:

Но горе! Век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, восприняй в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток!

Стр. 198. *Это сбин из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою».* — Речь идет об И. А. Gonчарове, с которым в семидесятые годы Достоевский встречался редко, но дружелюбно.

Стр. 199. — *Это веять неслыханная, это веять первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим?* — По существу аналогичный отзыв Gonчарова о романе Толстого был зафиксирован несколько раньше А. С. Сувориным, в его статье «„Анна Каренина“ и ее общественное значение»: «„Из нас, стариков, только один Толстой еще умеет писать“», говорил мне на днях один из талантливейших русских писателей, который напрасно так рано хоронит себя» (НВр, 1877, 13 (25) мая, № 432). Об отношении Достоевского к «Анне Карениной» см. стр. 51—63 и в статье Г. М. Фридлендера «Достоевский и Лев Толстой (статья вторая)» — *Материалы и исследования*, т. III, стр. 67—91.

Стр. 199. *Бесспорных гениев* — всего только три: Ломоносов, Пушкин и частю Гоголь. — Нечто подобное, но в связи с «Войной и миром», Достоевский утверждал в письме к Н. Н. Страхову (24 марта (5 апреля) 1870 г.): «...Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Пушкин, Ломоносов — гении. Явиться с „Арапом Петра Великого“ и с Белкиным, — значит, решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с „Войной и миром“, — значит, явиться после этого нового слова, уже высказанного Пушкиным, и это во всяком случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением нового слова».

Стр. 199. В Пушкине две главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России... — Положения об этих двух главных мыслях, нашедших отражение в творчестве Пушкина, развивались Достоевским уже в статьях 1860-х годов (см. наст. изд., т. XVIII, стр. 69, 99; т. XIX, стр. 114, 119—139).

Стр. 199. Он человек древнего мира — он и поэт Востока. — Эта характеристика Пушкина частично восходит к словам Гоголя, который писал о поэзии Пушкина в статье «О лиризме наших поэтов»: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе вольный горец, в полном смысле этого слова...» (Гоголь, т. VIII, стр. 384). Там же Гоголь писал о русской поэзии: «Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному» (там же, стр. 407). См. также: Белинский, т. VII, стр. 333, 437.

Стр. 200. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям... — Подразумеваются последователи Пушкина и продолжатели его дела: Тургенев, Гончаров, Островский, Толстой и Некрасов.

Стр. 202. ...не пришли еще времена и сроки. — Достоевский неточно цитирует ответ Христа апостолам: «...не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти» (Деяния святых апостолов, гл. 1, ст. 7).

Стр. 202. ...указан исход. Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его... — Достоевский допускает ошибку. На самом деле речь идет об «исходе», то есть «примирении» Каренина с Вронским у постели больной Анны, происходящем не «в предпоследней», а в IV части романа (см. стр. 52).

Стр. 202. Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа... — Речь идет о седьмой части «Анны Карениной».

Стр. 202. ...столько назидания для судьи человеческого, для державшего меру и вес... — См.: «Откровение св. Иоанна», гл. VI, ст. 5.

Стр. 203. Даже самые щекотливые вещи со ни малейшей кривизны. — Возможно, что Достоевский под «щекотливыми вещами» подразумевал поиски Левином истинной веры, суждения его о церкви и особенно — критику богословских сочинений А. С. Хомякова (часть восьмая, гл. IX).

Стр. 203. ...Левин много прочитал: ему знакомы и философы... — Левин, «убедившись, что в материалистах он не найдет ответа <...>» перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра — тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь» (часть восьмая, гл. IX).

Стр. 203. ...и позитивисты... — Из знакомых Левину философов позитивистского толка в восьмой части романа Толстого (см. гл. XIV) упомянут Герберт Спенсер (1820—1903).

Стр. 203. И вот вдруг он встречает мужика... — Далее цитируется с небольшими пропусками конец гл. XI—XIII (из восьмой части романа «Анна Каренина»).

Стр. 204. ... все могут понять, что надо любить ближнего как самого себя. — Слова эти — напоминание о второй заповеди Христа: «... возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Марка, гл. 12, ст. 31).

Стр. 204. — Откуда взял я это не разумно. — Цитируется гл. XII восьмой части романа. Курсив Достоевского.

Стр. 204. ... не могли себе и представить «всего объема того чем они живут». — Здесь и ниже с небольшими изменениями цитируется гл. XIII восьмой части романа «Анна Каренина».

Стр. 205. Левин это барич, московский барич средне-высшего круга, историком которого и был по преимуществу граф Л. Толстой. — Еще в письме к Н. Н. Страхову (18 (30) мая 1871 г.) Достоевский говорил нечто подобное о творчестве Тургенева и Толстого: «А знаете — ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. *Нового слова*, заменяющего помещичье, еще не было, да и никогда». См. также наст. изд., т. XVI, стр. 142—143.

Стр. 206. Он объявляет, что «непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». — См.: «Анна Каренина», часть восьмая, гл. XV.

Стр. 206. ... «один вот так размахивает руками». — Неточная цитата из гл. XIV восьмой части романа. У Толстого: «Ужасно страшный! И вот так руками делает, — сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова».

Стр. 206. ... гости тотчас же принимаются за мед и за Восточный вопрос. — См. гл. XV и XVI восьмой части «Анны Карениной».

Стр. 206. ... профессорчик, человек милый, по глуповатый. — Товарищ Левина по университету, профессор естественных наук Катавасов. Ниже (см. стр. 209) Достоевский называет Катавасова «дурачком» за его «глупую выходку» — сентенцию по поводу нейтралитета России в серботурецкой войне 1876 г.: «В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю...» («Анна Каренина», часть восьмая, гл. XV).

Стр. 206. ... издал в Москве какую-то ученную книгу о России по книга вдруг лопнула... — О книге Сергея Ивановича Козырева («плод шестилетнего труда») «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России» было «сказано несколько презрительных слов» в «Северном жуке», и после того как на нее появилась отрицательная рецензия «в серьезном журнале», «наступило мертвое, и печатное и изустное, молчание...» («Анна Каренина», часть восьмая, гл. I).

Стр. 207. Сергей Иванович и в прежних частях проведен был в комическом виде весьма искусно... — В части шестой (гл. III) все обитатели левинского дома уверены, что Сергей Иванович вот-вот сделает предложение Вареньке. Однако Левин выражает сомнение в способности «удивительного» Сергея Ивановича на такой поступок: «...он так привык жить одною духовною жизнью, что не может примириться с действительностью, а Варенька все-таки действительность». И ниже: «Не то что не может влюбиться... но у него нет той слабости, которая нужна...». Сергей Иванович принадлежит к чужому Толстому типу людей, в «методическом уме» которых все раз навсегда взвешено и решено.

Стр. 207. Зато из неудачнейших лиц — это старый князь. — Князь Щербацкий, отец Кити.

Стр. 207—208. Вот и я со а не братьями славянами... — Цитируются XV глава восьмой части романа. В скобках иронический комментарий Достоевского. Далее с пропусками и небольшими неточностями цитируются XV и XVI главы. Курсив везде Достоевского.

Стр. 210. ... князь Милан Сербский против своего «сюзерена». — Подразумеваются упреки князю Милану в анонимном политическом обозрении, напечатанном в газете «Голос» за два дня до объявления Сербской войны Турции. В нем были такие строки: «Телеграммы, идущие из раз-

ных европейских центров, почти единогласно говорят о предстоящем объявлении войны Сербией Турции *«...»* но, все-таки, трудно понять, каким образом Сербия может объявить войну Турции *«...»* Сербия — вассальное княжество, признающее над собою главенство Турции. Князь Милан, в строго законном смысле, подданный султана Мурада V-го. Объявлять войну своему сюзерену он не может. Если белградское правительство возьмет на себя формальный почин враждебных действий, то это будет восстание, а не война, и, в таком случае, европейские кабинеты обязаны будут отнести к борьбе, начавшейся на берегах Дрины, с точки зрения несочувственной сербам и должны будут отказаться от заступничества за них в случае, если борьба даст перевес туркам» (*Г*, 1876, 18 июня, № 167, отдел «Заграничные известия»).

Эти нарекания по адресу князя Милана, его правительства и сербского движения были восприняты с раздражением публицистами славяно-фильско-патриотической ориентации. Так, О. Ф. Миллер, оперируя историческими аналогиями и сопоставлениями, писал в статье «До чего наконец договорился „Голос“: «... Россия во время оно состояла в вассальных отношениях к Золотой Орде или нет? *«...»* Россия в свое время платила Орде дань, как теперь ее платит Турции Сербия. Имел право вассал Иоанн III перестать платить эту дань своему сюзерену Ахмету и растоптать его басму (или же русский народ сочинил сочувственное предание о подобном поступке Иоанна)? Имел ли право великий князь московский выступить с войском на берега Угры, а архиепископ Вассиан при виде его праздного стояния на ней, опасаться, чтобы он не сделался безумом и предателем христианским, поддавшись „благоразумным“ советам своих бояр, „поноровников бесерменских“? Тот же Вассиан, когда прямо внушил Иоанну, что клятва верности, когда-то данная Орде его предками, нимало не должна его связывать, совершил политическое преступление или патриотический подвиг? „Когда клятва по нужде бывает, то нам повелено разрешать от нее и прощать, и мы прощаем и разрешаем, и благословляем тебя — не как на царя, но как на разбойника, и хищника, и богоуборца, ибо лучше, соглав, спасти жизнь, нежели, истинистовав, погибнуть... и уподобиться окаянному оному Ироду, который не хотел нарушить клятвы и погиб“. Эти исторические слова того же Вассиана — что такое они? Кощунство и святотатство или широта политически-христианского взгляда верного слуги и земли, и церкви? А если сербский митрополит Михаил, знакомый, надо думать, с русской историей получше *«...»* „Голоса“, вспомнит про нашего Вассиана и в этом же духе заговорит со своим народом? *«...»* Статьи, подобные последней статье „Голоса“, можно было называть изменой славянству, если бы такие статьи могли приниматься серьезно *«...»* „Голос“ самым пошленским образом подслушивается — сам не знает кому и чему» (*НВР*, 1876, 20 июня (2 июля), № 110).

Стр. 210. ...но уже несколько известный по прежним, довольно успешным действиям своим в Средней Азии... — Имеется в виду деятельность М. Г. Черняева в должности начальника особого западносибирского отряда в 1864—1865 гг., а также его пребывание на посту губернатора Туркестанской области (1865—1866).

Стр. 210. На службу он был принят и зачислен, но вовсе не главно-командующим сербской армией *«»* в России, долго державшийся. — Главно-командующим всей сербской армией был князь Милан, а Черняев командовал Тимоко-Моравской армией сербов, разбитой турками под Дюнишем 17 октября 1876 г. (см.: Н. П-ов. Воспоминания добровольца. — *РВ*, 1877, № 5, стр. 238).

Стр. 210. Всех добровольцев *«»* очень не много тысяч... — По данным, приводившимся газетой «Московские ведомости», русских добровольцев в Сербии было 3300 человек. По свидетельству же английского полковника Мак-Ивера, вступившего в сербскую армию добровольцем и командовавшего в ней сводным кавалерийским отрядом, к моменту его отъезда из Белграда «во всей Сербии было не более 3000 русских» (*Русский губорник*, т. I, ч. 2, стр. 90).

Стр. 210. ... провожала их в Сербию со стрюцкими он считает и добровольцев. — Достоевский имеет в виду цитируемое им несколько ниже следующее суждение Левина о добровольцах: «... в восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, беспшабашных людей, которые всегда готовы — в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...» («Анна Каренина», часть восьмая, гл. XV). Эти суждения Левина близки к характеристикам русских добровольцев-дворян в очерках Г. И. Успенского «Из Белграда», печатавшихся в «Отечественных записках» в конце 1876—начале 1877 г. По наблюдениям Успенского, в этой категории добровольцев встречались люди не только «беспшабашные» и отпетые, но и явные «скоты» и нравственные «уродцы» (см.: ОЗ, 1877, № 1, стр. 109, 117—120). Возможно, полемизируя с Толстым, Достоевский возражал одновременно и Глебу Успенскому.

Стр. 211. ... объявлялись факты поражающие, характерные, которые записались, запомнились и не забудутся, и оспорены быть уже не могут. — В числе таких «фактов», «записанных» и особенно запомнившихся Достоевскому, было «величайшее самоотвержение» первого русского добровольца Киреева.

Достоевский, конечно, обратил внимание и на многие другие проявления сознательного отношения народа к борьбе славян Балканского полуострова за свою независимость. Так, например, в печати сообщалось, что па молебствах в Казанском соборе «по случаю решительной победы черногорцев над турками» один старик-крестьянин, припав к плечу генерала Черняева «и заплакав», сказал: «Ты, батюшка, второй Минин» (НВр, 1877, 21 июня (3 июля), № 470, отдел «Среди газет и журналов»). Та же газета отмечала, что во время проводов Черняева из Москвы в Петербург к нему простился крестьянин «весьма благообразного вида» и подал письмо следующего содержания: «Сочувствуя душевно вашей деятельности на пользу славян и России, желая вознаградить под вашим командованием наиболее отличившихся нижних чинов, просим распределить между воинами по вашему усмотрению при сем прилагаемые триста рублей, при первом сражении с врагом. Засим желаем вам полного успеха. Крестьяне Л. Вальков Московской губернии Подольского уезда, Поликарп Иванов того же уезда» (там же, 15 (27) июня, № 464, «Второй лист». отдел «Внутренние известия»).

Стр. 211. ... что же до добровольцев, то как не случиться в их числе, рядом с высочайшим самоотвержением в пользу ближнего (Н. Киреев), и просто удальству, прыти, гульбе и проч. и проч. — О Н. А. Кирееве см.: наст. изд., т. XXIII, стр. 69, 385—386. Далее Достоевский отчасти признает справедливость свидетельств русской печати о беспшабашной «гульбе», которой предавалась определенная часть русских добровольцев в Сербии. Образчики ее были запечатлены в упоминавшихся выше письмах-очерках Г. И. Успенского «Из Белграда». В этих очерках фигурировали, например, «лица», которые, подойдя к «обеденному столу штабных офицеров Черняева, требовали: „Давайте шампанского, а не то разденусь и закричу!“» (ОЗ, 1876, № 12, отдел «Современное обозрение», стр. 173). Комментируя подобные дикие требования и «закипевшую» вслед за ними «свалку», Успенский резюмировал: «... в этой драке, кроме ненависти к штабу, к штабным непорядкам, было много места за что-то другое, совершенно постороннее и штабу, и славянской идее, и сербской войне, тут была месть против всего, что отняло у человека право пить шампанское, к которому человек этот привык, тут была месть за то, что какая-то сволочь не слушается барина, привыкшего думать, что слова „я деньги плачу“ — всемогущи. В какой мере подобного рода привычки, воспитанные в глубине крепостного права и темного царства, пригодны для сербского дела, судить не нам...» (там же, стр. 174). Еще две цитаты из очерков Успенского текстуально перекликаются с комментируемым отрывком «Дневника»: «Люди, преданные России, славянству, и люди, которым, без помощи славянского Комитета, не было бы случая

попить, погулять, словом, вспомнить помещичью или боевую старину, — всё это пришло сюда с своими целями...» (там же, стр. 182. — Курсив наш, — Ред.). «...один из наших (конечно, в пьяном виде) съел, напоказ своей удали, целую солонку с красным кайенским перцем п, обжигая рот каждым глотком, приговаривал (действительно, не моргнув глазом, не поморшившись): „Вот как у нас...“» (ОЗ, 1877, № 1, стр. 114). Тревожные сообщения о подобных фактах появлялись также в либеральных и даже в сугубо «патриотических» изданиях (см.: ВЕ, 1877, № 3, стр. 371, 372—373; РВ, 1877, № 5, стр. 231).

Стр. 211. ...«что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства». — Цитата из «Анны Карениной» (часть восьмая, гл. XV). Курсив Достоевского.

Стр. 212. ...утверждают, что народ не понимал ничего со что всё было искусственно возбуждено журналистами для приобретения подписчиков и нарочно подделано Рагозовы и проч., и проч. — Достоевский возмущается рядом скептических суждений Левина и «старого князя» (отца Кити и Долли) в XV и XVI гл. восьмой части «Анны Карениной». Так, заявление брата Сергея Иваныча (гл. XV): «В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом „нечестивых агарян“. Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил» — Левин парирует «уклончиво»: «Может быть... по я не вижу...». В той же главе старый князь восклицает с недоумением: «Да кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?». В следующей главе подвергаются насмешкам «редакторы»: «Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян... и всё это?».

Стр. 213. ...намек насчет шаек Пугачева действительно тоже наклевывался... — Подразумеваются некоторые газетные сообщения, в свете которых часть добровольцев представляла людьми, снискавшими дурную славу нарушителей общественного спокойствия задолго до отправки их в Сербию. В связи с этим А. Н. Пыпин писал в статье «Еще несколько слов по южнославянскому вопросу»: «...в некоторых случаях общество знало вперед, какого сорта людей посыпает оно (между прочим) в Сербию: еще летом прошлого года мы с недоумением прочли в газетах письмо из Одессы, где корреспондент простодушно радовался, что в отряде добровольцев, отправившихся в Сербию, Одесса сбыла более сотни людей, отсутствие которых должно было споспешствовать ее собственному спокойствию! Говорят, что в иных крупных городах заведомо делалось то же самое» (ВЕ, 1877, № 3, стр. 373).

Стр. 213. ...из этого действительно составили целую загадку в известных кружках: «Как, дескать, народ только вчера услыхал о славянах, ничего-то он не знает, ни географии, ни истории, и на-вот — вдруг полез на стену за славян, полюбились они ему так вдруг очень!» — Достоевский полемически перефразирует «клубного старичка» князя Щербацикого и Константина Левина. Первый утверждает, что «народ и знать не знает» балканских славян, а Левин вторит ему в раздумье: «Писаря волостные, учителя, и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело». В следующем параграфе Достоевский прямо говорит о Левине: «...его сбило с толку соображение, что народ не знает истории и географии» (Курсив наш, — Ред.). Можно предположить также, что Достоевский полемизирует с А. Н. Пыпиным, который в статье «Еще несколько слов по южнославянскому вопросу» упрекал «воинствовавшую печать» за то, что «свои славянские идеи она, не задумываясь, объявила идеями русского общества, народа» (см. выше примеч. к стр. 194). В той же статье Пыпина говорилось о «массе» русского общества, «почти п не знавшей о существовании славянства» к моменту основания славянских комитетов и т. п. (см.: ВЕ, 1877, № 3, стр. 383).

Стр. 214. ...с самого крещения земли русской... — Крещение Руси, с которым связывалось «начало народа русского и его государства»,

относят к 861 или 862 гг. Тысячелетие России праздновалось 8 сентября 1862 г.

Стр. 214. ... начали устремляться из нее паломники во святые земли, ко гробу господню, на Афон и проч. — Святой землей называлась Палестина. Гроб Господень — главная христианская святыня, по преданию, находится в церкви Воскресения в Иерусалиме. Афон — город на восточном выступе греческого полуострова Халкидика, омываемого Эгейским морем. Первый крупный монастырь на Афоне (Лавра) был основан в 963 г. византийским монахом Афанасием. Тесные связи между афонскими монастырями и Русью начали устанавливаться с XI в. В XII в. центром русских монахов на Афоне стала так называемая обитель Пантелеимона. В афонских монастырях сохранилось огромное количество греческих и славянских рукописей, икон и предметов декоративно-прикладного искусства.

Стр. 214. Еще во время крестовых походов ходил в Иерусалим один игумен принят королем Иерусалимским «Балдином», что прекрасно описан в хождении своем. — Подразумевается русский игумен Даниил (ум. 1122) и его «хождение» от Царьграда в Палестину, сохранившееся в большом количестве списков под разными названиями («Житие и хождение Даниила, русская земли игумена», «Паломник Даниила игумена», «Странник», «Книга глаголемая Странник»). Благодаря точности наблюдений и описаний «святых мест», этот памятник имеет большое значение при изучении топографии Палестины XII в.

С текстом «хождения» Даниила Достоевский познакомился, по всей вероятности, по одному из следующих изданий: Путешествия русских людей по Святой Земле, ч. 1. Изд. И. П. Сахарова. СПб., 1839; сборник И. П. Сахарова «Сказания русского народа», т. II, кн. 8. СПб., 1849; Путешествие игумена Даниила по Святой Земле в начале XII-го века (1113—1115). Издано археографическою комиссию под редакцией А. С. Норова. С его критическими замечаниями (с приложением карты Палестины, плана Иерусалима и снимков с рукописей). СПб., 1864.

В издании А. С. Норова (1795—1869) непосредственно тексту «хождения» предшествует пространное заглавие: «Паломник Даниила Мниха. Сказание о пути иже есть к Иерусалиму, и о градех, и о самом Граде Иерусалиме, и о местех честных, иже около града, и о церквях святых». В гл. XIV этого издания (стр. 104) упоминается «князь Иерусалимский именем Балдин». Это Балдуин I (Balduin), король иерусалимский с 1100 по 1118 г., младший брат герцога Готфрида Бульонского (ок. 1060—1100) — одного из предводителей первого Крестового похода (1096 и след. годы).

Стр. 214. ... паломничество на Восток, ко святым местам, не прекращалось и до наших дней. — В 1872 г. в России была издана книга: «Палестина и Афон. Письма святого горца Серафима. Для пародного чтения». Сам Достоевский любил читать «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и св. земле постриженника святые горы Афонские иноха Парфения» (изд. 2-е, испр., М., 1856), которое цепл за «наивность изложения» (см. наст. изд., т. XII, стр. 336). Годы жизни иноха Парфения (наст. имя и фамилия Петр Агеев) — 1807—1868.

Стр. 214. ... святыми местами и всеми тамошними восточными христианами овладели нечестивые агаряне, магометане, турки... — Главное средоточие «святых мест» — Палестина, в которой, согласно евангельским источникам, родился, проповедовал свое учение и был распят Иисус Христос, была захвачена турками в 1517 г. Еще раньше (1453 г.) под пх ударами пал Константинополь — многовековой центр и оплот восточного христианства.

Завоевание турками Балканского полуострова началось в 1356 г. Вся Болгария была завоевана ими в 1393 г., вся Сербия — в 1521-м, почти вся Греция — к 1460 г. В 1463 г. пала Босния, около 1467 г. Герцеговина. в 1476 г. Молдавия.

Агаряне — древнее собирательное наименование мусульманских наро-

дов. По библейскому преданию, рабыня — египтянка Агарь стала наложницей Авраама во время бесплодия его жены Сары и родила от него сына Измайла, ставшего впоследствии вождем арабских племен в Аравийской пустыне.

Стр. 214. ... *Четыре-Минеи*... — памятник древнерусской литературы поучительно религиозного содержания, в котором по месяцам и числам располагались жития святых православной церкви, сведения о праздниках и т. п. О Четырех-Минеях Достоевский упоминает в романе «Идиот» (см. наст. изд., т. VIII, стр. 10; т. IX, стр. 428).

Стр. 214. *Всенощная* — вечерняя церковная служба у православных христиан.

Стр. 215. *Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и вздохали.* — Достоевский вспоминает свое пребывание на каторге.

Стр. 215. ... *устремлялись ко святым местам русским, в Киев, к Соловецким чудотворцам.* — «Святыми местами» в Киеве считались киевский Софийский собор и Киево-Печерский монастырь (Киево-Печерская лавра). Под соловецкими чудотворцами подразумеваются, очевидно, «преподобные» Зосима и Савватий, основавшие в XV в. Соловецкий монастырь на одном из Соловецких островов в Белом море, а также «преподобные» Герман и Иринарх.

Стр. 215. *Некрасов, создавая своего великого «Власа...»* — См. стр. 57—61.

Стр. 215. ... *в пользу «братьев-славян», как выражались прошлого года официально, а теперь как выражаются почти в насмешку.* — Официальным выражением расположения к «братьям-славянам» была речь Александра II, произнесенная 29 октября 1876 г. в Кремле на приеме «московского дворянства и городского общества». В ней были такие слова: «... вам уже известно, что Турция покорилась моим требованиям о немедленном заключении перемирия, чтобы положить конец бесполезной резне в Сербии и Черногории ... Я знаю, что вся Россия, вместе со мною, принимает живейшее участие в страданиях наших братий по вере и происхождению ...» (НВр, 1876, 31 октября (12 ноября), № 243, отдел «Ежедневное обозрение». — Курсив наш, — Ред.). На эту речь, ставшую одним из предвестий русско-турецкой войны 1877—1878 гг., дворянство и купечество многих городов и губерний России ответило верноподданническими адресами, в которых выражалась готовность прийти на помощь «братьям-славянам» по первому призыву царя. Ироническое употребление слов «братья-славяне» Достоевский обнаружил прежде всего в речах князя Щербацкого («Анна Каренина», часть восьмая, гл. XV. Соответствующий отрывок Достоевский цитирует выше, стр. 207—208, 436). Затем он мог иметь в виду характерные упреки князя В. П. Мещерского одесскому городскому голове Новосельскому за нетактичную критику болгарских таможенных чиновников. «Говоря про болгар, — отмечал Мещерский, — г-н Новосельский умышленно и насмешливо пишет: *Братья Болгаре*, и затем передает факт о пошлине, требуемой на Черноводской таможне с махорки. Вслед за тем идет речь о русских, проливающих кровь за этих *братьев болгар* ... Неужели г-н Новосельский не мог подумать и о том, что, пуская в печать столь легкомысленно пущенные обвинения против болгар в массе и насмешливо называя их „братьями“, он подстрекает к раздражению сотни тысяч русских и всю русскую армию ... Мы уверены даже, что если бы г-н Новосельский позаботился о предупреждении и устраниении тех же затруднений и недоразумений до отправления грузов, а не *после* их отправления, ему бы не пришлось смущать русское сердце насмешками над братьями-болгарами» (МВед, 1877, 28 августа, № 214, заметка «По поводу депеши одесского городского головы к величайшему князю главнокомандующему»). Протест против «неуместной выходки» одесского головы был заявлен и в «Ежедневном обозрении», напечатанном в том же номере «Московских ведомостей».

Стр. 215. ...даже самые святые места, Иерусалим, Афон, принадлежат иноверцам.—Иерусалим принадлежал туркам с 1517 по 1917 г. Афон находился под их властью до 1913 г., когда была провозглашена полная государственная независимость Греции.

Стр. 215. Он даже двадцать с лишком лет тому назад — когда покойный государь начинал свою войну с Турцией, а потом с Европой, кончившуюся Севастополем.—«Двадцать с лишком лет тому назад» — точнее после июня 1854 г., когда русские войска под дипломатическим давлением Австрии вынуждены были покинуть территорию Дунайских княжеств, — истязаниям подверглись сербы и болгары. А. Н. Пыпин писал по этому поводу в 1877 г.: «Подозревая Россию в завоевательных планах, искренно или неискренно опасаясь призрака панславянской империи, Европа уже давно стала к России в недоверчивое положение, какое мы видим теперь. Турция, за свой страх и досаду, просто мстила на несчастных болгарах и сербах, как мстила на них после дунайского похода в Крымскую войну и как мстила в прошлом и нынешнем году» (А. П. «А. Н. Пыпин». Еще несколько слов по южнославянскому вопросу.—*ВЕ*, 1877, № 3, стр. 385).

Крымской войне 1853—1856 гг. предшествовали длительные дипломатические трения из-за «святых мест» между Россией, с одной стороны, и Турцией, Францией и Англией — с другой.

Начиная войну с Турцией, «покойный государь», т. е. Николай I, не предвидел того, что продолжать ее ему придется с выступившей на стороне турок коалицией западноевропейских держав (Франция, Англия, Сардиния). Кроме того, опасаясь вторжения со стороны Австро-Венгрии, царь и русское правительство вынуждены были держать наготове огромный контингент войск на юго-западной границе России. Севастополь пал после одиннадцатимесечной героической обороны в конце августа 1855 г.

Стр. 215. Тогда тоже, в начале войны, пронеслось сверху слово о святых местах...—Достоевский имеет в виду манифести Николая I. В первом из них (от 14 июня 1853 г.), оповещавшем о решении царя «двинуть войска ... в придунайские княжества», вместе с тем говорилось: «Мы и теперь готовы остановить движение наших войск, если Оттоманская Порта обяжется свято соблюдать неприкосновенность православной церкви» (*СПБВед*, 1853, 16 июня, № 131). Во втором манифесте (от 20 октября 1853 г.), данном уже после объявления Турцией войны России, тоже говорилось о необходимости «защиты на Востоке православной веры, исповедуемой и народом русским» (там же, 22 октября, № 233). Непосредственно же о «святых местах» упоминалось в опубликованном в 1876 г. письме Николая I турецкому султану от 24 января 1853 г.: «Облеченный вполне моим доверием, он (новый русский посол в Турции кн. А. С. Меншиков, — Ред.) передает вашему величеству словесно чувства прискорбия и удивления, мною испытанные, при получении известий о решении, вами принятом в последнее время по делу о святых местах в Палестине» (М. И. Богданович. Восточная война 1853—1856 годов, т. 1. СПб., 1876, стр. 40). Николай I особенно раздражен был тем, что в результате интриг католикам-французам удалось добиться от султана права на обладание ключами от Вифлеемского храма (см.: *ДНР*, 1877, № 8, стр. 343). Подробные сведения о предшествовавших Крымской войне дипломатической борьбе православной России с католической Францией из-за прав на «святые места» и безрезультатных хотя и длительных переговорах России с Турцией по тому же поводу см. в названном сочинении Богдановича (т. 1, стр. 15—65, 88, 91—92 и др.).

Стр. 216. ...если бы они согласились отречься от креста — все пощажены и награждены, — это-то уже, конечно, народу было известно).—См. также стр. 12—17.

Стр. 216. ...пронесся слух про русского генерала, поехавшего помочь христианам...—Подразумевается генерал М. Г. Черняев.

Стр. 217. ...чтоб Россия, его отечество, стала наконец походить на другие «просвещенные европейские государства».—Выраженное здесь и

иже ироническое отношение к «просвещенности» «европейских государств», не высказавших сочувствия угнетенным славянам Балканского полуострова, цекликается с речью И. С. Аксакова, произнесенной на первом общем собрании Московского благотворительного общества 1 мая 1877 г. В этой речи были такие слова: «Уже развеивается за русскими пределами наше русское знамя, подъятое за возвращение свободы и человеческих прав угнетенным, униженным, презренным *высокомерною в своем просвещении Европой* православным славянским племенам» (*МВед*, 1877, 11 мая, № 113. — Курсив наш, — Ред.).

Стр. 219. *Книга вышла всего 2½ месяца назад...* — Цензурное разрешение восьмой части «Анны Карениной», напечатанной в Московской типографии Риса, помечено 25 июня 1877 г. Это издание сопровождалось справкой: «Последняя часть „Анны Карениной“ выходит отдельным изданием, а не в „Русском вестнике“ потому, что редакция этого журнала не пожелала печатать эту часть без некоторых исключений, на которые автор не согласился». Первое объявление о выходе в свет восьмой части «Анны Карениной» появилось в *МВед*, 1877, 14 июля, № 175. См. выше, стр. 430, примеч. к словам «... я только что увидел, в первый раз, объявление...». Таким образом, указание Достоевского о выходе восьмой части романа Толстого «2½ месяца назад» не совсем точно. Книга вышла несколько позже: в конце июня—начале июля.

Стр. 219. ... а 2½ месяца назад уже совершенно известно было, что все бесчисленные рассказы о бесчисленных мучениях и истязаниях славян — совершенная истина, — истина, засвидетельствованная теперь тысячию свидетелей и очевидцев всех наций. — В январе 1877 г. вышло в свет бесплатное приложение к журналу «Гражданин» — «Русский сборник», т. I, ч. 1—2, в котором была перепечатана повесть «Кроткая». В этом же сборнике были напечатаны: 1) «Впечатления сербской войны — мемуарные очерки английского полковника Мак-Ивера, вступившего добровольцем в Сербскую армию и командовавшего сводным кавалерийским отрядом в армии генерала Черняева» и 2) «Турецкие зверства в Болгарии. Письма особенного комиссара лондонских „Ежедневных новостей“» (*Daily news*) Дж. А. Мак-Гэхена.

Публикация писем Мак-Гэхена в «Русском сборнике» предварялась следующим извлечением из книги главы правительственної оппозиции в английском парламенте В. Гладстона «Болгарские жестокости и Восточный вопрос»: «Первая тревога, относительно болгарских неисторств, была пробита (...) в „Ежедневных новостях“ от 23 июня (1876 г., — Ред.). Я чувствителен ко многим услугам, постоянно оказываемым свободным журнализмом человечеству, свободе и справедливости (...). Но (...) из всех этих услуг, те, которые были оказаны в этом случае „Ежедневными новостями“, через посредство их заграничной корреспонденции, — были самыми вескими и могу сказать, — самыми блестящими. Мы теперь знаем (...) что их заявление подтверждается отчетами, полученными германским правительством» (*Русский сборник*, т. I, ч. 2, стр. 93). Далее следовало анонимное русское «Введение» к корреспонденциям Мак-Гэхена, в котором характеризовался метод расследования турецких зверств Мак-Гэхеном и его помощниками: «Исследование было независимое. Оно ничем не обязано ни британскому посольству в Константинополе, ни турецкому правительству. Очевидная независимость открыла комиссии такие источники извещения, которые оставались бы закрытыми для тех, кто показался бы подозрительным обиженному населению. Люди шли навстречу и доказывали скверную очевидность своих обид. Но они были не единственными свидетелями. Иностранные консулы, греческие резиденты, немецкие чиновники турецкого правительства и американские наставники свободно засвидетельствовали одно и то же» (там же, стр. 97—98). Полемизируя далее с Толстым и его героем Константином Левиным по поводу турецких зверств, Достоевский оперирует фактами, заимствованными главным образом из этих источников.

Стр. 219. С живых людей сдирается кожа в глазах их детей... — Это утверждение основано на ранее упомянутом в «Дневнике писателя» рассказе московского «приятеля» Достоевского о болгарских детях, размещенных в московских приютах (см. стр. 44). Достоевский мог прочесть в газетах и о русских солдатах, которые, «отступая (...) видели», как их раненые товарищи «немедленно убивались наступавшим неприятелем», причем «с некоторых предварительно сдирали кожу и потом подымали на штыки» (*НВр*, 1877, 27 июля (8 августа), № 506, отдел «Последние известия»; телеграмма из Винницы, помеченная 22 июля (3 августа)).

Стр. 219. ...в глазах матерей подбрасывают и ловят на штык их младенцев... — Достоевский цитирует характерный отрывок из «письма» Мак-Гэхена от 10 августа 1876 г.: «...турки (...) вынимали детей из колыбелей штыками, бросали их на воздух; снова подхватывали на штыки, — и швыряли в головы кричавших в ужасе матерей» (*Русский сборник*, т. I, ч. 2, стр. 138).

Стр. 219. ...одному двухлетнему мальчику, в глазах его сестры, прокололи иголкой глаза и потом посадили на кол... — Впервые об этой трагедии Достоевский рассказал, со слов посетителя Московского приюта для болгарских детей, в самом конце майско-июньского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (см. стр. 171).

Стр. 221. Недавно только, в двух или трех из наших газет, была проведена мысль со ввести репрессалии с отъявленно-уличенными в зверствах и мучительствах турками? — Вопрос о «репрессалиях» против турок был поставлен русской печатью после представления в английский парламент (июль 1877 г.) так называемой «Синей книги», содержавшей «документы» о «русских военных жестокостях» на Балканах. Живость этих «документов», сфабрикованных турецким правительством и его «европейскими клеветами», очень скоро стала очевидной для «всей беспристрастной европейской печати». Несмотря на это, английские министры «не нашлись сказать в палатах ни одного слова для удовлетворения чести армии, которую они позволили оклеветать в своих „Синих книгах“, и для осуждения турецкого правительства, которому они содействовали в распространении лжи» (*Г*, 1877, 29 июля (10 августа), № 168, передовая «Санктпетербург 28-го июля»). В этой же передовой упоминалась газета *«Journal de St.-Pétersbourg»*, продолжающая «с возрастающей жизнью полемику против великобританского правительства по поводу представленных им парламенту документов...»). Не рассчитывая на раскрытие турок и содействие «английских министров» в пресечении зверств, газета *«Голос»* продолжала: «Почин в этом правом деле приходится взять на себя самой России (...). Это обстоятельство заставляет возвратиться к затронутому уже нами в № 163-й (...) вопросу об учреждении на театрах войны международной комиссии для исследования образа действий воюющих и всех фактов, оглашенных в печати и в официальных документах (...). зверства турецких полчищ, не сдерживаемых даже их собственными начальниками, непременно требуют военных репрессалий, без которых наши войска не могут продолжать бой с турками, соблюдая европейские правила войны. Без этих репрессалий, которые только и могут в иных случаях унять разгулявшихся азиатских зверей, наши войска и местные мирные народонаселения были бы преданы в жертву самых страшных, ничем не оправдываемых испытаний» (там же). За несколько дней до появления в печати процитированных передовиц *«Голоса»* по вопросу о репрессалиях высказалась газета *«Современные известия»* (1877, 19 июля, № 196, стр. 2).

Стр. 221. Они убивают пленных и раненых после неслыханных истязаний, вроде отрезывания носов и других членов. — Достоевский контаминариует как свежие, так и более ранние данные печати о зверствах турецких войск. В хорошо известном ему очерке *«Впечатления сербской войны»*, принадлежавшем перу английского полковника Мак-Ивера, было такое описание надругательств турок над ранеными сербскими и русскими солдатами, попавшими к ним в плен в боях под Делиградом

(конец сентября—начало октября 1876 г.): «... иные лежали там, где нали, но все стали жертвами турецкого сострадания, которое есть не иное, как подлое и дьявольское варварство. У одних отрезаны были уши, у других носы, или глаза вырезаны из головы, или язык из глотки, или руки и ноги отрезаны. Были и еще такие постыдные виды искаснения, что и приличие не позволяет описывать их. Так они гнусны, так возмутительны...» (*Русский сборник*, т. I, ч. 2, стр. 82).

Стр. 221. У них объявились специалисты истребления грудных младенцев со хотом своих товарищ башибузуков. — Ср.: «Явились даже особенные артисты своего дела — башибузуки, изощрившиеся разрывать разом христианских младенцев, схватывая их за обе ноги» (*НВр*, 1877, 14 (26) августа, № 524, отдел «Последние известия». «По рассказам болгарских беглецов из долины Казанлыка»).

Стр. 221. Министры султана уверяют, что не может быть умерщвления пленных, ибо «коран запрещает это». — Достоевский имеет в виду следующее газетное сообщение: «По сведениям венской „Presse“, драгоман одного из важнейших посольств в Константинополе осведомился на днях у одного из турецких министров об участии, постигшей русских пленных и раненых после плевенского сражения ... Драгоман также коснулся слухов об избиении и истязаниях русских раненых в Шипкинском проходе. На это министр возразил, что он не верит этим слухам, так как Коран воспрещает мусульманам убивать пленных» (*НВр*, 1877, 24 августа (5 сентября), № 534, отдел «Последние известия», подотдел «На Шипке»). Газета «Московские ведомости», также перепечатавшая это сообщение, отметила, что оно появилось в венской «Presse» от 30 августа н. ст. 1877 г., и сопроводила последнюю его фразу (о запрещении Корана убивать пленных) саркастической репликой: «Тем дело, значит, и кончилось» (см.: *МВед*, 1877, 24 августа, № 211, отдел «Последняя почта»). Реплика означала сомнение в действенности дипломатического протеста Германии и других держав против несоблюдения Турцией одного из пунктов Женевской конвенции 1864 г. (см. следующее примеч.).

Драгоман (арабск.) — официальный переводчик при дипломатических представительствах и консульствах на Востоке.

Стр. 221. Еще недавно человеколюбивый император германский с негодованием отверг официальную и лживую повсеместную жалобу турок на русские будто бы жестокости... — Главными распространителями информации «о жестокостях, совершаемых будто бы русскими войсками», были турецкое министерство иностранных дел и турецкий посол в Германии Садуллах-бей (см.: *МВед*, 1877, 15 июня, № 147, отдел «Телеграммы»; 30 июля, № 189, вторая половина передовой «Москва, 29 июля»; 3 августа, № 193, отдел «Последняя почта»; 9 августа, № 197, отдел «Телеграммы»; 21 августа, № 208, передовая «Москва, 20 августа»). Измышления турецких дипломатов были опровергнуты рядом официальных и неофициальных документов русского и западноевропейского происхождения, в которых сообщалось вместе с тем о непрекращающемся недостойном обращении турецких войск с пленными и ранеными русскими солдатами и офицерами.

Германское правительство направило (около 8 (20) августа 1877 г.) в адрес турецкого правительства протест. В нем оно «напомнило Порте о постановлениях Женевской конвенции, к которой присоединилась и Порта. Вместе с тем германское правительство обратилось к прочим европейским державам с запросом, не пожелают ли они сделать подобные предложения в Константинополе» (*НВр*, 1877, 12 (24) августа, № 522, отдел «Телеграммы»).

В связи с этими событиями «Московские ведомости» (1877, 23 августа, № 210, отдел «Последняя почта») напоминали, что по шестой статье Женевской конвенции 22 августа 1864 г. «все раненые и больные военные принимаются и пользуются уходом, к какой бы нации они ни принадлежали».

Замечание Достоевского о глубоком негодовании, проявленном Бильгельмом I, — пересказ резюме берлинского корреспондента «Daily News» 8 (20) августа 1877 г.: «В особенности император **«...»** высказывает **крайнее негодование**, которое делает честь его **человеколюбию**, и по его более или менее непосредственной инициативе германское правительство предприняло **«...»** решительный шаг...» (*НВр*, 1877, 16 (28) августа, № 526, отдел «Внешние известия». — Курсив наш, — Ред.).

Стр. 221. Говорят, они и теперь, когда их берут в плен, смотрят испуганно и недоверчиво, твердо убежденные, что им сейчас станут отрезать головы. — Корреспондент «Нового времени» Н. Каразин писал: «Говорят **«...»** это даже подтверждали сами пленные, — что турецким войскам якобы сообщено к сведению о необычайном варварстве русских, решившихся поголовно истребить все турецкое, — им говорили, что русские никого из пленных в живых не оставляют и предают немедленно мучительнейшей смерти. Говорят будто бы, в этом предупреждении кроется причина стойкости и отчаянной храбрости турецких батальонов... Очень может быть, потому что мне не раз приходилось наблюдать пленных, — и это ласковое, гуманное обращение с ними — видимо было для них приятной неожиданностью» (*НВр*, 1877, 10 (22) июля, № 489). В «Новом времени» было напечатано также анонимное «письмо» из Казанлыка военного корреспондента английской «Times» при русской дунайской армии, в котором сообщалось: «Мы прошли мимо группы, человек в пятьдесят, раненых турок, у которых раны были заботливо перевязаны, как будто никогда и не существовало „кучи голов“. Турки имели испуганный вид, так как они не могли понять, чтобы русские были менее жестоки, нежели они сами» (там же, 1 (13) августа, № 511, отдел «Последние известия»).

Стр. 221—222. Не беспокойтесь, когда их обезоружат, они будут делать и присдавать халаты и мыло, как наши казанские татары, об чем уже я и говорил... — Достоевский «говорил» об этом в сентябрьском выпуске «Дневника» за 1876 г. (см. наст. изд., т. XXIII, стр. 119—121).

Стр. 222. ... «Человек тоже, хоть и не християнин». Корреспондент английской газеты, видя подобные случаи, выразился: «Это армия джентльменов». — Возможно, речь идет о корреспонденте английской «Times», письма которого цитировали «Московские ведомости». Английский корреспондент несколько раз то с возмущением, то иронически называл турок «джентльменами». Русскую же армию он не называл прямо «армией джентльменов», но обращение ее солдат и врачей с пленными характеризовал как подлинно джентльменское: «И лишь несколько шагов отсюда русские врачи перевязывали раны этих дикарей, и солдаты охраняли их от порывов мести своих товарищ, подавляя и собственное негодование, наполнявшее их сердца **«...»** с одной стороны, цивилизация, основанная на христианских началах, а с другой — варварство и худшее, что может совершить зверская жестокость людей» (*МВед*, 1877, 4 августа, № 194, «Турецкие злодеяния в Шипкинском проходе»). Несколько раньше «джентльменство» русской армии подчеркивалось в сообщении из Спистова корреспондента «Daily News»: «... ни малейшая доля участия в деле разрушения не падает на ответственность русских солдат. Поведение их было безупречно в высшей степени. В самом разгаре боя они щадили противников и брали их в плен, по всем правилам цивилизованных армий. Они защищали своих пленников от насилия систовской черни. После взятия города они употребили все усилия, чтоб остановить грабеж» (*НВр*, 1877, 27 июня (9 июля), № 476, отдел «Последние известия»).

Стр. 222. Когда болгары в иных городах спрашивали **«Имущество собрать и сохранить до их возвращения, поля их убрать и хлеб сохранить, взяв треть в вознаграждение за труд»**. — Достоевский, по-видимому, контаминирует сведения из двух газетных корреспонденций с театра военных действий. В напечатанном «Московскими ведомостями» анонимном очерке «Переход е. п. в. главнокомандующего из Зменицы в Тырново и вступление в Тырново» сообщалось: «Чарбаджи (сельский старшина) спросил великого князя, разрешено ли забирать имущество бежавших ту-

рок. Его высочество ответил ему на это, „что они должны принять меры к охранению оставшегося имущества и отнюдь не допускать его расхищения. Урожай должны быть убраны и сложены отдельно“ (МВед, 1877, 19 июля, № 180). Через десять дней в газете Суворина появилось второе сообщение, правда, без упоминания о главнокомандующем, но текстуально еще более близкое тому, что говорит о нем Достоевский: «Корреспондент „Кельянской“ газеты» пишет из Казанлыка от 10-го (22-го) июля «... Для того, чтобы не погибла жатва, созревшая на турецких полях, владельцы которых бежали, будут приняты следующие меры: жатва будет убрана болгарами, которые за труд получат треть собранного хлеба и половину сена, между тем как остальное будет собственностью бежавших турок «... по моему мнению, это единственное, что может быть сделано в этом случае» (НВр, 1877, 29 июля (10 августа), № 508, отдел «Последние известия»).

Стр. 222. *Слыхал ли Левин про наших дам, которые со туркам бросят цветы, выносят дорогого табаку и конфект?* — С театра военных действий плленных турок развозили на жительство во многие города южной и средней полосы России, вплоть до Владимира и Твери. Спачала отношение прессы к дамам, выказывавшим благосклонность к плленным, было благодушно-ироническим. Лишь иногда проскальзывали в нем нотки презрения. Представление об этом дает сообщение корреспондента «СПб. ведомостей» из Новоцеркасска, перепечатанное, в извлечениях, многими газетами: «Вечером 30-го мая народ валил толпами по улицам нашего города. „Куда это вы стремитесь? — спрашивал знакомого. — Турок, говорит, привезли. — Где же они? — В летнем госпитале. — Раненые, что ли? — Нет, не раненые, да там помещение, знаете ли, посвободнее“ «... Посреди госпитального двора, у бараков, в которых расположились плленники «... кучки представителей и милых представительниц всех классов нашего городского общества... Барыни и барышни (в числе их даже классные дамы института) наперерыв, одна перед другою, старались поговорить с турками, — если не словами, так знаками «... Казалось, плленники несколько не удивлялись тому, что публика их, в полном смысле слова, рассматривала... Чрез Мустафу (переводчика, — Ред.) они не раз заявляли, что им очень нравится Новоцеркасск и его жители, в особенности же — дамы, каких „и в Турции не встретишь...“ Плленники сделались героями дня: о них только у нас и было речи, — многие приглашали их даже к себе обедать «... причем турки совершенно забывали запрещение Мохамеда относительно вина «... Пожили три денька, пора и ехать, — и снова взволновался Черкасск... «... Начались прощания знакомы, рукопожатиями, — появились даже букеты. Кому-то это не понравилось... „Черт знает что такое: и добровольцам букеты бросали, и туркам теперь бросают!“ Кто-то заикнулся о полиции — и букеты исчезли... Вышла пресмешная сцена: встретив и угостив плленных дружелюбно, — как и подобает цивилизованным победителям, — мы проводили их громким смехом. Впрочем, этот невольный смех относился «... не столько к плленникам, сколько к нашим, черезсчур сентиментальным, хотя в то же время и очень трусливым, дамам, которые вздумали было бросать цветы к ногам побежденных... благо цветов у нас теперь много!» (СПбВед, 1877, 10 июня, № 158, отдел «Внутренние известия». Корреспонденция подписана инициалами К. Д.). Новоцеркасскому корреспонденту «СПб. ведомостей» вторил тверской корреспондент газеты «Биржевые ведомости» (1877, 20 июня, № 144, отдел «Наши внутренние дела»): «Турки свободно гуляют по городу, а некоторые из наших сентиментальных барынь приезжают к ним на квартиру и дарят денег, чаю с сахаром, табаку и проч.».

Однако в июле—августе 1877 г., когда русская армия потерпела несколько тяжких поражений под Плевной и стало известно о жестоком обращении турок с плленными и ранеными русскими солдатами, дамы, ухаживавшие за плленными турками, стали предметом негодования и насмешек на страницах ряда органов русской печати. Кампанию про-

тив них открыли «Московские ведомости». Здесь, в корреспонденции «Из Усмани (Тамбовской губернии)», подписанной буквой Н, отмечалось с сарказмом: «У нас в губернии ждут 500 пленных турок. О них идут tolki. Кто говорит, что иные барыни ожидают встретить их на железной дороге с чаем, кофеем и сладостями. Кто рассказывает, что велено кормить пленников барабанной с рисом и всеми восточными яствами, дабы они не чувствовали в гастрономическом отношении никакой разницы с восточными услаждениями мамона, и что даже будут развлекать их по-восточному, дабы они в плена не терпели лишений в наслаждениях по Корану» (*МВед*, 1877, 28 июля, № 187). Через две недели та же газета напечатала статью Т. Толычевой «Наши отношения к пленным». «В „Московских ведомостях“», — напоминалось в этой статье, — было уже сказано несколько слов о чесчур любезном приеме, сделанном туркам в Усмани, а в Воронеже, в Твери, в Харькове их встречали с конфетами, цветами и папиросами. Утверждают даже, что к толпе передовых дам примешивались в иных местностях и лица должностные» (там же, 11 августа, № 199). Вспоминая далее об одном из эпизодов Отечественной войны 1812 года — убийстве ожесточившимися крестьянами нескольких безоружных французов, беззаботно пировавших на пепелище сожженной ими русской деревни, Толычева резюмировала: «...мы полагаем, что в этих крестьянах более честности и нравственности, нежели в гуманных дамах, которых они оскорбляют своей необразованностью и грубостью. Они неделикатны в проявлениях своего гнева, не вымаливают милостивого расположения просвещенных наций, не понимают глубокомысленных теорий и громких фраз, зато не лгут пред своюю совестью, не ругаются над страданием и смертью, над слезами и кровью, хотя неспособны в припадке чувствительности умиляться над палачами» (там же). Об отношении русской печати к «нашим дамам» см. также: *СИ*, 1877, 7 августа, № 215, отдел «Военные известия»; *МВед*, 1877, 10 августа, № 198, статья А. Зиссермана «Двуногие шакалы»; *СИ*, 1877, 18 августа, № 226, отдел «Внутренние известия»; *НВр*, 1877, 29 августа (10 сентября), № 539, отдел «Внутренние известия»; 11 (23) сентября, № 552, очерк А. Зиссермана «По пути. Харьков. 4 сентября».

Стр. 223. Так было в одной болгарской церкви, где нашли двести таких трупов, после разграбления города. — Достоевский, очевидно, напоминает трагические факты, приведенные в «письмах» Дж. А. Мак-Гэхена «Турецкие зверства в Болгарии». Упоминаемый Достоевским «город» — это болгарский город Бата克, в котором в 1876 г. было около «девяти сот домов, с 8—9000 жителей». Но «останки и пепел двухсот женщин и детей, сожженных живыми», были обнаружены не в церкви, а на ступенях батацкой школы. В «дворике» же церкви, расположенной напротив школы, «лежало три тысячи народу...». В Батаке было уничтожено 8200 мирных жителей, т. е. почти все его население (см.: *Русский сборник*, т. I, ч. 2, стр. 104, 117, 122, 123).

ПРИЛОЖЕНИЕ

«ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» НА 1877 год»

(Стр. 224)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ДП*, 1876, октябрь, стр. 249—250.

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту первой публикации.

Текст данного объявления печатался в начале октябряского, ноябрябрьского и декабрьского выпусков «Дневника писателя» 1876 г., а затем в выпусках первого полугодия 1877 г. При перепечатках в текст объявления вносились некоторые изменения. Так, в декабрьском выпуске 1876 г. указывалась новая розничная цена одного выпуска «Дневника» — 25 коп. вместо 20 (см. также стр. 319); в февральском объявлении был расширен перечень книгопродавцев, торговавших «Дневником» в розницу: «...в Москве: у ... Соловьева ... Юрьева, Александрова, Рассохина и др., в Казани: ... в магазине „Восточная лира“ ... в Томске: у Машушина, в Саратове: у Лятошинского и Холодковского, в Острогожске: у Новгородова, в Козлове: у Муравьева, в Вильно: у Сыркина, в Нежине: у Куриленко» (*ДП*, 1877, февраль, стр. 29—30).

Аналогичные объявления публиковались и в газетах.

«ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА МАЙ—ИЮНЬ 1877 г.»

(Стр. 225)

Печатается по беловому автографу.

Хранится: ГБЛ, ф. 92.2.20.

Опубликовано: *Описание*, стр. 280.

В собрание сочинений включается впервые.

В конце апрельского выпуска «Дневника писателя» 1877 г. Достоевский сообщал, что предполагает выпустить сдвоенный майско-июньский выпуск «в конце июня или в самых первых числах июля» (см. стр. 121). Текст данного объявления был, по-видимому, составлен в двадцатых числах июня, когда Достоевский убедился в том, что очередной выпуск выйдет с опозданием (см. письма Достоевского к М. А. Александрову от 20 и 24 июня 1877 г.); майско-июньский выпуск «Дневника» вышел 11 июля (см. письмо Достоевского к А. Г. Достоевской от 11 июля 1877 г.).

РУКОПИСНЫЕ РЕДАКЦИИ

«ЗАПИСИ К «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ» ИЗ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 1876—1877 гг.»

(Стр. 226)

Стр. 226. *Община*. — Заметки на эту тему появляются в записных тетрадях периодически с марта 1876 г., она включалась в черновые планы апрельского и декабряского выпусков «Дневника писателя» за 1876 г. (наст. изд., т. XXIV, стр. 157, 179, 238, 299—300, 304, 306 и примеч. к ним),

Ио в окончательном тексте получила отражение лишь в виде отдельных замечаний в пульско-августовском номере 1876 г. (наст. изд., т. XXIII, стр. 96, 98), мартовском и майско-июньском номерах 1877 г. (стр. 86, 138).

Стр. 226. *Солдат и Марфа*. — Об эпизоде филантропической деятельности Достоевского, который имеет в виду эта запись, рассказал в своих воспоминаниях о писателе А. Ф. Кони: «Некто А. Бергеман — добрая и отзывчивая на людское горе женщина — обратилась к нему в декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения 11-летней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить „стало невмоготу“. Старик послал девочку собирать милостыню, сам поджидал жертвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и озябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более что мать, работавшая на бумагопрядильной фабрике, разысканная госпожою Бергеман, рассказала ей, что муж уже обеспечил ее старшую внебрачную дочь и хвастался, что делает то же и с бедной Марфушей (так звали девочку), когда она „поспеет“... Достоевский и за это дело принял горячо и с сосредоточенною настойчивостью, доставляя мне необходимые справки и присыпая полученные им сведения» (Кони, т. VI, с. 434—435). Усилиями Кони девочка была вызволена от отца, помещена сначала в детскую больницу, а затем в приют. Сохранилось письмо Бергеман к Достоевскому от 20 января 1877 г. (*ИРЛИ*, ф. 100, № 29645) с выражением благодарности за участие в судьбе девочки. В тетради Достоевского записан адрес Бергеман. В набросках к «Братьям Карамазовым» Достоевский среди других «детских» сюжетов упоминает и историю Марфушки (запись «С Бергеман» — наст. изд., т. XV, стр. 199).

Стр. 226. *«Кроткая».* *«Новое время»*. — О рецензии «Нового времени» на рассказ «Кроткая» см. наст. изд., т. XXIV, стр. 390.

Стр. 226. *Община и европеизм*. — Кроме указанных ранее материалов об отношении «европеизма» к общенному землевладению (наст. изд., т. XXIV, стр. 507) Достоевский прочел, вероятно, корреспонденцию «Чигиринское дело» (*НВр*, 1876, 14 декабря, № 287), в которой рассказывалось о борьбе крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии за передел земли и возвращение в связи с этим к общине. В статье говорилось: «Стремление наших крестьян к переходу к общенному владению совпадает по какой-то счастливой случайности с сознанием лучших представителей современной европейской науки, признавших необходимым искать спасения от неурядиц в поземельной собственности в древнем общенном аграрном порядке, существовавшем прежде и на западе Европы». Замечания об общине содержались также в рецензии на книгу А. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах» (СПб., 1876) (*НВр*, 1877, 11 января, № 313).

Стр. 227. *«Новое время»* о продаже «Голоса» турецкому посольству. — «Новое время» (1876, 31 декабря, № 302) напечатало в отделе «Среди газет и журналов» выдержку из заявления «Русского мира» (1876, 30 декабря, № 313) о том, что турецкое посольство предложило редакции перепечатать «за надлежащее денежное награждение» статью из турецкой газеты «Levant Herald». Аналогичное предложение, утверждал «Русский мир» якобы со слов посредника в переговорах, «постоянно принималось с готовностью двумя поименованными им большими петербургскими газетами (одну русскую и одну немецкую). ... Нам обязательно сообщили, с полной откровенностью, некоторые подробности об условиях, на каких указанные газеты соглашаются помещать турецкие статьи, корреспонденции и телеграммы, а также о размере гонорара, получаемого за это из турецкого посольства». Это сообщение «Новое время» обсуждало несколько дней (1877, 1—2 января, № 303—304; 4 января, № 306; 7 января, № 309).

Стр. 227. *Влас*. — См. очерк Достоевского «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г. (наст. изд., т. XXI, стр. 31—41).

Стр. 227. *Жан Вальжан*. — Главный персонаж романа В. Гюго «Отверженные», высоко ценимого Достоевским (см. наст. изд., т. XXII, стр. 317, 349), дважды упоминается в подготовительных материалах и записных тетралях 1876 г. (наст. изд., т. XXII, стр. 145; т. XXIV, стр. 111).

Стр. 227. *Корнель и революция*. — Очевидно, имеется в виду мысль, аналогичная той, которую в полемике о красоте и пользе в искусстве Достоевский высказал в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (1861): «Кто бы мог подумать, что, например, Корнель и Распи отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что, казалось бы, и немыслимо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Распи, в такие эпохи» (наст. изд., т. XVIII, стр. 78).

Стр. 227. ... письмо Екатерины II к Цимерман... — В передовой статье «Московских ведомостей» (1876, 31 декабря, № 335) шла речь о развернувшейся за границей пропагандистской шумихе о неготовности России к войне. «Не впервые Россия борется с неприязнью, которая старается сбить ее с пути клеветою, обманом и всячими кознями», — писала газета и в подтверждение приводила перевод письма Екатерины II к швейцарскому врачу и философу И. Г. фон Циммерманну от 21 января 1791 г. Убеждая адресата в своих миролюбивых намерениях, императрица опровергала распространявшееся в то время антирусской пропагандой на Западе заявление об отсутствии у России людских резервов и денежных средств для ведения войны.

Стр. 227. ... толки заграничной прессы о червонные валеты). — Во второй части передовой статьи указанного выше номера «Московские ведомости» иронически разбирали появившуюся в венской газете «Tagblatt» и распространенную из нее французской прессой корреспонденцию «Заговор в Москве», сообщавшую о тайном обществе «Червонный валет» (*le Valet rouge*), цель которого якобы «состоит в пизвержении правительства, в провозглашении республики и в разделе России на пять независимых государств, соединенных между собою лишь федеральными узами». На самом деле название «Червонные валеты» носила воровская шайка (см. наст. изд., т. XXII, стр. 359). В связи с этим «Московские ведомости» обращали внимание на то, что *«Journal des Débats*», увидевший первоначально в демонстрации 6 декабря 1876 г. «первые плоды панславистской пропаганды» и писавший о возникновении в России революционного движения (ср. наст. изд., т. XXIV, стр. 510—511), был вынужден изменить свою оценку и признать демонстрацию «бессмысленной выходкой», которая «сочинена по распоряжению иностранных революционных комитетов с целью разъединить и сбить с пути охватившее Россию патриотическое движение».

Стр. 227. *Анекдот об англичанине*... — В той же передовой статье «Московские ведомости» передавали рассказ одного русского добровольца в Сербии об англичанине, который каждый день выходил «на охоту» за русскими. Сидя на стуле, англичанин стрелял из штупера и отмечал своих жертв в специальном альбоме, который ему подавал слуга. Убийца был застрелен русским ветераном.

Стр. 227. ... фельетон Стасова об идеале и реализме. — Имеется в виду статья В. В. Стасова «Прискорбные эстетики» (НВр, 1877, 8 января, № 310) в защиту суждений И. Е. Репина о западноевропейской живописи, высказанных в частных письмах к Стасову и опубликованных последним в отрывках в журнале «Пчела». Отзывы Репина, в которых отразилась его приверженность принципам реалистического искусства, были восприняты некоторыми критиками как ниспровержение всех авторитетов. Стасов указывал, что Ренин не признал лишь нескольких итальянских художников и что в его мнении нет ничего экстравагантного или вызывающего, поскольку «даже на самого Рафаэля не раз нападали, на пашен веку, художники Западной Европы, именно все те, которые отделились от направления „идеального“, в настоящее время кажущегося им значительно устарелым в живописи, как и во всем другом, и примкнули к направле-

нию, по их убеждению, более правдивому и жизненному — к направлению „реальному“». Стасов полемизировал также с «идеальным» критиком Д. И. Стахеевым о картине «Бурлаки» и критиком-«позитивистом» Эм (А. М. Матушинским?) о картине «Садко в подводном царстве». Первый обвинял художника в том, что он «не умеет держаться на должной высоте художественных идей» (*РМ*. 1876. 12 ноября. № 280), второй упрекал в нарушении естественнонаучного правдоподобия (*Г*, 1876, 1 декабря, № 332).

Стр. 228. ... *(яблоко писаное)*... — Предполагая затронуть в «Дневнике писателя» эстетические проблемы, которые в 1861—1862 гг. были предметом полемики «Времени» с «Современником», Достоевский возвращается к фразеологии и тематике тех лет (о «яблоке натуральном и яблоке нарисованном» см. наст. изд., т. XVIII, с. 108, 155, 178, 196, 326—327, 352, 367, 387).

Стр. 228. ... *Артемьева, Диккенс*. — Под псевдонимом «М. Артемьева» писательница М. К. Цебрикова напечатала очерк «Детство Диккенса» (в кн.: Сборник статей и рассказов для юношества. СПб., 1877, с. 151—181). Ранее под ее собственной фамилией вышел перевод романа «Оливер Твист» (СПб., 1874).

Стр. 228. *Сатира (Щедрин)*... — В декабре 1876 г. Достоевский записал в тетради ряд заметок к полемической статье о сатире (наст. изд., т. XXIV, стр. 301, 303—307, 310—312). Замысел не был осуществлен и нашел отражение лишь во вступительных азбуках четвертого раздела второй главы январского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. (стр. 26—27).

Стр. 228. *Пусть славяне будут накормлены нами или европейцами, все равно, только бы были накормлены.* — Орест Миллер, соединивший в себе славянофильство с европеинчаньем. — В отчете о состоявшемся 9 января 1877 г. собрании санкт-петербургского отдела Славянского благотворительного комитета (*НВр*, 1877, 11 января, № 313) сообщалось, что 11 членов подали протест против прочитанного на заседании 5 декабря 1876 г. доклада председателя кн. Васильчикова «О помощи славянам», в котором говорилось о необходимости обратиться к европейским странам с призывом о пожертвованиях. Лица, подписавшие протест, считая «обращение для оказания помощи славянам к содействию более богатых европейских народов неприличным и оскорбительным для достоинства русского народа», настаивали на том, что «помощь славянам должна быть оказана исключительно Россиею, без вмешательства европейской нации». С резкими возражениями выступил профессор Петербургского университета О. Ф. Миллер, который заявил: «Истинная гуманность состоит в признании человеческого достоинства за всеми нациями. Вот это-то мы и должны разъяснить европейским нациям. Мы хотим, чтобы за славянским миром были признаны права на самостоятельное развитие. Мы обращаемся к нашим братьям, потому что западные народы действительно наши братья, со словами: „Помогите вашим страдающим родственникам“. На Западе есть много людей, усвоивших себе широкий взгляд на дело гуманности! Узкий национализм — это великое зло. ... Обращение за помощью к другим нациям содействует развитию между народами той тесной связи, которую имел в виду Хомяков, выражая пожелание, чтобы развилось „племя святое братство!“».

Стр. 228. *Lamartine*. — Ср. отзыв Достоевского о французском поэте-романтике и политическом деятеле Альфонсе де Ламартине в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (наст. изд., т. XXIII, стр. 55—56).

Стр. 229. ... *солдат с дочерью*. — См. примеч. к стр. 226 к словам «Солдат и Марфа».

Стр. 229. *Выписка из октябрьского Дневника о том, как восторжествует цинизм*. — См. наст. изд., т. XXIII, стр. 160—161.

Стр. 229. *К подвигу унтер-офицера Максимова...* — Максимовым по ошибке назван Ф. Данилов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПМ)

(Стр. 230)

Январь

Стр. 230. Гумбольдт. — Александр фон Гумбольдт (1769—1859) — выдающийся немецкий географ и естествоиспытатель, основатель научного страноведения, отличавшийся широтой охвата материала и умением его синтезировать. Ср. запись ранее (наст. изд., т. XXIV, стр. 292).

Стр. 230. Бергеман. — См. выше, стр. 450.

Стр. 231. Розги, образование, профессор. — Очевидно, имеется в виду «страпное» мнение о необходимости применения розог в учебных заведениях, которое Достоевский услышал от профессора Петербургского университета В. В. Григорьева, о чем упомянул в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (наст. изд., т. XXII, стр. 21, 327—328).

Июль — август

Стр. 236. ...левитизм... — В творчестве Достоевского синонимично «семинаризму». Левиты (от имени Левия) — пазваппе касти священнослужителей древнееврейского культа. См. также: наст. изд., т. XII, стр. 321.

Стр. 236. Лурье на свои деньги. — С. Е. Лурье материально и в качестве учительницы помогала детям из непмущих семейств получить начальное образование. 29 марта 1877 г. она писала Достоевскому: «На днях я должна быть представлена проктору народных училищ, так как даю уроки (конечно, бесплатные и без ведома родных) в одном училище, а мои ученицы отлично учатся и успевают, я этому очень рада. У меня есть 25 (...) бедных, где я бываю; помогаю, насколько возможно...» (ИРЛИ, ф. 100. № 29768.СХ16.7, л. 13). В одном из не дошедших до пас писем, написанных весной или летом 1877 г., Лурье жаловалась Достоевскому на стеснительную для нее материальную зависимость от богатых родителей и сообщала о том, как она памерена распорядиться лично ей принадлежащими деньгами. Такое заключение можно вывести на основании следующего замечания из позднейшего ее письма к Достоевскому (судя по почтовому штемпелю на конверте, дата этого письма — 3 сентября 1877 г.): «...что касается до денег, то мне стыдно, что я о них так много говорила, да наконец у меня самой есть какие-то деньги, оставленные мне дедушкой» (там же, л. 25).

Стр. 237. Листва, роща и Вальтер Скотт. — В данном случае упоминание о Вальтере Скотте связано с развивающейся Достоевским темой случайных семейств, разрушающихся вследствие утраты уважения к семейным традициям и преданиям, и с мыслью о том, что воспоминания, как светлые, так и «тяжелые, горькие (...) и прожитое страдание» могут «обратиться впоследствии в святыню души».

Вальтер Скотт дорожил семейными традициями и преданиями и пользовался любовью к ним многих своих героев. В романе «Уэверли» (1814) есть такие строки о неравнодушном его главного героя к прошлому своего рода: «Он проводил с дядей и теткой много часов, слушая бесконечные рассказы, на которые так щедры старики (...). Семейные предания и генеалогия (...) спасают от забвения много редкого и ценного в древних нравах и увековечивают множество мелких и любопытных фактов, которые бы иначе не сохранились и не дошли до потомства» (Вальтер Скотт, т. 1, стр. 87). По всей вероятности, слова «листва» и «роща» также соотносятся с творчеством, автобиографией, дневниками и письмами английского романиста. В одном из писем Вальтер Скотт так описывал свое времяпрепровождение на вилле своего дяди: «Для развлечения я устроил себе также местечко на большом дереве, сучья которого горизонтально простираются над рекою; и в этом любимом, зеленом уголке я предаюсь чтению. Особливо там хорошо сидеть, когда западный ветер колышет сучья, и темно-

синие волны с плеском катятся у моих ног. Кроме того, я проделал в густой листве амбразуру для того, чтоб стрелять мимо летающих чаек...» (Романы Вольтер Скотта. Ламермурская невеста. Приложение: Сэр Вольтер Скотт. его жизнь и литературные труды. СПб. 1875, стр. 74). О листьях упоминается еще в рассказе тетушки Рэчел о несчастной любви мисс Люси Сент-Обен к одному из предков Эдуарда Уэверли, погибшему в молодости (см.: Вольтер Скотт, т. 1, стр. 89). О «глухих рощах» своего поместья Эбботсфорд разорившийся Вольтер Скотт трогательно вспоминает в своем дневнике (см. цитировавшееся выше «Приложение», стр. 143).

Стр. 237. Ален Леонтьевна. — Возможно, это описка и речь идет об Алене Фроловне, няне Достоевских, умершей в глубокой старости в 1850-х годах (см.: Достоевский, А. М., стр. 8, 24—27, 108).

Стр. 237. Впрочем, 1500 верст. Везде о войне. — Подразумеваются, по всей вероятности, протяженность русских железных дорог и на всем их протяжении —tolki народа и «чистой» публики о войне.

Стр. 237. Деспотизм даже в кондукторе. А публика для дороги. — Грубое, а нередко и грабительское отношение к пассажирам со стороны обслуживающего персонала железных дорог и всякого рода железнодорожных дельцов и предпринимателей было типичным явлением во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В связи с этим газеты (и, в частности, «Новое время») сетовали на то, что не железная дорога существует для публики, а публика для железной дороги.

Стр. 239. ...она жалела — ей противны стали дети. — Речь идет о «девице Шишовой», служившей у Джунковских гувернанткой.

Стр. 239. Спасович. — Об адвокате В. Д. Спасовиче см.: наст. изд., т. XXII, стр. 51—73, 346—347.

Стр. 239. Переменил фамилию. — Подразумевается один из сыновей Джунковского, который, чтобы не учиться в гимназии «закону божию», выдал себя за католика и поляка, «благо фамилья» его оказалась «похожа на польскую» (см. стр. 183, 187—188).

Стр. 240. Я написал к Суворину. — Имеется в виду письмо к А. С. Суворину от 15 мая 1877 г. с благодарностью за помещенный в газете «Новое время» положительный отзыв об «Анне Карениной» (см. выше, стр. 434).

Стр. 240. ... я свято верю, что это убеждение, а не обоснование для оригинальности из величия, из золотого фрака. — Под «убеждением» подразумевается мнение Толстого и его героев о русском добровольческом движении. О золотом фраке как символе высокомерия, тщеславия, а главное, «самолюбия от необыкновенного величия», побуждающего русского «великого человека» поступать так, «чтоб уж не походить на всех прочих и низших», иронически упоминается в конце майско-июньского выпуска «Дневника писателя» (см. стр. 169). Определение «золотой фрак» могло быть навеяно перепиской Гоголя и мемуарами о нем. 26 июня 1827 г., в предвкушении отъезда в Петербург, Гоголь писал Г. И. Высоцкому: «Позволь еще тебя, единственный друг Герасим! Иванович», попросить об одном деле... Надеюсь, что ты не откажешь... а именно: нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня ... узнай, что стоит пошить самое отличное фрака по последней моде ... Как ты обяжешь только меня этим! Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется» (Гоголь, т. X, стр. 102—103). В начале октября 1827 г. Гоголь писал матери: «На днях получил я письмо из Петербурга, письмо касательно пошить там фрака. Лучший портной с сукном своим (первого сорту) с подкладкою, с пуговицами и вообще со всем, требует 120 рублей ... я буду ждать, когда вам можно будет собрать такую сумму» (там же, стр. 110). «Франтиком в модном фраке» называл молодого Гоголя С. Т. Аксаков (см.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952, стр. 99). См. также: П. Анненков. Воспоминания о Го-

Гоголем (БДЧт, 1857, № 2, стр. 122). О смысле, который вкладывал Достоевский в понятие «золотой фрак», см. стр. 454.

Стр. 240. С «Мертвых душ» он вынула давно сшитый фрак и надел его. — Вновь обращаясь к иронической трактовке характера Гоголя, Достоевский мог опираться на некоторые данные его литературного наследия и их интерпретацию в мемуарной и критической литературе. Так, Анненков, касаясь поведения Гоголя в период окончания работы над первым томом «Мертвых душ», писал: «В марте 1841 года Николай Васильевич зовет к себе в Рим М. С. Щепкина, Константина Сергеевича Аксакова и потом М. П. Погодина, возлагая на них обязанность перевезти себя в Россию. Р письме его встречаются следующие строки: „Меня теперь нужно беречь и лелеять (...) Меня теперь нужно лелеять не для меня — нет...“ (БДЧт, 1857, № 11, отдел «Науки», стр. 24). Анненков цитировал также письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 5 марта 1841 г. (см.: Гоголь, т. XI, стр. 329).

Стр. 240. С ума сошел. — Подразумеваются слова Белинского из вальдбрунинского письма к Гоголю (15 июля и. ст. 1847 г.). Белинский писал: «... нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель (...) И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли...». И далее: «Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смириением может быть плодом только или гордости, или слабоумия...» (Белинский, т. X, стр. 212, 214, 218). Намеки на сумасшествие Гоголя (не в буквальном смысле этого слова) проскальзывали и в ранее написанной рецензии Белинского на «Выбранные места...» («... только в здоровом теле может обитать здоровая душа (...) только не страждущий никаким расстройством мозг может правильно мыслить»). — Там же, стр. 63). Гоголь отвечал на эти выпады в «Авторской исповеди», которую Белинскому не суждено было прочитать: «Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и приписывали ему рецепты от умственного расстройства (...). Можно делать замечания по частям на то и на другое, можно давать и мнения, и советы, но выводить, основываясь на этих мнениях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшем с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим лицину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был взвести даже «на» отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения» (Гоголь, т. VIII, стр. 436, 466). См. также в «Выбранных местах...»: «Да разве уже я совсем выжил из ума?» (там же, стр. 296).

Стр. 240. Завещание. — О «Завещании» Гоголя, помещенном в «Выбранных местах...» сразу после «Предисловия», Достоевский писал еще до выхода в свет этой книги брату Михаилу Михайловичу 5 сентября 1846 г.: «В „Современнике“ в следующем месяце будет напечатана статья Гоголя — его духовное завещание, в которой он отрекается от всех своих сочинений и признает их бесполезными и даже более. Говорит, что не возьмется во всю жизнь за перо, ибо дело его молиться. Соглашается со всеми отзывами своих противников. Приказывает напечатать свой портрет в огромнейшем количестве экземпляров и выручку за него определить на вспомоществование путешествующим в Иерусалим и проч. Вот. — Заключай сам». Достоевский пародировал «Завещание» в «Селе Степанчикове» (см. наст. изд., т. III, стр. 146). В черновых записях к «Подростку» Достоевский говорил, что в своем «Завещании» Гоголь «врал и паясничал» (см. наст. изд., т. XVI, стр. 330).

Стр. 240—241. Прокопович... — Николай Яковлевич Прокопович (1810—1857) — друг Гоголя, с которым последний воспитывался вместе в Гимназии высших наук в Нежине.

Письмо Достоевского к брату Михаилу Михайловичу от 5 сентября 1846 г. свидетельствует о том, что он лично был знаком с Прокоповичем.

Стр. 241. ...Нежинская гимназия. — О пребывании Гоголя в Нежинской гимназии высших наук, впоследствии (1854) переименованной в Нежинский лицей, Достоевский мог получить представление по книгам П. А. Кулиша «Опыт биографии Н. В. Гоголя» (СПб., 1854) и «Записки о жизни Н. В. Гоголя» (т. I—II. СПб., 1856) и по письмам Гоголя, напечатанным Кулишом в пятом томе шестипромтного «Собрания сочинений» Гоголя (СПб., 1857). Некоторые из этих писем уже свидетельствовали о замкнутости и «обособлении». Так, в письме к Г. И. Высоцкому от 26 июня 1827 г. Гоголь писал: «Уединяясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине (...) Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодетельной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжко быть зарыты вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться...» («Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 45, 46). В позднейшем своде мемуарно-биографической литературы отмечалось, что в Нежине товарищи Гоголя «его любили, но называли: *гениственный карл*» (В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя, т. 1. М., 1892, стр. 102).

Стр. 241. Потом изумился, написал письмо Белинскому. — Гоголь был изумлен, угнетен и подавлен по преимуществу отрицательным отношением к его книге. Даже в близкой ему семье Аксаковых «Выбранные места» называли «ложью» (см.: «Записки о жизни Гоголя», т. II, стр. 133). Но больше всего «изумило» его письмо Белинского из Зальцбурна (15 июля н. ст. 1847 г.). «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо, — писал Гоголь в ответном письме от 10 августа н. ст. 1847 г. — Душа моя изнемогла, всё во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды» («Гоголь», т. XIII, стр. 360). Впервые это письмо было опубликовано по копии Герценом в «Полярной звезде» (1855, кн. I, стр. 76—77). Однако в черновом, разорванном Гоголем письме к Белинскому почти каждое положение зальцбурнского письма критика опровергалось. Гоголь признал только, что русское правительство — это «огромная шайка воров». Этот разорванный черновик был собран по кусочкам и впервые (с пропусками) опубликован П. А. Кулишом в его книге «Записки о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856, т. II, стр. 108—113). Полный текст черновика см.: «Гоголь», т. XIII, стр. 435—446. Достоевский мог иметь в виду и письмо Гоголя к Белинскому, написанное около 8 (20) июня 1847 г. Выражая в этом письме несогласие с рецензией Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями», Гоголь пытался объяснить реакцию критика личным раздражением против него. «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором № „Современника“, — писал он. — Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося» (там же, стр. 326).

По свидетельству Панаева, во время встречи с русскими литераторами в сентябре—октябре 1848 г. Гоголь «дал почувствовать, что его знаменные „Письма“ писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами» (Панаев, стр. 305).

Стр. 241. Много искреннего в переписке. Много высшего было в этой натуре... — Подразумеваются не только «Выбранные места из переписки с друзьями», но творчество Гоголя в целом, а он, как считал Достоевский, был наряду с Ломоносовым и Пушкиным бесспорным гением, с «бесспор-

ным „новым словом“» (стр. 199). См. также наст. изд., т. XVIII, стр. 59; т. XXIV, стр. 305—306.

Стр. 241. *А уклонения были*. — Достоевский опирается на многочисленные указания биографов и мемуаристов на «уклонения» в характере и поведении Гоголя. Так, например, Кулиш признавался: «... я не всегда питал к нему те чувства, с которыми теперь начертываю историю его внешней и внутренней жизни. Сомнения, недоумения, негодование на кажущуюся пошлость его поступков, презрение к мнимой его надменности и кичливости и другие тягостные и неприятные чувства, которые возбуждал Гоголь в разные времена своей жизни в истинных своих почитателях, были и моими чувствами...» (*Записки о жизни Гоголя*, т. I, стр. 187—188).

Стр. 241. *Но не видели важных*. — С точки зрения Достоевского, самыми важными «уклонениями» в поведении и литературной деятельности Гоголя в последние пять-шесть лет его жизни были, как отмечал он в письме к И. С. Аксакову от 4 ноября 1880 г., «неискренность» и привычка «заволакиватьсь в облака величия».

Стр. 241. *Мое письмо Суворину*. — См. стр. 454.

Стр. 241. *Встреча с Гончаровым*. — Имеется в виду разговор Достоевского и Гончарова о романе Толстого «Анна Каренина». Об этом см. стр. 198—199.

Стр. 241. *На три части — всё ложь — всё сделали искусственно*. — Подразумевается, по всей вероятности, одно из суждений князя Щербакова в гл. XVI восьмой части романа «Анна Каренина». Согласно этому суждению, единомыслия по Восточному вопросу и вообще сколько-нибудь осознанного и активного стремления помочь славянам нет ни в народе, ни среди интеллигенции. Есть лишь показное, ложное единомыслие, характерное для мира газет. «— Да это газеты все одно говорят, — сказал князь. — Это правда. Да уж так-то все одно, что точно лягушки перед гроздей. Из-за них и не слыхать ничего».

Стр. 241. *Журналисты побегут*. — Подразумевается следующий отрывок из полемики о «единомыслии газет» в гл. XVI восьмой части «Анны Карениной»:

«— Я только бы одно условие поставил, — продолжал князь. — Alphonse Karr прекрасно это писал перед войной с Пруссиею. „Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну — в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!“

— Хороши будут редакторы, — громко засмеявшись, сказал Катаевсов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе.

— Да что ж, они убегут, — сказала Долли, — только помешают.

— А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетьми поставить, — сказал князь».

Стр. 241. *Журналист Щедрина*. — Полемически резюмируя отношение Толстого к Восточному вопросу, сказавшееся в восьмой части романа «Анна Каренина», Достоевский писал в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. (глава вторая, § 1): «... весь этот так называемый подъем русского национального духа за славян был не только подделан известными лицами и поддержан продажными журналистами, но и подделан вопреки, так сказать, самых основ...». В целом отвергая эту точку зрения, Достоевский был вынужден все же согласиться с тем, что на журналистском поприще подвигаются иногда люди недобросовестные и даже продажные. Очевидно, пометка «Журналист Щедрина» и свидетельствовала о таком согласии. Достоевский, по-видимому, успел прочесть очерк Щедрина «Тряпичники-очевидцы» (ОЗ, 1877, № 8), в котором описывались похождения некоего Подхалимова 1-го, посланного редакцией газеты «Краса Демидрон» корреспондентом в действующую Дунайскую армию. Не доехав до цели назначения, вечно хмельной и вконец опустившийся, этот «журналист» посыпал в свою газету из запятых волжских городков патриотические телеграммы с «последними известиями»

«с театра военных действий». «Известия» эти списывались «журналистом-очевидцем» со столбцов первых попавшихся под руку старых газет.

Стр. 241. *Изображение высшего общества. Мещерский*. — Достоевский одобрительно встретил критические выпады В. П. Мещерского против «высшего общества», равнодушного к народному движению. Споря по Восточному вопросу с некиим, по всей вероятности, воображаемым «графом», В. П. Мещерский воскликнул патетически в одном из своих фельетонов: «Вы и ваши высшего света барыни, вам вторящие, слишком мало знаете свой народ (...) чтобы быть в состоянии с русской точки зрения смотреть на нынешнюю войну» (*Гр*, 1877, 13 октября, № 23—24, «Письма о злобе дня»).

Стр. 245. *Родство с ним полное и бесспорное*. — Родство с Пушкиным «плейды» русских писателей, его учеников и продолжателей. См. выше, стр. 199.

Стр. 245. *И когда сделал, то его тотчас же не поняли*. — «Повести Белкина» были холодно приняты критикой и читателями. В частности, Белинский писал о них: «...хотя и нельзя сказать, чтоб в них уже вовсе не было ничего хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, с тою только разницею, что повести Карамзина имели для своего времени велическое значение, а повести Белкина были ниже своего времени» (*Белинский*, т. VII, стр. 577).

Стр. 248. *Гончаров. Шекспир — разговор. Не Шекспиры*. — Разговор Достоевского с Гончаровым о Шекспире не получил отражения в «Дневнике писателя» за июль-август 1877 г. Однако намек на него сохранился в приведенном отзыве Гончарова о романе «Анна Каренина» (см. с. 199): «Эта вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? *A в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное?* Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?» (Курсив наш, — Ред.). Частично соглашаясь с Гончаровым, Достоевский тем не менее не причисляет автора «Анны Карениной» к числу русских «бесспорных гениев», каковыми являются для него «Ломоносов, Пушкин и частично Гоголь».

Стр. 250. ...*a об авторе еще и слухов тогда почти не имел*. — Под слухами подразумеваются, по всей вероятности, толки в связи с намеками на толстовское отношение к Восточному вопросу, появившимися в майской книжке «Русского вестника» за 1877 г.

Стр. 250. ...*во время путешествия в Иерусалим*... — Подразумевается гоголевское путешествие ко «гробу господню», совершенное зимой 1848 г. с целью покаяния (см.: *Гоголь*, т. VIII, стр. 216; т. XIV, стр. 49—59). В предисловии к «Выбранным местам...», датированном июлем 1846 г., Гоголь обещал также своим читателям и вообще всем русским людям: «...я же у гроба господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 218).

Стр. 250. ...*«Исповеди»*... — Подразумевается «Авторская исповедь» Гоголя, опубликованная не «лет тридцать тому назад», а почти десятью годами позже. Название «Авторская исповедь» придумано С. П. Шевыревым, редактировавшим «Сочинения Н. В. Гоголя», найденные после его смерти» (М., 1855). См.: *Гоголь*, т. VIII, стр. 803.

Стр. 250. ...*и последней повести Гоголя*. — Подразумевается замысел «Прощальной повести», о котором Гоголь писал в «Завещании»: «Завещаю всем моим соотечественникам (...) лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием „Прощальная повесть“. Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долгъ в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога (...). Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье...». Далее говорилось о том, что эта повесть «выше-

лась сама собою из души, которую воспитал сам бог...» (см.: *Гоголь*, т. VIII, стр. 220, 221). См. также: наст. изд., т. XII, стр. 311.

Стр. 250. *Пьяных убить*. — Намек на спор Кознышева с Левиным в восьмой части романа «Анна Каренина» (гл. XV) о сербо-турецкой войне, русских добровольцах и т. п.: «Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы обижаемого.

— Но *не убил бы*, — сказал Левин.

— Нет, ты бы *убил*! (Курсив наш, — Ред.).

Более полно этот диалог процитирован Достоевским в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год (см. стр. 218).

Стр. 252. *Этот уж осмеет, и пирог осмеет, а съест первый*. *Он-то и начинает разговор*. — В данном случае не исключено тенденциозное намерение Достоевского как-то соотнести отца Кити, — а речь идет именно о нем, — с героями Щедрина — провинциальными дворянами и чиновниками, предававшимися во время Крымской войны безудержному казнокрадству. Об этих любителях казенного пирога Щедрин писал в очерке «Тяжелый год», напечатанном в 1876 г. в «Новом времени» — газете, наиболее читаемой Достоевским: «И вдруг неслыханнейшая оргия вззволновала наш скромный город. Словно молния, блеснула всем в глаза истина: требуется до двадцати тысяч ратников! Сколько тут сукна, холста, кожевенного товара, полушибков, обозных лошадей, провизиата, приварочных денег! (...) И вот весь мало-мальски смысленный люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтобы нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству (...) отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за гроши, и за более крупный куш; продавалось и за карточным столом, и за пьяными тостами подписанных обедов; продавалось и в домашних кружках, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при звоне колоколов, при возгласах, призывающих победу и одоление» (*Салтыков-Щедрин*, т. XI, стр. 467).

Стр. 252. ...*клубный верой*... — Речь идет опять о князе Щербацком. В окончательном тексте «Дневника писателя» за июль—август 1877 г. он получил уничижительное наименование «клубный старичик» (см. стр. 216).

Стр. 252. *Сюзерена, как писали в одной газете. Русские довольны известием генерал-майора Черняева еще прежде по телеграфу*. — Под «одной газетой» подразумевается газета «Голос», предупреждавшая (в номере от 18 июня 1876 г.) сербского князя Милана, что объявление им войны «сюзерену» — Турции не встретит сочувствия западных держав (см. выше, стр. 436—437), а под «известием генерал-майора Черняева» — пространное письмо последнего («Белград. 16 мая 1876 г.»), в котором сообщалось о готовности Сербии пренебречь рекомендациями западноевропейской дипломатии и начать, опираясь на моральную и материальную поддержку России, национально-освободительную войну против Турции. Русские патриоты, и в том числе Достоевский, с особым удовлетворением восприняли следующие строки из этого «письма» Черняева: «... я прибыл в Белград, где застал приготовления к войне (...) не только в Белграде. Но и при поездке моей вовнутрь страны для осмотра, между прочим, крепостей с разрешения князя Милана, — в приеме, сделанном мне, выражено было населением, сколько надежд они возлагают на родственный им русский народ. Сочувствие это, выраженное в настоящую критическую минуту, быть может, и сильнее обыкновенного, существует, однако, постоянно в сердце сербского народа, доказательством чего может служить то, что в каждом крестьянском домике, на каждом постоялом дворе я находил портреты наших государей рядом с портретами читимых ими князей из рода Обреновичей. Безде, где проезжал я, народ приветствовал меня криками: „Живио братъя русские, живио православный русский царь!“ По возвращении в Белград мне сде-

лано было предложение вступить в ряды сербской армии. Понятно, что всякое колебание с моей стороны было бы неуместным: отказ мой был бы равносителен желанию уклониться от очевидной опасности, нависшей со всех сторон над родственном нам страной». И далее: «Каждый серб, от крестьянина до сенатора включительно, понимает значение настоящей минуты для будущности своей родины» (*РМ*, 1876, 25 мая (6 июня), № 142).

Стр. 253. *Зато уж и ответил ему, прямо в жилку: «С турками».* — Имеется в виду ответ Сергея Ивановича Козырева на вопрос князя Щербацкого (*«Анна Каренина»*, часть восьмая, гл. XV): «... ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют?».

— *С турками*, — спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович... (Курсив наш, — Ред.). В числе других отрывков из романа Толстого этот отрывок был также процитирован Достоевским в июльско-августовском выпуске *«Дневника писателя»* за 1877 г. (см. стр. 208).

Стр. 253. *Когда Некрасов писал кающегося Власа.* — Достоевский хотел сказать, что и Некрасов, даже в пору создания им образа кающегося Власа в одноименном стихотворении (1855), не был свободен от «порока», присущего всему интеллигентному барству из средне-высшего дворянского круга, — неумения обрасти «окончательную веру» в бога.

Стр. 254. *Ждали слова царева и дождались!* — Подразумевается манифест Александра II о войне с Турцией, данный в Кишиневе 12 апреля 1877 г.

Стр. 255. *Но писатель не признает и народа. Своловь — (выписки).* — Подразумевается гл. XV восьмой части романа *«Анна Каренина»*, в которой Левин, горячась, говорит, что русские добровольцы относятся к типу «людей, потерявших общественное положение», «бесшабашных», а потому всегда готовых «в шайку Пугачева, в Хлпву, в Сербию...». Ср. выше, примеч. к стр. 210. Слова «своловь» в толстовской характеристике нет. Большая «выписка» из этой главы вкраплена Достоевским в главу третью июльско-августовского выпуска *«Дневника писателя»* за 1877 г. (см. стр. 213).

Стр. 255. *Всё это люди, имеющие вид лондонский типографщик об одном русском явившемся к нему литераторе.* — «Типографщик» — это А. И. Герцен, писавший в предисловии «От издателя» к первой книжке *«Голосов из России»*: «... прошу не забывать, что я только типограф, — типограф, готовый печатать всё полезное нашей общей цели» (Герцен, т. XII, стр. 329—330). Можно предположить, что Достоевский здесь вспоминает слова Герцена во время их беседы в Лондоне в 1862 г. или позднее.

Стр. 255. *Слово царя о сочувствии тем же несчастным.* — Намек на речь Александра II, произнесенную в Кремле 29 октября 1876 г.

Стр. 256. *Газеты народ читает.* — Эта помета соответствует наблюдениям Достоевского во время поездок по железной дороге в июне—июле 1877 г. (см. выше, стр. 176—177). Кроме того, Достоевский, видимо, обратил внимание на следующую заметку о повышенном интересе солдат к газетным сообщениям о войне: «Наш солдат, батюшка, не то что прежде. Он и газеты чигает и кой о чём маракует... Почему они так беспощадны? (к англичанам и венграм на турецкой службе, — Ред.). Потому что все зверства турок им оказываются известными. В прошлом году отлично они узнавали все, что сообщалось по этому предмету в наших газетах» (*НВр*, 1877, 16 (28) августа, № 526, очерк «С театра войны». Подпись — Шесть).

Стр. 256. *Кулаки.* — См. конец майско-июньского выпуска *«Дневника писателя»* за 1877 г. (стр. 169—171).

«ОБЪЯВЛЕНИЕ К АПРЕЛЬСКОМУ ВЫПУСКУ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»
ЗА 1877 г.»

(Стр. 258)

Печатается по черновому автографу.
Хранится: ИРЛИ, ф. 29478.ССХб.12.
Публикуется впервые.

В печатавшихся в газетах объявлениях о выходе очередных выпусков «Дневника», для того чтобы привлечь внимание розничных покупателей, обычно приводилось оглавление выпуска.

ВАРИАНТЫ

Стр. 262. ... в вопросе о способности пророчества в человеке, способности предчувствий и т. д. уверены очень многие и в наше время со и, главное, даже из самых образованнейших людей со разводят руками перед фактом. — По всей вероятности, имеется в виду и М. П. Погодин, посвятивший в своей книге «Простая речь о мудреных вещах» особый раздел («Отделение второе. Философам для объяснения») фактам, которые «нельзя объяснить никакою наукою и никакою системою». Во вступлении к обширному перечню «событий», распределенных по рубрикам «Предчувствия», «Предвестия», «Предсказания», «Предвидения», «Способность видеть далекое настоящее» и т. п., Погодин писал: «Оправдывать эти события нет разумного основания: это неоспоримые факты (...) отрицать же безусловно было бы крайним невежеством или диким упрямством (...) Некоторые случаи были со мною (...) другие слышал я от своих знакомых, людей достоверных, третьи привожу из печатных источников, — все с доказательствами, сколько их найти можно было (...) я думаю, что одно подобное событие (...) строго исследованное, доказанное критически, имеет великую важность (...) есть что-то, кроме того, что мы знаем посредством своих чувств, о чем, по замечанию Шекспира, и не пригрезится философам» (Михаил Погодин. Простая речь о мудреных вещах. Издание второе, исправленное и умноженное. М., 1874, отд. II, стр. 3—4).

Стр. 262. Предсказание француза, который, в семидесятых годах прошлого столетия со предсказал смерть короля со дадут в последние минуты перед казнью духовника... — Имеется в виду знаменитое «Пророчество Казота» (*La prophétie de Cazotte*). В 1806 г. в первом томе «Избранных и изданных посмертно сочинений» Ж.-Ф. Лагарпа (1739—1803) был опубликован рассказ о том, как в его присутствии французский писатель Жак Казот (*Cazotte*; 1719—1792), известный своим мистицизмом и принадлежащий к секте мартинистов, в начале 1788 г. во время оживленного застолья (вероятно, в доме герцога Ниверне), когда зашел разговор о великом обновлении, которое принесет обществу революция, предсказал в подробностях участь ряда присутствовавших в период якобинского террора (Кондорсе, Шамфора, Бальи, Мальзерба и др.), гибель королевского дома и то, что король будет последним осужденным, к кому перед казнью допустят священника. Достоверность рассказа Лагарпа не могла не казаться сомнительной хотя бы уже в силу исключительности сообщенного факта; когда же в 1817 г. был опубликован постскриптум Лагарпа, где говорилось, что вопрос о достоверности этого пророчества не слишком важен, потому что истинно необычайным и чудесным были сами события Французской революции, многие стали относиться к «Пророчеству Казота» как к несомненной мистификации. Тем не менее оно оставалось популярным и многократно перепечатывалось. Высказывались суждения и о том, что в основе своей рассказ Лагарпа правдив. Так, Луи Фигье замечал: «Трудно поверить, чтобы вся эта история была выдумана Лагарпом (...) Можно допустить, что Казот, человек наблюдательный и умный, привыкший следить

за событиями настоящего, чтобы вывести из них события будущего, однажды, когда он был возбужден сарказмами скептических остроумцев, которые его окружали, возвестил им авторитетным тоном о катастрофе, которая должна была тогда ему казаться весьма вероятной. В своих предсказаниях он неожиданно оказался более точным, чем сам это думал и, особенно, чем сам этого хотел...» (L. Figuié. *Histoire du merveilleux dans les temps modernes*, t. IV. Paris, 1860, p. 136—137). Чуждый мистике Ипполит Тэн, включив «Пророчество Казота» в I том своего известного труда «Происхождение современной Франции» (имевшегося в библиотеке Достоевского, — см.: *Материалы и исследования*, т. IV, стр. 268), отмечал, что, «заранее и само того не ведая, каждое поколение носит в себе свое будущее и свою историю; ему можно было бы предсказать его участь задолго до исхода событий», а также, что «предсказания» могут простираться на «общий ход вещей» (H. Taine. *Les origines de la France contemporaine*, t. I. *L'ancien régime*. Paris, 1876, p. 524; ср.: И. Тэн. *Происхождение общественного строя современной Франции*. СПб., 1880, стр. 522). См. также: Некоторые любопытные приключения и сны из древних и новых времен. М., 1829, стр. 222—236; G. de Nerval. *Les illuminés. Récits et portraits*. Paris, 1852, p. 266—274; R. Trintzius. Jacques Cazotte ou le XVIII siècle inconnu. Paris, 1944, p. 139—154; В. М. Жирмунский, Н. А. Сегал. У истоков европейского романтизма. — В кн.: Г. Уоллоп. Замок Отранто. Ж. Казот. Влюбленный дьявол. У. Бекфорд. Войтек. Л., «Наука», 1967, стр. 263—264.

Стр. 262. ... предсказание это со засвидетельствовано одной писательницей... — Вероятно, имеется в виду французская писательница Мария-Анна-Франсуаза Богарне (Beauharnais; 1737—1813) — одна из тех, кому принадлежали свидетельства о пророчествах Казота (см.: L. Figuié. *Histoire du merveilleux dans les temps modernes*, t. IV. Paris, 1860, p. 137).

Стр. 262. ... светским, хотя и весьма странным, как передано, человеком. — Слова Лагарпа. Ср.: «Это был Казот, человек весьма обходительный, но слывший чудаком, который на свою беду пристрастился к бредням иллюминатов» (Ж.-Ф. Лагарп. Пророчество Казота. — В кн.: Г. Уоллоп. Замок Отранто. Ж. Казот. Влюбленный дьявол. У. Бекфорд. Ватек. Л., 1967, стр. 245).

Стр. 262. ... Сведенборга в Швеции со известного ученого, много оказавшего пользы в свое время своему Отечеству по минералогии и по устройству рудокопен. — Эммануэль Сведенборг (Swedenborg; 1688—1772) — выдающийся шведский ученый-естественноиспытатель — был автором ряда исследований по математике, астрономии, геологии, минералогии, горному делу, а также создателем различных технических и финансовых проектов. Будучи ассессором горной коллегии, он тщательно изучал рудники Швеции и Германии; в 1734 г. были изданы его «Философские и минералогические сочинения» в трех томах, принесшие ему широкую известность в научных кругах.

Стр. 262. Он написал несколько мистических сочинений и одну удивительную книгу о небесах, духах, рае и аде... — В середине 40-х годов XVIII в. Сведенборг пережил духовный кризис, отошел от естествознания и обратился к мистицизму, сочтя себя «духовидцем», призванным богом открыть человечеству тайны бытия. Он написал множество теософских сочинений на латинском языке, где истолковывал Библию в свете теории «соответствий» (*congruentiae*) реального и «потустороннего» и излагал открытые ему «свыше» законы мироздания. Наиболее значительные из его книг — «Небесные тайны...» (т. 1—8, 1749—1756), «О небесах, о мире духов и об аде» (1758), «Истинная христианская религия» (т. 1—3, 1771).

В библиотеке Достоевского имелась книга «О небесах, о мире духов и об аде» (пер. А. Н. Аксакова; Лейпциг, 1863), по-видимому, оказавшая некоторое влияние на замысел «Сна смешного человека» (см. стр. 401—402); в этом же издании содержался очерк «Биография Сведенборга» (стр. XIX—XLII). Кроме того, в библиотеке писателя были две книги А. Н. Аксакова, усиленно пропагандировавшего учение Сведенборга:

А. Н. Аксаков. Евангелие по Сведенборгу. Пять глав от Иоанна с изложением и толкованием их духовного смысла по науке о соответствиях. Лейпциг, 1864; А. Н. Аксаков. Рационализм Сведенборга. Критическое исследование его учения о священном писании. Лейпциг, 1870 (см.: Библиотека, стр. 153).

Стр. 262. ... как очевидец, уверяя, что загробный мир раскрыт для него со иметь с ними сообщение. — Сведенборг утверждал: «... мне дано было в течение 13 лет быть вместе с ангелами, говорить с ними как человеку с человеком и видеть то, что происходит на небесах и в аду; в настоящее же время мне дано описать, что я видел и слышал, в той надежде, что невежество просветится и неверие уничтожится» (Сведенборг, стр. 3).

Стр. 262. ... предание, что он, после смерти одной коронованной особы со отыскал какие-то важные затерянные бумаги, отправившись нарочно за тем в небеса переговорить с покойником. — Контаминация двух «преданий», приведенных (с указанием лиц, подтверждавших их правдивость) в очерке «Биография Сведенборга»: 1) беседа Сведенборга с умершим принцем Вильгельмом по поручению сестры принца шведской королевы Луизы Ульрики, пожелавшей испытать его способности «духовидца», и 2) встреча Сведенборга с умершим графом Мартвилем, голландским посланником при стокгольмском дворе, по просьбе вдовы покойного, желавшей узнать местонахождение затерявшейся долговой расписки (см.: Сведенборг, стр. XXIX—XXX).

Стр. 263. ... как на крупный факт со указывали на гадальщицу мадмуазель Ленорман. — Мария-Анна-Аделаида Ленорман (Lenormand; 1772—1843) пользовалась огромной известностью: к ней обращались за предсказаниями судьбы многие из ее знаменитых современников (в том числе Марат, Сен-Жюст, Робеспьер, Александр I); в печати неоднократно появлялись сообщения об исполнившихся предсказаниях Ленорман. Так, например, Погодин приводил рассказ о том, как она предсказала смерть на виселице С. И. Muравьеву-Аpostолу, который в 1826 г. был повешен (см.: Михаил Погодин. Простая речь о мудреных вещах. М., 1874, стр. 25). Делались попытки объяснить эти факты существованием каких-то скрытых возможностей в натуре человека. М. Форнари, например, писал вскоре после смерти Ленорман: «Мы думаем, что возможное имеет свои границы; но мы считаем, что эти границы неизмеримо далеки от того, что обыденное сознание считает геркулесовыми столпами человеческих возможностей ...». В ней было многое проницательности, и это позволяло ей бросить справедливый взгляд па последствия событий ...». Если ... Ленорман предсказывала будущее, лишь выводя последствия из исходных обстоятельств, которые были у нее перед глазами, надо преклониться перед этой изумительной способностью» (Histoire curieuse et pittoresque des sorciers... depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Par le révérand père dominicain Mathias de Giraldo. Revue et augmentée par M. Fornari. Paris, 1846, troisième partie, p. 15). См. также: Alfred Marguise et. La célèbre m-lle Lenormand. Paris, 1911.

Стр. 263. Ведь есть же, например, какая-то болезнь, кажется, в Шотландии, называемая двойным зрением... — Погодин в «Простой речи о мудреных вещах» в рубрике «Предвидения» приводит отрывок из записок графини А. Д. Блудовой, вспоминавшей: «Батюшка еще знал в Стокгольме одного старого господина (вероятно, речь идет о Сведенборге, — Ред.), который имел способность предвидения приближающихся в будущем происшествий, то, что шотландцы называют *second sight*, второе зрение...» (Михаил Погодин. Простая речь о мудреных вещах. М., 1874, стр. 32). В рубрике «Способность видеть далекое настоящее» цитировались воспоминания Н. И. Гречи, рассказывавшего о своей матери, «которая действительно одарена была каким-то шотландским двойным зрением» (там же, стр. 38). Приводя два рассказа П. В. Нащокина, Погодин отмечал: «...вне чудесного, душа наша, при известном напряжении органов, имеет способности, не вполне дознанные наукой» (там же, стр. 41).

Стр. 265. ... *пана Пий IX умретъ в этом году или в будущем (что кажется несомненно)...* — Пий IX умер 7 февраля 1878 г.

Стр. 265. «Всё это вздор! Так, по крайней мере, относится наука к спиритизму, и спириты возражают ей: «Всё это может быть, потому что всё это есть»... — Ср. «Опять только одно словцо о спиритизме» (наст. изд., т. XXII, стр. 126).

Стр. 265. ... *про меня упомянули как-то печатно, что я тоже наклонен к спиритизму.* — См. наст. изд., т. XXII, стр. 131, 385.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ¹

Места хранения рукописей

- ГБЛ** — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ДГИА — Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград).

Печатные источники

- Ашукин, Летопись** — Н. С. Ашукин. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.—Л., «Academia», 1935.
- Бахтин** — М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2-е. Изд. «Сов. писатель», М., 1963.
- БВ** — «Биржевые ведомости» (газета).
- БДЧ** — «Библиотека для чтения» (журнал).
- Белинский** — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
- Библиотека** — Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. С прилож. каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 1919.
- Биография** — Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. 1).
- Вальтер Скотт** — Вальтер Скотт. Собрание сочинений, тт. 1—20. Изд. «Художественная литература», 1960—1965.
- ВЕ** — «Вестник Европы» (журнал).
- ВЛ** — «Вопросы литературы» (журнал).
- Волгин, Достоевский и царская цензура** — И. Л. Волгин. Достоевский и царская цензура (К истории создания «Дневника писателя»). — РЛ, 1970, № 4, стр. 106—120.
- Вр** — «Время» (журнал).
- Г** — «Голос» (газета).
- Герцен** — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР—«Наука», М., 1954—1966.
- Гоголь** — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1937—1952.

¹ В список не включены сокращения, совпадающие с сигнами, указанными в перечне источников текста к каждому произведению.

- Гр* — «Гражданин» (журнал).
- Григорович* — Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Гослитиздат, М., 1961.
- Гроссман, Жизнь и труды* — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.
- Гроссман, Семинарий* — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарий. ГИЗ, М.—Пг., 1922.
- Д* — «Дело» (журнал).
- ДНР* — «Древняя и новая Россия» (журнал).
- Долинин* — А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1963.
- Достоевская, А. Г., Воспоминания* — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», 1971.
- Достоевский, А. М.* — А. М. Достоевский. Воспоминания. Ред. и вступит. статья А. А. Достоевского. «Изд. писателей в Ленинграде», 1930.
- Достоевский в воспоминаниях* — Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, тт. I—II. Изд. «Художественная литература», 1964.
- Достоевский и его время* — Достоевский и его время. Под ред. В. Г. Базанова и Г. М. Фридлендера. Изд. «Наука», Л., 1971.
- ДП* — «Дневник писателя».
- Д, Письма* — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долинина, ГИЗ — «Academia»—Гослитиздат, М.—Л., 1928—1959.
- Записки о жизни Гоголя* — Николай М. [П. А. Кулиш]. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем, тт. I—II. СПб., 1856.
- Карамзин, Избранные сочинения* — И. М. Карамзин. Избранные сочинения, тт. 1—2. Изд. «Художественная литература», Л., 1964.
- Лермонтов* — М. Ю. Лермонтов. Сочинения, тт. I—VI. Изд. АН СССР, М.—Л., 1954—1957.
- Лесков* — Н. С. Лесков. Собрание сочинений, тт. I—XI. Гослитиздат, М., 1956—1958.
- ЛН* — «Литературное наследство», тт. 1—92. Изд. АН СССР—«Наука», М., 1931—1982. Издание продолжается.
- Материалы и исследования* — Достоевский. Материалы и исследования, тт. I—IV. Изд. «Наука», Л., 1974—1980.
- МВед* — «Московские ведомости» (газета).
- Милютин* — В. А. Милютин. Избранные произведения. Изд. социально-экономической литературы, М., 1946.
- НВр* — «Новое время» (газета).
- Некрасов* — Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII. Гослитиздат, М., 1948—1953.
- Некрасов в воспоминаниях* — Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
- Никитенко* — А. В. Никитенко. Дневник, тт. I—III. Гослитиздат, М., 1955—1956.
- ОВ* — «Одесский вестник» (газета).
- ОЗ* — «Отечественные записки» (журнал).
- Описание* — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 (Библиотека СССР им. В. И. Ленина — Центр. Гос. архив литературы и искусства СССР—Институт русской литературы АН СССР).
- Панаев* — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Ред. текста, вступ. статья и примеч. И. Ямпольского. Гослитиздат, М., 1950.
- ПВ* — «Правительственный вестник» (газета).
- Петрашевцы* — Петрашевцы. Сборники материалов, тт. I—III. Под ред. П. Е. Щеголова. ГИЗ, Л.—М., 1926—1928.
- Письма Карамзина к Дмитриеву* — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, с примечаниями и указателем, составленными Я. Гротом и П. Пекарским. СПб., 1866.

- По* — Э. А. По. Полное собрание рассказов. М., «Наука», 1970.
- Пушкин* — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVII, Изд. АН СССР, М., 1937—1959.
- РА* — «Русский архив» (журнал).
- PB* — «Русский вестник» (журнал).
- PВед* — «Русские ведомости» (газета).
- РЛ* — «Русская литература» (журнал).
- РМ* — «Русский мир» (газета).
- РС* — «Русская старина» (журнал).
- Русский сборник* — Русский сборник. Бесплатное приложение для подписчиков на журнал «Гражданин», тт. I—II. СПб., 1877.
- C* — «Современник» (журнал).
- Салтыков-Щедрин* — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, тт. I—XX. Изд. «Художественная литература», М., 1965—1977.
- Сб. Достоевский, I* — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник I. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Пб., 1922.
- Сб. Достоевский, II* — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник II. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Л.—М., 1924.
- Сведенборг* — О небесах, о мире духов и об аде. Как слышал и видел Э. Сведенборг. Перевод с латинского издания «А. Н. Аксакова». Лейпциг, 1863.
- Сен-Симон* — Сен-Симон. Избранные сочинения, тт. 1—2. М.—Л., 1948.
- Сервантес* — М. де Сервантес Сааведра. Собрание сочинений, тт. 1—5. М., 1961.
- СИ* — «Современные известия» (газета).
- СПБед* — «Санктпетербургские ведомости» (газета).
- Стасов* — В. В. Стасов. Избранные сочинения, тт. I—III. Изд. «Искусство», М., 1952.
- Тургенев, Письма* — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма, тт. I—XIII. Изд. АН СССР—«Наука», М.—Л., 1961—1968.
- Тургенев, Сочинения* — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений в двадцати восьми томах. Сочинения, тт. I—XV. Изд. АН СССР—«Наука», М.—Л., 1960—1968.
- Успенский* — Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940—1954.
- Фридлендер* — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.
- Фурье* — Ш. Фурье. Избранные сочинения, тт. I—IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951—1954.
- Чернышевский* — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.
- 1926* — Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, тт. I—XIII. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Госиздат, М.—Л., 1926—1930.

СОДЕРЖАНИЕ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ за 1877 г.

Текст Вари- Приме-
анты чания

Январь

Глава первая

I. Три идеи	5	358
II. Миражи. Штунда и редстокисты	9	360
III. Фома Данилов, замученный русский герой	12	362

Глава вторая

I. Примириительная мечта вне науки	17	363
II. Мы в Европе лишь стрюцкие	20	364
III. Старина о «петрашевцах»	23	366
IV. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Стальные воспоминания	26	368
V. Именинник	32	285
От редакции	36	371
		372

Февраль

Глава первая

I. Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей	37	372
II. Доморощенные великаны и приниженные сыны «кучи». Анекдот о содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации, и «да будут они прокляты, если их надо покупать такою ценой!»	41	376
III. О сдирании кож вообще, разные aberrации в частности. Ненависть к авторитету при лакайстве мысли	44	381
IV. Меттернихи и Дон-Кихоты	47	381

Глава вторая

I. Один из главнейших современных вопросов	51	383
II. «Злоба дня»	55	383
III. Злоба дня в Европе	59	384
IV. Русское решение вопроса	61	384
Ответ на письмо	64	385

Март

Глава первая

I. Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш	65		
II. Русский народ слишком дорос до здравого понятия о Восточном вопросе с своей точки зрения	67	385	
III. Самые подходящие в настоящее время мысли	70	283	386

Глава вторая

I «Еврейский вопрос»	74	286	387
II. Pro и contra	77	286	388
III. Status in statu. Сорок веков бытия	81	389	
IV. Но да здравствует братство!	86	389	

Глава третья

I. Похороны «Общечеловека»	88		390
II. Единичный случай	90		392
III. Нашим корреспондентам	93		

Апрель

Глава первая

I. Война. Мы всех сильнее	94	286	392
II. Не всегда война бич, иногда и спасение	98	288	394
III. Спасает ли пролитая кровь?	101	289	394
IV. Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе	103	290	395

Глава вторая

Сон смешного человека. Фантастический рассказ	104	290	396
Освобождение подсудимой Корниловой	119	297	408
К моим читателям	121		410

Май—июнь

Глава первая

I. Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года	122	261	410
II. Об анонимных ругательных письмах	125	266	415
III. План обличительной повести из современной жизни	131	270	416

Глава вторая

I. Прежние земледельцы — будущие дипломаты	136	273	416
II. Дипломатия перед мировыми вопросами	144	278	419
III. Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, — решение не дипломатическое	146	280	419

Глава третья

I. Германский мировой вопрос. Германия — страна протестующая	151	304	420
II. Один гениально-мнительный человек	154	304	420
III. И сердиты и сильны	157		421
IV. Черное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации	161		423
V. Довольно неприятный секрет	164		426

Глава четвертая

I. Любители турок	167	305	427
II. Золотые фраки. Прямолинейные	168		428

Июль—август

Глава первая

I. Разговор мой с одним московским знакомым.		
Заметка по поводу новой книжки	172	430
II. Жажда слухов и того, что «скрывают». Слово «скрывают» может иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее. Опять о слухайном семействе	176	431
III. Дело родителей Джунковских с родными детьми	182	431
IV. Фантастическая речь председателя суда	188	

Глава вторая

I. Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной»	193	305	431
II. Признания славянофила	195	307	432
III. «Анна Каренина» как факт особого значения	198	308	434
IV. Помешник, добывающий веру в бога от мужика	202	309	435

Глава третья

I. Раздражительность самолюбия	206		436
II. Tout ce qui n'est pas expressément permis est défendu	209		436
III. О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главнейшей сущности Восточного вопроса	214	310	440
IV. Сотрясение Левина. Вопрос: Имеет ли расстояние влияние на человеколюбие? Можно ли согласиться с мнением одного пленного турка о гуманности некоторых наших дам? Чему же, наконец, нас учат наши учители?	218	310	443

Приложение

«Объявление о подписке на «Дневник писателя» на 1877 год»	224		449
«Объявление о выходе «Дневника писателя» за май—июнь 1877 г.»	225		449

Рукописные редакции

Дневник писателя 1877			
«Записи к «Дневнику писателя» из рабочей тетради 1876—1877 гг.»	226		449
Подготовительные материалы	230		453
«Объявление к апрельскому выпуску «Дневника писателя» за 1877 г.»	258		461

Варианты	259		461
--------------------	-----	--	-----

Примечания	313		
----------------------	-----	--	--

Список условных сокращений	465		
--------------------------------------	-----	--	--

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР*

*

Редакционная коллегия:

| В. Г. БАЗАНОВ | (главный редактор), | В. В. ВИНОГРАДОВ |,

**Ф. Я. ПРИЙМА, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР (заместитель главного редактора),
М. Б. ХРАПЧЕНКО**

Тексты подготовили и примечания составили:

**А. В. АРХИПОВА, А. И. БАТЮТО, И. А. БИТЮГОВА,
В. Д. РАК, В. А. ТУНИМАНОВ,
И. Д. ЯКУБОВИЧ**

Редакторы XXV тома

Н. Ф. БУДАНОВА и В. А. ТУНИМАНОВ

*

**ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

Т о м XXV

Редактор издательства Е. А. Гольдич

Оформление художников С. Н. Тарасова и Л. А. Яценко

Технический редактор М. Н. Кондратьев

Корректоры А. И. Кац и Г. И. Суворова

Сдано в набор 20.04.82. Подписано к печати 12.04.83. Формат
60×90 $\frac{1}{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая. Печ. л. 29 $\frac{1}{2}$, + 1 вкл. ($\frac{1}{8}$ печ. л.). Усл. печ.
л. 29.62. Уч.-изд. л. 37.50. Усл. кр. отт. 30.62. Тираж 55000 (1—40000).
Изд. № 8221. Тип. вак. № 1362. Цена 4 р. 10 к.

**Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1**

**Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12**